Галина
НИКОЛАЕВА

1



Галина
НИКОЛАЕВА

Собрание сочинений

Галина НИКОЛАЕВА

Собрание сочинений в трех томах



Москва
«Художественная литература»
1987

Галина
НИКОЛАЕВА

Собрание сочинений
Том первый

РАССКАЗЫ

ЖАТВА
Роман



Москва
«Художественная
литература»
1987

ББК 84Р7
Н63

Вступительная статья
В. ЮСОВОЙ

Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО

Н $\frac{4702010200-191}{028(01)-87}$ подписное

О творчестве Галины Николаевой

Галина Евгеньевна Николаева (Волянская) родилась 18 февраля 1911 года в деревне Усманка Западно-Сибирского края в семье адвоката Евгения Ивановича Волянского и учительницы Мелетины Венедиктовны Волянской, в девичестве — Барановой.

Несмотря на серьезную болезнь сердца, юная Галя Волянская запомнилась сверстникам как добрый, светлый человек, настоящий товарищ. Она писала стихи, ходила в школьный литкружок, ей легко давалась математика.

Справка, сохранившаяся в архиве, удостоверяет, что «1 июня 1927 года в 3-й Советской трудовой школе имени Октября г. Новосибирска гр-ка Волянская Галина окончила полный курс школы с кооперативным уклоном и проработала следующие курсы: основы кооперации, счетоводство общее, статистика и коммерческая арифметика». Справка соответствовала упраздненным в двадцатые годы аттестатам зрелости.

Окончив школу, Г. Волянская поступает в Омский мединститут, затем переезжает в Горький и продолжает учебу на I курсе Горьковского медицинского института.

В 1935 году она заканчивает институт и поступает на кафедру фармакологии, где и работает до 1939 года.

Стихи остаются потребностью ее души. Горьковский период становится первой пробой поэтических сил. Среди нескольких стихотворений, опубликованных в 1939 году в «Горьковской правде», примечательно стихотворение «Рыжики»:

...В каждой шляпке — луночка,
В каждой лунке — лужица,
В каждой лужице — весь свет,
И чего в ней только нет!

Небо отражается,
Облако качается,
Паутинки вьются,
Ветви сосен гнутся.

В глубине, на донце
Светит само солнце.

Обстоятельства многое переменили в этом «детско-светлом» взгляде на жизнь: в последний предвоенный год Г. Волянская писала уже о другом и по-другому:

Молчаливым нет пути иного,
И к иному сердце не неволь.
Насмерть бьет несказанное слово,
Захлестнет неизлитая боль.

Поэтический опыт предвоенных лет стал, по выражению Н. Тихонова, для поэтессы «преддверьем» на пути к подлинно поэтическому «открытию мира»: с началом войны то, что было личным опытом, стало общим для всего военного поколения, ощутившего свою реальную причастность к истории своего народа и всего человечества.

В июле 1942 года Г. Волянская добилась зачисления вольнонаемным врачом-ординатором на плавучий эвакогоспиталь — пароход «Композитор Бородин», доставлявший в Горький раненых со Сталинградского фронта.

Случай сохранил ей жизнь: возвращаясь в Горький, она получила приказ перейти на встречный транспорт и следовать в Сталинград за новой партией эвакуируемых, а на обратном пути увидела останки парохода «Композитор Бородин». От немногих свидетелей трагедии она узнала о подвиге женщины-врача, до конца исполнившей свой человеческий и врачебный долг и не покинувшей раненых на горящем судне.

После гибели «Бородина» Волянская продолжает работу в Горьком, а затем — в госпиталях Северного Кавказа.

Впечатления сталинградского периода, отдаляясь во времени, становились все осознанней и ярче, требуя воплощения. Начинающей поэтессе необходим был совет профессионального литератора, хотелось «хоть раз быть услышанной тем, кто может понять».

В декабре 1944 года Г. Волянская отправляет в Москву свои стихи — на самодельном конверте, в который упакована была ученическая тетрадь, твердым почерком было написано: «Москва. «Литературная газета». Поэту Н. Тихонову. Если он жив». Приписка к адресу чрезвычайно характерна и для военного времени, и для самой писательницы. «А я не умер, я жив. Меня не так легко оказалось свалить с ног. Ни трехлетняя блокада Ленинграда, где я был все время, ни голод, ни снаряды, ни бомбы, ни пули, видите, не убили меня»,— писал в ответ Н. Тихонов. «В Ваших стихах,— продолжал поэт,— живет та поэзия, которая так нужна сейчас, поэзия, откровенно говорящая о главном, о чувствах, которым свойственна высокая человечность и страсть... Я вижу Вашу жадность ко всему живому, Вашу честность в работе над стихом...»

11 января 1945 года Н. Тихонов прочитал на заседании редколлегии журнала «Знамя» стихи Г. Волянской.

Решено было печатать «все сразу без поправок»: тридцать стихотворений Г. Волянской были напечатаны в февральской и апрельской книжках журнала.

Г. Волянскую вызывают в Москву. В конце апреля, накануне Дня Победы, она впервые появилась в редакции «Знамени», ставшей для нее на долгие годы родным домом, где каждое ее новое произведение встречало неизменно доброжелательный, хотя и строгий прием.

Завершалась трудовая биография врача Г. Волянской.

Начиналась творческая жизнь писателя Г. Николаевой, жизнь, насыщенная до последнего дня подвижническим трудом и преодолением.

Читатели сразу приняли стихи молодой поэтессы, простив погрешности рифм и образов. Даже на фоне давно завоевавшей общее признание поэзии В. Инбер, М. Алигер, О. Берггольц, М. Светлова, ее стихи покоряли искренностью, открытым поэтическим темпераментом и одновременно мягкостью, светом женственности, метко названной И. Сельвинским «мужественной женственностью».

В чем-то Г. Николаева, несомненно, «опередила», как отметил Н. Тихонов, и «поэтов старшего поколения, и поэтов-фронтовиков». В ее поэзии сочетались уже чуть отдаленный взгляд на войну и начало мира, воспоминание и действительность победного дня. В них не было жесткой конкретности, реалий фронтового быта, их душевный настрой как бы отталкивался от воспоминаний:

Если я, ослабев, затоскую,
Если мысли собьются, темны,
Вспомню Волгу, купель огневую,
Чьей святынею мы крещены...

Эти строки были написаны тогда, когда еще бесконечно далеким казалось завершение войны.

Поэзия Г. Николаевой удивительно проста, но не однозначна — в ней всегда есть «вторая глубина», особенно заметная в одном из самых сильных ее стихотворений — «Суховее». Оно читается как отклик исстрадавшейся женской души на солдатскую мольбу о верности и вере, долетевшую из боев. Здесь мы слышим и голос надежды, и плач, словно исполненный предчувствием уже свершившейся утраты.

...О, лишь бы знать!.. На все хватило б сил.
Ты жив, ты будешь жить. О, лишь бы знать!
Тревоги жар мой мозг испепелил.
Знать. Дверь открыть. Увидеть и обнять.

О, лишь бы знать! Тревога все сильней.
Горька полынь. И кровь моя горька.
Все степь да степь. Жестокий суховей.
Полынь. Песок. Мертвящая тоска.

Тетрадь стихов, изданная в 1945 году, была пределом того, что Г. Николаева могла и хотела сейчас, сразу после войны, сказать о пережитом как поэт. Ее талант был устремлен в будущее. Тема войны навсегда останется в ее творчестве: так или иначе прозвучит она и в «Жатве», и в «Битве в пути», и в «Рассказах бабки Василисы». Но стихи как бы отступают на второй план: лишь в 1955 году они снова появятся в одном из номеров журнала «Знамя» под заголовком «Через десять лет».

«Так часто бывает,— говорила об этом М. Алигер,— человек, начавший стихами, активно живущий, глубоко думающий и чувствующий, сталкивается на жизненном пути с материалом, который, взволновав его, увлекая, требуя от него выражения и осмысления, не укладывается, однако, в стихотворную форму, требуя другого жанра, других образных средств...»

В августовском номере «Знамени» за 1945 год появляется рассказ «Гибель командарма». Он стоял как бы особняком в ряду военных рассказов, повестей и романов, выходивших в то же время. В нем не было ни черт документальности, свойственных «Молодой гвардии» А. Фадеева или «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого, ни подчеркнуто подробных описаний военного быта, так характерных для «Спутников» В. Пановой. Впоследствии, уже в 1947 году, стало ясно, что ближе всего «Гибель командарма» оказалась «Звезде» Э. Казакевича: их объединял своеобразный лирико-романтический настрой, высокая романтическая нота, звучащая в унисон с конкретностью: все это создало и в «Звезде» и в «Гибели командарма» исключительно глубокий подтекст. О рассказе Г. Николаевой писали: «Он был бы отличным, если бы даже был придуман, но все-таки так придумать нельзя». Такова была атмосфера подлинности, воссозданная в рассказе, но нисколько не приземлившая его.

Скупой на похвалы Э. Казакевич, прочитав «Гибель командарма», послал автору письмо: «Это действительно превосходная вещь. Незабываема та река, и тот тонущий пароход, и тот мальчик с винтовкой, и та женщина, все понявшая и почувствовавшая. И прекрасен автор, стоящий над всем этим,— автор строгий, чувствительный, почти плачущий и уверенно спокойный... Эта маленькая «Смерть» останется в той большой литературе, в которую не влезут иные большие книги, ныне признаваемые повсеместно».

Рассказ замечателен прежде всего необычной позицией автора. Он не ведется изнутри событий даже тогда, когда автор повествует о происходящем как непосредственный свидетель. Автор словно стоит над событием — и рассказ укрупняется, выходя из рамок быта и обретая значительность бóльшую, чем значение единичного факта.

Подлинным величием проникнут образ главного героя, танки-

ста Антона: тяжелое ранение лишило его надежды на будущее, но сила его человеческого достоинства и спокойного мужества такова, что он не только не склоняется перед обстоятельствами, но и подчиняет их своей воле, погибая так, как велит ему долг солдата.

Рядом с Антоном люди становятся сильнее: врач Катерина Ивановна, жившая до поры, словно не впуская в себя ритм и смысл общего великого дела, просто честно исполняющая свои обязанности — и только, осознала себя как малую частицу сражающегося за всечеловеческую свободу народа лишь рядом с Антоном.

Рассказ поразительно чист и прозрачен; удивительно тонко, бережно Г. Николаева написала о любви, возникшей между Антоном и Катериной Ивановной, главными героями «Гибели командарма», о той истинной любви, которая основана на извечном желании женщины быть защищенной и уверенной в себе рядом с любимым человеком и на столь же извечном чувстве ответственности мужчины за покой и безопасность любимой женщины. Лирическая линия рассказа сильна и полнокровна, хотя и «прочерчена» как бы на втором плане повествования.

Эти качества рассказа сделали его ныне хрестоматийным.

В течение двух последующих лет Г. Николаева занята активным поиском своей темы в творчестве, новых, современных характеров, героев, занятых мирным, созидательным трудом.

Она продолжает работу над рассказом: «На кухне», «Москвичка», «Альвик», «Детство Владимира» насыщены точно подмеченными живыми деталями, психологическими наблюдениями. Но им не дано было подняться до уровня «Гибели командарма», по которому долго еще критика меряла все, что было впоследствии создано писательницей.

Жизнь ставила перед литературой новые проблемы, предлагала все новый и новый материал. Начиная с 1947 года заметное место занимают в творчестве Г. Николаевой очерки, которым свойственна действенность, наступательность, художественная выразительность. В 1947 году по заданию журнала «Знамя» Николаева едет в длительную командировку по северным колхозам Горьковской области.

Очерк «Колхоз «Трактор» стал значительной вехой не только на творческом пути писательницы; он является своего рода этапным произведением в развитии советской публицистики послевоенного периода. Общественный резонанс, вызванный появлением этого очерка, можно и сейчас назвать исключительным: опубликованный в мартовском номере «Знамени» за 1948 год, он сразу же был целиком перепечатан в трех номерах газеты «Правда», а спустя год «Сельхозгиз» издал его отдельной брошюрой.

Печать широко откликнулась на очерк, отмечая в нем те

черты нового, на которые особое внимание обратила Г. Николаева: новый тип колхозного руководителя, приток свежих сил в колхозы, пусть еще немногочисленный, но уже действенный, и рост народной инициативы.

В процессе работы над очерком «Колхоз «Трактор» начал формироваться замысел одного из крупнейших произведений писательницы — романа «Жатва». Позже Г. Николаева писала: «Исходя из желания встать на трудный участок и сделать как можно больше для нашего общего дела, которым жили вокруг меня миллионы советских людей, я стала обдумывать тему и материал для романа. Февральский пленум 1947 года, остро поставивший вопрос о послевоенных трудностях в колхозном строительстве, указал мне на тот трудный участок, который я искала».

Она побывала во многих колхозах, еще не оправившихся после войны, в том числе и в южных. О колхозе Кировской области «Красный Октябрь» ею написан еще один очерк «Черты будущего», также опубликованный в «Правде». Изучая проблемы колхозного строительства, Г. Николаева обращается к работам В. И. Ленина, в них ища путь к решению сложнейших проблем. Она изучает статистические данные, графики, сводки, отчеты колхозов: «Я поняла, что успехи колхозного строительства целиком зависят от организационной и партийной работы. Мне рассказали об этом и живые люди, и наглядные факты, и убедительные цифры...»,— подчеркивала Г. Николаева в статье «Как я работала над романом «Жатва». В этих словах читатель наверняка заметит столь характерную для писательницы способность жить не столько сегодняшним, сколько — прежде всего! — завтрашним днем.

Роман полон живых голосов реальных людей: председатель колхоза «Трактор» Бушаев стал прототипом Василия Бортникова, в образе Авдотьи есть черты зоотехника Корчагиной, в агрономе Валентине Стрельцовой узнавалась Валя Гусева. Но Г. Николаева не занималась списыванием с натуры, «копированием»,— она создавала обобщенные художественные образы, пользуясь богатством всех своих впечатлений, накопленных в период сбора материала. «Мне кажется,— признавалась писательница,— что у моего романа сотни авторов».

«Жатва» отличается тонким психологизмом и глубоким постижением духовного мира героев. Возвращение Василия Бортникова в родной дом, где его считают погибшим, решается Г. Николаевой остро драматически. Художник-реалист, она главное внимание концентрирует на мужественном преодолении героями тех трудных, сложных, запутанных жизненных обстоятельств, в которые поставило их время и война. Непросто Василию Бортникову преодолеть в себе духовное наследие «бортниковского гнезда», трудно заставить себя увидеть в Авдотье Бортниковой деятельного, самостоятельно мыслящего,

имеющего право на выбор человека. Трудно и Авдотье преодолеть привязанность к Степану Мохову и вернуть себе утраченную, единственную на всю жизнь любовь к мужу, которая к финалу романа с новой силой возрождается в сердцах героев.

Жизнь столкнула Г. Николаеву с горькими явлениями — и она честно писала о них. Одной из ключевых глав «Жатвы» была глава «За Любаву Большакову», в которой лучшая колхозница, потомственная крестьянка, солдатская вдова собирается покинуть колхоз «Первомайский», не имея возможности прокормить в нем детей. Однако роман увидел свет без этой главы. Позднее, в статье «О специфике художественной литературы», появившейся в «Вопросах философии» в июне 1953 года, писательница отмечала: «Центральным местом моего романа «Жатва» была глава о том, как уходит из колхоза... Любава Большакова. В этой главе полным голосом ставился вопрос о правильном соотношении материальной заинтересованности колхозников с идейно-политической работой партии в деревне... Под натиском редакции я в конце концов не выдержала характера и изъяла главу из романа. Я сделала это, хотя великолепно понимала, что именно эта глава является центральным местом романа, написанного об отстающем колхозе. Именно в этой главе я ближе всего подошла к раскрытию сущности описываемого явления, к анализу причин отставания некоторых колхозов... Именно к этой главе я «стягивала» композиционно другие «конфликтные» линии романа. Так, отступив от жизненной правды, я нарушила свой писательский долг и поплатилась за это тем, что сама сделала свой роман слабее, чем он был...»

К сожалению, писательница не дожила до публикации романа в полном рукописном виде, осуществленной лишь в 1981 году.

«Жатва» — сложное произведение. Несомненным его достоинством, связанным с вйдением долговременных процессов в развитии нашего общества, является тот факт, что в трудное послевоенное время писательница сумела показать, как стремительно поднимается колхоз «Первомайский» к высотам благополучия и успеха. Этому можно найти объяснение и в характерах героев и в самом существе замысла, расшифровывающемся названием романа: жатва — не только страдная пора для крестьянина, жатва — это и время созревания и созерцания реальных плодов тяжкого труда целого года. Галина Николаева так и строит свой роман: ее герои трудились недаром, они вознаграждены за усилия, за порыв к новому, к лучшей жизни.

Роман сыграл важную роль в развитии литературы пятидесятых годов. В 1951 году «Жатва» была удостоена Государственной премии СССР I степени.

После успеха своего первого романа Г. Николаева много и плодотворно работает как публицист: она пишет статьи, очерки, выступает на конференциях, отстаивая право писателя на «активное вторжение в жизнь», на деятельное участие в процессе

преобразования человека, на создание «образа, могущего стать положительным примером».

Писательница была убеждена в том, что «современность требует... быстрого, оперативного ответа на большие жизненные проблемы», которые литература не могла решить, не выработав нового по сути, трезвого, реалистического подхода, не найдя новых художественных средств. 1953—1956 годы характерны общественной потребностью глубинного осмысления ряда событий минувших лет, необходимостью ответить на вопросы будущего. В литературе на одно из первых мест выдвинулись писатели, творчество которых всегда было отмечено высокой гражданственностью и остротой, такие, как В. Овечкин, Г. Троепольский, Е. Дорош, С. Антонов.

Одной из первых на передовую линию огня вышла Г. Николаева. Категорически не приемля позицию тенденциозно-негативного изображения времени, благодаря которой создавалось ложное представление о неразрешимости многих противоречий, о сущности образа советского человека, писательница настаивала на своем праве на творческую самобытность: «Способность видеть — это такая же правомерная часть таланта, как и способность описывать увиденное... Отнять у меня свойственное мне видение людей — значит отнять у меня мое писательское лицо». Движимая стремлением узнать как можно больше о молодом поколении, в котором ей видятся черты «нового героя времени», Г. Николаева в 1953 году едет в Краснодарский край и на целину, ставшую для последующих поколений символом эпохи. Писательницей задумано новое произведение о комсомольцах-целинниках. Уже тяжелобольная, Г. Николаева находит в себе силы «добирать и добирать материал», встречаться с людьми, вновь и вновь со всей свойственной ей тщательностью и объективностью вникать в цифровые данные.

«Повесть о директоре МТС и главном агрономе» стала заметной вехой на пути литературы к созданию образа положительного героя.

Г. Николаева одна из первых в советской литературе обратила внимание на важнейшую черту этого поколения: оно стремилось к ответственности, сознавая себя «как главную созидающую силу времени», и бесстрашно шло на любые конфликты с пошлостью, мещанством, ложью и показухой, не боясь быть побежденным, зная, что за ним — правда.

Настя Ковшова, хрупкая «девочка с косичками», берет на себя «груз не по силам»: она вступает в настоящий бой за благополучие отстающего колхоза с людьми, отвыкшими работать «по совести». «Неподобная агрономша», как называют Настю Ковшову ее недруги, готова на все ради того, чтобы люди в «ее» колхозе не голодали и не зависели от капризов недобросовестных «руководителей», не видящих за цифрами людской беды. В Насте с ее верой в правоту своего дела,

жертвенностью во имя общего блага, прямотой и принципиальностью, которую без преувеличений можно назвать героической, Г. Николаева сконцентрировала все лучшее, что было в комсомольцах шестидесятых годов.

«Повесть о директоре МТС и главном агрономе» читатели называли «поэмой в прозе», так высок и светел был ее романтический настрой.

В повести было и еще одно открытие — образ противника Насти Ковшовой, циничного, ловкого демагога Аркадия Фарзанова, более всего ценящего собственный покой. На счету Фарзанова — так называемая система «уховухости», движения «ухо в ухо» с теми, кто тебя окружает: нельзя быть последним — за это наказывают, но нельзя быть и первым — это обязывает к большему. Система Фарзанова становится тормозом на пути всякого развития, она развращает тех, кто мог бы работать лучше и стремиться к большему. Писательница подчеркивает безнравственную, бездуховную, чуждую рабочему человеку сущность «фарзановщины», которую правомерно было бы определить как одну из форм воинствующего прагматизма и мещанства.

«Повесть о директоре МТС и главном агрономе» обращена прежде всего к молодому читателю, с юным энтузиазмом и отвагой дающему отпор «фарзановщине». Произведение завершается страстным, публицистическим монологом автора:

«Пусть у этого рассказа будет точный адрес!

Юноши и девушки, идущие Настиными дорогами, он адресован вам!

Каждый на своем поле — воин, потому что для Насти нет одиночества на земле, потому что с такими, как она,— партия, потому что рядом миллионы таких же юношей и девушек, а из них составляется армия, которая побеждает в борьбе за хлеб, за мир, за нашу большую правду».

Такова жизненная позиция автора.

Едва завершив «Повесть о директоре МТС и главном агрономе», Г. Николаева сразу же включается в работу над романом «Битва в пути» (1957).

Этот многоплановый и многогранный роман заставляет осмыслить «свою жизнь как каплю общенародной жизни, трудной, но счастливой»; оглядываясь на прожитое, читатель «Битвы в пути» непременно должен будет ответить себе на главный вопрос эпохи — что должно уйти из времени навсегда и что должно остаться в нашем времени, как непреходяще-вечное?

«Битву в пути», воспринятую поначалу как «производственный» роман, теперь справедливо относят к числу немногих современных социально-философских романов. Он явно выделялся среди так называемой производственной прозы того времени («Труд» А. Авдеенко, «Новый профиль» А. Бека, «Братья Ершовы» В. Кочетова, «Горячий час» О. Зив).

«Производственный» конфликт романа, основанный на чисто

технической проблеме «летающих противовесов», необходимых в тракторном двигателе для стабилизации хода, но при определенных условиях, благодаря неучтенным силам инерции, разносящих вдребезги моторы, становится как бы символом ряда глубинных конфликтов, нашедших отражение в этом произведении. Сила инерции, не принятая в расчет, приводит к еще более серьезным авариям в сфере общественных отношений, в личной жизни людей.

В коллективе, куда приходит на должность главного инженера Дмитрий Бахирев, действует инерционная сила привычки к замалчиванию недостатков во имя ложно понятой «чести завода». Инерция восприятия заставляет коллектив завода терпеливо сносить барские, местнические замашки директора Вальгана. Инерция заставляет рабочих противиться новому методу литья. Г. Николаева строит свой роман так, чтобы читатель видел, как эти опаснейшие «силы инерции» используются в интересах Вальгана и его окружения, живущих прошлым и за счет прошлого.

Самыми значительными в романе являются образы Вальгана и Бахирева.

В Бахиреве, выросшем на той же почве, что и Вальган, как в фокусе собралось все, чему суждено жить и развиваться на благо общества.

Вальган, приверженец старого, вынужден отступить перед Временем, образ которого явственно прочитывается в контексте «Битвы в пути».

Но роман не только исследует конфликты переломного момента эпохи: в нем прочитывается и предупреждение — отступление Вальгана временно, он сумеет, уйдя в тень до поры, собраться с силами и появиться в новом времени и в новых условиях, сменив обличье.

Позиция Бахирева в схватке с Вальганом проста. Бахиреву не нужно «убирать» Вальгана, добиваясь власти, которой так дорожит его соперник: власть сама по себе безразлична Бахиреву, его интересует дело и люди, которые вместе с ним готовы бороться за то, чтобы дело это вершилось чистыми руками. Власть для Бахирева — лишь средство, дающее широкие возможности для того, чтобы организовать работу как можно лучше. Бахирев — по сути своей демократичен, его демократизм глубоко органичен, в нем нет ничего от «формы», о которой так печется Вальган.

Вспомним, что Бахирев в годы войны отказывается от Государственной премии, так как видит несовершенство новой модели танка. С той же последовательностью и принципиальностью ведет он себя и в мирное время на тракторном заводе.

В финале романа мы видим, что за Бахиревым идет весь завод, тот самый рабочий класс, которому он родствен по духу, потому что сам он — рабочий человек в лучшем смысле слова.

За Бахиревым — Время, требующее от людей прежде всего

честности и духовности. В этом образ Бахирева абсолютно современен, он принадлежит не только своему времени, но и завтрашнему дню.

Глубоко значителен и второй план романа. Отношения Тины Карамыш и Дмитрия Бахирева — повод для размышления о том, на каком нравственном уровне должны строиться семья и любовь «новых» людей, живущих по высоким мерам долга и чести. Любовь — пробный камень, на котором проверяются герои Г. Николаевой. Ни Тина, ни Бахирев не могут допустить лжи и фальши даже во имя спасения своей любви. Они понимают, что великое чувство, владеющее ими, не может строиться на несчастье близких. Расставаясь, они спасают главное в себе и в своих отношениях — чувство человеческого достоинства и гордости друг за друга. Писательница наказывает своих любимых героев этим разрывом не за то, что они полюбили, будучи связанными обязательствами перед семьей, а за то, что не дождались в юности своего настоящего счастья, приняв чувство обычной привязанности и тепла за любовь.

В восьмидесятые годы определился новый взгляд на это произведение. В нем найдены проблемы, звучащие именно сейчас, в век научно-технического прогресса, обостренно-актуально. Любая «производственная» линия «Битвы в пути» — будь то история Сережи Сугробина и его бригады, или несколько второстепенных на первый взгляд, «проходных» эпизодов с земледельщицей Ольгой Смирновой — отражает в той или иной степени какую-либо из насущнейших проблем сегодняшнего дня. Это и проблема использования «человеческого фактора» как важнейшей силы, способной обеспечить стойкий рост производительности труда. Это и проблема связей производства непосредственно с потребителем. Это и вопрос оплаты по реально вложенному труду.

Создание многопланового, монументального романа «Битва в пути» можно назвать писательским и человеческим подвигом Г. Николаевой,— она писала его, находясь буквально между жизнью и смертью. Ей удалось закончить роман: «битва в пути» была ею выиграна.

Последним завершенным произведением стали «Рассказы бабки Василисы про чудеса», где писательница впервые обращается к совершенно новому для нее жанру притчи. У каждого рассказа Василисы есть скрытый от невнимательного глаза, сокровенный смысл, приближающийся порой к серьезному философскому обобщению. Таковы рассказы «Без зубов, а с костьми съест» и «Талант».

«Рассказам бабки Василисы про чудеса» писательница придавала большое значение, справедливо считая, что здесь ей удалось проникнуть в глубины социальных процессов нашего общества и еще ближе подойти к истокам русской народной речи, гибкой,

разнообразной, меткой, той, которой радовалась она еще в деревенском своем, раннем детстве.

«Василисе — восьмой десяток,— писала Г. Николаева,— родившись в глуши отсталой, полуфеодальной России и прожив в ней треть века, Василиса руками своих детей и внуков прикоснулась к коммунизму».

Эта интереснейшая историческая тема решается прежде всего языковыми средствами, путем объединения в речи Василисы старых и новых слов. Как стилистический прием используется анахронизм. Происходит смешение старинных пословиц и современных ходовых присловий. Язык бабки Василисы — отражение ее внутреннего мира.

«В людях, подобных Василисе, необычайно привлекает меня то, что черты русского национального характера обогащены в них духом советского времени»,— подчеркивала писательница.

Трудно точнее выразить общий смысл шести новелл, составивших «Рассказы бабки Василисы про чудеса». В книге ощущается та «неутопная волна» соленого озера жизни, образ которой возник у Николаевой еще в «Жатве»,— «неутопная волна» людской поддержки, веры, истины. «Русскому характеру,— отмечала Г. Николаева,— присуще своеобразное, как бы даже противоречивое единство ума трезвого, беспощадного, насмешливого с душевной потребностью и способностью жить высокими идейными помыслами».

Бабка Василиса — едва ли не самая любимая героиня писательницы. Это о ней Г. Николаева писала: «Люблю ее милую душу, такую русскую в ее самоотверженной доброте и жесткой правдивости, в ее боевой ярой потребности в справедливости, в ее умении все понять, над всем усмехнуться, в сочетании наивной веры с острой прозорливостью». Писательница постоянно искала общения с людьми, подобными бабке Василисе, и верила, что в каждом человеке есть чудо — чудо души, особенно ярко раскрывающейся в труде.

Она и сама не переставала так же напряженно, истово работать до последнего дня: каждый ее замысел, даже неосуществленный до конца, поражает новаторством мысли и подхода к теме, всегда современной и насущно необходимой.

В последние годы жизни Г. Николаева начинает работу над романом о физиках. Она встречается с учеными, изучая, впрочем, не столько их быт и характеры, сколько самый дух современной науки. Ее знания поражали специалистов глубиной и обширностью. Сохранилась первая, законченная глава романа «Я люблю нейтрино», в которой уже угадываются контуры интереснейшей проблемы связи науки с современной деревней.

Не оставляет Николаева и работу над стихами, с которыми, несмотря на отсутствие публикаций, она никогда не расставалась. Стихи словно жили вместе с нею, становясь все глубже, серьезней, философичней. Утратив непосредственность и откры-

тость первых военных вещей, они тем не менее оставались всегда до конца честными и искренними. В них все ощутимее становилось состояние души человека, знающего, что он обречен, но беззаветно любящего жизнь и людей и благодарного судьбе за каждый прожитый день и час.

Но не только раздумья о жизни и смерти, о любви, скрасившей ее последние годы, занимают Галину Николаеву. В них находят выход и ее редкостный гражданский темперамент и чувство долга, всегда остававшееся в ней главным. Она пишет в своих последних стихах о жизни страны, о смысле творчества. В цикле «О самом главном» она говорит:

«Перебор, перебор, перехлест,
Пересол! Все в словах твоих «пере»,—
Говорят мне.
Я наперекрест
Отвечаю: «У вас, коль проверить,
Недодум, недодел, недомолв,
Недосол.
И на множество «недо».
Поневоле в задел и на стол
Нужно «пере»!
Солонкой к обеду!»

Пожалуй, это одна из самых точных самохарактеристик Г. Николаевой (в Насте Ковшовой, в ее непримиримости, люди, близко знавшие Галину Евгеньевну, узнавали ее саму). Однако это не только и не столько «самохарактеристика», сколько писательское кредо, которому она следовала всю свою творческую жизнь.

В стихотворении «Идея» писательница продолжает эту же тему, говоря о нравственной необходимости идти во всем до конца, об опасности, которую таит в себе уклончивая половинчатость:

Что нынче греет и движет сердца?
Та правда, что с грузом
сквозь топь — до конца.
Свобода. Дыханье весны соловьиной.
... И нет между тем и другим половины,
Как нет полуправды
и нет полулжи!

Слепота и страх — их не было в душе Галины Николаевой, как не было в ней и половинчатости: она была поразительно цельным человеком.

Общение с поздней лирикой Г. Николаевой открывает нам насыщенный, скрытый ранее от постороннего глаза, светлый и разнообразный внутренний мир писательницы.

Одной из удивительных книг Г. Николаевой стала последняя работа — «Наш сад». Начало ее пришлось на 3 марта 1961 года, когда дни были сочтены и писательница, врач по об-

разованию, понимала это как никто из близких. Ей, привыкшей к постоянным командировкам, поездкам, встречам с самыми разными людьми, несомненно, была тяжела вынужденная неподвижность. В это время у нее появилась неожиданная радость: небольшой сад на дачном участке в Барвихе. Поначалу последняя прозаическая работа была задумана как календарь — в нее должны были войти народные погодные приметы, наблюдения над жизнью растений. Вскоре у «Летописи сада» (таково было первоначальное название этого дневника) появился подзаголовок: «Сад, искусство, любовь». Это уточнение было сделано для себя — в процессе работы Г. Николаева снимает его и называет рукопись просто и емко «Наш сад».

Здесь отразилось мужество и редкостная сила творческой личности. Писательница постоянно держит себя «в рабочем состоянии»: она не позволяет себе предаться отчаянию и слабости. В мыслях о будущем, об искусстве она черпает силу для преодоления боли: «Что такое искусство? Самое прекрасное в мире?.. Почему боль тоже входит в большое искусство?.. «Не ворошен жар под пеплом лежит»,— говорит моя бабка Василиса. Ворошить жар под пеплом — это и есть искусство?»

Писательница нашла точное слово: в каждой новой своей записи она «ворошит жар под пеплом», заставляя ярче разгореться огонь благодарности и восхищения жизнью, заставляя читателя новыми глазами взглянуть на мир и проникнуться пониманием его непреходящей ценности.

«От цветка к цветку» идет Николаева, отсчитывая последние дни и часы, из которых каждый дорог и неповторим. Сад словно сопровождает ее на этом горьком пути.

«Наш сад» — своеобразная «оптимистическая трагедия», повествующая о судьбе крупной, сильной, яркой личности, замечательного и подлинно творческого человека.

Читатель никогда не расставался с книгами Г. Николаевой, никогда не утрачивал к ним интереса, находя в них ответ на многие серьезнейшие вопросы жизни. Ее герои, люди сороковых, пятидесятых, шестидесятых годов, не состарились со временем. В них мы видим истоки высокой нравственности, составляющей во всякое время основу образа положительного героя, стоящего на активных жизненных позициях.

«Совесть, если она неподкупна, скажет одно: делай!.. Делай! Украшай землю и жизнь. Сей хлеб, если ты агроном, строй ракеты, если ты ракетчик, борись за большую правду, за добро и справедливость, если ты писатель»,— так Г. Николаева понимала искусство. Так она понимала работу. И только так она понимала жизнь.

В. ЮСОВА

РАССКАЗЫ

Гибель командарма

I

Когда с парохода выгрузили последнего раненого, врач Катерина Ивановна сразу ослабела от усталости. Цепляясь каблуками за обитые металлическими полосками края ступеней, она поднялась в свою каюту; не снимая халата, села на стул и с наслаждением сбросила туфли.

Узкая каюта была освещена оранжевым светом вечернего солнца. На второй полке золотисто поблескивал длинный ряд тарелок — завтрак, обед и ужин, поставленные санитарками.

Катерина Ивановна взяла одну из тарелок и попробовала гуляш с кашей. Каша липла к небу и пахла мазутом. Скинув халат, Катерина Ивановна легла в постель. Все тело ее гудело, в каждой мышце пульсировала застоявшаяся кровь, но, несмотря на усталость, на тяжелый рейс и выгрузку, ее не покидало чувство облегчения. Муж написал ей, что на полгода отозван с передовой в тыл, на учебу в родной город. За год войны и разлуки Катерина Ивановна привыкла к тревоге за мужа, казалось, даже перестала ощущать ее и, только прочитав письмо, по охватившему ее чувству радости поняла всю тяжесть гнета, под которым жила этот год.

Катерина Ивановна закрыла глаза, и сейчас же перед ней поплыли повязки. Перевязанные руки, ноги, головы, повязки шинные, гипсовые, простые с необыкновенной ясностью и отчетливостью плыли перед ее глазами.

Когда-то в детстве, после того как она ходила за грибами, грибы появлялись перед ней так же сами по себе, стоило только ей смежить веки.

Повязки плыли длинной вереницей, потом стали быстро разматываться, и сквозь головокружение пришел сон. Она спала недолго: ее разбудил голод.

Пароход вздрагивал и покачивался. Совсем рядом, у окна, голос, одновременно и усталый и возбужденный, говорил:

— Я гляжу, он, черт конопатый, мне на комбижир тару навешивает.

Другой голос самодовольно и авторитетно сказал:

— Это у них не документ. Штамп — не печать. Подбавь вишневого.

Это начпрод с бухгалтером пили чай на палубе.

Катерина Ивановна села и увидела неясные в сумерках, уплывающие дебаркадеры Казани и суетню маленьких черных людей, которая издали, с парохода, всегда казалась неоправданной и мелочной. На палубе у перил стояли сестры и санитарки, прощаясь с Казанью. Они еще не окончили уборку, у них были подоткнуты юбки, из-под юбок виднелись босые грязные ноги. Пустой пароход слегка кренило на сторону.

— С палубы разойдись! — донесся сверху властный и безразличный голос капитана.

И сейчас же вслед за ним заверещало старческое сопрано капитанши, прозванной командой «Мы с капитаном»:

— Капитан говорит: с палубы разойдись. Не видите, палубу перекосило? И чего глядеть? Казань как Казань, который раз едем! Бомбило ее или она горела, чтобы на нее смотреть? Разойдись с палубы,— капитан говорит! Нет у вас никакого понятия! Мы с капитаном тридцать лет по воде ходим, а таких безобразиев не видали. Это разве команда? Женчины!..— заключила «Мы с капитаном» с таким глубоким презрением, как будто сама она была по меньшей мере мужчиной.

Это презрение относилось не ко всем женщинам вообще, но в частности к начальнику СТС[1] Евдокии Петровне. «Мы с капитаном» никак не могла примириться с тем, что здесь, на пароходе, над ее мужем есть начальник, а то, что начальник этот женщина, казалось капитанше личным оскорблением.

Евдокия Петровна — красавица с добрым и честным лицом — стояла тут же. Она прекрасно понимала, к кому относятся сентенции капитанши, и неслышно, добродушно посмеивалась. Катерина Ивановна представила себе обрюзгшее лицо капитанши на ее боевом посту — в окне капитанской каюты,— тихонько засмеялась и стала есть. Теперь каша ничем не пахла и показалась ей даже сладкой. Она съела гуляш, борщ, колбасу, компот и удивилась, зачем люди подогревают пищу, когда холодное гораздо вкуснее. Потом она разделась и уже окончательно легла спать. Но сон не приходил.

Ей вспомнился юноша-боец, у которого были выжжены оба глаза и сорвана нижняя челюсть так, что обрывок языка свободно лежал на изорванных мышцах. У юноши не было лица, но тем выразительнее были его руки.

---

[1] СТС — санитарно-транспортное судно.

Красивые бледные кисти то тихо лежали вдоль тела, то слегка приподнимались зовущим движением, словно просили помощи. Длинные пальцы пытались ухватиться за воздух. Руки звали и кричали без звуков. И, точно отчаявшись, падали на одеяло. Воспоминание было так ужасно, что Катерина Ивановна застонала. С таким воспоминанием нельзя было жить — можно было только убивать или умирать. Убивать от ненависти или умирать от жалости. А сейчас, когда она бессильна и помочь и отомстить,— нельзя было помнить.

Чтобы прогнать мучительный образ, она стала вспоминать последнюю сводку. Враг неуклонно шел к Сталинграду. И на миг ее охватило чувство страшной безнадежности. Усталость, тяжелая атмосфера крови и муки, в которой она жила, жестокие слова сводок — все это словно душило ее, и она почувствовала близкие слезы. Надо было найти силы, чтобы не плакать, чтобы надеяться, чтобы жить. Источником этих сил, как всегда, было прошлое. Она позвала на помощь мысли о муже. Муж был красивый, смуглый, веселый. Он звал ее дочкой и любил укладывать спать. Для этого он стаскивал ей в кровать подушки со всех диванов и кушеток, укрывал ее двумя одеялами и сверху придавливал тяжелой медвежьей полостью. Упаковав ее так, что она едва дышала, он удовлетворенно оглядывал свою работу и со счастливым лицом садился заниматься. Он любил заниматься в той комнате, где она спала. Он был инженер и прораб, он не любил кабинетной работы и мог дышать только в атмосфере стройки. Кроме того, он был ругатель и плут. Первое она знала по рассказам, а во втором с горечью убедилась из личных наблюдений. Он не мог переносить вида плохо лежащих стройматериалов. Ему ничего не стоило погрузить и увезти какие-нибудь чужие трубы, оставленные без охраны. Когда она упрекала его, он утверждал, что забрать эти трубы ему «сам бог велел» и что таким образом он борется с разгильдяями. Она пыталась внушить ему, что при социализме нет чужих строек, что все стройки одинаково свои. Но, несмотря на привычку во всем соглашаться с ней, он категорически отказывался считать чужие стройки своими. «Своя» была только одна стройка, и она должна была быть самой лучшей.

Он слушал ее нравоучения, склонив голову набок, и поглядывал на нее добродушно и недоверчиво, как большой пес смотрит на щенят, потом, вздохнув, он говорил:

— Дочка, я же перевоспитался — не пью, не курю, ноги вытираю. Больше не надо меня перевоспитывать, ладно?

По его виду ей становилось ясно, что человеческое совершенство имеет свои пределы, и она со смехом начинала целовать смуглые прохладные щеки. При этом его мужское, грубоватое и красивое лицо приобретало такое младенческое счастливое выражение, что она готова была простить ему еще тысячу «пережитков капитализма» в его сознании.

Когда она уезжала в командировки, он писал ей длинные письма, полные строительных терминов, наивных нежностей и непритязательных шуток.

Когда она приезжала, он встречал ее на вокзале, и всегда он был самым большим и красивым мужчиной с самым большим и красивым букетом цветов на всем перроне. Он шагал по перрону, улыбаясь ей во всю ширину своего великолепного рта, и размахивал как придется букетом, который держал так, как держат веник,— головками вниз. Цветы вылезали из букета и падали на перрон. Потом они ехали домой, и, осыпая ее вопросами и поцелуями, он то и дело говорил шоферу: «Ну-ка, Вася, подрули к грузовичку!» — и, поравнявшись с грузовиком, кричал: «Эй, борода, кому железо везешь?» — «На девяносто третий, Иван Петровичу».— «Это все железо или еще есть?» Откинувшись на сиденье, он соображал: «Дочка, придется сообразить литра на полтора горючего. Иван Петрович крепкий мужик, его по-сухому не обойдешь». Она, вздохнув, кротко соглашалась. Она не любила этих выпивок с малокультурными, грубоватыми людьми, но он утверждал, что в строительстве «без горючего» нельзя, и она кротко терпела. Совсем разные люди, они были необходимы друг другу, как воздух. На первый взгляд любовь их могла показаться ребячливой и поверхностной. Но в действительности их привязанность была глубока, верность друг другу — абсолютна, взаимное понимание — совершенно, и связь их друг с другом была так же органична и нерушима, как связь матери и ребенка. И сейчас, как всегда, воспоминания о счастливом прошлом были для Катерины Ивановны тем живым родником, который возвращал силы. Освеженная ими, она вздохнула и неожиданно подумала: «Нет, мне не страшно умереть. Счастья, которое было у меня, другим хватило бы на сто лет». Она заснула легким сном. Пароход быстро и мерно шел к Горькому. Ночью она часто просыпалась. Каждый раз быстро съедала что-нибудь. К утру все тарелки были пусты.

Утром она проснулась от яркого света. Бесчисленные солнечные зайчики играли на стенах и на потолке каюты — это Волга лучилась за окном и наполняла каюту отблесками живых волн.

Катерина Ивановна заботливо посмотрела на себя в зеркало глазами мужа,— понравилось ли бы ему ее лицо. Лицо было заспанное, бледное, но смешное и милое. Верхняя губа маленького рта слегка находила на нижнюю. Эта пухлая верхняя губа и слегка поджатая нижняя придавали ее лицу выражение детской серьезности и наивности, и это было особенностью ее лица, которую любил ее муж. Накинув халат, Катерина Ивановна пошла в душевую. Дверь из коридора на противоположную сторону палубы была распахнута, за дверью толпились девушки. Катерина Ивановна подошла к двери. Мимо проплывали дома и дебаркадеры, удивительно похожие на казанские.

«Ей-богу, Казань!» — подумала Катерина Ивановна и, вытаращив сонные глаза, ткнула пальцем по направлению к берегу и спросила:

— Это что?

— Казань,— ответили ей девушки со странным, нарочитым смехом.

«С ума сошла, из Казани выехали, всю ночь ехали, в Казань приехали»,— подумала Катерина Ивановна и, растерянно хлопая заспанными веками, совсем уже глупо спросила:

— А вчера что было?

— Рио-де-Жанейро,— ответили ей с тем же нарочитым смехом.

— Кончили курорт! — резко, даже зло сказала черная Вера, а спокойная, синеглазая Лена посмотрела на нее с жалостью и объяснила:

— Ночью на катере привезли приказ поворачивать и без остановок идти на Сталинград.

II

Танк трясло и качало на ухабах, но качка была мягкой, и беспокоила тишина. Деревья, дома, люди, отчетливо видимые, мелькали мимо, не оставляя следа в сознании.

Потом он снова оказался на Вороньей горе, и немецкие танки выползли из-за холма и пошли по шоссе к мосту. Тупорылые, они шли бесконечной вереницей. Ясно было, что здесь сосредоточены главные танковые силы немцев.

Сердце гулко ударило, и он подумал: «Вот оно!» Он глубоко вздохнул и почувствовал вкус речного воздуха и легкий освежающий запах тины. Не только умом и сердцем, но и всем телом он ощутил счастье с его внезапным холодом, с легким головокружением высоты, с желанием вдруг расхохотаться, гикнуть, закричать. Он испытывал властную потребность действия, подъем и

сосредоточенность всех сил. Он открыл огонь. Танки вспыхивали один за другим, горели сразу, объятые белым праздничным пламенем. Вся равнина внизу была опоясана их огненной цепью. Их белый огонь отражался в реке, в отражении становясь красным, и река плавилась и текла, похожая на раскаленный металл...

— Ваша история болезни! Ваша история болезни!— настойчиво сказал в упор чей-то голос.

Что-то пронеслось мимо него, и сразу все стало другим. Он увидел серые сходни, а под ними воду, покрытую перламутровой пленкой нефти.

В воде, остро блестя на солнце, покачивалась пустая консервная банка.

Это было случайно, не нужно, он не понял, что было сном, что явью, и снова захотел вернуться к тому ощущению счастья, которое испытал только что, но снова голос с навязчивой отчетливостью сказал:

— Больной не транспортабелен.

И кто-то ответил с ноткой отчаяния и усталости в голосе:

— Все равно!

Потом было что-то длинное и темное, вроде коридора. С одной стороны были двери, а с другой дыра, отгороженная металлическими поручнями. На краю дыры сидела с ног до головы выпачканная во что-то черное и маслянистое девушка в комбинезоне и ела яблоко, блекло-зеленое, странно чистое в ее черных руках. Одна из дверей противоположной стороны открылась, и там оказался повар с молодым длинным лицом и с бровями, черными и большими, как усы. Потом повеяло покоем и радостью, он увидел белые занавеси на окнах, а за ними Волгу— голубую, лучистую и, казалось, твердую. Пришла сестра и дала ему пить.

— Куда везут?—спросил он.

— До Казани. Вам удобно лежать?

Он не видел ее лица, но у нее была белая-белая, до блеска отутюженная косынка, и вид этой косынки приносил ему облегчение. Теперь он вспомнил все так, как оно было. Он подбил три танка. Это, конечно, не решило исхода сражения. Правда, танки больше не пошли на мост, они повернули к броду и пошли в том направлении, на котором их ожидали с вечера.

Ему захотелось узнать результат боя, и это желание было так нетерпеливо, что он приподнял голову и стал осматриваться.

— Что ты? Пить?—спросил сиплый голос, и толстое бабье лицо, блестя сплошным рядом металлических зубов, наклонилось над ним.

— Нет,— ответил он, откидываясь на подушку, и оглядел каюту с тем привычно-хозяйским интересом, который был ему свойствен всегда.

Человек с бабьим лицом был мужчиной. Лицо у него было неприятное. Маленький бесформенный нос, неестественно растянутые губы, металлические зубы — какая-то уродливая неподвижность всех черт, казавшихся дегенеративными, но из-под выпуклого лба маленькие глазки смотрели таким прямым, живым и пристальным взглядом, что Антон сразу поместил этого человека в разряд тех, кого он характеризовал одним словом «годится».

Рядом сидел молодой, сделанный из одних сухожилий парень. У него была та свободная, размашистая и в то же время сдержанная повадка, какой не бывает ни у танкистов, ни у пехотинцев, ни у летчиков и которая свойственна только кавалеристам-кадровикам. Кавалеристы всегда привлекали Антона. Не только в их внешнем облике, но и во всем строе их характера было что-то, что радовало его. И сейчас, как всегда, ему было приятно соседство кавалериста.

Четвертый в каюте был румяный лейтенант, который лежал на верхней полке. У него были высокие, круглые, надменные брови и маленький, пухлый, как у женщины рот.

Антон почувствовал усталость и снова закрыл глаза. То, что было рядом, казалось ему далеким и чужим. Его жизнь была не здесь. Его жизнь во всей ее полноте, во всей ее кипучей напряженности осталась там, у Вороньей горы, у развороченных бомбой элеваторов, в том скоплении и движении людей и металла, каждая деталь которого была ему близка и понятна. И, закрыв глаза, он снова зажил этой назначенной ему жизнью.

Он вспомнил вчерашний вечер, когда, закончив необходимые приготовления к бою, танкисты легли спать, а он, обдумывая план боя, вышел из ложбины и пошел по дороге.

Он был всего только командиром танка, недавно окончившим танковую школу, но в нем всегда жило ощущение боя в целом и всегда у него было чувство его непосредственной ответственности за исход битвы.

Еще школьником, едва войдя в класс, он уже видел все неполадки в жизни класса.

— Чего гудите, ребята? Бином не поняли? — весело спрашивал он, переступая порог класса, и его звучный голос легко покрывал голоса одноклассников.

— А ну, садитесь по местам — объяснять буду. Быстро! У меня чтобы по-военному. Закройте двери! Дали тишину!

— Есть тишина!—отвечали ему смеющиеся голоса, и класс замирал. Быстро и отчетливо он объяснял непонятное и заканчивал объяснение:

— Еще вопросы есть? Вопросов нет? Все ясно? Еще десять минут наши.—И он первый выбегал на школьный двор и затевал такую буйную мальчишечью возню, на которую девочки и учителя смотрели с внешним превосходством и с внутренней завистью.

Везде, где бы Антон ни появлялся, люди подчинялись ему весело и охотно, и с такой же веселой естественностью он руководил ими.

Антону доставляли неизменную радость обостренность внимания и отчетливость мыслей, нужные для руководства людьми.

В танковой школе, куда он попал с первых дней войны, товарищи шутя звали его «командармом» и всерьез верили в его большое будущее.

Чувство ответственности за происходящие события и захватывающий интерес к ним помешали ему спать в тот вечер. Он пошел бродить. Ему хотелось своими глазами увидеть ложбину, высоты и перелески, обозначенные на карте. Он бродил долго, но ничего интересного не увидел. На обратном пути он встретил десятилетнюю девочку, она побежала за ним, догнала, оробела и остановилась, переступая босыми ногами по росистой траве.

— Ты что?—спросил он ее.

— Гарбуз...—ответила она шепотом, вынула из мешка арбуз и протянула ему.

Они сели рядом и закусили арбузом.

— Где твой дом?—спросил он ее.

— Тамотка!—сказала она, указывая на запад маленьким грязным пальцем.

— А матка где?

— А матка тамотка,—указала она в противоположном направлении,—на бахчах. А хату немцы подпалили. И Дунька сгорела.

— Какая Дунька?

— Свинья. Поросая ходила. А мы с Вороньей горы глядели—там далеко видно.

Из разговора он выяснил, что Воронья гора стоит за мостом, что подход к ней возможен только с одной стороны, что по краю ее растет кустарник и идет каменный вал. По всем данным, пункт был очень удобен, но находился в тылу и гораздо восточнее предполагаемого удара.

С ночи танки ушли в указанном им направлении. Антон остался в резерве, а утром выяснилось, что немцы зашли в тыл и идут с юго-востока. Антон на своем танке был

послан наперерез, прорвался к Вороньей горе и взял под обстрел мост. Ему удалось подбить три танка и заставить всю колонну повернуть к обрыву. Все люди экипажа его танка были тяжело ранены, а он сам потерял сознание и не помнил, что было дальше...

Он неподвижно лежал на койке, продолжая жить жизнью своей дивизии, и все время ощущал какую-то помеху. Сделав над собой усилие, он понял, что этой неустранимой на его пути помехой является его тело. Тяжелое, пронзенное болью, оно жило отдельной от него жизнью и мешало ему. Минутами он терял сознание, и ему казалось, что оно множилось, что у него было бесконечное количество тел, что они наполняли каюту, и все они болели, и всем им было неловко.

— Я один, и койка одна! — шептал он тогда, пытаясь убедить себя, что устроить одного человека на одной койке не так уж трудно.

Стараясь улечься поудобнее, он сделал резкое движение, и сейчас же нестерпимая боль рванула его. И сразу стало легче, пришло забытье. И снова он летел куда-то на своем танке, сумасшедше быстро и бесшумно. Он прорвался на высокую гору, внизу была необозримая синева, снова сердце дрогнуло от счастья, и он сказал: «Вот оно!»

Но сухой отчетливый голос произнес сильно и горько:

— Танки! Да что танки без самолетов! Самолетов у нас мало. Самолетов!..

Эта фраза хлестнула его, сразу вернув ему сознание.

Она говорила о том, что было для него болью и горем все последние месяцы.

В танковой школе он влюбился в танк. Он вступал в свой первый бой с ощущением радости, гордости и веры в себя и в свою машину.

А через день немецкие бомбардировщики разгромили танковую колонну. Исковерканные машины, беспомощные и неуклюжие, как перевернутые черепахи, громоздились на изрытом поле, а он лежал, уткнувшись лицом в землю, в бессильной злобе.

И день за днем при сигнале «воздух» он с безнадежной жаждой смотрел в небо: «Хотя бы один свой самолет! Хотя бы один!» Но свои самолеты появлялись редко — их было мало. А без них так бесполезно было все то, чем он обладал и гордился! Его охватывало чувство унижения. Из-за отсутствия самолетов снижались его собственные качества, ограничивались возможности и судьба становилась маленькой и ничтожной.

Но даже в самые горькие минуты он знал, что скоро все будет иначе. Его вера в будущее была непоколебима. Этой верой он жил, и когда ему становилось очень

тяжело, он закрывал глаза и начинал думать о том, какими будут сражения через пять-шесть месяцев...

— У вас первое ранение? Мне кажется, я вас где-то видела,— спросил женский голос, такой свежий и мягкий, что, казалось, обладательница его должна быть обязательно с мокрыми волосами и с полотенцем за плечом.

Антон открыл глаза и увидел молодую женщину в халате и в белой шапочке. У нее было смугло-бледное полудетское лицо с коричневыми тенями под темными влажными глазами.

В лице, в голосе, в позе этой женщины было что-то удивительно мирное и домашнее. Она утомлена без нервозности, внимательна без напряжения. Она говорила с капитаном, у которого было бабье лицо.

— Я вас где-то видела, мне ваше лицо знакомо,— говорила она.

— Нет, вы меня не видели,— ответил тот, улыбаясь.— Это у меня не мое лицо. И нос не мой, и подбородок не мой, и зубы не мои. Я свое лицо в лепешку расшиб, а это мне доктора сделали.— Он улыбался, и уродливая улыбка человека с чужим лицом показалась Антону прекрасной.

— У него нос из бараньего хвоста сделан,— весело сказал кавалерист.— Ему сперва хотели из человечьего хряща делать — не подошло. Не приживает. Взяли птичью кость — опять не подходит... Взяли бараний хвост, приставили — как раз подошло. Он носом и шевелить может, как баран хвостом.

Человек с чужим лицом засмеялся и пошевелил носом, что и на самом деле напоминало движение бараньего хвоста.

Все засмеялись, и Антон тоже улыбнулся.

— Проснулись, родной! Ну, как вы себя чувствуете?— спросила женщина.

Антон хотел повернуться, но повернулись только голова и плечи, нижняя часть тела была тяжелой и неподвижной.

— Двинуться не могу!— сказал он с удивлением и вдруг почувствовал на спине что-то мокрое и горячее, и по простыне с краю поползло влажное пятно.

Он не понял, в чем дело, и растерянно оглядывался.

— Вот и хорошо,— ласково сказала женщина.— Сейчас простыни переменим. Вы не волнуйтесь, при ранениях позвоночника это бывает.

Он с трудом сообразил, в чем дело.

По особой нежности во взгляде женщины, по напряженным лицам своих соседей, по их вдруг остро блеснувшим и уклонившимся зрачкам Антон впервые понял глубину своего несчастья.

III

— Шесть, семь, восемь... девять!—сказал кто-то из раненых.

— Считать их еще! Давайте ногу!—раздраженно отозвалась Вера.

Катерина Ивановна была занята больным и не уловила смысла разговора. Только покончив с перевязкой, она заметила напряженные позы раненых, находившихся в перевязочной, и то острое любопытство, с которым они смотрели в окно. Взглянув по направлению их взглядов, она увидела группу немецких самолетов, летевших над Волгой.

Сейчас судьба людей, находящихся на беззащитном пароходе, зависела от прихоти немецких летчиков.

Много раз уже судно было под обстрелом и под бомбежкой и много раз плыло мимо обгорелых, полузатонувших судов. Этот рейс был особенно трудным. Три дня назад отвалили от Сталинграда, но шли в общей сложности всего восемь—десять часов. Остальное время путь был закрыт то минами, то десантами, и судно, замаскировавшись, стояло у берега.

Опасность уже стала привычной, и, глядя на самолеты, Катерина Ивановна утомленно думала: «Все равно. Скорее бы только!»

Она окинула взглядом перевязочную. Бросалось в глаза несоответствие между напряженными, побледневшими лицами мужчин и презрительно-спокойными лицами женщин. Мужчины впервые были безоружными и ничем не защищенными перед лицом опасности, а женщины шли в свой пятый сталинградский рейс. Самолеты приближались, и шум их усиливался.

— Почему в перевязочной нет спасательных поясов? Безобразие!—сказал розовощекий лейтенант, и щеки его стали медленно бледнеть.

— Держите ногу как полагается!—одернула его Вера.

Девушки работали спокойно.

Команда уже переболела страхом. Им переболели все, как все болеют корью, но у каждого эта болезнь протекала по-своему.

После того как пароход впервые попал под обстрел, «Мы с капитаном» сдала кастелянную (она работала кастеляншей судна) и со слезами и поцелуями, словно навек, простилась с командой. Плача и умоляя всех смотреть за капитаном, так как «он поврежденный от воды человек», она спускалась по сходням, рядом с ней шел худой, молчаливый капитан, а за ними матросы несли необъятную капитанскую укладку.

Укладка регулярно застревала во всех дверях, и матросы каждый раз при этом вспоминали родителей, что отлично помогало. Когда укладку наконец выгрузили на пристань, «Мы с капитаном» села на нее и зарыдала так бурно, что на пристань с берега повалил народ. Внезапно она стихла, объявила, что поедет еще в один рейс, после чего разом успокоилась и пошла обратно. Вслед за ней прежним способом двинулась укладка. История со злополучной укладкой в различных вариантах повторялась после каждой бомбежки.

После того как на глазах у команды затонуло, подорвавшись на мине, встречное судно, неожиданно напились непьющие повара. Всегда очень исполнительный и тихий повар Яша, напившись, сел на горячую плиту и запел с выражением: «Я на бочке сижу, а под бочкой фрицы!» Яшу припекало, он подпрыгивал на плите, но упорно не покидал своей позиции.

В таком виде застала его начальник судна Евдокия Петровна, вызванная в кухню специально по этому поводу. Она пришла, метнула на повара молниеносный взор своих прекрасных синих глаз и приказала увести пьяных поваров на гауптвахту. На гауптвахте повара, обнявшись и притопывая, горько запели: «Девки-бабы дрянь, дрянь!» — в адрес Евдокии Петровны.

Катерина Ивановна тоже болела страхом. После острого начала наступил хронический период этого заболевания, выразившийся у нее в том, что она еще сильнее ушла мыслями в прошлое. Она добросовестно работала, но ни на минуту не переставала мысленно жить своей прежней домашней жизнью.

Она жила, раздваиваясь между работой и мыслями о доме, между страхом перед катастрофой и желанием скорее пережить ее и попасть домой.

Один из самолетов отделился от девятки и полетел к пароходу. Все яснее становилась его лягушиная окраска и тупое рыло. На миг все замерли. Потом розовощекий лейтенант, забыв о раненой ноге, рванулся к двери, но, прежде чем он добежал до нее, раздался сухой треск — самолет дал пулеметную очередь. Пуля разбила склянку на столе, и остро запахло йодом. Лейтенант выхватил подушку из-под головы лежавшего на перевязочном столе Антона, накрыл ею голову и присел у двери.

— Идите в тот простенок — там матрацы, — спокойно сказал Антон.

Все вспомнили о том, что за простенком на палубе сложены новые матрацы, и, собравшись у этого простенка, присели на корточки. Самолет дал вторую очередь. Звякнуло оконное стекло. Сбившись в кучу, прижавшись

друг к другу в углу перевязочной, сидели полуголые раненые и женщины, одетые в белые халаты. Каждый из них старался сжаться в комок, тело другого являлось защитой, иной защиты не было. А над этими сбившимися в кучку людьми, над тазами, наполненными кровавыми и гнойными бинтами, на высоком перевязочном столе лежал юноша с запрокинутой назад головой и плотно сжатыми губами, со спокойной линией длинных бровей.

«Ему уже нечего бояться. То, что с ним случилось, хуже смерти,— думала Катерина Ивановна.— Понимает ли он это?»

У него было еще совсем молодое лицо, серые глаза иногда смотрели по-детски открыто и вопросительно, но углы красивого длинного рта были плотно сжаты, и в них выражение какой-то навсегда принятой в себя скорби.

Ему было неудобно лежать.

— Дайте подушку,— сказала Катерина Ивановна лейтенанту, взяла ее, подошла к Антону и положила подушку ему под голову.— Вам так будет удобнее,— сказала она для того, чтобы сказать что-нибудь.— Может быть, положить вас на пол?

— Какая разница?— сказал он сухо.— Не стойте здесь. Сядьте.

Ей трудно было отойти от него, но стоять над ним было бессмысленно, и, отойдя к простенку, она послушно присела.

За три дня пути она второй раз послушалась этого раненого юношу. В первый раз это произошло так. Его ежедневно брали в перевязочную. В том, как он переносил унизительные и болезненные процедуры, была какая-то особая красота.

— Положите меня лицом к окну,— просил он и, отвернувшись от своего тела, пристально смотрел в окно, напряженно думая о чем-то, и ни звуком, ни движением не реагировал на те манипуляции, которые с ним производили. В сестрах он вызывал восхищение, а санитарка Фрося говорила:

— Да из чего же он сделан? Железо ковырять — и то скрипит!

Но однажды ему перевязку делала не Лена, а неуклюжая Ксеня. Он долго молча терпел, но потом сказал посеревшими губами:

— Уйдите отсюда, позовите Лену.

— Не капризничайте, больной, я знаю, что делаю,— ответила Ксеня.

— Уйдите отсюда, я вам говорю!— повторил он с ненавистью.

— А я вам говорю, чтобы вы здесь не командовали. Много тут командиров.

— Уйди ты...— хрипло сказал он и выругался.

— Я сама перевяжу вас,— быстро сказала Катерина Ивановна. Она сделала ему перевязку, которую он перенес с прежней окаменелостью.

Когда его выносили, он строго сказал Катерине Ивановне:

— Чтобы ее здесь больше не было.

Его поведение было недопустимым, но Катерина Ивановна не только не осудила его, но сама устыдилась, что поставила в перевязочную неловкую, неумелую сестру, и в тот же день сняла ее с перевязок.

Снова послышался неприятный нарастающий гул самолета,— сделав круг, он опять шел к пароходу. Снова в окне показался его силуэт.

Антону вдруг вспомнилась голубятня и детские мечты о том, чтобы держать на голубятне орлов. Большая серо-зеленая птица летела прямо на него и несла что-то в когтистых лапах. Ему захотелось рвануть на себе рубашку и подставить грудь, но он преодолел это желание. В душе он уже умер для себя. Он безошибочно знал, что его, прежнего, с прежним характером, с прежней судьбой, уже нет. А для того чтобы сделать себя нового, надо было сломить свою непреодолимую гордость, надо было смириться с новой, жалкой долей. Это было очень трудно. Он отгонял тяжелые мысли и боролся с желанием смерти. Сейчас гневно сказал себе: «Что трусишь? Закалка не та? Нет, жить будешь, никуда не денешься, жить будешь!»

Самолет дал еще одну очередь и ушел в сторону.

Женщина-врач, присев на корточки, неотрывно смотрела на Антона большими карими глазами. Она раздражала его. Когда ему становилось очень плохо, теряя сознание, он звал именно ее, а когда ему делалось лучше, ее присутствие было ему тяжело.

Сейчас, сидя на корточках, с выбившимися из-под шапочки черными кудрями, с полураскрытым в забывчивости ртом, с этим пристальным горячим и нежным взглядом, она была так привлекательна, что он невольно подумал: «Ах, хороша! Милая, смуглая, та самая... Да нет! Такая, наверное, как и все. Здорового ждет, с орденами». И ему стало тяжело от этих мыслей. Он уже замечал в себе странно злобное отношение к людям. Это унижало его.

И в этой борьбе ему неоткуда было ждать помощи. Несколько лет назад он потерял отца и мать; ни братьев, ни сестер, ни жены у него не было.

В его жизни была только одна женщина— красивая и

умная студентка консерватории. Однажды она долго играла ему на рояле, а потом обняла его и сказала:

— Ну, Тоша, понимай меня, как знаешь, а я тебя люблю. И ничего мне от тебя не надо, а вот люблю я тебя одного, и все тут.

Он был счастлив с ней, считал ее замечательной женщиной. Даже теперь, когда она была женой другого, он думал о ней с благодарностью и уважением. Но никогда, даже в самые лучшие их часы, его не покидало ощущение, что это «не то», что все не так, как надо. «Не те» были поступки, слова, жесты.

А в этой чужой и незнакомой женщине все казалось ему именно таким, как надо, поэтому в ее присутствии он с особой остротой ощущал свою неполноценность и раздражался.

Стих шум самолетов, и женщина подошла к нему.

— Сейчас я все вам сделаю,— сказала она виновато.— Вы, наверное, устали здесь лежать?

А в перевязочную уже вносили бойцов, только что пострадавших от обстрела.

IV

К вечеру у Антона обычно поднималась температура, и сквозь лихорадочное полузабытье все краски казались ему особенно яркими, голоса — особенно звучными. Он слышал, как розовощекий лейтенант говорил тонким вибрирующим голосом:

— У нас не хватает грелок — это безобразие! У меня опять кошмарные боли. Я страдаю гипоацидным катаром желудка, а меня здесь кормят черным хлебом. Я и в окружении не ел такого хлеба.

— Да,— отозвался кавалерист, прищуривая глаза,— мы тоже были в окружении. Мы тоже там такого хлеба не ели. Мы там такой хлеб коням отдавали.— Он внезапно перестал щуриться и закончил другим тоном: — У нас вместо хлеба махорка была, а у коней вместо овса — что? Коню вместо овса самокрутку в морду не всунешь.

— Мы с вашими ребятами две ночи рядом ночевали,— сказал капитан с чужим лицом.— Хорошие попались ребята.

— У них плохих не бывает,— с веселым возбуждением вступил в беседу захмелевший от боли и лихорадки Антон.— В кавалерии плохому человеку нельзя. Плохого кони не носят. Конь человека чует. Жена мужа так не понимает, как конь седока.

— Да,— подтвердил кавалерист.— Коня не проведешь. Это тебе не танк. У коня — душа! И сколько я раз замечал: как попадается к нам барахляный человечишка, так до первой атаки. Плохого седока конь не бережет.

Утомившись, Антон задремал. Внезапно рядом ударили орудия, кавалерист повалился на бок, а из горла у него высоким фонтаном брызнула кровь.

— Доктора! — закричал капитан и, не дожидаясь ответа, схватил кавалериста на руки и понес его в операционную.

Розовощекий лейтенант моментально спрыгнул с верхней полки и присел на пол, стягивая матрац с постели себе на голову.

— Где шлюпка для тяжелораненых? — спросил он пробегавшую мимо их каюты сестру.

— Обе шлюпки разбило, комиссара разорвало,— ответила она на бегу.

Антон с трудом приподнял голову и увидел совсем рядом на берегу ясно различимые в буйно-зеленых кустах жерла орудий.

— Немецкий десант на берегу,— сказал он.

Фарватер проходил у самого берега, и орудия били в упор.

Пароход стал круто заворачивать и остановился на полповороте. На палубе метались люди. Белокурая санитарка выбежала на палубу и сразу упала...

— Почему остановились? — спросил кто-то в коридоре.

Ответили отчетливо и спокойно:

— Повреждена машина и перебита цепь рулевого управления.

А фашисты словно только и ждали остановки парохода. Едва он стал неподвижен, они хлестнули по бортам огнем утроенной силы. Каюту пробило сразу в нескольких местах. Лейтенанту оцарапало щеку, и он, тихо взвизгнув, бросился к умывальнику, сорвал с него фарфоровую, в цветах, раковину, надел ее себе на голову и с раковиной на голове заметался по каюте.

— Пояс надень, дурак! — с отвращением крикнул ему Антон.

Лейтенант очнулся, бросил раковину, схватил сперва один спасательный пояс, потом другой и с двумя поясами выбежал из каюты.

Поясов не хватало, и люди бросали в воду столы, скамьи, двери и доски от перегородок. Грохот орудий смешивался с криком раненых и с треском отдираемого дерева.

— Комиссар приказал тяжелораненых грузить в шлюпку. Ох, господи боже мой, что же это?! Давай

носилки! — донесся плачущий голос сестры Веры, и через несколько минут она с санитарками прошла мимо, неся на носилках раненого. Они пронесли еще нескольких раненых и направились к Антону, когда кто-то позвал их:

— Сюда, сюда, сестрица, возьмите меня...

Они ушли и надолго исчезли.

Из соседней каюты вышел начальник судна. Евдокия Петровна шла, прижав обе руки к груди, лицо у нее было бескровным, а губы в забывчивости твердили:

— Что же теперь делать? Леночка, Леночка!

Антон не знал, что это было имя ее дочери.

— Товарищ начальник! — позвал он ее.

Она подошла к нему и посмотрела на него невидящими глазами.

— Товарищ начальник, где у вас то оружие, которое вы отобрали у комсостава? — спросил ее Антон, стараясь говорить отчетливее и громче, как говорят с бредящим человеком.

— В несгораемом шкафу.

— Надо раздать оружие тяжелораненым, тем, которые не могут плыть.

— Зачем раздавать оружие? — спросила она, словно просыпаясь.

— Когда пароход опустеет, мы будем отстреливаться.

— Ключи от несгораемого шкафа у комиссара. Сейчас я принесу.

Она ушла быстро, казалось, ее обрадовала возможность каких-то разумных действий.

Она вернулась очень скоро, и при взгляде на нее он подумал, что она смертельно ранена.

— В верхних карманах ключей нет, а нижняя половина тела упала за борт, — сказала она, словно отрапортовала. Она смотрела на него вопросительно и все время глотала и не могла проглотить клубка, который катался у нее в горле.

— Доктора! — закричали рядом, и она быстро ушла на зов.

Прикованный к койке и забытый всеми, Антон лежал один и, не отрываясь, смотрел в окно.

На палубе уже не было людей. Антон видел серое низкое небо, густую зелень прибрежных кустов и спокойную плотную воду.

Он столько раз звал смерть, а сейчас, когда она была близка и неизбежна, он вдруг понял, что вот эта зелень, это небо и вода и есть счастье и что это удивительное счастье, исчезнув, уже не возвратится никогда. И он согласен был на любые страдания, лишь бы не утратить этого куска неба, зелени и воды.

Капитан с чужим лицом быстро вошел в каюту, снял с полки два пояса, один надел сам, а другой стал надевать Антону.

— Поплывем, друг,— быстро говорил он.— Пароход и горит и тонет, спасаться надо!

— Оставь... Не дотянешь, у тебя рука ранена! — сказал Антон, с жадностью и надеждой глядя в лицо капитану

— А пояса на что? — возразил тот.— Была бы у меня рука цела, я бы тебя и без пояса вытянул.

Он застегивал пояс на груди Антона, когда осколок мины вошел ему в плечо. Вторая рука его повисла плетью, лицо приняло беспомощное выражение, и, покачнувшись, он вышел из каюты.

Антон остался один.

Приподняв голову, он мог видеть, как немцы бегали по берегу. Они махали руками и кричали:

— Рус! Рус! Плыви сюда! Сюда стрелять не буду, туда буду!

Орудия били неторопливо сверху вниз, слева направо.

«Вот она, смерть!» — думал Антон. Он редко думал о смерти, но, когда думал, ему казалось, что он умрет либо на поле боя под грохот атаки, либо еще очень не скоро, седовласым старцем, в кругу печальных родственников и друзей. Но не было ни радостного грохота наступления, ни торжественной печали родных. Была невзрачная каюта, неприбранные постели, скомканные одеяла из серой байки, брошенная на пол раковина от умывальника да жуткая пустота оставленного людьми парохода.

Умереть безоружному, в одиночестве, без человеческого участия, без славы, без памяти, без могилы... И, не в силах совладать с собой, он застонал и, собрав все свои силы, попробовал приподняться. Его руки искали оружие, глаза искали человеческих глаз. Но пусто было на исковерканном пароходе, только орудия все ленивее щелкали по бортам и откуда-то снизу тянуло гарью.

V

Когда начался обстрел, Катерина Ивановна работала в перевязочной. Узнав, что стреляет береговой десант, она подумала: «Слава богу, не бомба, не самолет, не мина». Ей казалось, что стоит отплыть немного — и опасность останется позади. Но пароход не двигался с места. Снаряды то и дело рвались рядом, раненые переполняли перевязочную, а на палубе шла небывалая суматоха. Потом палуба опустела, раненых стало меньше, пришла Вера и сказала, что и начальник и комиссар убиты.

Перевязав последнего раненого, Катерина Ивановна взяла санитарную сумку и спустилась вниз. Там несколько минут назад, в начале обстрела, раненые из III и IV классов и из трюмов, оборудованных под палаты, бросились к пролетам парохода, стремясь прыгнуть в воду. В пролетах образовалась пробка из сотен людей, и на них сосредоточили огонь немецкие орудия.

Когда Катерина Ивановна спустилась, она увидела кучу окровавленных человеческих тел. Горела кухня, и короткие языки пламени лениво лизали стены. Около машинного отделения, вытянувшись, закинув голову и как-то хитро опустив ресницы, лежал капитан, а на его груди, словно закрывая его собой, лежала «Мы с капитаном». Оба были мертвы.

Из глубины III класса прямо к Катерине Ивановне шел повар Яша. Устремив неподвижный, пристальный взор на Катерину Ивановну, он пробирался к ней, ступая в лужи крови, равнодушный к свистящим вокруг него осколкам и ко всему окружающему. Подойдя к Катерине Ивановне, он остановился, посмотрел на нее блестящим жадно-тоскующим взглядом и сказал:

— А Фросю-то мою сейчас миной убило.

Фрося была его женой и работала санитаркой.

Катерина Ивановна перевязывала раненого и ничего не ответила Яше.

Он молча постоял над ней несколько мгновений, потом повернулся и медленно побрел дальше.

Еще несколько раз она видела его одинокую фигуру. Он безучастно бродил по опустевшему пароходу, но стоило ему где-нибудь увидеть человека, как лицо Яши освещалось надеждой, и, не замечая ни огня, ни крови, он устремлялся туда, для того чтобы взглянуть с тем же тоскующим взглядом и повторить ту же фразу: «А Фросю мою сейчас миной убило».

Он жаждал хотя бы слова участия, хотя бы одного из тех вежливых и пустых слов, которые люди так охотно расточают друг другу. Но люди едва смотрели на него непонимающими дикими глазами, каждый был занят собой, и никто не сказал ему того слова, которое было ему нужнее жизни. И, постояв в бесплодном ожидании, Яша медленно отходил и бесцельно брел дальше.

Кто-то схватил Катерину Ивановну за ногу.

— Доктор, сделайте милость,— попросил ее человек с развороченным животом.

И она сделала то, что запрещали законы и этика,— она ввела ему большую дозу морфия. Она сделала еще несколько перевязок.

Пароход медленно тонул, трюмы уже были залиты водой, пламя из кухни перебросилось в соседнее помещение. Пожар на пароходе всегда казался Катерине Ивановне страшным бедствием, но теперь, среди ужасов этого часа, он был самым незначительным из них, и люди входили в горящие двери, перешагивали через огненные пороги, не обращая внимания на пламя. Несколько раз Катерина Ивановна думала о том, чтобы взять пояс и прыгнуть в воду, но какое-то непонятное чувство удерживало ее и приказывало ей оставаться здесь до конца. И только оглянувшись и не увидев ни одного человека, Катерина Ивановна неторопливо, хотя перила лестницы уже горели, поднялась наверх и направилась в каюту за спасательным поясом. Но дверь в ее каюту была сорвана, и пояса там не было.

Катерина Ивановна почти не умела плавать, но она так отупела от всего виденного и пережитого, что ее не испугало отсутствие пояса. Она посидела немного в каюте, вслушиваясь в странную тишину,— убедившись в том, что пароход пуст, немцы перестали стрелять. Потом она пошла по коридору, рассчитывая найти что-нибудь, что помогло бы ей держаться на воде.

— Доктор, доктор!— прозвучал знакомый голос.

Из ближней каюты на нее смотрели блестящие, напряженные и одновременно очень спокойные глаза раненого танкиста. Казалось, он смотрел издалека, было в его взгляде непередаваемое спокойствие уже все решившего человека. Она подошла к нему.

— У вас нет пояса! Возьмите мой.

Он с трудом вытянул из-за спины пробковый пояс, подал ей и приказал:

— Плывите!

Она смотрела на его бледное лицо с плотно сжатыми углами длинного рта, широко открытыми блестящими глазами, и ей казалось, что никто в мире не был ей роднее, чем этот юноша.

— Я не поплыву одна. Мы поплывем вместе на одном поясе,— сказала она с отчаянием, не веря своим словам.

Его лицо озарилось такой благодарностью, таким светом радости и гордости за нее, словно он ждал этих слов и боялся не услышать их. Но голос его звучал ровно:

— Мне не доплыть, доктор, я не могу шевелиться. Не стойте здесь. Прощайте.

Он протянул большую, розовую от вечернего света, теплую и такую живую руку. Она взяла ее и, вместо того чтобы уйти, села к нему на постель и с силой сжала его пальцы.

Тишина, сорванные двери, брошенная на пол раковина,

невытертая кровь, стянутые с полки матрацы — все уже было мертво здесь. Только они двое были живыми на тонущем пароходе, и юноша, окликнувший ее в свой смертный час, был ей бесконечно дорог.

— Доктор, у вас нет оружия? — спросил он, оживляясь и приподняв голову.

— Нет.

— Неужели на пароходе ни у кого не было оружия?

— Была винтовка у вахтенного.

— Доктор, принесите мне ее.

Она снова спустилась вниз, обойдя полпарохода, с трудом отыскала винтовку и принесла ее Антону. Он нетерпеливо схватил ее, пересчитал патроны и попросил:

— Помогите мне повернуться.

Она помогла ему лечь так, чтобы можно было стрелять.

Он глубоко, как перед прыжком, вздохнул и сказал Катерине Ивановне:

— Ну, прощайте. Плывите. Когда вы отплывете, я буду стрелять.

Но у нее не хватило сил на то, чтобы уйти. Беспомощным женским движением она прильнула щекой к его плечу.

Превозмогая боль, он осторожно гладил ее по голове. Он утешал ее, словно не он, а она оставалась умирать на пароходе. Он был благодарен ей. Своим беспомощным жестом она дала ему радость еще раз почувствовать себя сильным, смелым, мужественным. Он не ошибся: в ней было удивительное свойство без слов угадывать и поступать так, как ему было нужно. И сейчас она делала самое лучшее из того, что могла, — она помогала ему умирать так, как должен умирать мужчина. Он смотрел на нее с нежностью, и пальцы его перебирали ее прохладные тонкие волосы.

Все сильнее пахло гарью и дымом.

— Плывите, — сказал Антон. — Пора. — И, для того чтобы облегчить ей уход и утешить ее, добавил, печально улыбнувшись: — Ведь скоро стемнеет, может быть, вы и успеете приехать за мной на шлюпке.

Она знала, что это невозможно, она понимала, что ему хочется утешить ее, но инстинктивно, обманывая себя, она ухватилась за эту мысль и стала надевать пояс.

— Возьмите, — сказал он и подал ей бумажник. — Это документы.

Она спрятала бумажник в резиновую сумочку для документов, которую носила на шее.

Она надела пояс, хотела встать, снова не смогла и прижалась к его рукам мокрыми щеками.

— Я вернусь. Я приеду за вами,— повторяла она. Ей было тяжело оторваться от него.

Наконец она встала, задохнувшись, не нашла в себе силы на последний взгляд и, как слепая, вытянув вперед руки, вышла из каюты.

Когда в дверях скрылась тонкая черноволосая женщина — последний человек в его жизни,— он закрыл глаза и долго лежал неподвижно. Он был рад, что именно она пришла к нему в этот час. Тепло ее щек еще согревало его ладони. Он еще видел ее исчезавшую гибкую фигуру в белом халате.

Ему захотелось позвать ее, но он не знал ее имени. Тогда губы сами тоскливо шепнули: «Мама, мама!» Но он сжал их и замер в неподвижности.

Ему казалось, что он очень спокоен, а на самом деле все силы его уходили на то, чтобы не закричать, не забыться в тоске. Выждав время, достаточное для того, чтобы она отплыла, он стал вглядываться в то, что происходило на берегу. Уверенные в своей безопасности, немцы свободно ходили по берегу.

Он выждал некоторое время и, когда увидел двух немцев, перед которыми все другие стали навытяжку, выстрелил в одного из них. Немец вскинул руки и упал.

— Так, паразит! — сказал Антон, загораясь жестокой радостью. Он уложил второго немца и стал стрелять в тех, кто подбежал к упавшим.

По пароходу ударили минометы. Осколки свистели над Антоном, пробивали стены, рвали постель, а он лежал словно заговоренный.

На корме разгоралось пламя, и при перемене ветра клубы дыма наполняли каюту. Вода была уже близко — пароход сильнее и сильнее погружался в воду. Антон израсходовал все патроны, кроме одного. Но когда, успокоенные его молчанием, немцы снова вышли из-за кустов, он не выдержал.

— Пусть будет так,— сказал он и израсходовал свой последний патрон.

Немцы снова подняли бешеную стрельбу.

Теперь оставалось только ждать. Он откинулся на подушку.

Что первым настигнет его? Огонь или вода? Если бы пуля! Но и огонь и вода лучше, чем непоправимый ужас страшного увечья.

Антон теперь сам искал пули, стараясь приподняться и показать свою голову тем, на берегу. «Не болезнь, не вода, не огонь — все-таки пуля!» Ему пробило висок.

Катерина Ивановна не помнила, как она прыгнула за борт, не почувствовала холода воды и поплыла вперед

почти бессознательно. Только через несколько минут она стала яснее воспринимать окружающее и увидела впереди себя плывущих людей. Она плыла больше часа, тело ее застыло и онемело от усталости и холода, она несколько раз теряла сознание, но, когда волны начинали захлестывать ее, она, захлебываясь, снова приходила в себя и снова обретала силы.

Наконец она достигла берега, вышла на отмель и только тогда оглянулась. До этого не позволяла себе оглядываться, инстинктивно оберегая себя, боясь увидеть то ужасное, что было неизбежно, и обессилеть от горя.

Все было кончено. Всюду расстилалась необъятная, ровная и плотная гладь Волги. Парохода не было. И сейчас у Катерины Ивановны исчезли все ощущения, кроме камнем опустившейся на нее тоски.

Что пережил за этот час тот, чьи руки дали ей пояс и послали ее жить? Как пришла к нему смерть? Вода ли захлестнула или огонь сжег его живое тело?

Горе женщины было так велико, что она не могла шевелиться, не хотела видеть людей и слышать их голоса. Она легла на берег, ей казалось, что только эта огромная, серая, мокрая земля может разделить с ней ее горе. Она вдавливалась в землю всем телом, и колючий мокрый песок прилипал к ней, а волны мерно бились о ее руки.

— Встань-ка, девонька. Встань, голубка.— Старик с ведром в руке тряс ее за плечо.

Она поднялась и покорно пошла за ним. Ее мокрое, насквозь промерзшее тело застывало на холодном осеннем ветру, но она не чувствовала холода. Ноги ее одеревенели от утомления, она шла неверной, заплетающейся походкой, но не чувствовала усталости.

Обогнув береговой холм, старик привел ее к костру, горевшему в ложбине. Она огляделась вокруг. Был ветреный, ненастный осенний вечер. Недоброе, багровое у горизонта небо было покрыто тучами. В ложбине стояло стадо коров.

Коровы задирали кверху больные красноглазые морды и надрывно мычали.

Вокруг костра сидели несколько бойцов и сестер с парохода. Катерину Ивановну увели за кусты и одели в сухое платье. Потом она безмолвно легла у костра. Кто-то дал ей горячего молока, кто-то укрыл шинелью. Было тихо, и только худая женщина говорила неторопливо и мерно:

— Третий день они не доены. Двоих перегонщиков убило, а мне всех не передоить. Вымя у них нагрубли, сами ревут, мочи нет.

Она говорила спокойно и, казалось, думала о чем-то совсем другом. Руки ее быстро и споро чистили картофель, а по неподвижному спокойному лицу одна за другой непрерывно текли слезы. Они мешали ей, она смахивала их, а они набегали снова.

— Катерина Ивановна, вас не ранило? — спросила Лена.

— Нет.

— Счастье наше такое,— удивленно и безрадостно сказала Лена и, желая подбодрить себя и Катерину Ивановну, продолжала: — Значит, через два дня домой попадем. Я с мамой увижусь, а вы с мужем. Господи, да неужто это может быть — дом?!

Вот он, тот миг, которого в глубине души так долго ждала Катерина Ивановна. Окончен страшный путь. Она спаслась! Она может ехать домой!

Она закрыла глаза, и перед ней возникли ее уютная и чистая квартира, паркетный пол, голубые вазы на белых салфетках. Она увидела радостное лицо мужа, его сильные теплые плечи. Но сейчас перед ней встало другое лицо. Оно смотрело глазами брата, друга, командира.

Короткая встреча с человеком, который остался умирать на пароходе, стала самой значительной встречей в ее жизни. Она знала, что никогда ее не забудет.

Все стало другим за этот день. Давно уже она была на фронте и дышала воздухом войны, но до сегодняшнего дня мир войны был чужд ей. Всеми мыслями, всею своей сущностью она продолжала жить в милом домашнем миру. Она была женщиной, посланной на фронт, но не была бойцом.

Раньше она жила на фронте, но сердце ее было дома. Теперь, даже если она уедет домой, сердце ее останется здесь.

И странно, ничего ободряющего не произошло за этот день, наоборот, он был насыщен ужасами, но никогда раньше у Катерины Ивановны не было такой твердости и такой абсолютной уверенности в победе. Ее состояние можно было сравнить с состоянием женщины, которая, задыхаясь в родовых муках, ни на минуту не теряет уверенности в том, что ребенок появится на свет, что он уже рождается.

Катерина Ивановна села и сказала сестрам:

— Мне дал свой пояс танкист, у которого было ранение позвоночника. Он остался на пароходе и стрелял в немцев из винтовки вахтенного.

Девушки ничего не ответили ей, только лица их стали суровее. Они молча обматывали босые ноги бинтами из сансумки, каким-то чудом попавшей сюда.

Катерина Ивановна вынула бумажник Антона и открыла его. Она увидела комсомольский билет, несколько писем и фотографическую карточку. На ней была изображена красивая черноглазая девушка. На обороте она прочла: «Будущему командарму от будущего маэстро».

Катерина Ивановна спрятала бумажник и стала тщательно забинтовывать свои застывшие босые ноги. Неподвижность была непереносима. Только действие могло облегчить ее. Она встала, затянула бинтом отсыревшую тяжелую шинель и сказала:

— Я буду пробираться к Сталинграду. Мы там нужнее. Кто со мной?

— А там не подумают, что мы шпионки? — спросила Лена.

— Меня знают в эвакопункте.

— Мы выйдем на шоссе, там нас подвезут на машине,— сказала Лена, вставая.

Когда они поднялись на холм, из ложбины навстречу им вышли розовощекий лейтенант и Яша. Лейтенант возбужденно и быстро говорил что-то, он энергично жестикулировал. Следом за ним шел безразличный ко всему Яша.

— Не в ту сторону! Не в ту сторону! — закричал лейтенант, увидя женщин.— Поворачивайте обратно. Идем с нами. В пятнадцати километрах районный центр, оттуда идут машины на север. Я уже сговорился с одним человеком, через три дня будем в Саратове.

Катерина Ивановна молча прошла мимо, а Лена, обернувшись, бросила:

— Мы идем к Сталинграду.

Лейтенант, остановившись, смотрел им вслед.

Был сумрачный вечер. Холодный ветер трепал мокрые ветви низкорослого кустарника.

Две женщины с босыми, обмотанными марлей ногами, одетые в большие мокрые шинели, шли к Сталинграду. И когда они отошли уже далеко, Яша, словно спохватившись, побежал за ними.

На кухне

У официанток были испуганные глаза и красные щеки. Большой, костистый начальник госпиталя прошел от посудной к раздатке, широко и неслышно шагая длинны-

ми ногами, обутыми в брезентовые сапоги защитного цвета.

Его седые усы топорщились, мясистые ноздри вздрагивали.

Он сердился.

Щупленький Василий Васильевич, шеф-повар первого отделения, семенил за начальником. Василий Васильевич был одет в халат, передник и подпоясан полотенцем. С полотенца, подобно оружию, свешивались два половника — большой и поменьше.

Халат был новый, широкий и стоял коробом. Маленькая голова Василия Васильевича, с тусклыми, сердитыми глазками и срезанным подбородком, то далеко высовывалась на вытянутой, морщинистой шее, то уходила в воротник халата, как голова черепахи в панцирь.

— Я ей объяснял,— говорил Василий Васильевич — Но разве она может понять? Она думает, что диетсестра — это все равно что профессор. Вся кухня хочет бежать через нее — спросите кого хотите. Разве с таких продуктов можно делать запеканку? С такой картошки и селедки можно делать только пюре с селедкой. И никаких гвоздей.

Диетсестра Валька Буянова стремительно вошла в кухню и пошла прямо на Василия Васильевича, низко нагнув голову, отчего кудряшки над ее лбом встали рожками. Лоб у нее был гладкий и твердый, как речной голыш, брови шли вразлет, а вздернутый нос имел воинственное выражение.

— Это ч-что? — спросил ее начальник, слегка заикаясь, как всегда, когда он сердился, и показывая на посудную.

В посудной высились груды грязных тарелок с недоеденными кусками осклизлой и плоской запеканки.

— Т-товарищ диетсестра! Повара предупреждали вас о непригодности продуктов для изготовления запеканки с рыбой?

Валька вытянулась.

— Разрешите доложить? Товарищ полковник, дело не в продуктах, а в поварах. Картошка не отсортирована, рыба не вымочена, печка затоплена с опозданием, и выпечка производилась в непрогретой духовке. В кухне второго отделения из тех же продуктов приготовлена качественная запеканка, потому что там выполняют мои указания.

— Пойдемте!

По дорожкам нескончаемого нальчикского парка они пошли в кухню второго отделения. Высокие травы тянулись к дорожкам и путались под ногами.

Яблони выгибали сучковатые ветви, и альча роняла под ноги плотнокожие, янтарные ягоды. Даль была голубой, и воздух зыбился и дрожал от солнца.

Вдалеке виднелись пологие холмы, сизые, с августовской, редкой подпалиной на склонах, а над ними вставали снежные вершины. Вершины были так лучисты, нарисованы такими тонкими, летящими штрихами, что облака по сравнению с ними казались аляповатыми и грузными. Вершины излучали синеву и прохладу. И далекие и близкие, они словно плыли, растворяясь в голубизне, казалось, они вот-вот уплывут, исчезнут. Но стоило мигнуть, и вот они уже опять здесь, близко — тонкогранные, с отчетливыми лиловатыми тенями на сияющих белизной склонах.

Вершины были прямо перед Валькиными глазами, но Валька не видела их.

Валька думала о картофельной запеканке. Про удачную запеканку во втором отделении она сказала наугад, сказала, потому что была уверена в поваре второго отделения.

Теперь она волновалась и думала: «Неужели Минадора подведет? Нет, она молодец. У нее все хорошо».

От волнения у Вальки, как всегда, защемило отсутствующие пальцы на правой руке. Она хотела пошевелить ими и вспомнила, что их нет.

В кухне второго отделения царили мир и благополучие. Смуглая красавица Минадора жестом фокусника сдернула с противня марлю и замерла, держа в руках белоснежную марлевую салфетку, парусом вставшую над пышной, золотистой запеканкой.

Полковник грозно пошевелил усами, повернулся к Василию Васильевичу и сказал:

— Н-ну?..

Когда полковник и повар ушли, Валька обняла Минадору:

— Молодчага, золото, красотка моя, не подвела!

— А когда же я Валечку подводила? — тягуче и ласково сказала Минадора. — Садитесь, отведайте запеканки. Феня, стул Валентине Ивановне!

Минадора была тонка, смугла и мускулиста. Когда она двигалась, то скользила и изгибалась всем телом, и видно было, как мышцы переливаются и играют под ее плотной, туго натянутой кожей.

За черноту и гибкость кто-то прозвал ее «Миногой», и это прозвище приклеилось к ней. Волосы у Миноги были короткие и, как лаком, обливали узкую голову. Подвиж-

ные полные губы то оттопыривались, то утоньшались и, удлиняясь, играли на красивом лице, и только глаза казались взятыми от другого человека. Миндалевидные, выпуклые, они поражали «стоячим» взглядом и не соответствовали быстрому телу Миноги.

Валька и Минога чем-то неуловимо походили друг на друга, нередко их принимали за сестер.

Валька уселась за стол и стала есть запеканку.

В кухне шла обычная суетливая жизнь.

В зеленной балагурили раненые, чистившие картошку.

Дежурный офицер с видом полководца прохаживался между кастрюлями и корзинами с овощами. Посудницы звякали тарелками, в печке трещали дрова, в котлах что-то кипело и булькало. Минога, встав на приступку, мешала в котле большой мешалкой. На больших сковородах шипели и брызгались оладьи, а над всей этой суетой, бульканьем, шипеньем, как припев, раздавались влетавшие в раздаточное окно однообразные и короткие возгласы официанток:

— Первая диета, две порции!

— Бессолевая одна!

— Третья одна!

На столе возле окна молоденький, длиннолицый и болезненный повар Митя ухарски шинковал картошку. Со скукой и равнодушием он смотрел в окно, а остро наточенный нож в его правой руке как бы сам собой молниеносно и ритмично пролетал возле пальцев его левой руки, которыми Митя держал картошку.

Тончайшие ломтики картошки быстро, один за другим падали на стол.

Нож так мелькал в воздухе, что за ним трудно было уследить.

— Ух и здорово, Митя!—восхитилась Валька.

Митя с тем же скучающе-пренебрежительным выражением покосился на Вальку и промолчал. Он не любил Вальку.

Валька не съела и половины порции, когда прибежала санитарка и сказала, что тяжелому больному Гришину до сих пор не дали меда, которого он просит со вчерашнего дня.

Валька сорвалась с места и помчалась в продотдел.

По аллее серебристо-голубых елей, всегда холодноватых и нежных, она добежала до здания бывшего санатория.

Здание было полуразрушено, и от этого красота его стала еще величественнее и рельефней. В пробоину стены виднелась колоннада круглого зала. Мраморный мальчик с дельфином казался еще живее от «шрама» на гладкой щеке.

По краям зияющих окон вились маленькие темно-красные розы на цепких стеблях, переплетаясь с лепными виноградными гроздьями карнизов.

Красота здания торжествовала над разрушением и была такой же вечной, как небо, летящее над его крышей, как зелень, оплетающая его стены.

Валька поднялась на второй этаж и побежала по пустынным комнатам.

В пробоины стен виднелись снежные вершины, и комнаты казались повисшими в воздухе. Вспугнутые воробьи кружились под потолком.

В уцелевшей части здания помещалась бухгалтерия продотдела.

Бухгалтерша Клавдия Петровна, запрокинув длинное лицо и прикрывая глаза серыми веками, «интересничала» с лысым гнилозубым агентом снабжения. Ее серые веки над выпуклыми глазами всегда напоминали Вальке тех кур, которых в кухне ощипывали для диетных больных.

— Мой муж был музыкант, а я бухгалтерша — такая игра природы, представьте себе! — говорила бухгалтерша, выгнув тощее тело и обеими руками поправляя волосы на затылке.

Валька фыркнула. Она никогда не кокетничала. С хорошими мужчинами не кокетничала, потому что их уважала, с плохими — потому что их презирала, а с теми, кто был ни то ни се,— потому что их не замечала. Кокетливых женщин она не понимала и брезговала ими.

Она фыркнула еще раз, засунула руки в карманы и сказала нахально и весело:

— Скажите на милость, какие тут Цезарь и Клеопатра!

Историю о Цезаре и Клеопатре Валька прочитала вчера вечером. Она очень любила всякие новые слова и моментально «обезьянничала» их.

Теперь она была рада случаю употребить новое слово и щегольнуть своей редкой осведомленностью:

— Клеопатра Петровна, почему вы не выписали вчера мед для Гришина?

— Я вам уже сказала, что ничего не буду выписывать после трех часов.

— А я вам уже сказала, что вы будете выписывать тогда, когда это надо тяжелым больным.

— Что вы тут командуете? Что вы из себя воображаете? Мне вздохнуть некогда.

— Интересничать вам есть когда.

— Это не ваше дело!

— Как это не мое, если у меня Гришин остался без меду?

Валька ругалась с великим азартом и аппетитом. За месяц диетной работы у нее выработался «ругательный рефлекс», а с бухгалтершей она ругалась особенно охотно, потому что не любила ее за лень и равнодушие к больным.

Если день проходил мирно и Валькин запал оставался неизрасходованным, она думала: «Чего это мне нынче не по себе? Словно недостает чего-то... Сходить разве в продотдел поругаться с бухгалтершей?..»

Поругавшись всласть и раздобыв меду, Валька отправилась в третье отделение.

По дороге ее нагнал лейтенант Вано и сказал ей с сильным грузинским акцентом:

— Валечка! Почему вы всегда бегаешь, Валечка? Вы даже не видишь, какой кругом красота!

У Вано были очень длинные, смуглые руки, которыми он энергично размахивал, помогая себе при затруднениях в разговоре.

Он улыбнулся, и улыбка его, как круги по воде, постепенно расходилась по всему лицу. Сперва дрогнули и смешно сморщились уголки губ, потом открылся сплошной ряд белых зубов, и широкая улыбка залила все лицо так, что даже уши отодвинулись куда-то к затылку.

Валька очень нравилась Вано.

Внимательная к больным, быстрая, строгая, всегда озабоченная девочка в стоптанных тапочках умиляла Вано и напоминала ему его сестер. Ему хотелось заставить ее улыбнуться, отдохнуть, хотелось купить ей новые тапочки и сделать для нее что-то доброе — благодарное, бескорыстное.

Перед сном Вано вел с Валькой длинные воображаемые разговоры.

Мысленно он говорил с Валькой по-грузински, и слова у него были возвышенные и значительные, но стоило ему заговорить с ней в действительности, как слова выворачивались наизнанку и все сказанное получалось таким смешным и глуповатым, что Вано сам замечал это, очень удивлялся и огорчался этому.

— Валечка!—говорил Вано.—Посмотри, какой кругом горы, какой небо. Я прошу вас, обратите ваше внимание, Валечка!

— Не машите руками!—сказала Валька строго.—И вообще идите в свою палату.

Валька торопилась к себе составлять меню.

Валька жила при кухне, в комнате, которую по старой памяти повара величали «гарманжа».

От бывшей «гарманжи» в комнате остался испорченный холодильный шкаф, в котором Валька держала свои немудрые пожитки. Кроме шкафа здесь стояла кровать, стол, три стула и шикарное плетеное кресло на трех ногах. Валька уселась в кресло. Было ровно двенадцать часов, и повара стали собираться «на меню».

Сперва пришел молчаливый и сердитый Василий Васильевич, потом появилась веселая Вера, сверкая серьгами и шурша шелковым платьем, и последним пришел шеф-повар третьего отделения Афанасий Лукич, бритый, полный, похожий не то на актера, не то на профессора.

Афанасий Лукич когда-то работал в лучших ресторанах Тбилиси, умел подавать мороженое запеченным в горячие торты и к гуляшам с кашей относился с тоской и пренебрежением. Составление меню—это было самое ответственное дело в работе госпитального пищеблока. В течение двух месяцев на складе был один и тот же неизменный ассортимент продуктов—пшено, перловка, картофель, жиры и мясо, и количество этих продуктов в день было строго нормировано. Из этих продуктов надо было ухитриться скомбинировать пять различных блюд на день и, кроме того, надо было менять меню ежедневно. Это была задача посложнее шахматных.

— Три пешки, конь и офицер. Мат в три хода!—сказала Валя.

— Я извиняюсь, сегодня появился ферзь, мы получили манку. Шестьдесят грамм на день,—галантно возразил Афанасий Лукич.

Через час Валька сказала:

— Шах королю! Ясно все, за исключением сладкого. Яблоки, яблоки и яблоки! Три недели подряд одни яблоки! Это же с ума сойти!

— Из яблок можно сделать «ренет-алье-бокель»,—мечтательно сказал Афанасий Лукич.—Середина вынимается и заполняется ликером. Яблоки запекают в песочном тесте.

Василий Васильевич вытянул черепашью шею и блеснул глазками.

— Сварить яблочный компот, и никаких гвоздей.
Валька тряхнула головой.
— Тысячу раз яблочный компот.
Вера улыбнулась.
— Ведь у нас теперь есть манка. Можно сделать яблочный мусс.
— Манку мы израсходовали на кашу к завтраку,— возразил Афанасий Лукич.
— Идея!—сказала Валька.—Верочка, тебе премия! Пятнадцать—двадцать грамм манки возьмем на мусс, а из сорока грамм сделаем кашу к завтраку.
Шея Василия Васильевича так непомерно вытянулась, что Валька подумала: «Батюшки! Откуда она у него берется и где держится».
— Ха! Каша из сорока грамм! Я интересуюсь, сколько же каши можно сварить! Одну столовую ложку каши.
Валька ответила:
— Из сорока грамм можно сварить двести грамм каши средней густоты.
— Ха! Это вы можете, а мы еще до этого не доучились. Мы еще молоды. Поучите нас варить двести грамм каши из сорока грамм манки.
— И поучу!—сказала Валька.
Все двинулись в кухню, отвесили сорок граммов манки и стали варить кашу. Пока каша варилась, Валька волновалась и презирала себя за то, что волнуется: «Было время, в разведку ходила, спокойная, как дерево. А теперь из-за каши переживаю, как последняя психопатка...»
Когда каша сварилась, Василий Васильевич сказал:
— Сто пятьдесят грамм. Больше не потянет.
Кашу положили на весы и стали взвешивать.
— Сто пятьдесят мало,—сказала Вера и добавила гирьку в сто семьдесят.
— Мало.
— Сто девяносто.
— Мало.
— Двести!
Чаши весов закачались и уравновесились. Валька засунула руки в карманы и торжественно сказала:
— Ну как, Василий Васильевич, научились варить двести грамм каши из сорока грамм манки?
Ей не пришлось вдоволь насладиться своим торжеством потому, что ее вызвали к начальнику терапевтического отделения. Начальник терапевтического отделения Нина Алексеевна, молодая, голубоглазая, всегда по-докторски спокойная и ласково строгая, казалась Вальке идеалом женщины.

— Пойдемте, Валя,— сказала она и повела Вальку в язвенное отделение.— Вот смотрите!

Язвенники, которые обычно сидели на балконе или бродили по парку, на этот раз лежали в постелях в странных и напряженных позах.

— Это все наделали ваши вчерашние фрикадели, Валя,— тихо сказала Нина Алексеевна.

Валька оторопела от неожиданности.

Они вернулись в кабинет начальника отделения. Все здесь было бело — стены, шкафы, тумбочки, занавеси. Большой букет ярко-розовых роз ронял на белую скатерть лепестки, похожие на раковины.

— Валя, уже второй раз вы даете больным недоброкачественный ужин. Я вынуждена доложить полковнику.

— Но пробу ужина берет дежурный врач.

— Вы прекрасно знаете, что на вкус не всегда можно дать заключение о качествах. Очевидно, у вас неправильно хранится мясо.

— Нина Алексеевна, мясо хранится в леднике.

— Я знаю одно, Валя,— все больные утверждают, что мясные изделия за ужином имеют совсем иной вкус, чем за завтраком.

В кабинет вошла врач отделения Мирра Викторовна и напустилась на Вальку:

— Безобразие! До тех пор, пока у нас не было общегоспитальной диетсестры, все было в порядке. С вашим появлением у нас одна неприятность за другой. Вы вызвали обострение процесса у большинства язвенников. Вы скажите, что вы делаете целыми днями? Из кухни в кухню бегаете? Пробы снимаете? А? Пробы снимаете?

Валька молчала.

Чувство справедливости было ее шестым и самым основным чувством. Именно оно определяло ее поведение. Валька считала, что на нее кричат справедливо, так как она отвечала за питание.

Она молча выслушала все обвинения, молча вышла из кабинета и села на скамью у фонтана.

«Что же это? Что случилось с фрикаделями? Почему больные жалуются, что у мясных изделий за ужином иной вкус, чем за обедом? Мясо хранится правильно. Фарш заготовляется непосредственно перед горячей обработкой. В чем же дело? Пробу ужина брал дежурный врач. Он не сделал никаких указаний».

Мимо Вальки прошла операционная сестра, и вид у нее был такой гордый, стерильный и хирургический, что Валька почувствовала острый приступ зависти.

«Эх, была когда-то и я человеком... Хирургом собиралась стать, в операционной работала, а теперь...— Валька

взглянула на свою изуродованную руку.— Стала я теперь ни рыба ни мясо, ни сестра, ни повар. И все меня теперь презирают...»

К ней опять подошел Вано и сел рядом:

— Я вечером ходил, пел «Сулико» и думал о вас, Валечка. Луна был большой, а вас не был нигде.

Валькины тапочки протерлись, и в дырку виднелся ноготь большого пальца. Этот маленький, розовый ноготь имел беспомощное выражение и переполнил сердце Вано жалостью и заботой.

Вано пытался выразить эти чувства, но слова получались глупыми. Вано понимал это, мучился, но не видел другого выхода и продолжал говорить с мужеством отчаяния.

Валька слушала и думала: «И чего он ко мне цепится, не было мне печали? Луна, Сулико — какие все глупости! И весь он какой-то психоватый. Очень глупый, наверное. И за что только ему ордена понадавали?»

— Ах, Валечка! — говорил Вано.— Какой у вас черный брови! Ваша мама не была грузин?

— Моя мама не была грузин,— сердито ответила Валька.— И почему вы все время машете руками и все время ходите туда-сюда, если вам велено лежать? Вам надо не о Сулико думать, а о том, чтобы скорее поправиться и вернуться на фронт. Вы есть вредитель своего здоровья. Вот вы кто!

Отчитав под горячую руку переполненного лучшими чувствами Вано, Валька пошла в кухню, рассказала о событиях в язвенном отделении, провела беседу о язвенной болезни, проверила хранение мяса и заставила вымыть всю кухню раствором хлорной извести.

Минога была очень взволнованна.

— Ох, что же это такое?! Господи! Да с чего бы это? — говорила она, всплескивая красивыми обнаженными руками.— Я так разнервничалась, что все из рук валится! Девочки, мойте чище! Уголки все повыскребем, все хлоркой перемоем, будь надежна, Валечка, все сделаем!

Из пекарни привезли хлеб, он оказался непропеченным. Валька его не приняла и поехала в пекарню ругаться с пекарями.

Пекарня находилась в восьми километрах от госпиталя. Обратно Вальке пришлось идти пешком. Она сняла тапочки, чтобы они окончательно не развалились, и шла, шлепая босыми ногами по пухлой дорожной пыли.

Она прошла весь Нальчик и пошла к курортному местечку Долинску, где помещался госпиталь. Она шла прекрасным парком, который тянулся километры и переходил в дикие кабардинские леса.

В парке росли красивые незнакомые деревья, цветущие кусты, а между ними белели статуи и виднелись скамейки. Все было очень красиво, но Валька шла и думала о любимой северной реке Пижме и о родных таежных лесах. Там густо стояли тонкие сосны и темные ели, многолетние залежи валежника в непроходимой чаще прорастали травой и папоротником, но стоило ступить на них, как трухлявая древесина проваливалась под ногами, и ноги уходили в нее по колено.

Весной по берегам Пижмы белым цветом цвела черемуха, а осенью алела рябина. В лесу было так много грибов, что за ними ходили с мешками, росли также земляника, черника, брусника, из брусники бабка делала брусничную воду, которую Валька любила больше всех напитков.

В крохотной деревушке на берегах Пижмы Валька прожила до самой войны. Она жила с братом и бабкой на пенсию, которую им давали за то, что их отец был одним из первых коммунистов села. Отец и мать Вальки были убиты кулаками, когда Валька была еще маленькой. Бабке было более ста лет, и тело у нее было сухое, черное и крепкое, как вяленая рыба. Она была родом из соседнего Уренского района и рассказывала Вальке, что раньше в этих местах было много староверов, ссыльных.

Бабкин дед был тоже беглый, документов у него не было, но богатые староверы держали его в работниках, так как он был мастер на все руки. Характер у него был непокорный и горячий, его прозвали Васька-буян, и отсюда пошел весь род Буяновых.

Бабка была староверка, и когда сердилась, то ругала ребятишек «еретиками» и «христопродавцами». Характер у нее был истовый, дотошный и непримиримый, и если она что-нибудь забирала себе в голову, то ничего нельзя было с ней поделать.

За провинности она заставляла Вальку бить поклоны, а сама сидела на лавке, отбивая такт палкой об пол и протяжно считала:

— О-один! Два-а! Три-ии!

Брат Сережа был на семь лет старше Вальки и заменял ей и мать и отца. Он одевал ее, кормил, носил ей гостинцы, называл ее бабкиными словами «лихо ты мое» и держал в страхе и повиновении.

Он бил ее отчаянно, но всегда за дело, другим же никому не давал коснуться до нее пальцем и на ее обидчиков кидался коршуном, невзирая на их рост и силу.

Она вспоминала тот день в октябре сорок первого года, когда провожала брата на фронт. Ей было тогда только пятнадцать лет, но на станции она не уронила ни одной

слезинки, потому что была комсомолкой, и потом брат наказывал ей быть примером бодрости и выдержки. Когда она вернулась домой, ей стало невтерпеж тяжело, но в доме было полно народу и нельзя было плакать.

Валька вышла на задний двор. Заднее крыльцо было высоким, и под ним в ненастную погоду любили прятаться куры и козы. Валька не нашла лучшего прибежища для своего горя и полезла плакать под крыльцо. Она сидела под крыльцом и ревела, а козел Васька пытался жевать то рукав, то воротник ее пальто. Наплакавшись, она вылезла из-под крыльца. Лицо ее распухло от слез, а пальто было выпачкано пылью и куриным пухом и изжевано козлом Васькой.

Через год в селе открылись курсы медсестер. Валька сказала, что она родилась не в декабре, а в январе двадцать пятого года, таким образом прибавила себе целый год и добилась, что ее приняли на курсы... В семнадцать лет она попала на фронт и сразу пришлась к месту в своей дивизии. Характер у нее был самостоятельный и рисковый. Она была неизменно спокойна и смела смелостью неведенья, смелостью счастливого ребенка, незнакомого с болью и страданием. Вскоре ее ранило в руку и в грудь. В Пятигорске в помещении госпиталя, в котором она лечилась, занимались курсы диетсестер. Валька стала ходить на эти курсы. Когда она поправилась, то не поехала к себе в Сибирь, а стала работать в Нальчике. Здесь было ближе к фронту, а Валька не теряла надежды на то, что она совсем вылечится и опять уедет на фронт.

Валька опоздала к ужину и прошла не в кухню, а прямо в отделение.

— Вот,— сказал ей один из язвенников,— полюбуйтесь, опять то же самое. С утра мясо как мясо, а к вечеру черт знает что! Я не стал есть.

Валька взяла паровую котлету и стала жевать. Котлета была без запаха и без дурного привкуса, но было в ней что-то «не то». Она была жестка и груба на вкус. Валька пожевала ее еще и поняла: в котлете слишком много хлеба. Снова пожевала и определила, что хлеб был не диетный, не белый, а обычный черный.

Язвенных больных, для которых выписывался прекрасный белый хлеб, кормили котлетами, наполовину состоявшими из распаренного ржаного хлеба. Что могло быть хуже!? От неожиданности Валька села на кровать и уставилась в одну точку.

«Что же это такое? Кто-то в кухне берет белый хлеб, берет мясо и заменяет их ржаным хлебом? Не может быть! Но это так и есть. Вот она — котлета. И это сделано сегодня. Сегодня! После того как я целый час толковала в кухне о язвенных больных, об их чувствительности к диете. Какой же подлец мог это сделать? Хозяйка кухни Вера, но ей помогают и Митя, Нюта и другие. Они могли сделать это тайком от нее. Но кто же? Кто? По чьей же вине скорчились на своих кроватях эти больные?»

От негодования и гнева у нее сильно забилось сердце и защемило отрезанные пальцы на правой руке.

«Пока не скажу никому ничего. Но я все понимаю. Белый хлеб еще здесь. На улице не стемнело, а засветло они не могли его вынести».

Валька вошла в кухню. Повар Митя враждебно посмотрел на нее узкими глазами.

«Что он здесь делает? Его рабочий день кончается в шесть часов. Зачем он в кухне? Он! Это он. Он!..»

Повар второй руки, Валькина выдвиженка Нюта всплеснула руками:

— Валентина! Куда вы запропали?

Вера подошла к ней своей легкой походкой, улыбаясь вишневыми губами.

— Валечка! Да пыльная! Да бледная! Да ела ли ты сегодня? Ох, батюшки! И что это только за человек?

— Верочка, я не хочу есть. Завтра к нам приедет санинспекция, а я давно не делала подробного санитарного осмотра. Давай посмотрим кухню.

Валька излазила все углы и все щели. Хлеба нигде не было.

Тогда Валька вышла на крыльцо, села на ступеньки и стала думать. Вдруг она вспомнила, что однажды видела горстку просыпанной муки возле подвала. Муки было чуть-чуть, но Валька тогда удивилась — откуда взялась мука на ступеньках пустого подвала.

Вспомнив об этой горстке муки, Валька взяла электрофонарь и пошла в подвал. Ступеньки были разрушены. В подвале пахло прелью и сыростью. Здесь стояли сложенные кровати, валялись какие-то доски, дырявые ведра, старые противни.

В дальнем углу за старой кроватью Валька заметила опрокинутый проржавленный таз. Она подняла его и тихо охнула. Под тазом, на черном противне лежала баранья нога, сизо-красная в белесом свете электрического фонаря. Рядом с ней лежали две буханки хлеба, и коричневая гладкая корочка слабо лоснилась.

Валька сидела на корточках в подвале, смотрела на баранью ногу и на буханки и не верила своим глазам. Она

осторожно протянула руку, боясь, что все виденное окажется некоей чертовщиной, галлюцинацией и вот-вот рассеется. Но ничего не рассеялось. Мясо было как мясо — склизкое и влажное на ощупь, и хлеб был как хлеб — с твердой хрусткой корочкой.

Валька положила таз на прежнее место, выбралась из подвала и пошла в соседнее разрушенное здание. Она забралась на второй этаж и удобно уселась на полу, свесив ноги в дыру, пробитую бомбой. Она готова была просидеть здесь всю ночь. Отсюда хорошо видно было заднее крыльцо кухни и вход в подвал. На улице уже смеркалось, в кухне зажгли электричество, и крыльцо было ярко освещено светом, падавшим из больших окон.

Яблони в электрическом свете казались таинственными, и десятки матовых бликов лежали на круглых плодах. Раненые, окончив ужин, шли к танцевальной площадке. В парке возле корпуса все постепенно затихало и пустело. Но вот открылась кухонная дверь и вышел повар Митя. Он минуту постоял в нерешительности, спустился с крыльца и снова остановился.

«Он. Нет, не он! Он?» — не спуская с него глаз, думала Валька. Он пошел направо, к танцевальной площадке, как-то странно покружился на месте и вернулся в кухню. Теперь Валька уже не сомневалась, что это он. Понятен стал и его затаенный, враждебный взгляд, и молчаливость. Его лицо — длинное, бледное, большеротое, казалось ей типичным лицом бесчестного человека. «Зачем он опять ушел в кухню? Но все равно! Я тебя дождусь».

Долго на крыльце никто не появлялся, потом выбежала Нюта. Она выбежала и посмотрела торопливо вправо, влево, за угол. Вид у нее был такой явно вороватый, что сердце у Вальки екнуло. «Неужели она? Нюта! Моя выдвиженка! Тихая, безответная, работящая».

Нюта юркнула в кухню, сразу вернулась с ведром в руках, выплеснула воду тут же у крыльца и ушла в кухню.

«Вот оно что! — с облегчением вздохнула Валька.— Воду у крыльца выливать! Сколько раз я из-за этого с ними ругалась. Трудно им дойти до помойки».

Вскоре вышла Вера, легко сбежала по ступенькам и направилась прямо в подвал. Валька так вздрогнула и вытянулась, следя за ней, что чуть не свалилась в дыру со второго этажа в подвал. «Вера? Ударница! Вера, которую по ее, Валькиному, настоянию недавно премировали за отличную работу. Кто угодно, только не Вера! Только не Вера!»

Вера быстро вышла из подвала и пошла обратно в кухню. Валька ясно видела, что в руках у нее ничего не

было. «Зачем же она ходила в подвал? Что же это происходит здесь, в кухне второго отделения?»

Валька побежала в подвал.

Мясо и хлеб по-прежнему лежали под тазом, но рядом с ними Валька нащупала еще что-то мягкое. Это был мешочек с манной крупой. Вот оно что! Она приготовила все для того, чтобы вынести позднее, когда все уже лягут спать! Машинально сжав в руке мешок с манкой, Валька ринулась в кухню.

Здесь была та особенная кухонная вечерняя тишина, которую Валька любила. Начищенные до блеска кастрюли сохли на остывающей плите. Только что вымытый пол влажно блестел и скользил под ногами. Митя возился около моечной, в которой мокла рыба, а Вера стояла у плиты. Она уже сняла халат, и на ней было желтое шелковое платье с красивыми тонкими кружевами на пышной груди.

— Валечка, что же вы так поздно? Мы же все уже прибрали, Валечка!

Она взглянула на Вальку безмятежно-красивыми глазами, и вдруг в этих глазах что-то блеснуло, метнулось, забегало. Валька налетела на нее не помня себя. Ей не хватало воздуху:

— Ты, ты... ты...— Она вдруг вспомнила те самые гадкие и грязные слова, которые ей приходилось слышать, и выпалила их все подряд, одним духом. Она почувствовала, что ее рука погрузилась в мягкую, как тесто, Верину щеку. Потом она схватила Веру за волосы и стала тыкать ее лицом в мешок с манкой.

— Валентина Ивановна!— Митя схватил ее за руку.— Хватит! Не стоит она того. Себя пожалейте!

Вера дрожала и убирала хлопья сыроватой манной крупы с лица, с глаз, с шеи.

Потом Валька сидела на крыльце, обессиленная, готовая плакать, и говорила Мите:

— Не могу идти... Ноги обмякли... Не могу я переносить такой подлости...

— И как это вы словили ее, Валентина Ивановна? Я давно вижу, что дело нечисто, а словить не могу. Она меня все спроваживала с кухни — то продукты получать, то еще куда-нибудь. А ведь я думал, что вы с ней заодно. Она перед всеми хвасталась вами.

— Митя, пойдите к полковнику. Расскажите ему обо всем. Я когда успокоюсь, сама приду.

Митя забрал манку, хлеб и баранью ногу и пошел к полковнику. Ни полковника, ни комиссара не было.

— Валентина Ивановна, идите отдохните, а я их дождусь. Как они придут, я вам скажу.

Валька отправилась в свою «гарманжу». Кто-то тихо стукнул в дверь.

— Войдите.

Вошла Вера. Красивое лицо ее было заплаканным, губы дрожали.

— Валентина Ивановна! Просите чего хотите! Все для вас сделаю. Не сгубите только.

Валька молча сидела на кровати, застланной серым одеялом. Вера плакала, ее полное тело колыхалось, кружева на груди вздрагивали, как крылья бабочки.

— Валентина Ивановна! Или я вас не жалела! Или я за вас не старалась! Лучший кусок для вас. И не как-нибудь, не по расчету, от души да от сердца. Валечка, ведь, почитай, погодки с тобой. Ведь засудят меня! Это что же будет. Боже ты мой! Неужто мне из-за куска хлеба да из-за этого мяса пропасть.

Вальке стало жалко Веру и страшно за нее. Засудят ее. Такую быструю... Поведут по улице под конвоем... Ой, что же это?.. Как страшно!..

— Зачем ты это сделала? Зачем, Вера?

— По глупости, Валентина Ивановна! Ведь в первый раз!

— Врешь!

— Не сойти мне с этого места! В первый, впервешеньки!

— Врешь!

Вера смотрела на Вальку в упор светлыми, кошачьими глазами и лгала ей в упор.

— Пусть мне в жизни счастья не видать — впервешеньки! Суди меня, как хочешь, Валенька, проси с меня, чего хочешь, только не казни.

Ложь ожесточила Вальку.

— Не мне тебя судить, не мне казнить. Уходи от меня, Вера.

Вера подошла ближе, она снимала с себя брошку, серьги и говорила быстро и вкрадчиво:

— Валенька, возьми, все тебе отдам. И деньги у меня есть. Денег я не пожалею.

— Уходи! Убери все это! Уходи от меня!

— Ты подумай, ты рассуди. Мне добро сделаешь, и тебе хорошо будет. Ведь у тебя ни платьишка, ни туфлишек, ни пальто. Разве это жизнь. И красоты-то твоей не видно. Ведь тебя, Валенька, одеть, ты промеж всех заблестишь. А мне ничего для тебя не жаль. Все бери. Бери! — Она совала в руки Вальке кольца, серьги.

— Вера, ты с ума сошла.

— Нет, Валя, я умом живу. Умные-то люди все этак живут. Не мы первые, не мы последние. Мы бы дружить-

ся стали, такую бы жизнь завели — тебе и не снилось. Никто, кроме тебя да Митьки, не видел. Митьку я как-нибудь обойду.

Она уже не плакала. Ее холодные, светлые и злые глаза были сухими. Она была деловитой, вкрадчивой.

— Уйди ты... И всю эту погань с собой забери. И пусть тебя судят. И никакой жалости у меня к тебе нет. Уходи, пока я людей не позвала! Уходи!

— Не хочешь, значит!

— Мразь ты! Мразь! Понимаешь!

Вера выпрямилась и глянула в глаза Вале откровенно злобным взглядом.

— Ну, гляди, Валентина. Я одна тонуть не стану. Сама потону и тебя потяну. Кто тебе дал право меня бить? А? За одно это тебя засудят. Да я за тобой такие дела знаю, что тебя под трибунал подведу. С чего это у тебя правая рука поранена? Что? Упала? — наступала на Вальку и почти кричала ей в лицо. — Думаешь, я не знаю? Думаешь, люди не понимают, отчего это правая рука у нее... Давно раненые про тебя говорили.

Подозрение было таким чудовищным, что Валька совсем растерялась от неожиданности и жалко забормотала:

— Я... у меня... У меня рука и грудь ранены одной пулей. Я держала руку на груди, и пуля прошла насквозь, у самого сердца.

— Знаем мы — «у самого сердца»! Ну, так знай, Валентина. Ты меня все равно не засудишь. Я ото всех откуплюсь. У меня денег хватит. У меня все есть, и все у меня будет. А ты заморышем была, заморышем и останешься. На машине мимо тебя ездить буду да глядеть буду, как ты по грязи без калош шлепаешь. Еще ты обо мне вспомнишь да пожалеешь, что от меня отметнулась.

Послышались чьи-то шаги. Вера схватила со стола свои серьги, кольца и скользнула в дверь.

Валька пошла к полковнику.

Полковник только что вернулся из города с длинного и бурного совещания, на котором его ругали за то, что в госпитале плохо идет ремонт и восстановление разрушенных зданий. При приезде он узнал, что на скотном дворе неожиданно заболела и пала лучшая кобыла, и расстроенный конюх жаловался на ветеринара и просился на фронт.

Потом пришел Митя, рассказал про кражу в кухне, сказал, что работать в кухне ему противно, и тоже просился на фронт.

Вслед за Митей явилась Валька. Она рассказала подробности о краже. Закончила рассказ так:

— Поскольку я к работе диетсестры не приспособлена, прошу отправить меня на фронт.

— На фронт! На фронт! — загрохотал выведенный из себя полковник. — На фронт хотите. Д-дезертировать! Все, как один, сговорились! Чтобы я этих разговоров дезертирских больше не слышал!

— Как это «дезертировать»? Я прошусь с тыловой кухни на фронт. Разве можно дезертировать на фронт?

— Вот именно! Вы думаете, я не понимаю? Я, милая моя, три войны воевал. На фронт! Г-герои какие! Нет, вы здесь поработайте. Здесь! Где камня на камне не осталось, где ордена на вас не сыпются и трубы вам не трубят! На фронт... Чтобы я этих разговоров больше не слыхал. Марш домой!

Но Валька домой не пошла, а уселась на стуле у дверей. Она считала, что на нее накричали несправедливо, и чувствовала себя обиженной. Не желала уходить до тех пор, пока эта обида и несправедливость не будут как-нибудь заглажены.

Она сидела на стуле и мрачно смотрела на мраморную голову Венеры, стоявшую на столе. Голова была прекрасная, спокойная, мертвая. Она отражалась в зеркальной крышке пресс-папье. Вокруг нее на зеленом сукне стола лежал светлый круг от абажура. Полковник, огромный и сердитый, в своих брезентовых, защитного цвета сапогах, быстро и неслышно ходил по кабинету из угла в угол. На тумбочке под салфеткой стоял ужин и пахло сосисками.

Валька почувствовала приступ голода. За день она съела только кусок картофельной запеканки да кукурузную лепешку, которую купила в городе на базаре.

Полковник остановился, посмотрел на ее горестную тонкую фигурку, заметил взгляд, устремленный на сосиски, и лицо его подобрело.

— Ты ела что-нибудь сегодня?.. Эх ты... диетсестра...

— Я ела, — гордо ответила Валька, помолчала и вздохнула. — Товарищ полковник, я ее била по лицу, материла и тыкала носом в манку.

— Ты?! Ее била и отматерила?!

— Угу Меня теперь будут судить, да?

Полковник остановился перед Валькой.

— Никто тебя не будет судить.

— Нет, пускай меня судят, — мечтательно сказала Валька. — Сильно судить меня не будут, а маленько посудят и в наказанье отправят на фронт... И уеду я отсюда на фронт... — Она покосилась на полковника. Потом она сердито и мстительно добавила: — Я на фронт уеду, а вы здесь будете оставаться. Вот.

Полковник положил большую тяжелую руку на голову Вальки, ресницы его дрожали, и взгляд был странный. Валька не поняла этого взгляда.

— Никто тебя не будет судить, Валя. Иди... Отдыхай...

На пороге она встретила молодого капитана, о котором она знала, что он «от газеты».

Капитан вошел в кабинет и спросил:

— Что это за сердитая девочка?

— Это?.. Наша диетсестра.— Полковник усмехнулся.— Вы все говорите о людях социалистической формации. Так вот... Не угодно ли? — И он широким жестом указал на дверь, за которой скрылась Валька.

— А что эта девочка сделала?

— Она? А ничего... Ввела в меню восемь разных блюд из картофеля вместо трех, которые изготовлялись раньше... Завела десять кур, чтобы у тяжелых больных всегда были свежие яйца... Отматерила и побила проворовавшуюся повариху.

— Да ну? Отматерила и побила? — Капитан радостно засмеялся и прищурился.— Что же, последнее вы также считаете признаком человека социалистической формации?

— Э, мой друг! И на солнце есть пятна.

Полковник щелкнул голову Венеры и сказал:

— Прекрасная голова! Но она была бы мне гораздо милее, если бы я имел возможность видеть ее в процессе, так сказать, формирования, тогда, когда и щеки у нее еще не отшлифованы, и в лице еще нет этой идеальной симметрии.

В парке Валька встретила Вано.

— Валечка! Только не сердитесь. Я прошу вас, Валечка, пойдемте к нам на балкон. Там видно, как луна идет над горами.

— Господи,— сказала Валька.— Почему вы все время путаетесь у меня под ногами? Мало у меня мороки, кроме вашей луны!

Она пришла в свою «гарманжу», пошарила в холодильных шкафах, нашла подгорелую хлебную корку и стала грызть ее. Она была голодна, утомлена, и ей очень хотелось плакать. Она села писать письмо брату. Она писала, и слезы капали на бумагу.

«Дорогой мой, любимый мой братка Сереженька! Живу я посередь яблоневых садов, а жизнь у меня такая, что впору на любой яблоне повеситься. Стала я теперь диетсестрой, и все меня попрекают, что я дармоедка, бегаю по трем кухням пробы снимать, а я иной день и куска хлеба поесть не успеваю. А никто этому не верит. И каждый день я ругаюсь. Бухгалтерша в продотделе до того вреднючая, что терпенья нет, повара тоже вредные и вороватые, а полковник обозвал меня дезертиром ни за

что ни про что. Много развелось людей подлых и нехороших. В школе я учила, что глистовые яички в неподходящих условиях могут сколько хочешь лежать безвредные без движения, но как только они попадут в подходящие условия, так в один момент превращаются в паразитов. Так и некоторые люди. Они до войны жили тихо, как паразитовые личинки, а как только немцы пришли сюда, так они враз попрорастали в больших паразитов. Но не то мне обидно, а то мне невтерпеж, что какого человека ты считаешь самым лучшим другом, тот, оказывается, и есть самый последний паразит...»

Дойдя до этого места, Валька заплакала. Когда она проплакалась, то порвала письмо и стала писать новое.

«Дорогой бесценный мой братка Сереженька! Поздравляю я тебя со славными победами героической Красной Армии и шлю тебе свой пламенный сестринский и комсомольский привет и желаю тебе успехов! Дорогой братка Сереженька! Я здесь живу хорошо. Полковник меня уважает и в обиду не дает. Люди здесь хорошие, а особенно начальник терапевтического корпуса. Из поваров тоже есть хорошие люди. Места здесь богатые, дачи красивые, только попорчены немцами. Среди людей некоторые, которые были послабее, тоже попорчены немцами. И приходится иногда наблюдать печальные явления воровства, взяток. Но мы все это переборем, потому что сила за нами. Ты пишешь, не думаю ли я относительно партии. Дорогой мой братка! Как я себе понимаю, то мне еще в партию рано, потому что я еще совсем не выдержанная и после раны стала такая нервная, что это недопустимо. И культуры еще тоже у меня маловато. Мне еще надо сильно перевоспитываться, поучиться, и я еще пока побуду в комсомоле.

Дорогой братка Сереженька! Здешняя шерсть лучше нашей, я купила пряжу и вяжу тебе носки к зиме. Только ты отпиши, куда послать. Скучаю я о тебе, Сереженька, и как ложусь спать, то каждый раз думаю о тебе и вспоминаю, как мы с тобой по дрова ездили и как в клубе выступали. Надеюсь скоро с тобой свидеться. Шлю тебе привет и желаю тебе удачи в твоих боевых и героических делах.

Твоя сестренка *Валя*».

Кто-то подошел к окну.

— Валентина Ивановна! Вы не спите?

Валька увидела Митю.

— Я вам картошки принес горячей. Со своего огорода. Со сметаной.

Валька поела картошки и легла спать, свернувшись комочком под тонким байковым одеялом.

С гор дул ветер, яблони шумели за окном, и яблоки стучали об землю.

Любовь

Валентину разбудил шум за окном вагона.

— Мацони! Мацони! Мацони! — пронзительно кричало мальчишечье сопрано.

— Варены яйца. Варены яйца,— вторило контральто с кавказским акцентом.

— Где варены яйца? Зачем варены яйца? — торопливо спрашивал женский голос.

Открыв глаза, Валентина увидела тисненую обивку двухместного купе, свою летную форму, аккуратно повешенную на крючок, и своего приятеля и спутника — известного армянского пианиста. Он смотрел в окно, и на его красивом лице было выражение гнева, обиды и сухости.

Валентине захотелось, чтобы он заговорил с ней, и она попросила: «Купите мне винограда». Он немного подумал, потом открыл окно, купил виноград и молча подал ей, сохраняя то же обиженное и гневное выражение.

— Сердитесь? — спросила Валентина.

Он посмотрел на нее с ожесточением и сказал категорически:

— Вас надо избивать. Такой женщина самый вредный.

— Почему такой женщина самый вредный? — спросила она нежно.

Он нравился ей. Даже гнев и досада не изменили основного, благородно открытого выражения его лица.

— Надо говорить или «да», или «нет». Так поступают нечестно. У меня не было «пошлое отношение» к вам. Эльбрус можно было растоплить. Вы ненормальная женщина.

Он говорил с сильным армянским акцентом и с южной патетичностью, и у любого другого это было бы очень смешно и напоминало бы армянские анекдоты, но у него получалось необыкновенно привлекательно.

Валентина вздохнула. Должно быть, она таки в самом деле была «ненормальной женщиной». Она вспомнила, как вчера вечером она хотела уйти из купе, а он не пускал ее, опустившись на колени, обнимая ее ноги, и его сердце сильно билось о ее колени. Она вспомнила, что, несмотря на его полуневменяемое состояние, он ни разу за всю ночь не оскорбил ее ни одним жестом. Его поведение было красивым, в нем чувствовалось и большое уважение к ней, и неподдельная нежность.

Ее охватило чувство благодарности к нему.

В порыве нежности она протянула ему раскрытую ладонь. И сейчас же на его лице появилось то мучительно-страстное выражение, которое чуть не победило ее вчера. Она испугалась, спрятала руку и повернулась лицом к стене.

Он сел рядом с ней и, целуя ее в ухо, говорил:

— Милая моя! О, любимая моя! Я сам не знаю почему, но никогда ни с кем так, как с тобой... Им сирелис! Им арегакес! Скажи «да», и я стану ждать месяц, год, сколько захочешь. Ну, дай мене ладонь, ну погладь мене по лицу, умоляю тебе.— И снова в его голосе звучало негодование:—Ну о чем я умоляю тебе? Я умоляю тебе погладить мене по щеке! Какую еще женщину умоляли об этом? Это «нельзя»? Это «пошло»? Да? Ты не человек!—Завладев ее ладонью, он прижался к ней щекой и затих на минуту. Потом он заговорил тише:— Столько счастья в таких пальчиках. Столько счастья в каждом твоем пальчике. Зачем такая скупая? Почему другая женщина никакой лаской не даст мне столько счастья, как ты, когда ты просто прикасаешься к моей щеке? О моя любимая! Как сладко с тобой!

Валентина слабела от его слов. «Если искать любви, то в целом свете не найдешь лучшего возлюбленного,— думала она.—Должно быть, для такого сухаря, как я, нужен именно такой человек. Ни к кому не тянуло меня так сильно. Что будет, если я скажу «да»? Или если просто ничего не буду говорить?»

Ей хотелось обнять его. Она села на постели и сказала со скукой и равнодушием:

— Как мне надоела ваша лирика. Вам восемнадцать лет? Выйдите из купе, я буду одеваться.

Он посмотрел на нее бешеными глазами. Одно мгновение она думала, что он ударит ее, но он только дрогнул всем телом, силой вдохнув в себя воздух, стиснул зубы и вышел из купе.

Оставшись одна, она зарылась лицом в подушку и сказала себе тем бабьим языком, на котором говорила только сама с собой: «Ох батюшки! Да ведь нужен он мне,

нужен до зарезу. И что же мне теперь делать? Ведь обезумела я на четвертом десятке. Что, у меня муж есть? Нету мужа. Над чем я трясусь? Чем дорожу? Ох дура я, баба. Ведь такая я дура баба, что расскажи кому-нибудь, и не поверят, что не перевелись еще на свете такие дуры».

Лежа в постели, можно было додуматься неведомо до чего. Она встала, протерлась одеколоном, надела летную форму, и, как всегда, последняя помогла ей вернуть то состояние холодка, ясности и строгости, которое она любила в себе.

Потом она пошла в вагон-ресторан, и никто не заподозрил бы «бабьих мыслей» в этой суховатой летчице с немолодым строгим лицом.

Она заказала бутылку легкого вина, села к окну и стала думать. Теперь к ней вернулась ее обычная ироническая ясность мысли. Она видела и старалась ярче увидеть дешевку того, к чему ее тянуло.

«Любовь с первого взгляда или дорожное приключение известной летчицы,— насмешливо думала она.— Приключение в кавказском стиле. У него есть жена. Если очень захотеть, то можно их развести. А может быть, и нельзя. Что-то очень осторожно он говорит на эту тему. И конечно, я не захочу этого. Интересно, часто ли в его жизни бывают такие ситуации и скольким женщинам он говорил и еще будет говорить то же самое? Как хорошо, что у меня все-таки хватило выдержки. Но видеться больше нельзя. Он заражает меня. После Андрея это первый человек, к которому меня так тянет».

Ее любовь к Андрею начиналась тоже в поезде. Под шум колес хорошо вспоминалось.

Это было десять лет назад. Она, тогда еще студентка консерватории, хорошенькая, избалованная и беспечная, ехала из Москвы в мягком вагоне. Ночью в Москве она так хотела спать, что уснула, едва войдя в вагон. Утром она проснулась, пошла в умывальню, надела нарядное платье, намазала губы, взбила волосы и во всеоружии вернулась в купе.

— Ну вот, взяла и все испортила,— раздался сверху мужской голос.

На верхней полке она увидела красноватое, словно обветренное, лицо и серые острые глаза.

— То есть что я испортила?— спросила она.

— Себя испортила. Откровенно говоря, я на вас отсюда с рассвета смотрю. Смотрю, спит девушка: белая косыночка, две косы, и лицо такое... Наше рязанское лицо. А теперь и старше стала, и самая обыкновенная.

Другие соседи по купе вступились за Валентину.

Ее собеседник спрыгнул с полки и сел рядом. Это был

сухой, жилистый немолодой человек, одетый в полувоенную гимнастерку и галифе. Когда он говорил, то обычно смотрел мимо собеседника и только иногда внезапно взглядывал на него очень прямым, острым и быстрым взглядом. У него было сухое, небольшое правильное лицо, быстрая, веселая и жесткая усмешка открывала плотные белые зубы. Весь его облик был не интеллигентский и не крестьянский, а фабричный. И Валентине он показался фабричным человеком.

Завелся в купе обыкновенный разговор. Он говорил обо всем с добродушной иронией и, казалось, видел во всем одну смешную сторону.

Когда Валентина попросила его рассказать что-нибудь о гражданской войне, он смешно рассказал о том, как целую ночь просидел в степи, дрожа от страха, приняв дремавших баранов за белогвардейских разведчиков.

— Почему у вас полувоенная одежда? — спросила Валентина.

— Не могу в пиджаке ходить,— ответил он.— Как надену пиджак, так и хожу сам не свой. В Москве в прошлом месяце пришлось мне быть на одном официальном обеде. Ну, оделся я честь по чести, костюмчик надел такой «дипломатический». Сидеть пришлось мне рядом с англичанами. Я английский язык прилично знаю. Могу объясниться. А тут все слова разом позабыл. «Уес да уес», и больше ни звука, что ты будешь делать. Мне нарком говорит: «Что же это ты? Я на тебя надеялся» А и слова позабыл, и соображать ничего не соображаю. Плюнул и домой уехал. А как приехал домой, влез в свою гимнастерку так сразу опять человеком стал и по-английски заговорил.

Он был веселым собеседником и бывалым человеком, и слушать его было интересно. Он не ухаживал за Валентиной, не говорил ей комплиментов, но, когда они прощались, попросил разрешения прийти к ней. Он приехал к ней через сутки, поздно вечером. Он внимательно осмотрел ее комнату Поинтересовался лежащим на столе комсомольским билетом. Задал ей несколько быстрых неожиданных вопросов и сказал:

— Вот тебе мои документы. Партбилет Трудовой список. Работал я до сегодняшнего дня директором 101-го завода. Слышала о таком? А теперь, Валя, слушай меня. Сегодня с ночным поездом я уезжаю. Срочно еду на Дальний Восток принимать новый завод. По-другому познакомиться мы с тобой не успеем. Приходится так. Говори, пойдешь за меня замуж?

Она засмеялась. Глупо было принимать его слова всерьез, и она ответила шутя:

— Мне нужна квартира в три комнаты с ванной и своя машина.

— Квартира и машина будут, а ванну с первых дней не гарантирую,— сказал он серьезно.

— Ну если три комнаты и машина будет, то почему бы мне и не выйти за вас замуж

— Договорились. Пойдем теперь к твоей маме.

Она повела его к маме, смеясь, и уже не совсем ясно понимала, где кончается шутка и начинается серьезное.

— Мама,— сказал он,— вы собирайтесь понемногу Я скоро вашу Валю вместе с вами увезу на Дальний Восток.

Мать нагнула голову, поверх очков посмотрела на них непонимающими глазами и спросила:

— А вы кто же будете?

— Я вашей Вали жених.

Мать смотрела растерянно, потом обиженно сказала:

— Скажи мне, дочка, хоть как зовут-то твоего жениха.

— А я, мама, и сама не знаю,— смеясь, сказала Валентина.

— Меня зовут Андрей Матвеевич Семенов.

— Мама, не слушай нас, мы шутим,— сказала Валя.

— Нет, нет, мама. Разговор идет всерьез. Через месяц приеду.

Потом он повез Валентину ужинать в ресторан. По дороге он хотел обнять ее, она возмутилась и сказала шоферу:

— Остановите машину, я здесь вылезу.

— Поезжайте дальше,— сказал он.

— Остановите машину, я вам говорю.

— Поезжайте дальше.— Взяв ее за плечи, он сказал иронически и внушительно: — Ты мне на людях истерики не устраивай. Не забывай, что я человек ответственный. Дома, пожалуйста, если без этого не можешь.

Никто никогда не говорил с ней таким тоном. Ей вдруг стало весело, и она позволила обнять себя.

За ужином они говорили вяло и чувствовали себя неестественно, но, когда он привез ее домой, у дверей он обнял ее уже совсем по-хозяйски и сказал:

— Ну, Валя, жди. Через месяц приеду за тобой.

— Пишите мне письма.

— Вот уж не мастер письма писать. Что я тебе писать буду?

— Пишите, что любите меня, что жить без меня не можете и вообще, что люди пишут,— сказала она сердито.

— Не обещаюсь. Приехать — приеду, а писем я отроду не пишу.

Она поднялась к себе в комнату, села не раздеваясь на

кровать. Мать вошла к ней, посмотрела на нее критически, неодобрительно пожевала губами и спросила:

— Это кто же будет?

— Директор одного большого завода.

— Директор. Не походит он на директора.— Она подумала, добавила предостерегающе и укоризненно: — Ох, Валентина...— и со вздохом вышла из комнаты.

«Забавно все-таки»,— подумала Валентина и легла спать. Она проснулась рано, и ее начали мучить угрызения совести: «Позволила поцеловать себя с первой встречи. Фу, стыд какой». Она всегда и всей душой презирала девушек, способных на такое поведение. По ее понятию, уважающая себя девушка должна бы поводить человека за собой один-два года, помучить его как следует и, только склоняясь на его неустанные и долгие просьбы, позволить ему поцеловать себя.

«Как нехорошо,— думала Валентина,— вела себя, как доступная женщина. Неудобно на маму смотреть. И вспоминать о нем не хочу». Она пошла в консерваторию, и жизнь ее покатилась по обычному руслу. Казалось, вечер этот прошел бесследно, как сон. Но к концу месяца ею овладела странная скука. Все ее многочисленные друзья и знакомые стали казаться ей женоподобными.

«Им бы только юбки носить,— подумала она,— гладкие все они какие-то. И не оттого гладкие, что натуры у них такие правильные, без сучка без задоринки, а оттого гладкие, что трусы. Прячут себя за разными культурными манерами, не хватает смелости быть перед всеми такими, как они есть на самом деле, не хватает смелости быть самими собой».

Она скучала со всеми, все были ей противны, и в последних числах месяца она уже прямо говорила себе: «Неужели он не приедет? Ведь он единственный настоящий мужчина из всех, кого я видела. Мне только с ним интересно и больше ни с кем».

Кончился месяц. Прошло еще полмесяца. Ею овладела настоящая тоска.

«Так тебе и надо,— говорила она себе.— Вешаешься на шею первому встречному. Ведешь себя, как развратная женщина. А потом места себе не находишь. А он о тебе и думать забыл. И поделом тебе. Получай по заслугам».

Когда тоска ее стала нестерпимой, она решила:

«Буду ждать до двадцатого. Если до двадцатого не будет ни его, ни писем, значит, все».

Наступило двадцатое. У нее было уменье управлять собой. Под вечер она немного поплакала в подушку, потом надела свое лучшее платье и пошла на танцы. Она заставила себя забыть его полностью. Воспоминание было

болезненно и унизительно, она уже инстинктивно избегала вспоминать и забыла так крепко, что это чуть-чуть не изменило всей ее судьбы.

Месяцев через пять после его отъезда во время экзаменов в консерватории ее позвали к телефону.

Она была поглощена предстоящими испытаниями, ей было не до телефонных звонков, и она с досадой в голосе сказала:

— Я слушаю.

— Валя, здравствуйте.— Прозвучал неясный в трубке голос.— Это говорит Семенов.

Вето, наложенное на воспоминание о неудачном «женихе», было таким крепким, что ни на минуту ей в голову не пришел его образ. Объяснялось это также и тем, что его фамилию она слышала только раз. Поэтому она вспомнила другого Семенова, хорошо известного ей Юлечку Семенова, молодого инженера, которого она не переносила и который донимал ее ухаживаниями год назад.

— Что вам надо?— резко сказала она, обращаясь к Юлечке.

— Валя,— сказал телефонный голос,— я нахожусь в гостинице «Интурист». Вы зайдете ко мне?

Она даже задохнулась от негодования. Откуда у этого идиота Юлечки такая наглость? Как он смеет думать, что она может к нему куда бы то ни было пойти! И она стала говорить с ним с той оскорбительной резкостью, к которой у нее был природный талант.

— Вы пьяны,— сказала она.— Вы соображаете, что вы говорите? С какой стати я буду ходить к вам куда бы то ни было!

Телефон помолчал, потом сказал:

— Хорошо, сегодня вечером я зайду к вам.

— Сегодня вечером я занята.

— Когда же вас можно видеть?

— Может быть, послезавтра.

— Завтра я уезжаю, Валя.

— Какое мне дело до того, уезжаете вы или нет. Мне некогда. До свиданья.

Она успешно сдала экзамен, пошла в буфет, взяла стакан молока, стала пить его, закусывая яблоком, и снова вспомнила телефонный разговор: «Нет, откуда этот идиот набрался такой наглости, чтобы разговаривать со мной так запанибрата?— И вдруг кусок застрял у нее в горле.— Это же другой Семенов. Это тот. Это он»

Оставив молоко и яблоки, она побежала к телефону. Из гостиницы «Интурист» сказали, что Семенова нет. Она сама побежала в гостиницу и узнала у администратора,

что Семенов был утром, заказал номер, но после телефонного звонка сказал, что дело, ради которого он ехал, сорвалось, и от номера отказался.

Она вышла из гостиницы. Положение ее было ужасно. Она только что оскорбила и оттолкнула от себя человека, который нравился ей больше всех, человека, который приехал за ней, чтобы сделать ее своей женой. И теперь она не знала, где искать его. Она не знала ни его адреса, ни его друзей, ни его родных. Можно было поехать на 101-й завод, там, наверное, знали, где он. Но сделать это ей не позволяло самолюбие. Она стала ходить по городу в надежде встретить его на улице.

«Зачем на свете столько людей, когда нужен только один человек»,—думала она. Она измучилась за день, а вечером поехала на вокзал к отходу московского поезда. Она сразу узнала его сухую фигуру.

— Валентина?—сказал он удивленно и холодно.

— Я говорила по телефону не с вами. Я думала о другом Семенове.

Когда он из ее сбивчивых слов понял, в чем дело, он сунул какой-то ошеломленной старушке свой билет в международный вагон, повел Валю за вокзал, нашел полутемный и закрытый от людских взоров закоулок, поставил на землю чемодан, расстегнул ворот гимнастерки и, закончив все приготовления, стал целовать Валю с большим знанием дела, с толком, с чувством и с расстановкой.

Они целовались в простенке очень долго, потом устали, посидели немного на чемодане, снова стали целоваться и только тогда догадались, что для этого легко найти более приспособленное помещение.

Когда они пришли в номер гостиницы, Валентина сказала:

— Андрей, у нас с тобой вся жизнь впереди, нам с тобой совсем незачем торопиться. Оставь здесь чемодан, и пойдем гулять.

Он не особенно охотно согласился. И они пошли на берег Волги. Их охватило ребяческое настроение. Они бегали по таинственным в лунном свете тропкам, забирались на деревья, прыгали с каких-то круч, потом отправились купаться. Вода в купальне была черная и теплая, над головой светили крупные низкие звезды, вдалеке перекликались пароходы. Они купались до тех пор, пока не стали мерзнуть, тогда они надели платья на мокрые тела и, насквозь сырые и веселые, стали подниматься на берег.

— Подожди, я хочу спрыгнуть с этой кручи. Тут такой мягкий песок. Держи меня,—сказала она.

Он взял ее за плечи и сказал медленно:

— Так вот ты какая, моя Валя.

— Какая?—спросила она.

— Девочка, совсем девочка. Очень хорошая девочка.

Потом они поняли, что очень голодны.

— У меня в чемодане есть ветчина, но ни куска хлеба,—сказал он.

Был третий час ночи.

— Умираю, хочу есть,—заявила Валентина.—Маму будить нельзя. Магазины закрыты. Знаешь что, пойдем в пекарню.

— В пекарню?

— Ну да. Ведь пекарни сейчас работают.

Они вошли в маленькую пекарню. Там было жарко, пахло хлебом, электрическая лампочка была выпачкана мукой и светила тускло.

Пекари сперва встретили их недоумевающе, но, когда они объяснили, что они жених и невеста, что они всю ночь гуляли на берегу, очень хотят есть, а у них нет ни куска хлеба, всем вдруг стало весело, их усадили на ларь, дали горячего хлеба, меду и даже водки. Они долго сидели с пекарями, смеялись и разговаривали.

В гостиницу они вернулись очень счастливые, мокрые, веселые, выпачканные мукой. Валя закуталась в одеяло и легла спать. Андрей лег рядом, чуть касаясь губами ее плеча. Она проснулась, когда уже светало. Он, приподнявшись на локте, пристально смотрел на нее.

— Что?—спросила она.

— Нашел, нашел,—сказал он.

— Что нашел?

— То, что и не думал найти. Тебя нашел. Спи, маленькая.

Улыбнувшись, она снова заснула.

Через месяц она уже жила с ним на Дальнем Востоке. В первые же дни совместной жизни они сильно поссорились.

Вечером она сидела на диване, расчесывая волосы. Он лежал рядом, облокотившись на подушки. Раскрыв ворот ее халата, он долго смотрел на нее внимательными, прищуренными глазами, потом сказал:

— Интересно, будешь ли ты мне изменять? Хотя, ясное дело, будешь. Разве такая может не изменять.

Ей вдруг стало очень одиноко. Ей показалось, что она в чужом доме, с чужим человеком, весь строй жизни и мыслей которого чужд ей и никогда не будет ей близок. Ей вдруг очень захотелось к маме. Она запахнула халат, слезла с дивана и сказала:

— Я буду жить в столовой. Пока ты думаешь обо мне так плохо, не смей ко мне прикасаться.

На две недели она перевела его на строго товарищеский рацион. Она готовила ему обед, разговаривала с ним, даже пела ему, но вечером уходила в столовую.

Он шел за ней, сердился и говорил:

— Валька, ведь глупо. Ну что ты капризы разводишь. Ведешь себя, как девчонка. В игрушки играешь. Поди сюда.

— Нет.

— Почему нет?

— Не хочу.

— Жена ты мне или нет?

— Нет.

— Кто же ты мне, если не жена?

— Я тебе так.

— Вот здравствуйте пожалуйста. Почему же ты мне так?

— Потому что ты думаешь, что я тебе изменю.

— Да я давным-давно так не думаю. Ну, поди сюда.

Он пытался силой притянуть ее к себе.

— Андрейка, если ты меня будешь трогать, я завтра же совсем от тебя уйду.

— И ведь уйдет. Станется с нее... Одна такая чертова перечница была на белом свете — и та мне досталась,— говорил он удивленно и нежно.— Ну, вольному воля...— И шел работать.

В работе он был неутомим и азартен. Работа захватывала его целиком. И в этом было его преимущество перед Валентиной, так как она жила только им. Во время этой их первой и единственной ссоры у нее и возникло намерение стать летчицей. Музыка не поглощала ее целиком, так как способности у нее были заурядные, и она это знала. Ей хотелось большого, серьезного, самостоятельного дела, которое могло бы увлечь ее. Так родилось в ней желание стать летчицей.

Недели через две они помирились. Он спросил ее однажды серьезно:

— Валентина, за что ты на меня так сердишься?

Она ответила:

— Я никогда не лгу никому, и я не могу, когда мне не доверяют. Тем более ты. И кроме того, тот, кто не верит, сам может солгать.

— Валя, я никогда бабью не верил, а тебе верю. Тебе первой. А мне тебя обманывать не придется. Ничего ты не понимаешь. Мне после тебя все женщины кажутся телками, а я к скотоложеству не способен.— Он усмехнулся своей жестковатой улыбкой и добавил: — Я теперь, Валенька, конченый человек. На все твоя воля. Велишь казнить или миловать? — И он наклонил к ней голову.

С каждым годом они сильнее привязывались друг к другу Вся их совместная жизнь была непрерывной вереницей то больших, то крошечных открытий, которые помогали им глубже заглянуть друг в друга и сильнее друг друга полюбить.

Так, открытием для нее была его любовь к детям и умение обходиться с ними. Он еженедельно бывал в заводском детском городке, сам следил за питанием и обслуживанием детей. Открытием была и большая чуткость к музыке.

Для него открытием были ее волевой характер, ее способность понимания и ее удивительная разносторонность. Она умела быть совершенно разной, оставаясь всегда самой собой.

«У меня же дома гарем — Валентина, Валька, Валюшенька и еще добрая дюжина разных Валь»,— говорил он шутя на четвертом году их совместной жизни. Его отъезд в командировку стал казаться им проблемой.

Андрей всеми правдами и неправдами старался уговорить Валентину поехать с ним, бросив занятия в летной школе. Валентина не соглашалась, он уезжал мрачным и писал ей из Москвы: «Был в оперном, взял два кресла в третьем ряду — одно для себя, другое для твоего носового платка. Положил носовой платок и никого не пускал — воображал, что ты рядом. Иначе музыка не слушалась. Очень без тебя на свете муторно».

Но были в их жизни и темные стороны. Одной из этих темных сторон была водка. Андрей никогда не был пьян, но понемногу пил почти ежедневно. Другой темной стороной их жизни была его манера работать. Он работал азартно и рисково, пренебрегал формальной стороной дела.

— Цемент нужен, цемент меня режет,— говорил он.— На товарной пятый день стоят три вагона.

— В чем же дело? — спрашивала Валентина.

— Чужие. Автозаводские. Пятый день не выгружают, бюрократы, собачьи дети. Я бы за пять дней пять корпусов отцементировал.

Потом начинались таинственные разговоры с таинственными людьми, цемент поступал на завод, на заводе день и ночь шли цементные работы, и когда они уже были закончены, прибегал взбешенный представитель автозавода и кричал:

— На каком основании вы наш цемент выгрузили? Выгружайте обратно.

— Ошибка вышла, дорогой,— пожимал плечами Андрей.— Думали, это нам прислали. Я бы рад дать обратно, да ведь он, цемент-то ваш, весь в деле, уже зацементиро-

вали. Я в этом месяце получу из Москвы вагон, все вам верну.

Наступала суровая зима, рабочие заводского транспорта были плохо одеты, спецовок не было.

— НКВД получило партию валенок и полушубков,— говорил Андрей за ужином.— У них и так склады ломятся, а у меня ребята на погрузке в лаптях ходят.

Опять шли таинственные разговоры, и рабочие завода начинали щеголять в новых валенках и полушубках.

— Андрей, ведь это незаконно,— говорила Валентина.

— Какой уж тут, Валенька, закон?

— Но ведь тебя могут арестовать.

— Вполне могут.

— Андрей, подумай, что ты говоришь.

— Валенька, так ведь арестуют меня одного, а я пятьсот человек одел. У меня пятьсот человек норму стали перевыполнять. Одному плохо, а пятистам хорошо. Резон или не резон?

Он весело улыбался своей озорной улыбкой, и говорить с ним было бесполезно.

— Я, Валенька, так работаю — либо пан, либо пропал.

Завод рос и выходил в разряд лучших заводов Союза. Андрей дважды ездил в Москву, доказывая, что мощность завода может быть увеличена в пять-шесть раз Он настоял на своем и начал быстрое расширение. Планы перевыполнялись. Рабочие в заводской столовой получали обед из четырех блюд. Наркомат дважды выносил благодарность Андрею. Но Андрей мрачнел, все чаще пил водку и чаще просил Валю:

— Спой, Валенька, что-нибудь такое, чтобы у меня мозги в башке перевернулись.

В эти дни появился в их квартире заместитель Андрея, человек неизвестной национальности по имени Лев Иванович Озе. Это был во многих отношениях замечательный человек Прежде всего был замечателен его нос, необыкновенно длинный, до прозрачности тонкий и словно устремленный вперед в неудержимом порыве. Нижняя же часть тела Льва Ивановича обладала совершенно противоположными качествами, она была по-дамски плотна, оттопырена назад и игрива на ходу. Вследствие этого походка Льва Ивановича была чрезвычайно своеобразна. Далеко опережая его туловище, торчала маленькая птичья головка с пронзительным носом, и, словно не успевая за ним, где-то сзади оставалась торчащая нижняя часть спины и торопливые сухонькие ножки в щегольских брюках. Это противоречие в органах тела Льва Ивановича компенсировалось лихим изгибом его тела и необычайной его подвижностью.

Лев Иванович был человеком несокрушимой жизнерадостности и неутомимой деятельности. Причем, что бы он ни делал: выступал ли на собрании или доставал канализационные трубы,—у него всегда были вид Наполеона, вершащего судьбы человечества, и полное упоение собой и своей ролью. Он очень любил обзаводиться и обставляться. И, приходя к Валентине, с неудержимо радостной улыбкой говорил:

— А я хотя и не директор, но обставился лучше вас. Достал великолепный шифоньер, приходите посмотреть.

С подчиненными он говорил в повелительном тоне и очень любил слова «я этого не допущу», «я заставлю», «я отдам под суд». С начальством он был необыкновенно угодлив, изворотливость его была поразительна.

— В городскую больницу привезли три чудесные ванны,—вздыхала Валя, так как мечта ее о ванной комнате еще не была осуществлена.

— За чем же дело стало?—удивлялся Лев Иванович.—Дайте завхозу пятьсот рублей и возьмите ванну.

— Нельзя, Лев Иванович. Завхоз—честный человек,—отвечала Валя.

— Да, если честный, то это гораздо хуже. Тогда придется дать семьсот—восемьсот рублей.

— Что вы, Лев Иванович, он совсем честный человек.

— Совсем честный человек—это совсем плохо. Это значит: придется дать больше тысячи,—убежденно говорил Лев Иванович.

— Зачем ты его держишь?—спрашивала Валя мужа.

— Он мразь и мерзавец, но полезный человек. Что надо, из-под земли выроет,—отвечал Андрей.

Летом тридцать пятого года Валя уезжала на практику. Ее отъезд совпал с приказом о награждении Андрея орденом Трудового Красного Знамени. Они устроили большой званый ужин. Было очень весело и спокойно на душе. А через два месяца Валентина получила письмо о том, что муж ее арестован.

Андрея обвинили в хищении ста тысяч рублей, судили показательным судом и приговорили к 10 годам заключения. Главным свидетелем обвинения был Лев Иванович.

Работники НКВД, пришедшие конфисковывать имущество, с удивлением смотрели на полупустую квартиру директора и на два Валиных крепдешиновых платья, висевших в шифоньере.

— Где же сто тысяч,—спрашивали недоумевающие глаза.

Валентина горько улыбалась. И ей и Андрею было присуще полное пренебрежение к внешним условиям жизни. Их внутренняя жизнь была так интересна и

насыщенна, что лишняя пара туфель не имела для них никакого значения. О ней просто не думалось. В своей пустой квартире, в своих простых костюмах Валентина и Андрей всегда были окружены людьми, всегда пользовались общим уважением и любовью и часто были объектом зависти. Их никогда не покидала ненарушимая уверенность в завтрашнем дне, в том, что немногое необходимое им у них будет всегда, и поэтому инстинкт приобретательства и накопления был чужд им обоим.

Квартиры, перегруженные вещами, всегда производили на Валю впечатление грязных. «Чем больше вещей, тем больше пыли»,— думала она. И Андрей был вполне солидарен с ней: «Дома должен быть простор. Надо, чтобы все сквозило».

И директорская квартира действительно «сквозила», так проста и скупа была ее обстановка.

— Где же сто тысяч?— с любопытством спрашивали Валентину досужие соседи.

Валентина горько улыбалась. Она вспомнила, как за месяц до ареста Андрей сказал ей виновато: «Валюша, я нынче без копейки».

Оказалось, что одному из рабочих срочно нужны были деньги. Заводские фонды были израсходованы, бухгалтер заартачился, и Андрей, недолго думая, выложил свою зарплату. Оба они не любили занимать и поэтому весь месяц просидели на одних заводских обедах и едва свели концы с концами.

Теперь Андрея обвинили в хищении ста тысяч, и на Валентину смотрели любопытными глазами, подозревая в тайных кутежах, в тайном скопидомстве и в других тайных пороках. Она знала, куда ушли эти сто тысяч. Они ушли на цемент, на валенки, на масло для тех, кто сейчас смотрел на нее подозрительно и любопытно.

Вокруг Валентины образовалась пустота. Люди разделились на три категории. Первая категория— это были те ее «друзья», которые сразу перестали бывать у нее и даже здороваться с ней. Валентина их глубоко презирала. Она считала, что каждый судит о людях по себе, что тот, кто легко верит в преступления других, сам в тайниках души способен к таким преступлениям. Эти люди вызывали в ней отвращение и брезгливость. Она проходила мимо них с высоко поднятой головой. Вторая категория— это были те люди, которые вели себя корректно и дружелюбно. Они почти не изменились в отношении к ней. Может быть, надо было быть им благодарной, но Валентина была слишком требовательна к людям. Ей было мало корректности. Теперь, когда она была в беде, когда она сама не могла идти к ним, искать их дружбы, по ее мнению, они

сами должны были подойти к ней, должны были подчеркнуть и усилить свою дружбу к ней. На это они оказались не способны, и высокая требовательность к людям, присущая Валентине, как всегда, осложнила ей жизнь. Вместо того чтобы быть признательной за малое, она чувствовала боль от того, что не получала многое. Она уважала этих людей, но чувствовала себя обиженной ими и не способной простить им обиду.

И наконец, была еще третья, очень малочисленная категория людей, высокие качества и дружба которых раскрылись во всей своей красоте именно тогда, когда Валентина попала в беду. И этим людям она была глубоко благодарна на всю жизнь, но таких было очень мало. Толпа друзей и знакомых, окружавшая ее, рассосалась в несколько дней. Осталось одиночество, и надолго остались ирония и горечь в суждениях о людях.

До суда ей не разрешали видеться с Андреем. На суде она не была по его просьбе.

Только после суда им разрешили свидание. Она стояла в тюрьме, в комнате свиданий, окаменев от жалости и напряженного ожидания. Она ожидала увидеть его убитым и подавленным всем происшедшим. Она была удивлена, когда увидела его почти не похудевшим, таким же подтянутым и бодрым, как всегда, с той же быстрой, смелой, немного жесткой улыбкой. Только в тот момент, когда она обняла его, по его лицу пробежала судорога, улыбка на миг стала похожей на гримасу, и он отвернулся от нее. Но через минуту он уже говорил с ней своим обычным добродушно-ироническим бодрым тоном. Он подробно расспросил ее о планах и дал несколько советов, обдуманных и полезных. О себе он избегал говорить и только в конце свидания сказал ей слова, которые открыли ей его отношение к происшедшему:

— Судили меня и осудили, а совесть меня не мучает. Ну, сто тысяч израсходовал я незаконно, а полмиллиона дал прибыли. Я как-то тут на досуге сидел, считал. Если бы не эти незаконные траты, мне бы завод не пустить на шесть месяцев раньше срока. А за эти шесть месяцев сколько мы прибыли дали? Мои сто тысяч себя десять раз вернули. Правда, это не метод работы. Это азарт. Это ошибка. Признаю. За ошибку наказан, и наказание принимаю безоговорочно. Но это не преступление, и ни совесть меня не мучает, ни раскаяние. Ни перед заводом не чувствую вины, ни перед государством, только перед одним человеком я виноват — перед тобой, Валя. Я на риск шел. Я своей судьбой рисковал — это мое право. Твоей судьбой я не вправе был рисковать.

Ей казалось, что никогда раньше она не любила его так сильно.

— Андрей,— сказала она.— Если тебя пошлют в лагеря на работу, то и я поеду с тобой. Может быть, удастся сделать так, чтобы мы были вместе. Там такая необыкновенная обстановка. Нам с тобой будет интересно.

Он засмеялся, прижался лицом к ее рукам, и она сделала еще одно открытие — она открыла, что он может плакать. Когда он поднял лицо, на ее руках остался влажный след.

Потом он стал рассказывать ей о тюрьме, о тюремных строительных работах, которыми он руководил, о своих соседях по камере. Она с удивлением увидела, что он уже живет в тюрьме, не мучается, не томится, а именно живет с интересом, живой реакцией на окружающее. Он мог с одинаковым интересом говорить с заместителем Наркома и с шестнадцатилетним подростком, осужденным за хулиганство. К ее удивлению, у него уже создались какие-то дружелюбные отношения с тюремным начальником, и тюремные работники, заходившие в комнату, смотрели на них с симпатией и уважением. Именно в эту встречу любовь Валентины к мужу достигла своего зенита.

Нетрудно было быть подтянутым, бодрым, насмешливым в директорском кабинете, но сохранить свои эти качества в тюрьме, остаться и здесь самим собой, не растеряться и не согнуться под тем ударом, который нанесла им судьба,— это надо было уметь, на это способны немногие.

Как ни странно и ни противоречиво это было, но она любила его, гордилась им теперь еще больше, чем раньше.

Теперь она впервые осознала то основное качество его характера, которое так непреодолимо привлекало ее к нему. Основным свойством его характера была очень русская черта — это было уменье «не дорожить собой», то есть не дорожить своей физической жизнью, своим внешним физическим существованием и уметь рисковать им во имя каких-то моральных интересов.

Валентине казалось, что это свойство особенно присуще русскому характеру, что другие национальности обладают им в гораздо меньшей степени. Это свойство, пусть неверно направленное, но все же было в высокой степени свойственно Андрею. Оно определяло его характер, отсюда шла та смелость, с которой он жил и работал, отсюда начинались его достоинства и недостатки, отсюда начиналась ее любовь к нему. Здесь, в тюрьме, он, казалось, не замечал невзгод и лишений, окружавших его, своим мысленным взором он видел заводскую огромную прекрасную махину, созданную его энергией и смелостью, и

гордился, и радовался, и никакая тюрьма не могла отнять у него этой радости. И именно таким любила его Валентина самозабвенной, всепоглощающей любовью.

Через несколько дней его увозили, и ей разрешили проститься с ним. Он был сдержанней и печальней, чем в прошлый раз. Прощаясь, он сказал ей:

— Ну, Валя, любовь моя, теперь все. Забудь. Ни писать тебе, ни отвечать на твои письма не буду, и ты мне не пиши. Не мучай.

Она просила, доказывала, убеждала.

Он сказал ей: «Десять лет я без женщины не проживу Писать тебе, а жить с другой я не могу».

Зачем он сказал это? Были ли эти слова результатом его беспощадной честности, или он просто хотел помочь ей забыть его ради ее будущего? И то и другое было похоже на него.

Он уехал. Она слала ему письма, деньги. Все возвращалось обратно. Она долго следила за ним, с трудом раздобывала сведения о нем в НКВД, а потом потеряла его следы.

С момента ареста Андрея изменилась не только внешняя жизнь Валентины, но и ее внутренний облик. Вместо прежнего доверчиво радостного отношения к людям пришло иронически отчужденное отношение к большинству и глубокая, но молчаливая дружба к немногим.

Смыслом ее жизни стала работа. Летала она мастерски. Когда началась война, она с радостью пошла на фронт. Здесь, как нигде, пригодились ее смелость, сдержанная страстность ее чувств, ясность мысли и выдержка. Полеты ее были фантастичны. Все шире становилась ее известность. Ее портреты появлялись в газетах. Ею интересовались, и знакомства с нею искали писатели, художники, скульпторы. О ней была издана книжка. Имя ее шептали за ее спиной незнакомые люди. К ней пришла слава и не принесла счастья.

В своей личной женской жизни она была неудачницей.

После ареста Андрея она сразу очень подурнела — высохла, пожелтела, черты лица ее обострились, выражение лица стало сухим и неприветливым. От прежнего обаяния молодости не осталось ничего. Но к ее удивлению, она нравилась не меньше, чем раньше. В ее строгом лице, подвижности тонких ноздрей, в прямом и в то же время затаенном взгляде было что-то, что выделяло ее из толпы, интриговало и привлекало. Где бы она ни была: в кругу ли летчиков, инженеров, военных,— обязательно кто-нибудь из наиболее выдающихся людей этого круга искал ее внимания. К ней тянулись лица незаурядные,

мужественные, грубоватые. Часто с отвращением разглядывая себя в зеркало (она находила себя очень некрасивой), она думала:

«Что им во мне? Не хватает им молоденьких девчонок, готовых на все услуги?»

Но в самой ее сухости, в резкой иронии была соль, придававшая особую остроту общению с ней и привлекавшая к ней с особой силой. На ее долю выпало гораздо больше мужской настойчивости, чем это могло показаться со стороны и чем выпадало на долю женщин более красивых и ищущих.

Ее оскорбляло то, что другие называли «успехом у мужчин». Часто она с удивлением и с полным непониманием слушала рассказы своих приятельниц. С гордостью, словно хвастаясь, они рассказывали о «встречах» и «увлечениях». Она молчала. С их точки зрения, она была богачкой — если бы она рассказала, как и кто безуспешно добивался ее благосклонности, ей попросту не поверили бы. Те, кто знал десятую долю этой стороны ее жизни, считали ее странной.

— Ведь он нравится тебе? Ну чего ты боишься? — спрашивали ее.

Она и сама не понимала, что заставляло ее в течение десяти лет хранить никому не нужную верность.

Иногда она вспоминала свою прабабку, исконную староверку. Прабабка не могла есть из чужой посуды, она или носила с собой свою чашку, или требовала, чтобы чужую посуду обварили кипятком и выжгли огнем. В противном случае, как бы она ни была голодна, она не могла есть, ее тошнило. Аналогичное ощущение было у Валентины по отношению к мужчине. Как бы ее ни тяготило одиночество, для нее возможным было прикосновение только своего мужчины. Ей необходимо чувство большого внутреннего единства для того, чтобы стала возможной физическая близость. Это шло не от ума, это было врожденным инстинктивным чувством. Наоборот, умом она часто старалась убедить себя в бессмысленности своего поведения, она называла себя глупой, трусихой, завидовала своим более решительным подругам. Не раз она твердо решала не противиться одному из своих поклонников. Но когда наступал решительный момент, ее охватывало ощущение скуки, брезгливости, никчемности и дешевки происходящего.

Ее большая сопротивляемость часто усиливала интерес к ней, и внешняя спокойная жизнь в действительности изобиловала такими бурными столкновениями, которые не снились ее более увлекающимся подругам.

Особенно трудно было на фронте. На плечах женщин

фронта кроме опасностей и лишений лежала еще одна тяжесть — тяжесть мужского преследования.

Мужчины годами не видели своих жен. Постоянная близость смерти обостряла чувства. Все каноны и устои мирного времени делались недействительными тогда, когда каждый день казался последним днем жизни. Все это создавало нездоровую обстановку.

Проходя мимо сотен бойцов, женщины шли сквозь строй ищущих взглядов. Надо было всегда быть начеку. Случайный теплый взгляд воспринимался как обещание, пожатие руки воспринималось как вызов, и нельзя было сказать несколько по-товарищески ласковых слов без того, чтобы вскоре не возникла необходимость так же по-товарищески съездить собеседника по физиономии. И чем привлекательнее была женщина, тем труднее ей приходилось.

Многие обвиняли девушек-фронтовичек за их якобы легкомысленное поведение. Валентина до боли сердца жалела этих девушек. Ей хотелось сказать обвинявшим:

— Вы, которые оставались здесь, в тылу, где на вас на сотню приходился один здоровый мужчина, вы и здесь ухитрялись изменять своим мужьям. Как же вы смеете обвинять девушек фронта, которым изо дня в день десятки и сотни людей глазами, словами, поступками твердили одно и об одном?

Наилучшим выходом, к которому прибегали многие девушки, было сближение с кем-либо из соратников, который мог бы служить защитой от других. Тем, кто не шел на это, было труднее.

У натур более слабых вырабатывались разудалые манеры, умение, проходя, щелкнуть по физиономии, не краснеть от вульгарных шуток, и то, что казалось когда-то постыдным, постепенно принимало другую окраску, становилось обычным и даже привлекательным. Так нередко коверкались девичьи души.

У натур более сильных и чистоплотных вырабатывалась привычка всегда быть начеку, вырабатывалось ощущение зверя, которого травят, вырабатывалось умение следить за каждым жестом, жить в постоянном напряжении и на всю жизнь оставалось отвращение к тому, что в мирных условиях называется флиртом.

В жизни Валентины одна и та же история повторялась в различных вариантах. Между ней и кем-нибудь из товарищей возникала дружба. Валентину тяготило одиночество, и она с радостью шла навстречу этой дружбе. Они привыкали друг к другу. Постепенно к дружбе начинало примешиваться что-то новое, что-то лишнее, сперва очень нежное, безобидное. Это был тот момент, когда лучше и

безболезненнее всего можно и нужно было порвать отношения. Валентина сознавала это, но потребность в человеческом тепле была так велика, что у нее не хватало характера порвать вовремя. Вместо этого она старалась охладить отношения примесью насмешки, слегка ироническим тоном. Результат получался как раз обратный желаемому. Отношения приобретали большую остроту и напряженность. Она не умела вызывать спокойных и умеренных чувств к себе. Люди или очень не любили ее, или очень любили и, отвергнутые, сильно сердились. За ее десятилетнюю одинокую жизнь у нее накопилось много таких историй. Их было особенно много из-за ее непреклонности и одиночества. Но никогда за эти десять лет ни один человек не нравился ей так, как армянский пианист — ее спутник по вагону.

Их дружба началась месяц назад. Валентина восхищала его своей смелостью, самостоятельностью, своей удивительной судьбой, о которой он знал из газет. Ему нравилось ее тонкое лицо и молодая гибкая фигура, ее ум, ее сдержанность. Он привлекал Валентину своей музыкальностью, благородной красотой и правдивостью всего своего облика. В нем было еще одно большое преимущество перед другими — его нельзя было сравнивать с Андреем. Это были абсолютно различные и несравнимые люди.

Сидя у окна вагона-ресторана, Валентина думала: «Ну, значит, конец: если уж он не сумел заставить меня перешагнуть через самою себя, то этого не сумеет сделать никто».

Когда поезд подходил к конечной станции, она прошла в свое купе и взяла свои вещи. Он не смотрел на нее. Между ними чувствовалась враждебность и отчужденность, и у обоих было сознание, что достаточно одного взгляда, чтобы чувства эти перешли в свою противоположность.

— Ну, что же, простимся, Валя,— сказал он, когда поезд уже остановился.

— До свидания,— ответила она, усмехнувшись короткой сухой усмешкой, и вышла, не подав ему руки, так как боялась вызвать новый взрыв чувств.

Дома она приняла ванну и прошла в спальню. Ее большая квартира блестела чистотой, протертой политурой, натертым паркетом. Свою квартиру Валентина воспринимала через мысли об Андрее. Устраивая ее, она думала: «Как хорошо ему будет здесь после тюрьмы, после всех его мытарств».

Вне связи с образом Андрея квартира теряла для нее интерес. Валентина села за чертежи самолетов новой

конструкции, но работа не приносила ей обычной радости — она была слишком утомлена. Тогда она села штопать чулки. Мельком она посмотрела на себя в трюмо и от души подумала: «Вот урод-то. И почему это нет у меня покоя».

Она чувствовала себя очень старой и очень одинокой. Кто-то позвонил. Домработница открыла и невероятно знакомый голос спросил:

— Валентина Ивановна дома?

Прежде чем она успела подумать о чем-нибудь, вся комната стремительно перевернулась вверх ногами и минуту постояла в таком положении. Потом вещи опять встали на свое место, только сердце Валентины билось так гулко и сильно, что удары отдавались во всем теле. «Пройдите прямо»,— где-то совсем далеко ответила вошедшему домработница. Валентина встала и пошла навстречу В дверь постучали, и тот же невероятный голос спросил:

— Можно войти?

Ноги у Валентины стали мягкими как вата и стали гнуться в коленях. Валентина не могла идти и села на валик дивана. Когда он вошел, она, обморочно бледная, сидела на валике и беспомощно протягивала к нему руки.

Он не увидел, изменилась она или нет, молода она или стара, он только всем существом ощущал, что она здесь, что это она. И она не увидела ничего, кроме его лица. Она не целовала его, она впитывала губами каждую морщинку, каждый миллиметр его кожи. Когда они обрели способность членораздельной речи, он рассказал ей, что с первых дней войны был освобожден досрочно и послан на фронт. Она увидела на его гимнастерке длинную и пеструю ленточку орденов.

— С орденами,— сказала она, счастливо улыбаясь.

— А как же иначе,— возразил он.— Разве я мог прийти к тебе без орденов?

— Неужели без орденов не пришел бы?

— Нет, без орденов или без других особых заслуг не пришел бы.

— Мучитель ты мой,— сказала она, прижимаясь к нему.

— Валя, чудо какое, десять лет прошло, а ты не изменилась нисколько. Все та же, совсем та же!

Она удивилась его словам, бросила взгляд в зеркало и удивилась еще больше — из-за рамки рассыпавшихся волос на нее смотрела розовая, сияющая счастьем, прежняя двадцатитрехлетняя Валентина.

Детство Владимира

Переливчатые холмы Кабарды!
В январе они так сверкают на солнце, словно снега их пересыпаны алмазами.

В конце февраля тускнеет их белизна.

В конце марта они серые, того сочного серого тона, который местами переходит в бархатистую черноту.

В апреле зеленоватое облако опускается на них, и само небо над ними меняет оттенок.

В мае они зеленеют, и в их зелени чувствуется нежная желтизна цыплячьего пуха.

В июне зелень их темнеет, в июле она делается сизой.

В августе на сизом фоне появляются редкие красно-желтые пятна.

В сентябре больше делается желтых пятен, и медный оттенок ложится на склонах ближних холмов.

В октябре холмы, словно огромные лисы, греются на солнце, играя всеми переливами лисьих красок.

В ноябре, словно пеплом, покрываются холмы серым цветом, и гаснет оранжевый пожар.

В декабре ложится первый снег нетронутой, голубоватой белизны.

Переливчатые холмы Кабарды!

На окраине Нальчика, у подножия сизых холмов, на крыльце беленого дома сидит мальчик Володя.

Черты его лица по-детски округлы, по-русски мягки, но каштановые волосы вьются нерусскими мелкими кудрями, карие глаза по-восточному горячи, а сросшиеся брови пересекают лицо черной чертой.

Мальчик держит на коленях альбом для марок и рассматривает желтую марку. На марке изображена жирафа и латинским шрифтом написано «Португалия».

«В Кабарде нет жираф, но есть кабардинские кони, а они гораздо лучше, чем жирафы,—думает мальчик.— Нальчик очень хороший город, это столица Кабардино-Балкарии, это моя столица, потому что я здесь живу. И Ереван тоже моя столица, потому что мой папа был армянин, и Москва моя столица, потому что моя мама русская и потому что Москва—столица всех хороших людей. У других бывает только одна столица, а у меня целых три!—думает мальчик и радуется своему богатству.— Когда я вырасту, я объеду всю родину, я буду путешественником!»

Недалеко от крыльца играют дети из детского сада. Здесь есть русские, кабардинские и балкарские дети.

К ним подходит маленькая Фатима. Она улыбается, лицо у нее довольное и застенчивое.

— А у меня лишай!—говорит она, сияя глазами и розовая от гордости и удовольствия.

Ребятишки окружают ее:

— Где? Покажи?

Она неуклюже поднимает коротенькую руку и согнутым в крючок указательным пальцем указывает на макушку с таким видом, словно у нее на макушке помещается орден.

— Правда! Лишай!—с завистью говорят ребятишки.

Больше ни у кого нет лишая. Теперь в детском саду Фатиму будут закармливать фруктами и носить на руках! Да мало ли удовольствия можно извлечь из лишая, который вдобавок расположен так удачно—на самой макушке! Володя тоже подходит посмотреть на Фатимин лишай.

«Я буду доктором,—думает он,—я буду лечить самых тяжелых больных, и все будут говорить со мной вежливыми голосами».

В это время на дороге показывается всадник. Это Асхад на своем коне. Он останавливается у крыльца подтянуть стремя.

Какой у Асхада конь! Морда у него костистая, узкая, тело поджарое, а грудь широкая, с мощными буграми у начала ног. А ноги! Ноги тоненькие, как ниточки, с крохотными копытцами.

Володя смотрит на коня, и лицо его приобретает страдальческое выражение.

— Асхад!—говорит он охрипшим, словно от жажды, голосом.

Асхад неторопливо поворачивает красивую голову. Линия его носа без изгиба продолжает линию лба, кончик носа слегка закруглен, а ноздри круто вырезаны. Все это придает Асхаду сходство с породистым конем. Асхад смотрит на Володю холодным, важным взглядом, и надежды Володи гаснут.

Но Асхад улыбается неожиданно простодушной, почти наивной улыбкой и говорит:

— Приходи через час в конюшни!

Володя идет к конюшням по широким улицам низкорослого, беленого городка.

У ворот углового дома сидят две девочки.

Одна из них рыжая, падчерица балкарца Керима. Это та самая девчонка, которая тонула во время экскурсии на Голубое озеро. Володе пришлось тащить ее за косу. Коса тогда была мокрой и казалась темнее.

Поравнявшись с девочками, Володя говорит:

— Эй, девчонка! Ну как, цела твоя косичка?

— А тебе какое дело до моей косички?—сердито спрашивает девочка.

— Дура! Это тот самый, который тебя спасал!— громко шепчет подруга.

— Никто его не просил спасать!—еще сердитее говорит девчонка.

«Вот и спасай их!—огорченно думает Володя.— Нет, в книгах это получается гораздо интересней! Там, если спасают утопленницу, то она оказывается знатной, красавицей и очень благодарна спасителю. А он вот спас девчонку, а она никакая не знатная и не красавица, да вдобавок рыжая и совсем неблагодарная. Вот и спасай их!»

А девчонка начинает часто хлопать белыми ресницами и говорить мрачным басом:

— Может, я и вовсе не хочу жить на свете!

У Володи опять возникает желание спасать эту девчонку, и он останавливается в нерешительности.

В это время выходит балкарец Керим со своей русской женой. У Керима длинный, массивный нос, а худое лицо имеет такое выражение, как будто оно отягощено и раздражено присутствием этого ненавистного носа.

Жена Керима такая рыжая и блестящая, что в ней уже ничего больше нельзя разобрать.

Она смотрит на синие холмы, на алмазную кромку снежных гор и всплескивает руками:

— Какая красота! Керим, ты только посмотри, какая красота!

— Чего? Где?—И Керим поворачивает свой нос с таким усилием, словно это не нос, а грузоподъемный кран.

— Дурак!—Женщина передергивает плечами, и блеск ее волос тускнеет.

— Ну вот!.. Погуляли!.. Поговорили!..—злорадно заключает Керим супружеский диалог.

— Ах! Я не виновата!—вздыхает женщина.

Керим замечает падчерицу:

— Люська, ты чего здесь расселась? Тебе здесь не место!

— Где бы она ни сидела, тебе всегда кажется, что она не на своем месте!

Они смотрят друг на друга злыми глазами.

Володя идет дальше и думает: «Странные люди! Она сказала ему «дурак», потому что она русская. У кабардинки Нафисы очень плохой муж, но она не говорит ему «дурак», она молчит и плачет. А что лучше: говорить

«дурак» или молчать и плакать? Странные люди! На небе светит солнце, на земле растут яблони, по земле бегают удивительные кабардинские кони, а люди сердятся, плачут и говорят «дурак»! Когда он вырастет, то будет сердиться только на капиталистов. Хотя можно ли сердиться на змей за то, что они змеи? Их надо просто уничтожить, а сердиться на них он считает излишним». Вдруг он вспоминает стихи Некрасова, которые прочел недавно:

> То сердце не научится любить,
> Которое устало ненавидеть.

Он старался понять эти слова и все же не понял их. Но вот вдали показались конюшни военного городка, а рядом с ними темные фигурки лошадей. Забыв все свои размышления, Володя пускается бежать. Его ступни так легко касаются земли, что дорога почти не пылит под ним.

Софият ушла в школу.

Как пусто в доме и как неспокойно на сердце у Маржан.

Виданное ли дело: девочка ушла в школу, а в школе одни мальчики!

Маржан пробовала и шить, и стирать, но работа не идет на лад. Тогда она взялась за самое легкое — она стала теребить шерсть. Она теребит шерсть и думает: «Что же делать с этой девочкой? К коровам и козам она не подходит, но все время вертится около лошадей. Ездит, как джигит, бегает, как лисица, прыгает, как заяц. Посмотришь на нее и не понимаешь — не то мальчик, не то девочка. Все это началось с крестин. И зачем только Маржан согласилась окрестить дочку русским именем? Уже тогда она знала, что это не к добру. И вот предчувствия сбываются. Софият — единственная из всех девочек селенья ходит в школу, словно мальчик. Какое несчастье! Девочка вырастет громкоголосой и вертлявой, как все русские. Какой мужчина захочет жену, которую так воспитывали?» Маржан вспоминает того человека, который дал ее дочке русское имя Софья.

Впервые она увидела его очень давно. Ее муж еще был жив и молод. Однажды он привез русского человека и велел спрятать его в задней комнате. Русский был очень вежливый и тихий, и Маржан не понимала, почему нужно прятать такого тихого человека. Через много лет родилась Софият. Она родилась в счастливый год — советская власть в этот год дала им дом с садом и яблок было столько, что листвы не видно было на деревьях.

На крестины приехал тот русский. Он был очень весел и всюду ходил как хозяин. Он стал большим начальником, но мужа Маржан он встретил, как брата,— трижды обнял его и трижды прижался своей щекой к его щеке. По старому обычаю у него, как у мудрейшего из гостей, спросили имя для новорожденной.

— Ты кабардинец, а я русский,— сказал он мужу Маржан,— но дружба наша крепче родства. Закрепим же ее в наших детях! Назови свою дочь именем моей жены, русским именем Софья. Если у меня родится дочь, то я назову ее именем твоей жены, кабардинским именем Маржан.

И вот получилось так, что живет в кабардинском глухом селенье странная кабардинская девочка с русским именем Соня.

И в далекой Москве живет русская девочка с кабардинским именем Маржан.

Вот какие чудеса бывают на свете!

Маржан приятно, что в Москве дочь большого русского начальника названа в ее честь, но свою дочь она упорно не хочет называть по-русски. Она переделала ее имя на кабардинский лад и зовет ее Софият.

От крещенья необычайна была судьба девочки. Так повелось и дальше.

В их семье никогда не били детей, но Софият растет такой проказливой, что ее приходится шлепать. Иногда приходится даже бить ее палкой и бить больно, но она не обращает на боль никакого внимания. В этот момент она бывает очень озабочена совсем другим обстоятельством.

— Мама, мама, ты меня побила или похлопала?— спрашивает она.

Если Маржан отвечает: «Я тебя похлопала», то Софият уходит совершенно успокоенная. Но если Маржан в досаде говорит: «Я тебя побила!», то обиде и слезам Софият нет конца.

Такой уж характер у этой девочки!

О школе она стала думать давно — с тех пор как маленькая московская Маржан прислала ей в подарок книжки и письмо. Софият с удивлением смотрела на то, как ее брат взял в руки письмо и стал говорить слова Маржан. Софият думала, что письмо шепчет брату эти слова. Она даже поднесла к уху письмо и послушала его — она надеялась услышать голос Маржан. С тех пор она стала учить буквы и очень скоро научилась читать. Это еще не беда. Плохо то, что она пошла в школу. Мать не пустила бы ее в школу, если бы не письмо Асхада. Асхад написал прямо: «Надо учить Соню в школе».

Асхад — сын Маржан, но он уже взрослый, уважаемый

мужчина, и с давних пор он заменяет отца в осиротевшей семье. Маржан привыкла слушаться мужчину. Мужчины берут на себя бремя трудов и забот большого, шумного внешнего мира, они оставляют женщинам маленький, тихий домашний мир, они оберегают женщину, поэтому женщина должна слушаться мужчину и молчать перед ним. Это справедливо.

Но какой мужчина захочет оберегать женщину с характером Софият и какого мужчину захочет слушаться такая женщина?

Неспокойно на душе у Маржан. Наверное, так же чувствует себя курица, случайно высидевшая утенка.

Но вот школьники пошли из школы. Из-за угла показывается Софият, она идет рядом с братом.

Она худенькая. У нее узкое, смуглое личико с упрямым лбом. Она идет, нагнув голову, выставив вперед лоб, над которым наподобие рожек торчат черные кудряшки.

Она похожа на маленькую козу, упрямую и своенравную.

— Мама!—говорит она.— Учитель посадил меня на первую парту и подарил мне карандаш. Посмотри, какой толстый, красивый карандаш! Здесь он синий, а здесь красный. Я сперва писала красные буквы, потом синие, а потом опять красные. Завтра жена учителя сошьет мне сумку для книжек.

— Я сама сошью тебе сумку!—ревниво говорит Маржан.

Во двор заглядывают две соседки. Они смотрят на Маржан с жалостью и сочувствием.

— Маржан, мы слышали, что твоя Софият пошла в школу? Это что же, новый жребий?

Дело в том, что по жребию отправляют девушек на ученье в Нальчик. Какая мать захочет отпустить от себя дочку?

А в Нальчике открыли школу для взрослых девушек. Чтобы никому не было обидно, уговорились бросать жребий. Мать, которой выпадает жребий, провожает дочку со слезами.

Теперь соседки встревожены тем, что Софият пошла в школу.

Может быть, это новый жребий или приказ?

— Нет,—отвечает Маржан.— Она пошла сама, без жребия.

На лицах женщин отражается удивление, непонимание и даже негодование.

— Так велел Асхад!—говорит Маржан извиняющимся голосом.

Женщины уходят смущенными. Они знают Асхада—когда Асхад начинает говорить, то умолкают даже старики.

С этого дня Софият стала ходить в школу. Учитель говорит, что у нее редкие способности, и относится к ней заботливо. Софият горда и довольна—она достопримечательность школы.

Когда из города приезжают начальники, учитель говорит:

— Это наша первая девочка!

И мальчики тоже начинают гордиться тем, что в их классе учится первая девочка.

Кроме того, Софият—сестра Хафуна, а его любят и к сестре его относятся с уважением.

Но однажды Хафун подрался с Агурби. Агурби был сильнее и уже считал сраженье выигранным, когда кто-то с тихим шипением налетел на него сзади и чьи-то пальцы вцепились ему в загривок. Он оглянулся и узнал Софият.

Он был мальчиком с сильно развитым чувством собственного достоинства и никогда не унижался до драки с девчонками. Но как быть, если девчонка сама лезет в драку? Он колебался всего одно мгновение, но Хафун успел вывернуться.

— Агурби, иди сюда!—позвал учитель, и битва закончилась вничью.

Софият стояла, воинственно выставив одну ногу вперед и заложив руки за пояс, раскрасневшись от гордости. Она боролась и победила! Только теперь она почувствовала себя вполне на равной ноге с мальчиками. Она казалась себе отважной спасительницей, спасшей своего брата! Глаза ее сияли от удовольствия.

Но у Хафуна был совсем недовольный вид. Его спасла девчонка! Каждый мальчишка сможет теперь посмеяться над ним. Он чувствовал себя опозоренным. Кроме того, он брал Софият в школу совсем не для того, чтобы она дралась с мальчишками. Сестра-драчунья—это позор для брата. И с тех пор о Софият идет много разных разговоров. Не хватало еще того, чтобы она стала драться с мальчишками! Он не только не одобрял поведения Софият, но считал, что она пятнает честь всей семьи. Нет, надо положить этому конец раз и навсегда! Надо ее проучить!

И пока Софият наслаждалась сознанием своего подвига и ждала похвал, Хафун сосредоточенно думал о том, по какому месту ее лучше побить.

Мама била ее тонкой палкой пониже спины, но Хафун находил, что это место находится слишком далеко от

головы. Он боялся, что битье по этому месту не дойдет до сознания Софият. «Лучше всего побить ее по затылку,— думал он,— тогда она сразу все поймет и надолго запомнит. Но нельзя бить палкой по голове. Надо чем-нибудь мягким».

Он взял учебник арифметики и несколько раз основательно ударил им Софият по затылку, приговаривая: «Не лезь в драку! Не лезь в драку!»

В первый момент Софият опешила. Действительность вступала в неожиданное противоречие с ее мечтами. Но Хафун бил ее с таким непоколебимым спокойствием, с такой уверенностью в необходимости этого, что Софият приняла это как должное. Она терпеливо перенесла несколько крепких ударов по затылку, тихо пошла в класс и села на свое место, озадаченная и разочарованная.

Так кончилось первое сражение, в котором участвовала Соня Таманова.

Володя сегодня особенно тщательно оделся и причесался: он идет к Асхаду по важному делу. К Асхаду неприлично идти небрежно одетым, потому что Асхад — замечательный человек.

Слава его началась тогда, когда Асхад был еще мальчиком и работал на конном заводе. Сперва он стал лучшим конюхом завода, а потом одним из лучших джигитов Кабарды. Потом он уехал учиться. Теперь Асхад работает в обкоме комсомола и из любви к делу руководит тренировкой скакунов в конюшнях военного городка. Во время скачек на ипподроме он всегда участвует в них в качестве наездника или в качестве судьи. Асхад знает всех лучших коней Кабарды, и лучшие кони Кабарды знают Асхада. Володя поднимается на второй этаж нового дома и еще раз приглаживает волосы и, немного волнуясь, стучит в дверь.

— Войдите!—раздается мягкий и гортанный голос Асхада.

В комнате Асхада очень чисто и пахнет кожей и клеем. Кожей пахнет от парадных седел, которые Асхад получил как премию на скачках, а клеем пахнет потому, что Асхад не может читать растрепанных книг и всегда подклеивает библиотечные книги. В комнате стоит кровать, стол, два кресла и этажерка. На этажерке лежит кинжал, у которого ручка из слоновой кости, а ножны покрыты тончайшим серебряным узором.

Асхад одет по-домашнему — на нем белая рубашка, брюки галифе, носки и чувяки. Он идет навстречу Володе, смотрит на него влажными, медленными глазами и улыбается ему простодушной улыбкой.

— Здравствуй, Володя! Садись, пожалуйста! — вежливо говорит он.

— Асхад, я пришел к тебе по важному делу.

— Я тебя слушаю. Не выпьешь ли ты сперва немного вина? На улице очень жарко!

Володя пьет вино, и ему очень приятно то, что он как взрослый сидит с Асхадом, пьет вино и разговаривает о важном деле.

— Видишь ли, Асхад, в воскресенье будет общегородская пионерская военная игра. Всех пионеров разделили на «синих» и «зеленых», я в штабе «синих». Так вот, я хочу организовать в нашей армии кавалерию.

— Как ты хочешь организовать кавалерию?

— Нам надо всего три-четыре лошади. Вот поэтому я и пришел к тебе.

Асхад отвечает не сразу. Помолчав, он говорит:

— Нет, Володя, я не могу этого сделать. Я полагаюсь на тебя и не боюсь за коней, но я боюсь, что в игре кони ушибут детей.

— Асхад! — возмущенно говорит Володя. — Разве я не езжу с тобой два года? Как ты можешь думать, что я ушибу кого-нибудь?

— А другие?

— Поедут Алим и Хасан. Разве они плохие джигиты?

— Они хорошие джигиты, и на ипподроме я доверяю им хороших коней, но я не могу дать коней туда, где будет много детей. Это может принести несчастье. Ты не обижайся на меня, Володя. Ты подумай хорошенько сам и увидишь, что я поступаю правильно.

Володя думает, а Асхад сидит молча и терпеливо ждет, пока Володя кончит думать.

— Нет, Асхад! — говорит Володя. — Я подумал и вижу, что ты поступаешь неправильно. Ты был бы прав, если бы мы были пионерами другой страны. Но мы пионеры Кабардино-Балкарии! Проводить военную игру с пионерами Кабардино-Балкарии, не имея в армии кавалерии, — это неправильно. Это будет неправильная военная игра!

Но Володе не удается убедить Асхада. Он сидит у Асхада еще немного. Асхад угощает его яблоками, вином, сыром. Потом Володя уходит. Асхад догоняет его на улице и говорит ему:

— Пойдем в конюшни!

Он выводит старую кобылицу и велит Володе оседлать ее и отъехать подальше. Потом он садится на дороге на корточки и кричит:

— Гони прямо на меня!

Володя скачет во весь опор прямо на Асхада, но умная

кобылица обходит Асхада, не задевая его. Таким способом они отбирают три старые умные лошади.

— Завтра приходите сюда втроем. Вы будете тренироваться всю неделю,— говорит Асхад на прощание.

После обеда Володя идет во двор и говорит маме:

— Мама Таня, дай мне, пожалуйста, две старые алюминиевые ложки.

— Зачем они тебе, Володенька?

— Я хочу сделать красивый альбом для моих марок. Ложки я расплющу и вырежу из них украшения для альбома.

— Тогда тебе надо выбрать самые тонкие ложки.

Мама уходит в дом девичьей, легкой походкой. Она приносит ложки и с интересом следит за работой сына. Она высокая, стройная, на голове у нее корона из тяжелых полуседых кос, а лицо еще молодое. Она рано поседела, потому что у нее была трудная жизнь, шестерых детей похоронила она.

— Смотри, Володенька, вон идет писатель со своей новой секретаршей. Какая же она молоденькая! Совсем девочка! Смотри, они идут к нам.

Действительно, писатель и его спутница входят во двор.

Писатель каждое лето приезжает в Нальчик из Ленинграда. У него большой лоб, большие, глубоко сидящие глаза, длинное лицо и изменчивые, влажные, расплывчатые губы.

Его спутнице нет еще шестнадцати лет, она худенькая, беленькая, светлые волосы ее гладко причесаны и заплетены в две косы. Писатель принес книги, чтобы Володя переплел их. Он внимательно смотрит на Володю и говорит маме:

— Метис! Ваш мальчик типичный метис! У него интересное лицо. Посмотрите, Катя, какое своеобразное сочетание восточного темперамента и русской задушевности! Между прочим, одно из величайших следствий советской национальной политики заключается в том, что происходит быстрое сближение и интенсивное скрещивание наций. Обновляется кровь народа, и появляются люди нового типа. Появляются люди высшего типа, так как условия жизни в СССР способствуют выявлению лучших качеств каждой нации.— Потом писатель обращается к Володе: — У тебя всегда заняты руки, мальчик! Ты всегда что-нибудь делаешь. Когда же ты думаешь?— заканчивает он шутливо.

— Я думаю и делаю вместе,— отвечает Володя.

— Это значит, что из тебя никогда не выйдет мыслителя,— шутит писатель.

Володя вдумывается в его слова.

— Нет,— отвечает он.— Я не умею думать и делать отдельно. Когда я смотрю на мои марки, то я очень о многом думаю, поэтому я хочу сделать для марок красивый альбом. Я обтяну обложку черным сатином и сделаю украшения из алюминия. Они будут совсем как серебряные.

Ему очень хочется, чтобы они были как серебряные, но он не умеет обманывать себя.

— Нет,— говорит он,— они не будут как серебряные. Они алюминиевые. Но если вырезать из алюминия красноармейца с винтовкой, то это все-таки будет красиво. Правда?

Писатель улыбается, а девушка говорит поспешно:

— Конечно, это будет очень красиво!

Она смотрит прямо в лицо Володе. Как странно она смотрит! Если бы у него была сестра, то она смотрела бы на него вот таким твердым, чистым, родным взглядом! Как хорошо иметь такую сестру!

— Только не нужно оклеивать крышку черным сатином,— продолжает девушка.— Приходите ко мне завтра утром, я дам вам кусок черного бархата.

Потом они уходят. Земля сырая от дождя, и на ней остаются глубокие следы. Какие маленькие следы остаются от Катиных ног! В одном месте она сошла с дорожки и след остался особенно глубокий. Володе хочется, чтоб этот маленький следок сохранился. Он приносит крышку от жестяной коробки и ставит ее на след ребром вниз. Сверху он кладет большой камень. След спрятан, и никто его не затопчет. Теперь у Володи есть маленький секрет, о котором он не скажет никому, даже маме.

Ночью он думает о Кате и решает не ходить к ней за бархатом. Мама с детства приучала его ничего не брать даром.

Когда ему было шесть лет, они жили голодно. Володя приходил к соседке и говорил:

— Тетя, дайте мне подмести пол или почистить кастрюльку, потому что я очень проголодался.

Теперь он взрослый. Он не может взять у Кати бархат Володя не пошел к Кате, но вечером она пришла к нему сама.

— Почему же вы не пришли ко мне? Я принесла вам бархат.— Потом она попросила его показать ей марки.

Они сели на крыльцо, и Володя стал показывать ей альбом. Сперва идут марки царской России. На них изображение чудовищной птицы с когтистыми растопыренными лапами и двумя змеиными головами.

Хищная и дикая фигура! Изображены лица царей. Надменные, самодовольные, холеные лица смотрят холодными глазами.

Но вот начинается семнадцатый год, и на марках появляются серп и молот, колосья, пятиконечные звезды, открытые, смелые лица красноармейцев, рабочих, крестьян. Марки открывают другой мир — мир, полный надежд, радости и отваги. Володя и Катя увлеклись марками и не замечают того, что солнце уже низко и на всем лежит оранжевый отсвет. Снежные горы вдали порозовели, а Володина кремовая рубашка приобрела золотистый оттенок.

Не замечают они и того, что мама смотрит на них из окна.

Ей приятно видеть, что ее мальчик так хорошо разговаривает с этой милой, серьезной девушкой.

В янтарном свете вечернего солнца смугло-розовое лицо мальчика особенно привлекательно. Его темные кудри касаются светлых гладких волос девушки, и оба они так хороши, что Татьяне Борисовне хочется чем-то обрадовать их

Она пересчитывает деньги в своем кошельке — остатки небогатого жалованья конторщицы. Маловато, но картошка есть, а без мяса можно обойтись несколько дней.

Она идет к соседям и покупает меду, молока, фруктов. Она покрывает старый поднос чистой салфеткой и выносит на нем угощение

Володя смотрит на мать благодарным взглядом, а Катя поднимает стакан с медом и говорит:

— Смотрите, как красиво! Это мой любимый цвет — прозрачно-желтый! Зимой я жила в Ленинграде. Там всю зиму были туманы и солнца совсем не было. У тети в шкафу стояла банка с медом. Когда мне становилось очень скучно, то я открывала шкаф и смотрела на эту банку. Мне казалось, что там спрятано немного солнца.

Облака становятся оранжевыми, воздух свежеет, а они сидят втроем и разговаривают о чем придется.

Слова не имеют для них значения, потому что они люди одного сердца и им просто хорошо вместе.

Наконец наступило воскресенье.

День так ясен и воздух так прозрачен, что все далекое кажется близким, а близкое кажется увеличенным.

С далеких снеговых вершин струится дрожащая, серебристая голубизна. Дрожит сияющий воздух, но ни один листок не шелохнется на деревьях, отягощенных плодами.

С утра пионеры города под звуки оркестра подошли к стадиону. Стадион расположен за городом и окружен садами. Весь снежный хребет от Эльбруса до Казбека виден отсюда, и сияют над стадионом горы, такие белые, лучистые, нарисованные тончайшими штрихами, что облака рядом с ними кажутся аляповатыми и серыми.

На стадионе устроена трибуна.

Четыре горниста встали по углам трибуны, и четыре горна рассыпали звуки прозрачные, как льдинки.

Вокруг трибуны выстроились две армии пионеров. На руках у всех бумажные повязки — у одной армии синие, у другой — зеленые.

На трибуну вышли работники горкома и обкома комсомола. Секретарь горкома рассказал правила игры.

Победит та армия, которая овладеет вражеским знаменем. Тот боец, у которого будет сорвана с руки повязка,— считается убитым.

Снова прогорнили горны, заиграл оркестр, и армии двинулись в разные стороны.

Володя со своими кавалеристами спустился в ложбину, где стояли замаскированные кони. Кони были украшены цветами. Пока кавалеристы ждали донесений разведки, между Алимом и Хасаном возник спор:

— Нельзя украшать цветами лошадиный хвост.

— Я сам был на свадьбе и видел, что розы были в хвосте.

— Ты видел это во сне!

— Это ты, как женщина, видишь сны, а у меня снов не бывает.

Мальчики готовы были поссориться.

— Уберите все цветы! Здесь война, а не свадьба! Вы демаскируете армию,— заявил Володя.

Наконец разведка сообщила, что неприятель спрятал знамя у реки среди больших камней.

Вся армия двинулась на сближение с неприятелем, а кавалеристы помчались в атаку.

Они сделали крюк и стали приближаться к неприятельскому штабу со стороны города, чтобы не возбуждать подозрения. Мальчики спрятали повязки в складки рукавов и низко надвинули шапки.

— До кустов едем дорогой, а там свернем — и во весь опор к знамени! — скомандовал Володя.

У каждого есть свой образ счастья. Когда Володя думал о счастье, он видел бойца, мчащегося со знаменем в руках на лихом скакуне по полю брани. Пули свистят вокруг, и кровь течет из его ран, а всадник мчится к победе, и знамя плещет над его головой. Такое счастье казалось Володе самым высоким. Сейчас впервые в жизни

оно стало осуществимо, хотя бы в игре. Володя едет первым. Он уже видит из-за камней древко вражеского знамени и головы часовых.

Часовые смотрят на всадников равнодушно — они и не подозревают, что неприятель может подъехать верхом.

Всадники подъезжают по дороге как можно ближе, и вдруг с криком «ур-а-а» вся кавалерия обрушивается на неприятеля. Володя видит, как от неожиданности шарахаются часовые. Один из них бросается наперерез, но Володя кричит страшным голосом и скачет прямо на него. Воспользовавшись замешательством, Володя хватает знамя. Вот оно у него в руках — настоящее знамя, шелковое, с золотыми кистями!

Поднявшись на стременах, Володя вскидывает его над головой, повертывает коня.

Но в это время, словно из-под земли, вырастает странное, дико визжащее рыжее существо и бросается прямо на коня. Это Люська.

— И-и-и! — визжит она невероятным голосом.

Она цепляется за стремя, за гриву, за конский хвост и лезет на лошадь всеми способами. При этом она то и дело жмурит глаза, должно быть, для того, чтобы громче визжать.

Визг ее входит в уши, как сверло, и лишает возможности думать. Лошадь, не привыкшая к таким звукам, шевелит ушами и топчется на месте. Володя правой рукой поднимает знамя, а левой старается отцепить от себя Люськины пальцы. Он совсем забыл о значении своей левой руки, о том, что именно она и является его ахиллесовой пятой.

Но Люська помнит об этом. Она сорвала его синюю повязку, отцепилась от него и волчком закружилась по берегу.

— Убила! Убила! И-и-и! — визжит она невозможным голосом. — Убила! И-и!

Она вертится по берегу с такой быстротой, что кажется, будто у нее десятки рыжих косичек, несколько пар вытаращенных глаз и дюжина вздернутых, облупленных носов. Володя не сразу осознал ужасный смысл происшедшего. Он хотел скакать, не обращая внимания на сдернутую повязку, но Алим сказал ему с жадным выражением:

— Давай мне знамя! Тебя убили! — и вырвал у Володи знамя.

Тогда Володя слез с лошади — ведь мертвые не могут ездить!

Он стоит ошеломленный неожиданным поворотом судьбы, а Люська пляшет вокруг него.

Он старается отвернуться от нее — ему невыносимо противны ее веснушки, косички и красный нос, но она упрямо лезет к нему на глаза, не перестает визжать, и визг ее теперь выражает высшую степень удовлетворения.

В штабе «зеленых» царит суматоха — все что-то кричат, куда-то бегут, а вдалеке, привстав на стременах, мчится Алим, и алое знамя бьется над его головой.

Горло Володи сжимает спазмой. Однажды в жизни счастье было возможно! И вот все пропало! Он один в неприятельском лагере, позорно убитый визжащей рыжей девчонкой, ненавистной рыжей утопленницей! И зачем только он спасал ее?! Стукнуть бы ее в ту пору кулаком по темени! Слезы досады выступают у него на глазах, он отворачивается, чтобы скрыть их, но Люська все время забегает вперед и размахивает его синей повязкой:

— Убила! Убила! И-и-и!

Вдруг она замечает его покрасневшие глаза. Она сразу утихает.

Володя садится в траву и мрачно смотрит в облака. Жизнь утратила для него всякий интерес! Все кончено! «Мертвый»! Вот тебе и победитель!

Сзади раздаются осторожные шаги. Люська подходит к нему и протягивает ему синюю повязку:

— На. Пусть ты будешь живой!

Должно быть, она не такая уж плохая девчонка. Но сердце его не смягчилось.

— Зачем это? — презрительно отвечает он.— Все равно мы победим!

Потом горнисты снова заиграли, и все пошли к трибуне. Но теперь все иначе. Впереди на Володином коне едет командарм «синих», а по бокам едут Алим и Хасан с развернутыми знаменами. За ними идет армия «синих», сзади под конвоем идет армия «зеленых», а в самом хвосте тащатся «убитые».

Володя идет в последнем ряду, глотая пыль и с трудом волоча ноги. Хуже всего то, что среди зрителей он видит Катю. Всю неделю он тайно мечтал о том, чтобы показаться Кате верхом и со знаменем в руках.

И вот он тащится среди «убитых». Лучше всего было бы убежать, но этого не позволяют правила игры, а Володя играет честно. И, низко опустив голову, загребая ногами и глотая пыль, он плетется в хвосте колонны.

А вокруг все говорят о кавалерии.

— Еще бы! У «синих» была конница, а у нас нет! Это неправильно!

— А кто вам мешал организовать конницу?

— А кто из наших годится в кавалерию? А у них и Хасан и Алим!

Имя Володи не упоминается.

О людская молва! Она признает только победивших!

Секретарь горкома поздравляет «синих» с победой, хвалит их за хорошую подготовку и награждает отличившихся. В качестве награды он прикалывает им на грудь звездочки из красного стекла.

Трибуна залита солнцем, гремят оркестры, победители выходят за наградой на трибуну под шум аплодисментов. Как хорошо! Как хорошо и как обидно!

Но вот к краю трибуны подходит Асхад. Он присутствует здесь как работник обкома комсомола.

— Товарищи! — говорит он — Решающая роль в победе «синих» принадлежала кавалерии! Это не случайно! Для нас, кабардинцев, кавалерия всегда была любимым родом войск, и правильно сделали те пионеры, которые организовали в своей армии кавалерию. Я думаю, что тот, кто ее организовал, заслуживает награды. Ее организовал Володя Агосян!

Милый Асхад! Как он понимает все то, что происходит в Володином сердце! Как справедливо все, что он говорит! Как благородно все, что он делает!

Володя сияя идет на трибуну и под гром оркестра получает рубиновую звездочку

— Где же твой конь? — спрашивает Асхад.

— У командарма!

— Бери моего Эльбруса. Не годится командиру кавалерии ходить пешком.

Прежде чем Асхад кончил, Володя уже вскочил на красавца Эльбруса. Он пускает коня галопом, и все смотрят на него, потому что конь очень хорош и ездит Володя очень хорошо.

Володя подъезжает к маме. Катя стоит рядом.

— Можно вас поздравить? — говорит она и улыбается.— Победителям принято дарить цветы. Хотите, я дам вам розу?

Она вынимает из волос маленькую пунцовую розу и дает ее Володе. Володя закладывает ее за ухо, она царапает ему висок, но даже это ему приятно.

Он так счастлив, что не может стоять на одном месте.

Он скачет по стадиону. Он любит всех людей, а больше всех Катю, Асхада и, конечно, маму.

Из толпы девочек высунулась Люська. Она выпячивает тонкую шею и смотрит на Володю вытаращенными, немигающими глазами.

Она все же неплохая девчонка, хотя и визжит очень громко. И видно, ей очень плохо живется со своим отчимом. Володе хочется чем-то порадовать ее.

«Что бы подарить ей? Только не розу? Конечно, нет!»

— Люся! Иди сюда!

Она подходит, не очень уверенная и настороженная.

— Хочешь, я подарю тебе звездочку?

Люська вспыхивает до корней огненных волос.

Володя наклоняется и на глазах у всех отдает звездочку.

Лицо Люськи сразу приобретает зазнайское выражение. Задрав нос, она идет на свое место, и все девчонки смотрят на нее с завистью.

С каждым днем разрастается и меняется Нальчик. Все больше становится в нем красивых, многоэтажных зданий. Они возвышаются над белеными домиками и видны издали. Центральные улицы заасфальтированы. На перекрестках установлены рупоры, похожие на морских чудовищ с разинутыми ртами. Каждое утро над городом летают слова: «Говорит Москва. Радиостанция имени Коминтерна». Каждое утро ишак промкооперации, проходя мимо рупора, закидывает голову и приветствует его неописуемым ишачьим ревом. Должно быть, голос Левитана похож на голос ишачьего хозяина. На главной улице стоит милиционер в белых перчатках. Правда, уличное движение не доставляет милиционеру больших хлопот. Гораздо больше беспокоят его стада раскормленных гусей и голенастых индюшек, которых за последние годы развелось видимо-невидимо. Нахальные птицы то и дело норовят вывернуться из переулков, но милиционер считает неприличным их присутствие на главной улице столицы и ведет с ними непримиримую борьбу.

Зато когда на улице показывается «ЗИС», милиционер чувствует себя вполне столичным милиционером. Сегодня его перчатки сверкают особой белизной — сегодня праздничный день — 7 ноября. Несмотря на позднюю осень, теплынь такая, что можно ходить в одних платьях. Нынче в Нальчике удивительно ясная и теплая осень.

Сегодня в клубе праздничный вечер. Володя занят подготовкой сцены к спектаклю. Он подклеивает декорации, исправляет блоки у занавесей, устраивает луну из лампочки.

Ему еще не исполнилось шестнадцати лет, но он высок не по возрасту. У него та же, что и в детстве,— чисто русская миловидность лица. Трудно понять, от чего она зависит: от мягкости и округлости очертаний, от полудетской пухлости щек или от спокойных улыбчивых губ. Трудно объяснить, почему, несмотря на мягкие темные

кудри, несмотря на восточные, длинные глаза, в нем сразу угадывается русская кровь.

Володя с увлечением работает на полутемной сцене. Он любит эту невидную, подготовительную работу, а сегодня ему хочется, чтобы все было особенно хорошо. Главную роль сегодня играет студентка Ленинградской театральной студии Катя Луганова. Всю неделю Володя ежедневно приходил на репетиции, чтобы видеть, как она играет

Когда все уже готово, приходит Асхад. Он ведет с собой двух девочек лет тринадцати.

— Вот тебе две помощницы — Соня и Маржан,— говорит он и уходит.

Одна из девочек русская, беленькая, с бесчисленными бантиками. Бантики у нее в косичках, на груди, на туфлях. Это, конечно, Соня.

Вторая — кабардинка, смуглая, с узким упрямым личиком. Это Маржан. Володя говорит ей:

— Маржан, передай мне гвозди.

— Я не Маржан, я Соня! — возражает она, и обе девочки смеются.

— Нас всегда все перепутывают! Маржан — это я! — объясняет беленькая.

— Девочки,— говорит Володя,— осмотрите все кресла в зале. Там много поломанных кресел, а у нас есть клей, гвозди и свободное время.

Он чинит кресла, а девочки с перепутанными именами с увлечением помогают ему, не переставая болтать.

В это время входит Люська. С недавних пор с Люськиным лицом произошла метаморфоза. Однажды оно распухло, почернело и несколько дней было очень страшным. Потом чернота исчезла, а вместе с ней исчезли бесчисленные Люськины веснушки. Сейчас Люськины волосы завязаны синим бантом, от которого они кажутся еще рыжее, а лицо кажется еще белее. Люська смотрит на Володю и говорит возмущенно:

— Что ты делаешь? Чего ради ты чинишь стулья в чужом клубе? Если бы это, по крайней мере, был наш клуб! Может быть, ты думаешь, что тебе заплатят за это деньги или что кто-нибудь скажет тебе «спасибо»?

— Мне же все равно нечего делать! — оправдывается Володя.

— Нет! Ты просто глуп! Ты обедал? Еще не обедал? Как это на тебя похоже! Сейчас же иди в столовую!

При людях Люська всегда разговаривает с Володей так, как будто он ее собственность, но, когда они остаются вдвоем, она сразу становится тихой. Володя

знает, что Люська любит «фасонить» и командовать, но прощает ей это, так как она его давнишний товарищ и в сущности славная девчонка.

Зрительный зал постепенно наполняется людьми, а за кулисами идет обычная суматоха.

— Володя!—кричит суфлер.—У меня в будке не горит лампочка!

— Володя!—кричат из бутафорской.—Почему купили белое ситро?! Ведь мы пьем вино! Надо было купить красного ситро! Неужели нельзя сообразить?!

— Володя!—тонким сердитым голосом кричит Люська.—Где зеркало?! Разве это зеркало?! Это огрызок какой-то! Я—графиня, с какой стати я буду смотреться в эту лупу! Никогда ты ни о чем не подумаешь вовремя!

И только режиссер дядя Саша говорит с Володей нежным голосом:

— Володенька, куда запропастилась луна? Займись ею, милый, пожалуйста!

Дядя Саша очень толстый, у него доброе бабье лицо и красный нос пуговкой. Дядя Саша любит водку и искусство. Володю он называет своей правой рукой.

— Володя! Пойди сюда!—зовет Володю исполнитель главной роли, Левка Розик. Его очень длинный, обычно до прозрачности бледный нос порозовел.—Выпей со мной! На мою ответственность! Я угощаю! Нет, ты не думай! Я пью вполне открыто с точки зрения комсомольской дисциплины! Я пью для вдохновения. Ведь я сегодня играю с Катей. Я должен играть как бог! Катя говорит, что у меня богатый голос. Вот, послушай, как у меня сегодня звучит голос!—Левка становится в позу и говорит:—Я пр-р-резираю тебя!

И Володе кажется, что слово «презираю» состоит из одного сплошного «р».

— Слышал? Голос звучит роскошно! Это от яиц. Я уже съел шесть яиц. Сейчас я съем еще два яйца. Б-р-р! Противные, как лягушки.

Левка выпивает еще два яйца и показывает длинный вязаный шарф, в котором ярко-зеленые полосы чередуются с ярко-красными. При взгляде на этот шарф начинает рябить в глазах.

— Видишь, какой шарф! Он выглядит очень революционно! Тогда, в 1905-м, все революционеры носили такие шарфы на мае!

Володя не видит никакой революционности в полосатом шарфе, но видит, что Левка слишком быстро говорит и слишком размашисто жестикулирует.

— Хватит тебе пить!

— Подумаешь! Что такое для меня пол-литра водки?! Ерунда!

Володя уходит за красным ситро и за зеркалом для Люськи. Вернувшись, он слышит Левкин голос:

— Ик! Б-р-р! Отрыгается! Отрыгается водкой и яйцами,— удивленно сообщает Левка.— Ик! Мне достаточно запахнуться этим шарфом и выйти на сцену вот такой походкой, чтобы все сразу увидели, что я р-революционер! Ик! Фу-ты черт! До чего противно! Ик! Это все яйца! Сколько я их съел сегодня?

Катя взволнованно говорит дяде Саше:

— Он совсем пьян! Его нельзя выпускать на сцену!

— Розик! Пойди сюда!— зовет дядя Саша.

Левка подходит и, покачнувшись, галантно целует руку Кате.

— Ты помнишь роль?— спрашивает дядя Саша.

— Роль!— Левкино лицо принимает надменное выражение.— Какое значение имеет для меня роль, если я могу импровизировать?

Дядя Саша тащит его в уборную, трясет за шиворот и говорит тихо:

— Дурак! Идиот! Собачий сын!

Спектакль срывается. Взволнованные актеры собираются на сцене.

— Знаете что?— предлагает Люська.— Пусть играет Володя. Он бывал на всех репетициях и знает роль. Я сама слышала, как он подсказывал Левке!

— Володенька, милый, выручай,— просит дядя Саша и идет к Володе целоваться.

Прежде чем Володя успел опомниться, его уже сажают, гримируют, проверяют и обучают. Дядя Саша наспех репетирует с ним самые ответственные сцены. Володя выходит на сцену, еще немного ошеломленный неожиданностью и поглощенный мыслями о том, чтобы ничего не забыть и не перепутать. Ему даже некогда волноваться и думать о зрителях. Все идет гладко, и в антракте дядя Саша целует его:

— Слава богу, не подкачал, милый!

В антракте с ним наспех репетируют основные моменты следующего действия, и Володя выходит на сцену свеженашпигованный десятками наставлений.

Постепенно Володя осваивается со сценой и даже приходит в состояние какой-то приятной приподнятости.

У него хорошая внешность, красивый голос, играет он без претензий и не портит спектакля.

Все идет благополучно, и спектакль близится к концу. В последней сцене революционер Алексей (Володя) прощается со своей возлюбленной, дочерью купца (Катей).

— Нам пора расстаться, моя любимая! Поцелуй же меня на прощанье! — говорит Володя.

Катя приближается к нему и протягивает губы для поцелуя, но Володя резким испуганным движением отшатывается от нее. В суматохе и спешке он забыл об этой сцене, тем более что на репетициях Левка не целовал Катю.

Сейчас, когда Катя стоит так близко, Володя вдруг видит, что она уже взрослая женщина. Он вдруг начинает видеть ее с непонятной яркостью. Он видит ее белую шею с легкой припухлостью над межключичной ямкой. Видит ее покатые плечи, грудь и крутые бедра. И он чувствует, что поцеловать ее сейчас здесь, на глазах у сотен зрителей, он не может. Он может что угодно. Он согласен провалиться сквозь землю. Он может поцеловать прокаженного, может поцеловать тигра, крокодила, но поцеловать Катю он не может. Он молчит и не двигается, охваченный странным оцепенением.

— Целуйтесь! — шепчет суфлер в будке.

— Целуйтесь! — шепчет дядя Саша за кулисами.

Володя с отчаянием оглядывается.

— Володя! Что же вы? — шепчет Катя ему в лицо.

И, растерявшись, деревенея от стыда и волненья, Володя механически повторяет с прежним выражением:

— Нам пора расстаться, моя любимая! Поцелуй же меня на прощанье! — и снова отшатывается от Кати.

Его лицо со всей очевидностью выражает его отчаяние, страх и полную растерянность.

Пот течет по его щекам, и туман застилает глаза.

В зрительном зале проносится смех.

В суфлерской будке суфлер затолкал себе в рот половину пьесы и задыхается от смеха.

За кулисами дядя Саша прижался к стене, трясется своим жирным телом, машет руками и плачет от смеха.

Володе хочется бежать. Он хочет спрыгнуть в зал, но зал переполнен людьми. Володя видит смеющееся лицо писателя, сочувственное и страдающее за него лицо Асхада.

Володя оглядывает зал и сцену глазами загнанного зверя и в отчаянии, сам не зная как, говорит в третий раз:

— Нам пора расстаться, моя любимая! Поцелуй же меня на прощанье. — И в третий раз отшатывается от Кати. Теперь ему остается только умереть.

Все вокруг стонут от смеха, так до очевидности ясно то, что происходит в душе этого долговязого, испуганного мальчика. И то, что еще непонятно ему самому, уже понятно сотням зрителей. Он вызывает их симпатию, они сочувствуют ему от всего сердца, но не могут не смеяться над ним.

Они от души наслаждаются его растерянностью и испугом, его прилипшими к потному лбу волосами, его беспомощным и дурацким видом. Они от души наслаждаются тем, что его первое чувство проявилось так неожиданно, так нелепо и так неуместно. Одна эта сцена стоит всего спектакля. Зрители стонут от смеха.

А Володя стоит на глазах у сотен людей душевно обнаженный и охваченный одним желанием: никогда не жить на этом свете!

И тогда выручает Катя. Необыкновенная девушка Катя! Только она и могла додуматься до этого.

— Я понимаю,— говорит она,— ты не хочешь поцеловать меня, потому что я дочь купца! Ты не можешь пересилить себя и простить мне это! Ну что же! Простимся, как чужие!

Сбитая с толку публика затихает, и только актеры за сценой продолжают корчиться от смеха.

Наконец опускается занавес.

Володя быстро идет за кулисы. Мимо мелькают оскаленные в смехе лица.

— Бедная детка! Он еще не целовался!— кричит суфлер.

— Кате, Кате, умнице, скажи спасибо!— говорит дядя Саша, вытирая слезинки смеха.

— Ты в нее влюбился? Влюбился? Влюбился?— с острым любопытством и насмешкой спрашивает Люська.

Володя идет в маленькую темную комнату, где хранятся декорации, и ложится на трехногую кушетку.

Как показаться на глаза людям? Как глупо, как идиотски он вел себя! Теперь весь город знает, что он любит Катю, а он и сам не знал об этом до сегодняшнего дня! Он горит от стыда и горя, он переживает все с такой остротой, какая возможна только у пятнадцатилетнего, очень впечатлительного мальчика.

В комнате раздаются легкие шаги, и Катин голос спрашивает:

— Володя, вы здесь?

Она слышит его дыхание и ощупью находит его в темноте.

— Не надо огорчаться!— говорит она.

Ее руки скользят по его лицу и ощущают влагу на его щеках.

— Милый! Глупый!— шепчет Катя и, повернув Володину голову, целует его в одеревеневшие неподвижные губы.

Потом они сидят рядом на кушетке. Володя не может ни говорить, ни шевелиться от волнения, а Катя рассказывает ему о себе.

— Завтра мы уезжаем в Ленинград. Не знаю, когда я еще приеду сюда. Не знаю вообще, как мне поступить дальше. Аркадий Петрович — замечательный писатель. Он пишет большую книгу и говорит, что не сможет ее написать, если я не выйду за него замуж.

Володя молчит, но она так хорошо понимает его, что без слов слышит его возражение.

— Нет! Нет! Еще ничего не решено. Мне совсем не хочется замуж. Но так трудно решить что-нибудь, когда ты совсем одна. Ведь у меня никого нет, кроме тети. А тетя говорит, что я должна выйти за Аркадия Петровича. Но мне так не хочется, так не хочется замуж!

— Катя! Где вы?! — раздаются голоса, и она уходит.

И ни он, ни она не заметили того, что Володя не сказал ни слова и что беседа их была отрывочна и коротка. Наоборот, у них осталось такое ощущение, словно они говорили очень много и откровенно и беседа их была полна значения.

До полночи Володя провел у Катиного дома. Утром он говорит маме:

— Мама, мне надо много денег.

При этом он смотрит ей в глаза и сжимает губы с таким выражением, точно ни под какими пытками он не вымолвит ни слова больше. Необъяснимыми путями в память матери возвращается давно забытая картина: оранжевый вечер и две головы, склоненные над альбомом. Потом она вспоминает смущение Володи в последней сцене спектакля и то, что Катя уезжает сегодня. Чудом материнской интуиции она понимает все. Она не задает ему ни одного вопроса. Она вынимает из кошелька все деньги.

— Это все, что у меня есть, сынок. Вечером я получу еще, за шитье. — И уходит из комнаты, чтобы он не стесняясь взял столько, сколько надо.

Володя идет в садоводство. Утром сразу похолодало, на улицах лежит первый снег, пышный и голубоватый, но в оранжереях еще есть розы. Он покупает дорогой букет из красных и белых оранжерейных роз.

Вот и вокзал. Катя с писателем и группой провожающих уже здесь. На ней синее пальто, белый пуховый берет и белые пуховые рукавички. Володя посылает с мальчишкой свой букет, а сам стоит в полутемном вокзальном коридоре. Отсюда ему хорошо видно Катю, а сам он невидим.

Он видит Катины русые брови, большие, широко расставленные глаза с голубоватыми веками, прямой, маленький нос и полные, милые губы. На лице ее обычное выражение доброты и внимания, но иногда она оглядыва-

ется, словно ищет кого-то. Когда ей передают букет, все смеются, а писатель грозит ей пальцем. Ее щеки розовеют и еще сильнее оттеняют голубизну век и голубоватые тени на висках. Эти перламутровые переходы от нежно-розового к нежно-голубому напоминают о раннем, ясном утре.

Вот Катя входит в вагон, опускает оконную раму и становится у окна. Одной рукой она держит букет, а другая рука в белой рукавичке держится за край окна. Берет сдвинулся на затылок, и виден прямой пробор и гладко зачесанные русые волосы.

Катя оглядывает перрон, и лицо у нее огорченное. Тогда Володя с сильно бьющимся сердцем выходит на перрон. Поезд тронулся. Катя увидела Володю, лицо ее озарилось улыбкой. Она машет ему своей белой пуховой рукавичкой. Все дальше и дальше уходит последний вагон. Володя становится на рельсы, и они гудят под его ногами.

Он долго бродит за городом — в нем радость и боль, гордость и стыд, надежда и безнадежность — смятение чувств. Вечером он садится чинить сапоги, а мама шьет за столом. Она видит осунувшееся и измученное лицо сына. Ей хочется поговорить с ним, но она знает, что этого не нужно делать. Она настоящая мать — она живет сыном, но она чужда всякой назойливости, она бесконечно осторожна с ним.

Ей хочется помочь ему. Она начинает петь. Она поет песню за песней. В юности для любимого жениха она не пела так, как поет сейчас для сына. Она поет ему, не поднимая глаза от работы, и песни бьются большими крыльями о стены низенькой комнаты...

Альвик

I

В лагере была мода на прозвища, и Алю Викторову прозвали «Альвик». Прозвище, скомбинированное из имени и фамилии, привилось к ней.

В этот день она проснулась позднее, чем обычно. Во сне она видела вчерашний вечер у костра: она плясала в сарафане, и где-то пели:

Выпускала соколá
Из правого рукава.

Она взмахивала рукой, из широкого кисейного рукава вылетали белые птицы — не то голуби, не то чайки. Блеснув белизной на солнце, они поднимались в небо и таяли в синеве.

Она проснулась с ощущением легкости и высоты. Над палаткой летели звуки горна — Ваня Шанин горнил на побудку.

«Это не голуби, это — горн»,— поняла Альвик и быстро вскочила с постели.

В палатке было пусто, но кровати еще не были убраны. В открытую дверь виднелась сияющая голубизна неба, по-утреннему голубоватые вершины сосен, золотистый песок дорожки, косые и резкие тени стволов. Слышно было, как возле умывальника смеялись и разговаривали девочки.

Альвик натянула трусики, закрылась большим полотенцем и вприпрыжку побежала к «девочкиному умывальнику», отгороженному перегородкой из свежего теса.

Альвик бежала не потому, что торопилась, но потому, что не могла не бежать. Для того чтобы не бежать, а идти, Альвик необходимо было специально думать об этом и делать усилия. Она бежала к умывальнику и напевала:

Выпускала соколá
Из правого рукава.

Вчерашняя песня еще не выпелась до конца и просилась на волю.

Никелированные умывальники блестели, переливались голубизной и зеленью.

Девочки плескались, смеялись, взвизгивали.

Вода дробилась на крупные капли, и ближние кусты были влажными. Только листья волчьей ягоды не смачивались: незаметный воздушный пушок защищал их от влаги. На невидимых ворсинках лучились капли, крупные у кончиков листьев и мелкие, как серебряная пыль, у черенков.

Альвик тихонько взвизгнула, когда струи, словно живые, побежали по телу. В блестящей поверхности умывальника смеялось и щурилось ее скуластое черноглазое лицо.

— Митя сказал, что сегодня все пойдем за земляникой, потому что завтра приедут мамы. Чтобы нам было чем угощать. У тебя есть корзиночка?— спросила Катя. Влажная до пояса, стояла она под кустами и поворачивалась к солнцу то одним, то другим боком.— Я не люблю вытираться. Гораздо приятнее так сохнуть.

Умывшись, девочки побежали на линейку.

Вокруг трибуны золотистого теса росли гладиолусы, похожие на огненные языки, пенились белые флоксы и расстилался фиолетово-желтый ковер анютиных глазок.

Плоская и мелкая, посыпанная песком канавка-линейка по квадрату бежала вокруг трибуны, желтая в зеленой траве.

Альвик встала на свое место на линейке, пощупала босыми ногами прохладный песок, поправила галстук и замерла по команде «смирно».

Не шевелясь, но щурясь и улыбаясь от удовольствия, она слушала, как рапортуют вожатые дежурному по лагерю, а дежурный — начальнику лагеря — Мите Долинину. Митя стоял на трибуне строгий, смуглый, в ослепительно белом кителе. Настоящие ордена блестели у него на груди. Обычно он не носил их, но на линейку всегда приходил в кителе с орденами, и от этого все делалось еще интереснее, все было «как настоящее».

Процедура рапортов доставляла Альвик неизменное удовольствие. Ей нравился неподвижный строй пионеров, нравились четкие шаги, которыми подходили рапортующие вожатые, нравилось то, что вожатые как-то особенно твердо и красиво отдавали салют, нравились значительные лица и веские слова рапортов.

Но самый интересный момент наступал тогда, когда Ваня высоко поднимал ослепительный, брызжущий солнцем горн и горнил в самое солнце.

Тогда по канату белкой взбегал на высокую мачту красный флаг.

И вот уже он вьется над лагерем, ярко-алый на голубом небе.

— Лагерь, вольно! — глубоким, сильным голосом командует Митя, и кажется, даже сосны начинают радостно качать ветвями.

Линейка приносила Альвик ощущение радости и подтянутости, и след этого ощущения сохранялся на весь день.

После завтрака к Альвик подошел Ваня Шанин. Его круглое лицо было смущенным, но светлые глаза в упор и не мигая смотрели на Альвик.

— Альвик, — сказал он, — это тебе.

Когда он говорил, то между верхними зубами показывалась дырка — зубы Ваня выбил, катаясь с гор на лыжах.

Он сунул Альвик записку и ушел.

В записке красивыми буквами было написано: «Если ты меня любишь, то я тебя тоже люблю. Тогда давай дружить. Под дружбой я понимаю — все делать вместе и помогать друг другу».

Альвик смотрела на записку, озадаченная и заинтересованная. Зачем он написал это? И почему у него был такой смущенный, даже испуганный вид?

Альвик не знала, что нужно делать в таких случаях, и побежала советоваться к Насте.

Настя училась в одном классе с Альвик, но была на четыре года старше. Настя всегда писала и получала записки и всегда была в кого-нибудь влюблена. Судя по Насте, Альвик думала, что любовь заключается в писанье записок и в постоянных объяснениях на разные темы.

Настя сидела возле палатки и пришивала бант к блузке. Она была полная и белая. Вид у нее был счастливый и многозначительный. Она перекусила нитку и таинственно сообщила Альвик:

— Мы объяснились... Я ему говорю: «Почему ты ко мне не подошел, когда я стояла на кухне?» А он говорит: «Я шел рыбачить, у меня в банке были черви, а ты боишься червей». А я ему говорю: «Ты мог поставить банку на землю». А он мне говорит: «У банки плохая крышка, и черви могли бы расползтись». А я ему говорю: «Значит, тебе твои черви интереснее меня?» А он говорит: «Ничего подобного».

— Вот,— сказала Альвик и протянула Насте записку.

Настя прочла записку и авторитетно заявила:

— Значит, он тебе официально объяснился. Теперь ты тоже должна ему объясниться. Знаешь что? Давай напишем ему ответ стихами!

— Стихами?!

— Да. Взрослые всегда так делают. Мирон Семенович из спиртзавода пишет моей маме во-от такие стихи.— Настя развела руками.— Я сама читала. Стихами гораздо интереснее. Ты какие знаешь стихи?

Альвик подумала.

— Я знаю «Ищут пожарные, ищет милиция...».

— Это не подходит. А еще что ты знаешь?

— «Я волком бы выгрыз бюрократизм»,— продекламировала Альвик, запинаясь, но с выражением.

— Это вовсе не подходит. Надо про любовь.

Альвик стала думать. Ей хотелось найти веселое и таинственное стихотворение про любовь, но такого не было.

Она с надеждой взглянула на Настю.

— Ладно уж. Так и быть,— сказала Настя.— Я тебе что-то покажу. Только ты дай мне слово, что никому не проболтаешься. А то знаешь, какие у нас ребята. Они так засмеют, что из лагеря сбежишь!

— Честное пионерское, я не проболтаюсь!

Настя принесла из палатки маленький альбом с алым

сердцем на желтой обложке. Листы альбома пожелтели, а буквы стерлись от времени.

— Это еще мамин альбом. Когда она была в гимназии.

Альбом был секретный, и стихи в нем были секретные, а потому особенно интересные. Если бы они не были секретными, то показались бы Альвик смешными, но сейчас за каждым словом чувствовался тайный смысл, и Альвик смотрела на альбом расширенными от любопытства глазами.

Здесь были непонятные стихи про Марусю, которая отравилась, и загадочная песенка про шарабан. Подходящих стихов не было.

— Может быть, это?—с сомнением сказала Настя.

Альвик прочла:

Люблю тебя, как ангел бога,
Люблю тебя, как брат сестру,
Люблю тебя я очень много,
Любить я больше не могу.

Лицо Альвик приняло жалобное выражение.

— Настя, но я вовсе не люблю его, как ангел бога! И потом, никакого бога нет.

— Ты не понимаешь!—рассердилась Настя.—Ведь это стихи! В стихах все не как в самом деле, а как наоборот.

— Я не хочу наоборот!

После долгих препреканий Альвик написала по-своему: «Я тоже люблю тебя, как хорошего пионера».

С запиской в руках она побежала разыскивать Ваню.

Он сидел на большом пне и плел сеть.

Альвик отдала ему записку. Пока он разворачивал и читал, она стояла рядом, смотрела на него во все глаза и подпрыгивала на месте от любопытства и нетерпенья.

В кустах показалось сердитое лицо Насти.

Настя хмурилась и махала руками. Альвик подбежала к ней.

— Дура! Когда мальчик читает твою записку, то совсем не полагается стоять рядом с ним и таращиться на него что есть мочи.

Через полчаса всем лагерем пошли за земляникой.

— Альвик! Альвик!—позвал Ваня.—Иди сюда. Здесь много! И крупная!

На опушке, где начиналось поле и стояли черные пни, стлался земляничник. Перезрелые исчерна-красные ягоды с крупными зернышками на поверхности сами просились в рот, но Альвик не ела их, а собирала для мамы. Лучшие ягоды она рвала со стебельками и связывала в букетик.

— Ваня, смотри, стрекоза!

Муравьи тащили большую золотисто-зеленую стрекозу. Стрекоза была мертвой, но крылья у нее были такие большие и легкие, что все время вздрагивали, как живые. Стрекозу они положили в корзиночку поверх ягод.

Когда корзиночка была полна, а земляничник опустел, Альвик предложила:

— Давай поиграем в «колосок-колосок».

Они нарвали колосьев, веток, листьев и уселись в тени. Альвик зажмурилась и тоненько пропела:

Колосок, колосок,
Подай голосок!

Ваня поднес колосья к ее уху и потер их друг о друга. Альвик вслушалась. В нежном шелесте чуть слышался тонкий, стеклянный звон.

— Овес! Овес!—радостно закричала Альвик.

Ржаные колосья шуршали ровно и сухо, звук осиновых листьев был хлопающим, береза шелестела мягко, а ветви сосен были самыми тихими.

Время до обеда промчалось незаметно. Наступил мертвый час—единственная неприятность лагерной жизни. Альвик лежала на животе, болтала ногами в воздухе и смотрела в открытую дверь. Девочки уснули, и разговаривать было не с кем. От желания бегать у Альвик зудело в подошвах. Она пробовала петь про себя и в такт танцевать лежа, то есть выделывать танцевальные па задранными ногами. Она пробовала читать про себя стихи и считать баранов. Чтобы уснуть, надо было закрыть глаза, представить стадо баранов и считать их: «Первый баран, второй баран». Этому научила ее Катя.

Мимо прошли Тамарка-пискля и молоденькая сердитая докторша.

— И что вы за народ,—говорила доктор сердито и жалобно,—то вы режетесь, то колетесь, то у вас занозы, то вам в уши заползет какая-то гадость. Второй месяц живу в лагерях—ни разу за ягодами не сходила. Ну зачем тебе понадобилась эта стекляшка, скажи на милость?

— Это чечки,—ответила Тамарка.

— Где ты ее взяла?

— А на свалке, когда в колхоз ходила.

— На свалке. Час от часу не легче. Анна Ивановна, они на свалку ходили,—возмутилась доктор и скрылась в домике, в котором жили малыши.

На дорожке показался маленький рыжий Прохор, брат Тамарки-пискли. У него были необыкновенные уши, боль-

шие, прозрачные, оттопыренные, нежно-розовые, как крылья бабочки. Он шел по вполне законному маршруту—туда, за умывальники, где виднелись деревянные будочки. Он хромал на обе ноги, ковыляя на разные лады, и видно было, что каждый шаг причиняет ему страшные страданья.

— Прохор, ты захворал?—спросила Альвик.

— Не, это я так... Чтобы не скучно!

Альвик рассмеялась такому способу развлекаться и живо сообразила, что она также имеет полное право отправиться по тому же маршруту, как и Прохор. Она вышла из палатки и не спеша отправилась за умывальники. Она шла, то прихрамывая по способу Прохора, то подпрыгивая на одном месте, чтобы продлить удовольствие. У нее были самые честные намерения, но по дороге ее подстерегало непреодолимое искушение. Она увидела голову Васи-радиста в его знаменитой огромной войлочной шляпе.

За этой шляпой Альвик охотилась вторую неделю. Сейчас Вася лежал в позиции, очень выгодной для Альвик. Все тело его скрывалось в палатке, из-под отогнутого края торчала только голова в шляпе и рука с книгой. Альвик затаила дыхание, обошла палатку сзади, подкралась к Васе, схватила шляпу и бросилась бежать. Вася помчался за ней.

В мертвый час нельзя было ни визжать, ни смеяться, от этого было еще смешнее. Смех душил Альвик. От сдержанного смеха у нее раздувались щеки, она сипела, шипела, и наконец, когда споткнулась и Вася стал нагонять ее, она не выдержала и пронзительно завизжала. Она мчалась и визжала отчаянно, с наслаждением. Тогда из палатки вышел Митя и посмотрел прямо на нее, отчего она сразу умолкла и замерла на месте. Митя прищурился, взглянул на небо, помолчал и сказал спокойно, с видимым удовольствием:

— Аля Викторова, за то, что ты не спишь в мертвый час,—одно ночное дежурство вне очереди. За то, что ты мешаешь спать другим,—второе ночное дежурство вне очереди. За то, что стащила чужую шляпу,—третье ночное дежурство вне очереди. Итого три дежурства вне очереди. Отдай Васе шляпу и можешь идти спать в свою палатку.

Мите было всего восемнадцать лет, но он был партизаном во время войны, имел ордена и хромал на левую ногу, поэтому Альвик отдала шляпу и беспрекословно побрела в свою палатку.

— Три дежурства?—спросила Катя.—Зачем ты визжала как зарезанная? И что этот Митя за человек?—

Лицо Кати выражало мечтательное восхищение.— Всегда вырастает как из-под земли.

— Это потому, что он был партизанским разведчиком,— с гордостью объяснила Альвик.

После вечернего чая все занялись подготовкой к спортивному празднику, который должен был состояться завтра.

Возле невысокого холма расстилалась лужайка — ее выровняли, приготовили беговую дорожку, поставили снаряды — сделали «стадион».

На холме вырыли земляные скамьи и покрыли их свежим сеном.

Альвик заранее приготовила удобное место для родителей. Последние недели к ней приезжала одна мать, но она знала, что завтра приедут оба, потому что спортивный праздник — это день ее побед и триумфов, это — «ее праздник». В этот день и папа и мама приедут обязательно.

Наступил вечер. Босые ноги тронуло холодком. Небо поблекло, а зубчатая стена леса стала выше, темнее и строже. Выступили первые, еще бледные звезды.

Ваня горнил вечерний сигнал — «отбой».

Этот сигнал Ваня горнил особенно хорошо. Протяжные звуки, взлетев, опускались и мягко стлались на траву, на дальние холмы. Певуче, призывно, с глубоким переливом горн выговаривал:

— Спать, спать, по пала-атам!

Горн звал на отдых сосны и заречные холмы, и все вокруг было послушно его призыву. Все дышало таким миром, таким радостным согласием, словно и пионеры, и сосны, и звезды жили одной, неотделимой жизнью.

Альвик с удовольствием приступала к «ночному дежурству». Оно заключалось в том, что нужно было ночевать на балконе у малышей. На весь лагерь был один деревянный домик — в нем с няней и воспитательницей жили двенадцать малышей семи-восьми лет.

Дежурные пионеры должны были помочь няне уложить малышей вечером, поднять и накормить их утром. Ночевали дежурные на «дежурных» кроватях, на незастекленном балконе. Дежурили попарно. Альвик должна была дежурить с Настей.

Альвик любила возиться с малышами. Когда все уже улеглись, расплакалась Тамарка-пискля! Она сидела на кровати, поджав ноги, натянув на голову одеяло и всхлипывая.

— Д-ы-ы, боюсь,— всхлипывала Тамарка.

— Чего ты боишься?
— Ды-ы немца же!
— Какого немца?
— Ды-ы мертвого же.
— Где ты его увидела?
— Под кроватью же. Ай-яй-яй! — Тамарка сильнее подобрала под себя ноги.
Альвик слазила под кровать.
— Нету никакого немца.
— А он придет! Ой, боязно мне!
Няня никак не могла успокоить Тамарку. Тогда Альвик нарисовала на бумажке профиль с усами и сказала:
— Вот это Сталин! Теперь никакой немец не придет.
Тамарка посмотрела недоверчиво и потребовала, чтобы на воротнике нарисовали «листы», а на груди — звезду.
Когда Альвик выполнила это требование, Тамарка положила портрет возле подушки и успокоилась.
Настя пришла, когда Тамарка уже спала.
— Мы объяснились,— начала Настя быстрым шепотом.— Он говорит...— Закончив рассказ, она сразу уснула.

Альвик не спалось. Она вышла из домика.
Белые палатки казались снежными глыбами, светлая дорога рекой текла меж черными стенами леса. Сосны шумели. Альвик любила сосны больше всех деревьев — они были самые добрые и самые гостеприимные. Они подставляли ветки, как лесенку, и лазить и сидеть на них было особенно удобно. Альвик знала, что если провести по стволу рукой, то ствол покажется жестким и шероховатым, но если легко коснуться ствола ладонями или щекой, то можно почувствовать нежную и шелковистую кожицу, которая покрывает кору.
Альвик переходила от сосны к сосне, касаясь ладонями нежных и теплых стволов.
У корней мелькнул зеленоватый огонек-светлячок. Еще... Альвик набрала светлячков, нарвала папоротника и связала себе венок. Она украсила венок светлячками и надела его на голову.
Она сидела в венке одна на ступеньках домика, в уснувшем лагере. Сосны мерно шумели над головой. Альвик раскачивалась в такт соснам и тихо пела все, что приходило в голову.
Показался Митя.
— Альвик, ты?
— Да.
— А еще кто дежурит?
— Настя.

— Она спит?

— Спит.

— А ты почему не спишь? И для кого это ты тут так нарядилась?

— Как?

— Венок... Светлячки...

Альвик засмеялась:

— Так просто. Для сосен.

— Смешная! Сидишь одна... В венке... А что это ты ешь?

— Веточку.

— Зачем?

— Сладкая. Я вообще ем лес. Всякий лес можно есть.

Митя засмеялся. Он смеялся часто, легко и всегда так, что вслед за ним смеялись все окружающие. Альвик засмеялась вместе с ним.

— Иди-ка ты, Альвик, спать. Видишь—туча!

Из-за леса быстро надвигалась большая туча.

Вдруг сильнее зашумели сосны и пригнулась тонкая тополинка у окон. Сразу похолодало и потемнело.

— Какое у тебя тонкое одеяло. Еще замерзнешь. Погоди, я принесу тебе свое.

Пока Митя ходил за одеялом, начался дождь.

Альвик свернулась клубочком. Митя накрыл ее своим одеялом. Стало тепло и уютно.

— Дождик,—сказала Альвик.—А как же завтра?

— Завтра будет сухо. Это грибной дождь. Спи.

Он неторопливо пошел под дождем, продолжая обычный ночной обход лагеря.

Альвик засыпала. «Дождик... Грибной дождик...— думала она.—Завтра приедет мама. И папа. Завтра будет праздник».

Она уснула улыбающаяся, с тем предчувствием счастья, которое иногда сладостнее самого счастья.

II

На другой день с утра всем лагерем пошли за полтора километра на станцию встречать родителей.

Альвик несла с собой «гостинцы»—корзиночку земляники и стрекозу. Стрекоза предназначалась для папы, так как он был охотником, а стрекоза, по понятиям Альвик, имела отдаленное отношение к охотничьей добыче.

Свистнув у поворота, на высокой насыпи показался поезд. Из вагонов посыпались празднично одетые люди.

Ловко выпрыгнул на костылях известный всему лагерю дядя Миша—отец Вани.

Толстая женщина с зеленым зонтиком споткнулась и взвизгнула, как девочка,—навстречу ей побежала Настя.

Альвик бежала вдоль поезда, нетерпеливо вглядываясь, готовая каждую минуту завизжать от радости.

Где же они? Наверное, в самом конце.

За кустами мелькнула фигура высокого военного и маленькой женщины. Альвик бросилась к ним, но еще издали увидала чужое, усатое лицо мужчины.

Ошиблась! Она снова вернулась к поезду. Если не приехали оба, то одна мама должна приехать обязательно.

По узкой дорожке уходили веселые группы людей. Всюду слышался тот нежный радостный говор, который возникает, когда после недолгой разлуки встречаются близкие люди.

Альвик еще раз прошла вдоль поезда. Паровоз коротко свистнул, и зеленые вагоны с шумом проплыли мимо. Перрон опустел.

Альвик стояла одна на пустынной насыпи. В корзинке, на землянике лежала золотисто-зеленая стрекоза с большими, трепетными крыльями. Не приехали... К Альвик никто не приехал... Это было тревожно и непонятно.

Папа говорил: «Спортивный праздник—это Алькины именины». Почему же они не приехали? Значит, случилось что-то плохое. Папа не приезжал ни разу. А мама? Она была не такая, как обычно.

В последнее воскресенье она показалась Альвик особенно худенькой, и плечи у нее были опущенные.

Все то, что прошло незаметно неделю тому назад, всплывало теперь в потревоженной памяти Альвик.

Она брела к лагерю и думала.

Вот холмик, на котором мама сидела в позапрошлый приезд, ожидая поезда. Она плела для Альвик браслет из ромашек и пела свою любимую сиротливую песенку:

...А я одна на камушке сижу
И вдаль гляжу.
Идут три уточки:
Первáя впереди,
Вторая за первóй,
А третья позади.
А я одна на камушке сижу..

У песенки не было конца.

Мама пела тонким голосом, и лицо у нее было кротко-радостное.

Маленькие руки ловко прилаживали цветок к цветку.

Когда мама пела эту песню, Альвик почему-то сразу вспоминала, что мама—сирота, выросла у чужих людей и с детства стала швеей. Сейчас при воспоминании об этой песне Альвик вдруг захлестнуло тревогой и жалостью.

А в последний приезд... В последний приезд мама начала петь, и ее тонкий голосок сорвался. Глаза у нее были красные.

— Что?—спросила Альвик.

— Пыль,—сказала мама.

Но она плакала. Плакала! И Альвик только теперь поняла это!

Что же это? Она представила отца. Большой, красивый, веселый.

«Я заговоренный,—шутил он.—Меня ни огонь, ни вода, ни пули, ни бомбы—ничто не берет».

Альвик обогнала Настю и женщину с зонтиком.

— Тебе надо беречь цвет лица,—говорила женщина.— Я всегда была белая. Я на Кавказ ездила—была белая на Черное море ездила и все равно была белая.

Впереди показались Ваня и дядя Миша. Дядя Миша так скоро и легко ходил на костылях, что казалось, костыли для него одно удовольствие, вроде велосипеда.

Костыли были особенные—с небольшими крючками у самой земли. Этими крючками дядя Миша подвигал к себе отдаленные предметы. Костылями дядя Миша даже жестикулировал: когда сердился, то стучал левым костылем, а когда был доволен, то взмахивал им. Сейчас, стоя на одном костыле, дядя Миша крючком второго костыля ловил и пригибал высокие ветки орешника.

Ваня увидал Альвик, покраснел и взглянул прямо в глаза отцу. У Вани была привычка смотреть особенно прямо в тех случаях, когда хотелось спрятать глаза.

— Папа, это Альвик. Я говорил тебе...

— А! Значит, это и есть наша барышня? Ну, ну, ну, ну!

Дядя Миша часто и быстро повторял слово «ну». С помощью этого слова он мог выражать самые разнообразные мысли и чувства. Сейчас «ну, ну, ну, ну» звучало одобрением.

— Сергея Ильича дочка, значит? Знаю, знаю, на одном заводе семь лет работаем. Похожа, похожа! Ну, ну, ну, ну!

— Нет, я не в папу. Я получилась в бабушку. Папина бабушка была татарка.

— Ну, в бабушку так в бабушку,—согласился дядя Миша.—Держи-ка вот!

Он ловко зацепил и пригнул к лицу Альвик ветку с зелеными ореховыми гнездами.

— Что же наша барышня невеселая?

— Где твои?—спросил Ваня.

— Не приехали...

— Не приехали, значит, дела,— веско сказал дядя Миша.— Я вот тоже нынче едва выбрался. Мамаша-то на швейной фабрике работает?

— Да.

— Ну, вот! У них нынче работы — не отойти! Обносился народ. Одеть народ надо.

— Может быть, с дневным приедут?— сказал Ваня.

Весь день готовились к празднику, который должен был начаться с пяти часов.

Ваня и Альвик под руководством дяди Миши клеили грандиозного змея.

Потом дядя Миша паял котлы для кухни, а над ним изнывали лагерные «радисты» — у них что-то не ладилось, и они тянули его к себе.

Альвик смотрела на его круглое, как у Вани, лицо, на желтые от табака усы, слушала его веселое «ну, ну, ну, ну» и думала, что из-за него и Ваня стал казаться еще лучше и симпатичнее, чем прежде.

Когда Альвик задумывалась, Ваня солидно говорил ей:

— Ты не переживай. У меня батя в прошлом году три недели не был — я и то ничего! Не мог человек приехать. Работа же!

К четырем часам Альвик опять побежала на станцию. Снова подошел поезд.

На этот раз почти никто не сошел на станции, только из самого заднего вагона вышла женщина в белой блузке.

Вышла и остановилась. У Альвик сжалось сердце. Она побежала... Нет... Чужая... И снова она побрела обратно, и прозрачные стрекозиные крылья печально вздрагивали в корзинке с земляникой... Альвик хотелось плакать.

— Альвик! Где же ты была? Пора одеваться!— встретили Альвик в лагере.

В палатке было сумбурно.

Зияли раскрытые чемоданы, начищенные мелом тапочки сохли у порога, на кроватях лежали разглаженные ленты и новые шелковые голубые майки.

— Не приехали?— спросила Катя.— Ты не беспокойся — не приехали, значит, заняты. Я тебе тапочки уже набелила. Где твоя лента? Всем белые ленты на головы. Утюг! Утюг! Девочки, у кого утюг?

Когда Альвик оделась, в палатку пришла Настя.

— Альвик, скоро тебе, наверное, можно будет одевать бюстгальтер.

Альвик посмотрела на себя. Шелковая майка облегала тело.

«Растут зачем-то!» — огорченно подумала Альвик. Она боялась, что на ней вырастут такие же безобразные жировые наросты, как у Насти. Ей хотелось быть ровной, как мальчик. Она сняла майку и крепко затянула вокруг груди марлевую косынку. Поверх косынки она снова надела майку. Было трудно дышать, но зато она стала красивая — ровная, как доска.

— Глупая! Как же ты побежишь? Дай я завяжу свободнее.— Катя перевязала косынку.

Наконец начался праздник.

На холме амфитеатром расположились зрители. На высокой трибуне сидели «судьи» — Митя, Женя-физкультурник и бритый человек из города. Рядом с ними в эмалированном ведре стоял огромный букет из георгин, флоксов и гладиолусов.

— Смотри какой букет! — шепнула Катя.— Это лучшему физкультурнику. Наверное, достанется Васе или Люсе.

Ничто не занимало Альвик — мамы не было, и это сознание заслоняло все остальное. Тревога то наступала, то немного отпускала, но ни на миг не исчезала совсем.

После парада физкультурников начались состязания. Сперва шли упражнения на снарядах, потом прыжки и наконец бег.

Девочки бежали последними.

Слева от Альвик должна была бежать Люся, прозванная в лагере Задавалкой.

Люся была хорошенькая, беленькая, кудрявая. Когда она вышла на стадион, красивая женщина в большой белой шляпе махнула ей веером.

«Мама,— с болью подумала Альвик.— Какая нарядная и румяная у нее мама».

Ей захотелось бросить все и убежать. Она вышла на стадион нехотя, но когда увидела впереди беговую дорожку, когда попробовала ногой грунт, когда нагнулась — к ней пришло уже знакомое ей чувство особой сосредоточенности.

...У нее была своя манера стартовать, от которой ее никак не мог отучить физкультурник Женя.

Пригнувшись, касаясь руками земли, она слегка раскачивалась на носках, чтобы почувствовать пружинящую силу ног — «чтобы ноги стали мячиковыми»,— как она говорила.

Когда рывком опустился сигнальный флажок, она бросилась вперед.

Люся сразу пошла рядом с ней.

Некоторое время они бежали вровень. Альвик видела, как высоко выбрасывались розовые колени Люси.

«Как она вскидывает колени. Нехорошо,— подумала Альвик и тут же заметила, что и сама она слишком высоко выбрасывает колени.— Не надо так!»

Она бежала очень старательно, бежала изо всех сил, и все-таки что-то не ладилось.

Ноги словно увязали в чем-то, колени закидывались к животу, косынка врезалась в грудь.

«Что же это? Сильней! Надо сильней!»

Но Люся опережала. Альвик уже не видела Люсиных розовых колен, перед ней плыли Люсины кудри. Сзади слышалось тяжелое дыхание — кто-то нагонял. Альвик старалась изо всех сил, но чувствовала, что чего-то не хватает внутри ее.

«Прийти хотя бы второй! Но дорожка еще такая длинная! Не удержаться. Кто нагоняет? Если Катя, то не так обидно. Оборачиваться нельзя. Сильнее! Почему ничего не получается? Люся уже далеко. Счастливая Люся — и кудри, и бег, и мама. Мама!»

Снова обострилась тревога, и, чтобы заглушить ее, Альвик рванулась и неожиданно для самой себя пошла быстрее.

Она подбегала к холму.

— Альвик! Не сдавайся! Альвик!— услышала она голос Вани.

— Держись, Альвик!— кричал дядя Миша.

— Альвик, защищай второе звено!— кричали девочки.

— Альвик, прибавь! Милая, хорошая, прибавь еще! Вот так! Еще немного! Вот так!

Может быть, эти возгласы дали Альвик как раз то, чего ей не хватало?

Что-то вдруг наладилось в ней, пришел тот внутренний ритм, без которого она не могла бежать. Ноги стали твердыми и легкими, удлинился шаг, колени перестали вскидываться, и косынка уже не резала.

Все тело теперь работало автоматически и слаженно. Она нагоняла Люсю, и крики за спиной стали громче:

— Хорошо, Альвик!

— Еще, Альвик!

Она оставила Люсю позади и подумала: «Смогу ли я еще прибавить?» Сделала усилие и с радостью и удивлением открыла, что может еще быстрее, что предел ее скорости далеко. Ей захлопали.

Теперь ее несло так, словно она бежала под гору. Она все набирала и набирала темп, ни о чем не думая, только светлая дорожка впереди, только удивительное ощущение легкости, почти полета.

Восторженные крики за спиной становились все громче, но теперь они мешали Альвик, они отвлекали ее от того, что было внутри нее, от той сосредоточенности, от того напряжения всех сил, которыми она была счастлива сейчас.

«Зачем они кричат?» — почти досадуя, думала она.

Крики мешали ей так же, как мешали бы они певице, берущей верхнее «до».

«Как они не понимают, что мне не надо мешать?»

Красная ленточка финиша приближалась.

«Ура! Альвик! Ура!» — кричали десятки голосов.

Они так расшумелись, а она была уже так уверена в победе, что оглянулась и засмеялась.

Она финишировала, как стартовала, по своему способу, наперекор всем Жениным поучениям.

Бег уже стал для нее не состязанием, а игрой, и она, смеясь, вскинула руки, словно за лентой финиша было море, куда надо было броситься.

Пройдя финиш, она продолжала бежать — ей так хорошо бежалось, что жаль было остановиться, жаль было расстаться с удивительным ощущением, которое ею владело.

Ее остановили крики и аплодисменты.

Соперницы, о которых она забыла, далеко отстали от нее.

На стадионе происходило что-то непонятное. Все повскакали с мест. Несколько человек бежали к ней.

С трибуны соскочил бритый человек. В руках у него был букет.

На миг все стихли.

— Товарищи! Я позволил себе говорить, не посоветовавшись с другими судьями. Но двух мнений не может быть! Мы были свидетелями прекрасного зрелища.

— Ура, Альвик! — ответили десятки голосов.

Альвик взяла букет.

Кто-то поздравлял, кто-то жал ей руку. Она искала глазами Ваню, дядю Мишу, Катю и думала: «Мама! Мама!»

Кто-то говорил: «Редкая спортивная одаренность», «Важно не столько ее рекордное для подростка время, сколько ее стиль».

Альвик было странно, что этими чужими взрослыми словами говорят о ней.

Она смутно чувствовала, что за этими фразами скрывается что-то значительное, далекое, необыкновенное, что-то на всю жизнь важное.

Странный интерес проявляли к ней взрослые люди, странный потому, что они говорили с ней не только как с равной, но и с оттенком какой-то восторженности и бережности, словно она вдруг оказалась значительнее всех их.

Чего они ждали от нее? Что обещали ей? Она стояла, утонув в своем огромном букете, радостная, удивленная, испуганная. Она была и счастлива и встревожена, и одновременно ей было больно от того, что исчезло то непередаваемое чувство, которое только что владело ею.

Близился вечер. Солнце позолотило мир. Даже дорожная пыль приобрела теплый, телесный оттенок.

Гости собирались уезжать.

Альвик пошла к себе.

В палатке было сумрачно. Сквозь дверную щель проникал тонкий луч.

Большой букет теплился притушенными, глубокими красками, и только выхваченные лучом гладиолусы горели в полумраке.

В луче над букетом густо толпились пылинки, и казалось, что это дымятся огненные языки гладиолусов.

Альвик сидела одна в палатке и горестно смотрела на свой букет.

Она никогда и ничем не обладала одна. Все, что она имела, все, чем гордилась — от лагерного стадиона до школьного клуба,— она разделяла с другими.

Даже таким вещам, как ленты и блузки, она не умела радоваться одна — она разделяла радость с мамой. И теперь ее нежданное богатство — вызывающий общий восторг букет — тяготило Альвик.

Подарить его девочкам? Пусть он будет общий для всей палатки. Но это не то. Девочки не будут так радоваться вместе с ней, как мама. Мама!.. Что с ней? Где она?

За палаткой звенели веселые голоса, а Альвик, победительница и «героиня дня», сидела одна в своей палатке и плакала, уткнувшись в свой букет, в свое ни с кем не разделенное и потому тягостное богатство.

...В палатку заглянул Ваня.

— Ты плачешь? Почему ты плачешь?

Показалась Катя.

— Альвик! Что с тобой?

Через минуту все в лагере говорили: «Альвик плачет». Она никогда не плакала, и поэтому слезы в день ее торжества беспокоили всех.

— Сидит одна в палатке, держит букет и плачет,— говорила Катя доктору.

Доктор пришла в палатку.

— О чем ты, татарочка?

Альвик уже не плакала, она крепко держала Ваню за руку и смотрела в землю.

— У меня болит нога.

— Покажи мне ногу, девочка!

— Уже прошло.

— Тебя кто-нибудь обидел?

— Нет, нет.

Пришел дядя Миша.

— Ну, ну, ну, ну. Устала, умница! Шутка ли — два раза на станцию сбегала, да состязание, да то, да се! Вот всех повыгоняем и спать уложим.

Все ушли, но Ваню Альвик не пустила.

— Возьми у меня букет.— Она жалобно посмотрела на него.

— Но это твой букет. Куда же я его дену? У нас в палатке мальчишки ощиплют все цветы.

— Нет, ты возьми. Или знаешь что...

— Доктор, что с Альвик? — спросил Митя.

— Перенервничала. Вы знаете, у девочек в таком возрасте обостренная впечатлительность. Это обычно!

— Ей одиннадцать лет! Какой же это «такой» возраст?

— Но она — татарочка! Они формируются раньше. Слишком большая дневная нагрузка — и физическая и психическая.

«А я еще заставил ее дежурить ночью!» — подумал Митя и от сознания неверного поступка сморщился, как от боли. «Взялся быть начальником лагеря, так будь таким, как полагается!—думал он, досадуя на себя.— Вот, плачет девочка». Он вспомнил, как она «наряжалась для сосен», как «ела лес», и снова сморщился. «Они же как цыплята! Нежные. А я с ними по-партизански! Ах ты черт!»

К нему подбежал Ваня.

— Альвик хочет проситься в город. Она скажет, что у

нее болит нога, но это неправда! Она беспокоится за маму. Ее нельзя не пустить.

Митя рад был загладить вину.

— Я сам отвезу ее. Мы поедем на грузовике. И ты собирайся, поедешь в охотничий магазин за удочками.

III

По дороге Альвик развеселилась.

Теперь, когда встреча приближалась, Альвик уже казалось, что ничего страшного не могло случиться. Просто задержали на работе! Какая она глупая — сразу испугалась, как маленькая!

Улицы были и знакомыми и новыми.

Покрасили забор у сада, поставили новый киоск и еще сильнее разворотили мостовую, которую давным-давно ремонтируют.

Вот наконец знакомый дом, асфальтированная площадка перед домом. На ней так удобно играть в классы!

— Здесь! Здесь! — Альвик спрыгнула с грузовика.

В глубине двора палисадник, огороженный невысоким забором, а в палисаднике белый дом с полуподвальным этажом.

Знакомые занавески с вышивкой ришелье чуть колышутся на окнах.

Все выглядит спокойно и привычно. Ничто не изменилось.

Альвик легко вскочила на перекладину забора — теперь ее голова оказалась вровень с подоконником.

«Что там внутри? Все ли хорошо?»

Из глубины комнаты донесся голос отца.

Альвик не разобрала слов, но уловила интонацию и сразу радостно вздохнула.

Отец говорил тем смеющимся, играющим голосом, который появлялся у него только в самые веселые минуты.

Альвик хотела бросить в окно букет, но сразу возник другой план. Она спрыгнула с забора, открыла дверь своим ключом и вошла в прихожую.

В лицо повеяло домашним запахом. Пахло кофе, геранью, еще чем-то непонятным, но знакомым с детства.

Альвик вошла в столовую. Дверь из столовой в спальню была закрыта.

Стояла тишина.

В комнате было полутемно, но Альвик различала знакомые вещи.

Все как всегда.

Большой буфет с цветными стеклами, диван, этажерка. На окне «бабушкина чашка».

Бабушка давно умерла, ее синяя с золотом чашка все еще называлась «бабушкиной» и считалась семейной драгоценностью.

Глаза Альвик привыкли к темноте, и она увидела на дне чашки желтый след и присохшие чаинки. Эти присохшие чаинки встревожили бы Альвик, если бы она не слышала веселого голоса отца. Двигаясь на цыпочках, она принесла из кухни кувшин с водой и поставила в него букет. Землянику высыпала в сахарницу, а букетики и стрекозу выложила на блюдца для варенья. Ну, вот! Все готово! Как они удивятся! Сейчас они выбегут из комнаты. Отец подбросит ее к потолку, а мама будет смеяться и гладить ее волосы. Втроем они сядут пить чай с земляникой... От радостного возбуждения Альвик захотелось визжать. Чтобы удержаться, она зажмурилась и присела. Она повернула выключатель, комната осветилась, и сразу выступила и пыль на буфете, и грязь на полу.

В дверях показался отец. Его китель был расстегнут, красное лицо казалось вздувшимся. Он увидел Альвик, но лицо его выразило не радость, а раздражение и непонятный испуг.

— Кто это? Ты? Зачем ты здесь?

— Я приехала в гости. Где мама?

— Мама в Балахне у тети Лизы. Подожди!

Но Альвик уже была в спальне.

Спиной к письменному столу стояла белая, большая, чужая женщина. Она была похожа на кенгуру — у нее была очень длинная и толстая шея, узкие плечи, низкие, широкие бедра.

Ее согнутые в локтях руки с обвисшими кистями походили на лапки кенгуру.

На руках блестели браслеты, а ногти алели, и казалось, что с рук капает кровь.

Альвик стало страшно и гадко. Она повернулась к отцу.

— Мама?.. Мама здорова?

— Мама здорова. Не кричи так.— Отец застегивал китель и не мог попасть пуговицей в петлю.— Зачем ты приехала?

— Я беспокоилась. Никто не приехал. Я думала, что-нибудь случилось.

— Да, да.— Отец потер ладонью затылок.— Сегодня воскресенье... Но я был занят. Видишь, мы работаем с Мальвиной Стефановной.

— Я могу быть свободна? — спросила женщина.

— Да, да. Одну минутку. Пожалуйста.— Отец казался растерянным.

Альвик вышла в столовую.

Все получилось не так, как думалось. Скользкой, мышиной походкой прошла женщина.

— Альвик,— сказал отец,— там в кухне есть суп. Ты того... Разогрей себе. Я должен уйти. Я вернусь поздно.

Только сейчас он увидел букет и землянику.

— Это твое богатство? Молодчага! Ну я думаю, ты тут не будешь скучать.

Уходя, он дал ей шоколадную конфету в серебряной бумажке.

Альвик жалко и благодарно улыбнулась.

— Когда приедет мама?

— Завтра. Тетя Лиза немного прихворнула, и мама уехала к ней.

Значит, ничего не случилось. Почему же не уходит ощущение беды?

— Ну, я пошел. Не гаси огонь в прихожей.

Он вышел... Тихо...

Какая тяжкая тишина в квартире. Земляника осталась нетронутой. А стрекозу никто не заметил!.. Альвик пальцами погладила золотую спинку, ей хотелось утешить стрекозу. Букет на столе горит, как костер. Почему на него тяжело смотреть?

Альвик вошла в спальню. Где мамин старый серый халатик? Уткнуться в него лицом. Халатика нет. Увезла с собой. Альвик зажала в руке конфету — эта конфета для нее была доказательством благополучия.

Альвик никогда не рылась в отцовском столе, но сегодня, сама не зная зачем, выдвинула ящик. Галстуки. Очешник. Портсигар. Другой ящик. Серебряные бумажки от конфет. Много бумажек. А глубже?.. Глубже — кулечек с шоколадными конфетами, с такими же, как у нее в руке.

Они ели конфеты — папа и эта кенгуру.

Дорогие конфеты, которых мама никогда не покупает для себя и очень редко — по одной штуке — покупает для Альвик.

Альвик села на кровать. Она пыталась разобраться во всем.

Ничего не случилось. Папа и эта женщина ели дорогие конфеты. Вот и все. Почему же об этом стыдно думать? Почему же надо скорее, скорее забыть об этом, чтобы не заплакать, чтобы...

Кто-то постучался, и она пошла открывать. Вошел Ваня.

— Ну, как у тебя?

— Мама в Балахне, а папа на работе.

— Ты одна? Как раз хорошо. Бабушка поставила в печку пирог. Идем к нам. Рядом же!

В низких комнатках было чисто и жарко.

— А! Милости просим! — сказал дядя Миша.— Все в порядке? Ну, ну, ну, ну, я тебе говорил! Матушка, гости в доме, а пирогов нет!

Альвик было странно, что у дяди Миши есть мама и что он зовет ее матушкой.

— Сейчас, сейчас, Михаил Афанасьевич,— донеслось из кухни.

Ваня хлопотал возле Альвик.

— Хочешь, я тебе покажу «театр теней»? Мы сами клеили! А в кухне есть Днепрогэс. Хочешь Днепрогэс?

— Ванюша, прими-ка Днепрогэс, пироги некуда ставить! — донеслось из кухни.

Когда все уселись ужинать, Альвик совсем повеселела.

Возле стола ходила на деревянной ноге сорока.

— Товарищи по несчастью! — сказал дядя Миша.— Зовут Элеонора Петровна.

— Почему же Элеонора Петровна?

— На нашу учительницу похожа,— объяснил Ваня,— так же голову держит боком и хвостом вертит.

Потом появилась серая кошка. Она постояла, выгнув спину, подняла хвост и несколько раз жалобно мяукнула.

— Ну, что ты? Что тебе? — спросил дядя Миша. И ушел вслед за ней в кухню.

Через минуту он вернулся и сообщил:

— Посоветоваться приходила. Котята у нее по кухне расползлись, а она у нас молоденькая, еще первые котята. Вот, значит, и пришла посоветоваться: «Расползлись, мол, что, мол, мне с ними теперь делать?»

Было уже поздно, когда Ваня проводил Альвик до дому.

Повеселевшая и отдохнувшая в домашней обстановке Альвик щебетала:

— Ты придешь завтра? Пораньше, да? И дядя Миша пойдет с нами покупать удочки? Мы все пойдем, да?

Ей было легко и весело.

Она простилась с Ваней, вошла во двор. В окнах был свет — значит, отец дома.

Наружная дверь отперта, а в глубине надтреснутый мамин голос:

— Зачем же обещал? Неужели так трудно было съездить? К ребенку у тебя пощады нет! Чудовище ты! Хоть бы ее поберег. Вот... Приехала...— Голос дрогнул.— Стрекозу привезла... О-о...

...Альвик распахнула дверь в столовую.

Мама стояла, зажмурив глаза и вздрагивая всем телом. Она плакала молча.

Но не это было самое страшное. Самым страшным было лицо отца — он не только не утешал, не пытался помочь, но сидел вполоборота и смотрел вкось нетерпеливо и раздраженно. Это было страшно и невероятно.

— Что? Что? — закричала Альвик и бросилась к матери.

— Девочка! Крошка моя!

— Что?! Что?! Что?!

— Ничего, моя хорошая. Я устала. Просто устала.

На полу стояли чемоданы.

— Зачем чемоданы? Ты опять уезжаешь? Куда? Зачем?

— Видишь ли, девочка, нам надо уехать.— Голос ее оборвался.

— Война?! — осенила Альвик внезапная догадка.

— Нет, моя маленькая, не война...

— Так что же?! Что?! Что?!

Альвик чувствовала — от нее скрывают что-то огромное, и требовала, чтобы сказали. Требовала до тех пор, пока мама не взяла ее за руки и не сказала:

— Хорошо, Альвик. Выслушай меня. Я скажу тебе все. Если я не скажу, то все равно скажут соседи. Никакой войны нет, но просто папа... Папа хочет, чтобы у него была другая жена и другая дочка.

— Зачем ты?..— вырвалось у отца.

— Пусть узнает все сразу — так ей легче будет забыть о тебе. Альвик, папа бросил нас с тобой. Нам надо уехать и забыть о нем.

Альвик смотрела то на отца, то на мать. Если люди насовсем ссорятся, то кто-то из них плохой. Кто же плохой? Отец? Все пять лет войны, день изо дня, мать говорила ей о том, какой он хороший. Он приехал веселый, добрый, и на груди у него ордена. Он не может быть плохим. Допустить, что он плох,— это значит мир перевернуть на голову.

Тогда кто же? Мама? При одной мысли об этом восстало все внутри Альвик.

Кто же тогда? Может быть, она сама виновата. Она ухватилась за эту мысль. Это было единственное доступное ей объяснение. И если это так, то все еще поправимо — она попросит прощения, и все уладится. Но что же она сделала? Ей вспомнились десятки проступков. Вот что,— она надела и сломала папины ручные часы. С тех пор он ни разу не заговорил с ней весело. Он сильно рассердился тогда.

С логикой, непонятной взрослым, но естественной для нее, она сказала:

— Папа... я никогда... никогда больше не трону твоих часов.

Наивная, она считала себя виновницей трагедии. Пыталась загладить вину там, где ее просто сбросили со счета как нечто слишком незначительное.

Отец не выдержал ее взгляда — рывком взял кепку и вышел из дома.

— Папа!.. Папа!..

Альвик дрожала.

Мать уложила ее в постель и легла рядом с ней.

— Спи, моя хорошая. Мы заживем хорошо. Мы уедем в Балахну к тете Лизе. Мы с тобой купим козочку. Это будет твоя козочка. Ты хочешь, чтобы у тебя была белая козочка?

Альвик не могла согреться.

Она не заметила, как подошел рассвет.

Она не знала, спала она или нет, мыслей не было, но ощущение непоправимой беды ее не покидало.

Рассвет был ярким, но, казалось, пробивался сквозь черную пелену, сквозь бред.

Утром горе стало еще острее, еще очевиднее сделалась непоправимость случившегося.

Утром Альвик поняла особый характер своего горя — это было стыдное горе. Когда немцы убили сына соседки, это тоже было горе, но его не нужно было стыдиться. То, что случилось в семье Альвик, было не только тяжело, но и стыдно. Это было горе, которое нужно было скрыть. Об отце она не могла думать, как раненый не может смотреть на слишком страшную рану.

Мама ушла на работу.

Альвик бродила по комнатам. В этом доме, где она родилась и выросла, все стало чужим. Она хотела вымыть свою любимую «бабушкину» чашку и вспомнила, что это уже не ее чашка. Чужая чашка. Чашку будет мыть другая девочка, дочка папы. Она боялась прикоснуться к вещам.

За окном послышались веселые голоса. Вошли Ваня, Митя и дядя Миша.

«Я ничего не скажу им»,—решила Альвик, но когда ее спросили: «Где твой папа?»—она не могла скрыть.

Скрыть от них—это значило не поверить их дружбе. Она тихо сказала:

— У меня теперь нет папы.

— Как?—не понял Ваня.

— У него будет другая мама и другая девочка. Мы с мамой уедем к тете Лизе.

— Ну, ну, ну, ну,—испуганно забормотал дядя Миша.

Ваня и Митя растерянно смотрели на Альвик.

— Ну, ну, ну, ну! Попритчилось это тебе? Все уладится. Мало ли что бывает? Берите-ка вы ее, молодцы, да не давайте ей скучать.

Весь день Митя не отпускал ее от себя, и она послушно ходила с ним. Она вернулась домой под вечер.

Было пасмурно. Накрапывал дождь. В открытые окна дома Альвик услышала громкие голоса. Она никогда не подслушивала, но все происходившее в доме было так страшно и неясно, что она, не раздумывая, нырнула в кусты влажной сирени и прижалась к стене под окном. Сердце ее билось так, что она его слышала. Говорили папа и дядя Миша. Очевидно, папа ходил по комнате, а дядя Миша поворачивался за ним, и поэтому слова то слышались ясно, то терялись.

— А чем тебе жена плоха? Тем, что она за войну жиру не нагуляла, как твоя... из треста столовых?—сказал дядя Миша.

Слова погасли, а потом возник голос отца.

— Я имею право на личное счастье. Я это право кровью завоевал.

— Вот мне и интересно—за кого ты воевал? За одного себя воевал?

Долго ничего нельзя было разобрать, и вдруг сразу ясно прозвучали слова дяди Миши:

— Как же это понять? За чужих детей воевал, а своего ребенка топчешь?

— Ребенок здесь ни при чем. И ты, Михаил Афанасьевич, ты тоже здесь ни при чем!

— Как это «ни при чем»? Я тебя в партию принимал!

— А при чем партия? Чем я перед партией виноват? Что я—вредитель? Что я—предал, ограбил, изувечил?

— Вот именно! Вот именно—предал, ограбил, изувечил! Вот именно вредитель!

Раздался грохот поваленного стула и выкрик отца:

— Если так, то зачем со мной разговаривать? Если так — арестуйте меня, казните меня, к стенке меня поставьте!

Хлопнула дверь, послышались мамины шаги и голос: «Тише!»

Отец выбежал на улицу. На ходу он надевал плащ в рукава. Его красивое лицо было искажено злобой и болью, он оглядывался, словно ждал погони.

Альвик прижалась к стене. Он не заметил ее и скрылся за углом. Ей хотелось бежать за ним, но мама была в комнате.

Дождь усилился, Альвик не замечала его — все внимание, все напряжение было сосредоточено на одном чувстве — на чувстве слуха.

За окном кричал дядя Миша:

— Государство все делает для детей — и школы, и дворцы, и лагеря, а этакие вот пакостники, как он, возьмут и сгадят в хорошем месте. Да еще говорит: «Партия тут ни при чем».

Голоса снова надолго стихли, только минут через пять Альвик разобрала:

— Держать вам его надо обеими руками. Бить, а держать! Бить, а не пускать! Бросьте вы все эти свои самолюбия.

— Бог с вами, Михаил Афанасьевич! Зачем это надо? Лучше никакой семьи, чем такая семья. Я его близко не подпущу.

Снова стихли голоса, и снова вспыхнул выкрик:

— Да как же вы жить-то будете?

— Работать буду, как всегда работала.— Мама подошла к окну.

— А здесь работать нельзя? — Слова дяди Миши потерялись, долго слышны были только бубнящие звуки.

— Я... я козу-у куплю,— сказала мама дрогнувшим голосом.

На улице загудела машина — это Митя заехал за Альвик. Альвик вышла из своей засады. Она долго и упорно отказывалась уехать от матери. Мать держалась спокойно, была почти весела и очень ласкова. Ей с трудом удалось успокоить Альвик и усадить ее в машину.

Митя и Ваня усадили Альвик на сено и закрылись все одним брезентом.

По пути они заехали на пристань за консервами и задержались дотемна.

Шел дождь. Грузовик трясся и подскакивал на ухабах.

В памяти Альвик звенела мамина песенка:

...А я одна на камушке сижу.
Идут три уточки...

Зачем они увезли Альвик? Надо было остаться с мамой. Ведь они только вдвоем теперь.

— Тебе не холодно, Альвик?—спросил Ваня.

— Нет, мне тепло.

Скоро опять будет лагерь. Как давно она уехала оттуда. Тысячу лет назад. Тогда, когда у нее еще был папа... Тогда она утащила шляпу у Васи и играла в «колосок». Какая она была еще глупая и маленькая! Больше она никогда не будет такой. Той Альвик больше нет.

— Замерзла? Подвигайся ближе.—Митя обнял ее.— Вспомнил я, как лежал в госпитале, когда мне отняли ногу.

— Разве у тебя нет ноги?

— Нет. У меня протез.

Митя говорил новым, тихим голосом.

— Так вот. Отняли мне ногу, и расхотелось мне, ребята, жить. Куда же, думаю, я теперь—молодой парень, а без ноги! Родителей, думаю, у меня нет, жалеть обо мне будет некому, а самому мне жить без ноги неохота. Струсил я, значит, ребята.

Тихо лился неторопливый рассказ.

— А теперь?—взволнованно спросила Альвик.

— А теперь так живу, что мне любой «ногатый» позавидует. Теперь вот еду и думаю: каким же я тогда дураком был.

— А нельзя было сохранить ее? Сохранить твою ногу?

— А зачем же ее сохранять, если она у меня гнилая сделалась? И думать нечего сохранять! Чем скорее отрезать, тем оно полезнее. Устала ты? Спи!

...Альвик проснулась в палатке. Было пусто. Белели заправленные кровати.

Альвик проснулась и сразу вспомнила все.

Мама одна. Мама далеко. Она плачет там одна. Мама, мама! Зачем ты отправила меня сюда?

А сама Альвик теперь не просто Альвик, не просто девочка, как все девочки. Нет. Она теперь девочка, которую бросил папа. Наверное, все уже знают об этом. Сейчас она выйдет, и все будут смотреть на нее, потому что ее бросил папа. То, что случилось с ней,—это как болезнь. Нет, болезнь можно вылечить. То, что случилось с ней и с мамой,—это не болезнь. Это увечье. Этого ничем не вылечишь, этого никак не поправишь, этого никогда не забудешь—это можно только вытерпеть. Она

вспомнила последние два дня. Дни были как качели: вверх — вниз — к солнцу — и в яму! Солнце это было здесь. А яма? Ямой стал дом.

За стеной раздавались веселые голоса.

У них все по-прежнему. Как странно. Встать и выйти к ним? Нет, нет! Как можно дольше лежать здесь и никого не видеть. Спрятаться от всего! Она сжалась в комок. Она вспомнила Митю и Ваню. Ей хорошо было с ними вчера. Но, может быть, их дружба тоже только почудилась ей? Может быть, Митя сегодня встретит ее и, не замечая, пройдет мимо, как бывало? У него много дел. Может быть, и Ваня давно забыл об их дружбе и посмотрит на нее равнодушно, как чужой?

Этого не может быть! А папа?.. Ведь папа сделал то, чего не могло быть. Все может быть! Всего надо бояться! Ничему не нужно верить.

Но как ей надо, чтобы они — Ваня и Митя — сегодня были такими же, как вчера.

Без них будет очень плохо. Без них ей не выдержать. Какое первое слово они скажут ей, когда она выйдет? Их самое первое слово? Может быть, посмотрят вбок, равнодушно, как папа?.. И пройдут мимо?.. Надо сделать над собой усилие и встать.

Она села. Осторожно спустила ноги с постели. Сама земля казалась ей неверной, и ходить надо было теперь учиться по-новому.

А смеяться она теперь совсем не сумеет. Как люди смеются? Что-то такое делают с горлом, с губами? Где мама? Зачем ее увезли от мамы?

В палатку вошла Катя:

— Ты проснулась? Тетя Аня дала тебе две порции пирожного. Вот! Видишь! На тумбочке под салфеткой твой завтрак. Митя сказал, что у тебя был приступ малярии, и не велел тебя будить. А Ваня сидит, сторожит, чтобы здесь не шумели, а сам шумит сильнее всех.

В дверь просунулась Ванина голова.

— Ты проснулась? Как ты долго спала! Уже скоро горнить к обеду.

Альвик пошла умываться. Она шла медленно, неуверенно, вглядываясь в землю.

В отдалении стоял Митя и о чем-то горячо говорил с вожатыми.

Он увидел Альвик, оборвал на полуслове разговор и подошел к ней.

— Отдохнула? Умывайся, завтракай, и поедем на легковой машине выбирать место для военной игры.

— А Ваня? — непривычно робко сказала Альвик.

— И Ваню возьмем.

— Почему опять Альвик? — сказала Люся. — В город — Альвик! На машине — Альвик! Это несправедливо!

Митя повернулся к ней.

— Я никогда не поступаю несправедливо. Запомни это! Я знаю, что я делаю. Торопись, Альвик.

Альвик умылась и вернулась в палатку.

— Альвик, — сказал Ваня. — Я подарю тебе Элеонору Петровну, если она тебе понравилась. Только надо смотреть, чтобы ее не съела чужая кошка.

Альвик попробовала улыбнуться, но улыбка не вышла.

Утраченное доверие к жизни начинало медленно и неполно возвращаться к ней.

Москвичка

I

Ночь начиналась с туч.

Небо бледнело, таяло и уходило в высоту, а тучи становились сизыми и тяжелыми, как первые сгустки ночной тьмы.

Было еще светло, но краски уже погасли, и всюду вместо красок были тени различной густоты — сероватые, серые, темно-серые.

Алое сукно экзаменационного стола казалось бархатно-черным.

«Как в кино, — подумал Синцов. — В сумерках мир бескрасочен, как в кино. Бескрасочная земля...»

Он стоял у окна в ассистентской. За стеной переговаривались и смеялись лаборантки.

Внизу за окном на голубовато-серых улицах сновали маленькие, черные фигурки людей. Он смотрел на них и вслушивался в обрывки фраз, долетавших из-за стены.

Все было любопытно и безразлично ему. «Как в кино, — подумал он снова. — Все далекое, мелкое, ненастоящее... Что же все-таки настоящее?»

«Настоящее» было прошлое.

Пять лет войны он жил будущим и во имя будущего, а

теперь, когда долгожданное «будущее» пришло, он стал жить прошлым.

В большом зале студенты готовились к самодеятельному концерту, и оттуда доносились звуки скрипки.

Тончайшая нота, все повышаясь и дрожа, проникала в самую глубину, и каждый нерв вибрировал в ответ ей. Синцов любил музыку и стихи.

Стоя у окна, он перебирал в памяти четверостишия, отыскивал такое, которое полнее бы выразило его душевное состояние.

«Разочарованному чужды все обольщенья прежних дней»,— вспомнил он и усмехнулся тяжеловесной торжественности и старомодности этой фразы.

Грубым дается радость,
Нежным дается печаль...

Это Есенин. Прелестно, но слишком женственно, общо, примиренно. Надо горше, конкретнее, сильнее. Нашел. Вот оно:

И даже большие свершенья
Больших ожиданий бледней...

Этим сказано все... Это он прочел совсем недавно в журнале «Знамя» и долго был под впечатлением прочитанного.

Вот он, долгожданный год Победы...

Что он принес Синцову?

Пустынную комнату в полуразрушенном доме, и очереди в магазинах, и Яшку «Подхалимычева» в качестве заведующего кафедрой. Теперь это был импозантный человек с бородкой и приятным баритоном, но Синцов никак не мог не видеть в нем своего однокурсника Яшку Подкалиновича, прозванного студентами Подхалимычевым за то, что он с первого курса вертелся около профессорской и ухаживал только за профессорскими дочками. Еще пять лет назад Синцов чувствовал себя неизмеримо сильнее и выше Яшки, но за эти пять лет он отстал от агрономии, о нем забыли, и вот, вернувшись с фронта, он вынужден работать под Яшкиным началом и разрабатывать немилую ему кафедральную тему о засухоустойчивости сахарной свеклы.

Но не в этом суть. Черт бы с ними со всеми «подхалимычевыми», взятыми вместе!

Самое страшное то, что в мире нет Елены и Юрки.

Горе — гибель жены и сына — опустилось между Синцовым и людьми, как стена из мутного стекла. Он презирал людей, не способных на глубокую привязан-

ность. Когда первая острота горя прошла, Синцов стал привыкать к нему и даже научился при всех мелких жизненных неполадках погружаться в него, как курильщик опиума погружается в дым курильни.

Исключительная глубина этого горя давала ему чувство превосходства над другими. Он научился улыбаться печально и высокомерно и говорить с окружающими, как взрослый с детьми. Впрочем, такая манера говорить была свойственна ему еще со школьных лет.

Когда он, сын крупнейшего в городе архитектора, подъезжал к школе в машине отца, когда он входил по лестнице в своем дорогом пальто с серебряной дождевой пылью на шелковистом верхе сукна, уверенный в себе, улыбающийся тонкой «взрослой» улыбкой, то даже учителя улыбались ему и здоровались с ним по-особенному.

Он блестяще учился и в школе, и в институте. Он женился на удивительной, обожающей его женщине, и когда они по вечерам гуляли по набережной, водя на цепочке великолепную гончую, то люди оглядывались на них и не знали, кто из них троих самый «породистый».

Такое многообещающее начало жизни и такое нежданное падение... Пять лет, потерянных на фронте, и вот он, чахлый и старообразный, без семьи, без особых заслуг, степеней и званий, заурядный ассистент под началом у Подхалимычева.

В дверях показалось улыбающееся лицо лаборантки:

— Юрий Дмитриевич, пора в театр!

Он вспомнил, что ему всучили билет на коллективное посещение театра.

II

Справа от него сидела знакомая профессорша, а слева молодая женщина в коричневом костюме, отделанном замшей.

Он взглянул на ее продолговатое, перламутрово-розовое лицо с большими глазами и голубоватыми подглазинами.

«Что-то в ней есть особое, приметное. Красота? Нет. Она далеко не красавица. Костюм? Нет, многие одеты не хуже ее... Так что же все-таки? Впрочем, не все ли равно? Что мне Гекуба и что я Гекубе?»

Он уселся поудобнее и стал слушать увертюру.

Когда действие кончилось, профессорша сказала со вздохом:

— Какой провинциализм!

— Да... Бездарно...

— Нет, вы не правы,— живо возразила женщина в коричневом костюме.— Оркестр очень слаженный, и у этой, у молоденькой, удивительно свежий и выразительный голос.

Женщина говорила оживленно и смотрела прямо в глаза Синцову ищущим и пытливым взглядом.

«Что за странная манера вступать в разговоры с незнакомыми,— подумал Синцов.— Дамочка явно ищет знакомств. Очевидно, из породы «голодающих»... Сколько их развелось после войны!..»

Он усмехнулся и небрежно ответил:

— Ну знаете ли!.. Я только что из Москвы... После Большого оперного!.. Это!..

Он не договорил и пожал плечами.

— Нет, нет. Эта молоденькая понравилась бы и в Москве. А декорации! Чудесно передана ранняя весна... Не правда ли?

Она обратилась к девушке, которая вслушивалась в ее слова.

— Да,— ответила девушка.— Мне тоже понравилось, но все ругают, и я думала, что я ничего не понимаю.

Вскоре еще несколько человек были вовлечены в оживленный разговор женщиной в коричневом костюме. Синцов слушал и думал: «А ведь я ошибся! Она не из породы искательниц приключений. И с мужчинами и с женщинами она говорит с одинаковым интересом и оживлением».

Теперь он нашел ту особенность, которая отличала ее от других.

Своеобразие ее лица заключалось в ее взгляде, одновременно и пытливом и доверчивом, и оживленном и внимательном. Это полудетское выражение и манера прямо и пристально смотреть в глаза собеседнику наряду с едва уловимым отпечатком какой-то скрытой печали в уголках губ, в быстрой улыбке, наряду с изысканным изяществом туалета невольно бросались в глаза.

Когда она вышла в фойе, профессорша сказала:

— Какая милая дама!

— Наверно, приезжая,— предположила девушка.

А человек с первого ряда, обернувшись, сказал:

— А вы знаете, кто это? Это дочь академика Булатова.

Имя крупнейшего ученого страны заставило обернуться всех, кто его услышал.

«Так вот почему она такая особенная,— подумал Синцов.— А я-то дурень...»

Они познакомились. Оказалось, что Наталья Борисов-

на Голубова — агроном по специальности и приехала в командировку из Москвы.

После спектакля Синцов пошел провожать ее. Ночной город был еще по-зимнему белым, но снег не скрипел, а мягко оседал под ногами, и в воздухе чувствовалась весенняя влажность.

— Понюхайте воздух! Вы слышите, как пахнет арбузами? Это к теплу,— сказала Наталья Борисовна.

Он втянул в себя воздух, явственно ощутил освежающий запах арбузов и засмеялся от удовольствия.

Они долго бродили по ночному городу. Давно уже Синцов ни с кем не чувствовал себя так легко и хорошо, как с ней.

Он сравнивал ее с погибшей женой.

Она была примитивнее, легче, беспечнее, чем Лена, очевидно, более избалована, но это даже нравилось Синцову. С ней хорошо отдыхалось. Образ ее в представлении Синцова сливался с тем освежающим «арбузным» влажным запахом, которым был полон мартовский воздух.

Синцов разговорился и рассказал ей все то, о чем никому не рассказывал.

Он узнал, что ее муж погиб на фронте и что ее дочь пострадала от бомбежки.

Оба они потеряли близких, оба были одиноки, оба любили искусство, и даже специальность у них была одинаковая — оба были агрономами.

Они открыли так много общего в своих судьбах, вкусах и стремлениях, что внезапно умолкли, взволнованные одной и той же мыслью.

Они стали видеться ежедневно.

Ей нравилось то глубокое чувство, с которым он говорил о погибшей жене, нравилась его сдержанность и печаль, нравилась высокая фигура и бледное лицо с глубоко сидящими глазами и узким ртом. Его сдержанность казалась ей признаком большой духовной силы.

Она чувствовала, что многое может сделать для этого сильного, но усталого человека.

«Может, перетянуть его в Москву, помочь ему в научной работе, согреть и обуютить его жизнь».

Любить в ее понимании значило давать, и чем больше она могла дать, тем радостнее была ее любовь.

Он с первой встречи стал жить мыслями о ней. Ее веселость, приветливость, живой ум, изящество, ее коричневое платье и голубой халатик — все восхищало его. Она нравилась ему независимо от того ореола, которым окружало ее имя отца, но это имя придавало особый характер чувству Синцова. Близость с ней обещала ему

мгновенную и разительную перемену всей жизни. Он переедет в Москву, он будет работать в лучших институтах страны, он станет своим человеком в доме академика Булатова, в среде крупнейших ученых Москвы.

«Представляю, какую мину сделает Подхалимычев, когда узнает, что я зять академика Булатова! Но, черт побери, неужели это способно меня радовать? Как двойственны мы, люди! Передо мной перемена всей моей судьбы, а я думаю о Подхалимычеве и радуюсь тому, что это ничтожество будет мне завидовать?! Какая ерунда!»

Он гнал честолюбивые мысли и, боясь, как бы Наталья Борисовна не заподозрила их в нем, избегал говорить с ней о ее отце.

Все уже было ясно им обоим, и не хватало только каких-то заключительных слов. Эти слова не были произнесены только потому, что им не удавалось остаться вдвоем. Она жила у родных и, кроме того, обладала талантом очень быстро «обрастать» друзьями и знакомыми. Ее всегда окружали люди.

Вскоре она уехала в район. Обещала вернуться к маю, но прошел май, начался июнь, а она не приезжала. Тогда он написал ей: «Я больше не могу без вас... Я приеду к вам».

III

Он стоял у окна вагона, помолодевший, по-довоенному элегантный. Он снова чувствовал себя уверенным, удачливым «избранником судьбы».

«Нет, что там ни говори, а есть какое-то предопределение... Я, кажется, становлюсь фаталистом? Я всегда знал, что моя жизнь будет незаурядна. И вот после нескольких потерянных мною лет эта встреча с Натой, и любовь, и Москва... Даже в самые тяжелые дни я знал, что со мной должно произойти что-нибудь подобное. Я это знал!.. Она встретит меня в светлом платье и широкополой шляпе... На фоне леса она будет особенно изящна и обаятельна... Будет и любовь, и стихи, и соловьи в роще... Будет все то, что должно быть... Все то, что должно быть...»

Он заранее приготовлял те фразы, которыми он объяснится с ней.

Это будет вечером, когда стволы сосен делаются красноватыми, а зелень в лесу особенно свежа.

Он поцелует душистые ладони Наты и прочтет ей строфу Пастернака:

> Грех думать — ты не из весталок.
> Вошла со стулом.
> Как с полки жизнь мою достала
> И пыль обдула.

Она не встретила его.

От станции до «ее» колхоза было несколько километров.

Дорога шла полем.

Было знойно.

Истекающее зноем солнце светило ослепительно ярко, и все вокруг казалось белесым и лоснящимся, словно в свете магния.

Дорожная пыль была так суха и легка, что, раз поднявшись, не оседала, а облаком стояла над дорогой.

Ростки сахарной свеклы на полях уже привяли, травы пожухли, и только пырей неуклонно тянулся вверх да вьюн буйно разросся по обочинам дороги. Его дряблые запыленные венчики издавали едва ощутимый приторно-сладкий запах — запах увядания. В неподвижных и пыльных кустах у оврага какая-то пичуга тонко, жалобно кричала:

— Пи-ить! Пи-ить!

От этого тонкого крика, от приторного запаха, от вида жалких всходов на пересохших полях и оттого, что Ната его не встретила, ему стало не по себе... Не было ничего праздничного и радостного, а, наоборот, все было унылым, тусклым и навевало тоску. Все было не так, как он ожидал.

Он шагал по пыльной дороге, и новый костюм тер ему шею, и ворот рубашки прилипал к потной коже.

Из-за поворота показалась худенькая женщина в сером платье. Она была так неприметна и обычна, что он, уже уставший и изнемогший от зноя, прошел бы мимо, почти не замечая ее, если бы она не улыбнулась ему радостно и просяще.

Тогда он взглянул на ее серое лицо: «Почему эта женщина так улыбается мне? Она?! Ната? Нет, невозможно! Ната!»

Перемена, происшедшая в ней, была так разительна, что он растерялся:

— Наталья Борисовна! Что с вами? Вы ли это?

— Разве я так изменилась? Немного устала. Но как я вам рада!

Фразы, которые он приготовлял в поезде, не годились для этой немолодой, заморенной и тщедушной женщины в сером, обвисающем на худом теле платье.

— Я выбрался к вам всего на один день, — сказал он первое, что пришло в голову, и, сделав над собой усилие, поцеловал ее руку с короткими, неровно подстриженными ногтями.

Она стала говорить громко и лихорадочно-торопливо:

— Я всего полчаса назад вернулась из района и получила вашу телеграмму. Все эти дни в разъездах. Мы заказали несколько самодельных дождевальных установок... Сушь ужасная!

— Да, засуха небывалая,— с трудом выдавил Синцов.

— А вот здесь начинается наша пшеница. Видите — много лучше, чем у других. Наш колхоз самый большой и раньше был самым слабым. Именно поэтому я и выбрала его. Нынче мы кончили сев первыми в районе.

Она говорила не умолкая, словно пыталась укрыться за словами.

Он почти не воспринимал смысла ее фраз. «Она ли это? Можно ли так измениться за два месяца? Ну, устала, ну, похудела — это понятно, но ведь это же другой человек! Откуда этот срывающийся голос, эти суетливые движения, это жалкое что-то... И об этой вот немолодой суетливой женщине я так тосковал все это время?»

Им повстречалась группа колхозниц.

Первой шла красивая, рослая девушка с медленными глазами.

— Фрося, дорогая, когда же вы будете рыхлить свеклу? — торопливо спросила ее Наталья Борисовна.

— А чего ее рыхлить? — приостановившись, спросила Фрося.

— Как чего рыхлить? — заволновалась Наталья Борисовна.— Сколько раз я об этом рассказывала!

— Что рыхли, что не рыхли, все одно — погорит! Я сама на свеклу не пойду и девчат не поведу. Мы подрядились на станции всем звеном грузить дрова на полмесяца.

— Фрося, да как же это можно!

— А уж так же... можно... Тебе, Наталья Борисовна, надо перед начальством показаться, что ты все приказы выполняешь. Ты начальству что хочешь пиши, а нас не тронь. Тебе бумажки писать надо, а нам пить-есть хочется. Пошли, бабы! — И Фрося решительно зашагала дальше.

— Грубая девка,— сказал Синцов.

— Нет. Она неплохая... Видите ли, здесь до весны был председателем один мерзавец... Сейчас его судят за воровство, но он виноват в гораздо большем преступлении... Он подорвал у людей веру в колхоз. Понимаете? Подорвал веру! А это самое главное...

Наталья Борисовна успокоилась и говорила тверже, медленнее, чем раньше.

— Если бы меня спросили — что тебе милее всего в

советской действительности, я бы ответила — колхозы! Хороший колхоз — это такое, какого не было никогда в истории человечества. Мне кажется, что колхозы даже чем-то ближе к коммунизму, чем, например, заводы. Больше и нагляднее взаимная зависимость судеб, теснее близость людей, неразрывнее единство.

Пролетариат всегда был передовым классом, но, может быть, придет такое время, когда самой прогрессивной общественной силой станут колхозники... Я фантазирую, да? — Она засмеялась милым, усталым смехом и провела рукой по волосам.— Колхозы — это моя страсть. Когда я говорю о них, то увлекаюсь и теряю объективность и договариваюсь до глупостей.

«Она милая, хорошая,— думал Синцов,— но как же она все-таки немолода. В городе она казалась другой. Что же это? Вечернее освещение, косметика, костюм? Как обманчива внешность тридцатилетней женщины! Но главное не то, что она некрасива, а то, что слаба, жалка. Не та!.. Вся не та!»

Когда она привела его к себе, он испытал еще одно разочарование. Не было и в помине «уютного домика в зеленом саду», о котором он мечтал.

Стол, не покрытый скатертью, пара стульев, кровать с байковым дешевым одеялом, потрепанная кушетка — все было убого и не обжито. В окно виднелся унылый ряд домов да чахлая ветла у колодца.

Элегантный костюм Синцова был неуместен и стеснял его.

Наталья Петровна накрывала на стол, не переставая говорить, перебивая себя и отвлекаясь.

— Я поселилась здесь потому, что отсюда ближе к людям, к огороду. Хотите огурцов? Свежие, из наших парников. Постойте, о чем это она?

За окном старушечий голос рассказывал что-то. Тягучий и монотонный рассказ странно гармонировал с однообразным строем домов, с длинной лентой пыльной и пустынной дороги.

Рассказ дребезжал за окном уныло и безнадежно:

— И погорит вся зеленя, и спросит Змей Горыныч змеевых последышей: «Чиста ли мать — сыра земля?» И ответят ему змеевы последыши: «Чиста, как девица — честна». И вдругорядь вдарит огонь, и вдругорядь спросит Змей Горыныч: «Чиста ли мать — сыра земля?» И ответят ему змеевы последыши: «Чиста, как вдовица — честна». И все, как есть, погорит... Ни пылинки на земле не схоронится.

Наталья Борисовна высунулась в окно:

— Петровна, зачем вы пугаете детей?

— Уж и сказку повести нельзя.

— Сказка сказке рознь! Детей веселить надо, а не запугивать.

— Развеселишь их, когда у них в животах пищит.

За окном стало тихо.

— Война,— сказала Наталья Борисовна.— Она еще чувствуется во всем.

— Наталья Борисовна, вам нельзя больше оставаться здесь. Вы расхвораетесь. Я напишу вашему отцу, что вас надо немедленно забрать отсюда.

— Отцу? У меня нет отца... То есть он, конечно, есть, но я не имею с ним ничего общего. Он бросил мою мать, когда я была еще ребенком. Меня воспитал дедушка. Он удочерил меня.

Еще одно разочарование... Которое по счету?.. Какая нелепейшая история... Какой злосчастный день. А она все говорила и говорила.

— Все детство я провела не в Москве, а в Подмосковье у дедушки. И сейчас моя «штаб-квартира» в Подмосковье. Я боюсь перевозить мою девочку в Москву. Она... После бомбежки у нее...— голос женщины дрогнул и стал глуше,— она... моя девочка ходит на протезе.

Это было большим, неизбывным горем Натальи Борисовны.

Заговорив о нем, она ослабела и утратила интерес к Синцову, к разговору, к своей судьбе.

«Зачем я пересиливаю себя — говорю, улыбаюсь, двигаюсь. Ведь ничто, ничто на свете не вернет ножку моей Катюше!» — подумала она и тихо сказала:

— Вы извините, если я устроюсь поудобнее? Весь день верхом... С непривычки очень болит спина.

Она полулегла на кушетку и опустила веки. Темные тени лежали на ее втянутых щеках, нос заострился, блеклые, сухие губы прилипали к зубам.

Ходики громко тикали в тишине.

Большой дряблый коричневый таракан торопливо полз по застиранной ситцевой наволоке. Синцов брезгливо смотрел на таракана и молчал.

«Чего она ждет от меня?.. Лежит... Закрыла глаза... не думает же она, что сейчас, здесь?..»

Ему хотелось уйти.

Дело было не в том, что она не жила в квартире академика Булатова и не вращалась в высших московских сферах.

Дело было не в том, что она подурнела и постарела до неузнаваемости.

Дело было в том, что она оказалась совсем не той женщиной, о которой он думал.

Вместо видевшей горе, но все-таки избалованной, веселой и обаятельной дочери академика Булатова перед ним была немолодая, усталая вдова, мать безногого ребенка, которая одиноко и трудно жила где-то в Подмосковье со своим дедушкой...

«Еще одно звено все той же цепи. Свершенья и ожиданья. Мечта и действительность. Издали она казалась праздничной, желанной, необычайной... Стоило приблизиться к ней, и обнаружилась ее сущность — нечто тусклое, тщедушное, заурядное. Мечта и действительность,— иронизировал Синцов над собой.— Мечта — это широкополая шляпа, соловьи и стихи Пастернака. Действительность — вот этот дряблый таракан на застиранной наволоке».

Он понимал, что Наталья Борисовна добрая и хорошая женщина, ему было жаль ее, но то чувство радостного восхищения, которое привело его сюда, исчезло бесследно.

Близость усталой и одинокой женщины не освежала, а тяготила его.

Ему было трудно, неловко, он проклинал себя, жалел ее и хотел одного: очутиться как можно дальше от этой неуютной комнаты, от этой утомленной, чего-то ожидающей от него женщины.

IV

Когда Наталья Борисовна возвращалась верхом из соседнего района, ее окликнули из окна почты и подали ей телеграмму Синцова.

До прихода поезда оставалось полчаса. Она поскакала к себе, бросила поводья хозяйскому мальчугану и вбежала в комнату.

Надо было привести себя в порядок.

В зеркале отразилось ее осунувшееся и огрубевшее лицо. Загар подчеркнул морщинки у глаз, кожа шелушилась, вид был утомленный и болезненный.

Это не особенно огорчило ее. У нее были очень благородные — тонкие и нежные черты лица, и стоило ей отоспаться или просто попудриться и подкрасить губы, чтобы похорошеть.

Она знала эту свою особенность и стала поспешно искать губную помаду.

«Куда я ее задевала? Когда я последний раз красила губы? Давным-давно. Я уж забыла, как это делается.

Какое надеть платье? Синее! Оно обтяжное». Она была хорошо сложена, но слишком тонка в кости и в свободных закрытых платьях казалась худее и слабее, чем была в действительности.

«Странно — чем больше на мне надето, тем я кажусь худее. Надо надеть сарафан — он совсем открывает плечи».

И вдруг ей стало гадко.

«Красивые плечи и имя академика Булатова — это больше чем надо для дюжины дешевых романов. Но разве это мне нужно? Открывать плечи и мазать губы для человека, который станет моим мужем. Это называется ловлей женихов? Краситься и пудриться здесь, в деревне. Как все это здесь некстати! И зачем мне скрывать мою усталость! Я так много сделала за это время! Пусть он увидит меня такой, какая я есть, без прикрас и без фальши».

Она знала в себе двух женщин: женщину, которая может оживить и украсить любую гостиную, и женщину, которая может повысить урожай на тысячах га колхозной земли. «Вторую» себя она ценила и любила гораздо больше, чем «первую», и сердилась на тех, кто смотрел на нее иначе.

«Тот, кто будет моим мужем, должен больше всего любить меня именно такой, как я сейчас,— погруженной в дело, сжившейся со своим колхозом. Он должен любить меня именно за то, что я так исхудала за эти два месяца».

Она застегнула ворот своего серенького платья, стерла с лица пудру и на миг почувствовала себя беспомощной и беззащитной.

«Я словно черепаха без панциря... и как же все-таки плохо я выгляжу! Чертовски устала за это время! Ну да все равно! Пусть он видит меня такой, как я есть. Кокетство, губная помада, пудра — ведь все это фальшь, а между нами сегодня не должно быть никакой фальши, даже такой пустяковой. А все-таки как хочется хотя бы намазать губы...» Она усмехнулась этому настойчивому желанию, тряхнула волосами и радостно вышла из комнаты.

От нее не укрылось ничто — ни его испуг, ни растерянность, ни то усилие, которое он сделал, чтобы поцеловать ее руку.

Ей стало больно, она смутилась и, чтобы скрыть и боль и смущение, стала говорить преувеличенно громко и много.

Заговорив о дочери, она сразу утратила свое искусственное оживление. Как всегда, стоило только ей подумать о дочери, как мысли о ней и боль за нее вытесняли

все остальное. Она никогда ни с кем не делилась своим непреходящим горем, но всегда ждала такого человека, которому можно было бы рассказать о нем и который понял бы всю его тяжесть и силу.

Лежа на кушетке с прикрытыми веками, она видела все. Она понимала состояние Синцова, но в эту минуту боли и усталости ее потребность в родном человеке и в человеческом тепле была так остра, что заставляла ее ждать вопреки рассудку.

Она мысленно говорила ему: «Подойди же ко мне!.. Разве ты не понимаешь, что я легко могла бы быть и красивой и свежей? Для этого надо совсем немного. Очень немного! Надо только чуть-чуть покривить душой. Надо вставать не в 4 часа утра, а в 9, и пить сливки на колхозной ферме, и устроить себе курорт из этой командировки. И это я легко могла бы сделать... Но я этого никогда не сделаю... Слышишь? Я этого никогда не сделаю... и если ты этого ждешь от меня, то уходи... Но неужели, если бы я поступила так, я нравилась бы тебе больше и сейчас ты вел бы себя со мной иначе?»

Потом она уже ни о чем не думала, а только ждала, ждала всем существом, ждала, как чуда, как счастья, простого доброго жеста, короткого родного слова.

Может быть, он просто поправит подушку под ее головой или молча коснется ее волос?

Одно легкое движение, и утихнет боль, и пройдет усталость, и она снова будет весела, остроумна, молода...

Он сказал монотонным, подчеркнуто «интеллигентным» голосом:

— Я давно хотел увязать мою диссертационную работу с колхозной практикой. Этот колхоз мне кажется наиболее подходящим как по климатическим, так и по территориальным условиям.

Уголки ее губ дрогнули, сжались, удлинились. Она поднялась и сказала с легкой улыбкой, сонно и слегка небрежно:

— Я познакомлю вас с нашим новым председателем, но это позднее. А сейчас давайте отдыхать — мы оба утомлены. Устраивайтесь здесь.

Она вышла в другую комнату и прижалась лбом к оконному стеклу. Сердце ее билось гулко и больно. «Вот и все... Что же случилось? Ничего не случилось... О чем мы говорили? О свекле, о засухе, о колхозе... Ничего не было сказано... Все было сказано!.. Неразумно и неосторожно было показываться ему в таком виде. Или как раз это и было самым разумным, самым осторожным? Как ни смешно, но ведь именно эта мелочь поможет нам вовремя понять, что мы оба ошиблись. Нет, нет — не плакать!

Из-за таких вещей не плачут! Солнце не погасло, и земля вертится! Не распускать себя! Заняться делом, не оставаться одной!»

Она вышла на крыльцо.

У дома ребятишки кормили кроликов. Дом стоял на холме, и с высоты до самого горизонта видна была волнистая равнина, кое-где изрезанная балками и рощами.

«Какая ширина! На втором холме бахчевые земли, велю на тот год посадить там арбузы. Вот мне и легче немного... Я стала мокроглазой за последнее время... А как красиво здесь будет, когда рожь созреет и комбайны пойдут по полям. Как же я этого не увижу? И как не побывать на току во время обмолота? Опять слезы! Перестань сейчас же! Не смей быть бабой! Кто это едет? А, это тетя Даша повезла продукты на дальние пастбища. И опять не захватила с собой бидонов! О чем только эти люди думают! Надо нагнать и вернуть ее!»

Она сбежала с крыльца и крикнула своему «стремянному» — хозяйскому мальчишке:

— Алексаша, живо коня!

Оставшись один, Синцов облегченно вздохнул и почувствовал себя человеком, который чуть-чуть не попал впросак, но вовремя спохватился.

V

Синцов ночевал в комнате Натальи Борисовны, а она устроилась в кухне вместе с хозяйкой.

Ночью Синцова разбудил разговор:

— Проснись, Ташенька! Посмотри в окно! — говорила хозяйка.

Раздался радостный возглас Натальи Борисовны:

— Туча!

Босые ноги зашлепали по полу. Скрипнула дверь.

Синцов оделся и вышел на улицу.

Он увидел странное зрелище. Был тот призрачный час, когда виден каждый лист на деревьях и трудно понять, то ли лунный свет так ярок, то ли уж забрезжило утро.

Колхозники не спали. Всюду слышались взволнованные голоса. Освещенные призрачным светом силуэты людей стояли у калиток, выглядывали из окон, бесшумно ходили, словно плавали по голубоватой улице.

Все смотрели на небо.

В зените звезды, еще ясные и крупные, непрестанно шевелили лучами, а край неба был срезан большой черной тенью.

— Нету ли каравая? — спрашивал голос, похожий на

голос Петровны, но не тягучий, а взволнованный и требовательный.— Каравай надобен, круглый, цельный, непочатый!

Кто-то подбежал и расстелил на лужайке скатерть. На скатерть быстро поставили солонку и положили каравай — манили тучу.

Молодой женский голос страстно, жалобно и торопливо говорил:

— Неужто она к починковцам уйдет? Это же не по справедливости! Разве они так работали?! Мы себя не жалели, лучше всех посеяли, раньше всех кончили! К нам бы, ох господи, к нам бы!

Вдалеке громыхнул гром и молния полоснула небо.

Из-за угла выбежали несколько колхозниц. В одной из них Синцов узнал Фросю.

— Пособите,— чуть не плача говорила она,— у нас земля не рыхленая! С нашего косогора вода как со стекла сбежит! Мы вам отработаем. Пособите!

Подошли Наталья Борисовна и председатель колхоза.

— Товарищи! — сказал председатель напряженным и хриплым голосом.— Сейчас нам каждая капля дороже золота! Надо сделать, чтобы ни одна дождинка не пропала даром!

Колхозники с лопатами и мотыгами бежали в поле.

— Нате! Берите мотыгу! — мимоходом сказала Наталья Борисовна Синцову.

И на миг он увидел ее лицо и блеснувшие в улыбке зубы.

Он взял мотыгу и, поддавшись общему возбуждению, побежал в поле. Он рыхлил землю на Фросином косогоре, и призрачная ночь, и Фросин косогор, и радостные голоса незнакомых, неразличимых, но почему-то близких и милых ему людей — все казалось необычайным и волнующим. Он работал изо всех сил, ему радостно было думать о том, как влага проникнет в рыхлую и сухую землю и оживит невеселые всходы.

И ему уже казались «своими» и колхоз, и косогор, и люди... Новые, беспокойные мысли теснились в его голове.

«Моя работа,— думал он, торопливо ударяя мотыгой,— засухоустойчивые сорта свеклы... Как это необходимо здесь... И какая ерунда все эти кафедральные дрязги, которые отбивают у меня вкус к работе. Где Наталья Борисовна? Вот она. Это ее смех... Она опять была новая, когда улыбнулась мне в темноте. Как все неожиданно сегодня. И какое месиво впечатлений. Мерзость дряблого таракана на ситцевой наволочке — и поэзия этой ночи. Как все это смешалось!»

Дождь начался, когда рассвело.

Упали первые редкие и крупные капли, глубоко пробивая пухлую пыль дороги.

Небо раскололось, трещина разбежалась зигзагами, ударил гром и раскатился сухим, трескучим раскатом.

Ветер пробежал по травам, пригнув тонкую тополинку на вершине косогора. Капли сделались мельче и чище.

Никто не уходил с поля. Остался нерыхленым небольшой участок, и люди работали еще азартнее, чем вначале. На влажных лицах светились улыбки. Потемневшая от дождя одежда прилипала к телам. Синцов сбросил пиджак, засучил рукава и работал в одной рубашке. Дождевые капли щекотали кожу, ему было весело, хотелось шутить, разговаривать с девчатами.

Фрося запела...

Песню подхватили.

Председатель колхоза, прижимая к груди темные кулаки, убеждал Наталью Борисовну:

— Идите же вы до лесочка, до того тополя! Промочит вас! Я же вас прошу!

Она не слушала, смеялась и отмахивалась.

Тогда он снял с себя пиджак и попытался накинуть на ее плечи.

Синцову стало досадно, что он не догадался сделать этого. К Наталье Борисовне подбежала Фрося и скомандовала:

— Пусти-ка, председатель!—Она сняла с себя платок и укутала Наталью Борисовну.—Простынете, упаси бог!—говорила она грубовато и ласково.—Вы же непривычная! И так вы у нас истаяли!

Бережность и теплота, с которой колхозники относились к Наталье Борисовне, удивили Синцова. Он почувствовал себя виноватым.

Стиснув зубы, досадуя на себя, не понимая себя, он изо всех сил работал мотыгой.

А между тем ветер улегся и капли стали реже.

— Туча-то боком пошла!—сказал кто-то.

Песня смялась и поникла, как воздушный шар, из которого выпустили воздух. Стало тихо. Некоторое время работали молча. Потом в напряженной тишине раздался чей-то горестный и отчетливый возглас:

— Уходит!

Туча уходила.

Дождь едва смочил поверхность земли.

Туча уходила, открывая яркое небо, а лица людей темнели, и освещавшая их радость гасла. Все перестали работать, но не расходились, а стояли, опираясь на мотыги, в усталых и все еще напряженных позах.

А туча словно поиграла с людьми, воскресила надежды на благодатный урожай, на счастливый год, поманила короткой неверной радостью и, наскучившись игрой, пошла дальше.

На каждом листке, на каждой травинке блестели и лучились сотни маленьких солнц — блестели, но не радовали.

Наталья Борисовна вышла на середину косогора. Брови ее были сдвинуты, губы плотно сжаты.

— Девушки, только не раскисать! — сказала она.— Послезавтра мы привезем дождевые установки. Несколько недель вот такой дружной работы, как сегодня, и мы отстоим урожай. Верите вы мне или нет?! Мы спасем урожай!

До полдня Синцов отсыпался, а под вечер пришла Наталья Борисовна и сказала:

— Мы едем в район на совещание, можем подвезти вас до станции.

Грузовик был битком набит людьми. Синцов сидел против Натальи Борисовны, смотрел на нее и не узнавал ее.

Карие глаза смеялись под выгоревшей косынкой, простое серое платье открывало плечи и шею, сильные и нежные.

На смуглой коже мерцали крупные бусы.

Она казалась старше и проще, чем в городе, но в то же время красивее и сильнее.

Его удивила не столько ее новая красота, сколько вся ее повадка — энергическая, уверенная, властная. По одному тому, как она, перегнувшись и откинувшись назад, ловкими загорелыми руками помогала втаскивать в грузовик тяжелые мешки, можно было подумать, что она полжизни провела в этом грузовике и полжизни провозилась с мешками.

— Куда же вы ставите корзину с яйцами? На руках надо. На руках. Давайте мне! Вот так. А не то привезем на заготовочный пункт вместо яиц яичницу.

Она забрала корзину и устроила ее у себя на коленях как-то особенно ловко.

По дороге не прекращалась беседа. Разговор шел о каком-то Ванюшке, который «мастер по машинам», о быке Буяне, который чуть не забодал бригадира, о тысяче других вещей, не всегда понятных Синцову, но близких всем остальным.

Здесь, так же как в городе, Наталья Борисовна была в центре общего оживления, и, так же как в городе, она уже «обросла» друзьями и приятелями и стала своим человеком.

Синцов наблюдал за ней. Ко всему окружающему она относилась с живым и непосредственным интересом. И голос певицы в театре во время их первой встречи, и сказка, которую рассказывала Петровна вчера вечером; и свекла на Фросином косогоре, и целость колхозных яиц занимали ее так, словно все это касалось ее лично, словно каждое яйцо в корзинке принадлежало ей.

Она вмешивалась во все, что видела, словно все касалось непосредственно ее, но делала она это легко, естественно и неназойливо.

Казалось, что в ней стерлась какая-то грань между ее личностью и внешним окружающим миром и она жила, открытая со всех сторон впечатлениям внешней жизни, целиком растворяясь в них и в то же время сохраняя свою цельность и своеобразие.

Это дружелюбно-открытое и деятельное отношение к окружающему было ее особенностью.

«Как это определить?—думал Синцов.—Контактность особого рода? Отсутствие каких-то защитных рефлексов, охраняющих человеческое «я» от всего, что вне этого «я»?»

Некоторые колхозники называли ее Ташенькой, и ласковое смешное имя удивительно шло к ней.

Загорелая, мускулистая, в косынке и в чувяках на босую ногу, она была именно Ташенькой, а не Натой и не Натальей Борисовной.

— Что вы смотрите на меня?

— Вы удивительно изменчивы. Вы неузнаваемы со вчерашнего дня.

Она неохотно ответила:

— Нет, я все та же. Просто отоспалась сегодня днем... Фрося вот нарядила меня в свои бусы.

— Уж очень они к вам хороши,—сказала Фрося, откровенно и простодушно любуясь Натальей Борисовной.—Я как примерила на вас, так и вижу—нельзя снимать! Ну, просто нельзя снимать!

Наталья Борисовна смотрела на Синцова и думала: «Что же это за человек? Вот он опять смотрит на меня влюбленными глазами, а вчера, в минуту моей усталости, когда мне было так трудно и так нужно немного тепла, у него не нашлось и пары добрых слов для меня. Кто же он? Лжец? Нет, он искренний человек. Может быть, просто малодушный и родом из тех, кто хорош, пока все хорошо?»

Перед ней было его лицо. Большие, темно-серые, глубоко сидящие глаза глядели, устремленные куда-то внутрь, в самого себя. Когда он смотрит на окружающее, взгляд становится безразличным и рассеянным. Породи-

стые, нервные ноздри. Тонкие губы с опущенными уголками. У губ нет ни формы, ни линии, ничего, кроме этих опущенных уголков.

Лицо человека умного, впечатлительного, может быть, даже одаренного, но бесхарактерного.

Ей раньше особенно нравилось грустное выражение его лица. Эта грусть казалась ей признаком особо сильных и глубоких чувств.

Может быть, она была просто следствием его малодушия?

И все-таки... все-таки печальный взгляд его больших глаз падал ей на сердце и будил какую-то тихую бабью жалостливость.

Показалась станция.

— Вам слезать,— сказала Наталья Борисовна Синцову.— Кстати, опустите это письмо в городе, чтобы скорее дошло.

Он увидел на конверте имя академика Булатова.

— Как же это?.. Простите... но ведь вы говорили, что ничего общего не имеете с отцом.

Она удивилась.

— Но я и пишу не отцу, а дедушке. Это же мой дедушка! Ну, всего хорошего!

— Но мы еще увидимся?.. Ведь вы еще будете в городе? Я... Вы... может быть, вы позвоните мне?

— Вряд ли. Я проеду отсюда в Москву, не заезжая в город. Прощайте.— Она заметила его растерянное лицо и улыбнулась печально, слегка насмешливо: — Всего вам хорошего.

Грузовик становился все меньше, исчезая за облаком пыли, за холмами и увалами.

Синцов стоял на дороге.

Только что у него в руках был лотерейный билет с редким, огромным выигрышем, и вот этот билет сдуло ветром, он улетел, исчез, безнадежно затерялся в необъятной степи, и в руках, в которых он лежал, нет ничего.

Ничего, кроме синего конверта с именем великого человека, который вчера еще мог стать его родственником, учителем, может быть, другом.

Он сидел у окна вагона, облокотившись на столик. «Слепец... слепец... Вчера я размышлял о мечте и действительности... В действительности она, Наталья Борисовна, Ната, Ташенька, в тысячу раз лучше и удивительнее, чем та конфетная женщина, в белой шляпе, которую я воображал. И вчера еще мне достаточно было протянуть руку, чтобы она...— Он сморщился и закачался как от боли.— Но что же, собственно, случилось? О чем мы говорили? О свекле, о засухе... Ничего не случилось...

Нет, случилось... Случилось, и никуда не денешься от этого. Решилась моя судьба. В какой момент она решилась? Может быть, в ту минуту, когда я смотрел на таракана? И что же случилось со всей моей жизнью? Она катилась гладко и быстро, как шар по ровному месту. Почему все застопорило? Почему я, подававший блестящие надежды до войны, стал самым заурядным бойцом на войне и самым заурядным научным работником после войны? Но, может быть, еще не все потеряно? Я буду работать как одержимый. Я посвящу свою книгу ей. И может быть, мы встретимся когда-нибудь еще раз вот так же, как встретились вчера в знойный полдень, на колхозном поле, и все будет так же, и все будет совсем иначе...»

Поезд вошел в лес. В окно ворвался лесной влажный воздух. Синцову показалось, что пахнуло тем самым мартовским, освежающим, чуть пахнущим арбузами воздухом, ее воздухом.

ЖАТВА

Роман

Часть первая

1

ТРОЕ

Два года Василий Бортников пролежал в госпитале после тяжелого мозгового ранения.

Беспомощный, как ребенок, словно в колодец погруженный в неотступную боль, он ни строчки не писал родным, которым уже не мог принести ничего, кроме страданий.

От товарища по роте, случайно встреченного в госпитале, он знал, что в полку его сочли убитым и известили об этом жену Авдотью.

— Написать ей, что ты живой?—спросил товарищ.

— Не два раза ей меня хоронить,—с трудом разжимая челюсти, сведенные привычной болью, ответил Василий.—Один раз поголосила, и хватит...

В 1946 году батумский профессор решился на рискованную и почти безнадежную операцию.

Выздоровление пришло как чудо. Могучее тело, обрадовавшись возможности движения, с непонятной быстротой наполнялось силой.

Василий боялся верить в надежность своего негаданного счастья. Он выписался из госпиталя, не сообщив ничего семье, самолетом вылетел в Москву и через сутки уже в пригородном поезде ехал по родным местам.

Чем ближе подъезжал Василий к дому, тем острее он чувствовал тревогу за жену и детей.

Теперь, когда он снова стал самим собой, снова возвращался к своей прежней жизни, его охватили такая тоска по семье и такая нетерпеливая любовь к ней, каких он не испытывал никогда.

На предпоследнем переезде он встретил знакомого колхозника из соседней деревни. Узнав, что сосед недавно видел на базаре жену и дочек, Василий забросал его вопросами. Ему важно было все: какое пальто было на Авдотье, что она покупала, как выглядели девочки,—но сосед твердил одно:

— Живы-здоровы, приедешь—сам увидишь...

Это было немного, но и эти несколько слов сделали Василия счастливым. Он перестал тревожиться, и еще сильнее охватила его радость возвращения.

Всего четыре дня назад он ходил в одной гимнастерке по солнечным улицам Батуми, а сейчас за окном вагона стояла метельная ночь и во время остановок слышно было, как глухо и грозно шумел лес, невидимый за снежной мглой.

Ни эта метель, слишком ранняя и необычная в ноябре, ни темная ночь не пугали Василия. Он выскакивал из вагона на каждом полустанке, перебрасывался веселыми словами с неразличимыми в полутьме людьми, всматривался в темные очертания домов, невысокие станционные заборчики и радовался каждой елке, выступавшей из темноты. И люди, и вагоны, и елки были угренские, свои, своего района.

Не доезжая до районного центра, Василий сошел на разъезде,— отсюда до родного села Крутогоры было пять километров. В вагоне он залпом опорожнил четвертинку, с отвычки ноги у него обмякли и словно развинтились в суставах.

Снежная мгла завихрила, закружилась вокруг. Не было ни земли, ни неба — одна порывистая, бьющая в лицо мутная пелена да неумолчный, то нарастающий, как шум прибоя, то уходящий вглубь рокот леса.

Лес был тоже почти невидимым. Но, невидимый, он чувствовался во всем и властвовал надо всем. Тьма была наполнена его шумом. Слышно было, как гулко шумели в темноте сосны, поскрипывали гибкие ели, скребли оледенелыми ветвями промерзшие березы.

Местами лес доходил до самой дороги, и тогда, как медведи на задних лапах, выступали черные ели и хватали ветвями за полу, за рукава полушубка.

Временами метель стихала, притаившись, через минуту набрасывалась с новой силой, кружила, хлестала то одну, то другую щеку мокрыми полотнищами.

Василий поднял воротник, надвинул шапку на лоб; теперь только надбровья, исхлестанные снегом, одновременно и горели и стыли, да уши, как водой, были налиты шумом леса и свистом вьюги.

Он шел, по-бычьи наклонив голову, шел вперед лбом; он рвал вьюгу всем телом, как рвут водную стремнину, а она налетала все яростнее и все суживала вихревое кольцо. Это чем-то напоминало ему войну, те еще не изжитые памятью дни, когда он вместе со своим полком вырывался из окружения.

В его уме, захмелевшем от вина, радости и усталости, война, вьюга, дом и победа сливались в одно целое. И в

памяти вставало все пережитое им с тех пор, когда в последний раз шел он этой дорогой.

Когда метель налетала с особой силой, он закидывал голову и говорил:

— Повстречались, поздоровкались, давно не видались! Эк ты меня на радостях!

Он проваливался в снег по колено, то и дело сбивался с занесенной дороги.

Ему было и трудно и весело идти.

Внезапно прямо перед ним встали густые ели.

Он шагнул вправо — наткнулся на сугроб, подался влево — его подстерегали цепкие коряги в рытвине.

— Вот это окружение! — громко сказал он, отводя рукой коряжину.— Куда идти? Хоть бы звезда на небе... Черно...

Он всматривался слезящимися глазами, щурил заледенелые липкие ресницы. Всюду была сплошная тьма, и только впереди он различил не свет, а какой-то чуть заметный зеленоватый оттенок этой тьмы.

Он пошел напрямик, вырываясь из цепких еловых веток. Когда он поднялся на гриву, то увидел неожиданное: вдалеке ярко-белыми пятнами светились фонари.

— Гидростанция! Гляди-ка ты! — удивился он и бегом сбежал с гривы.

В ложбине сразу стало тише, и идти стало легче. Метель отступилась от него. В прогалине туч блеснула луна, и чистой крутой дугой легла на подъем дорога. Он поднимался знакомой крутизной, из-за которой и получила свое название деревня — Крутогоры.

В деревне было пустынно. Несколько фонарей горело над крышами, над ветвями высоких елей, да кое-где бело светились квадраты окон.

Две бабы вынырнули из-за угла. Василий узнал одну из них и крикнул:

— Здорово живешь, Ксенофонтовна!

Она тоже узнала его, но не обрадовалась, а испугалась:

— Господи помилуй! Никак, Василий Бортников! Да разве ты живой?

— Живей тебя, Ксенофонтовна!

Она повторила: «Господи помилуй!» — и вдруг рысью бросилась в переулок:

— Тю, дурная баба! — крикнул ей вслед Василий и захохотал.

Освещенные фонарями снежные вихри и ветвистые ели выглядели праздничными. Метель здесь была не сердитой, а игривой и ласковой. Казалось, она причесывает

улицу большим гребнем, и крутые завитки, поднявшись на миг над сугробами и крышами, мягко падают обратно.

«Вот мой жданный день, мой возвратный день!» — думал Василий.

Чем ближе подходил он к дому, тем быстрее шел и, подойдя, совсем запыхался. Те же белые наличники были на темных окнах, и на стыке бревен все так же торчало одно бревно, то самое, к которому Василий привязывал коня, приезжая с лесоучастка.

Василий поднялся на крыльцо, и по-прежнему одна ступенька была у́же остальных, и так же круглились и скользили под рукой обмерзшие перила. Он поднял руку, чтобы постучать, но сердце так заколотилось, что он с трудом перевел дух. От рукава полушубка пахло гарью,— Василий подпалил его, закуривая в темноте. Он втянул в себя этот запах, загустившийся и обострившийся на морозе, вдруг вспомнил, как однажды подпалил полушубок, заснув у костра. На миг представилось ему, что весь его полк с орудиями, повозками, кухнями пришел вместе с ним и стоит за его спиной.

Василий что есть силы заколотил в дверь.

— Кто там? Батюшки! Кто там?

Он узнал голос тещи.

— Мама! Это я, Василий! Не пугайтесь, мама, я живой! Я из госпиталя пришел!

Она открыла дверь, упала ему на руки.

— Васенька, живой! Ты ли это? Да как же ты? Господи!

Он обнимал ее щуплое тело, чувствовал под руками ее плоские двигающиеся лопатки, и что-то сжимало ему горло.

В сенях пахло кислой капустой, а как только он вошел в избу, его обдало теплом и тем милым хлебным запахом, которым были пропитаны самые стены.

Он стремительно прошел в горницу и в призрачном лунном свете увидел Авдотью. Она поднялась с постели, узнала его, крикнула:

— Васенька!—спрыгнула на пол и, дрожа, прильнула к нему.—Родной! Целый! Живой! Как же ты? Откуда? Почему молчал?

— Два года бревном лежал в госпитале, шевельнуться не мог. Не хотел быть тебе обузой.

Она была вся у него в руках—мягкая, теплая, дрожащая. Тело ее было совсем особым, таким, какого не было ни у одной женщины на свете,—родным, покорным, понимающим, почти его собственным.

Она обнимала его, и ее руки были продолжением его рук, плечи сливались с его плечами.

Он прижимал жену к себе, и ему казалось, что ее доброта, тепло — это и есть дом, родной, неизменный, милый дом.

И словно что-то отпустило у него внутри. Прошло то страшное напряжение, в котором он жил все это время. Он ослабел, уткнулся в мягкую шею жены, и слезы смочили его щеки.

Тогда он увидел на краю кровати мужскую фигуру. Он увидел висок, и усы, и узкие плечи под белой ночной рубашкой. Он оттолкнул жену и закричал:

— Огня! Огня!

— Васенька!..

Жена цеплялась за него, но он отрывал ее от себя и кричал:

— Огня!

Теща нащупала в темноте выключатель и повернула его.

На кровати сидел мужчина и торопливо натягивал сапоги. Он с трудом распрямился, и Василий узнал в нем тракториста Степана Мохова.

Худой, узкоплечий, в белой рубахе, Степан стоял у кровати, и Василий видел, как что-то бьется у него на шее, в ямке между ключицами.

В одно неуловимое мгновение Василию вспомнилось все: и первые встречи с Дуняшкой, и первый враг, убитый в рукопашном, и ярче всего — тот час, когда он, раненный, лежал в лесу, глотал снег и, мысленно прощаясь с Авдотьей, плакал от тоски, любви и жалости к ней.

Его охватил один из тех приступов болезненной ярости, которые появились у него после ранения. Мрак и свет смешались в глазах, мысли исчезли.

Он двинулся к Степану. Кулаки его выросли, отяжелели, и он сам ощущал их тяжесть.

— Васенька! — крикнула жена.

Лампочка раскачивалась на проводе, и тени, то сжимаясь, то удлиняясь, метались по стенам.

Василий подошел к Степану и поднял руку:

— У!.. Ты!..

Степан не пытался защищаться. Он стоял прямо и смотрел в упор в глаза Василию светлыми, почти белыми глазами. И вдруг Василий увидел на уровне своего кулака зубчатый, сросшийся с костью шрам на виске Степана. Височная кость была изуродована и казалась хрупкой, тонкой, бугристой. Василий остановился с поднятой рукой: он не мог ударить по этой кости, не мог прикоснуться к рубцам, оставленным немецкими пулями.

Он стоял с поднятой рукой и смотрел одновременно и злобно и жалобно.

Тогда Степан негромко, но твердо сказал:

— За что, Василь Кузьмич? Я в твой дом не вором пришел...

— Васенька! — крикнула жена.— Ведь ждала, ждала!..

— Много ли жданки твоей было? День? Час? — Он отвернулся от Степана и хрипло сказал: — Детей!..

Авдотья бросилась к детской кроватке. По спине Василия прошел озноб,— он увидал свое лицо, маленькое, нежно-розовое, но свое собственное.

Он узнал свои угольно-черные брови, будто переломленные посредине, свои ноздри с подрезом и свою привычку держать голову вниз и набок.

Так сладко и удивительно было встретить и узнать самого себя, свое первое, не примятое жизнью детство, что Василий забыл обо всем, дрогнул и потянулся к теплому комочку родного, кровного, безобманного.

— Дай! — сказал он жене.

Но маленькая Дуняшка скривилась, заплакала, закричала:

— Уйди! Уйди! — и потянулась к Степану.

Она то сжимала кулаки, то с силой растопыривала пальчики и требовала, просила, негодовала, плакала:

— Папаня же! Папаня!

Степан стоял рядом и не смел подойти к ней.

— Возьми! — сказал отец Степану и подошел к другой кровати.

Катюша сразу узнала его и шепотом сказала:

— Папа!

Она стала совсем барышней, косы у нее были заплетены от самых висков и уложены по-городскому. Она прижималась к нему мягким носом и шептала:

— Папа!

Степан ушел в кухню. Василий лег на кровать. Жена подошла к нему.

— Вася...

Он притворился спящим. От всего пережитого он окаменел и не мог ни думать, ни говорить, ни чувствовать. Авдотья легла на лавке, и всю ночь сквозь каменное забытье он слышал, как она плакала.

За ночь прошел хмель и улеглось потрясение.

Утром он вышел во двор.

Степан колол дрова и, увидев Василия, растерялся и пошел к воротам.

— Не уходи! — крикнул ему Василий.

На заборе виднелись латки свежего теса, в свинарнике был настлан пол, всюду чувствовалась заботливая мужская рука.

В амбаре висела замороженная баранья туша.

Василий неторопливо обошел хозяйство и вернулся в избу.

— Что ж, Прасковья Петровна, угощай!

Жена и теща стали накрывать на стол. За окном мелькали знакомые, несколько раз стучали в дверь, вызывали Петровну, но войти не решались.

Родители и братья Василия со вчерашнего дня уехали в Угрень, на базар, и Василий рад был тому, что не увидит их в этот трудный день.

— Садитесь!—сказал Василий, когда стол был накрыт.—И ты садись, Степан Никитич.

Авдотья была иссера-бледна, лицо ее распухло от слез. Она хлопотала по хозяйству, но временами застывала на месте с чашкой или кринкой в руках.

Василий подвинул к себе тарелку, обвел сидящих медленным, твердым взглядом и сказал:

— Ну, рассказывайте: как в колхозе?

— Да что в колхозе... Землю остудили—не навозят второй год... Я сам-то в МТС работаю, а здесь люди никак дело не наладят,—ответил Степан.

Они говорили о колхозных делах, и как будто все шло по порядку, только глаза у всех троих были остановившиеся, да Авдотья то и дело замирала на полуслове.

— Ну, а как у вас в МТС?—спросил Василий.

— Не пахали—корежили землю. Трактористы молодые, неопытные. Тракторы старые, запасных частей нет...

Он говорил отрывисто. Видно было, что каждое слово стоит ему усилий.

— А нынче как?

— В этом году наладилось. Пашем с предплужниками. Пахоту углубляем, где есть возможность. В нашем колхозе углублять сейчас нельзя: дерновый слой мал, боимся подзолы выворотить. Когда бы навозили землю, то другое дело, можно было бы мало-помалу заглубляться.

Василий слушал Степана и невольно думал: «Хорошо, что он в нашей МТС, этому землю доверишь—не ошибешься».

— Сколько коммунистов в партийной организации?—спросил он.

— Партийной организации нет. А коммунистов—я да ты. Афанасий Лукич лег под Эльбой,—продолжал Степан,—там его и схоронили.

— Афанасий Лукич...—Василий поднял руку, чтобы снять шапку, но шапки не оказалось, и он, с силой ероша волосы, провел рукой по голове.

Явственно вставал перед глазами «отец колхоза», с седой щеточкой усов, с яркими, веселыми карими глаза-

ми. Вспоминалось, как он правил колхозом и как отплясывал вприсядку на колхозных праздниках. Был он коренным русским, угренским человеком, и трудно было представить, что лежит его тело в чужой немецкой стороне и звучит над его могилой непонятная немецкая речь.

— Афанасий Лукич...— Василий встал, прошелся по комнате.— Ну, а остальные?..

— Карпов живой, только ногу оставил под Кенигсбергом. Сапожничает в артели, в городе. Митриев в кадрах. Сказывают, до капитана дошел...

— Так...

Помолчали. Василий подошел к окну. За спиной в комнате стояла трудная тишина. Он молча смотрел в запотевшее стекло.

Уютно гнездились в сугробах дома, неизменные, такие же, как до войны.

Вспоминались украинские города и села, мимо которых он проезжал, кочуя из госпиталя в госпиталь. Обгорелые остовы зданий и леса новостроек. На путях составы, груженные строительным материалом.

— Колхозную пятилетку прорабатывали?

— Колхозную — нет, а государственную я недавно прорабатывал с колхозниками по поручению райкома...

— Так...

Опять помолчали. Потом Степан сказал, словно и похвастался:

— Крепко замахнулись!.. Эдак еще не замахивались!..— В его тихом голосе пробивались нотки оживления.

Оттого, что заговорили о больших делах, семейные неурядицы стали как будто мельче. Так предметы, громоздкие в маленьком, домашнем мирке, вдруг уменьшаются в размерах, если их вынести на простор. Василий опять сел за стол.

— Как комсомол?

— Орудует. Алеша там заправляет, Афанасия Лукича сын.

Вспомнился мальчуган с яблочно-круглым лицом и яркими отцовскими глазами.

— Мальчонка ведь был...

— Вырос... Годков девятнадцать будет. Хороший парень. По отцу пошел, даром что поднялся без отца.

Снова наступило молчание. Потом Василий рывком отодвинул тарелку и взглянул в лицо Степана.

— Ну, так как же, Степан Никитич?..

Глаза Степана стали большими и неподвижными, как у слепого. Он указал на Авдотью:

— Ее надо спрашивать... Ей выбирать...

— Ну, нет! — Василий положил на скатерть мосластую, широкую руку. — У нее я не буду спрашивать!

Авдотья вскинула голову. Изумление и что-то похожее на оскорбленную гордость на миг осветили ее лицо и тут же погасли.

Василий был ее мужем, перед которым она провинилась, он был ее первым любимым, ничем не опорочившим себя перед ней, он был отцом ее дочерей и хозяином этого дома. Его власть и его повелительный тон в этот час казались ей справедливыми и законными. Ощущение «законности» всего происходящего обезволивало и гнуло ее.

Растерянная, ошеломленная, она двигалась и говорила, почти не сознавая слов и поступков. И все ее силы уходили на то, чтобы удержаться на ногах и унять дрожь, бившую тело.

Василий опять вышел из-за стола, прошелся по кухне и ткнул ногой старинную укладку.

— Опростай укладку, Авдотья!

Слезы потекли из ее глаз.

— Чего ты надумал, Василий Кузьмич?!

— Молчи, Авдотья, молчи... Опростай, говорю, укладку.

Когда укладка опустела, он спросил:

— Синяя шевиотовая пара цела ли у тебя?

— Цела, Василий Кузьмич! Да что же ты?..

— Молчи, Авдотья, молчи... Простыней собери в укладку. Да цельные положи! Что же ты рвань суешь?

— Господи! Василь Кузьмич! Васенька! Да что же это?

— Молчи, Авдотья! Полотенца положи, которые поновее.

Авдотья трясущимися руками укладывала вещи, и глаза ее искали глаз не Василия, а Степана. Из взгляда во взгляд от нее к Степану металось что-то: не то страх, не то тайная надежда и приглушенная радость. И Василий видел это.

Степан сидел, весь вытянувшись и не шевелясь, и в его широко открытых, светлых, почти белых глазах таились напряженное ожидание, страх, благодарность.

— Степан Никитич, разруби пополам баранью тушу да закутай половину рогожей. А вы, мама, дойдите до конного, стребуйте подводу.

— Да что же ты, Васенька? Да куда же ты?

— Молчите, мама, молчите! Идите!

Когда укладка была наполнена, а половина бараньей туши укутана в рогожи, Василий сел на скамью, положил обе руки на стол и сказал:

— Ну, Степан Никитич, мне оставаться, тебе уезжать... У нас двое детей, их пополам не порубишь, и тебе я их не отдам. Я на тебя сердца не держу, и ты на меня не держи. Мы с тобой на одном поле воевали, на одном поле будем хлеб сеять. Имущество для тебя я собрал, а если еще надо, бери чего хочешь.

Авдотья изменилась в лице. Степан рванулся к ней.

— Не волен ты один решать, Василий Кузьмич!..

Он схватил Авдотью за руку, но она в страхе выдернула руку и отшатнулась от него:

— Не тронь, Степа!.. Лучше враз!.. Дети! Дети ведь!

Василий повернулся и вышел, чтобы не мешать им проститься.

Он стоял в горнице у окна долго, до тех пор, пока подвода не выехала со двора. Маленький зеленый сундучок одиноко стоял в широких розвальнях. Степан, худой, ссутулившийся, шел за ними сквозь метель и непогодь.

Василий вернулся в кухню. Дверь была полуоткрыта, и в кухню клубами шел морозный воздух. Укладка стояла посредине комнаты, и подтаявшая баранья туша лежала рядом на рогоже.

Авдотья сидела на лавке у дверей, уронив руки, опустив плечи, и уже не плакала, а только неровно дышала.

Василий ясно понял, что она любила Степана.

«Ну что ж?—подумал он, напрягая всю свою волю, чтобы остаться спокойным.— Что ж? Дуня не такая баба, чтобы жить с мужиком из корысти или от нечего делать... Не такая она баба!..»

Он сел рядом с ней и положил руку на ее плечо.

Она привалилась к нему и заплакала.

— Дуня, нельзя иначе, дети у нас!..

У него не было зла ни на нее, ни на Степана.

Он вспомнил сватовство и женитьбу и то, как она, беременная, после целого дня косьбы, бежала к нему на полевой стан за семь километров только для того, чтобы накормить его горячими лепешками с маслом, которые он любил и которые она кутала в шаль, чтобы не простыли.

Он вспомнил и то, как, приезжая из города, она привозила подарки всей семье и только для себя у нее каждый раз не хватало денег. Когда он бранил ее за это, она виновато говорила ему: «Я, Васенька, ужо в другой раз». Многое вспомнил он и многое пережил заново.

— Я пойду в правление, Дуня.

Он стал собираться, а она помогала ему, и глаза у нее были такие, словно что-то сильно болело у нее внутри. Такие глаза он видел у раненных в грудь и живот. У

раненных в ногу или руку таких глаз не бывало. Снова он притянул ее к себе и сказал:

— Крепись, Дуня, нельзя ж иначе! Дети же!

И снова она, припав к нему, ответила:

— Разве я что говорю?

Ему тяжко, одиноко и обидно за себя, за нее, за тех, чью долю искорежила война.

«Вот он, мой жданный день! Возвратный мой день!» — подумал он горько, но скрыл горечь и спокойно сказал:

— Осилим и это, Дуня. Не такое осиливали,— и пошел в правление.

2

УТРО

Морозные узоры на окнах играли игольчатыми блестками и студено розовели от раннего солнца. Солнечный свет, доверху наполнявший комнату, был чист и резок, в нем были и беспощадное сияние сугробов, и ледяная голубизна зимнего неба.

В такие часы хорошо думалось. Мозг, еще не охваченный дневной текучкой, работал с особой точностью, мысли были свежи и свободны.

Под стеклом на столе пестрела карта района. Точка, обозначающая колхоз имени Первого мая, лежала под острием карандаша. Председатель этого колхоза, пьяница и бездельник, хозяйничавший в нем в сорок третьем — сорок четвертом году, когда трудности военного времени требовали особой слаженности работы, нарушил севообороты, запустил землю и так подорвал колхозное хозяйство, что с тех пор колхоз хирел и чахнул, как хиреет и чахнет подрубленное дерево.

«Самый плохой колхоз самого трудного сельсовета, в самом трудном районе области,— думал Андрей, машинально обводя карандашом по стеклу кружки около Первомайского,— и трудно с ним работать».

Ему живо вспомнилось то ощущение, которое всегда оставалось от поездок в этот колхоз,— ощущение было таким, как будто приходилось поднимать что-то расплывчатое, бесформенное и оно растекалось в руках.

«Нет стержня...— мысленно продолжал он.— Но стержень будет создан, как создан он здесь и здесь!..» Он пробежал взглядом по многочисленным красным точкам на карте.

Точками были отмечены колхозы, в которых существовали партийные организации. Совсем мало оставалось

таких колхозов, где партийных организаций все еще не было.

«Этот новый председатель и Михаил Буянов — уже двое. Третьим мог бы стать Мохов, но Мохов нужен в МТС... Мохов нужен в МТС...— мысленно повторил он, нахмурился и крепко потер лоб над переносицей.— Зачем я опять думаю об этом? Все это я уже обдумал. Но как она? Поймет так же, как понимает все...»

Нежность охватила его с такой силой, что он оглянулся: не прочел ли случайно кто-нибудь по его лицу мыслей, таких неуместных в кабинете первого секретаря райкома? В кабинете было по-прежнему пусто и тихо, и только из-за стены доносился сиплый голос дежурного, кричавшего в телефон:

— Деловой древесины сколько кубометров? Алло! Алло! Лесоучасток! Деловой древесины...

— Петрович у себя? — перебил дежурного голос Буянова.

Андрей все еще не мог привыкнуть к имени «Петрович», которым окрестили его в районе и с которым в его представлении связывалось что-то солидное, совсем не похожее на него.

— Ясно, у себя,— сердито ответил дежурный.

— Можно к нему?

— Раз товарищ Стрельцов назначил тебе в восемь, значит, и примет тебя точно в восемь ноль-ноль.

Андрей плотнее закрыл дверь и быстро вернулся к столу. До восьми осталось двадцать минут, и нужно было успеть закончить письмо к лесозаготовителям.

Дописывая письмо, Андрей вспомнил последнее собрание на одном из лесоучастков, старый скит, в котором оно проходило, и резной киот из красного дерева, в который был вставлен договор о соцсоревновании. Вспоминая, Андрей весело улыбнулся:

«Вот подивились бы старые богомазы!»

В районе немало было таких неожиданностей и контрастов, которые трудно было встретить в каком-либо другом месте. Полгода назад Андрей выбрал этот район именно из-за его своеобразия.

До войны Андрей работал секретарем райкома на Кубани, и товарищи не раз шутя говорили ему:

— Тебе легко ходить в передовых: тебя чернозем вывозит.

И тогда еще возникло у него упрямое желание доказать другим, что дело не в черноземе, а в методах руководства, и проверить самого себя на работе в трудных условиях. После демобилизации Андрея направили в нечерноземную и трудную в сельскохозяйственном отно-

шении область. Он упорно отказывался от работы в аппарате обкома и рвался в район. Угренский район Андрей знал издавна, так как жена его была уроженкой этого района и Андрей не раз гостил у родных жены. Район этот с его плохими почвами и суровым климатом привлекал его, как привлекает сильного борца достойный соперник.

Не только природные, но и исторические особенности Угреня казались Андрею интересными.

До революции в районе почти совсем не было настоящих хлеборобов, земля не кормила, и люди жили отхожими промыслами.

Знаменитая Угренская ярмарка и шедший через Угрень тракт из Москвы в Сибирь, по которому везли золото и гнали каторжников, наложили на район свой отпечаток: летописи здешних мест пестрели страницами о торгашах, кулаках и ярмарочных воротилах.

Была в истории района и еще одна своеобразная черта. Издавна, еще во времена Петра Первого, заселялись здешние леса ссыльными, беглыми раскольниками, и бесчисленными были названия разных сект в памяти старожилов.

— Трудный и во многих отношениях исключительный район,— сказали в обкоме Андрею.

— Знаю. В передовом районе я уже поработал,— ответил Андрей.— Оформляйте в Угрень. Еду.

С тех пор прошло несколько месяцев. Андрей не жалел о принятом решении, хотя все оказалось еще сложнее и неподатливее, чем он ожидал.

В трудные минуты, как к источнику бодрости и уверенности, прибегал он к воспоминаниям о Кубани.

Ему вспоминались широко открытые взгляду просторы и литые массивы пшеницы.

Он почти физически тосковал по обильной кубанской степи, по ее знойным запахам, по ее дорогам, прямым и летящим, как стрелы.

Но еще непреодолимее была его тоска по кубанским людям, с которыми он сроднился, которые представлялись ему людьми широкого размаха, по бригадам, дружным, как семья, по тракторным колоннам, выходящим на весенний предпосевной смотр, как танковые колонны первомайских парадов выходят на Красную площадь, по графикам работ и по маршрутам уборочных агрегатов, вывешенным в каждом полевом стане и нерушимым, как закон.

«Степь, родина моя! Зачем я от тебя оторвался?— думал он минутами и тут же обрывал себя: — Сам захотел! Или правы были ребята, когда говорили, что тебя «чернозем вывозит»?!»

Он подходил к перспективной карте района.

Еще не существующая шоссейная дорога пересекала карту. Две новые железнодорожные ветки врезались в глубь лесных массивов. Мощная межколхозная гидростанция стояла у реки. Новая МТС с хорошо оборудованными ремонтными мастерскими поднималась недалеко от Угреня.

«Это все будет!— хмурясь, думал он.— Еще три-четыре года — и мы потягаемся с Кубанью!»

Он дописал письмо и точно в восемь часов (Андрей любил военную точность во времени) позвал к себе Буянова.

Молодой, веснушчатый, «подбористый» парень, с тщательно расчесанными русыми кудрями, в костюме с иголочки, из-под которого выглядывал белоснежный и до глянца отглаженный воротник рубашки, отчетливым шагом вошел в комнату.

По обиженному, настороженному выражению его лица Андрей определил:

«Знает...— и тут же подумал: — Ну что ж, короче разговор! Какой он, однако, весь отутюженный! Видно, уважает себя человек!..»

— Знаешь, Михаил Осипович, зачем я тебя звал?

— Слыхал, Андрей Петрович, да не поверил,— обиженно ответил Буянов.

— Это почему же?

— Привык от тебя, Андрей Петрович, слышать справедливые слова...

— А теперь что же, по-твоему, я несправедливо говорю?

— А какая тут справедливость? — Узкие и быстрые глаза Буянова укоризненно посмотрели на Андрея.— Человек учился, человек специальность приобрел, курсы колхозных электриков окончил на «отлично», только что взялся за работу — и на тебе! Куда же этого человека суют? В захудалый колхоз, в бригадиры! Чудно́!

— В Первомайском есть гидростанция. Это тебе не деревушка в десять дворов.

— Гидростанция! — презрительно скривил губы парень.— Двадцать пять киловатт! Это разве мощность?!

— А ты к большим мощностям привык? — Андрей улыбнулся не то одобрительно, не то слегка насмешливо.

— К большим не к большим — тут, Андрей Петрович, ни к чему усмешка,— обиделся Буянов,— только на Угренской гидростанции такому электрику, как я, веселее и пользы от меня больше... В Первомайском колхозе масштаб не тот... Это ж всякому ясно!..— Он поджал узкие губы с полным сознанием своей неопровержимой правоты.

— Ты в Угренской гидростанции на сотнях киловатт сидишь, а чем занят? Командуешь, кому сколько отпустить энергии, да счета проверяешь? И это, по-твоему, «тот масштаб»? А поехать в родной твой колхоз, и поднять этот колхоз, и вывести его из отстающих в передовые — это, по-твоему, «не тот масштаб»?! Или у тебя самого душа не болит за родные места?

— Мне теперь от Волоколамского шоссе до самой границы насквозь родные места. Где наша дивизия ступала, там и родное место. Что ж мне теперь, на тысячи километров кидаться? Не с этой точки зрения нужен здесь подход. У каждого своя специальность. Чудно́ электрика бригадиром посылать!

— Мы тебя не только бригадиром, но и электриком посылаем.

— Может, еще и конюхом, и дояркой, и счетоводом зараз?

— Да, и конюхом, и дояркой, и счетоводом. Райком тебя коммунистом посылает в родной твой колхоз, Михаил Осипович.— Андрей встал, небольшие, но крепкие ладони его сжались в кулаки.— Коммунистом! Другого места в колхозе мы тебе пока не определяем. Сам увидишь, куда нужно коммунисту встать, туда и встанешь.

Они смотрели друг на друга, словно меряясь силами.

Буянов считал себя человеком «самостоятельным», потому что обо всем создавал собственное, своим умом проверенное суждение. «Кремень!—думал Буянов об Андрее.— Слова говорит как будто верные, да ведь бывает, правильными словами пустые дела прикрывают! Эти слова еще требуется обмозговать».

Буянов не хотел сдавать позиций.

— Нет, Андрей Петрович, ты скажи мне: почему это именно меня ты определил послать?

— Не именно тебя. Многих коммунистов мы снимаем с районной учрежденческой работы и посылаем в поле. В Первомайском пока только один коммунист — Бортников. Там должна быть создана партийная организация.

— Какая же партийная организация из двух коммунистов?

— Пришлем третьего.

— Кого?

— Пришлем!..— нахмурился Андрей; он и сам не мог понять, почему ему не хочется назвать этого третьего.— Будет вас трое, а потом будете растить новых коммунистов. Народ там есть золотой. Все ясно, Михаил Осипович? Две недели тебе на подготовку заместителя и на сдачу гидростанции. Через две недели быть в Первомайском. Договорились?

Буянов в глубине души уже сознавал правоту Андрея, но он так долго возмущался его решением и готовился к сопротивлению, что не мог уступить сразу.

— Буду протестовать в официальном порядке,— сказал он, сердито насупившись.

Андрей окинул его оценивающим хитрым взглядом.

— Не будешь!—сказал он уверенно.

— Ты, что ли, Андрей Петрович, не позволишь?— невольно смягчившись, но стараясь сохранить суровость, сказал Буянов.

— Совесть твоя партийная тебе не позволит! Ну, пока, Михаил Осипович!

Буянов встал и вялыми шагами пошел к двери. Худощавая фигура его выражала недовольство и смятение.

У самой двери он остановился и сорвал с головы только что надетую шапку.

— Эх! Женился же я на угренской на той неделе! И погулять после свадьбы ты мне не дал, Андрей Петрович!

— Значит, молодожен? Значит, поздравить тебя? То-то, я смотрю, именинником ходишь? Ну, раз такое дело, отсрочу тебе отъезд еще на неделю.

Когда Буянов ушел, он взглянул на часы. Было восемь часов двадцать пять минут. В половине девятого он вызвал к себе нового председателя Первомайского колхоза, с которым еще не был знаком.

Он собрался нажать кнопку звонка, чтобы вызвать председателя к себе, но дверь быстро распахнулась, и громоздкий черноголовый человек с сердитыми темными глазами вырос на пороге. Андрей поднялся навстречу.

В первую секунду Василий задержался на пороге от неожиданности.

Он много слышал о первом секретаре. По рассказам и по тому, что все в районе—и старые и молодые— уважительно и тепло называли секретаря Петровичем, Василий представлял себе человека пожилого, солидного, с такими же седыми усами, такой же полнеющей фигурой, как у Афанасия Лукича, погибшего председателя колхоза.

Увидев молодого, маленького и лобастого человека с широким розовым лицом и энергическим профилем, Василий в первое мгновение растерялся. Он поискал глазами другого секретаря, похожего на сложившийся в его уме образ. Не обнаружив, нахмурился и, нагнув голову, вошел в комнату. Он был разочарован и даже раздосадован. Ему хотелось солидного разговора с солидным человеком, а маленький крепыш с большими светлыми глазами, весело смотревшими из-под нависшего лба, показался ему «мальчишистым». Невольно он заговорил резче, чем собирался:

— Это что же за порядки у нас в районе, товарищ Стрельцов? Если отстающий колхоз, так, значит, всем организациям чихать на него с высокой полки?

Андрей нахмурился. Шумное появление председателя ему не понравилось.

— Товарищ Бортников, насколько я понимаю? Будем знакомиться. Кто на ваш колхоз чихает?

— В райисполкоме чихают и вашим именем прикрываются!

— Мы в райкоме партии, товарищ Бортников. Давайте без шума, так, чтобы я мог понять, в чем дело.

— Как тут не шуметь? Плохой колхоз у района — как пасынок у мачехи. Всем обошли! — сердито сверкая глазами, говорил Василий.

— Чем колхоз обошли?

— Прислали из «Сельэлектро» три комплекта электрооборудования для электромолотьбы и для электропилки. По справедливости, кому надо дать? Тем колхозам, где работоспособного народа меньше, где тяжелее работать. А кому отдали? По лучшим колхозам распределили! Где же тут помощь отстающим?

— Кончили, товарищ Бортников? Нет? Ну, поговорите еще, а я еще послушаю.— Василий молчал.— Значит, все? Тогда я объясню: на этой неделе пришло три комплекта, на той придет еще двенадцать. Первые три комплекта мы распределили по тем колхозам, которые могут использовать оборудование немедленно. У вас гидростанция работает с перебоями, на лесозаготовках план не выполняется, до сих пор не переработали трестý. По моим расчетам, вы в ближайшую неделю электрооборудованием заняться не сможете. Если мы ошиблись и электрооборудование колхозу нужно срочно, объясните без шума.

Подчеркнуто спокойный тон секретаря райкома, точное знание колхозных дел и готовность, если надо, обсудить и пересмотреть вопрос сразу утихомирили Василия.

«И про трестý припомнил, глазастый!» — подумал он и, подчиняясь спокойному голосу секретаря, уже спокойнее ответил:

— Нет... Что ж... Если на той неделе... это можно потерпеть...

На мгновение в комнате воцарилась тишина.

— Вы уже приняли хозяйство? — спросил секретарь.— С чего думаете начинать?

— Начал уже. Вчера провел собрание. Распределил людей по бригадам. Пришел я к тебе за помощью и советом. И насчет задолженности и ссуды. Накопил колхоз задолженность перед государством. Тяжко будет

рассчитываться этой осенью. Если бы, значит, получить отсрочку... И насчет ссуды... Нельзя ли получить помощь от государства — зерном или деньгами? Как-никак самый слабый колхоз в районе, кому и помочь, как не нам?

— Государство вашему колхозу поможет, но чем и как — я сейчас сказать не могу. Вопрос о помощи отстающим колхозам разрешается в областных организациях. Думаю, что в течение месяца дам точный ответ. Еще что?

— Еще относительно обмена семфонда. Зерно засыпано у нас некондиционное. Совсем худенькое зерно. Требуется обменить!

— Это мы предусмотрели, в этом поможем. А главное, мы поможем колхозу людьми. Двух большевиков, двух специалистов посылаем к вам.

— Кого?

— Электрика Буянова... о втором я пока умолчу. Еще не согласовал с отделом кадров, но будет и второй.

Шла обычная деловая беседа, и ничто не говорило ни о том «подводном» течении мыслей, которое сопровождало каждое слово, ни о том, как настороженно присматривались друг к другу два человека, еще почти незнакомые, но уже взаимно зависимые и тесно связанные.

Незаметно для постороннего взгляда, но пристально и упорно они изучали друг друга: один — ясными, холодноватыми и быстрыми глазами, другой — темным, горячим, утонувшим в чащобе ресниц взглядом.

Маленький лобастый секретарь уже не казался Василию таким непростительно молодым, каким представлялся сначала. Он был серьезен, и от этого на его широком, яркоглазом лице отчетливо выступили следы усталости. Тонкая, как порез, морщина между бровями, тени вокруг глаз, суровая линия плотно стиснутых губ — все это говорило о человеке, беспощадном к себе и видевшем многое.

«Петрович...— подумал Василий.— Однако не зря молоденького так прозвали!.. Видно, крепкий мужик!»

Андрей знал, что крепка была в районе добрая память о том Василии Бортникове, которого знали до войны: не случайно именно его выбрали председателем колхоза, не случайно на днях выбрали его депутатом сельского Совета вместо уехавшего депутата. Андрей знал и о доброй славе бывшего тракториста Василия Бортникова, и о том, что всегда был он горяч и напорист через край. Сейчас он присматривался к Василию, сопоставляя слышанное о нем с тем, что сам он мог наблюдать.

«Хозяин как будто хороший,— думал Андрей.— А каков он с партийной стороны?»

Он сел свободнее, протянул Василию портсигар и уже другим, сердечным и задушевным тоном задал вопрос, как будто бы неожиданный и не имеющий прямого отношения к делу:

— Вы из этого колхоза, Василий Кузьмич?

— Коренной житель.

— Хорош был колхоз до войны?

Быстрая, внезапная и неудержимая улыбка вспыхнула на лице Бортникова. Оттого, что зубы оставались плотно стиснутыми, улыбка казалась жестковатой и озорной, но темные глаза смягчились, и в лице появилось что-то одновременно и жаркое и лихое, и застенчивое и доброе.

— Какой был колхоз! Про Афанасия Лукича, председателя нашего, не приходилось слышать?

— Как же! Знал его.

— Справедливый был человек и редкостного ума. Затылком видел! Как при нем стояло хозяйство! Идешь, бывало, по конному — полы выскоблены, перегородки выбелены, кони стоят один к одному, бока — что караваи, хвосты подвязаны. У каждого на полке своя сбруечка, а на ней медяшки светятся, что золото.— Бортников говорил увлеченно, блестя глазами и улыбкой, помогая себе широкими жестами больших темных рук.— А в поле выедешь — знаете косогор за выгоном? — выедешь, а там хлеба стеной, трактора не видно! Едешь с жаткой, а они шумят, как волна, аж ветер от них. По двадцать пять центнеров случалось убирать... по пяти килограммов на трудодень выдавали.

Захваченный воспоминаниями, он, забывшись, смотрел в окно.

— Почему же, Василий Кузьмич, опустился Первомайский колхоз?

Василий, словно очнувшись, встряхнул головой:

— Да оно ясно, почему. Коммунисты ушли на фронт. Наилучшие работники тоже ушли. Да двадцать коней отдали армии. Всю работу надо было перестраивать наново. В эдакую трудную пору нужно крепкого хозяина, а председатель, как на грех, попался никчемный. Где председатель негодящий, там в колхозе разброд и неразбериха. Кое-кто из колхозников решил не сообща выбиваться, а в одиночку, по старинке-матушке. Кое-кто повернулся к колхозу задом, к лесу передом.

— А как вы планируете будущее колхоза?

— Как? — Председатель нагнул голову, выставил упрямый темный лоб.— Если поможете с тяглом и семенами, то с первого урожая выбьемся из отстающих, со второго — поднимемся до хороших, с третьего — выйдем в передовые. Или я жив не буду, или сделаю, как сказал! —

Бортников вынул из-за пазухи свернутую вдвое тетрадь.— Смотри! Все рассчитано тут: сколько какой бригаде каких удобрений, куда возить на конях и куда на салазках, сколько с какой коровы и какой доярке добиться удоя. Полный план.

Уверенность, с которой председатель говорил о будущем; волнение, с которым он вспоминал о прошлом; то, что, вспоминая, он прежде всего рассказал о колхозных хлебах и конях и лишь вскользь коснулся трудодней,— все это были частности, но чутье опытного партийного работника помогло Андрею уловить за частностями общее: от слова к слову полнее выявлялось лицо коммуниста.

Пришло то чувство, которое связывает крепче всяких родственных и дружеских чувств. В чем оно заключалось, Андрей не мог бы точно определить; было ли это единство цели, сходство в складе мыслей, общность в самом жизнеощущении, ни с чем не сравнимое высокое доверие соратника к соратнику или все это вместе взятое — он не мог бы сказать, но оно было тем главным, чего он искал в людях прежде всего и ценил больше всего. Это особое чувство Андрей называл про себя «чувством партийности».

На лице Андрея появилось то оживленное, мальчишеское и открытое выражение, которое очень меняло его и необыкновенно шло к нему.

Они сидели друг против друга: маленький, светловолосый, подвижной Андрей и рослый, темный, мрачноватый Василий — совсем разные и в то же время чем-то похожие друг на друга, одинаково увлеченные разговором.

— Тебе будет трудно,— говорил Андрей,— особенно вначале. Но знаешь, что окажется самым увлекательным и характерным? Быстрота подъема. Ты летал когда-нибудь на самолете? Стоит на земле этакая махина, кажется — с места не сшевельнуть. И вот она сдвинулась. В первый момент с трудом, неуклюже, неровно побежала по земле — и вдруг оторвалась, и вот уже летит выше, быстрее, ровнее с каждой минутой. Я несколько раз видел, как росли слабые колхозы с приходом хороших руководителей, и каждый раз поражала меня именно быстрота подъема. Правда, такого слабого колхоза, как ваш, мне не случалось видеть, но я уверен, что и вам предстоит то же самое!

Увлекшись беседой, Андрей свободно отдался ее течению, забыл о необходимости направлять ее, но тут же одернул себя.

Деловой разговор был для секретаря райкома работой необходимой, любимой и увлекательной, но требующей напряжения и целеустремленности. Он уже уяснил себе

сильные стороны председателя, но это было только половиной дела; предстояло найти его слабые места, и, продолжая «прощупывать» его, Андрей спросил:

— Ну как же, Василий Кузьмич, думаешь ты поступить с теми, кто стоит к колхозу задом, а к лесу передом?

Подвижные, словно подрезанные у основания ноздри чуть дрогнули:

— Я их приведу к порядку, будь спокоен, Андрей Петрович. Поймут! Большинство из них уже сейчас уразумели, в какую сторону им смотреть. А которые сами не повернутся, тех и силóм поверну.

Резкое слово неприятно резнуло Андрея. Он сразу насторожился:

— Как это «силóм», Василий Кузьмич? Если меня поворачивать «силóм» к молочным рекам, кисельным берегам, так я и киселя не захочу.

— Захочешь! — неожиданно сказал Бортников, усмехнувшись своей внезапной, веселой и жестковатой усмешкой; он улыбался, будто хотел пошутить, но в голосе его звучало полное убеждение.

«Это серьезней, чем кажется,— думал Андрей.— Однако он будет трудноват...» — Не дело говоришь! Одного повернешь к себе «силóм» — десять других отвернутся от тебя. С кем будешь поднимать колхоз? В одиночку? Слышал ты такую морскую присказку: капитан без матросов — никто, а матросы без капитана — команда. Если ты имеешь дело с врагом, то гнать его надо и судить. Если перед тобой свой, советский человек, то надо его брать не силой, а убеждением.

Оба замолчали.

В тишине отчетливо раздавались шаги Андрея, ходившего по комнате.

Андрей остановился против Василия.

— Убедить людей, зажечь их, добиться того, чтобы они сами повернулись к тебе лицом и пошли за тобой! Идти впереди народа, но обязательно вместе с народом. А ты — «силóм»!.. Не с такими словами надо начинать работать, Василий Кузьмич!

Василий слушал, опустив глаза.

— Да ведь это так сорвалось... случайное слово...

— У тебя теперь случайных слов нет. Ты председатель колхоза, ты депутат сельского Совета, каждое твое слово раздается на четыре села. Ты представитель Советской власти, твоими словами теперь Советская власть говорит, Василий Кузьмич!..— Андрей прошелся по комнате, потом сел и сказал уже другим, обычным, деловым тоном: — Дам я тебе письмо, поезжай насчет обмена семенного фонда. Приедешь ко мне еще раз к трем часам. Снаряжу

к тебе передвижную библиотеку, пошлю агитатора. Захватишь с собой. Ты в кошевке или розвальнях?

После значительных слов, сказанных Андреем, Василию странно было слышать о каких-то кошевках и розвальнях.

— В розвальнях,— медленно ответил он, с трудом перестраивая мысли на новый лад.

— Ну, добре! Значит, все усядетесь! До скорой встречи, Василий Кузьмич!

Секретарь встал и маленькой крепкой рукой энергично тряхнул руку Василия.

Василий поднялся, расправил плечи и, освобождаясь от утомившего напряжения, так вскинул голову, что сизо-черная прядь волос взметнулась над мохнатыми бровями.

Тяжело и осторожно ступая, словно боясь поскользнуться на блестящем полу, он шел к двери. Андрей смотрел ему вслед:

«Хорош! А пока не наберется опыта, глаз с него спускать нельзя. Чересчур «самовит», властен, горяч. Но все-таки хорош! Еще и сам толком не пойму чем, а пришелся по душе. Но смотреть за ним надо в оба!»

Он закурил папиросу, подошел к окну, открыл форточку. При виде искристой и снежной улицы ему почему-то сразу вспомнилась Валентина. Скоро она приедет и будет работать в районе. И можно будет вот так подойти к окну и вдруг увидеть ее! Одна мысль о такой возможности сделала его счастливым.

В комнату, клубясь, шел холодный, влажный воздух. У крыльца стояла гнедая кобылка, запряженная в розвальни. В розвальнях на соломе сидели председатель сельсовета и две женщины.

«Сельсоветская, видно, кобылка, выездная. Хорошо выходили!» — полюбовался Андрей.

С крыльца легко сбежал Бортников.

На улице он совсем не казался таким громоздким и тяжелым, как в комнате, а, наоборот, был ловок и легок в движениях. Сильная фигура его в рыжем, туго перетянутом ремнем полушубке была под стать широкой сугробной улице, снежному простору, сверкавшему вдалеке. Очевидно, утомившись от долгого сидения и напряженного разговора, он радовался возможности двигаться, шевелил широкими плечами, похлопывал рукой об руку.

Он отвязал коня, вскочил в розвальни и натянул вожжи. Он правил стоя, прогнувшись назад и закинув красивую голову. Кобыла капризничала, играла и норовила свернуть с дороги.

Василий туже натянул поводья, усмехнулся и лихо, озорно зыкнул на нее:

— А ну, слушай советскую власть!

Он и красовался, и гордился собой, и подсмеивался над собой. Все засмеялись. Засмеялся и Андрей за окном кабинета, любуясь удалой повадкой председателя.

— Атаман! — И еще раз повторил самому себе: — Нет, хорош, хорош человек! Нелегок, а хорош! Хорош и просторен... не по-нашему, не по-кубански... свой у него размах, но есть это в нем.

Кобылка взяла рысью, и комья снега ударили из-под копыт.

Андрей закрыл форточку.

Оттого, что дела в районе шли на подъем, оттого, что новый председатель отстающего колхоза оказался подходящим и надежным человеком, от мыслей о скором приезде Валентины и оттого, что утро было празднично-ярким, у него было хорошо на душе.

Часы показывали девять.

Андрей открыл дверь. Навстречу хлынул знакомый, приглушенный шум райкомовского рабочего дня. Несколько человек ожидали в приемной. За стеной стрекотала машинка. Секретарша, загородив телефонную трубку ладонью, говорила:

— Карповка! Почему перебили? Алло! Станция, Катя, почему не следите за телефонами райкома? Зачем разъединили? Карповка, высылаем агитатора завтра! Алло!

— Крепежа дали сто двадцать к плану. Три бригады соревнуются на трелёвке, — оживленно рассказывал соседу человек в дубленом полушубке.

— Четыреста тонн одного суперфосфата, как тут не быть урожаям?! — слышалось в углу.

Жизнь привычно и неумолчно плескалась, до краев наполняя небольшую комнату.

Андрей остановился на пороге комнаты, как останавливаются на берегу перед прыжком в воду. На мгновение ему вспомнились детство, Ока и он сам, русоголовый парнишка, разрезающий плечом волну.

Захотелось ринуться разом в привычный поток районных дел и плыть в нем, упорно ведя свою линию, подчиняя его своей воле.

Быстрым взглядом окинув всех присутствующих, он безошибочно выбрал того, кто приехал по самому важному и срочному делу — лесозаготовителя с ведущего лесоучастка, — и весело сказал ему:

— Сергей Сергеевич, давай ко мне!

Полным ходом шел обычный райкомовский день.

3

ВЕРЕВОЧКА

Каждый раз, когда Василий обходил хозяйство, он тяжелел от досады и горечи.

«Товарищи по госпиталю письма пишут, что в колхозах у них культура и богатство. На соседей поглядишь — подъем и порядок. А я день и ночь мечтал о нашем колхозе, думал, у нас как у людей, еще лучше стало, чем было,— и вот те на!»

В помещении ферм, которые когда-то были гордостью всего района, стояли тощие кони и коровы.

— Я наших коней от людей прячу, как девка чирей,— скорбно объяснил Василию конюх Петр Матвеевич.

Он стоял, расставив длинные ноги, уныло и смущенно теребя седую бороду.

Был он родом из соседней деревни Темты. Когда-то темтовцы гордились тем, что происходили якобы не от староверов, а от стрельцов, сосланных в Угренские леса после стрелецкого бунта, еще при Петре Первом. Были темтовцы высоки, могучи и осанисты, а Петр Матвеевич до войны даже среди сородичей выделялся ростом и дремучей бородой необыкновенного фасона: густая, кудрявая, золотистая, она расходилась на две стороны и прикрывала шею и грудь двумя широкими лопатами.

Василий всегда смотрел с почтением и завистью на могучую фигуру старика и в молодости старался подражать его достойной осанке и степенной речи. Теперь ему тягостно было видеть унылое лицо и согнутую спину Матвеича.

«Захирел старик, зачах, под стать коням»,— подумал Василий.

— И с чего же это началось?— в десятый раз себя и других спрашивал он.

Поразмыслив, Матвеич сказал задумчиво:

— Пожалуй, что с Валкина это пошло. Сперва были много им довольны. Он мужик тихий, уговорный... Все бывало «голуба душа» да «голуба душа»... поговорка это у него была. Хлеба на трудодни выдал полной мерой. Ну, бабы, конечно, рады! Валкину от народа почет и уважение, а как подошел сев — глядь-поглядь, а сеять-то нечего! Доголубились! Стали зерно обратно собирать с колхозников... Тоже меня снаряжали ходить,— с неудовольствием вспоминал Матвеич.— «Ступай, говорят, тебя, говорят, народ посовестится». Ну, насобирали незнамо что: не то зерно, не то мякина. Валкина, конечно, сняли, однако с этого хлеб не вырастет! Клеверища, конечно, не стали

распахивать,— их пахать тяжело, все одно что целину. Они у нас ельником заросли. Севообороты нарушились. Так и захудали. С того и пошло! Землю вовсе остудили. Ныне у нас не то что скотного навоза, а синица-то на наших полях помет не мечет. И синице у нас позариться не на что! Так и стали мы самые отстающие из всего району. Сперва мы еще обижались, когда нас «отстающими» называли, а потом приобвыкли. И имя-то свое потеряли!.. Не колхоз «Первое мая», а «отстающий». Как на совещании в Угрене заговорят «отстающий», так мы затылки чешем: про нас, значит.

Только овцеферма принесла Василию неожиданную радость: здесь не чувствовалось упадка, а, наоборот, было явное улучшение по сравнению с довоенным временем.

Когда Василий видел ферму в последний раз, овцы были беспородные и пестрые и только вновь завезенные цигейские бараны Рогач и Беляк выделялись густой белоснежной шерстью. Теперь, когда хозяйка овцеводческой фермы бабушка Василиса привела Василия на ферму, он просиял от удовольствия. Крупные овцы тянули к Василисе белые темноглазые морды из огороженных низкой изгородью загонов, а ягнята, заслышав ее голос, посыпались, как пух, из загонов через маленькие воротца, оставленные для них в изгородях. Они окружили Василису. Доброе, морщинистое лицо ее приняло выражение сдержанной и стыдливой гордости.

«Знаю, что похвалишь меня,— говорили ее лучистые глаза,— да и как тебе не похвалить меня, а мне не погордиться!»

Она наклонилась к ягнятам, гладила их пушистые спины коричневыми сморщенными руками.

— Ишь роятся, словно пчелы над медом. Во многих ли колхозах такие ярочки! Беленькие, пушистенькие, словно облачко в небе!

Огромный баран тянул из-за перегородки горбоносую морду и все пытался поддеть Василия мощным, загнутым в несколько витков, штопорообразным рогом.

— Охраняет!— гордясь бараном, объяснила Василиса.— Он у нас строгий! Только заглядись, зазевайся,— он тебя рогом! Такой распорядительный!

Повеселев, Василий протянул «распорядительному» барану руку. Тот посмотрел искоса, прицелился и ударил концом рога точно в середину ладони.

— Вот какой у него характер!— похвасталась Василиса.— За лето мы подправили стадо на выпасах, сама я с пастухом хаживала пасти, все луговины окрест выходила. Им ведь немного и надо! А нынче снова тощать начали...

«Вот,— думал Василий, уходя с фермы,— там, где

люди не потеряли своего колхозного сознания и совести своей, там и плохой председатель не погубил дела! Ну, председатели плохие, ну, в правлении беспорядок, а вы-то, вы куда глядели?!—мысленно обращался он к колхозникам.—В добрые дни вместе, а в трудный час расползлись по щелям, как тараканы».

Однажды Василий зашел на конный двор. Только что кончился обеденный перерыв, и на конном было людно. Многие пришли за подводами, чтобы ехать на работу—в лес и на поля.

В полутемных стойлах переступали и пофыркивали кони. В приоткрытую дверь падал узкий пучок розоватого морозного света. Присев у дверей на охапку соломы, Матвеич, розовощекий Алеша, сын бывшего председателя колхоза, и Любава Большакова возились с упряжью.

До войны Любава была веселой, говорливой, белорозовой. После того как на фронте погиб муж, оставив ее вдовой с пятью детьми, горе словно опалило женщину. Суровым сделался ее характер, и неожиданно проступила в лице иконописная красота.

— Ну, вот и ладно будет,—жестким, непривычным для Василия голосом сказала она, встала и вывела из стойла буланого жеребца.

Жеребец шел неуверенно, широко расставляя худые ноги. Ребра его выпирали, как обручи. Выпуклые глаза были странно сухи и печальны.

— Эх, народ!—не сдержался Василий.—До чего Буланого довели! Колхозники! Вам не только что людям, а и коням в глаза, должно, совестно поглядеть!

Любава вскинула голову:

— Ты это кому речь держишь?

— А хоть бы и тебе!

Она бросила поводья и подошла вплотную к Василию.

В косом свете, падавшем из открытой двери, темное лицо ее с румянцем, пятнами вспыхнувшим на обтянутых скулах, с глазами, не то темно-серыми, не то черными, нестерпимо блестевшими из-под сдвинутых бровей, показалось Василию таким красивым и таким враждебным, что он отступил.

— Ни на земле, ни на море, ни на небе не сложено еще таких слов, какими тебе меня корить!—жестко сказала Любава.—Ты коня худого увидел, а того ты не видел, как мы в сорок третьем от детей хлеб отрывали, отдавали добровольно для бойцов, для армии, для тебя, председатель?! Ты всех нас поравнял с двумя-тремя лодырями, а они для нас для самих—как болячка на живом месте.

— Наш колхоз в первые годы войны перевыполнял план по хлебопоставкам!—раздался тонкий девичий го-

лос: из дальнего стойла выглянуло круглое разрумянившееся лицо комсомолки Татьяны.

— Вот! План перевыполняли!—подхватила Любава и ближе подступила к Василию. Ее гневное лицо надвигалось на него.— А ты думаешь, каково это—план-то перевыполнять, при наших землях, при той, при ледяной зиме сорок второго?! Когда люди уходили воевать, когда лучших коней отдали армии да когда...—у Любавы перехватило дыхание, она глотнула воздуху и с усилием вымолвила:—...когда наши слезы вдовьи еще на глазах не высохли.—Она опустила плечи, прислонилась к стойлу и, глядя мимо Василия, уже не ему, а самой себе рассказывала:—В тот день, как получила я повестку... про мужа... в тот день впервые за месяц прояснилось сквозь дожди... А у нас овсы не убраны стояли... Жну я овес, а слеза застит свет, и серп в руке идет не идет. Жну овсы, ничего не чую, только слышу, Прасковья надо мной ахнула: «Любушка! Да ведь кровища по всей полосе!» Поглядела я, а у меня ноги серпом изрезаны.—Любава передохнула, тихо стало на конном, казалось, даже кони утихли.—Так-то вот...—заключила Любава.—Не говорила бы я, да ты меня довел своими покорами! Ты всех одной мерой не мерь! Разные есть между нами! Тебе бы прийти да в ножки поклониться не мне, а жене твоей Авдотье, чьими заботами наши коровы живы, да парнишке этому Алешке, что с четырнадцати лет мужскую работу ворочал, да бабушке Василисе—у нее на ОТФ не хуже, а лучше, чем до войны. А ты всех под одно и ко всем с попреками! Не сложились еще те слова, которыми тебе нас корить, которыми тебе перед нами выхваляться! Эх ты, председатель!.. Отойди-ка ты, не стой на пути!

Когда Любава вышла, Василия окружили колхозники. Все заговорили сразу.

— Вот ты упрекаешь нас, что мы севообороты нарушили,—говорил всеми уважаемый пожилой колхозник Пимен Яснев.—Это верно! Нарушили! А почему оно вышло? А потому: когда фашисты захватили черноземы Украины, то легла ее забота на наши плечи. Встала перед нами одна задача: хлеб, хлеб и хлеб!.. Для родины, для армии! В первые годы войны мы хлеба давали больше, чем до войны. Ты это учти—больше! Ну и не хватало на все силы. А главное—в этакую-то трудную пору еще и председатель попался никчемный. В этом корень дела. И народ у нас, конечно, тоже есть всякий. Ну, и своей вины мы тоже с себя не снимаем. Проявили мы слабость в колхозном руководстве, за это и платимся. Только таких, как Любава, грех равнять с лодырями.

Маленький, стройный, сдержанный в движениях и обычно немногословный, Яснев строго и укоризненно смотрел прямо в глаза Василию.

— Что вы мне войну поминаете? Это все былью поросло. Может, в прошлые годы вы хорошо работали, а почему в нынешнем плохо хозяевали? Или ты, Петр Матвеевич, и ты, Пимен Иванович, своему колхозу не хозяева?

Как будто верх в споре остался за Василием, а все же вечером он долго не мог уснуть: все стояло перед глазами гневное лицо Любавы, все слышался ее голос: «Эх ты, председатель!..»

Его томило ощущение какой-то еще самому не вполне ясной ошибки. Он чувствовал, что эта ошибка была допущена им не только на работе, но и дома. Семейная жизнь не ладилась. Внешне все было гладко, не было ни ссор, ни крику, но не было и радости. В доме стояла напряженная, неспокойная тишина.

Однажды под вечер, вскоре после поездки в райком, он с досадой отодвинул от себя кипу бумаг и сказал:

— Концы!.. Хоть один вечер хочу провести не как председатель отстающего колхоза, а как обыкновенный человек. Раздышаться надо! Собирайся, Дуняшка, пойдем вечерять к бате.

Василий давно уже был готов, а Авдотья все еще собиралась, примеряя то одну, то другую кофту.

— Чего ты разневестилась?—окликнул он.

— Да ведь маменька своеобычлива. Боюсь, не осудила бы,—оправдывалась Авдотья.

В синей сатиновой кофте и в темной повязке, бледная, с кроткими, большими глазами, она казалась усталой и испуганной девочкой, раньше времени принявшей на себя бремя бабьей доли.

Василию захотелось обнять ее, но он сдержался. Как стеклянная, невидимая, но непроницаемая стена, стояла между ними взаимная настороженность. Каждый раз, когда ему хотелось приласкать жену, он вспоминал о недавней близости ее со Степаном, и это воспоминание сковывало его. Он сдержался и на этот раз, не обнял ее, но взглянул ласковее, чем обычно, и она сразу встрепенулась, порозовела и по привычке, чуть выпятив суховатые губы, передохнула, словно на миг сбросила с плеч тяжесть.

Василий вышел на крыльцо и остановился, поджидая Авдотью.

Прямо над головой, на чистом, как стекло, небе лежало легкое облако, желтоватое от закатного света. Дом стоял на крутогоре, и с высокого крыльца Василию

видно было подступавшую с правой стороны сплошную стену леса.

Слева до самого горизонта расстилались поля. Твердая снежная гладь блестела на солнце слюдяным и чуть розоватым блеском; только пересекавшая поле взрыхленная дорога синела, как пересыпанная синькой, да тень у дальнего оврага была по-вечернему резка и отчетлива.

Василий расправил плечи, глубоко вздохнул и почувствовал, как по всему телу расходится колючая свежесть.

Авдотья торопливо вышла на крыльцо и остановилась рядом с Василием, укутанная в синюю шубу и в серую пуховую шаль.

Василий не повернулся к ней. Он стоял неподвижно, не отрывая глаз от снежной равнины.

— Солнышко-то! — щурясь на солнце, сказала Авдотья.

— Помнишь, Дуня, раньше батин надел был возле оврага, а оврагом владел Павлович, а дальше шла полоса Конопатовых.— Он усмехнулся.— Тоже ведь «полями» называли мы наши закуты! Хозяйствовали всерьез, как на взаправдашнем хозяйстве.

Теперь он уже не мог представить себе эти поля разделенными, разрезанными на отдельные полосы.

Невдалеке, там, где к полю подходила лесная кромка, вдруг метнулось что-то яркое и легкое.

— Дуня, гляди-ка, гляди — лиса!

В янтарном вечернем свете лиса была огнисто-рыжей. Издали она казалась не больше котенка, но отчетливо видны были ее тонкие ножки, длинный вытянутый хвост и необыкновенная легкость каждого движения.

Она то бежала петлями, то останавливалась, приподняв лапу, как собака на стойке, то припадала к земле, то неслась как стрела, распушив хвост.

— Гляди, гляди, мышкует![1] Ах, зелены елки! — почти кричал Василий, по-мальчишески захваченный зрелищем.

А лиса пошла прыжками, яркая, быстрая, как живой солнечный луч на снегу, на миг расстелилась на земле и вдруг взвилась в воздух в таком высоком прыжке, что Василий ахнул.

Припав мордой к земле, помогая себе лапами и играя хвостом, она теребила что-то неразличимое.

От вида этого зверька, радостно игравшего на снежной равнине, Василий повеселел, и ему показалось, что счастье — вот оно, вокруг, хоть пей его через край, хоть черпай пригоршнями.

---

[1] Мышкует — охотится за полевыми мышами.

Возле поймы, из-за увала, на дорогу вышел мужчина. Он тянул за собой салазки, нагруженные молодыми липами. Приглядевшись, Василий узнал Матвеича и сказал с досадой:

— И этот не лучше других! Надо в поле навоз возить, а он за лыком в лес подался.

На продаже веревки можно было заработать хорошие деньги, и нередко колхозники уклонялись от колхозной работы, шли в лес, рубили молодые липы, обдирали их, мочили лыко и крутили из мочала веревочку.

Сперва Василий не придал этому значения: не липовому лыку идти против пашни! Потом увлечение веревочкой стало раздражать его.

Он задумал организовать веревочное производство с тем, чтобы распределять доход на трудодни, но колхозники на это не пошли.

— Жди, когда колхоз рассчитается! А тут сдал конец — и получай рубль из рук в руки.

Кончилось тем, что Василий возненавидел все напоминающее веревки и, увидев на дороге обрывок, сердито отшвыривал его в сторону.

Глубину веревочной опасности он понял только сейчас, когда увидел Матвеича с салазками, груженными молодыми деревьями.

— Удобрения не вывезены, инвентарь весь расхудился, а они знай крутят веревочку днем и ночью. Ляжет она на мою хребтину!..— сердито бормотал он.

— Что ты, Вася, сердишься? Надо же людям подработать.

— На заячье положение, значит, решили перейти?— язвительно спросил Василий.— Колхоз не прокормит, земля не прокормит, а липовое лыко прокормит? Ох, боюсь я, как бы мне эта веревочка поперек пашни не протянулась!..

Дом, в котором вырос Василий, был обнесен новым забором, таким высоким, какого не имелось ни у кого в деревне.

Серый, похожий на волка пес с хриплым лаем кинулся на Василия. Мачеха Василия, Степанида, вышла из овчарни и замахнулась на пса лопатой:

— Цыц! Цыц тебя, еретик!

Была она высока, статна, с правильными, по-мужски крупными чертами немолодого лица, с веками, всегда полуопущенными над строгими серыми глазами.

— А ведь я как знала, что вы придете! Пирогов с груздями напекла. Дуняшкиных любимых.

Поздоровавшись, она впереди гостей пошла в избу.

Шла она удивительно красиво, шла как плыла, ни один волосок не колыхнулся на ее голове, и Василий, шагая за ней, подумал: «Поставь ей на голову полную стопку водки—и капли не расплещет».

В комнате, обставленной дорогой городской мебелью и множеством комнатных цветов, сидели отец Василия, два брата и гостья, молодая учительница. В углу перед большим киотом горела лампада.

Совсем немного осталось в Угрене староверческих, чтущих старый обычай семей, и в числе этих немногих была семья родителей Василия.

На первый взгляд казалось, что глава семьи—отец. Степанида держалась с мужем почтительно, ни в чем ему не перечила, но в действительности верховодила в доме она.

Еще с давних пор, когда она, красавица, озорная и балованная девушка из зажиточной семьи, полюбила вдовца и бедняка и вышла за него наперекор родителям, у него осталось благодарное и восторженное отношение к ней.

Став хозяйкой дома, она обнаружила неожиданные «таланты»: умела скупить у соседей продукты за полцены и продать их в городе втридорога. Умела подлить воды в молоко, подмешать простоквашу с мукой к сметане и убедить покупателя, что у нее наилучший товар. Она быстро поняла, что муж не способен к подобным «оборотам» и даже пугается их, и раз навсегда порешила держать его в стороне от своих дел. Тем удивительнее казалось ему неожиданное богатство.

Всю жизнь он работал и всю жизнь не мог выбиться из нужды, и то, что с приходом в дом Степаниды достаток пришел сам собой, казалось ему чудом. В семье создалось своеобразное разделение труда, и Кузьма со Степанидой прекрасно ладили. Он ведал «хозяйственной базой», «основным капиталом», надворными постройками и поделками, хлебом, сеном, в ее обязанности входило пустить этот капитал в оборот с максимальной прибылью.

«От тебя в доме хлеб, от меня кисели»,—говорила она.

Постепенно жизнь менялась. Они вступили в колхоз, и труд Кузьмы Бортникова в колхозе становился все весомее и заметнее. Пришло такое время, когда он повез домой тонны зерна и овощей, полученные на трудодни. Это богатство было обильнее, надежнее базарных прибылей Степаниды: уже не только хлеб в доме, но и кисели были не от нее, а от него. Но в нем, старом, хоть и крепком человеке, навсегда сохранилось убеждение, что достаток и счастье семьи зиждется на Степаниде, что без

Степаниды он возвратится к своей прежней горестной жизни, когда он, вдовый, вдвоем с крохотным Василием, жил в покосившейся, пустой избе.

Со своим единственным пасынком Степанида обращалась со строгой справедливостью, ничем не отличала от своих детей. Но Василий не смог с ней ужиться, потому что был не мягче ее характером и потому что, как он говорил, у них были «разные линии жизни».

Впервые увидев трактор, Василий решил во что бы то ни стало стать трактористом. Вопреки родительской воле пошел в школу трактористов и стал работать в МТС. Ему приходилось ездить по разным селам, и всюду он был желанным и удивительным гостем. Мальчишки толпились у трактора, а девчата табунами ходили за Василием. Скоро он стал известным в районе человеком, лучшим трактористом.

Ходил он хмельной—от лютого азарта работы, от районной славы, неожиданно свалившейся на его еще мальчишескую голову, от девичьих песен, слез, вздохов.

Когда через два года ему привелось несколько месяцев пожить у отца, все показалось чуждым, и трудно стало жить в родном доме. Вдобавок ко всему, хотелось погулять, а Степанида была из тех, при ком не разгуляешься. Воспользовавшись первым предлогом, Василий ушел из семьи.

С годами семейные несогласия и распри забывались, и все ярче становились воспоминания тех лет, когда смородинник на огороде еще казался таинственной и заманчивой чащобой, когда впервые отец посадил его на коня, когда впервые солнечным утром он вместе с отцом пошел по пашне за бороной.

Василий очень любил отца. Отец был кроток, заботлив, на редкость трудолюбив и способен к любому мастерству: пахарь, кузнец, плотник, сапожник, пимокат,—он все делал с такой любовью и искусством, что работа с отцом маленькому Василию казалась увлекательной, как игра.

Василий отодвинул цветы на лавке и сел рядом с отцом.

В комнате стоял милый сердцу Василия запах кожи.

Отец, чернобровый, смуглолицый, с волосами, серебряными от седины и еще сильнее оттенявшими черноту лица, набивал заготовки на колодку. Его сухие руки то и дело касались Василия.

Младший брат, семнадцатилетний Петруня, «последыш», как его звала Степанида, тоже сапожничал, сидя у окна на низкой скамье, наполовину закрытой пышной

зеленью фикусов и тераней. Чернобровый и черноглазый, как отец, белизной лица и льняными кудрями он пошел в мать. Был он мастер на все руки, озорник, непоседа, и его, единственного из всех сыновей, отец не раз стегал чересседельником.

Степанида и сноха Анфиса шили, а второй брат, белокурый плотный Финоген, разговаривал с учительницей.

Финоген работал в лесозаготовительной конторе, считал себя городским человеком и растил бородку клинышком.

Откинувшись на стуле, он слегка позировал перед учительницей и говорил с апломбом, но с искренним оживлением. Разговор шел о книгах. В семье любили разговоры на высокие, отвлеченные темы. Финогена все слушали с удовольствием, гордясь его умом и образованностью.

— «Обрыв» — это, безусловно, стоящая книга,— говорил Финоген.— Я ее прочел и опять же в другой раз прочел. Вера хотя и умная, но, безусловно, пропащая, порченая, как раньше бывали кликуши. Ну, а Марфинька — эта и хозяйственная, и из себя ничего, однако настоящего серьеза в ней нет. Хотя кто ее знает? — Финоген склонил голову набок и продолжал с сомнением: — Может, еще подрастет, остепенится? Хотя ведь не больно и молода, годков двадцать ей, как я полагаю. Марк — это мужик, как все мужики. Он свое взял — и ищи свищи! А Райский — это хлюст. Этаких и сейчас много скачет. Это, безусловно, самая вредная порода. А вот кто хорош, так это бабушка — умная, рассудительная женщина, ничего не скажешь! Она хотя и путалась в молодости с соседом, но себя не уронила. Годков пятнадцать сбросить, так лучшей жены не надо.

— Для кого же ты жену по книжке ищешь-лищешь? — спросила Степанида.— Или себе вторую приглядываешь по нынешним обычаям?

— Это я о Петруньке беспокоюсь,— усмехнулся Финоген.

Петр приподнял голову. Из-за листьев герани блеснула улыбка, такая же быстрая, как у Василия.

— И то правда, побеспокойся обо мне, братушка, а то я сам не угадаю невесту выбрать!

— Не об этом тебе надо думать! — нахмурилась Степанида и ласково обратилась к учительнице: — А вот вы, красавица моя Елена Степановна, почему замуж не выходите? Девушка вы красивая, образованная, одежда у вас нарядная, чай, вам от женихов отбоя нет. Чего ж вам жить в одиночестве?!

— Она меня дожидается!—опять сверкнул зубами Петр из-за пышной зелени.

— Не пойдет она за тебя, за озорника. У нее хороших-то женихов, чай, пруд пруди!

Степанида прекрасно знала, что учительница живет одиноко. Разговор о женихах она завела отчасти из любопытства, а главное, от скрытого желания сказать что-нибудь неприятное «чужой», которая, на взгляд Степаниды, живет легкой жизнью и держится барышней, не имея ни мужа, ни приданого, ни дома.

Учительница покраснела, улыбнулась и сказала:

— Во время войны не до женихов было, Степанида Акимовна. А теперь я думаю поступать в педагогический институт. По новой пятилетке учебных заведений будет еще больше, чем до войны. Скоро у нас все учителя будут с высшим образованием, и мне не хочется отставать от людей.

Когда учительница собралась уходить, Степанида долго уговаривала ее:

— Оставайтесь ужинать, красавица наша! Не побрезгуйте нашей необразованностью!

А когда учительница ушла, Степанида плюнула:

— Тьфу! Обтянулась кофтой, ровно голая ходит!

— Учительница!—неодобрительно сказал отец.— Платье выше колен. Чему такая научит?

И снова повеяло на Василия тем спертым воздухом, от которого он бежал когда-то.

— За что обсмеяли девушку?—нахмурившись, сказал он.—Она подобру пришла к вам, а вы... Слова у вас—как угар!.. Нынче днем заглянул я к Любаве Большаковой, вдова, живет с пятью детьми, трудно ей, а дышится легче, чем у вас, словно воздуху в избе больше. А к вам войдешь—как в погреб сунешься.

— Чего ты вскинулся?—отозвалась Степанида.—Уж и пошутить нельзя? И «погреб»-то тебе, и «угар»! Садись-ка лучше к столу, чем честить отцовскую избу.

Она поставила на стол чашку кислых щей, нарезала хлеб, выложила ложки.

— Садитесь к столу... Благослови, отец...

Ели из одной миски, ели обрядно, неторопливо, чинно, соблюдая черед, ели так, словно делали очень важное дело. Разгóворов за столом не полагалось, и только изредка перекидывались фразами:

— Передайте хлеб...

— Бог спасет...

Когда выхлебали почти всю юшку, отец постучал по миске ложкой и коротко сказал:

— Таскать!

Тогда стали черпать юшку со дна вместе с говядиной. После щей ели холодец, картофель с маслом и солеными огурцами, пироги с груздями. Перемен было много, но ели от каждого блюда помалу,— таков был обычай.

Напоследок Степанида подала самовар и в честь гостей — бруснику в меду, земляничное варенье на сахаре и смородиновое на патоке.

После ужина, когда сноха убрала посуду, Степанида сказала:

— Не люблю, когда руки опростаны. Давай-ка, сношенька, покрутим веревочку.

— Опять веревочка! — с досадой сказал Василий.

В нем еще не улеглось раздражение, вызванное насмешками над учительницей.

— А чем тебе веревочка не угодила?

— А уж одним тем, маменька, что она из чужого лыка! Богу молитесь, а за лыком тайком ходите в чужой лес!

Василий знал, что говорит лишнее, но в характере у него была иной раз доходившая до грубости прямота. Он, как всегда, хотел и не смог сдержаться и сердился за это на себя, на Степаниду, и черные глаза его неспокойно блестели.

Степанида нахмурилась. Она не хотела ссоры, но и уступить не могла

— Леса не чужие и не наши. Леса — от бога.

— Капуста у вас на огороде тоже от бога, а попробуй прийти кто-нибудь по капусту, не спросясь вас?

— Леса не сажены, земля под ними не копана... А ты для отца с матерью липового лыка пожалел?

Братья и отец молчали. Сноха сказала торопливо:

— Не мы, так другие лыко-то обдерут. Все равно, не мы, так другие.

При этих словах Петр усмехнулся, и вскинул странный, остро-наблюдательный взгляд на отца. Лицо отца одеревенело, глаза скрылись под бровями.

— Хочется же людям подработать,— продолжала сноха.

— Ну, вы, я гляжу, в этом не нуждаетесь,— отозвался Василий.

— А давно мы поднялись? Нам не сладко приходилось. Давно ли отец-то мельником стал? Всю войну на конном канителился.

Слова Степаниды хлестнули Василия.

«Поняла ли она, каким словом обмолвилась?»

Сразу всплыли в уме недомолвки и смутные намеки, которые он слышал. Сразу стало жарко и неловко сидеть. Он отодвинулся от стола так, что стул загрохотал по

полу, и, еще не успев обдумать своих слов, сказал:

— Ну и что же, что мельник? На конном дворе и на колхозной мельнице не одни трудодни?

Наступило молчание, такое напряженное, что Василий услышал дыхание отца и отчетливое тиканье часов.

Финоген наклонил голову, Анфиса засуетилась у стола, и только Петр оставил работу и в упор, с острым любопытством смотрел на отца и на Василия.

Степанида выпрямилась:

— Ты к чему это подводишь? Отца с матерью хочешь судить? Ты бы сказал нам спасибо, что в сорок втором мы с отцом твоих дочерей выкормили, из сил выбивались.

Василий едва слышал мачехины речи. Мысли его метались, вытесняя одна другую.

«Новое зеркало. Три сорта варенья к чаю. Новый забор. Последний год на трудодни давали совсем мало. Как же это?..»

Отец встал и подошел к Василию. Лицо его было не гневным, не обиженным, а напряженным, жалостным и непонятным.

С обострившейся, как перед разлукой, любовью смотрел Василий на это морщинистое лицо.

«Батя, отец, тот самый, для которого одна радость в жизни—работа. Он сам так жил и нас тому учил. Что он сейчас скажет? Выгонит ли из дому за незаслуженную обиду? А вдруг еще хуже... вдруг?.. Мне ли судить его?»

Сухие губы отца дрогнули и скривились, но с них не слетело ни звука.

— Что вы, в самом деле?—громко заговорил Финоген.— Батя на седьмом десятке работает рук не покладая. Всю мельницу своими руками переделал. В колхозе его ценят, отказа ему ни в чем не дают. И хватает у тебя совести?..

В комнату вошла соседка. Василий с облегчением вздохнул.

Все приняло мирный вид: в семье был неписаный и нерушимый закон—сора из избы не выносить.

Василий и Авдотья стали прощаться.

В сенях им попался моток веревок. Василий со злобой отшвырнул его ногой.

— Только возьми эту веревочку за конец, как она вокруг тебя замотается в моток.

Ночью он долго не мог уснуть.

«Какую обиду нанес я бате! Хорошо, что хоть словами ничего не выговорил, все между слов прошло. И чего встряла мне в голову эта дурь? Хозяйственно живут—вот и все. А люди от зависти наговаривают. Финоген на лесоучастке работает, отец с Анфисой—в колхозе, да

огород, да скотина, да на базаре никто так товара не продаст, как наша Степанида. Ей за одну осанку втридорога дают. Да сапожничают, да плотничают, да столярничают всей семьей — минуту без дела не сидят. Как тут не быть достатку?»

Это соображение успокоило его, но сон не приходил. В темноте слышалось причмокивание маленькой Дуняшки. Все вокруг было покойно и тихо, а на сердце у Василия не было покоя, и в мыслях у него не было ясности.

От мирного вечера, проведенного в отцовском доме, остался мутный осадок, а вспоминать о презрительных, горьких словах Любавы, отчитавшей его, почему-то было отрадно. «Как будто она и простая, наша жизнь, а не сразу докопаешься до донышка, не сразу разберешь, что худо, что хорошо. Нынче к бате я шел погостить, отдохнуть, а вышел от него с такою тяжестью на сердце, что лучше бы мне не переступать его порога. Вчера отчитала меня Любава, как сукина сына, а я теми словами дорожу. И почему-то я как вспомню Любаву, так и перекину мысли на Петровича. Что он тогда говорил, то и стало. Лучше бы мне его слушать, не честила бы меня своя же колхозница!»

Василий вздохнул и заворочался в кровати.

— Не спишь, Вася? — тихо сказала Авдотья. — Может, подушка плохо взбита? Может, мою возьмешь?

«Какие там подушки, об них ли забота!» — подумал Василий и коротко ответил:

— И так ладно...

Оба они помолчали минуту, потом Авдотья снова заговорила:

— В телятнике, Вася, полы бы перестлать надо...

— Не до телятника сейчас... Это — дело третье... — ответил Василий с досадой на то, что жена отвлекает от того большого, что наполняло его; мысли, как щупальца, тянулись то в ту, то в другую сторону.

Он должен был не только понять всю сложную, кипевшую вокруг него жизнь, но и направить эту жизнь по верному пути.

«Мне надо колхозную жизнь вести по нужной линии, а я еще своей-то собственной линии не определил, как должно. Как сделать, чтоб люди без моих окриков и попреков сами за мной пошли? Как повести мне свою партийную линию с народом? Жадность к делу у меня есть, а опыта нету».

Ему вспоминались довоенные годы, когда в колхозе работали и Афанасий Лукич, и другие коммунисты, когда была сплоченная, слитная, как одна семья, партийная организация.

«Скорее бы Буянов приезжал! — думал он. — Петрович обещал третьего коммуниста, тогда будет своя партийная организация, тогда сразу мне полегчает. Только кто же третий? Хорошо бы, прислали делового, опытного мужика. А как пойдет партийная работа, так и рост начнется. Через год, два, глядишь, колхоз как колхоз, с партийно-комсомольским ядром, с беспартийным активом — все как у людей».

Утешенный этими мечтами, Василий начал дремать, когда странный, прерывистый звук раздался рядом. Он прислушался. Дыхание Авдотьи было неровным.

«Плачет она, что ли?»

Он сел, зажег спичку.

Глаза ее были влажными, но она зажмурилась, стала тереть их ладонями и сделала вид, будто только что проснулась.

— Ты чего? — спросил он.

— Ничего, заснула было... — торопливо сказала она.

Он понял, что она плакала и не хотела, чтобы он видел это.

Он погасил спичку и лег.

«О чем она плачет? Все простил ей, простил, как обрезал, ни упрека, ни худого слова... О чем ей плакать? О Степане? Его вспоминает? Эх, бабы! Тут с колхозом беда, не знаешь, с какого краю подступиться, за какой конец вытаскивать, а у нее одна забота — о полюбовнике лить слезы... Когда бы я ругал ее или допытывался о том, что было... Все стерпел!.. Все принял в молчок!.. Нет!.. Плачет!..»

Он рывком повернулся спиной к ней и отодвинулся на край кровати.

4

«ВАЩУРКА»[1]

Однажды, в дни первой славы тракториста Василия Бортникова, на поляне у реки Усты, где собиралась по вечерам молодежь, затесалась между взрослыми парнями и девушками молоденькая девчонка лет четырнадцати.

В горелки ли играли, в кошки-мышки ли бегали, вальс ли танцевали, девчонка так и вилась между взрослыми, бегала всех быстрее, хохотала всех заливчатее. Вдруг вылетит ветром из-за темных елок, обнимет взрослую подругу, опрокинет ее на траву, защекочет, засмеется и

---

[1] Ва́щурка — ящерица.

скроется, как потонет в ночном воздухе, и через минуту легче ласточки мчится через всю поляну с чужой фуражкой в руках, с хохотом и визгом, а за ней гонится кто-нибудь из ребят:

— Дуняшка, скаженная, отдай!

Молодежь разбивалась парами, слышался шепот, сдержанный девичий смех; едва ли не главным интересом этих ночных гулянок на берегу были сердечные волнения, приглушенные слова, тайные поцелуи и сцены ревности, и только девчонка была без пары: она не участвовала в сердечной путанице, да и не нуждалась в ней.

Легкая, словно захмелевшая от ночной высоты, пересыпанной звездами, от воздуха, густо пахнувшего сосной и речной влагой, она кружилась так же бездумно и вольно, как кружатся над рекой на закате ликующие стрижи, ныряя в воздухе, наслаждаясь простором, быстротой, стремительностью полета.

Василий подбросил в костер сухую сосновую ветку. Искры снопом взлетели в небо.

Ребята стали прыгать через высокое пламя, а девушки смотрели, ахая:

— Дуняшка, обгоришь! Батюшки! Да держите вы ее!

А девчонка со сбившимся на русых волосах платком, тонко и отчаянно визжа, бежала к костру, подбежав, ахнула, взвилась и, тоненькая, гибкая, перелетела через пламя. Только белый платок ее свалился в костер, и подхваченный ветром летучий огонек понесся по поляне. Его поймали и потушили.

— Ловко ты скачешь, девчонка! — Василий хотел поймать ее, но она выскользнула, смеясь, изогнувшись, и скользнула в кусты.

— Ва́щурка, — сказал Василий, глядя ей вслед.

Прошел год. В день урожая чествовали лучших людей колхоза и лучших людей МТС.

Василий стоял на своем тракторе, держа в руках переходящее знамя, и говорил речь.

Трактор был весь увит гроздьями спелой рябины, алая кисть свешивалась с фуражки Василия. Стоял Василий у самого края вспаханного его руками просторного поля, изумрудного от дружной озими, стоял под знаменами, которые, шевеля шелковыми кистями, то и дело касались его щек. Стоял, чувствуя на себе сотни взглядов, красуясь, гордясь собой.

— Вот она, земля наша, как шелком закинута, цельная, неделимая, без межей, без латок, без чересполосицы. Цельная она, как наша жизнь! Неделимая, как наша с вами судьба, товарищи!

Его слушали тихо, и среди сотен глаз, устремленных на него, все время виделись ему и странно тревожили его одни глаза, широко открытые, блестящие, с напряженным, радостным взглядом.

Когда Василий кончил речь и сошел с трактора, отвечая на поздравления, шутки, вопросы, он думал: «Кто же это глядел на меня так? Да вот они опять, эти глаза! Да ведь это та самая — Ва́щурка!»

Девчонка была все такая же тоненькая, как в прошлом году, но ее овальное личико с мягкими, по-детски расплывчатыми чертами стало взрослее, и держалась она совсем иначе: тихо и чинно сидела среди подружек.

Когда народ разгулялся, когда разошлась, захлебнулась — не передохнуть — гармоника, парни стали подсаживаться к девушкам.

Василию тоже полагалось выбрать «пару» среди многих глядевших на него девушек, но ему было так легко и радостно в этот день, что не хотелось никаких тревожных чувств и любовных волнений. «Подойдешь к ней на минутку, а она об тебе год будет сохнуть! Ну их всех!»

Расталкивая толпу подростков, он подошел к девчонке и шутливо сказал, примериваясь сесть рядом:

— Не прогонишь меня, Ва́щурка?

Она вспыхнула, как огонь. Он сел рядом с ней и весь вечер шутливо ухаживал за ней.

Это не накладывало на него никаких обязательств: девчонка была еще слишком молода, все понимали, что он шутит. И он чувствовал себя беззаботным и веселым.

Девчонка хорошо танцевала, а когда он устал и прилег на траву, она запела ему слабым, но очень чистым и верным голосом.

Прощаясь, он даже не поцеловал ее и ушел с ощущением легкости и чистоты.

С тех пор он иногда танцевал с Ва́щуркой, провожал ее до дому и полушутя ухаживал за ней. Когда он долго не видел Ва́щурку, ему уже не хватало ее тоненьких песен, ее глаз, полных счастливого ожидания.

Они часто встречались зимой, а летом им пришлось работать вместе в поле. В работе она не уступала взрослым и была неутомима.

Василий уже привык к Дуняшке, носил вышитые ее руками кисеты и платки.

Все это не мешало ему гулять с другими девушками.

К Дуняшке он ходил тогда, когда ему хотелось отдохнуть, послушать песни и беззаботно полежать под звездами на лужке.

Это продолжалось до тех пор, пока соседка не сказала ему:

— Совсем ты присушил девку, так и шныряет мимо дома!

— Это которую еще? — усмехнулся Василий.

— Да Дуняшку Озерову.

— Какая Дуняшка девка? Девчонка она!

— У таких девчонок в старое время свои девчонки водились. Уж, гляди, невеста!

Этот разговор обеспокоил Василия. Он и раньше знал, что Дуняшка в нем души не чает, но относился к этому легко и шутливо. Пораздумав, он понял, что зашел дальше, чем нужно, и решил покончить разом.

Провожая девушку до дому с гулянья, он сказал:

— Ну, Дуняшка, давай прощаться. Нам с тобой больше не гулять.

Она подняла на него испуганные глаза.

— Почему, Вася?

— Ты уж теперь большая. Шутить с тобой теперь не пристало, а в невесты ты еще не вышла, да и я еще не собираюсь жениха́ться.

В лунном свете он увидел, как обострилось и окаменело ее лицо. Он думал, что она заплачет, кинется ему на шею. Он чувствовал себя виноватым: давно знал, что девчонка не на шутку привязалась, да не хотелось об этом думать, не хотелось беспокоить себя заботами.

Глядя на ее помертвевшее лицо и огромные, налитые слезами глаза, он уже готовился утешать ее и оправдываться. Но она не проронила ни слезинки, не молвила ни слова упрека. Опустив голову, она сдержанно сказала:

— Если так, то до свидания вам, Василий Кузьмич! — и не спеша поднялась на крыльцо.

Это удивило Василия.

Всяко приходилось ему расставаться с девушками, но такого спокойного достоинства еще не случалось видеть.

Уходил Василий встревоженным, пристыженным и думал: «А ведь хороша девчонка-то! И не злоблива, и разумна, и характерна, даром что молода!»

Через месяц после прощания одна из Васильевых незадачливых «ухажерок» приревновала не по адресу и из мести сочинила про Дуню и Василия оскорбительную частушку. Частушка пошла гулять по деревне.

От души пожалев Дуню, Василий пришел к ней. Надолго запомнилась ему эта встреча. Был вечер, и прозрачное летнее небо чуть розовело.

Дуня поднималась на крыльцо с серпом в руке, — видно, только пришла с поля.

Когда он ее окликнул, она испуганно обернулась, выронила серп и, побледнев, полуоткрыв губы, прислонилась к столбу крыльца.

В ее полудетском лице было столько печали и так горестно и невинно было выражение ее полуоткрытых бледных губ, что у Василия дрогнуло сердце.

— Ругает тебя мать-то, Дуня?

— Нет... жалеет...

Василий понимал, что он, взрослый, опытный человек, обязан был уберечь девушку от клеветы.

Ощущение вины угнетало его. Василий привык чувствовать себя правым перед людьми.

Повинуясь внезапному побуждению, он усмехнулся и сказал со свойственной ему быстротой решений:

— Что ж, Дуняшка!.. Коли уж так вышло, коли уж побасенки про нас сложили... В крайности, я не отказываюсь... Засватаю тебя, если хочешь. Придет время, повенчаемся...

Он сказал и сам испугался своих слов. А вдруг она разом ухватится за эти слова? Прощай тогда казацкое житье!

Она покачала головой:

— Когда бы ты любил меня, Вася, мне сплетни эти были бы нипочем. Когда бы ты меня любил, я бы собой не подорожилась. А если ты меня не любишь, так на что мне венчаться? Не то у меня горе, что люди меня оговорили, а то...

Она не докончила и наклонилась за серпом, чтобы скрыть слезы.

Аккуратно повесила серп на перекладину крыльца, передохнула и только тогда повернулась к нему:

— Иди уж, Вася...

И снова он ушел с непонятным ощущением тревоги, вины, удивления...

МТС перевели в соседнее село. Василий уехал и долгое время не видел Дуняшку.

Встречаясь с другими девушками, он невольно сравнивал их с ней и, удивляясь, думал:

«А ведь Дуняшка-то лучше!»

Он уже отгулял свое, повзрослел. Гулянки, песни, девичьи вздохи уже не манили его, как прежде.

Однажды Дунина подружка сказала ему:

— Ты знаешь, Дуняшка вошла в славу! Картофеля собрала четыреста центнеров с га. В районе выступала с докладом. Она выработала семьсот трудодней, а мать с сестренкой — четыреста. Четыре тонны зерна повезли домой. Снимали их для газеты. А уж Дуняшка-то похорошела, налилась, не узнаешь! От женихов отбоя нет!

— Ну и что?

— Нейдет. Всем дает отказ. Федор Петров два раза сватал, она ему напрямик сказала: «Как же я за тебя пойду, Федюшка, если я о другом мечтаю?»

Василий решил написать Дуне письмо. «Твоя дума пала на меня,— писал он.— Приходи под ту сосну, где встречались».

Он пришел раньше нее и залег в траву.

Какая она придет? С укором, с недоверием, с грустью, со старой обидой, с перекипевшими слезами? Надо будет утешать, уговаривать. Если и поплачет, его вина, ее право. Или она придет молчаливая, настороженная? Или придет беззаветная, кроткая?

За лесом мелькнуло ее платье. Дуня не шла,— бежала.

Она прибежала, одетая во все новое, такая сияющая, словно не было позади ни обиды, ни трудных месяцев одиночества и ожидания.

Не было ни тени сомнения, ни упреков, ни слез. Она так доверчиво и простодушно раскрылась навстречу радости, так играла, так пела, так оглаживала каждую травинку на лугу, что у Василия защекотало в горле. «Такую обидеть — все равно что малого ребенка зря прибить»,— думал он, лаская ее.

За несколько недель счастья Дуня на глазах похорошела, на диво всему колхозу.

В отношении Василия к ней появился новый оттенок. Его грубоватую горячность она переносила испуганно, но терпеливо.

Красота и беззаветность девушки так волновали и притягивали Василия, что однажды он сказал, как бы мимоходом, усмехаясь, но зорко наблюдая за отцовским лицом:

— Женили бы вы меня, батя, пока я хорошую девку не испортил!..

— Не перевелась еще совесть у тебя, у басурмана? — удивилась Степанида и, вытирая руки, присела к столу.— Дуняшку Озерову думаешь сосватать?

— Ее...

На свадьбе Василий много пил и нетерпеливо обнимал невесту.

Когда Дуня вошла в спальню и присела на край кровати, сердце у нее билось так гулко, что сама она слышала его удары.

С той минуты, когда она увидела Василия под знаменем на тракторе, убранном рябиновыми гроздьями, с той минуты, как услышала его горячую, необычную речь, она жила в постоянном счастливом ожидании. Она сама не знала, чего ждала. Какая-то удивительная жизнь, во всю полноту душевных сил, брезжила ей впереди, и Василий был тем, самым лучшим, навеки любимым, с которым она готовилась идти в эту жизнь. Пережитое с ним было радостно, но оно казалось предчувствием чего-то больше-

го. Когда оно начнется, это жданное? Что оно, каково оно?

Какие слова он скажет? Что заповедное откроет? Как начнется ее жизнь с этого часа?

Он вошел, притянул ее к себе:

— Дуняшка, едва я дождался!..

Морозное утро было солнечным. Она лежала, боясь шелохнуться, охраняя сон мужа, и любящими глазами рассматривала его лицо. Тихонько, чтобы не разбудить, перебирала кудри на его голове, чуть дотрагиваясь до бровей, до ресниц.

— Авдотья, молодушка, не пора ль подниматься?—с ласковой строгостью протянула за дверью Степанида.

Дуня вскочила, оделась и вышла на кухню.

— Накорми ты, молодуха, свиней,—сказала Степанида, испытующе глядя на сноху.

Это был ритуал, испытание. Степанида совсем не собиралась с первых дней запрягать молодуху в работу, но ей важно было сразу дать понять, что Дуню брали в дом «не блины есть», а работать и что старшая в доме—Степанида. Ей важно было сразу проверить уступчивость и трудолюбие «молодой».

Увидев, как Авдотья торопливо кинулась к кормовому ведру, Степанида вполне удовлетворилась и тут же пожалела сноху:

— Однако, гляжу я, не отоспалась ты еще. Поешь-ка вот да ступай досыпай, скотину я и сама накормлю.

Она отправила Дуню в спальню.

Дуня опять оказалась рядом с мужем, но все уже было не то. Ощущение праздничной радости пропало: «молодая» настороженно ожидала нового оклика и приказания.

Степанида достигла своего: Дуня с первой же минуты почувствовала, что она в чужом доме, у чужой матери, и что не праздничать ее взяли в этот дом.

С тех пор началась нелегкая жизнь. Авдотье казалось, что она попала в какой-то другой мир, накрепко отгороженный от привычного и родного мира цепкими руками Степаниды.

— В колхозе тебе работать не к чему: и дома дел хватит!—с первых дней заявила Степанида.

Дуне странно и тяжко было оторваться от привычной и любимой колхозной работы, но она не хотела с самого начала перечить свекрови и вносить раздор в семью мужа. Она подчинилась и встала в полную зависимость от Степаниды. Василий почти не бывал дома. Степанида сдала ей на руки все хозяйство, а сама целиком отдалась излюбленному своему занятию—беготне по базарам.

Дни тянулись один за другим, и только рождение дочери нарушило однообразное их течение.

Дуня растила ребенка, обихаживала и свою семью, и семью свекра, кормила скотину, возилась в огороде. Она работала не разгибая спины, счастливая одной вскользь брошенной похвалой. Но и эти похвалы не часто выпадали на ее долю.

Мужчины целыми днями не бывали дома и не замечали ее трудов, а Степанида в глаза хвалила ее редко, боясь испортить, и только за глаза хвасталась «золотой сношенькой».

Авдотья проводила целые дни в труде и в одиночестве, и все же она была счастлива. У нее был редкий талант счастья, присущий людям чистосердечным и трудолюбивым. Улыбка маленькой дочки, солнечные блики на морозных окнах, удачно подрумяненные хлéбы — и вот она уже светится, поет своим тоненьким, трепещущим голоском, замешивая пойло коровам.

А если появится на пороге улыбающийся, разрумяненный от мороза Василий, если притянет ее к заиндевелым усам да если возьмет на руки дочь, то нет уже на земле женщины счастливее Дуни.

Самую тяжелую работу она выполняла с той же радостью, с какой играла когда-то вечером у костра, на поляне.

— Вот порожек подотрем, половички вытрясем, поросят накормим и пойдем огород поливать,— домывая пол, сообщала она годовалой дочке так радостно, словно ей предстояли невесть какие приятные и веселые занятия.

Но шли месяц за месяцем, и радость ее хирела понемногу, как хиреет цветок на скудной земле.

Однажды она копала картошку на огороде. Она была одна в доме: Степанида уехала на базар с овощами, мужчины с утра ушли на работу, дочку Авдотья отнесла к своей матери.

Накрапывал мелкий дождь. Одинокая рябина с оборванными ягодами вздрагивала на ветру.

Дуне вспомнилось, как копала она картошку, когда была звеньевой в колхозе.

Девчата рассыпались по всему полю. В центре поля высились картофельные горы, а над ними на ветке большой ветлы сидела учетчица, школьница Тамара. Она сделала рупор из газеты и кричала всему полю:

— Девушки! Катя с Наташей несут сотую корзину, а у Маруси нету восьмидесяти!

День был холодный, но все разгорячились от работы и поскидали ватники.

По временам какая-нибудь из девушек поднимала

кверху целый картофельный куст с тяжелыми клубнями и звонко кричала:

— Девчонки! Подружки! Глядите-ка! До чего богато!

Пионеры со своей вожатой тут же отбирали лучший картофель на семена, чтобы отвезти его с поля на семенной склад. Они сидели кругом и пели смешную, веселую песню: «Ах, картошка,— объеденье!»

Приходили председатель колхоза и районный агроном. Все радовались и поздравляли Дуню, и все удивлялись, что она, такая молодая, уже стала звеньевой, сумела добиться небывалого урожая. И она видела, что все они гордятся и любуются ею, хотя она была повязана стареньким полушалком и не только руки, но даже волосы у нее были испачканы землей.

Когда рабочий срок кончился, никому не хотелось уходить с поля, все остались в поле дотемна. Ехали домой в сумерках на последней машине, груженной картошкой. Ехали с песнями, и когда поравнялись с правлением, то все, кто был там: колхозники, председатель и районный агроном,— вышли на крыльцо навстречу и шутя называли девушек «картофельными стахановками».

Сколько было радости, веселья, и все было как праздник!

А теперь... Будто бы та же самая картошка и урожай неплохой, а все не то. Тишина пустого двора. Только изредка замычит за стеной Буренка да гуси вдруг беспокойно загогочут во дворе. Огородный забор — как клетка, и не с кем слово молвить. Картошка — и то не та. Та была сочная, крепкая, такая была, что ее хоть сырую ешь. Ту приятно было в руки взять, словно вся она обласкана девичьими руками, взглядами, песнями. А этой кто порадуется? Василий и не заметит, он не тем живет. Степанида с Финогеном примутся вечером подсчитывать, сколько сверхжданной выручки будет от хорошего урожая. Один старик придет полюбоваться на Дунину работу, любовно потрогает отборный картофель осторожными черными руками. Этот сам такой же, как она, работает да радуется тому, что хорошо сработано,— в том и жизнь.

Дуня на миг разогнула спину, оглядела картофельное поле.

«До вечера хватит дела... Значит, до вечера одна в клетке этой... Может, мама придет, принесет маленькую Катюшу. Все веселее будет!..»

Она снова принялась копать.

Ее томила нескончаемая, одинокая, никого, кроме стариков, не радующая работа, но еще сильнее томило то, что Василий все дальше и дальше отходил от нее.

Внешне у них все шло очень хорошо. Он много

зарабатывал. Весь заработок нес в семью, пил не больше чем другие, был верен жене, любил девочку. Семья их могла считаться образцовой.

В действительности же они после свадьбы не сблизились, а отдалились друг от друга.

Он жил своей работой в МТС. По целым месяцам он не бывал дома, а когда приезжал, то привозил подарки, был ласков, но им не о чем было говорить. Он скучал с женой, не мог сидеть дома и спешил «на люди» — в МТС, в правление колхоза или просто в гости к товарищам.

Иногда он приглашал товарищей к себе. Приходили его друзья — трактористы и механик МТС Тоша Бузыкин с женой.

С особым вниманием Авдотья приглядывалась к этой паре, словно боясь увидеть в ней что-то отдаленно сходное со своей теперешней жизнью.

Тошу в районе помнили молодым парнем, веселым, бесшабашным, кудрявым, у которого дело кипело в руках. Его посылали в город учиться, но жена Маланья ударилась в слезы и не пустила его. Была она некрасивой, неловкой в работе, недалекой разумом и, заполучив такого мужа, как Тоша, стала жить в вечном страхе и ожидании: боялась, что он бросит ее и уйдет к другой. Чтобы удержать его дома, она всегда имела в запасе шкалик и, как только он собирался уходить, выставляла этот шкалик на стол. Она знала, что он без водки не станет сидеть дома, и постепенно спаивала его с единственной целью — удержать. Он так и остался на всю жизнь «Тошей», так и не превратился в «Антона». Он за все брался и все начинал с блеском и ничего не мог довести до конца. Когда он напивался, то делался весел, остроумен, а потом плакал, бил себя в грудь и кричал: «Я знаю — я талант».

Веселый собутыльник, песенник и гармонист, он был постоянным гостем на всех вечеринках и выпивках. Вслед за маленьким, вертким и веселым мужем неизменной тенью появлялась массивная Маланья. Она всюду безмолвно следовала за мужем и на вечеринке сидела чуть позади него, зачастую не произнося за весь вечер ни единого слова.

Опьянев, Тоша с отвращением смотрел на нее и, растягивая слова, говорил:

— О-па-ра! Залепила ты глаза моей жизни!

Маланья таращилась и продолжала молчать.

Так сидела она, никому не нужная, не способная ни развеселить, ни опечалить, ни обидеть, ни утешить, ни рассказать что-либо интересное, ни откликнуться на чужой рассказ, студнеобразная и безликая.

Со страхом всматривалась Авдотья в это существо, превратившее себя в никчемный придаток мужа. «Не по Маланьиной ли тропке и я ступаю?» — порой думалось ей.

Была другая женщина, на которую Авдотья смотрела с таким же вниманием, но не с отвращением, а с завистью.

Когда появлялась в комнате известная в области трактористка Настасья Огородникова, то все оживали, даже Василий приосанивался, веселел и начинал особым, молодцеватым жестом поглаживать усы. А она шла королевой, садилась на главное место, словно другого для нее и быть не могло. И сразу становилась центром всех разговоров. С мужчинами она держалась строго и даже резко распекала и поучала, как малых детей, а они ее побаивались, умолкали, когда она говорила, и льнули к ней, когда она, развеселившись, казалась мягче и податливее, чем обычно.

Авдотья долго молча копила наблюдения и мысли и наконец решила поговорить с Василием.

— Вася! — сказала она, улучив минуту.— Что это мы с тобой как неладно живем?

— Чем неладно? — поднял он удивленные глаза.

— Да ведь ты и не поговоришь со мною никогда...

— А про чего с тобой говорить? — удивленно спросил он.

Она растерялась: и верно — «про чего»?

— Да ведь находишь ты разговор с Настасьей?

Василий подумал, по привычке склонив голову набок. Он видел, что вопросы она задает ему всерьез и неспроста, он любил быть справедливым и хотел дать правильный ответ. Подумав с минуту, он веско сказал:

— С Настасьей у нас обоюдный разговор,— и встал, собираясь уходить.

Он считал, что вопрос решен и ответ дан по справедливости.

Он ушел, а она осталась на месте, как пригвожденная его словами. Трудно было короче, жестче и прямее сказать ей о ее беде. У нее с мужем не получалось «обоюдного разговора». И правда: о чем она могла рассказывать ему? О детях? Не об одних же детях разговаривать! О Буренке да об огороде много не наговоришься!..

Она сидела, уронив веретено...

На выскобленном добела полу лежали квадратные солнечные пятна от окон. Пышные герани зеленели в горшках на лавках. Было чисто, уютно, домовито. Она смотрела невидящими глазами.

«Вася добрый, если попросить, он станет разговорчивее. Но будет ли это обоюдный разговор?»

Катюша, соскучившись, просит: «Мам! Поговори со мной!»

Василий будет говорить так, как она говорит с Катюшей, из снисхождения, а не из интереса. Нужен ли ей такой разговор?

«Не примирюсь я на снисхождении! Не маленькая я! И не Маланья! Я — не она, Василий — не Тоша, почему же у нас становится как у них? По-разному мы с Васей живем. У него колхоз, сельсовет, район, партия, а у меня — весь мир до порога».

Она встала, в смятенье подошла к окну.

Пунцовая, горячая, как уголь, кисть герани за утро раскрылась в горшке. Авдотья хотела кликнуть дочку полюбоваться цветком. Она умела делать маленькие праздники из всякой мелочи: из распустившегося цветка, из забавно сросшейся моркови, из новенькой дочкиной рубашонки.

— Катюшенька! Глянь-ка!..— с привычной радостью позвала она и вдруг осеклась.

Девочка прибежала на зов.

— Что? Мам! Мам!

Мать молчала, склонив голову. «Нет вокруг праздника, и выдумана моя радость, и нет в моей жизни алого цвета...» Сделала над собой усилие, улыбнулась:

— Погляди, доченька, какой цветочек!

Однажды Василий вбежал в комнату в расстегнутом ватнике, в сбившейся на сторону шапке.

— Настя не приходила?

— Нет. Да что с тобой, Вася? Что ты?

— Я этого гада проучу! Он узнает, как людей оговаривать! — не отвечая, бормотал Василий.— Настя придет — скажи, я к ней пошел.

Он ушел, так и не объяснив, в чем дело.

От людей Авдотья узнала, что директор МТС заставил Василия работать на чужом, неисправном тракторе. Василий отказался, потому что пахота получалась недоброкачественной, но после долгих пререканий вынужден был подчиниться, так как сроки уходили, земля перестаивала, а другого трактора не было. Районный агроном увидел плохую пахоту и составил акт. Директор свалил вину на Василия, обвиняя его в том, что тот пахал в пьяном виде.

Василию грозило судебное дело.

Авдотью взволновала беда, нависшая над мужем, и кольнуло то, что в тяжкую минуту первой он вспомнил не ее, а другую женщину.

Вскоре Василий и Настасья вошли в избу.

— Да не шуми ты! Не кипятись! Собери все свои почетные грамоты,— командовала Настасья.— Прямо в райком поедем, к Трофиму Ивановичу.

Она уселась на лавку — хозяйка хозяйкой, властным жестом притянула к себе Авдотьину Катюшку и распоряжалась, как своим, Авдотьиным мужем. Василий смотрел на нее послушными глазами и, как мальчик, покорно спрашивал ее:

— Благодарность от колхоза «Заря» прихватить, Настюш, или не надо?

Ни разу в жизни он не говорил таким тоном с Авдотьей.

— Прихвати! — распорядилась Настасья.— С Трофимом Ивановичем я сама об тебе буду говорить. Он меня знает и слову моему поверит. Готов, что ли?

— Сейчас! Я этому гаду...

— Да не шуми ты... горячка! Все хорошо будет! — Она встала и мимоходом, с ласковой небрежностью провела рукой по его волосам.— Эх ты, порох... Ну, двинемся, что ли?

Строгое, смуглое, рябоватое лицо ее казалось Авдотье необычайно красивым. «Ни один мужчина не может не позавидовать на такую женщину!» — думала Авдотья.

— Лошадей-то на конном нет. На чем поедем, Настюш?

— А пеши пойдем! По дороге кто ни кто подсадит.

Они ушли, разговаривая и забыв попрощаться с Авдотьей.

Она смотрела им вслед, стиснув зубы.

Не ревность точила ее: она знала и Василия и Настасью и верила им обоим. Она была даже благодарна этой женщине, которая просто и щедро давала ее мужу то, чего сама Авдотья не умела и не могла дать.

Горше ревности и подозрений было сознание, что в трудный для мужа час она оказалась слабой, никчемной, бессильной, что к другой женщине пошел ее муж за помощью и поддержкой, другая оказалась ближе ему.

Это минутное посещение запомнилось Авдотье на всю жизнь.

Потянулись дни молчаливых размышлений.

«Куда идет моя жизнь? — думала она.— Кому в радость мои труды, моя сила? Одной свекрови в угоду, да лишняя тысяча в запасе. Мне она не в радость. Василию тоже. Кто я ему? Что я могу для него сделать? Щи сварить? К водке закуску выставить? На что уж негодящий мужичонка Тоша — и тот едва не сбежал от такой-то жены. Василий — не Тоша. Диво ли, что потянет его на сторону? Не я ли в том и виновна? И для чего мне томиться, для чего мне в четырех стенах жить? Для детей? А для них что я смогу? Кашу сварить да рубашонку выстирать? Это любая нянька сможет. В этом

ли материны заботы? Разве могу я наставить их на жизнь, когда сама я не умею жить? Подрастут — так же, как Василий, за советом, за помощью, за серьезным разговором пойдут к чужим людям, мимо меня. И поделом мне: не обертывайся мать нянькой, жена — кухаркой. Так я сама себя поставила. Или я не способна на другое? Или я Маланья, чтобы мне примириться на такой доле?»

Решение созревало медленно, но тем непоколебимее оно было.

— Вася! — сказала она однажды за ужином с необычайной для нее твердостью. — Я решила идти на колхозную работу.

Он поднял удивленные глаза.

— С чего это тебе вздумалось? А дочь как же?

— Дочь в ясли отведу или к маме. Устроюсь, как другие устраиваются.

— Да зачем тебе работать и какая с тебя работа? И что ты будешь делать: свиней кормить?

Впервые она почувствовала себя несправедливо и жестоко оскорбленной им. Он не заметил в ней того, чем она больше всего в себе дорожила, попросту сбросил со счета ее лучшие дни, ее гордость и радость. От обиды она в первую минуту растерялась:

— Я... я в районе доклад делала! Я лучшей звеньевой была... а ты...

Неожиданная горечь и слезы, прозвучавшие в ее голосе, поразили Василия:

— Да ты чего, Дуняшка? Об чем ты?

Но она уже преодолела минутную растерянность, и Василий увидел ее такой, какой не видывал прежде. Она стояла перед ним, выпрямившись и сузив глаза:

— Кто ты, Вася? И какую ты для себя жену ищешь? Или ты Тоша-пьянчужка, которому от жизни одно надо: постель да закуска? Только ведь я не Маланья! Или ты не видел, на ком женился? Я в своем звене всех моложе была, а спроси: кто лучше меня звеном верховодил? До сих пор меня в колхозе вспоминают. Не Маланья я тебе, Вася, я тебе ровня, слышишь?

«Да Дуняшка ли это? — думал Василий. — Что с ней попритчилось? Вот они, бабы! Живешь-живешь с ней, будто бы изучил, как пять своих пальцев, а она вдруг загнет тебе загадку!»

А Авдотья, словно вылив накипевшее, ослабела, села на скамью и продолжала спокойнее:

— Во что превратилась моя жизнь? При детях нянька, при муже кухарка! Я тебя не виню: каждый сам себе по

росту покупает одежду, сам себе по рассудку выбирает долю. Только та одежда, что я ошибкой выбрала, мне коротка, Вася!

Поняв, о чем идет речь, Степанида коршуном вылетела из соседней комнаты:

— Да ты очумела, бабонька! А кто семью обиходит, обошьет, обстирает?

Авдотья не спеша повернула голову и глянула на свекровь таким гордым и строгим взглядом, что та поперхнулась словами.

— Приду с работы, всех обихожу, обошью, обстираю. Все я успею, все сделаю, маманя.

Стремясь справиться и с колхозной работой, и ублаготворить разъярившуюся свекровь, Авдотья так исхудала в несколько дней, что Василий сказал ей:

— Тот мужик хорош, у которого баба справная, а ты у меня зачезла, как порося у худой хозяйки. Купим избу и переедем на житье в свое хозяйство.

Они переехали в новую избу в январе сорок первого года.

Когда пришло известие о гибели Василия, Авдотья не поверила. Ей казалось невероятным, что сама она попрежнему жива и здорова, когда его уже нет на свете. Так крепка была ее привязанность к нему, что в час его смерти неминуемо должна была надломиться и ее жизнь.

— Не верьте, папаня, не верьте! Не могла я не почуять его кончины!—говорила она свекру.—Живой он! Чую, вижу, знаю: живой! Не может мое сердце обмануться!

Она послала в часть запрос и в ожидании ответа была тверже, спокойней, чем раньше, точно спокойствием хотела отгородиться от страшных мыслей. Из части пришло повторное извещение, а товарищ Василия написал ей письмо:

«Лежал он у овражка, убитый в голову. Где схоронили, не знаю, шли мы в атаку, в какой я и сам был ранен».

Она прочла письмо, посидела минуту без движения и вдруг молча рухнула на пол.

Очнулась она другим человеком.

До сих пор вся жизнь ее была полна Василием; каждый цветок на окне, каждый половичок на полу жили, дышали, улыбались ей потому, что их видел или мог еще увидеть Василий.

Теперь, когда она узнала, что его нет, вещи вдруг потеряли душу. Дом сразу омертвел и опустел, хотя из него не вынесли ни плошки. Стулья, стены, чашки, которые раньше были оживлены дыханием Василия, теперь умерли и смотрели на нее мертвыми, пустыми глазами.

Вот и все. Вот и кончилась жизнь.

Она сама была уже неживая, словно душу и жизнь ее унес Василий, а в доме осталась одна видимость Авдотьи, неживое существо, без надежд, без желаний, без будущего, даже без способности страдать.

Долго не могла она ни убирать, ни мыть, ни хозяйничать, потому что раньше все, что она делала, она делала ради него. И когда его не стало, все дела потеряли смысл.

По ночам она подходила к маленькой дочке, похожей на отца. Она всматривалась в черные отцовские брови с надломом посередине и звала шепотом:

— Вася! Васюшенька! Васенька!..

Ей казалось, что если укараулить и украдкой поймать самый первый взгляд просыпавшейся девочки, то на миг глянет из-под дочерних бровей отцовский, такой знакомый, жадно желанный, насмешливо-ласковый взгляд.

Если бы у нее не было детей, она просто легла бы в постель и лежала, готовая к смерти, твердо убежденная в том, что пришел ее час. Дети заставляли ее двигаться. Постепенно горе перегорело в ней, и она вышла из своего мертвенного оцепенения. Оживая, всю силу своей любви к мужу перенесла на детей.

Она и раньше любила их самозабвенно, но теперь полюбила почти болезненной, трепетной любовью. Даже в момент самой острой печали, когда она не могла думать о себе и не могла ничего делать для себя, у нее все же сохранилась потребность делать что-то для других. Она охотно выполняла чужие просьбы и находила в этом облегчение.

Частично из-за потребности заботиться о ком-то она и пустила к себе на квартиру тракториста Степана Мохова.

Он был полной противоположностью Василия: худощав, светловолос, некрасив, с глазами спокойными и внимательными, движениями сдержанными и неторопливыми.

То, что он еще не оправился от тяжелого ранения, разбудило в ней извечную бабью жалость и потребность заботиться о нем, как о ребенке.

Сперва он относился к ее заботам настороженно и подозрительно: думал, что она, наскучив в одиночестве, искала близости. Когда он хорошо узнал ее, то устыдился своих подозрений.

Он увидел, что она так же, как о нем, заботится о заболевшей соседке, об одиноком старике, о любом попавшем в беду человеке. Так же заботливо и самозабвенно, как она относилась к людям, относилась она и к колхозной работе.

Казалось, даже если бы она захотела, то не смогла бы ничего делать плохо, недобросовестно, небрежно.

Когда он до конца понял ее, то поразился той выносливости, которой отличалась эта тихая светловолосая женщина.

— Присела бы ты хоть на часок, Авдотья Тихоновна. Дров я тебе сам наколю, не бабье это дело. Сядь отдохни!

— Я, Степан Никитич, от работы веселею, а без дела мне скучно.

Степан не сразу оправился после ранения, и болезнь часто заставляла его сидеть дома.

Длинными зимними вечерами Авдотья шила, Прасковья вязала, а Степан чеботарил.

В этих мирных вечерних сборищах с негромкими душевными разговорами была прелесть, неведомая Авдотье раньше. Впервые в эту зиму прочно вошла в жизнь Авдотьи книга.

— Почитай, Катюша, академика Василия Робертовича Вильямса,— говорил Степан.

Катюша брала книгу, аккуратно завернутую в газету:

— Где мы вчера читали, дядя Степа?

— Когда огонь погас, мы читали про запас воды в бесструктурной почве. Дай покажу это место.

Гордая своей ответственной ролью в семейном кружке, Катюша садилась ближе к лампе, читала, водя пальчиком по строкам, старательно и чисто выговаривая слова.

— «Снег стаял,—читала она,—дождь кончился. Как же пойдет дальше движение воды в бесструктурной почве?» Тут, дядя Степа, поставлен вопросительный знак.

Озадаченная неожиданным препятствием, она поднимала на Степана встревоженный взгляд.

— Его, доченька, называть не надо, а надо показывать голосом.

Сперва Авдотья не столько вслушивалась в смысл прочитанного, сколько наслаждалась этой новой для нее радостью тихого семейного чтения, высоким голоском Катюши, тем, как отчетливо выговаривала девочка книжные слова.

«Посумерничаешь, так и легче... словно ветер подует на обожженное место»,—думала она.

Но вскоре Авдотью заразило волнение Степана, воспринимавшего все прочитанное как открытие, касавшееся его личной судьбы.

— Гляди-ка, как живет земля!—удивлялась она.— А мы всю жизнь ею кормимся, всю жизнь по ней ходим и не понимаем.

Не только Степан и Авдотья, но и Прасковья ловила каждое слово.

— «Верхняя часть пласта не способна крошиться, и бесполезно пытаться ее крошить, от нее надо избавиться. Избавляются при помощи предплужника».

— Дядя Степа, это какой предплужник? — спрашивала Катюша. — Ты ужо нам покажешь?

— То-то и беда, дочка, что у нас в МТС предплужников нет.

Степан вставал с места, ходил по комнате.

— Пусть у меня руки отсохнут, если я хотя раз выеду в поле без предплужника. Если МТС не обеспечит, так я сам в кузне с кузнецом сделаю, а без предплужника пахать не стану!

Когда Степан привез из города первые предплужники, это было событием, в котором принимала участие вся семья. Пока Степан налаживал предплужники, от него не отходила Катюша с маленькой Дуняшкой. А Авдотья, забежав в перерыв, забыла про обед и застряла возле МТС.

Когда кончили читать книгу академика Вильямса, то уже создалась привычка к чтению.

Однажды Авдотья достала в читальне поэму «Зоя» Маргариты Алигер.

— Стишки? Это для детей! — с неудовольствием сказал Степан.

Ему хотелось книжек солидных, деловых.

— Не было другой-то! — оправдывалась Авдотья.

Она была искренне огорчена тем, что не угодила и принесла пустяковую книгу.

— Читать или не надо, дядя Степа?

— Читай уж! Тебе как раз будет эта книжка.

Вечер был особенно морозным. От окон и от пола холодило, и все, кроме Степана, разместились на печке. Степан чеботарил на сундуке. Потрескивала изба на морозе, пилил сверчок, пахло овчиной, разогретой печкой, хлебом.

Катюша сидела на подстилке, поджав под себя ноги.

Постепенно стихи захватили всех.

Коптящая лампа, остывшая печка.
Ты спишь или дремлешь, дружок?
Какая-то ясная, ясная речка,
Зеленый крутой бережок, —

срывающимся голосом читала Катюша, шевеля от волнения пальцами босых ног. Слезы застилали ей глаза.

— Дядя Степа, это взаправду было или понарошку?

Она всхлипнула. Ей хотелось, чтобы это было выдумкой, — очень уж жаль было девочку Зою.

— Правда это, Катюша. Все это взаправду было.

Слетелись к Марусеньке серые гуси,
Большими крылами шумят.
Вода подошла по колена Марусе,
Но бе-елые ноги горя-ат!..

Она закрыла лицо ладонями и заплакала в голос.

— Дядя Степа, где же ты был в ту пору? Далеко ли ты был от той речки?

— Читай, доченька, читай!

Плакала простодушная Прасковья, и Авдотья уже не вытирала слез.

Казалось, не далеко, а в соседней избе умирала девочка, родная, близкая, понятная, такая же любимая, как Катюша.

— Зоюшка... девонька!.. Вот они, люди!.. Вот она, жизнь!..

С новою, горячей благодарностью и любовью думала она о тех, кто защищал ее и ее детей, с новой горячей жалостью смотрела она на изуродованный висок Степана.

Не с того ли вечера началось то новое, что перевернуло всю Авдотьину жизнь?

Давно уже Прасковья, страстно желая дочери счастья, ходила подсматривать, не прошел ли Степан в горницу к Авдотье.

Давно уже соседи не сомневались в их близости, а они все еще боялись прикоснуться друг к другу, упорнее, чем прежде, величали друг друга по имени-отчеству и даже иногда начинали говорить друг с другом на «вы».

Обоюдная сдержанность волновала их обоих острее самых горячих слов, она была лучшим свидетельством глубины их чувств.

Когда по ночам Степан осторожно, чтобы не скрипели половицы, ходил по комнате, Авдотья, лежа за стеной, смотрела в темноту и улыбалась от счастья и волненья.

Она знала, что он томится по ней, но не подходит потому, что безмерно бережет и уважает ее, потому что робеет перед ней и боится нарушить и утратить ту атмосферу доверия, заботы, невысказанной, но бьющей через край нежности, которая установилась между ними.

Как ни любила Авдотья Василия, но никогда она не знала такого единства в чувствах и мыслях, такого тесного согласия во всем.

Оба они работали целыми днями, и у обоих вошло в привычку дожидаться друг друга по вечерам. Если Степан приходил домой раньше, он не ужинал без Авдотьи, ждал ее у накрытого стола; она также не ужинала без него.

Часто он возвращался поздно, когда и Прасковья и дети уже спали. Авдотья встречала его с такой радостью,

словно давно не видела. У обоих за день на работе накапливалось много такого, чем надо было поделиться друг с другом, и за ужином они полушепотом, чтобы не разбудить спавших, вели длинные оживленные разговоры. Особенно сблизила их совместная работа на прифермском участке.

Авдотья заведовала молочной фермой и решила силами своих работников засеять клевером небольшое поле.

— Авдотья Тихоновна,— сказал как-то Степан,— знаешь у дальнего лога заброшенное клеверище? Видно, уже года три-четыре его не распахивали, все заросло молодой березкой да сосняком, а меж ними семенной клевер. Головки хорошие вызрели, как раз впору убирать. С клевером в районе плохо, семян нет, вот бы собрать для того года!

Авдотья собрала семена, а на следующую весну попросила Степана:

— Степан Никитич, в план по МТС это не входит, а ты не в службу, а в дружбу обработай мне луговинку под клевер.

Степан приехал на луговинку ночью, в свое свободное время.

Влажная весенняя ночь была полна запахами земли. Мерно рокотал трактор, и плыли в темноте белые пучки света от фар. Выхваченные им из темноты былинки казались белыми, большими и диковинно перепутанными.

Авдотья сидела на куче выкорчеванных молодых сосенок, и каждый раз, когда Степан проезжал мимо, он видел ее темную фигуру и бледное улыбающееся большеглазое лицо.

— Шла бы домой, Авдотья Тихоновна. Чай, устала?

— Что ж я тебя одного брошу! Я тебя дождусь. Долго ли?

Ночью, вдвоем в темном поле, они закусывали лепешками с молоком.

— Завтра как раз сеять. Земля-то, гляди, ласковая, так и примет зерно,— говорила Авдотья.

— Завтра в самый раз. Не пересохла бы.

Слова были обычные, но говорили они оба тихими голосами, как будто разговор шел о чем-то особом. Потом поехали домой, и Авдотья, уже полусонная, мечтала вслух:

— В этом году семена соберем, а на тот опять посеем. Пойдет хозяйство подниматься, спохватятся в колхозе сеять клевера,— пожалуйста! Кто об этом позаботился? Мы с тобой!

И оба они чувствовали друг друга такими близкими, будто ничто не могло их сделать ближе.

Когда пришел День Победы, Авдотья еще раз горько выплакалась. Был этот день для нее полон и ликования и горечи оттого, что этого дня не видел Василий. Она поплакала тихими, терпкими, разъедающими сердце слезами, но плакала она недолго: горе растворилось в общей радости.

Было много трудностей, но была уверенность, что этим трудностям близок конец.

Радость победы переплелась с радостью нового охватившего Авдотью чувства. Еще ни разу не прикоснувшись к ней, Степан уже был ее мужем по тому согласию, по той общности характера, чувств, быта, которые накрепко установились между ними. Авдотья словно впервые узнала всю полноту семейной жизни. Она ходила помолодевшая и притихшая от счастья.

Однажды Степану не подвезли горючего, и он, взяв косу, пошел на покос вместе со всеми колхозниками.

Косили заливные луга. Авдотья с Прасковьей и Татьяной взялись выкосить дальнюю луговину. Косили дотемна.

За рекой, в полевом стане, уже горел костер: там готовили ужин, оттуда чуть тянуло дымком.

Небо стало совсем бледным, а кусты и деревья потемнели. Отражавшая посветлевшее небо заводь сама стала очень светлой, зеркально ясной и выделялась, будто выплывала из загустевшего воздуха, из темной зелени. Особенно точно и ярко отражались в ней прибрежные кусты и дальний, заброшенный домик у старой переправы. Первая звезда зажглась в небе, и тотчас вторая звезда легла на воду. Крупные темные листья купавок, как раскрытые ладони, доверчиво и покойно лежали на светлой глади.

Когда Авдотья докашивала последнюю ложбину у воды, из-под косы выскочила степная куропатка и побежала, прискакивая, хлопая крыльями.

— Гнездо здесь у ней, ишь отманивает!

Авдотья раздвинула траву и увидела больших, уже оперившихся птенцов.

Степан наклонился над гнездом, коснулся плеча Авдотьи, и она услышала его неровное дыхание.

— Не надо их тревожить,— сказала она, поспешно отстраняясь от Степана.

— Не бойся, не потревожу,— тихо сказал Степан, взглянув ей в глаза.

И она поняла второй — тайный — смысл его слов. Радость, волнение, благодарность к нему охватили ее.

Они бережно укрыли гнездо травой и пошли ужинать к домику.

Степан нарвал белых и желтых кувшинок и подал Авдотье. Она воткнула их в волосы.

Девушки за рекой пели. Авдотья, Степан, Прасковья и Танюшка стали вторить:

Коса руса до пояса,
В косе лента голуба.

Летел и таял напев. Авдотье было легко, весело, и что-то внутри ее пело: «Нынче!.. Это будет нынче!..»

На краю лужка на холме стоял невысокий стог сена с вынутым стожаром. Авдотья умяла его и легла.

В волосах сохранились кувшинки. Они чуть привяли, и от этого еще сильнее стал их запах. Они пахли влажной речной сладостью. Запах их был тяжел и тонок. Авдотья лежала на спине, лицом к лицу со звездным небом. Прямо над головой текли, шевелились, мерцали неисчислимые звезды. Видно было, как струился их свет; казалось, они неустанно и кропотливо ткут звездную паутину, опутывая все небо.

Запоздавшая бригада с песнями пришла с покоса дальней прибрежной тропой. Звенел девичий голос:

С неба звездочка упала
Мне на самое лицо.
До чего доцеловала —
Стало сердцу горячо.

Авдотья слушала далекую песню и смотрела в небо. Легкая звезда покатилась наискось по краю неба, оставив на миг огненный след.

«Сколько их! Которая тут моя?—думала Авдотья.— Которая тут моя звездочка?! Отзовись!—Она протянула к небу ладонь, и, словно в ответ, сорвалась звезда с самого зенита, сверкнула и исчезла. Авдотья суеверно обрадовалась ей.—Придет ли Степа? Догадается ли? Да как ему не прийти?!»

Она услышала легкие шаги.

Степан долго не мог решиться подойти к Авдотье. Он и знал, что она ждет его, и боялся ошибиться, нечаянно оскорбить ее и утратить ту радость взаимного доверия, которой жил весь этот год.

Он ходил, курил, бросал и снова зажигал папиросы и, наконец, додумался:

«Возьму шинель, принесу ей, будто бы укрыться, будто боюсь, чтобы она не замерзла. А там видно будет».

И пошел на лужок с шинелью в руках, но, подойдя, подосадовал на себя за робость. Бросил шинель, швырнул папиросу.

«Что я, как маленький! Кого обманывать буду?»

С бьющимся сердцем он подошел к стогу.

— Не пугайся меня, Авдотья Тихоновна!

Она протянула к нему руки:

— Степа!..

Степан и Авдотья поженились.

Авдотья была счастлива, и когда она привыкла к своему счастью, когда ей стало казаться, что оно прочно и нерушимо, вернулся Василий.

5

ДОМА

Они выехали из города пять часов назад. Грузовик мчался по нескончаемой лесной дороге, и заснеженные деревья с мохнатыми перепутанными ветвями, теснясь, подступали к самым обочинам.

Лена была печальна. Выросшая в большом городе, она год назад впервые приехала в деревню и, на диво самой себе, легко сжилась с новой обстановкой, но каждая поездка домой заново бередила ей сердце. Уже шестой час ехала она мимо снежных лесов и сугробных полей, а большой ночной город с яркими витринами и с веселой перекличкой трамваев все еще стоял перед ее глазами.

Она смотрела вокруг так, словно видела все впервые, и все представлялось ей чужим, непривычным.

Под серым, низко нависшим небом чернели низкорослые леса, кое-где разорванные полянами. Осинник набегал на дорогу. Серое небо цеплялось за такие же серые голые ветки.

В ложбинах и на равнинах лежал еще неглубокий снег, а на склонах его сдуло ветром, и пятна обнаженной земли темнели заплатами.

Незнакомая женщина в темном платке и валенках сошла с дороги, чтобы пропустить машину, и, улыбнувшись, кивнула, как знакомым:

— Здравствуйте!

Они проехали, а она все еще стояла и задумчиво смотрела вслед, словно соображала: кто и зачем?

Леса расступились, и пошла вырубка, поросшая молодыми деревьями. Вот уже совсем близко приземистые избы, плетеные ограды, колодец с упершимся в небо журавлем.

— Подъезжаем...— тихо и радостно сказала Валентина.

Лена взглянула на нее и удивилась непонятному, почти восторженному выражению прозрачных карих глаз и остановившейся, забытой на лице улыбке.

«Как она странно улыбается!..— подумала Лена.— Она родилась здесь и не была здесь давно... Какая она? Конечно, хорошая. У Петровича не может быть плохой жены...»

Сидя в кузове меж тюками и корзинами, Валентина всматривалась в окружающее так же напряженно, как Лена, но не печаль, а радостное волнение овладевало ею с каждым часом.

Большое, просторное небо, не загороженное домами, так мягко обнимало землю, так ласково льнуло на горизонте к пушистым белым полям, что Валентине хотелось встать на тюки и дотронуться до этого неба.

Воздуха было много, он тек широкими, спокойными влажными волнами, наполняя грудь свежестью. Молодые березки на вырубках испуганно убегали в сторону, тонкие сосенки задумчиво качали вершинами, чуть вздрагивали нежные, дымчатые ветви осинника, маленькие елки доверчиво протягивали пушистые ветки, как детские ладошки с растопыренными пальцами.

Когда незнакомая женщина на дороге приветливо поздоровалась и остановилась, провожая их внимательным взглядом, Валентина засмеялась от удовольствия. Ей мил был этот мир большого неба и тихих лесов, где так дорог человек, что каждый случайно встреченный на бескрайней лесной дороге интересует, кажется близким и нужным.

«Как хорошо!— думала она.— И как я могла столько лет обходиться без всего этого? В эти вырубки мы с Алешей ходили за малиной. Вот амбар, все тот же старый амбар, где мы укрывались от дождя. Соскочить с машины и побежать бегом по тропинке! Вот и девушка с коромыслом. Как она идет хорошо, мягко, ловко! Да это Дуня!»

— Дуня! Дунюшка, здравствуй, Дуня!— закричала Валентина, перегибаясь через борт.

— Батюшки! Да никак Валюшка Березова! Надолго ли, Валенька? Надолго ли к нам?

— Ненадолго!

Когда машина остановилась, Валентина спрыгнула и взбежала на крыльцо.

— Валюшка, внучушка, голубушка!

Бабушка Василиса встретила ее на крыльце, обняла сухими, легкими руками, прижала к себе. Обдало резким запахом хлеба, герани, молока.

— Милушка моя! Иззябла, чай? Алешу-то узнаешь ли?

— Алеша, братишка, ты ли? Ох, раздавил меня, медведь! Да откуда ты такой взялся? Ты же маленький был! Бабуся, чем ты его, такого, выкормила?—говорила Валентина, переходя от бабки к двоюродному брату.

В комнату вошла позабытая всеми Лена и нерешительно остановилась у порога. Она и боялась помешать встрече родных, и считала невежливым уйти к себе, не простившись с Валентиной.

— До свидания, Валя,—сказала она торопливо и застенчиво.

— Куда же вы, Лена? Я вас не пущу! У нас такая радость, а вы уходите! Алеша, сними-ка с гостьи шубку,—скомандовала Валя.

— И вправду, Леночка,—вступила в разговор Василиса.—Зачем вам идти? И комната ваша не топлена: Полюха без вас ни разу не тапливала. Нахолодало там. Заночуйте нынче у нас!

У Василисы было сморщенное лицо с выцветшими, мягко светящимися глазами и тем выражением безмятежной ясности, которое бывает у очень добрых, проживших чистую, трудовую жизнь стариков.

Дружеские слова помогли Лене преодолеть застенчивость, она сняла шубку и повеселела.

Валентина говорила без умолку:

— Нет, какой ты стал, Алешка! Ну, кто бы мог подумать, какой ты стал! Ты же в два раза выше меня! И такой ты стал большущий и такой симпатичный, что я просто горжусь, что я твоя сестра!

Она смеялась, но откровенно любовалась братом. Он был высок, широкоплеч; его крепкое красивое лицо с широко поставленными глазами было правильно. Особенно хороши были глаза—яркие, золотисто-коричневые, с белками, блестевшими влажным голубоватым блеском. Все лицо дышало спокойствием и здоровьем.

— Алеша, бабушка, рассказывайте, как жизнь, как колхоз!—требовала Валентина.

— На жизнь не жалуемся, а с колхозом худо...

— Как так? Почему? Как же вы допустили? Алешка, силач, великан, ты же комсомолец, отвечай мне: как ты лично мог это допустить?

Алексей молчал, сдвинув брови.

Василиса вступилась за него:

— Он ведь у нас за год так вымахал. В сорок втором году ему четырнадцать стукнуло, а уж он всю мужичью работу ворочал. Взрослые у нас наперечет были, да и те—бабы. Выйдем в поле—кто сеет? Недолетки да бабы. Кто жнет? Опять они же. Кто на лесозаготовках морозится? Опять они!

Отогревшись и отдохнув, Валентина заторопилась:

— Алешенька, скорее пойдем в сельсовет, позвоним Андрею. Он не ждет меня. Я сама не знала, что успею выехать сегодня.

Лена побежала в школу, а Валентина и Алексей отправились в сельсовет.

В сельсовете Валентина прижалась щекой к холодной эбонитовой трубке так крепко, словно по проводам тепло ее щек могло дойти до Андрея.

Когда чужой голос ответил ей, что он уехал в соседний район и вернется через день, трубка выскользнула из ее рук.

Значит, еще один день в разлуке. Сколько таких дней уже было позади и еще этот!.. Самый длинный... Уже рядом — и все-таки не вместе!

— Валенька, вот и хорошо... День проживешь у нас,— просящим тоном сказал Алексей.

Ее приезд был праздником для них, и Валентине стало стыдно оттого, что она не подумала об этом.

— Да, Алеша, и вправду хорошо. Поговорю с тобой, посмотрю, как колхоз.

Несколько часов она просидела дома с Алексеем, Василисой и гостями, пришедшими повидаться с ней, потом она прошла по главной улице, осмотрела фермы и вышла в поле.

Мягко падал снег с низкого неба. И поле и небо были одинаково легкими, пушистыми, белыми, бесшумными, и село лежало на холме, будто окутанное со всех сторон ватой. Тишина была такой глубокой, что казалось — прислушайся и услышишь, как падают на землю снежные хлопья.

Валентина сошла с дороги и брела полем по неглубокому и липкому снегу.

У амбара Валентина встретила Василия. Он заходил утром, они виделись, но поговорить не успели.

— Огляделась, Валентина Алексеевна? — спросил Василий.

— Огляделась, Василий Кузьмич. Это ты распорядился держать скот на половинном рационе?

— Я.

Они вошли в амбар, наполненный трестóй, и сели на чурбан.

— Скоту надо дать не половинный, а полуторный рацион. Если ты не хочешь загубить стадо, надо сегодня же — слышишь, сегодня! — увеличить рацион вдвое.

— А я, дурачок, и не знал, что надо! — с недоброй усмешкой сказал Василий.— Спасибо тебе, умница, что научила.

— Не сердись. Если ты этого не сделаешь, то в марте — апреле начнется массовый падеж скота.

— А если я это сделаю, то падеж начнется в феврале, потому что кормов при полном рационе хватит только-только до февраля.

— К февралю надо достать минимум сто тысяч и купить корма.

Прищурив глаза, насмешливо и любопытно Василий смотрел на упрямое лицо Валентины. Резкость ее суждений раздражала его.

— Говоришь, надо достать сто тысяч. Я вот тоже брожу по лесу, гляжу, не валяются ли на дороге тысячи.

— Нашел или нет?

— Не сто тысяч нашел, а весь миллион. Лежит под руками, а в руки не дается.

— О чем ты, Василий Кузьмич?

Он не был расположен к откровенным и задушевным разговорам с ней, но ее взгляд был так внимателен и упорен, что он разговорился, сам того не ожидая.

— Вот они, тысячи, под нашими ногами. — Он взял комок серой свалявшейся тресты́. — Если тресту́ хорошо, по-хозяйски обработать на лен-волокно да сдать государству не тресто́й, а высокосортным волокном, то на одном центнере можно заработать от пятисот до восьмисот рублей. Вот тебе и первые тридцать тысяч. Правильный расчет?

— Дальше, Василий Кузьмич!

— Дальше идет вопрос о липе. За вторым прогоном у нас свои липовые рощи. Дери дранку, крути веревочку, заплетай рогожку. Вот тебе вторые тридцать тысяч.

— Так в чем же задержка, Василий Кузьмич?

— Из леса дранку надо возить за пятнадцать километров, а тягло все на лесозаготовках. Вот тебе первая задержка. Тресту́ на волокно перерабатывать — нужны руки, а эти руки на ногах, ходят не в ту сторону. Павку Конопатова знаешь? Взять хотя бы его. «Я, говорит, минимум трудодней заработал, а теперь буду кротов бить». Договор на кротов заключил. Два раза я за ним посылал, так и не пришел, вражина! Так-то вот, Валентина Алексеевна. Пошли, что ли!

Когда они поравнялись с домом Павки Конопатова, Василий сказал:

— Зайдем к нему, к вражине, для ясности вопроса.

В жарко натопленной избе на грязной лавке сидел молодой, гладковыбритый человек с тонкими, правильными чертами лица и кривящимися, неприятными губами. Он хлебал щи из миски.

Его близко поставленные черные глаза смотрели одновременно и высокомерно и подозрительно. Увидев Василия, он отставил миску и нарочито небрежно развалился на лавке.

— Здоровенько живешь, Павел Михайлович!

— Здравствуйте,— неохотно отозвался Павка.

— Что же ты садиться не приглашаешь? Или у тебя в доме лавки заказаны? Или гости не ко времени?

— Седайте, коли пришли.

В полутьме на печи зашевелился тулуп и выглянула из-под него седобородая голова с такими же близко поставленными и черными, как у Павки, глазами. Была эта голова суха, черна, неподвижна, как стены старой избы, и казалось, что растет она прямо из этих стен, из потолка и что сама изба смотрит из темноты этими черными, недобрыми, немигающими глазами.

— Здоро́во живете, Михаил Павлович!— обратился к старику Василий.— Пришли твоего сына проведать. Он к председателю не идет, так председатель идет к нему с поклоном. Мы люди не гордые. Беспокоимся. Не заболели ли, часом?

Василий говорил весело, и только по тому, как сузились его темные глаза и как вздрагивали ноздри, угадывался кипевший в нем гнев.

Хозяева молчали.

— Как ваше здоровье драгоценное, Павел Михайлович?— продолжал Василий.— В печенки вам не ударило ли? Грыжа не вступила ли, как на той субботе, когда понадобилось ехать на лесоучасток? Если что, так мы вам доктора обеспечим.

Павел, отвернувшись от Василия, смотрел в окно. Он пытался принять независимый и презрительный вид, но лицо его было злым и напряженным.

— Почему ты не пришел по вызову председателя?— спросила Валентина.

— А на что мне ходить?

— Как же это «на что ходить»? Колхозник ты или нет?

— Я свои трудодни отработал. Еще чего?

Голова на печке безмолвно и неподвижно торчала из-под тулупа.

— Значит, доктора не требуется?— сказал Василий.

Помолчали.

— Слыхал я, что ты договор заключил кротов бить?

— Ну и заключил...

— В кротоловы, значит, определился?.. Ну что ж! Бей кротов! Тебе не впервые. Которые люди фашистских гадов били, а которые кротов. Тоже доброе дело! Бей!

Разживайся! Устраивай коммерцию. А в колхозе медведь будет работать. Однако не меньше тебя наработает...

— А пускай хоть медведь...

— Я гляжу: у медведя о своей берлоге больше заботы, чем у тебя о своем колхозе...

— Слыхали...— не отводя глаз от окна, протянул Павка.— Что я от колхоза имею?

— Что имеешь? Коротка твоя память, Павел Михайлович. Приусадебный участок, как колхозник, имеешь. Корова твоя Милка не с колхозной ли фермы тебе дадена в сорок первом году? Дрова эти, что у печи лежат, не на колхозной ли подводе вожены? Баба твоя Полюха не в колхозном ли родильном доме рожала? Старика твоего не на колхозной ли подводе в больницу возили? Баню ты поставил на задах не из колхозного леса?

— Слыхали...— по-прежнему упорно глядя в окно, с нарочитой скукой протянул Павка.

— Ну, а если ты это слыхал, так мы об этом не станем с тобой говорить. Мы с тобой на собрании по-другому поговорим,— сказал Василий.— Пошли, Валентина Алексеевна.

Павка не пошевелился. Голова на печке безмолвно повернулась и посмотрела им вслед все теми же темными, немигающими глазами.

— Паразит! Волчья хребтина!— ругался Василий, шагая рядом с Валентиной по улице.— Видно, яблочко от яблони недалеко падает! Это батька его мутит, побирушка церковная!

— Почему его дразнят побирушкой?

— А потому, что он на этом деле разживался. Еще я был мальчишкой в ту пору, а помню, как он с осени кобылу запряжет, на сани икону прибьет и отправляется по богатым селам собирать «на погорелу церковь». Месяца два ездит, а приедет — икону на божничку, деньги в сундук, мешки с зерном в закрома, все в порядке! Весной хлеб посеет, осенью снимает, а с зимы опять собирать «на погорелу церковь».

— Папаня, папаня!— По дороге со всех ног бежала Катюша.— И где ты ходишь, папаня? Мы всю деревню обыскали, из райисполкома приехал какой-то, внизу черное пальто, поверху тулуп, колени кожей обшиты и назади кожа!— торопливо сообщила Катюша.— Пойдем скорее, он у нас в горнице.

— Ну, вот и хорошо! На ловца и зверь бежит,— сказала Валентина.— Надо было в район ехать за советом и помощью, а теперь здесь, на месте, поговорим и подумаем.

— И то сказать, ко времени гость! Пойдем быстрее, Валентина Алексеевна!— заторопился Василий.

По пути Валентина забежала домой, а Василий прошел прямо к себе.

Невысокий румяный человек во френче и в брюках галифе, обшитых кожей сзади и на коленях, ходил по комнате.

— Долго, долго, товарищ председатель, заставляешь ждать себя! — сказал он Василию и резким движением маленькой, обтянутой блестящим сапогом ноги с грохотом придвинул к себе табуретку.

Василию не понравился начальственный тон приезжего и то, что в чужом доме гость держался небрежно и равнодушно, как на вокзале.

Василий снял полушубок, повесил его на крючок и спросил:

— Кем вы будете, извиняюсь? Нам не известно.

— Я Травницкий, из райисполкома. Слыхал такую фамилию?

— Нет, не слыхал. Товарища Бабаева, председателя, знаю и товарища Белкина, заместителя, знаю, а вашу фамилию не слыхал.

Раздражение, накопившееся еще в доме Конопатовых, снова стало овладевать им, но, зная свою вспыльчивость, он старался говорить тем спокойнее и ровнее, чем сильнее закипало у него внутри.

— Покормила ли вас жена? Перекусили ли с дороги?

— Яишенка сейчас поспеет. Молочка топленого не хотите ли? — заволновалась Авдотья.

— Молока выпью, а яичницу не надо, тороплюсь. Я к тебе проездом, товарищ председатель. Заходил я на конный двор. Кони такие, что это является позором для всего района. У двух коней мною лично обнаружены потертости. Это безобразие нужно ликвидировать. Да... Момент с лесозаготовками у тебя тоже обстоит плохо. Должно работать семь подвод, а работает только пять. За это ты тоже будешь отвечать перед районным руководством. Лично я доложу об этом моменте товарищу Бабаеву... Да...

Василий молчал. Он знал, что если начнет говорить, то сорвется и наговорит лишнего. Травницкий прошелся по комнате и остановился перед Василием. Молодцевато откинув плечи, он испытующе смотрел на Василия узкими глазками, словно примеривался к нему. Потом, видимо, решив, что председатель захолустного колхоза не стоит размышлений, Травницкий отвернулся, прошелся по комнате прежней начальственной, небрежной поступью и сказал более милостиво:

— На овцеферме у тебя дело обстоит лучше. Даже имеются некоторые достижения. Цигейские барашки у

тебя хороши. Я там выбрал двух ягнят для детского дома, одного хочу для себя купить.

И смысл его слов, и высокомерный, надутый вид Травницкого взбесили Василия.

«Колхозных ягнят ему отгружай! — думал Василий. — Видали мы таких! Обтянул себе зад кожей и думает, что он здесь царь и бог. А ну, я тебя еще раз попытаю, голубчика, что ты есть за человек».

Шевеля ноздрями и улыбаясь ощеристой, бешеной улыбкой, значение которой поняла одна сразу оробевшая Авдотья, Василий сказал:

— Троих ягняток, значит, цигейской породы? По вашему выбору? В один момент!.. А гусей не хотите? Гуси у нас жирные, отгульные. Не прихватите ли парочку?

— Ну что же, не откажусь и от гусей, — сказал Травницкий, и его узкие глазки из-под низкого лба взглянули благосклоннее.

— Сейчас... Один момент... Сейчас... — говорил Василий, силясь оттянуть надвигавшуюся вспышку и в то же время чувствуя, что она неизбежна. — А скажите вы мне, товарищ Травницкий: это что же, из-за ягнят вы за мной по всему селу послов рассылали? Или еще какая была у вас надобность до меня?

Травницкий остолбенел от удивления.

— А что ты за барин за такой, что тебя побеспокоить нельзя?

— Я тебе не барин, я председатель колхоза! — загрохотал Василий, сорвавшись и уже наслаждаясь своей яростью. — Ягнятки ему понравились! Я тебе таких ягнят с гусями покажу, что ты мой колхоз за версту будешь обходить! Чтобы твоего здесь духу не было!

Василий настежь распахнул дверь и вышвырнул во двор доху Травницкого.

В комнату ворвались клубы пара. За перегородкой плакала маленькая Дуняшка. Но Василий слышал все сквозь густой гул: шумело у него в голове. Мелькнуло испуганное, осевшее, как перестоявшееся тесто, лицо Травницкого, и уже откуда-то со двора донесся его неожиданно пискливый и срывающийся голос:

— Я этого так не оставлю!

Когда пришла Валентина, Василий сидел за столом в рубахе, расстегнутой на груди, и жадно пил капустный рассол.

— Где же приезжий? — спросила Валентина.

— Уехал.

— Кто приезжал?

— Так, хлюст один...

Он был не расположен к разговору, и Валентина ушла.

Вечером Валентина лежала на печке. Лена, сидя за столом, готовилась к урокам, а Василиса укладывалась спать.

«Как я нужна здесь,— думала Валентина,— нужна ему... Василию... Алеше... Василисе... колхозу... И как мне самой надо здесь быть. Иначе, пока не поднимется колхоз, все будет гвоздь в сердце, не будет спокойной жизни. Словно с родного дома сняли крышу, а я смотрю со стороны... Приехать сюда участковым агрономом? Поговорю с Андреем... Что он скажет...»

В комнату вошел Алексей. Его меховая шапка и барашковый воротник были покрыты ледяной коркой с налипшими снежинками.

Заснежилась и слепилась прядь волос на лбу. Влажное от снега лицо горело румянцем, светились белки глаз.

Валентина свесила голову с печки.

— Пришел?— сказала она сердито и обиженно.— Чурка! Осиновая чурка с глазами!

Лену удивило такое приветствие, но Алексей не удивился, а засмеялся.

— Хохочет!— возмутилась Валентина.

Она спрыгнула с печки, сунула ноги в валенки, подошла к брату и сердито дернула его за влажный чуб.

— Бараний лоб! Садись есть кашу!

В валенках, в пуховом платке, мягкая, ловкая, она удивительно напоминала кошку. Что-то кошачье было и в ее лице — большеглазом, круглом, с широкими скулами, с маленьким ртом и решительным подбородком.

— Вы знаете, откуда явился сейчас этот упрямец? Из вечерней школы сельской молодежи, а школа за пять километров! Весь год я ему писала, сегодня два часа я его уговаривала: «Поедем, противный, несговорчивый человек, со мной в Угрень! Живи у меня и учись. Квартира там у нас большая, одних диванов три штуки!» Ох, и зла я на тебя!— сердито обратилась она к брату.

— Почему вы не хотите ехать?— спросила Лена.

— С чего это я поеду?— как будто даже обиделся он.— Что я, больной или негодящий, чтобы жить за спиной у родичей!

— Вот поговорите с ним! Долблю, долблю, долблю — никакого толку. Совершенно неспособен ничего понимать. Измучилась я с ним... У-у! Баран деревянный.

Она принялась молотить маленькими кулаками по спине брата.

Он вздохнул, положил ложку, сидел очень спокойно и улыбался довольной, добродушной улыбкой, пережидая, пока она кончит.

— Улыбается! Все руки обмолотила, а ему хоть бы что. Ничем его не проймешь!— Она внезапно изменила тон, обняла Алешу и прижалась щекой к его щеке.— Братушка! Поедем в Угрень!

Он поужинал, сел против Лены и разложил свои учебники на противоположном конце стола.

Она видела его гладкий и выпуклый лоб, сведенные у переносья крылья красивых бровей, опущенные ресницы.

Он шевелил губами от усердия и, забывшись, шептал: «Синус альфа плюс косинус бета...» Его старательность невольно передавалась Лене. Ей веселей было работать оттого, что они макали перья в одну чернильницу и раскладывали свои книги так, чтобы не помешать друг другу.

Иногда они встречались глазами, и тогда Алексей молча улыбался Лене.

Валентина смотрела на них с печки.

— Вот и оставайтесь у нас жить, Лена!—сказала она.— Вдвоем вам веселее будет заниматься!

— И правда!—сразу оживился Алексей.— Зачем вам жить у Полюхи? Завтра я перенесу ваши вещи, и делу конец.

— Кровать в горнице можно к печке придвинуть,— добавила Василиса.

А Лена уже чувствовала себя дома. Окончив заниматься, она легла рядом с Валентиной и прижалась щекой к ее теплому плечу. Несмотря на то что Валентина была лишь немного старше Лены, меньше ростом и тоньше, Лене она казалась взрослой, сильной и по-матерински доброй.

«Если бы Валя не уезжала, мне бы здесь было совсем хорошо...»—думала она, засыпая.

...Валентина приехала в Угрень раньше Андрея и одна вошла в пустую квартиру.

— Вот наконец я дома... дома... дома...— Она ходила из комнаты в комнату и повторяла это удивительное слово — «дома».

Впервые за много лет Валентина по-настоящему почувствовала себя дома.

До войны она жила «холостяцкой жизнью», потому что училась в Москве в Сельскохозяйственной академии, а Андрей работал на Кубани.

Потом пришла война и раскидала их по разным фронтам. Демобилизовавшись в конце войны, Валентина вернулась в академию, а Андрей уехал в Угрень, и снова они жили врозь. Наконец академия окончена, получено назначение в Угренский район, и она приехала домой навсегда. «Домой навсегда»—эти слова означали для нее абсолютное счастье.

Больше не будет разлуки и отъездов, можно будет проснуться утром, и увидеть его лицо рядом, можно будет видеть его ежедневно.

Она засмеялась, села на первый попавшийся стул и вслух сказала себе:

— Вот я и дома!.. Наш с Андрейкой дом.

Потом она надела новый передник с оборочками и принялась хозяйничать.

Надо, чтобы к его приезду комната была нарядной и ужин был на столе. Она постелила на стол белую скатерть, накрыла тумбочки вышитыми белыми салфетками, повесила новый шелковый абажур на лампу.

Она еще не закончила приготовлений, когда он стремительно вбежал в квартиру, не запахнув за собой двери, не снимая пальто и шапки, бросился к ней и притянул ее к себе.

— Подожди, я вымоюсь... Руки... пыльные же руки...— Она вырывала у него руки, а он целовал ее испачканные ладони, лицо, волосы.— Андрейка... сумасшедший... Дай же мне помыться... Дай хоть снять фартук...

Она с трудом вырвалась от него, заперла распахнутую дверь, заставила его снять пальто.

— Сядь спокойно!—уговаривала она.—Ты с дороги, ты устал, замерз, проголодался. Я приготовила ужин...

— Валенька! К черту ужин!.. Соскучился же!

Он то смотрел на нее пристально, словно пытался глазами вобрать в себя каждую черточку ее лица, то плотно зажмуривал веки и проводил ладонями по ее щекам, шее, плечам. Всегда подтянутый, строго и точно выбирающий слова, он вдруг утратил привычный самоконтроль и бормотал что-то наивное, ребяческое, не боясь быть непонятым ею, не стыдясь слов, внезапно выплывших откуда-то из далекого детства.

— Валенька, ведь бывает такое счастье! Была война, ты помнишь: мины рвались кругом, и осенние дожди, и ночные переходы по колено в грязи, и каждый день умирает кто-нибудь из друзей, и от тебя нет писем целых семь месяцев. Ведь это все было с нами! А теперь мир и тишина, и родной район, и родной дом! И ты со мной, моя ласточка, ты возле меня! Ух, какая головокружительная штука жизнь!

Она обнимала его руками, которые так и не успела вымыть, и, как лучшую песню на земле, слушала его бессвязное бормотанье.

— Ты мой белый заинька!—говорил он.—У меня был такой, когда мне было года четыре. Помнишь, я говорил тебе? Когда мне лихо приходилось от мачехи, а отца не

было дома, я шел в сарай, где стояла клетка с ручным зайцем. Он был такой теплый, добрый, пушистый. Отчего так помнится это детское? И отчего я вспоминаю это именно с тобой? Без тебя это и в голову не приходит. А вот ты рядом, и все, что было в жизни теплого, доброго, оживает, и даже раннее-раннее, детское, кажется, снова возвращается ко мне. Годы спадают с меня, когда ты рядом!

Она знала его способность иногда становиться ребенком возле нее и особенно дорожила редкими и недолгими минутами, когда в нем, волевом и мужественном человеке, раскрывалось сердце наивно-отзывчивое, доверчивое, широко распахнутое для всего, что есть хорошего на земле.

В такие минуты он был непривычно многословен, но слова его никогда не казались ей лишними, она жадно впитывала их и жила ими долго в дни деловых будней, как растения зимой живут запасами солнца, собранными за лето.

— Бывают люди, которые любят одного, другого, третьего,— говорил он.— Какое это жалкое подобие любви! Любовь — это когда все лучшее в жизни, с самого младенчества, вдруг вот так зазвучит в тебе!

До сумерек они не могли оторваться друг от друга и бессвязно говорили обо всем — о любви, о детстве, о минувшей войне, о районе, о будущем.

Несмотря на то что жизнь их до этого дня складывалась главным образом из встреч и разлук, Валентина всегда чувствовала себя счастливой. Она знала, что если бы тысячи самых лучших, самых умных, самых смелых и самых красивых мужчин добивались ее любви, она выбрала бы только Андрея — настолько все в его натуре, в его характере и даже в его внешности отвечало глубоким и насущным потребностям ее сердца. Даже его веселая резковатость, с редкими взрывами почти ребяческой нежности, даже его манера в разговоре поднимать и сжимать в кулак небольшую крепкую ладонь — все было именно таким, каким ей было нужно.

Одинаковые в главном — в чистоте, твердости чувств и взглядов, они были различны в частностях: мягкость Валентины как бы сглаживала напористость и резкость Андрея.

И сходство в главном, и противоположность в отдельных чертах характера — все было для них источником счастья.

Они избрали друг друга среди всех и навсегда, настоящая любовь связывала их, и оба хорошо знали, что это — счастье, которое приходит раз в жизни и то далеко не к каждому человеку.

Оба они одинаково дорожили любовью, но Андрей воспринимал ее проще, размышлял о ней меньше, чем Валентина.

До встречи с Валей он жил в состоянии безотчетной тревоги — смутно ощущая, что не все в его жизни идет так, как надо. Однажды у знакомых он встретил ее — девушку с легкими, как пух, волосами, перемолвился с ней несколькими словами, и ему показалось, что все в его жизни встало на свое место. Чем больше он узнавал Валентину, тем яснее понимал, что именно она, и одна она, необходима ему для того, чтобы и жизнь его стала полной, и сам он смог развернуться и раскрыться в полную силу. Его тянуло к ней неодолимо. Каждое утро он дожидался ее у общежития, и если не видел ее два-три дня, то ни на чем не мог сосредоточиться и досадовал и на себя и на нее.

Перед отъездом из Москвы он решительно сказал ей:

— Валя, пока я не женился на вас, я не человек!

Они поженились за день до его отъезда, их торопливую, сумбурную и сумасшедше-веселую свадьбу праздновало все общежитие. Через месяц Валентина приехала к нему на каникулы, и с тех пор началась их семейная жизнь, богатая разлуками, волненьями и неудобствами и все-таки насквозь пронизанная счастьем.

Сейчас, сидя на диване, они вспоминали свою первую встречу, свою свадьбу.

— Смешно! — говорил Андрей.— Было время, когда я даже не подозревал о том, что ты есть на свете! Жил-поживал себе на Кубани и не знал, что ты вот тут, в Угренском районе, в селе Крутогоры! Совершенно удивительно, правда?!

— Удивительно! — от души согласилась Валентина.— Но я знала! Я не знала, где ты, но всегда знала, что ты есть!

— Когда знала? — заинтересовался Андрей.

— Ну, всегда, всегда... Я помню: когда ты в первый раз вошел в комнату, я сразу подумала: «Вот он и пришел!..» И мне стало и очень тревожно, и очень спокойно.

Сотни раз они возвращались к воспоминаниям о первой встрече, и чудо возникновения любви не переставало поражать и радовать их.

— Ты так долго не делал мне предложения,— жаловалась Валентина,— я так измучилась тогда. Думаю: чего же он тянет? Так и уедет, не сказавши! Не могу же я ему, чудаку, первая говорить, что нам совершенно необходимо пожениться! У женщины такое глупое положение!

— А я думал, что ты подумаешь, что я легкомысленный,— путаясь в словах и не заботясь об этом, говорил Андрей.— Нельзя же, думаю, с первой встречи сразу бухнуть: «Выходите за меня замуж». Испугается — и знать меня не захочет!

— Если бы я была мужчиной, я бы тебе так с первой встречи и сказала,— возражала Валентина с таким видом, как будто это обстоятельство до сих пор имело огромную важность для их судьбы.

— Говорят, с годами любовь проходит. Какая ерунда! Я полюбил тебя сразу, так что казалось — нельзя сильнее. А вот люблю с каждым годом больше и больше. Очень трудно сейчас в районе. Я и раньше был уверен, что мы справимся, а теперь, когда ты рядом, я не только уверен, для меня это так же ясно, как то, что меня зовут Андрей Петрович. И знаешь, где особенно трудно?

— У нас в Первомайском. Я уже была там. Я думаю поехать туда участковым.

— Участковым агрономом?

— Да. Я там каждую тропку знаю и каждого человека с его бабками и прабабками.

Андрей стал серьезен.

— Я думал об этом,— сказал он, притягивая ее к себе.— Далековато...

— Рейсовый автобус ходит ежедневно. Я же всегда смогу приехать...

— Скоро узкоколейку подведем к самому Первомайскому, к лесоучастку...

— Ну, тем более! Сорок пять минут езды! Для москвичей это норма! Хотя, конечно, работы там много, и пока я не налажу дела, придется сидеть там день и ночь. А тебе не хочется, чтобы я там работала?

— Мне хочется... Мне хочется...— Андрей засмеялся.— Знаешь, чего мне хочется? Чтобы ты стала маленькая-маленькая и я бы носил тебя в своем кармане.

— Ты же сам меня меньше любить будешь такую... карманную... Мне надо, чтобы ты меня любил с каждым годом больше.

— Знаю, что ты в карман не захочешь! — Он снова стал серьезен.— Поэтому я уже думал о Крутогорах. Самый трудный участок, Валя.— Привычные жестковатые нотки послышались в его голосе.— Тут, знаешь, как надо решать? «Взялся за гуж, не говори, что не дюж».

— Не скажу, не беспокойся.

— Решила? — Он смотрел на нее испытующим спокойным взглядом. Она поняла, что он уже обдумал все заранее. Она поняла, что, если она не поедет в Крутогоры, а найдет работу полегче, он не станет ее уговаривать

и, может быть, даже вздохнет с облегчением, но все же какая-то крохотная тень ляжет на его чувство к ней. А если она пойдет туда, где она всего нужнее и где ему больше всего необходима ее помощь, значит, придет еще большая близость с ним, еще большей станет любовь. Для него, для себя, для колхоза надо ехать в Крутогоры!

— Да. Решила,— ответила она ему.

— Я думаю, правильно. Ты там многое сможешь сделать. В родном колхозе — что в родном доме: если печь не горит, так сами стены греют. Там Бортников, этот бывший тракторист. Атаман, но ухо с ним надо держать востро! Ты знаешь его?

— Еще бы не знать! Но мы опять забыли про ужин. Ты ведь с утра не ел, ты ведь голодный!

Все уже остыло, она снова стала разогревать ужин, а он ходил за ней по пятам.

Они уселись за стол, и Валентина сказала:

— Ну вот мы и дома, Андрейка! Какое счастье, что мы уже вместе.

— Нет, ты только представь: утром я открываю глаза — и ты здесь! Здесь!

Они смеялись и разговаривали до тех пор, пока ужин снова не стал холодным.

Потом он стал рассказывать о районных делах. Она слушала, забравшись с ногами на кресло.

Рассказывая, он увлекся, как всегда. Он вскакивал с места, мимикой, жестами, интонациями изображая тех, о ком говорил, перебивал себя взрывами смеха, новыми, внезапно пришедшими на память эпизодами.

Она любовалась его милой и каждый раз заново пленявшей ее способностью увлекаться людьми и делами.

Они легли поздно.

Утомленный работой и волнением встречи, он уснул мгновенно, едва коснувшись подушки. Она лежала рядом с ним и думала. За то, что он отправлял ее в Крутогоры, она любила его еще сильнее, чем прежде. Она думала, что не случайно в районе его, единственного из секретарей, тепло и уважительно звали по отчеству «Петрович», так, как зовут стариков, словно утверждая этим его старшинство над другими, его зрелость и силу.

«Ты, ты, ты, только ты...» — касаясь щекой руки мужа, мысленно повторяла она, повторяла не для того, чтобы лишний раз укрепить себя в своем выборе, но потому, что повторять это было счастьем.

Она бесконечно дорожила неразрывной близостью с человеком, на которого ей хотелось походить во всем, который был именно таким, каким должен быть в ее представлении настоящий человек и настоящий мужчина.

Когда семь лет назад подруги расспрашивали ее, за что она полюбила Андрея, она не могла объяснить.

— Он красив?—спрашивали ее.

— Ах, да нет же!..—отвечала она с досадой.

— Он умен, талантлив?

Ей хотелось сказать, что он талантлив, но она не могла объяснить, в чем его талант.

Его талантливость проявлялась в его жадности к жизни. Он жадно, с увлечением делал все: работал, руководил людьми, любил, дружил, читал книги, смеялся и сердился, думал и претворял мысли в действие. Это была настоящая жадность к действию, к активному и властному вторжению в жизнь.

Его ладонь раскрылась и снова сжалась во сне. Валентина плотнее прильнула к ней щекой:

— Только ты...

Он проснулся. Ему было достаточно вздремнуть пятнадцать минут, чтобы запастись свежестью и бодростью на целые сутки. Он почувствовал ее щеку у своей ладони и по-своему понял ее движение.

— Валенька, ты не спишь? Ты только что приехала, а я заснул, как чурбан!

Она не мешала ему понять ее по-своему: он был рядом с ней, и все, что исходило от него, было счастьем.

6

«ЖАЛЕЙКА»

Валентина поднялась на холм и присела передохнуть на кучу валежника. Ее беличья шубка до пояса была залеплена снежными хлопьями. Она с полдня путешествовала по сугробным полям—осматривала вновь принятое хозяйство. Перед возвращением в колхоз она захотела взять несколько образчиков почвы для анализа на занятиях по агроминимуму. Под слоем снега земля была тверда, как лед. Валентина с трудом большим кухонным ножом, взятым для этой цели, выкапывала комки почвы. Утомившись, она присела на кучу валежника.

День был теплый и волглый. Подернутое облачной пеленой солнце низко катилось над лесами. Леса подступали черным полукольцом с запада, а с востока расстилались поля.

Тишина и неподвижность царили вокруг, и только тонкая хворостинка, одиноко торчавшая посреди сугроба, чуть вздрагивала. Щемящий душу простор безропотно и покорно стлался под ноги оцепеневшими волнами синева-

тых сугробов. Откуда-то издалека доносился странный прерывистый и протяжный звук. Ветер ли высвистывал однообразную песню, вода ли в далеком роднике пробивала ледяную корку и чуть слышно журчала меж деревьями?

Этот тонкий звук и вздрагивающая хворостинка были одинаково сиротливыми и жалостными.

Протягивая голые ветки и терпеливо ожидая чего-то, стояли темные кусты.

Валентина смотрела на них.

«Давно ли я проезжала здесь и думала о том, чтобы заставить вас зацвести ярко, пышно, так, как вы не цвели никогда...— мысленно сказала она им.— Что же я сумею сделать с вами? Как вы жили? Как вы будете жить?»

Вся земля, которую видела Валентина с холма, была ее землей — за обработку и урожайность которой Валентина отвечала как агроном.

Поля лежали как страницы огромной непрочитанной книги. Каждый клочок этих полей имел свою историю, имел свое прошлое, настоящее и будущее, и Валентина должна была знать любой из них «в трех временах и в трех измерениях», как говорил профессор почвоведения. Она приехала два дня назад и в течение этих дней изучала земельные документы. Севообороты были нарушены, история полей не велась. Для того чтобы узнать, что, когда и на каком поле сеяли, какие вывозили удобрения, надо было спрашивать председателя, бригадиров, и нередко выяснялось, что рожь сеяли по овсу, что запущенные, заросшие молодым лесом клевера сами по себе росли на одном месте много лет.

— Почему не распахивали клеверища?— спрашивала она.

— Да ведь тяжело их пахать, все равно что целину, не укулупнешь никак,— отвечали ей.— Сперва из-за этого не запахали, а потом березняк пророс...

Для того чтобы привести землю в порядок, надо было вместе с землеустроителем заново разработать планы севооборотов, надо было заново заводить историю полей, надо было заново изучать состав почв и вырабатывать рецептуру удобрений.

Сложность предстоящей работы пугала Валентину. Она казалась себе маленькой, заплутавшейся в полях, затонувшей в сугробах.

«Хозяйство» мое не малое,— думала она,— и каждый гектар я должна знать, как знают хозяйки каждую полку в своей кладовой. Справлюсь ли? Не опозорюсь ли? Комсомольцы, молодежь, колхозный актив — вот моя надежда. Оторвусь от них — затеряюсь в снегу, как эта

хворостинка в сугробе. И не дело вот так, как сегодня, одной ходить по полям, ковырять землю. Это я только для начала, а там надо все построить иначе... Что это опять поет так жалостно, так печально? Где оно поет?»

Валентина стала спускаться с холма. Село начиналось недалеко, с середины холма, и первой у дороги стояла маленькая школа.

Чем ближе Валентина подходила к школе, тем яснее становились непонятные звуки. Вскоре они утратили всякую загадочность, и стало очевидно, что кто-то очень неумело, но с завидной настойчивостью извлекает звуки из инструмента, похожего на дудку.

Когда Валентина поравнялась со школой, загадка окончательно разъяснилась: на крыльце сидел внучок Матвеича, по прозвищу Славка-головастик, и старательно дул в самодельную дудку, которую за жалостные звуки в селе прозвали «жалейкой». Необношенный тулупчик, опоясанный шарфом, стоял на Славке торчком, большая Славкина голова склонилась набок, одно ухо меховой шапки задралось кверху. Это задранное меховое ухо придавало Славке сходство с лопоухим насторожившимся щенком. Славка дудел так самозабвенно, что не заметил Валентину.

Ты жалей меня, жалейка моя...—

старательно выводил он и тут же с азартом начинал сначала:

Ты жалей меня, жалейка моя...

Очевидно, за пределы этой фразы Славкины музыкальные таланты не распространялись.

— Это ты из меня всю душу вымотал, Славка!— жалобно сказала ему Валентина.— Иду полем, слышу: скрипит и скрипит что-то, а что — не могу понять. Замучилась, право!..

Славка вынул изо рта дудку, качнул задранным ухом и сиплым деловым голосом сказал:

— Мне дедушка Мефодий жалейку подарил...

— Вижу, что подарил, было бы вам обоим неладно!

Валентина взяла у Лены тетради для записей, и вместе они пошли на гидростанцию посмотреть, что там делается, и узнать, будет ли вечером свет. Славка увязался за ними.

Электростанция была близко.

Новый электрик Михаил Буянов, заменивший Тошу Бузыкина, появился в колхозе несколько дней назад. Колхозники хорошо помнили веснушчатого, верткого,

неказистого парнишку Мишку Буянова и удивлялись его перевоплощению. Теперь это был стройный, «подбористый» парень, одетый в брюки галифе и суконную куртку невиданного в районе фасона. Куртка эта плотно обхватывала талию, клешила книзу и была оторочена по краям непонятным коричневым мехом. Всеведущая Фроська сообщила, что куртка эта называется «венгеркой». На голове у электрика была папаха из такого же непонятного меха. Бледное, слегка веснушчатое лицо электрика выражало горечь и высокомерие. Рядом с ним ходила его жена, простенькая, курносенькая и, по мнению колхозных девчат, совсем ему не подходящая. Они ходили всюду вдвоем, и когда видели покосившуюся кузницу или дырявую крышу на птицеферме, то обменивались понимающими, горько-презрительными взглядами, словно хотели сказать друг другу: «И куда это нас занесла нелегкая?»

Разговоры у электрика были интересные и пересыпанные книжными словами. Проезжим шоферам он рассказывал о том, как повышается тонно-километраж при хорошей трассе, на ферме говорил о «таблицах рационов» и автоматических поилках. На колхозную молодежь новый электрик произвел большое впечатление, но старики отнеслись к нему недоверчиво, и Матвеич ворчал:

— Приехали две пустомели на колхозные хлеба...

Недоверие к приезжим возросло после того, как в колхозе погас свет и гидростанция встала на долгосрочный ремонт. Отставной электрик Тоша Бузыкин ходил по деревне, таинственно и зловеще сощурясь, подергивал жидкой бороденкой и всем своим видом говорил: «То ли еще будет...»

Отсутствие света по вечерам угнетало Валентину и Лену, и они решили зайти на гидростанцию, подробно узнать, в чем дело.

Когда Лена и Валентина подошли к гидростанции, они увидели Тошу, сидевшего на крыше. Тоша красил шпиль голубой краской, бороденка у него тоже была вымазана в голубой цвет, а по снежному покрову крыши, расплываясь, текли голубые потеки.

Новый электрик в своей «венгерке», наброшенной на одно плечо, прыгал возле крыльца гидростанции, грозил Тоше кулаком и кричал:

— Я тебя просил или нет крышу красить, козлиная твоя борода? Я тебе как человеку велел шпиль выголубить. Ты чего мне всю крышу исполосатил? Слезай к чертовой бабушке!

Он попрыгал, поругался и ушел на гидростанцию. Тоша с горестным видом продолжал возиться со шпилем. Валентина и Лена посмотрели на него и пошли вслед за

Буяновым. Едва переступив порог, они услышали короткий окрик электрика:

— Остерегайсь!..

Под ногами зияла яма. Пол был разобран, темная вода шумела и урчала в глубине. На полу, с другой стороны ямы, лежали темные и проржавевшие части механизмов, а электрик лежал между ними и, свесив голову под пол, кричал кому-то:

— Протирай лучше! Не жалей, говорю, рук!

Все вокруг было сдвинуто с места, разворочено и разбросано.

Маланья, протиравшая в углу оконное стекло, увидела испуг в глазах вошедших и злорадно улыбнулась.

— Как видно, свет будет не скоро,—сказала Лена.

— Где уж там!—отозвалась Маланья.—Светопреставление учинили!

Из подпола вынырнула курносенькая жена электрика, одетая в лыжные штаны, посмотрела на вошедших, не поздоровавшись, сказала:

— Механизмы находятся в до невозможности запущенном состоянии!—взяла тряпку и нырнула обратно в яму.

— Остерегайсь!—опять крикнул электрик.

В дверях стоял Василий.

— Ого!—сказал он не то одобрительно, не то недоверчиво и пошел по узкой дощечке, перекинутой через дыру в полу.

Лена и Валентина прошли за ним. В дверь сунулся Славка, но на него цыкнули, и он уселся на крыльце, откуда через минуту понеслась скрипучая песня:

Ты жалейка, жалейка моя...

Василий с уважением потрогал части разбросанных механизмов. Буянов напильником подтачивал грани у шестеренки и говорил:

— Если приедет понимающий человек в колхоз—куда ему кинуть первый взгляд? Что ему лучше всего с одного взгляда покажет колхозное нутро? Ясно, гидростанция! Если гидростанция запущена и разрушена, значит, дальше и глядеть незачем.

— А здешний народ этого не понимает,—вынырнув из подпола, сказала курносенькая.—Нынче прошу у бухгалтера бумаги для отчетности, а он не дает.

— Несознательность...—презрительно отозвался Буянов.

Ясно было, что эти двое чувствуют себя главными людьми в колхозе. Василий с интересом и особой уважи-

тельностью разговаривал с Буяновым о турбине и генераторе. Валентина и Лена уселись на скамейку, слушали их разговор под негромкое урчанье воды в яме.

Валентина была молчалива, потому что не вполне ясны еще были планы ее работы, Лена же, обрадованная присутствием новой подруги, была оживленнее и говорливее, чем обычно.

— Через несколько дней услышим Москву! — говорила она.— А мы-то ворчали на то, что свет погас! Я готова целый месяц сидеть без света, лишь бы слушать Москву.

Дверь распахнулась, Буянов крикнул: «Остерегайсь!» — и на пороге вырос Матвеич. Весь заснеженный, краснолицый и бородатый, как рождественский дед, он стоял на пороге, загораживая дверь своей могучей фигурой.

— Ты здесь, Василий Кузьмич? Я к тебе зашел.

— Ага,— сказал Василий.

Мягко ступая большими белыми валенками, он подошел поближе к Матвеичу и остановился против него с другой стороны ямы. В окно видны были черные пики елей и за ними низкое, багровое, расплывчатое от тумана пятно солнца. В свете этого солнца туго перепоясанный полушубок Василия казался огнисто-рыжим. Матвеич неторопливо вытер усы и бороду большим малиновым платком и сказал как бы между прочим:

— Завернул я к тебе сообщить, что не поспели мы вывезти бревна с колхозной лесосеки.

Слова были простые, произнес их Матвеич очень спокойно, и нарочито медлительны были движения его больших красных рук. Тем непонятнее показалась Валентине настороженность, которая сразу появилась на лице Василия. Он вобрал голову в плечи и подступил к самому краю ямы:

— Как же это «не поспели»? Приказ председателя не выполнили, а ты, бригадир, сообщаешь мне об этом, будто так и быть должно? Где ж дисциплина в колхозе?

Матвеич аккуратно спрятал платок в карман и, упорно глядя куда-то в окно, с прежней спокойной неторопливостью коротко произнес:

— Нынче не поспели и завтра опять же не поспеем...

— И завтра поспеем и нынче должны поспеть,— сказал Василий, ставя ногу в большом белом валенке на доску, перекинутую через яму,— и тебе, бригадиру, сейчас не за председателем надо бегать, а снаряжать подводы на лесосеку! Не веди времени, Петр Матвеич, давай на конный!

По резкому тону Василия, по рассчитанности коротких фраз и медлительных жестов Матвеича Валентина видела,

что разговор этот не случаен и что в каждом слове есть какая-то непонятная ей подоплека.

Матвеич не тронулся с места.

— Это куда же на ночь глядя плутать по лесосекам? — по-прежнему глядя в окно, негромко сказал он и вдруг, сорвавшись со своего спокойствия, повернулся к Василию и заговорил укоризненно: — Лесозаготовки, удобрение, навоз — это дело необходимое и безотлагательное. А в этом в твоем строительстве, прости старика за прямое слово, нет ни расчета, ни сообразности. Едва-едва с необходимыми делами управляемся, а ты — со строительством!

Как только речь зашла о строительстве, лицо Василия окаменело, и Валентина поняла: вот она в чем, подоплека разговора!

Валентина не ошиблась. Несколько дней назад на правлении рассматривали разработанный Василием план строительных работ. План сильно сократили и утвердили после долгих споров, во время которых Василий главного своего противника, Бузыкина, прогнал с заседания как нетрезвого, а Матвеича назвал «отсталым элементом».

И для Василия и для Матвеича сегодняшний разговор о вывозке строительного леса с колхозной лесосеки был прямым продолжением недавних споров на заседании правления.

— У нас для коней кормов не хватает, а мы тока да фермы будем отстраивать,— продолжал Матвеич.— Оно и получится как раз по пословице: «На брюхе-то шелк, а в брюхе-то щелк!»

— «Шелк»! — передразнил его Василий.— Про шелка ли тут разговор! Говорят, для колхозного села гидростанция все равно что сердце, а для колхозного поля ток — сердце! Сердце нивам нашим! А ты «шелк»! А осень придет — опять будем молотить под открытым небом да под старыми дырами?

— До осени почитай год сроку. Можно и ток строить, и фермы обновлять,— все можно, если с разумом. А у нас что получается? В однодневье и на лесоучасток езжай, и удобрение вози, и стройматериал с колхозной лесосеки вози. Ночь ли, день ли, ты на это не глядишь! Приспичило тебе — вынь да положь! Будто до осени и срока нет, кроме нынешнего дня!

— А какой срок до осени? Когда и завозить стройматериалы, как не сейчас? Сейчас морозов нет, а того и гляди грянут! Сейчас мы на ближнем лесоучастке работаем, с той недели на три месяца переведут на дальний, еще больше работы будет и людям и коням. Сейчас не поднажмем, а дальше еще труднее будет. А там, глядишь, распутье, а там, глядишь, посевная. Сейчас надо возить.

На этой неделе положено по нашему плану подвезти бревна для будущего тока. Не сбивай плана, Петр Матвеич, не веди времени!

— На ночь глядя я людей в лес не погоню. Чай, люди не волки — ночами по лесосекам рыскать.

— А кто виноват, что затянули до ночи? В восемь часов утра надо было в лес выехать, а выехали в десять. Это дисциплина?

— Так на станцию же ездили за удобрением.

— А удобрение надо было на салазках вывозить, ребятишки да бабы перевезли бы за два дня. Такое было мое распоряжение. Вы самовольничали, не послушались, а теперь говорите: «Не успели». Давай не задерживайся. До лесосеки доберетесь засветло, а обратно и с фонарями доедете — не велико лихо.

Валентина взглянула на усталое лицо и седую бороду Матвеича, представила себе сумерки в сугробной, мертвой тишине полей, отчетливо вспомнила одинокую хворостинку, сиротливо трепетавшую под напев далекой жалейки, и так остро пожалела Матвеича и тех, кому предстояло ехать в ночном безлюдье, что неожиданно для самой себя сказала:

— Поздно же сегодня, Василий Кузьмич! Завтра!

Он быстро повернул к ней голову. Дрогнула короткая щетинка усов: он хотел сказать что-то резкое, но сдержался. По его пренебрежительному и злому взгляду она поняла, какой он видел ее в эту минуту: белоручкой, закутанной в беличью шубку, перепугавшейся и леса, и ночи, и работы.

— Помолчать бы тебе, Валентина Алексеевна! — бросил он ей.

Ободренный неожиданной поддержкой, Матвеич подошел ближе к Василию и сказал:

— Удобрения за три километра на себе возить... За стройматериалами ночью на лесосеку ехать... Не жалеешь ты народа, Василий Кузьмич!

— Я вас не жалею?! — Василий шагнул вперед. Он стоял теперь на зыбкой тесине над черной урчащей водой. Темная вена набухла над бровью и пересекла лоб.— А вы сами себя жалеете, когда молотите под открытым небом и тонны зерна пускаете по ветру? Вы сами себя жалеете, когда у вас лошади студятся в дырявых стойлах? Вы какой от меня хотите жалости? Вон к ней, к Маланье, идите за жалостными словами! А моя жалость — мой приказ! Лес возить, удобрения возить, стройматериалы возить! Вот она, моя жалость!

Он перешел через яму и настежь распахнул дверь. Надоедливая Славкина песня проникла в комнату:

Василий глотнул холодного воздуха и поправил сбившуюся на сторону шапку.

— Приказ председателя есть приказ. Тут дело не только в бревнах, а в принципе. Пошли, Матвеич, на конный. Я сам с тобой пойду. Приучаться надо к порядку и дисциплине.

Обернувшись с порога, он бросил Валентине:

— А тебе, Валентина Алексеевна, самое подходящее занятие — на жалейке дудеть.

Матвеич вышел за ним и цыкнул на Славку:

— А, чтоб тебе тут с твоей пищалкой...

Они ушли. На гидростанции стало тихо.

Вечером Валентина пошла на занятия по агроминимуму, которые Алеша проводил с молодежью.

Обходя поля, Валентина думала о том, как овладеть массивом земли, как стать подлинной хозяйкой пашен и лугов своего сельсовета. Ей ясно было, что в одиночку невозможно справиться с этой задачей, что надо искать какие-то «приводные» ремни, надо формировать свою «армию», способную вести наступление на землю. Поэтому она обрадовалась, когда узнала, что в колхозе есть кружок по изучению агроминимума. Она сама подготовила брата к очередному занятию и научила его несложному способу определения кислотности почвы.

Ее тронуло и позабавило то детское удовольствие, с которым Алеша учился обращаться с пипетками, пробирками и реактивами.

Она задержалась в сельсовете, и когда пришла в правление, занятие уже шло к концу.

С порога она окинула взглядом бревенчатую комнату с большим, покрытым красной скатертью столом. Комната эта показалась ей уютной, и впечатление уюта зависело не от убранства и не от обстановки, а от людей, сидевших здесь. И Фроська, и Татьяна, и хорошенькая Ксюша Большакова, и Лена, и Яснев с Любавой, которые тоже оказались здесь, расположились тесным кольцом вокруг Алеши в свободных, по-домашнему спокойных позах и слушали его с видимым удовольствием и интересом.

«Вот оно, ядро моей будущей армии,— подумала Валентина, входя в комнату.— Мне повезло. Оно уже создано до меня. Мое дело укреплять и растить его».

Все улыбнулись ей, а Лена подвинулась, чтобы освободить место рядом с собой. Алексей на минуту сбился и слегка покраснел при виде сестры, но тут же оправился и продолжал говорить. Валентину удивили выразительность и чистота его речи.

— Этот образец почвы взят с Козьей поляны, а этот — с косогора. Вспомним, как росла пшеница на этих местах.

— На косогоре пшеницы задались, а на Козьей поляне, сколько я помню, ни разу не давали наливы, — сказал Яснев.

— Вот сейчас мы попробуем установить причину этого явления. Попробуем определить кислотность почвы на этих местах. Елена Семеновна, пожалуйста!

Лена встала и пошла помогать ему, с улыбкой оглянувшись на Валентину, точно хотела сказать ей: «Посмотри, как у нас все хорошо, по-настоящему получается!»

Валентина следила за братом. Он орудовал пробирками и пипетками с ловкостью опытного лаборанта. «И не скажешь, что вчера вечером я впервые показала ему, как надо держать пипетку», — думала Валентина.

Его темный и широкий указательный палец чуть прикасался к отверстию пипетки. Крупные капли падали мерно и точно, и растворы в пробирках постепенно меняли окраску: из бесцветных становились розовыми, — и, словно заодно с ними, постепенно светлело лицо Алеши. Он боялся, что его первый самостоятельный опыт не удастся, и то, что опыт шел как «по-писаному», и радовало и удивляло его.

— Теперь вы своими глазами убедились в том, что кислотность у наших почв высока и на Козьей поляне выше, чем на косогоре, — сказал Алеша.

— Я же говорил, что не идут пшеницы на Козьей, — сказал Яснев.

— Что хочешь с ними делай, не идут! — подтвердила Любава.

— А на огородном участке какие почвы? — интересовалась Татьяна.

Несложный анализ почв, проведенный на глазах у слушателей, сразу оживил всех, сразу придал действенность и конкретность рассказанному.

— Вот ты принеси земли с огородного участка, мы вместе сделаем анализ, а для проверки пошлем в районную лабораторию.

«Теперь они сами пойдут на поле, сами будут исследовать почву, — думала Валентина. — Мне не придется одной топать по сугробам и не придется писать приказы и распоряжения. Они сами все сделают с охотой и интересом. И для этого надо было только подумать, хорошенько подзаняться с Алешей да приготовить несколько пробирок и реактивов!..»

— Как же теперь нам быть? — спросила Любава. —

Или вовсе отказаться от пшеницы, если земли наши неподходящие?

Алеша повернулся к ней:

— Не от пшеницы надо отказываться, а землю надо переделывать! Есть простой и хороший способ нейтрализации, то есть уничтожения кислотности. Этот способ — известкование почвы. Известковые туфы имеются у нас за оврагом, и нам необходимо на этой же неделе начать вывозку туфа на поля.

Теперь Валентина не узнавала Алексея. С каждым часом он открывался ей по-новому, и повелительные ноты, звучавшие в его голосе, опять показали ей способного руководить людьми человека. Удачный опыт придал ему уверенности, еще точнее и свободнее стала его речь, еще тверже интонации.

— Сделаем же с вами расчет известкования. Решим чисто практическую задачу: рассчитаем, сколько известкового туфа надо для нейтрализации кислотности одного гектара Козьей поляны. Ксюша, иди к доске. Товарищи, прошу вас всех взять карандаши и бумагу.

«И откуда что берется, просто непонятно! — с нежностью и радостью думала Валентина.— Его хоть на кафедру, честное слово, и там не растеряется! Молодчина!»

Дверь отворилась, и высокий русокудрый парень с черными бровями и удивительно белым лицом вошел в комнату. Он сел рядом с Валентиной, оглядел ее всю нагловатыми черными глазами, наклонился к ней и спросил:

— Валентина Алексеевна Стрельцова, агрономша, как я понимаю?

Смеющийся, дерзкий взгляд бил в лицо. Она отстранилась.

«Чей это озорник такой? Вином от него пахнет. Чей это отчаянный такой: не Петрунька ли Бортников так поднялся?»

Он уже отвернулся от нее и говорил Татьяне:

— Кто это тебе голубенькие сережки подарил, Танюшка?

Алексей повернулся к нему:

— Петро! Ты опять?

Спокойно и властно прозвучали слова. К удивлению Валентины, черноглазый парень сразу утих и добродушно ответил:

— А что, Алеша? Я же ничего!

— Ну, если «ничего», так сиди и слушай! Слушай или поворачивай отсюда!

Занятия шли своим чередом. Алешу засыпали вопросами. Он отвечал уверенно и точно.

Когда занятия кончились, молодежь окружила Алексея, и Любава подошла к Валентине.

— Мимоходом я шла, да и застряла,— объяснила она свое присутствие.— Посидишь так-то, вспомнишь, как, бывало, всем колхозом на агроучебу собирались!..

Она смотрела куда-то вдаль, сухие губы ее улыбались, видно было, что в этих воспоминаниях об агроучебе есть что-то поэтичное и дорогое ей.

— Вместе с Пашей моим ходили мы...— тихо добавила она.— Так и сидим, бывало, рядком... Он все книжки покупал по агротехнике, любитель был. Как поедет в город, так без книжек не ворочается...— Словно выйдя из забытья, она встряхнулась: — Ну спасибо за науку, Алешенька...— и шутливо поправилась: — Алексей Афанасьевич!

Понемногу молодежь расходилась.

Алексей подошел к черноглазому парню:

— Опять ты выпивши пришел в красный уголок, Петро?

— Я же, Алеша, по уважительной причине! Васька, брательник, председатель чертов, заставил ночью на лесосеку ехать за бревнами. Ну, я и погрелся маленько. Как без этого? Ох, и хорошо в лесу! — оживленно продолжал он.— За оврагом лиса как стрельнет из-под самых ног, а я ружья не взял! Хоть плачь с досады!

— Бревна привезли?

— Привезли бревна, свалили на холме, где ток будем ставить.

«Привезли-таки! — подумала Валентина, слушая разговор и со стыдом вспоминая свое неуместное вмешательство в спор председателя с Матвеичем.— Настоял на своем Василий!»

— Что твоя причина «уважительная», я не возражаю,— сказал Алексей.— Только выпил — и сидел бы дома. Не дело выпивши в красный уголок приходить.

— А тебе жалко?

— А ты как думаешь?

— А я никак не думаю. Это ты у нас «думный»! Хватит и одного такого на весь колхоз! — смеялся Петр и лез обниматься с Алешей.— Эх, Алешка, ведь люблю я тебя, ну просто как девка, люблю, ей-же-богу, только чересчур ты какой-то сверхплановый! Все у тебя обдумано по пятилеткам на сто лет вперед. И чего молодым парням думать? Пускай старики думают! А мы так будем жить!

— Значит, живите, пока живется, пейте, пока пьется, гуляйте, пока гуляется! Ты думаешь, что ты эти слова от себя говоришь, а они давно до тебя сказаны! Спроси наших стариков, чему их наш деревенский шинкарь учил!

Девушки остались оформлять газету, а Лена, Валентина и Алексей пошли домой.

Алексей держал своих спутниц под руки, чтобы они не скользили в темноте по укатанной дороге.

— Правда, хорошие у нас комсомольцы? Правда?— спрашивала Лена Валентину.

— Конечно! А на тебя, Алешка, я прямо диву далась! Замечательно провел занятие! Я сама бы так не сумела! Академик, да и только!

— То-то вот,— сказала Лена так, будто она имела право гордиться Алешей перед Валентиной.

Ей было хорошо.

«Он и в самом деле будет ученым,— думала она об Алеше.— Ведь многие знаменитые люди начинали вот так же, с агроминимума, со школы сельской молодежи. Мы вместе будем учиться. Он моложе меня и ниже по образованию, но разве это так важно? Он, может быть, самый хороший из всех ребят, которых я знала. И ведь не дорога́ та дружба, когда дружат люди, уже достигшие и успеха и славы. А вот такая дружба, которая начинается вот здесь, на занятиях по агроминимуму, за одним рабочим столом в маленькой колхозной избе,— такая дружба не позабудется, не исчезнет, не изменит никогда в жизни! Пусть мы станем учеными, профессорами, кем угодно,— этих вот дней мы не забудем, и с каждым годом, с каждым успехом они будут казаться нам милее...»

Валентина, уставшая за день, легла спать раньше всех.

Уютно умостившись в постели, она смотрела на картину, уже привычную и чем-то милую ее сердцу. Василиса пряла, а Лена и Алексей сидели, склонившись над своими тетрадями, за одним столом, друг против друга. По привычке, укоренившейся с давних пор, Валентина перед сном обдумывала все происшествия дня.

«Хороший был день...— думала она.— Хорошо поработала с земельными документами, ориентировалась в полях, но самое главное, самое хорошее — занятие по агроминимуму. Хорошо, что привезла с собой эти пробирки и реактивы. Хороший день, все хорошо, одно только плохо — эти глупые слова во время разговора Василия с Матвеичем».

«Тебе бы на жалейке играть — самое подходящее дело...» — эта фраза Василия гвоздем сидела в ее памяти.— Если бы все это слышал Андрей, он ничего не сказал бы, но поднял бы брови и посмотрел бы на меня укоризненно. Он посылал меня сюда не только как агронома, но и как коммунистку. Как агроном я начала правильно, а как член партии я еще не начинала действовать. Нет, уже начала. Я начала — и начала с ошибки, с этого глупого вмешатель-

ства в разговор Василия с Матвеичем. Да, надо точно сказать самой себе: первый мой шаг в этом направлении — ошибка, второй мой шаг — признание этой ошибки! Каким будет мой третий шаг?»

7

ДОРОЖЕ ТЫСЯЧ

На первое партийное собрание Василий шел со смешанным чувством удовлетворения и разочарования.

Удовлетворен он был тем, что с этого дня начинала существовать в Первомайском колхозе партийная организация, а разочарован тем, что вместо солидных и опытных коммунистов Андрей прислал в колхоз Буянова и Валентину, людей молодых и, на взгляд Василия, лишенных основательности.

Валентину он помнил Валькой-гусятницей, пасшей гусиное стадо у оврага, Валькой-сорвиголовой, голенастой и верткой девчонкой с большими ясными глазами, смотревшими как-то особенно открыто, весело и доверчиво. Девчонка была хорошая, смышленая, отчаянная, озорная и деловитая. Она верховодила соседскими ребятами и не хуже взрослых работала в страду в поле. Ее в колхозе любили; когда надо было срочно созвать людей на собрание или сбегать в поле за бригадиром, всегда вспоминали про нее, и все она делала споро и весело. Девчонку эту Василий вспоминал с удовольствием и жалел о том, что из Вальки-сорвиголовы получилась разодетая в беличью шубку неженка, которая так некстати вмешалась в его разговор с Матвеичем на гидростанции.

Буянов, живший в колхозе уже несколько дней, еще ничем особенным не проявил себя. Днем он вместе с молодой женой возился на гидростанции, а по вечерам они безотлучно сидели за печкой у колхозницы по прозвищу «Таня-барыня», у которой снимали комнату, грызли семечки и шептались, пока Танина дочь Фроська не кричала им:

— Хватит вам миловаться, женатики! Не то меня завидки берут! Идите-ка лучше ужинать!

В колхозе молодоженов за их высокомерный вид и сидение за печкой окрестили «запечными принцами».

«Недодумал Петрович! — мысленно укорял Василий Андрея Стрельцова. — Таких ли коммунистов надо посылать для укрепления отстающих колхозов! «Женатик» да «мужняя жена»! «Запечный принц» да «жалейка»! Разве получится партийный разговор? Эх, Афанасий Лукич, Афанасий Лукич, тебя бы сюда!»

Перед собранием он тщательно выбрился и надел все свои ордена и медали. Он был в колхозе самым сильным, самым опытным и поэтому самым ответственным за все: за хозяйство и за партийную работу. Ему не с кем было разделить эту ответственность, он чувствовал всю ее тяжесть на своих плечах и хотел на это особо важное для колхоза первое партийное собрание прийти в полной форме, как в полной форме выходит генерал к армии перед сраженьем.

Подтянутый, собранный, но не радостный, шел он по темной улице. Вечер был морозный, стужа обжигала лицо, на ходу леденели усы и ресницы. Фонари не горели, в окнах теплились керосиновые лампы, улица была непривычно сумрачной.

«Вот и света нет,— думал Василий.— По разговорам похоже, что Буянов — неплохой специалист, однако света третий день нет. Говорит, ремонт, говорит, гидростанция запущена... Только кто же его знает? Тоже не особо приходится полагаться на пришлого, непроверенного человека. Тьма-то какая, как в чернилах плывешь!»

Он ощупью поднялся на крыльцо правления, прошел сени, толкнул дверь и остановился на пороге, удивленный необычной, строгой парадностью своей комнаты. Кумачовая скатерть на столе, стопки книг, аккуратно разложенные на новой этажерке, неузнаваемо изменили ее вид.

— Мы тут похозяйничали без тебя, Василий Кузьмич,— сказала Валентина.

Сама Валентина показалась ему изменившейся. Светло-серый костюм с широкими плечами придал ей строгий, деловой вид. Радужная планка орденских ленточек отчетливо выделялась на серой ткани. Василий впервые заметил ее брови: тонкие, легкие, сведенные у переносицы и, как крылья, приподнятые у висков, они придавали всему лицу ее выражение стремительности и смелости.

«Менючая она какая! — подумал Василий.— Четвертый раз вижу — и каждый раз другая. Кто же она? Валька ли сорвиголова, «жалейка» в беличьей шубке или вот такая решительная, строгая? И не разберешься в них сразу! Бабы!..»

Рядом с Валентиной сидел Буянов в офицерской форме и также с орденской планкой. Василий понял, что оба они, как и он, считали себя важными и ответственными лицами в колхозе и хотели быть на высоте в час первого партийного собрания.

Не сговариваясь, все трое оделись, как на праздник, подтянулись внешне и внутренне, ясно почувствовали, что за плечами у каждого стоит большая и хорошая жизнь, и все по-новому понравились друг другу.

Василий окинул взглядом свою изменившуюся комнату, Валентину и Буянова — полувоенных, полуштатских, молодых, красивых, уверенных — улыбнулся и мысленно заключил:

«А ведь, пожалуй, подходяще получается...»

Такое же ощущение было и у Валентины и у Буянова. Буянов любил и уважал свою профессию, и это чрезмерное уважение распространял на самого себя. Он полагал, что будущее принадлежит радио и электричеству. Кроме электричества и радио, он признавал только атомную энергию, а ко всем остальным завоеваниям техники относился с легким пренебрежением очень молодого и очень увлекающегося человека. Себя он считал единственным в колхозе представителем технической интеллигенции и знатоком современной техники, лишенным «настоящего масштаба» работы по воле этого случая. До войны, когда он учился и работал на строительстве крупнейшей гидростанции, и во время войны он состоял в сильных партийных организациях. По сравнению с ними колхозная партийная организация из трех коммунистов казалась ему маленькой и слабой. Он шел на собрание, уверенный в том, что окажется здесь самым бывалым и культурным человеком.

Первый вопрос повестки дня — выборы секретаря — разрешили быстро и единодушно: выбрали Валентину.

Шел к разрешению и второй вопрос — об организации труда в колхозе.

— Ну, как будто все ясно? Обсудили, постановили без лишней волокиты! — сказал Василий.

Валентина поднялась с места:

— Нет, не все! Разрешите мне, товарищи.

Ее строгие летящие брови были приподняты, и это придавало лицу выражение решительности и самоуверенности.

— Давай, Валентина Алексеевна! О чем ты хочешь добавить?

— Обо всех нас, а больше всего о тебе, Василий Кузьмич!

— Обо мне?! Ну, давай, давай!

Несколько мгновений она молчала, потом заговорила, и с трудом найденные, медленные слова как будто противоречили ее виду, казавшемуся Василию вызывающим:

— Думаю я об этом с самого дня приезда... И знаю, что думаю правильно, а слов подходящих до сих пор не нашла... Но я скажу так, как выйдет, так, как думается, а вы меня поймете...

Валентина опять умолкла, а Василий и Буянов с интересом ждали, что она скажет.

Валентина продолжала:

— Назначили мы объем работы и сроки работы для каждой бригады. Завтра-послезавтра вынесем наше постановление на обсуждение общего собрания. Как будто бы все хорошо. Но вот представляю я себе, как это решение будет выполняться. Вижу я наш конный двор... Вижу я, как приходят люди за подводами, один по одному... Как часами просиживают в ожидалке с самокруткой в зубах... Представляю я все это — и тошно мне делается.

— Надо одному из нас быть на конюшне с утра и не давать им рассиживаться, гнать их на работу! — нахмурился Василий.

Валентина быстро повернулась к нему:

— Вот! Вот оно самое! «Гнать»! Вот думаю я о тебе, Василий Кузьмич! Ты горячо, жадно работаешь и сделал немало, но ты же мог гораздо больше сделать! Почему ты сделал меньше, чем мог? Вот по этому самому: ты без радости работаешь, и людям около тебя нехорошо! Вот вспоминаю эту историю с вывозкой строительных бревен. План строительных работ ты разработал правильно, а мобилизовать людей на его выполнение не сумел. Мне рассказывали, как ты проводил обсуждение на правлении. Бузыкина, когда он стал тебе возражать, выгнал, будто бы за то, что он пьяный. Но он и до этого был пьяным, однако ты его не выгонял, пока он не возражал тебе! Матвеича назвал «отсталым элементом», на Яснева прикрикнул за то, что он «не подумавши рассуждает».

Слушая Валентину, Василий багровел от досады. Он не думал о том, справедливы или нет ее слова. Он понимал только то, что Валентина «нападает» на его любимое детище — на план строительных работ, который он с такой любовью разрабатывал и с таким трудом проводил на правлении.

— Разве твое поведение было правильно, Василий Кузьмич? Разве это партийное поведение?

— А что, по-твоему, правильно? — взорвался Василий. — Председателю под руку жалостливые слова говорить — это правильно? Вмешиваться в распоряжение председателя, не подумавши, подрывать его авторитет перед колхозниками — это, по-твоему, партийное поведение?

— Нет. Это — непартийное поведение, — твердо сказала Валентина, глядя ему прямо в глаза. — Мое поведение на гидростанции было непартийным и неправильным. Я это поняла тогда же, но не сумела исправить.

Василий не ожидал от Валентины такого полного и прямого признания ошибки и растерялся.

Упрямый от природы, он не любил сознаваться в промашках не только людям, но и самому себе. Простота и твердость, с которой Валентина признала свою неправоту перед ним, сразу погасила его раздражение и придала другой тон разговору. Каким-то непонятным образом получилось так, что Валентина, признав допущенную ошибку, не сдалась, а, наоборот, взяла верх над ним.

— То-то вот... «Неправильно»!—пробурчал он, не зная, что сказать.

— Но если я была полностью не права, это еще не значит, что ты был полностью прав,—твердо продолжала Валентина,—и твоя главная неправда в том, что ты работаешь невесело, нерадостно.

— Ну, знаешь, председатель колхоза—это не гармонист на гулянке!

— А ты вспомни Афанасия Лукича! Разве он был гармонистом на гулянке? А как легко и хорошо людям и работалось и жилось около него! И самого себя ты вспомни, Василий Кузьмич! Ведь ты и сам другим был!

Тонкие брови ее дрогнули. Маленькая Валька-гусятница посмотрела на Василия из глубины зрачков взрослой Валентины, и он увидел: она была все та же—удивительно изменчивая, она всегда оставалась неизменной, всегда оставалась все той же, до самого донышка понятной, надежной девчонкой с соседней улицы, выросшей там же, где вырос он, живущей тем же, чем жил он.

Он был взволнован, а она, положив ладонь на его руку, просила:

— Ты только вспомни, какой ты сам был: огневой, открытый, веселый. Василий Кузьмич, дядя Вася, что с тобой сделалось? Вернись, дядя Вася! Стань таким, каким я тебя помню, каким весь колхоз тебя помнит...

— Молодости не вернешь,—тихо сказал Василий.

— Я понимаю... За плечами у тебя много трудного... И война и ранение... Но ведь и хорошего тоже много! Неужели это хорошее не даст тебе силы, чтобы улыбнуться в трудную минуту? Это же не только тебе, это людям надо, с которыми ты работаешь. Вот ты сделай это для них, для людей!

— Чудной какой-то разговор. На партийном собрании о председательских улыбках разговариваешь. Что же, ты мне в протоколе запишешь: «Постановили улыбаться столько-то раз на день»?—Василий старался грубоватой шутливостью замаскировать свое волнение.

— Не хочешь ты меня понять, Василий Кузьмич! Я же с тобой о самом главном говорю,—нахмурилась Валентина.—Откуда у тебя мрачность? Оттого, что ты потерял веру в окружающих тебя людей.

— Пустяковина все это!

— По-твоему, это пустяковина! — резко сказала Валентина. — Когда я пробую говорить с тобой о сущности вещей, о корне твоих ошибок, ты называешь это пустяковиной. Хорошо! Я буду с тобой говорить иначе!

Она вышла из-за стола, засунула руки в карманы и остановилась против Василия. Она опять изменилась на его глазах. Теперь в ней не осталось и следа той Вальки-гусятницы, которая только что взяла его за душу.

«Ох, и перец же баба! — подумал он. — Видно, не случайно она Петровича жена. С такой держи ухо востро! Она тебя обойдет и выведет так, что и рта не разинешь!»

— О сущности вещей ты не желаешь разговаривать, Василий Кузьмич? Хорошо! Будем с тобой разговаривать о том, как проявляется эта сущность, о том, каким методом ты руководишь людьми. В течение целого месяца твоей работы не сумел наладить такой простой вещи, как своевременный выход людей на работу. Почему? Ты или сидишь в правлении, или пишешь в приказах выговоры, или — еще того хуже — начинаешь ходить по домам и «выгонять» людей на работу. А часто ли ты бывал с людьми в поле или на лесоучастке? И что ты сделал для того, чтобы заинтересовать колхозников работой и показать им ее перспективы? Что ты сделал, чтобы по-настоящему наладить соревнование? Доску с показателями повесил? А сумел ли ты заинтересовать людей этими показателями? Кому, когда и где ты рассказал о методах работы твоих лучших бригадиров?

— Да и нет их в колхозе! Никаких этих лучших методов нет!

— Если нет — значит, в том твоя вина. Значит, ты не сумел натолкнуть людей на эти лучшие методы. Значит, грош тебе цена как руководителю.

Чем резче говорила Валентина, тем легче становилось Василию. Он видел рядом с собой человека, который так же, как он сам, болел за колхоз, не хуже его самого разбирается в делах, может говорить горячо и прямо, может указать на ошибки, натолкнуть на нужную мысль, посоветовать. Он слышал как раз тот партийный разговор, который был нужен ему, как воздух, и с каждым новым резким Валентининым словом ему становилось легче.

— Я Валентину Алексеевну целиком поддерживаю, — вступил в разговор Буянов. — Что касается практического разрешения вопроса, на мой взгляд, — надо не камнем сидеть и не по домам ходить с помелом, а с завтрашнего дня пойти всем по бригадам на места работы. Распределим, кто в какую бригаду, и пойдем. Что касается подхода к людям и прочего, то Валентина Алексеевна

говорит правильно. Ты одно сделай, Василий Кузьмич: вспомни Афанасия Лукича и вспомни ты сам свою молодость.

Василий поднял опущенную голову. Усмешка, всегда у него неожиданная и озорная, на мгновение вспыхнула на лице.

— Значит, на партийном собрании постановили и записали председателю омолодиться? Ну, раз такое будет решение партийного собрания, то куда же мне деваться? Придется омолаживаться!

Когда приступили к обсуждению третьего вопроса — об электрификации колхоза, Буянов приосанился и взял слово.

— Ну, выстроил колхоз гидростанцию — это же еще не достижение! — горячился он.— Ну, стоит она на берегу! Ну, лампочки в избах светятся. Разве же это настоящая работа для гидростанции? «На племя», что ли, мы ее строили, что боимся работой обеспокоить? Это же только в стародавние времена казалось достижением: ах, электричество в избе! Нам от гидростанции работа нужна, нам ее запрячь надо, как хорошего битюга, нам надо, чтобы она тоннами зерна ворочала на току, чтобы она воду к фермам гнала, чтобы она нам бревна пилила и огороды поливала!

— Что ж поделаешь, когда у нее мощность не позволяет: всего двадцать киловатт! — отозвался Василий.

— У нее турбина не загружена, можно поставить второй генератор.

— Где его взять?

— Ненаходчивый ты человек, Василий Кузьмич! Нам помогать должны? Должны! Кому же и помогать должны, как не нам, когда мы самые отстающие от всего района! — с увлечением говорил Буянов, потряхивая кудрявым чубом.— Приезжаем мы в район прямо к руководителю: так, мол, и так, дайте отстающему колхозу кредиты под электрификацию! Приезжаем в «Сельэлектро»: дайте отстающему колхозу генератор с рассрочкой. Приезжаем на склад электрооборудования: дайте роликов, проводов, двигателей вне очереди для отстающего колхоза! А попробуй кто не дать! Сейчас в обком, до главного начальника, и в редакцию газеты: так, мол, и так, отстающему колхозу не помогают! Да попадись такой козырь умелому человеку — он под отстающий колхоз у самого черта пекло выпросит. Тут не просить, а требовать надо. Вот что я тебе скажу, Василий Кузьмич!

— Ну, это ты тоже загнул,— сказал Василий.— Не приходится нам козырять своим отставанием! Не велика заслуга перед государством — колхоз разорить. Спекулировать на отставании нашем я не собираюсь и побирушкой

свой колхоз выставлять на всю область не хочу. У колхоза, как и у человека, должна быть своя честь. Однако попросить о помощи — это можно. Думаю я, в районе и в области помогут.

Последним на повестке дня стоял вопрос об организации массовой работы в колхозе.

Когда решение уже было записано, Василий посмотрел на Буянова и сказал сухим, ничего хорошего не обещающим голосом:

— В связи с этим агитмассовым вопросом хочу я коснуться поведения нашего электрика, уважаемого товарища Буянова.

— Моего поведения?! — Буянов повернулся на стуле.— Какое есть мое поведение?

Через месяц после свадьбы, несмотря на слезы молодой жены, он беспрекословно приехал в отстающий колхоз, честно и старательно работал на гидростанции и был в своих собственных глазах чем-то вроде подвижника. По его мнению, окружающие должны были ценить его подвиг и относиться к нему с сочувствием и благодарностью; то, что его поведение может кому-то не нравиться, было для него полной неожиданностью.

— Сейчас я тебе объясню, какое есть твое поведение! — мрачно пообещал ему Василий.— Агитмассовая работа — это не только раз в неделю доклад провести да газету прочитать с колхозниками. Агитмассовая работа колхозного коммуниста — это вся жизнь его, а какая твоя жизнь в колхозе и кто ты сам в колхозе? Ты колхозный электрик, первый человек в колхозе, интеллигенция наша! От тебя в колхозе свет, от тебя в колхозе механизация, от тебя в колхозе радио, от тебя в колхозе культура. Ты по улице идешь — на тебя девки из окна смотрят: «Электрик идет!» Ты в одном краю села слово скажешь — его на другом конце села повторяют: «Электрик сказал!» Это ты должен учитывать или нет? Я такое положение сам пережил и сам испытал много лет назад, когда был первым трактористом в колхозе. Семеро нас тогда приехало в район с областных курсов. Мы по улице идем, а за нами ребята скачут: «Трактористы приехали!» Первыми людьми на селе мы тогда были и первенство это во всем поддерживали! Беседу с народом провести — мы первые, на субботник выйти — трактористы вперед! На заем подписываться — мы впереди всех, спектакль ставить — без нас не обойдется, на лужке молодежь сошлась — наша гармонь громче всех играет! Вот как мы себя понимали! А ты что ж? На гидростанции повозишься, а там — шасть за печку со своей молодухой. Недаром в колхозе вас с женой прозвали «принцами запечными». И как не прозвать? За

печкой сидеть да подсолнухи лузгать — это разве подходящее поведение для электрика?

— Верно!..— поддержала Валентина Василия.— Если каждый из нас будет сторониться людей, то что за жизнь получится в колхозе? Ты, товарищ Буянов, человек и культурный и бывалый, а поставил себя так, что колхозники с первых же дней окрестили тебя смешной и справедливой кличкой. Эту кличку надо с себя снимать: она коммунисту не к лицу.

Буянов был озадачен и обижен. И хлесткая кличка «принц запечный», и осуждающий тон, которым говорили с ним Валентина и Василий, резнули его.

Крохотная колхозная партийная организация, о которой он два часа назад думал с некоторым снисхождением, оказалась с первых же шагов силой требовательной и подчиняющей. Валентина и Василий пробирали его, как мальчишку, и были правы при этом. Он был огорчен, обижен, рассержен, но в то же время сразу исчезла скука, томившая его.

Давно уже был разрешен последний вопрос, давно уже был написан протокол, а они все еще не могли разойтись. Они планировали будущее, советовались друг с другом, критиковали друг друга и просто радовались тому, что партийная организация в колхозе «Первое мая» уже существует, что уже чувствуется ее направляющая и руководящая сила.

Их было только трое, трое коммунистов, и все они были обыкновенными людьми, со многими слабостями и недостатками, но оттого, что все они стремились к одной высокой цели и шли к ней неуклонно, путями, указанными партией, шли, жестоко критикуя, исправляя и дополняя друг друга, они сами становились силой, имя которой — партия.

Несколько раз они собирались разойтись, но выплывал какой-нибудь новый вопрос, и они снова задерживались, снова говорили и не могли наговориться, как люди, давно стосковавшиеся друг о друге.

Валентина взглянула на часы:

— Батюшки! Двенадцать часов! Заговорились мы с вами! Домой же пора! Василий Кузьмич, давай протокол!

Он протянул ей протокол, но не отдал, а, машинально держась за край бумажного листа, снова заговорил:

— Погоди, Валентина Алексеевна! Вот еще какой разговор. Советовались мы относительно изыскания средств для покупки кормов, а про тресту́ и не переговорили. Тресты́ у нас много, хоть и мало сеяли, да лен в этом году рекордный уродился! И до сих пор треста́ не сдана. Я ее сознательно попридерживал. Если ее сдать не

трестóй, а волокном, и государству выгоднее, и колхоз тысячи может заработать. Вот я и думаю раздать ее по дворам колхозникам, пусть каждый перерабатывает дома. Мы лен и раньше помалу сеяли, трестý перерабатывали по домам.

— Насчет трестЫ я и сама думала, Василий Кузьмич. Конечно, надо сдать ее в переработанном виде. Зачем же выпускать из рук колхозный капитал? Только перерабатывать ее надо не на дому, не по отдельности, а сообща.

— Сообща?! Да что мы, льноводческий колхоз, что ли! Льна по плану сеем с гулькин нос! Ни машин, ничего у нас нет, а ты — сообща! Раздадим по домам, как всегда раздавали,— и вся недолга.

— Так делали всегда, а нынче надо сделать как никогда! Или ты не понимаешь? Нынче надо по-особенному. Пусть на нашем льнопункте ни агрегатов, ни машин нет, а все-таки нынче надо переработку организовать обязательно сообща. И не в сарае, не в бане, не на дворе, а в избе, и обязательно весело, и обязательно с песнями!

— А где дом взять? Кто пустит к себе в дом этакую пылищу разводить?

— Отпросим старую пустую избу у Тани-барыни,— предложил Буянов.

— Не даст.

— Она все сделает, что ей Фроська скажет, а с Фроськой можно сговориться.

— Как ты не понимаешь, Василий Кузьмич? Тут дело не в тресте́. Нужно пользоваться каждым предлогом, чтобы вернуть людям вкус к общей работе. Если сумеем организовать так, то сделаем большое дело, не сумеем — получится ерунда.

— Ладно, сделаем. Организуем.

Когда Василий шел домой, он размышлял о том, что Петрович не ошибся и прислал в колхоз подходящих людей.

Он думал, что коренной «первомаец», электрик и коммунист Буянов — золотой клад для колхоза, Валентина, коммунистка, агроном,— со всех сторон подходящая и стóящая женщина. Колхозная партийная организация в ее настоящем составе казалась Василию боеспособной и сильной. Ночью, перед сном, он думал о словах Валентины и припоминал, каким он был в давние довоенные годы.

«И правда, я нынче не тот, что прежде. Упорства и сил в себе чувствую больше, а дышу тяжелее. И то верно, что засиживаюсь в правлении».

Василий начал действовать со свойственной ему рьяностью.

Еще не рассвело, когда он с фонариком в руках уже трусил верхом на лошаденке по заметенной снегом дороге.

«Погляжу своими глазами, что и как вчера сделали, и встречу людей с утра не на конном, а на поле. Пусть люди знают: как бы рано они ни выехали, председатель уже в поле. Одна мысль об этом будет подгонять народ лучше всех приказов и выговоров».

Светлый круг от зажженного фонаря плыл, вздрагивал, выхватывал из темноты то коряжину, то могучую еловую ветку в тяжелой снежной шапке. За границами этого круга тьма сгущалась еще больше и стояла плотным, непроницаемым кольцом.

Василий осмотрел колхозную лесосеку. Посреди молоденьких сосенок лежали бревна, приготовленные к вывозке. Были они ровные, длинные, очищенные от сучков и веток. Василий спешился, снял рукавицу и провел ладонью по шероховатой поверхности. Поверхность была покрыта тонкой шелковистой пленочкой и показалась Василию теплой на ощупь. Не бревна видел Василий перед собой: в этот темный зимний утренний час в лесной снежной глуши видел он осенний ясный день, и горы зерна, и новенький ладный и светлый ток посреди колхозных полей. Это был не простой ток, а электрифицированный, а рядом с ним — и новенькая сторожевая вышка, и сторожки, и инвентарный склад.

Это было его мечтой, такой дорогой, что он даже стеснялся подробно о ней рассказывать. Там, у холма, где вместо тока стоял плохонький навес, крытый соломой, мысленно воздвигал Василий свое любимое сооружение. Просторный, сложенный из свежих бревен, опутанный сетью проводов, стоял этот новый ток недалеко от села, рядом с новой сторожевой вышкой, сторожкой, складом, и каждый проезжий проезжал мимо него, и каждый прохожий проходил мимо него, и все слышали, как гудят электрические моторы, и каждый мог видеть, как течет из-под молотилок стремительное зерно. Зерно было совсем не такое ленивое и медлительное, как при обычной молотьбе: оживленное электрической силой, быстро струилось оно, текло веселыми водоворотами, и подручные не успевали отгребать мост молотилок. Василий так ясно увидел эту картину, что зажмурил глаза. «От сучков очистили плохо,— думал он.— И хворост с вечера не убрали. Теперь запорошило, убирать будет труднее, чем вчера».

С лесосеки он проехал на поле и здесь тоже обнаружил непорядки. Навоз сваливали небольшими рыхлыми кучами по краям поля, возле дороги.

Оглядев поля, он подъехал к развилке дорог, спешился и привязал коня к сосне. По этой дороге колхозники должны были проезжать и в лес и в поле.

Выезд был назначен на восемь часов, а было уже начало девятого.

«Скоро проедут...— думал Василий.— Вот-вот должны показаться. Перехвачу их здесь».

Чуть пробивался рассвет, и поля голубовато светились меж черными перелесками. Молчали сосны. Было пустынно, сиротливо тихо, и только поземка мела и мела над сугробами. Безлюдье, одиночество, ожидание давили Василия, как холодные снежные шапки давили и гнули мохнатые ветви сосен.

«Что же они не едут?.. Скоро ли?..» — думал он.

Чтобы не замерзнуть, он ходил большими шагами от телеграфного столба мимо кучи хвороста, сваленного у дороги и запорошенного снегом, до большой корявой сосны с двумя вершинами.

Он уже протоптал тропку по свежевыпавшему снегу, и шаги его все ускорялись: он нервничал.

«Валентина сказала, что я мало сделал. И верно, будь на моем месте Афанасий Лукич, он сделал бы больше. И от людей я как будто даже дальше, чем в первые дни. Эх, где же тот Васька Бортников, у которого все в руках горело, или вовсе тебя не стало?»

Он выпрямился, сдвинул шапку на затылок, отогнул воротник полушубка, открыл лицо морозному воздуху.

— Давай по-фронтовому, давай не унывай. Держись молодцом, тряхни стариной! — подбадривал он себя.— Я тебе не сдамся! — Он пнул слежавшийся хворост.— Мы с тобой еще повоюем! — погрозился он сугробу, подступившему к самой дороге.— Я вас все равно дождусь! — обращался он к опаздывающим колхозникам.— Вы меня не минуете!

Желтый свет фонаря поочередно выхватывал из мутной голубизны столб, хворост, сосну. Василию уже надоело ходить, замыкая это узкое, однообразное кольцо.

«Столб — хворост — сосна. Столб — хворост — сосна. Никого, черт побери! Никого! Давно пора!.. Столб — хворост — сосна. Я как белка в колесе. Когда же они выедут, волынщики?!»

Наконец издали послышались заливчатые песни, и на увал выбежала лошаденка. Правил Алексей, а в розвальнях сидели девчата.

«На полчаса опоздали!» — с досадой подумал Василий, но сдержал досаду, поднял фонарь и бодро окликнул:

— Стой! Кто едет?

Он не ругал их, а только посветил фонарем в глаза и показал часы:

— Половина девятого! Полчаса за вами! Это вы, невесты, хворост на лесосеке не убрали вчера? Глядите, буду замуж выдавать — пожалуюсь женихам! Они у меня, скажу, неприберихи, с вечера до утра в избе сор берегут!

— Да мы ж, Василий Кузьмич, вчера поздно кончили!

— Мы думали, вы нас похвалите, что первыми выезжаем, а вы к нам с укором.

— На полчаса опоздали и хотят, чтобы я их похвалил! Не выйдет, девчата! Завтра увижу на дороге в эту пору — в лес не пущу!

Розвальни скрылись за поворотом, все глуше слышались девичьи голоса. Как только розвальни отъехали, улыбка исчезла с лица Василия. Упрямо и сумрачно ходил он по протоптанной тропе, и в свете фонаря все мелькали: столб — хворост — сосна.

Оттого, что он ожидал колхозников здесь, на дороге, опоздание казалось особенно тягостным, недопустимым.

Когда уже рассвело, показались три подводы: Любава, Петр и Ксюша везли навоз в поле.

Снова он дождался их на перекрестке дорог и показал на часы:

— Что же вы навоз неровно сваливаете и плохо уминаете? Этак возить — добро переводить.

Следующей проехала на лесосеку бригада Матвеича.

— В такую пору, Матвеич! — укорил его Василий.— Говорят, старики с курами встают, молодым спать не дают, а у нас наоборот! Алексей своих девок давно провез, а ты со своими бабами только-только раскачиваешься!

Матвеич смутился:

— Да ведь идут одна по одной, никак их не дождешься!

— А вы и не ждите! Которая опоздала, пускай на лесосеку пешком топает.

За Матвеичем потянулись люди по одному. Василий смотрел на часы и говорил:

— Что же вы ныне в охвостьях ходите? Добрые колхозники давно на работе!

Некоторым он ничего не говорил, а молча провожал их глазами.

Когда медленный выход на работу закончился, Василий снова поехал на поле. Он был расстроен тягучим началом рабочего дня. Привычное состояние сдавленного недовольства снова овладело им.

Мимо в розвальнях проехала Валентина. Она крикнула счастливым голосом:

— Дядя Вася, а мне сейчас Андрей звонил! В район

электрооборудование прислали. Можно получить электродвигатели. Нам подошлют с попутной машиной.

Розвальни скользнули и скрылись за поворотом. Свежий след полозьев блеснул на утреннем солнце.

От веселого и дружеского голоса Валентины, от того, что там, в Угрене, маленький неутомимый Петрович не переставал думать и заботиться о колхозе, Василию стало легче. И еще раз он сделал усилие над собой и еще раз переломил себя.

«И что я нос повесил, как последний хлюпик? Сегодня плохо — завтра будет хорошо! А ну, тряхнем стариной!»

Веселый, молодцеватый, в расстегнутом полушубке, оставив коня, он шел по полю туда, где пожилые колхозницы сваливали навоз.

— Зазябли, молодухи? — весело крикнул он.— Которую обогреть? — Он скинул с себя полушубок, набросил его на плечи Любавы и взял у нее вилы.

— Давайте я с вами покидаю, молодухи! — Он быстро работал вилами и приговаривал: — Холодно, бабоньки? Ничего, согреемся! Трудновато приходится? Ничего! Легче будет! Вот вырастим на этом поле добрый урожай — гулять будем, всех замуж повыдаю!

Он сам не ожидал, что его незамысловатые шутки так подействуют на людей. Все повеселели, и работа пошла живее.

— Что это ты такой нынче веселый? — спросила Любава.

— А поругали меня вчера на партийном собрании, вот я и повеселел!

— Стало быть, от ругани веселеешь?

— А ты как думала? Старый самовар тогда и блестит, когда его наждачком пошаркают. А хочешь, я и тебя повеселю?

— Это как же повеселишь? По своему способу? Ругать, что ли, надумал?

— Вот именно. Где же у тебя смекалка? Как будто бы умная баба, а это что? Штабеля рыхлы, не утрамбованы! Навоз же губите! Или невдомек поставить трамбовальщика? И еще. Второй день навоз возишь, а не догадываешься сделать у ящика одну стенку выемной. Сразу легче будет выгружать. Петро! — крикнул он на все поле.— Петро! Поезжай на конный, сделай у ящиков доски выемные с одной стороны. Видишь как? — Он показал Петру, как надо сделать.— Давай одним духом. Дело пустяковое — в две минуты будет готово.

Потом он поехал на лесосеку, побалагурил с лесорубами и надоумил их сделать скат для бревен с другой стороны холма и возить бревна ближней дорогой.

— Да ведь по той дороге канава,— попробовал протестовать Матвеич, которому досадно было, что сам он не додумался до этого.

— Канава осенью была, а теперь все позанесло, еще хворосту покидать, снегом выровнять — полный порядок!

Василий доехал до канавы и помог ее выровнять. Он шутил и балагурил во время работы, а в уме бились тревожные мысли:

«Без интереса люди работают: до пустяков сами не могут додуматься. Это что же за работа!»

Когда в обеденный перерыв Василий вместе с колхозниками приехал на конный, он узнал, что выгрузка навоза после переделки коробов пошла быстрее и что по новой дороге леса вывезли за полдня столько же, сколько вчера за весь день. Люди были оживленней, чем обычно, с непривычной теплотой смотрели на него, а Василиса сказала ему:

— Ну вот, Василий Кузьмич, теперь ты сам на себя делаешься похож, а то мы уж думали, что незнакомого мужика выбрали в председатели. Выбрать выбрали, а кто такой, не знаем.

Несколько дней Алексей и Петр возились с починкой старой самодельной льнотрепальной машины, которая с давних пор лежала у Тоши Бузыкина, как воспоминание о его былых способностях. Алексей, любитель всяческих машин, с удовольствием ковырялся даже в этом допотопном механизме, а Петр ввязался в это дело главным образом из-за Алексея.

Алексей с его неизменной ясностью и твердостью нрава притягивал озорного и беспокойного парня. Он казался Петру непонятным, даже загадочным, как существо иной породы.

— И что ты за человек, Алешка? Будто бы и мягкий, а попробуй подомни тебя! — говорил Петр, присев на корточки возле машины и закручивая ослабевшие гайки.— Будто бы ты податливый, а попробуй своротить тебя с места! И спокойный ты какой-то, как дерево. Иной раз завидки берут на тебя. Был бы я девкой, ни на кого, кроме тебя, глядеть бы не стал. А иной раз зло разбирает: старик ты, что ли? Живешь — как по линейке идешь.

— Не в том дело, что старик, а в том дело, что у меня в голове все гайки накрепко прикручены,— улыбнулся Алексей.

— А у меня?

— А у тебя, Петруня, все гайки хорошо прикручены, да десятой гаечки не хватает.

— Это какая еще «десятая гаечка»?

— А вот есть такая. Знаешь, бывает так: все части у машины в порядке, и передача работает, и шестерни привернуты, нет одной маленькой, незаметной десятой гаечки,—и от этого нет в машине полного хода.

Дом привели в порядок, поставили в нем скамьи, корзины, приготовили гребни и трепала для льна, привезли со склада и постепенно пересушили в избе всю тресту́.

С первого взгляда могло показаться, что все делалось легко и как-то само собой, в действительности же это было организовано непрерывными хлопотами и стараниями Валентины.

Первый день работы на вновь организованном льнопункте, задуманный Валентиной как день большого праздника, надо было тщательно подготовить и организовать. Она старалась вовлечь в эту подготовку как можно больше людей: ей хотелось, чтоб каждый чувствовал себя хозяином на новом льнопункте.

Алексей с Петром ремонтировали Тошину машину. Буянов исправил электрическую проводку и ярко осветил «сортировочную» комнату. Матвеич и Ксюша вставили в окна выбитые стекла. Лена со школьниками мыла окна, украшала льнопункт портретами и гирляндами. Несложное дело организации льнопункта потребовало от Валентины множества забот и усилий.

Теперь она почти не бывала одна: стоило ей показаться на улице, как кто-то замечал ее из окна и у кого-то оказывалась к ней срочная надобность.

— Ты как клушка с цыплятами,—говорил ей Василий,—в одиночку не ходишь.

«Выйдет или не выйдет?—думала она.—Тысячи, которые мы зарабатываем на обработке тресты,—это не главное. Главное—сумеем ли превратить будничное в праздничное?»

Домой она возвращалась поздно и на настойчивые расспросы Андрея отвечала:

— В колхозе дела немного лучше, поднялась дисциплина, но нет настоящего перелома. А у меня такое чувство, что я еще не оправдала имени секретаря партийной организации. Еще нет ничего такого, о чем я могла бы сказать: да, я это сделала! Как секретарь партийной организации, я этого добилась!

Василий не придавал работе на льнопункте того значения, которое придавала ей Валентина. Для Василия льнопункт был только способом заработать необходимые деньги. Он помогал Валентине энергично и охотно, но его одолевали сомнения:

— Поработают колхозники на нашем льнопункте два дня, а потом бросят. На необходимые дневные работы—и

то вразвалку идут, а на вечерние «сверхурочные» и вовсе не дозовешься. А постоянных людей поставить — негде взять, и так не хватает народа. То лесозаготовки, то навоз возить, то фермы чинить, то еще что-нибудь.

Собираться на вновь организованный льнопункт стали после работы в семь часов вечера.

Алексей пришел приодетый и немного торжественный, кудри его были тщательно причесаны на косой пробор, рубашка была свежевыутюженная. Его празднично-торжественный вид тронул Валентину.

«Все понимает!» — подумала она.

Пришли колхозные комсомольцы с веселой Татьяной во главе, пришла доброжелательная и отзывчивая на все новое Авдотья, явилась любопытная, общительная бабушка Василиса, пришел Матвеич в качестве почетного представителя старшего поколения.

Разноглазая Фрося — отчаянная голова — появилась в яркой косынке и в новых сережках. Яркогубая, мелкокудрявая, она картинно остановилась в дверях, чтобы все могли вдоволь налюбоваться ее великолепием.

Глаза у нее были красивые и разные: один ярко-голубой, другой ярко-желтый, кошачий. Это обстоятельство ее нимало не беспокоило и не мешало ей считаться первой в деревне покорительницей сердец.

— То ли у вас поседки, то ли что? Почему раньше времени собрались и на каком таком основании меня не скричали? Что за беспорядок?

— А чего тебя кричать, когда ты и так придешь?

По плану, намеченному Василием и Валентиной, Алексей вначале должен был сказать речь от имени комсомольцев.

Он встал у стола и долго, старательно приглаживал ладонями кудри.

Все смотрели на него. Валентина заволновалась.

«То ли ты скажешь? Что же ты молчишь? — мысленно обращалась она к брату. — Хватит тебе оглаживаться-то! Смешно уж! Начинай!»

Наконец Алексей придал волосам состояние, необходимое, по его мнению, оратору, выступающему с ответственной речью.

— Товарищи! — заговорил он. — Нам необходимо поднять колхоз до его прежней красоты. Нам необходимо укрепить и оздоровить скот, нам необходимо хорошо унавозить поле, нам необходимо хорошо подготовиться к весне. Для этого нужны дополнительные суммы. Обещали нам ссуду от государства, но не к лицу нам сидеть сложа руки, дожидаясь помощи. Мы, комсомольцы, дали правлению колхоза слово, что мы достанем для колхоза мини-

мум тридцать тысяч рублей к первому января. По нашим расчетам, мы сможем достать эти деньги, если хорошо переработаем тресту́ и сдадим ее не тресто́й, а льноволокном высокого качества. В колхозе накопилось много недоделок, а людей у нас мало. Поэтому мы решили заняться переработкой тресты вечерами, после работы. Тот, кто хочет поднять наш колхоз, пускай сам, по доброй воле, остается с нами и записывается в наши звенья по своему желанию. На этом я кончаю, товарищи, свое выступление. Начинаем работу!

Комната сразу наполнилась шумом.

— Фрося, иди к нам, с тобой веселее! — звала Валентина.

— А я хочу к Алешеньке. Алеша, вы веселых принимаете или у вас тут одни сознательные?

— Мы всех принимаем, кто работу любит.

Шуршали вороха тресты. Пыль поднималась в воздухе. Комната наполнилась сладковатым запахом льна.

Первый пучок сероватого шелковистого льноволокна торжественно лег на стол. Петр высоко поднял его:

— Глядите! Вот наш первый сверхплановый рубль!

— Дай я его на стенку повешу! — Татьяна обвила пучком еловую гирлянду.— Пусть тут и останется как память этому дню.

Шли оживленные разговоры:

— Наш колхоз раньше с почетом жил и опять будет с почетом жить!

— Помните, бывало, приедем в Угрень на совещание, так по одним коням видно, что первомайцы едут. Вороные, холеные, как лебеди! Мы, бывало, едем, а кругом завидуют!

— Зачем ты, Фрося, новый платок надела? — попеняла хозяйственная Авдотья.— Запылишь!

— Один запылю, другой куплю! Я для нашего первого комсомольского звена да для нашего золотого бригадира Алешеньки не только что платка, а и себя не пожалею!

— Значит, мы с тобой, Василиса Михайловна, тоже в комсомол определились? — шутил Петр Матвеевич.

— А чем мы не комсомольцы? Это только так говорят, что старики от старого режима, а я полагаю, что мы, старики, есть самые коренные колхозники! — словоохотливо отвечала бабушка Василиса.

Ее радовали привычная работа, большое дружное общество, внимание молодежи. Ее сухие руки ловкими движениями сортировали тонкие, ломкие стебли.

— Молодежь-то нынче балованная! Вам что ни дай,— обратилась она к комсомольцам,— все мало да все не в диво! Вон Фрося в новом платке пришла на работу. «Один,

говорит, запылю, другой куплю». А я вам, милые мои ребята, расскажу про себя.— Она окинула всех взглядом и, довольная общим вниманием, уселась поудобнее и продолжала: — Купили мне, милые вы мои ребятки, вот такую телушечку! — Она подняла пучок тресты на метр от пола.— А она росла, росла да тогда коровой и стала.— Лицо Василисы изобразило радостное удивление, как будто превращение телушки в корову было редким и приятным событием.— Тогда был у меня платок головной, я его постирала да и повесила сушить на тягло. А тогда корова его и сжевала! А-а-а! — Василиса зажмурилась и закачалась, как от боли.— Я как глянула да как в голос ударилась! Ведь разъединый платок у меня — и тот корова сжевала! Уж не знаю, поверите ли вы мне, волосы на себе рвала. Тогда ко мне приходит свекор и говорит: «Ты чего плачешь?» А мне совестно сказать, что у меня корова платок сжевала. Боюсь, заругает меня свекор недотепой. Я тогда примолчалась. А он опять приступает: «Да скажи, чего ревешь?» — «Да у меня корова платок сжевала».— «Так это ты по платку ревешь? Да поедем в Угрень на базар, тогда и купим!» Уж я так обрадовалась, что и сказать нельзя. Так что ж вы думаете, милые мои ребятки? — Василиса отставила тресту́, обвела всех негодующим взором, словно приглашала всех негодовать и удивляться вместе с собой.— Ведь не купила мне свекруха платок и его настрополила не куплять! Так и ходила я в изжеванном платке, стыдобушка моя!

Василиса смолкла и остановившимся, прозрачным взглядом смотрела вперед, словно видела перед собой не бревенчатую стену дома, а далекое прошлое.

В комнате стало тихо, слышались только шелест тресты да шум машины.

— Да-а...— раздумчиво протянул Матвеич.— Нынче с осени в школу собирается мой внучек и ревмя ревет: калош на валенки ему мать не купила. Я ему говорю: «А ты накрути онучи да надень лапоточки, вот и ладно будет!» Сказал да не обрадовался. Всей семьей на меня вскинулись: что, мол, ты внука позоришь! А я до сорока лет калоши не нашивал, а сапоги «вприглядку» носил. Бывало, пойдешь в церковь, сам босиком идешь, а сапоги за спиной несешь. Дойдешь до церкви, обуешься, простоишь службу, пофорсишь, а как вышел — опять сапоги за плечо. Так-то вот!

Все выше росли горы отсортированной тресты.

Авдотья подняла голову, поправила платок и запела:

Уж я сеяла, сеяла ленок,
Уж я сеяла, приговаривала...
Чеботами приколачивала...

Пела она тонким, слабым, но очень чистым и верным голосом

Ты удайся, удайся, ленок! —

тоненько мечтала она вслух.

Ты удайся, наш белый лен...—

властным, резковатым голосом, приказывая и требуя, подхватила Любава.

Лен, наш лен,
Белый лен,—

поплыли десятки голосов над пушистыми холмами тресты, кудели, льна.

За кипой тресты Фроська льнула к Петру и под звуки песни тихо и лукаво шептала:

— Кудряшки-то у тебя русые, как лен, беленькие!

— Ой, Фроська! — негромко и добродушно сказал Петр. — Грозились ребята прибить тебя прошлой зимой.

— А за дело и грозились: не гуляй с четырьмя! — резонно объяснила Фроська.

— Ты гляди, как бы тебе и в этом году не досталось!

Она не ответила, засмеялась, наклонилась к нему и, вступая в песню, пропела в самое лицо:

Бе-е-лый лен.

А Авдотья уже вела песню дальше:

Я трепала, трепала ленок,
Я трепала, приговаривала.

В облаках пыли мелькали льняные пряди, розовели разгоряченные лица, а песня, и тягучая и веселая, все лилась, то опускаясь, то поднимаясь, качалась, как качели. И казалось, что вместе с ней качаются шелковистые пряди, плывут улыбки, взгляды, взлетают быстрые руки.

Слышались отдельные голоса:

— Давно бы нам этак...

«Получилось! Вышло! — радостно думала Валентина.— Вот уж не думала, что даже Маланья заявится! Андрейка сейчас волнуется за меня. Выйду, добегу до правления, позвоню ему: «Получилось! Вышло лучше, чем ожидала!»

Из противоположного угла комнаты на Валентину ласково смотрел Василий.

До этого часа все ее разговоры о веселой работе и о песнях на льнопункте казались ему несерьезными, «женскими».

Теперь он видел одну сквозную и упрямую линию во всем поведении Валентины — от ее вмешательства в разговор с Матвеичем на гидростанции до разговора на партийном собрании о «председательских улыбках» и до этого вечера на льнопункте.

«Мы с ней как два ведра на одном коромысле или как два колеса у двуколки: одно без другого не поедет, а вместе — хоть на тысячу километров».

Он подошел к Валентине и ласково положил ей на плечо горячую тяжелую ладонь.

Во взгляде его были благодарность, признание. Не прежним грубовато-властным тоном, не по-обычному мягко он сказал ей:

— Хорошо, что надоумила ты нас, Валентина Алексеевна. И, однако, с полтысячи сегодня сделаем.

Валентина подняла глаза.

— Больше тысячи, Василий Кузьмич, сделаем! Ты послушай, как люди говорят: «мы», «нам», «у нас». Эти слова нам дороже тысяч!

8

В СТЕПАНОВОМ ДОМЕ

Посреди деревенской улицы застряла трехтонка, и шофер, ругаясь, возился с мотором. К нему кубарем подкатилась Дуняшка, закутанная в шаль, пальто и обутая в непомерно большие валенки.

— Ты полегче объясняйся: ребенок рядом,— сказал Василий, помогавший шоферу.

Он пытался притянуть к себе дочь, но та молча высвободилась из его рук и решительно пошла к мотору, постояла молча, не спуская с мотора черных, как жуки, глазенок, и вдруг изрекла коротко и важно:

— Карбюратор засорился.

Василий и шофер невольно расхохотались.

— Скажи на милость, какой специалист! — хохотал шофер.— Ведь как в воду глядела! Действительно, карбюратор засорился. Ну и дочка у тебя, Василий Кузьмич! Мы с тобой в ее годы не знали, какие машины бывают, а она, скажите на милость: «карбюратор засорился».

Развеселившись, Василий поднял дочку на руки:

— Молодчина, Дуняй! Так и действуй. Кто это тебя научил про карбюратор?

— Папаня...

Василий понял: она говорила о Степане. И сразу как рукой сняло веселье. Маленькая дочка была для него источником постоянной душевной боли. Она не признавала его и не могла забыть Степана, а он любил ее даже больше, чем старшую. Он сам не знал, почему так. Может, это объяснялось тем, что Катюша подрастала в годы его молодости и семейного благополучия, когда у Василия еще и не было такой потребности в теплоте, ласке, привязанности. Дуняшка была прямодушна, решительна и не выносила бездействия. Когда мать шлепала ее, она озабоченно спрашивала:

— Маманя, маманя, ты меня побила или похлопала?

Для нее важна была не боль, а принцип наказания. Если мать отвечала: «Похлопала я тебя, чтобы ты не озорничала»,— Дуняшка миролюбиво переносила самые крепкие шлепки, но если мать говорила: «Побила я тебя, прокуду», то Дуняшка заливалась горькими слезами от одного прикосновения.

Ни на одну минуту нельзя было спускать с нее глаз: она непрерывно шалила и обычно не пыталась скрыть озорства.

— Катюша, пойди-ка погляди, что там в сенях Дуняшка делает,— просила Авдотья, обеспокоенная внезапной и подозрительной тишиной.

Катюша смотрела и говорила:

— Ничего она не делает. Стоит у окна.

— Плохо глядела,— доносился из сеней приглушенный и басовитый голос Дуняшки.— Я окно выдавливаю...

Авдотья бросалась в сени. Дуняшка стояла у окна и изо всей силы носом и лбом давила оконное стекло.

— Что это ты делаешь, окаянная?

— А оно, маманя, гнется,— радостно сообщала Дуняшка.

В ней было сильно развито чувство справедливости.

Однажды Василий, на минуту забежав домой, удивился непривычной тишине.

Дома была одна Дуняшка, которая тихо стояла в углу за печкой, куда мать обычно ставила ее за провинности, и с независимым видом ковыряла глину пальцем.

— Маманя тебя наказала, что ли?

— Нет, не наказала,— небрежным тоном ответила Дуняшка.

— Что ж ты стоишь?

— Так себе... встала да и стою...

— Наозорничала, что ли?

Дуняшка молчала.

— Случилось что-нибудь?

— Да вон там... на кухне... чашка разбилась...— ответила Дуняшка деланно-равнодушным тоном, словно разбитая чашка не имела к ней никакого отношения.

— Ага!.. На кухне, значит, чашка разбилась, а ты, значит, «так себе», между прочим, стоишь в углу? Как же это она разбилась?! Киска, что ли, ее хвостом спихнула?

Дуняшка опустила голову:

— Киска... хвостом...

— Ах она озорница!.. Вот я ей задам!.. Вот я ее веником!

Дуняшка заморгала, и по розовым щекам ее часто-часто покатились слезы.

— Не надо киску веником. Это я-а-а! А-а!

Она горько всхлипнула, слезы хлынули внезапным потоком.

Она вздрагивала всем телом и прижималась к Василию. Разбив любимую бабушкину чашку, она пришла в отчаяние и, чтобы облегчить как-нибудь свои страдания, решила самостоятельно встать в угол. Чем тяжелее ей было, тем независимее она держалась.

«Как есть я! — думал Василий.— В точности мой характер».

Все в ней удивляло и восхищало Василия. Все казалось ему необыкновенным, а она, верная своей привязанности, тосковала о Степане и чуждалась Василия, чувствуя, что он виновник разлуки с любимым «папаней».

Не только в отношении дочери, но и в отношении жены к себе Василий постоянно замечал непонятную затаенную отчужденность.

Авдотья была заботлива к нему и ласкова с ним, но в этих заботах не было прежней теплоты, и ласковость жены казалась ему нарочитой и не радовала его.

Она готовила для него вкусные блюда, старалась к его приходу все до блеска вычистить, но не находила для него ни шутки, ни веселой улыбки, а он забегал на минуту, не глядя ни на что, садился за стол и коротко приказывал:

— Дуня, чего не то поесть! Поскорей!

Он ел молча и торопливо, смотрел вокруг невидящими глазами: его одолевали заботы. За плечами его всегда стояли сотни разных дел, о которых он не любил и не умел рассказывать, а Авдотья не умела и не решалась расспрашивать. Молча пообедав, он уходил до вечера, а вечером возвращался усталый, расстроенный, погруженный в свои, неизвестные ей заботы и тревоги.

А она, связанная чувством затаенной тоски о Степане, вместо того чтобы попытаться стать мужу товарищем, равным в делах и заботах, все больше погружалась в роль его безмолвной няньки. Даже в давние годы эта роль не

удовлетворяла ее, теперь же она знала Степана, знала всю полноту истинной любви и невольно сравнивала свою теперешнюю жизнь с прежней, Степана с Василием и все сильнее тосковала о Степане.

Ее печальное лицо, испуганный, что-то затаивший взгляд раздражали Василия.

«Муж вернулся, а она ходит как на похоронах,— думал он.— Все простил ей, и я ли не муж? Нет. Глядит так, словно не она мне, а я ей обидчик».

Он считал, что Авдотья недостаточно ценит его доброту, и, ожесточенный своими мыслями, становился все резче и суше с ней. А в ней жила своя обида.

«По одному его слову я Степу разом вырвала из жизни. За что же он глядит на меня так, будто я низкая перед ним?— думала она.— Поговорить бы... Договориться бы до донышка... Да что я скажу ему? Что худо мне с ним, что помню я Степу? А если скажу, то как же дальше жить? А вместе не жить, дети как же? Нет... Молчать надо... Перемолчится все как-нибудь...»

И они молчали.

Молчали они и потому, что ревность, все сильней овладевавшая Василием, заставляла его превратно истолковывать каждое слово жены.

— Фрося опять в одну бригаду с Петром просится. Не хочется разлучаться. Видно, полюбили друг друга,— говорила Авдотья.

«О Степане думает,— тотчас заключал Василий.— Жалеет, что со Степаном разлучилась. Ишь вздохнула. О Степане вздыхает. Развздыхалась! Об детях бы думала!»

И с непонятным Авдотье озлоблением он обрывал ее:

— А тебе какая печаль о Фроське?

Испуганная его грубостью, Авдотья спешила выйти из комнаты.

— Дочка, ты что ж свой грузовик изломала?— укоряла она Дуняшку.

Василий тут же соображал:

«Грузовик Степан делал, вот ей и жалко...»

Он швырял грузовик в печь.

— Держишь в избе всякий хлам! Ездила в Угрень, так привезла бы девке добрую игрушку! Замусорила всю избу!

Ему, смолоду избалованному женским вниманием, ревность была в диковинку, и тем беспомощнее он чувствовал себя, тем полнее она им овладевала и тем больнее ранила.

Авдотьина работа на ферме могла бы сблизить их, но фермой Василий не занимался, так как был за нее спокойнее, чем за другие участки колхозного хозяйства.

Если бы так же, как Авдотья, работала чужая женщи-

на, он стал бы хвалить и поощрять ее, но Авдотья была его женой, а следовательно, по его мнению, должна была работать лучше всех других.

Так получилось, что они с каждым днем все дальше отходили друг от друга, и Авдотья, привыкшая к иным отношениям, с каждым днем тосковала все сильнее.

Куда ни падал ее взгляд, все напоминало ей Степана.

Полки над столом были сделаны им, игрушечный автобус с катушками вместо колес он смастерил для Дуняшки, Авдотьины валенки были подшиты его руками, и крыша у стойла была перекрыта им.

Каждая вещь, отмеченная прикосновением его рук, была освещена тем светом незамысловатых и простодушных семейных радостей, без которых нет полного счастья на земле.

Помнили Степана и тосковали о нем дети, особенно Дуняшка.

Однажды, когда Василий, обуваясь, оперся ногой о маленькую, обшитую кожей скамейку, Дуняшка враждебно сказала ему: «Дай! Это папина!»

Она вытянула эту скамейку у него из-под ног и унесла в свой угол: это была Степанова любимая скамейка, и Дуняшка ревниво оберегала ее.

«Степанова дочь, Степанова жена, Степанов дом...» — с горечью думал Василий.

У него было одно прибежище — старшая дочь Катюшка. Она была такая же русоволосая, большеглазая и ласковая, как мать. Она училась в школе и все свободное время проводила в бычарне у своего любимого быка Сиротинки.

По утрам, перед школой, она по пути с Василием ходила на ферму к Сиротинке. Эти часы вскоре стали самыми радостными часами в жизни Василия. Девочка семенила рядом с ним в темноте снежных улиц, держала его за руку и не умолкая щебетала.

«Чирикает, словно воробушек»,— умиленно думал Василий, наслаждаясь самым звуком голоса дочки.

— Папаня, а телушечка у Белянки вся в Сиротинку! И белые чулочки, и впереди белое, ну как есть! А маманя говорит: «Ты у нас бабушка, у тебя уже внучка есть!»

Девочка смеялась, и Василий, забыв все свои заботы, смеялся вместе с ней.

История Катюшкиной быководческой профессии была необычайна. Когда на освобожденную Украину возвращали стада, проезжие гуртовщики принесли на колхозную ферму новорожденного бычка.

— Возьмите его, он параличный, на передние ножки не встает, куда нам его?

Черный, словно лаком покрытый, бычок с белой мордой и нежно-розовым носом лежал на земле, подогнув передние, параличные до коленок, ноги. Вид у него был грустный, глубокомысленный и покорный.

— На прикол его, что ли?—раздумчиво сказала Авдотья.

— Маманя, отдай его мне, я его выхожу. Отдай, маманя!—пристала к матери Катюшка.—Я сама буду траву косить и пойло готовить. Отдай!

С этого дня были забыты все игры и забавы. Она водворила бычка в углу на огороде, сама смастерила навес у изгороди, сама ходила за клевером на заброшенное, заросшее молодым ельником клеверище, сама мыла и чистила своего питомца. Она повязывала ему голову косынкой, надевала на него бусы из рябины и шиповника, баюкала его, как ребенка, разговаривала с ним, как с приятелем, и причитала над ним, как над больным:

— Сиротинушка ты моя! Сиротиночка! Крохотка ты моя горемычная!

Сиротинка, в свою очередь, платил ей небывалой привязанностью. Он не мог ни вставать, ни ходить. В своем закутке он был оторван от общества соплеменников, почти не видел людей, и Катюшка была единственным источником его впечатлений, его жизни, его несложных телячьих радостей. Он тосковал по ней почти по-человечески. Завидев ее, он неуклюже полз ей навстречу, лизал девочке ноги, руки, волосы, осторожно брал губами за платье. Когда она уходила, он хрипло и надрывно ревел, ковырял землю маленькими, чуть проступившими рожками и рвался с привязи.

Он научился безошибочно понимать слова Катюши.

— Подвинься, Сиротинушка! Дай подстилку переменю,—говорила Катя, и бычок послушно отползал в сторону.

— Ишь отвозился! Давай-ка бок-то почищу тебе.

Сиротинка поворачивался боком.

— Очеловечился у нас бык-то,—удивлялась Прасковья,—все слова понимает, а уж глядит так, что не по себе делается!

Однажды Катюша прибежала домой, запыхавшись от радости:

— Маманя, бабушка, Сиротинка ногами перебирает! Сначала левую ногу разогнул да подогнул, а после правую. Лежит и перебирает ногами!

По совету ветеринара, Катя стала делать Сиротинке горячие ножные ванны и растирание ног.

Бык словно понимал пользу процедур и охотно протягивал Кате свои короткие ноги с массивными, неуклюжи-

ми, как клещи, копытами. Вскоре он научился стоять, но быстро уставал, и Катя приспособила для него чурку. Утомившись, он подходил к этой чурке, грудью наваливался на нее и не стоял, а полувисел, полулежал с ее помощью.

Прошло еще полгода, ноги его окрепли, и Сиротинка, всем на удивление, стал здоровым быком необычайно могучего сложения.

Порода ли у него была такая, или Катины заботы сыграли свою роль, но все другие быки, его сверстники, выглядели по сравнению с ним малорослыми и чахлыми.

Тяжелые складки кожи на могучей груди почти волочились по земле. Широко расставленные ноги с мощными копытами ступали грузно, вдавливаясь в землю. Тяжелая морда была постоянно опущена, угрожающе торчали массивные рога. Характер у него был необщительный, мрачный, но по-прежнему необычайной была его привязанность к Кате.

— Сиротинка ты моя! Крохотка ты моя!

Чудовищный бык тихо стоял, уткнувшись в ее колени, и имел такой кроткий и жалостный вид, словно он на самом деле был «крохоткой» и «сиротинкой».

Он ревел в ответ и старался придать своему реву нежный оттенок. От этого рев его внезапно переходил в зловещий хрип и страшное шипенье, от которого начинали волноваться гуси на птицеферме. Пошипев и похрипев, Сиротинка отчаивался и умолкал, убедившись в том, что он бессилен выразить обуревавшее его чувство. В его прекрасных темно-синих глазах появлялось странно-тоскливое выражение. Казалось, он мучительно силился вылезть из свой бычьей шкуры и постигнуть мир, недоступный его пониманию. Напряженный, ищущий и печальный взгляд его становился почти человеческим. Обреченный своей бычьей участи, он опускал шею и часами мог стоять неподвижно, ощущая прикосновение маленьких Катиных рук.

Однажды, когда Василий увидел эту притихшую возле Кати черную глыбу с печальными глазами, он вдруг с грустной насмешкой над собой подумал, что сам он чем-то неуловимо похож на Сиротинку.

— Дочка, а ведь я тоже сиротинка, не хуже твоего быка. Погладь уж и меня зараз...— пошутил он и нагнул к Катюше свою большую чернокудрую голову.

Авдотья так же, как Василий, искала прибежища в детях и в работе.

Ферма приносила ей каждый день какие-нибудь удачи и радости. С тех пор как Буянов провел на ферму электричество, особенно уютно здесь стало по вечерам.

Как-то после вечерней дойки, когда доярки, сдав молоко учетчику, расходились по домам, к Авдотье прибежала Катюша:

— Мама, в свинарнике Пеструха визжит, поросится, а Ксенофонтовны нигде нету.

— Ни о чем у этой Ксенофонтовны нет заботы! — рассердилась Авдотья и сама пошла к Пеструхе.

Большая пестрая свинья лежала, слабо повизгивая. Красный новорожденный поросенок шевелил ногами с белыми копытцами. В свинарнике было тихо. Изредка слышалось утробное свиное хрюканье, да то чуть повизгивала, то заливалась пронзительным визгом Пеструха.

Авдотья принимала красных, влажных, горячих поросят. Уже восемь штук копошилось в корзине, прикрытой рогожей, а Пеструха все подбавляла. Беспомощные живые комочки умиляли Авдотью.

— Какие мы хорошие! Какие мы симпатичные! — приговаривала она, обтирая девятого поросенка.

Она взяла его под грудку, и он покорно и неподвижно лежал на ее ладони, свесив задние ноги с беленькими копытцами и посапывая розовым пятачком.

Внезапно на ферме погас свет.

Пеструха сильнее захрюкала, задвигалась, забеспокоилась. Авдотья бросилась к телефону:

— Алло! Алло! Гидростанция! Алло! Гидростанция, почему на ферме свет выключили? Миша, это ты, Миша? Давай скорее свет! У нас Пеструха поросится, а ты свет выключаешь! Надо же иметь соображение!

— Подумаешь, какая принцесса ваша Пеструха! — донесся флегматичный баритон Буянова.— Сколько лет в темноте поросилась — ничего ей не делалось, а теперь, скажите пожалуйста, не может она без электричества пороситься!

— Миша, голубчик, да ведь девятый поросеночек, и еще немало будет. Куда же я с ними в темноте-то?

Жалобный ли тон Авдотьи подействовал на Буянова, или сведения о количестве поросят произвели на него впечатление, но через минуту он дал свет.

Было уже поздно, когда усталая Пеструха лежала на боку, блаженно похрюкивая, а двенадцать поросят сплошным розовым месивом копошились в двух корзинах.

Авдотья сдала поросят сторожу и пошла домой.

Медленно шла она по темной улице, стараясь продлить минуты одиночества, отсрочить встречу с мужем.

«Ночь-то какая пушистая, звездная! — думала она.— Сколько их, звездочек! Которая тут моя была? Падала она мне в ладонь, да пролетела мимо!»

Невдалеке, в соседнем переулке, в лунном свете отчетливо выделялась высокая снежная крыша Степанова дома. Степана уже не было там: он законтрактовался на год на лесозаготовки в соседнюю область и несколько дней назад уехал из деревни. Он уехал, не простившись с Авдотьей. Семейная неурядица Василия и Авдотьи была скрыта от посторонних глаз, соседи считали, что живут они дружно, и Степан перед отъездом не сделал попытки увидеться на прощание, чтобы не мучить себя и не тревожить ее. Привычная и постоянная тоска Авдотьи по нем вдруг обострилась при виде этой опустевшей избы. Ей захотелось хоть мысленно проводить его в путь, попрощаться с ним, заглянуть в те окошки, в которые еще несколько дней назад смотрел он, пройти той тропинкой, которой несколько дней назад ушел он.

В поздний час в темноте никто не увидит, никто не осудит...

Повинуясь внезапному побуждению, она свернула в проулок. Ноги сами несли ее.

В доме было темно. Совсем недавно он жил за этими молчаливыми бревенчатыми стенами... Теперь его нет... И не попрощался. Не дал в последний раз взглянуть на себя... Умом она понимала, что так лучше для обоих, но слезы жгли ей глаза.

— Степа...— тихо позвала она.

Она знала, что он далеко, но хорошо было впервые за долгое время произнести его имя, услышать, как мягко и легко звучит оно в сторожкой морозной тишине.

Дом стоял, притаившись в сугробах, молчаливый и безответный. Пустынная улица была темна и тиха. Неожиданно совсем рядом раздался особенно резкий скрип шагов. Авдотья вздрогнула, отшатнулась, прислонилась к забору и увидала Василия. Слегка захмелевший от Степанидиной настойки, он шел домой.

...Они встретились лицом к лицу в полночь у Степанова дома, на темной улице.

— Что это ты, Вася? Испугалась-то как!—держась за сердце, бормотала Авдотья.

Быстрыми шагами она шла к дому, торопилась уйти от Степановых окон.

— Ты чего бродишь допоздна невесть где?

— Да свинья нынче... Пеструха нынче опоросилась...— Авдотья с трудом переводила дыхание.— Пеструха поросилась, а Ксенофонтовны нет...

— Что это по целым ночам поросится ваша Пеструха?

— Да ведь двенадцать поросяточек принесла.— Мало ли?—Несмотря на испуг, голос Авдотьи все-таки дрогнул радостью: еще живо было воспоминание о мирном вечере

в свинарне, о крошечных розовых беспомощных поросятах.

— А какая нелегкая принесла тебя на эту улицу?

Она молчала.

По ее виноватому виду и неестественной торопливости он понял все, что́ привело ее сюда. Он ненавидел жену и за это молчание, и за уклончивый, скользящий взгляд, и за эту странную ночную встречу у Степановых окон. Он схватил ее за плечо и рывком повернул к себе:

— Чего молчишь? Говори, когда спрашивают!

Молча вошли они в дом, и тяжелыми, как камни, показались им стены дома.

Утром Василий ожидал увидеть заплаканное и виноватое лицо Авдотьи, но она была спокойнее и тверже, чем раньше. В ней не было прежней скованности и робости.

«За ум берется, что ли? Как будто на лучшее поворачивается... Может, и утрясется все...»

Ему очень хотелось, чтобы было так.

Для Авдотьи эта ночь была переломной.

«За что он меня?—думала она.—Я ли сердца не переневоливаю? Если я и думаю о Степе, так не Василий ли тому виной? Ничего от него не вижу, кроме обиды. А за что? Вьюном вьюсь перед ним, не знаю, как угодить».

Впервые проснулась она с ощущением своей правоты, это придало ей твердости и обострило отчужденность, принятую Василием за начало сближения.

9

ГРЕЧИШНИКИ

За время семейного разлада Василий заново сблизился с отцом и привык к отцовскому дому.

В своей семье отношения были сложными и неясными, а здесь все дышало тем семейным согласием, миром и благополучием, о котором Василий тосковал еще с первых лет войны и которого не находил в собственном доме.

Отец без слов понимал, что происходит в сердце и в семье Василия, относился к сыну с особою бережностью, и привязанность их друг к другу сделалась крепче и глубже, чем когда-либо.

«Были бы у нас все такие, как батя,—не работа была бы, а удовольствие!»—думал Василий.—Как он мельницу содержит, не мельница—аптека! Чистота, точность, порядок, и что ему ни поручи, он все сделает на совесть. Уж это у него в крови: не может плохо работать, и в доме у него лад да склад... А около него и мне легче».

Рядом с отцом им всегда овладевало ощущение ясности и покоя. Он охотно отдавался этому ощущению, потому что и колхозные дела шли понемногу на лад: электрифицировали фермы, запасались удобрениями, выполняли план лесозаготовок, и минутами Василию казалось, что самое трудное уже позади.

По-прежнему не все в самом складе отцовского дома шло в лад с мыслями и настроениями Василия. Было и в обычаях и в разговорах что-то недоброе, ограниченное, узкое, и Василий все острее чувствовал это, но так велика была его потребность в семейном тепле и уюте, что он старался не слышать того, что слышал, и не видеть того, что видел. Сначала это стоило ему усилий, и не раз уходил он с досадным чувством и думал:

«Не пойду я к ним больше. Степанида с Финогеном — чужаки мне».

Но наступал вечер, в собственном углу один на один с Авдотьей было по-прежнему трудно, холодно, и его тянуло из дому.

Постепенно он свыкся с отцовской семьей и старался не замечать того, что коробило его. Истосковавшись по отдыху и покою, ради них поступился он той непримиримостью, которая была свойственна ему с юности.

Вечером удачливого дня он сидел в отцовской горнице, и все по обычаю сумерничали, то есть отдыхали. Вся семья была в сборе, все занимались несложными домашними делами и разговорами.

Маленькая Дуняшка, которую Василий привел с собой, уселась между кустами герани и играла книжкой. За последнее время она привыкла к Василию и не вспоминала Степана.

Она раздвинула ветки цветов, высунула до блеска смуглую чернобровую мордочку, наклонила голову вперед и набок и лукаво сказала отцу:

— А если я захочу, то покажу тебе книжку!

— Захоти, дочка. Сделай такую милость!

— Я уже захотела!

Она уселась рядом с отцом.

— Папаня, а папаня, это какая буква?

— Это буква «р». Когда собака киску треплет, то как она урчит?

— Ррр-р-р!

— Вот она и есть, эта буква «р». Запомнила?

— Запомнила, папаня. Гляди-ка, трактор нарисован.

— Это танк, дочка, а не трактор.

— Нет, ты не знаешь. Это трактор, мне сам Славка сказал, что это трактор.

— Я же, дочка, знаю маленько побольше твоего Славки,— обиделся Василий.— Маленько постарше я все-

таки... Так какая же это буква? Эх ты! А обещалась запомнить...

Она на минуту задумалась, потом, вспомнив, сразу заулыбалась, запрыгала:

— Это буква гав-гав-гав!

Все расхохотались.

— Учил, учил отец дочку! Выучил гавкать! — смеялась Степанида.

— Да не гав-гав, дочка, а «р», р-р!

Но Дуняшке понравилось «лаять».

— Гав-гав-гав! — кричала она.— Не хочу «р»! Пускай будет гав-гав-гав!

— Ну, ладно, пускай «гав-гав»! Угомонись только, Христа ради.

Василий уложил ее на кушетку, и она скоро уснула.

Мирно текла семейная беседа.

— Гляжу-то я нынче в окно,— рассказывала Степанида,— и вижу: идет мимо Фроська во всем своем фуроре! Пальто на ней с меховым воротником, резиновые сапожки. На голове берет. Обряжает ее Таня-барыня, как королеву.

— А что ей не обряжать! Одна дочь! — отозвался Финоген.

— Обе всю войну с базара не уходили. Корову ярославской породы собирается покупать Фроське в приданое. Петр, а Петр, чем тебе Фроська не невеста?

Петр усмехнулся такой же, как у Василия, внезапной, озорной и быстрой усмешкой:

— Не возьму я жену с коровой. Станут говорить: «Пока корова доилась — любил, а как доиться перестала — так и любить бросил».

Степанида прищурила большие строгие глаза и сказала, как пропела:

— Всем хороша Фроська — и толстая, и здоровая, и голосистая. Всем бы взяла, да вот одно горе у девки — ленивая, бедная!

— Она не ленивая, она балованная,— сказал Финоген.— Чего ей работать? Ее Петр кормить будет.

— У него у самого один ветер за пазухой.

— Он вроде Павки Конопатова — кротами будет жену потчевать.

Петр опять блеснул мгновенной улыбкой:

— Павкина Полюха по соседям обедает. Она у него на это мастер!

Василий, удобно развалившись на диване, думал, задремывая:

«Вот все и налаживается. Вот и Дуняшка зовет меня папаней и не поминает Степана! И в колхозе который день

идет все по порядку. И Авдотья, кажется, выбросила дурь из головы. И с отцом живем душа в душу. Все складно, все хорошо».

Сквозь смежившиеся ресницы пробивались лучи — видно было, как они расходятся от лампы, двоятся и подергивают всю комнату зыбкой, лучистой, дремотной пеленой.

Герани казались непомерно большими.

Степанида сделалась маленькой и далекой. Она потянулась, расправила плечи и сказала:

— Пойти завести гречишники?

— Опять гречишники,— отозвался Петр.

Василий сразу раскрыл глаза и выпрямился.

Неделю назад он сам привез на мельницу гречку из подшефного детского дома и сам отправлял гречневую муку обратно. Что значат эти слова: «Опять гречишники»? Гречки давно нет ни в колхозе, ни на базаре.

— Разве у вас часто гречишники?

— Второй день. У нас маманя как заладит одно готовить, так и ведет до той поры, пока поперек горла не встанет.

Василий вышел в кухню вслед за Степанидой. Гречневая мука была «та самая»: он узнал ее по помолу, по чуть затхлому запаху залежавшейся и влажной гречки. Они оба вернулись в комнату.

В комнате ничего не изменилось. Тот же мир и покой, который радовал Василия пять минут назад. Так же пышно цвела герань, так же мурлыкал кот на лежанке, так же спала на кушетке маленькая Дуняшка. Все в той же спокойной позе человека, достойного и довольного собой и всем окружающим, сидел отец. Его лицо попрежнему выражало доброжелательство, превосходство и полное согласие с самим собой.

Все было неизменно, но у Василия было такое ощущение, будто бы во время веселой прогулки он нежданно увидел пропасть у самых ног. Все вокруг стало обманчивым, даже герани приняли иной вид — каждый листок говорил о чем-то недобром, притаившемся.

«Вот оно что...— думал он.— Значит, все здесь ложь... Когда заговорить: сейчас или после? Враз или исподволь?»

Но он не умел исподволь.

Он стал посредине комнаты, уронил тяжелые кувалды кулаков, по-бычьи нагнул голову и сказал:

— Батя, откуда у вас гречишная мука?

— Мука?.. Какая мука?..

Выражение благожелательства и превосходства как водой смыло с отцовского лица... Лицо вмиг утратило

свою значительность, обострилось, обтянулось, стало маленьким. Финоген повернулся на стуле, кот, испуганный резким движением Степаниды, спрыгнул с лежанки.

— Гречишная мука, что в кухне, откудова она у вас, батя?

Василию стало тесно в комнате. Он сам чувствовал, какой он громоздкий и неуклюжий.

Степанида, выставив грудь, подошла к нему:

— В Угрене купила на базаре. А что?

— Не были вы на базаре, да и не торгуют там гречкой.

— Как это не были? Да ты что нам за допытчик такой?—Щеки Степаниды рдели, глаза горели стыдом и злостью.

— Я эту муку на своих плечах носил на мельницу. Не покупали вы ее! Врете вы мне!

— Ты какие слова матери говоришь? Бессовестный! Тебя как своего в дом принимают, а ты исподтишка ходишь да высматриваешь по углам. Иди ты, паршивый пес, где ешь, там и пакостишь!

Он отвернулся от нее.

— Подите вы... Батя, как же это? Если уж вы... если уж вы...—Он не мог выговорить этого слова.—Если уж вы... воруете...

Отец обеими руками быстро-быстро вертел конец пояса. Он был жалок.

— Это... мука не колхозная...

— Детдомовская это мука... Это тех сирот мука, отцы которых пали на том поле боя, где и я лежал... Не лежали вы на том поле, батя!

— Чего ты расшумелся из-за пары гречишников?— сказал Финоген.—Есть из-за чего!

— Что, уж нельзя мельнику и поскребышков вымести?—Степанида говорила вызывающе, но глаза неестественно бегали и ни на чем не могли остановиться.

— Хороши поскребышки! Второй день стряпаете... А и всей-то гречихи двух центнеров не было. Так, значит... Говорили мне, батя, упреждали меня... Мысли этой я до себя не допускал...

Отец ссутулился, опустил голову и стал так жалок, что Василий закрыл глаза, лишь бы не видеть его.

«Старый—что ребенок малый. Не так бы мне с ним».

— Порочь отца-то, порочь!—неожиданно в крик закричала Степанида.—Смешай отца с грязью из-за пары гречишников. Мы от тебя заслужили—выкормили, выпоили тебя, змееныша!

Отец остановил ее:

— Замолчи, мать!

Он трудно дышал, держась за сердце. Все сухое тело его корежилось, и что-то странно похрипывало в груди.

Финоген отшвырнул стул и подошел к Василию.

— Ты чего в наш дом ходишь? Над отцом измываться? Ты скажи, что тебе надо? Чего ты от людей ищешь?

— Чести я ищу!

— Какой такой «чести» ты ищешь? В колхозе добро меж рук плывет, а он чести ищет.

Красные пятна покрыли лоб Финогена. Он знал проделки Степаниды и пользовался продуктами, которые она потаскивала с мельницы. Оттого, что он чувствовал себя нечистым, ему хотелось думать, что другие не лучше его, хотелось во что бы то ни стало оговорить, охаять окружающих.

— Думаешь, в МТФ у тебя масло не тянут?— продолжал он.— Тянут! Ты думаешь, со склада зерно не воруют? Воруют.

— Врешь!

— Нет, не вру! Тащат, да только тебя хоронятся, не допускают тебя до себя. А мы тебя как родного допустили. Отец к тебе с открытой душой — так ты отца-то за пару гречишников смешай с грязью, а тех, которые воруют, их вознеси!

— Кто ворует? Говори!

Но Финоген не знал, что сказать. Глаза его злобно и растерянно бегали. Он силился вспомнить хоть один факт, на который можно было бы сослаться, но не мог отыскать в памяти ничего похожего.

— Говори! — наседал на него Василий.

— Сам гляди.

— Нет, ты докажи! Докажи, раз начал.— Он схватил Финогена за борт пиджака.— Говори, что знаешь! Почему молчишь? Кого покрываешь?! Если соврал — зачем врешь?! Зачем людей грязью поливаешь?

— Пусти меня, бык бешеный! Что ты меня хватаешь? Я тебя так хвачу!

— Говори, покуда живой!

Проснулась и заплакала от страха Дуняшка.

— Ступай отсюда! Ступай! — Степанида сорвала с вешалки его полушубок, шарф, шапку и швырнула в открытую дверь.— Ступай, супостат! Пожалей отца! Гляди, помертвел весь. Не хватало ему богу душу отдать из-за этих — будь они прокляты — гречишников! Ступай! Вот тебе бог — вот порог! Медведи у волков не гащивают! Лисы к зайцам не хаживают! Уходи отсюда!

— Ответите перед колхозным собранием,— крикнул с порога Василий.

Когда Василий пришел домой, Авдотьи не было, а Прасковья с Катюшкой уже спали. Никто не ждал его. Из неубранных комнат пахнуло пустотой и холодом.

«Где же Авдотья? Не Степан ли приехал? Нет, я бы знал про это. Где же она?»

Скрипнула дверь, Авдотья задержалась у порога: обметала веником снег с валенок.

— Чего поздно ходишь?

— Задержалась.

Он сузил глаза.

— Или опять свинья поросилась?

Она едва глянула на него и на ходу бросила горько и насмешливо:

— Нет... бык отелился...

Не останавливаясь, она прошла в горницу.

Он замер на месте, ошеломленный ее независимым видом и непонятным, горько-презрительным тоном. Он не понял, что и как с ней случилось, он понял одно — она была чужая.

Долго сидел он за дощатым столом в пустой комнате.

Неужели Финоген не соврал и кто-то со склада вправду ворует зерно? Не может быть! Или все может быть? Все вокруг рушится. Час назад у него были и отец с матерью, и брат, и какая ни на есть жена. Всего два слова: «опять гречишники», «бык отелился» — и все рухнуло. Ни жены... ни отца...

10

ПОСЛЕ ПЛЕНУМА

Бюро райкома закончилось, а люди толпились вокруг секретаря, напоследок закуривали здесь же, в кабинете, посыпали пеплом кумачовую скатерть. И пепел на скатерти, и сизые витки дыма над головами, и сдвинутые стулья — все было явным беспорядком, нарушившим обычную строгую чистоту в кабинете, но Андрей любил этот беспорядок поздних райкомовских часов, любил гурьбу людей, которые все пытаются и никак не могут разойтись, вспышки смеха, словесных схваток и споров — кипение взволнованных умов и сердец. Здесь была его стихия.

Прошлой ночью он вернулся из города и не спал до утра, готовясь к бюро. День выдался горячий. Андрей не выходил из райкома, не думал о себе, не ощущал себя и только сейчас, когда кончилось бурное совещание, вдруг почувствовал расслабленность и странную невесомость

тела. Надо было идти спать, но ему не хотелось уходить. Он откинулся в кресле, прислонился затылком к высокой спинке и, прищурив набрякшие от бессонницы веки, смотрел на второго секретаря — Лукьянова. Желто-смуглое, татарское лицо Лукьянова двоилось и расплывалось в глазах, слова его долетали откуда-то издалека.

Лукьянов стучал кулаком по газетному листу с решением Февральского пленума и не говорил, а выпаливал слова в лицо начальнику строительного отдела райисполкома, розовому, как младенец, Лаптеву.

— Здесь, в решении, указаны все возможности для подъема, для взлета, а мы?! Решающее звено — МТС, а у нас до сих пор не закончено строительство и оборудование.

— К апрелю кончим,— сказал Лаптев.

— Ой, знаю я твою поворотливость!

— Он меня повернет...— косясь на Андрея и намекая на недавний крупный разговор с ним, ответил Лаптев.— Он меня омолодит...

Андрей рассмеялся своим мальчишеским смехом:

— И омоложу! С одного раза не выйдет — с двух получится!

— Я тебя знаю! — вздохнул Лаптев.— Ты доймешь человека!

— Петрович доймет!..— с удовольствием подтвердил Волгин — секретарь райкома по кадрам. Он перед совещанием вернулся из поездки по району; худое лицо его было обветренно, веки покраснели, но глаза за круглыми очками оживленно блестели: ему, как и Андрею, хотелось спать, но и не хотелось уходить из райкома.

— Надо! Надо к апрелю! — сказал Андрей.— Как воздух, нужна району хорошо оборудованная МТС! Сто тысяч тракторов за сорок седьмой — сорок восьмой год! — мечтательно продолжал он.— Триста двадцать пять тысяч, треть миллиона тракторов к концу пятилетки! Нет, вы представляете, что это значит? — Он говорил, оживляясь с каждым словом.— Через три-четыре года в районе будет сто тракторов. Это больше, чем я имел на Кубани! Помню: у нас весной на пробном выезде идут трактор за трактором через всю станицу! Земля гудит! С потолков штукатурка сыплется! Силища! — он на миг зажмурился, чтобы лучше представить памятную картину, и не то вздохнул от удовольствия, не то протянул: — А-а-ах! Мы сами себя не узнаем в конце пятилетки!

Он увидел дружелюбно-насмешливые улыбки окружающих и сам улыбнулся.

Любовь к разговорам о необыкновенном будущем района и бесконечные воспоминания о Кубани — это были

две слабости секретаря, которые хорошо знали, прощали ему и даже любили в нем его товарищи. «Петрович в облаках!» — говорили в таких случаях райкомовцы. Андрей и сам знал эти свои слабости и обычно сдерживал себя, но сейчас, в минуту усталости и особой близости с товарищами, ему захотелось дать себе волю помечтать вслух.

— Ты чего улыбаешься? — обратился он к Лаптеву.— Посмотрим, кто из нас будет улыбаться в тысяча девятьсот пятидесятом!

— Да ведь я не против дела! Я же не работе, а разговорам улыбаюсь.

— А разве плохо об этом поговорить? — мечтательно возразил Андрей.— Разве это плохой разговор?

Волнение, вызванное совещанием, еще жило в нем, и люди, теснившиеся вокруг, казались особенно хорошими.

Когда комната опустела и Андрей тоже собрался домой, в дверь просунулась голова работника райисполкома Травницкого.

— Разрешите к вам, Андрей Петрович?

— Что у вас за срочность?

— Даже чрезвычайность!

— Входите,— сухо сказал Андрей, настораживаясь и чувствуя, что с появлением этого щекастого, узкоглазого человека в атмосферу праздничного подъема, которая царила в кабинете, входит что-то мелкое и будничное.

Травницкий приехал в район недавно, привез хорошие характеристики, работал энергично и точно, был щеголеват и подтянут.

На лице его всегда сохранялось выражение бодрой готовности, говорил он с Андреем лаконичным языком рапортов, на вызовы являлся минута в минуту и демонстративно смотрел на часы, подчеркивая свою аккуратность.

Все в его поведении одновременно и импонировало Андрею, любившему строгую организованность в работе, и раздражало нарочитостью, подозрительной, как всякая нарочитость.

Травницкий вошел, осторожно и четко шагая и всем своим видом показывая крайнее уважение к секретарю райкома и его кабинету.

«Марширует, как на параде»,— мысленно отметил Андрей.

— Садитесь. Что у вас?

— Я не стал бы вас беспокоить, если бы мне не сказали, что завтра с утра вы уезжаете по колхозам. Дело в том, что сегодня мною лично обнаружен факт, о котором я нахожу необходимым сообщить лично вам, а не по своей инстанции.

— Да, да?—все больше настораживаясь, спросил Андрей.

— В колхозах «Заря», «Трактор», «Светлый путь» я слышал разговоры в массах о том, что в Первомайском колхозе в связи с решением пленума колхозники бросили работать на лесоучастке.

— Как? Как?..—Андрей наклонился к Травницкому.

— Мне характеризовали это именно так,—скромно и с достоинством подтвердил Травницкий.—Несмотря на все протесты начальника лесоучастка, лесозаготовители-первомайцы забрали свои подводы и покинули лесосеку. Факт имеет большой резонанс и вызывает в районе множество нездоровых толков.

— Так, так, так...—быстро говорил Андрей, пытаясь вдуматься в смысл рассказа и уловить его подоплеку. Что подоплека была, он безошибочно чувствовал, но в чем она—еще не мог определить.—Вы попытались уточнить, в чем дело?—спросил он.

— Об этом я хочу доложить. Я заехал в Первомайский колхоз, председателя не застал, а со слов колхозников установил, что все это в связи с нарушением демократии председателем. Последний якобы на основании решения Февральского пленума вздумал «исполовинить» приусадебные участки. Колхозники возмутились и в знак протеста бросили работать. Я счел долгом сообщить вам об этом факте, чтобы уяснить для вас характер разговоров в массе.

— Хорошо. Еще что? Как председатель?

— Да как вам сказать! Говорят, что пьет, нарушает демократию, с женой у него какая-то ерунда и вообще крайне, крайне... как бы это определить...

— Ну? Как определите?..

— Затрудняюсь... Затрудняюсь определить, но считаю нужным сигнализировать.

— Хорошо. Я завтра же все выясню, а вас прошу до выяснения не говорить об этом во избежание лишних толков.

Травницкий ушел. Андрей прошелся по комнате. Ему остро не хватало Валентины. Несколько дней назад она уехала в город на месячные курсы агрономов-мичуринцев, и теперь он досадовал на себя за то, что отпустил ее не вовремя. Андрей нажал кнопку и вызвал Волгина.

Волгин вошел быстрыми шаркающими шажками. Кожа на его вислых щеках шелушилась. Бледные губы ссохлись и потрескались, добрые светлые глаза покраснели и радостно щурились за круглыми очками. Вид у него был одновременно измученный и довольный.

— Ты меня звал, Петрович?—Он улыбнулся, и кожа на его щеках собралась крупными складками.

— Садись, расскажи о поездке.

— Семь колхозов объездил. Еще и дома не был—с машины прямо на бюро. Ноги не держат,—говорил Волгин, умащиваясь в кресле.—Какое место ни тронь—все болит. Стар, стар становлюсь. Раньше, бывало, по триста километров в сутки сделаешь—и хоть бы что, а вчера полтораста едва дотянул. Однако выдержал.

— Давно ли ты работу на километры меряешь? Не железнодорожный состав, чтобы все переводить на тонно-километраж! Ты мне вот что скажи: когда ты был в колхозах Первомайском, в «Заре», в «Тракторе»?

— Да вчера и был и в «Заре», и в Первомайском!

— Рассказывай!

— Что ж тебе рассказывать? По лесозаготовкам планы выполняют. Навоз возят. Лекторы приезжали на той неделе.

— Какое настроение у первомайцев?

— Что ж настроение... Боевое настроение! Поднимаются мало-помалу. Председатель авторитетный, энергичный. Народ дисциплинированный.

Андрей сердито двинул чернильницей.

— Вот и разберись тут! Сегодня Травницкий там был, приехал, говорит: бросили работу на лесоучастке, слухи ползут по всему району, председатель—пьяница и безобразник. Вчера ты был, говоришь: все в порядке, народ дисциплинированный, настроение боевое.

— Бортникова я еще до войны знал, Андрей Петрович.

— Так ведь я тебя не про довоенное время спрашиваю, а про вчерашний день. Что там вчера делалось? Бригадира лесозаготовительной бригады Матвеича, старика такого бородатого, видел?

Волгин потер очки, словно они ему мешали, подвигал бровями и виновато ответил:

— Не видал, Андрей Петрович.

— А бригадира комсомольской бригады Алексея Березова видел? Или звеньевую Любаву Большакову? Знаешь, красавица такая?

— Знать-то знаю, но увидеть не пришлось.

— Кого же ты видел?

— Самого Бортникова.

— Что ж, он один был в правлении?

— Да я в правлении не был.

— Где же ты был? На фермах? На поле?

— Не был я на фермах.

— Так где же?—все более раздражаясь, но сдерживая раздражение, допытывался Андрей.

Волгин опять принялся за очки, и по этому жесту видно было, как неловко он себя чувствует. Андрей

терпеливо ждал, пока Волгин кончит возиться с очками.

Наконец Волгин оставил очки в покое и решительно заявил:

— Признаться тебе, Андрей Петрович, попал я в Первомайский на последнем перегоне, и до того у меня все суставы разломило, что ноги не шли. Вызвал я Бортникова к машине да и поговорил с ним...

Андрей встал.

— Так зачем ты туда ездил? Нет, ты скажи: зачем? Ты что ж, ездишь по району километры считать? А? Нет, Семен Семеныч, уважаю я тебя, уважаю и ценю, но этой твоей привычки не могу переносить! Да и не у одного тебя, а у многих вижу эту ненавистную мне приверженность к гастрольным поездкам. Объехать десять колхозов в сутки, а потом сидеть с видом мученика долга! А какой след остается от таких поездок? Кому это нужно? Нет, ты скажи: кому это нужно? — наседал Андрей на Волгина.

Волгин обиделся, выпрямился в кресле, и лицо его стало строгим.

— Ты меня по себе не равняй, Андрей Петрович. Ты здесь года не живешь, а я здесь с пастухов начинал. Я в одну минуту то увижу, что ты в день не высмотришь. Я не только каждую колхозную семью до третьего поколения знаю, а и каждого колхозного коня со всеми его прародителями.

— И поэтому ты считаешь возможным и руководить, не вылезая из «эмки»? Ты скажи: как в колхозе прорабатывали решение Февральского пленума?

— Об этом у меня с Бортниковым разговора не было.

— Ну, вот видишь... не было!.. А до меня слухи доходят о том, что они, якобы на основании решения пленума, половинят приусадебные участки. А ты, райкомовец, вчера там был, а ни во что не сумел вникнуть, оказался не в курсе дела, ничего не знаешь, ничего не можешь объяснить. Нет, ты скажи мне: зачем ты туда ездил? — с новой энергией обрушился Андрей на Волгина.— Что ты там делал, на что смотрел, о чем думал?

Когда Волгин ушел, Андрей еще долго ходил по кабинету и не мог успокоиться. И рассказ Травницкого, и неполадки в Первомайском колхозе, и бестолковая поездка Волгина — все это были звенья одной цепи.

«Вот работаешь,— думал Андрей,— все идет на подъем, все хорошо, начинают тебя хвалить, ты понемногу успокаиваешься и просматриваешь одну недоделку за другой, а они рано или поздно дадут о себе знать».

На рассвете следующего дня Андрей выехал в Первомайский колхоз. Утреннее солнце, багряное, прихваченное

морозом, изредка мелькало за стволами, свет его сочился сквозь ветки.

В скованной тишине отчетливо пели пилы, разносился з онкий перестук топоров: невдалеке был лесоучасток. Навстречу то и дело попадались машины, тяжело груженные бревнами. Краснощекие девушки и парни, казалось, чудом держались на бревнах, вскрикивали и разражались смехом на ухабах.

— Движение — что в Москве у оперного,— сказал шофер.— Одно слово — трасса! Дальше большаком ехать или напрямик, лесной дорогой?

— Напрямик,— рассеянно ответил Андрей, погруженный в свои мысли.

Он вспоминал прежние посещения Первомайского колхоза.

Машина поднялась на холм. Облитые сквозным светом, розоватые, прямые, как струны, сосны стояли по обе стороны дороги. Чистое небо сквозило между стволами. Это был участок мачтовки, любимый участок известного в области лесничего Михеева. Михеев, приятель Андрея, восьмидесятилетний старик, всю жизнь прожил в лесу, дети его были лесничими, внуки учились в лесном институте. Себя он называл не лесничим, а лесоводом или лесолюбом. Он знал каждую сосну, лечил больные сосны, обрубал сухие сучья, очищал лес от валежника, и словно в благодарность за уход мачтовка росла здесь на диво — ровная, сильная и чистая. Глядя, как покачиваются в синей высоте опушенные розоватым снегом вершины, Андрей с неожиданным волнением подумал о себе, о своих товарищах, о коммунистах района: «Все мы лесоводы и лесолюбы, так же очищать нам свои леса от валежника и хвороста и растить людей такими же прямыми и сильными, как эти мачтовки!»

Ему не терпелось скорее взяться за дело, скорее разобраться в том, что творится в Первомайском колхозе. Он нагнулся к шоферу и нетерпеливо тронул его за плечо:

— Что ты тащишься, сержант, как по минному полю? Дай же скорость!

Раздвинулись леса, поднялся высокий холм; как на ладонь легла уютная, небольшая деревушка, раскинувшаяся на крутом склоне.

Андрей решил заехать на дом к председателю.

— Здравствуй, Василий Кузьмич! — говорил он, расправляя закоченевшие в долгой дороге плечи.— Извини, что прямо к тебе. Хотелось для начала поговорить наедине.

— Рад тебя видеть, Андрей Петрович. Давно не заглядывал. Раздевайся!

— Ты, однако, еще выше стал с тех пор, как я тебя видел. Как он у вас в доме помещается, хозяйка? Здравствуйте! Извините, что я к вам без предупреждения.

Тоненькая большеглазая женщина неумело подала несгибающуюся, жесткую ладонь.

— Милости вас просим! Извините, что не прибрано.

«Что-то очень приятное, певучее есть в ней. Только какая-то грусть в глазах и какое-то отсутствующее выражение. А вообще красивая пара, и дочка хороша!»

Чернобровая девочка выглядывала из-за материнской юбки.

— Здравствуй, чернавочка!

Она наклонила голову набок, выставила лоб, сразу стала очень похожа на отца и улыбнулась внезапной и неудержимой улыбкой Василия.

— Здравствуй... А я тебя знаю...

— Вот тебе и раз! А кто я такой?

— Ты нам на елку игрушки посылал... Ты Андрей Петрович, райком...

— Вот это так фамилия! — расхохотался Андрей.— Ну и молодец! Василий Кузьмич, ты слышал, что она сказала? Ведь лучше, пожалуй, не придумаешь! Ну, разодолжила ты меня, чернавочка!

Авдотья была рада приходу секретаря,— ей трудно было оставаться один на один с Василием. В последнее время она чувствовала, что какая-то неизвестная ей тяжесть гнетет мужа, но он упорно молчал. Отчужденность их стала так велика, что Авдотья уже не пыталась нарушить молчание: говорить было еще труднее.

Прасковья и Катюша хворали, Авдотья разрывалась между работой на ферме и домашними делами и была рада обилию дел и забот, отвлекавших ее от невеселых мыслей. Пока она готовила завтрак, Василий и Андрей разговаривали.

— Как дела? Как настроение, Василий Кузьмич?

— Настроение — лучше не надо. Вот оно, мое настроение.— Он показал на газету с решением пленума.— Подарок. Именинником хожу.

— Ну, рад слышать. А мне говорили невесть что. Будто у тебя тут колхозники бросили работать на лесоучастке.

— Кто сказал?

— Травницкий.

— Ну, этот тебе наговорит! — нахмурился Василий.— Пустяковый мужичонка. Этого у нас не было, а недоразумение было. Это действительно! Как получили мы решение, так вздумали перемерить приусадебные участки. Тут прямо записано. Вот гляди: «Расхищение колхозных

земель». Видишь? У нас это тоже наблюдается в отдельных случаях. Стали мы мерить участки, а тут кто-то и пусти слушок, будто я все участки хочу половинить. Народ как узнал, так и посыпал с лесозаготовок... Завтра опять отправляю.

Андрей потемнел:

— Сколько дней прогуляли?

— Вчера полдня да сегодня.

— Почти два дня прогуляли.— Он прошелся по комнате, заложив большие пальцы обеих рук за ремень гимнастерки.— Как же это все-таки могло получиться? А?.. Ты с народом прорабатывал решение пленума?

— А чего его прорабатывать? Тут все ясно написано. Бери да читай! Народ у нас грамотный. Смерть не люблю я говорильни!

— Ты не поговоришь — другой кто-нибудь поговорит, да только не теми словами, какими надо. Факт налицо! Ты не говорил с людьми, кто-то этим воспользовался, и вот у тебя два дня прогула. Кто виноват? Один ты! А главное не в этом. Главное — политическая сторона вопроса. Кто-то воспользовался твоей ошибкой, и вот уже по району ползут слухи! Это, друг хороший, последствия твоего не только административного неумения, но и политической твоей близорукости!

Василий не просто слушал Андрея, а ловил слова, и видно было, что в уме его текут свои мысли, что каждое слово Андрея как-то переворачивается, перерабатывается в его мозгу и что процесс этой переработки нелегко дается.

— Ведь ты не только хозяйственник, ты коммунист и политический руководитель,— продолжал Андрей,— стоило тебе забыть об этом — и вот у тебя даже решение пленума пошло боком. Ты хочешь выполнить решение пленума, а у тебя прогулы, и о тебе, о твоем колхозе слухи ползут по району! Факт как будто бы небольшой, а большие ошибки твои он показывает, Василий Кузьмич.

— Это бывает...— горько вздохнул Василий.— Иной раз и всего-то два слова, а они тебе такое нутро обнаружат, что дух займется!

«Что-то неладное с этим человеком»,— подумал Андрей.

Он сел рядом с Василием и заговорил негромко и доверительно:

— Я сам, когда продумывал решение пленума, много нашел у себя ошибок. И такая разобрала меня досада. Ведь то, что я до сих пор по-большевистски, вплотную не занялся вашим колхозом,— моя ошибка... Да... В долгу я перед тобой, Василий Кузьмич, вот о чем сказал мне пленум Центрального Комитета нашей партии...

Вместо того чтобы распекать Василия за промах в работе, секретарь сам заговорил с ним о своих ошибках. Подобное поведение было несвойственно Василию и озадачило его.

Андрей протянул ему портсигар, и они молча закурили. Две синеватые струи дыма сплелись и поплыли по комнате. Из-за перегородки доносился тоненький шепот больной Катюшки и невнятные ласковые слова Авдотьи. Капли на недавно политых кустах герани лучились. По белоснежной занавеске, закрывавшей полки с посудой, шествовала шеренга алых вышитых крестом петухов.

«Вышивки, как у моей Валентинки,— подумал Андрей.— И уют, и нет уюта... За все время, пока я здесь, они не обменялись ни словом».

Он ткнул в пепельницу недокуренную папиросу и спросил:

— Кто у тебя сейчас бригадир? Алешу я знаю — редкостный парень. А кто во второй бригаде? Кто на лесоучастке, в огороде и фермах?

— Во второй бригаде Пимен Яснев.

— Золотой старик, только... годится ли в бригадиры? Тут надо человека с задором!

— Надо бы, да откуда взять? На лесоучастке Матвеич, огородная бригада пока ходит без бригадира, а на ферме — вот она! — Он кивком головы указал на жену.

Слишком пристальный взгляд секретаря смутил Авдотью.

— Как у вас с выпасами?

— Нельзя похвалиться. Выпасы дальние, да и травы нехороши.

— Надо вам залужить болото у поймы,— мгновенно оживившись, заговорил Андрей.— Я летом проездом осмотрел пойму: там и дела-то не так уж много! Прорыть сквозную канаву с двумя рукавами — сразу можно осушить гектаров до десяти! Вы представляете? — Он вырвал листок из блокнота, взял карандаш, быстрыми, точными штрихами начертил план.— Здесь пойма. Сюда склон. Канава должна пройти так и так... Выкорчевки там немного: пять-шесть пней да с полгектара кустарника. Заизвестковать почву, засеять травами — и выпаса лучше не надо. И близко, и река рядом.

Авдотья с недоверием смотрела на летящие линии чертежа.

«На бумаге-то оно быстро... А на деле с необходимой работой не управляемся. До канав ли тут?»

А секретарь уже засыпал ее новыми вопросами:

— Как с кормовым севооборотом? Сколько собрали семян с многолетних трав?

Авдотья отвечала невпопад и нескладно. Она работала на ферме старательно: соблюдала чистоту и режим дня, вела строгий учет продукции, следила за тем, чтобы доярки тщательно выдаивали коров; ей казалось: она делает все, что возможно сделать, но вопросы секретаря заставили ее по-новому посмотреть на свою работу и встревожили ее: «О чем он в первую очередь спрашивает, то у меня на последнем месте. Или я не за тот конец берусь?»

Андрей заметил ее растерянность и умолк, задумавшись. Желтовато-белые тарелки то и дело стукались друг о друга в ее руках, то ложка, то вилка падала на пол.

«Что же это со мной?—мысленно досадовала она на себя.—Совсем недотепой покажусь человеку».

— Вы проходили курсы по животноводству? Что вы читаете?

— На курсах я не была, а книжки у меня есть. Только там больше про клевера да про концентраты... Не по нашему колхозу.

— Вот тебе и раз!

— Не по нашим возможностям, так я хотела объяснить.

Светлые брови секретаря дрогнули и приподнялись у висков, резче обрисовались скулы. Казалось, слова Авдотьи ударили его по наболевшему месту.

— Вот что обидно слушать,—тихо сказал он.—Мы своих возможностей иной раз не только не используем, но и не замечаем. Ну, если б их не было—другой разговор. Но ведь есть же они, есть! Только потрудись над ними, только руки приложи! А мы по ним ходим, как слепой по золоту!—Горечь, досада, упрек звучали в его словах.

«Ненароком обидела я человека»,—с удивлением подумала Авдотья, а секретарь продолжал:

— Какие луга можно завести тут же, у села, возле поймы! Продержать их под клевером года два, и обеспечим урожай в двадцать пять центнеров!

Стыли щи в тарелках, молча слушала Авдотья секретаря, прислонившись к печке, забыв о своих обязанностях хозяйки.

Когда Андрей и Василий ушли, в доме сразу стало так пусто и тихо, как бывает после праздника.

Авдотья особенно остро почувствовала свое одиночество.

«Ушли... Походить бы вместе с ними по хозяйству, послушать, о чем говорят... Словно сказку рассказал. Однако удобрение выхлопотал в кредит для колхоза, машиной обещал помочь. Второй генератор достал на заводе. Это уже и не сказка!..»

Ей хотелось пойти на собрание вместе с ними, но надо было провести вечернюю дойку и нельзя было надолго оставить без присмотра двух больных — Катюшку и мать.

Несколько часов Андрей и Василий вместе ходили по фермам, амбарам, складам, вместе составили план работы, обдумали состав бригад, поговорили с бригадирами.

Оба увлеклись, разгорячились, оба уже понимали друг друга с полуслова и чувствовали, что между ними зарождается та лучшая из дружб, та дружба-соратничество, которая на всю жизнь связывает людей, увлеченных одним и тем же делом.

— Приходите на собрание! Андрей Петрович приехал...— сообщал мальчишка-вестовой, посланный по домам с оповещением.

Собрание, в котором примет участие «сам Петрович», хорошо известный в колхозе, было событием. Присутствовать при этом событии хотелось всем. К назначенному часу пришли не только все взрослые колхозники, но и бесчисленные колхозные мальчишки, и дряхлые старики, обычно не выходившие из дому.

Еще с полудня погода неожиданно смякла, и наступила оттепель. Стоял один из тех мартовских дней, когда в воздухе неуловимо пахнет весной. По-весеннему пахло влажным снегом, ручьями, отсыревшей корой, на теплом желтоватом небе по-весеннему отчетливо выделялись влажные черные ветви. Далекий лес тоже казался не серым, как прежде, а бархатисто-черным и сочным. Этот первый проблеск приближающейся весны радовал людей, не хотелось уходить с улицы. Народ рассаживался по соседним скамейкам и завалинкам.

Мимо завалинки прошла Павкина жена, Полюха Конопатова. Она была худа, и ее хрящеватая длинная шея от самой груди по-гусиному выгибалась вперед. На этой странной шее надменно покачивалась маленькая голова в берете, украшенном металлической бляшкой.

Отец Полюхи заведовал сельпо, брат служил проводником на железной дороге, двоюродный брат работал весовщиком в городе на рынке.

Сложное и великолепное это родство делало Полюху Конопатову неуязвимой, неподвластной никаким бедствиям и стихиям.

В колхозе числилась она только для того, чтобы сохранить приусадебный участок, по целым месяцам разъезжала где-то и держала за печкой старинную кованую укладку, ключ от которой прятала даже от своего супруга Павки.

— Глядите-ка, Полюха пришла на собрание! — удивилась Татьяна.

— А что мне не идти? Захотела,да и пришла. Чай, не хуже тебя!

— А где же твой мужик?

— А пес его знает!

— Или он так к своим кротам пристрастился, что и тебя бросил?

— А я, милуша моя, не тебе чета! Тебя, может, кто и бросил, а мой попробует меня бросить, враз будет по деревне без башки ходить,—решительно отрезала Полюха и с победоносным видом прошествовала на крыльцо.

В небольшой комнате правления постепенно становилось все теснее. Те, кому не хватало места на лавках, уселись на подоконниках. Колхозники были одеты по-праздничному. Из-под распахнутых пальто и полушубков виднелись городские костюмы, яркие блузки. На передней скамье уселись комсомольцы во главе с Алексеем и двоюродной сестрой Авдотьи — Татьяной Грибовой.

Смуглая и статная Татьяна, с такими же, как у Авдотьи, задумчивыми серыми глазами, сидела в спокойной и свободной позе, чуть откинув голову. Девушки теснились к ней, она отвечала на их болтовню то улыбкой, то легким движением бровей и изредка наклонялась к Алексею, чтобы переброситься с ним негромким словом.

У Алексея был праздничный, наивно-парадный вид, свойственный ему во всех важных случаях.

Собрание, на котором присутствует секретарь райкома Андрей Петрович, было для Алеши важным событием.

На задней скамье чинно сидели Бортниковы — Степанида, Кузьма Васильевич и Петр. Все трое были рослые, плечистые, степенные, но старик заметно одряхлел. Щеки его обвисли, серебром светилась седая прядь на черном лбу, голова то и дело клонилась, и когда он забывался, то горбился. Видно было, что ему стоит усилий держаться прямо. На лице его не было обычного выражения самоуверенной благожелательности, оно было страдальческим, казалось, старика что-то томит.

На окне, возле президиума, красовалась Фроська. Она уселась на подоконник не потому, что не хватало места, но для того, чтобы вернее поразить всех присутствующих блеском своих новеньких резиновых полусапожек. Полусапожки эти были нацелены на всех вообще, и на Андрея в частности. Фроська не была бы Фроськой, если бы не мечтала приворожить секретаря райкома.

Она особо тщательно выложила кудряшки на лбу, подвела брови, но крепче всего она уповала на свои блестящие, как зеркало, полусапожки.

Чтобы они, избави бог, не остались кем-нибудь не замеченными, Фроська время от времени подгибала ногу,

поворачивала ее то носком, то каблуком, то боком и долго, старательно поправляла серебряную застежку «молнию».

В комнате было шумно и весело. Алеша повесил на стенку план колхоза, наскоро начерченный им по просьбе Андрея. На плане были и поля севооборотов, и будущий ток, и еще не существующие новые фермы.

Вошли Андрей и Василий. Все сразу притихли. Оба они были свежевыбритые, у обоих блестели на груди радуги орденских ленточек. Оба были подтянуты, точны в движениях, и приятно было глядеть на них. Белокурый, маленький, плотный и стремительный Андрей, с открытым лицом, с особой энергичной, одному ему свойственной манерой держаться, шел впереди. За ним шагал тяжеловесный черный Василий, нагнув упрямую голову, пряча в чаще бровей и ресниц горячие, тоскливые глаза.

Василия мучил последний вопрос повестки дня. Последним вопросом стояло освобождение Кузьмы Бортникова от работы мельника. Василий договорился с отцом, что он отходит от работы якобы из-за болезни. Несколько раз за день Василия подмывало рассказать обо всем секретарю, но дело было слишком тяжелое. Василий так и не решился поговорить начистоту, и теперь его томило и это молчание, и сознание половинчатости своих действий, и жалость к отцу.

Василий подошел к столу и принялся усердно звонить в колокольчик. Обычно эта процедура, напоминавшая собрание в районе и в области, придавала в его глазах собранию, на котором он председательствовал, солидность и доставляла ему удовольствие. Колокольчик специально для этой цели был снят с колхозной коровы Беглянки. Василий звонил долго. Собравшиеся терпеливо слушали, а старый пастух Марефий Райский беспокойно оглядывался по сторонам. Ему все казалось, что Беглянка отбилась от стада, что надо идти ее разыскивать.

Когда присутствующие окончательно утихомирились, Василий открыл собрание.

— Товарищи! — сказал он.— Весна на пороге! И не про ту весну говорю я, что там, за стенами,— кивком головы он указал на окно,— а про ту весну, что идет в наш колхоз отсюда, с этого газетного листа.— Он положил ладонь на газету.— Слово для доклада о решениях Февральского пленума предоставляется первому секретарю райкома, товарищу Стрельцову.

Андрей встал и шагнул вперед. Потоки солнечного света ударили в лицо, но он не отошел, а только прищурил позолоченные солнцем светлые ресницы.

Маленький, светловолосый, с ног до головы залитый солнцем, он казался совсем молодым.

Он говорил негромко, просто и раздумчиво, словно не доклад делал, а, присев на завалинку, беседовал с друзьями.

— Все ли здесь понимают, товарищи, какому стремительному подъему сельского хозяйства после войны положил начало Февральский пленум? Все ли ясно представляют, что будет в стране через несколько лет? Все ли представляют, что будет в вашем колхозе через три-четыре года? Плохой ваш колхоз, один во всем районе такой. Но в том-то и сила наша, что очень быстро сумеем мы вывести колхоз из прорыва, если дружно возьмемся за работу.

Как о чем-то близком и несомненном, он говорил об урожаях в двадцать—тридцать центнеров, о высокопродуктивных животных, об электрификации многих работ, о радиофикации всего колхоза. Первомайцам с трудом верилось в быстроту и разительность близких перемен, но секретарь тут же рассказывал о снятии с колхоза задолженности, о семенной ссуде, о тоннах удобрений, отпущенных в кредит, о лучшей трактористке района Насте Огородниковой, прикрепленной к Первомайскому колхозу, о новых производителях, которых должны привезти из племенного совхоза, о работах по залужению поймы, в которых обещала помочь МТС, о втором генераторе, добытом для электростанции.

Он показывал цель и короткими зарубками намечал ступени к этой цели. С каждым его словом будущее становилось ближе и достовернее.

— Район поможет вам, но главная ваша сила в вас самих,— говорил он.— Живы и в вашем колхозе те силы, которые с чудесной быстротой поднимают из пепла сожженные города Украины и Белоруссии, которые ведут страну к победам.

— Не пойму, про чего это он,— шепнула Василиса Матвеичу.

— О чем я говорю, товарищи? О советском патриотизме и о трудовой доблести людей. О ком я говорю, товарищи?— Андрей повернулся к Василисе, и она смущенно и виновато заерзала на месте: она вообразила, что он услышал слова, сказанные ею Матвеичу, и рассердился на нее за то, что она мешает ему разговорами.— Например, о вас, Василиса Михайловна.— Василиса замерла от удивления.— Удивительное дело сделали вы на овцеферме. Немолодая, слабая женщина, вы сумели не только сохранить ферму в трудные для вашего колхоза времена, но и улучшить породу, и повысить продуктивность.

Неясный шум общего оживления, как ветер, пролетел

по комнате. Никто не ожидал, что в решение Центрального Комитета, заседавшего в далекой Москве, вплетется судьба и работа всем знакомой и привычной бабушки Василисы.

— Не могу я не сказать и о ваших делах, Петр Матвеевич,— повернулся Андрей к Матвеичу.— Истощали ваши кони во время бескормицы, но ни одной потертости, ни одной нерасчесанной гривы не нашел я у них, с удивительным искусством перечинены вашими руками и старые телеги, и старая сбруя. А как не сказать, товарищи, о вашей молодежи! Вот она, та сила, которая поведет ваш колхоз в будущее!

«Все углядел,— думал Петр,— и как сбруя зачинена, и как Василиса ягнят кормит».

— Надо только суметь организовать свои силы и использовать свои возможности,— продолжал Андрей.— Раньше вам не везло с председателями, теперь председатель у вас хороший. Теперь надо правильно подобрать бригадиров. Правление и бригадиры — это ваш боевой штаб. Правильный подбор бригад и бригадиров, закрепленные за ними инвентарь и поля севооборота, организация сдельной оплаты в зависимости от урожая, полное использование техники, которая вам дается государством,— вот основные задачи сегодняшнего дня.

Андрей кончил. Все понимали, что наступил поворотный день в жизни колхоза, но каждый по-своему думал о будущем.

Подавшись всем корпусом вперед и не шевелясь, слушал Яснев. Он и верил в близкий подъем, и боялся ошибиться. Сказать-то легче, чем сделать. Помощь идет со всех сторон — и машинами, и ссудой, и семенами. Может, в один год и вправду выбьемся из отстающих? Тоже бывали и такие случаи по соседним сельсоветам.

Любава скинула полушалок, и когда-то привычная, но забытая за последние годы полуулыбка лежала на ее губах. Множество планов теснилось в уме.

— Кто хочет высказаться? — спросил Василий.

— Я скажу! — Любава поднялась с места.— Об этом долгожданном дне нам бы, первоймайцам, песни петь, только я уж и петь разучилась, и слова-то песенные позабыла. Я коротенько вам скажу, о чем думаю. Самое главное — хочу я сказать о дополнительной оплате. В прошлом году в Алешиной бригаде собрали урожай в полтора раза больше, чем по другим бригадам, а получили все поровну. Разве же это комсомольцам не обидно? И еще хочу я сказать: необходимо закрепить людей по бригадам, не то у нас девчата бродят из бригады в

бригаду, как худые козы из огорода в огород. Не поладят друг с дружкой из-за пустяков — и сразу в другую бригаду. Разве это порядок? Третий вопрос я подниму о звеньях. Второй год мы их с весны создаем, а к осени они в одно стекаются. Как уж быть с ними? То ли уж их вовсе не надо, то ли уж закрепить так, чтобы они из года в год держались? Как быть, я не решаю, только знаю, что в нашем колхозе звенья на поле плохо приживаются.

Деловитое выступление Любавы выслушали внимательно. Когда она кончила, с задней скамейки раздался пискливый голос Маланьи Бузыкиной:

— А верно ли, что будут половинить участки?

И сразу подхватила Полюха:

— Для чего участки перемеривали?

— Верно ли сказано, что в решении велено половинить участки? — раздалось с задней скамейки.

Василий позвонил в колокольчик, водворил тишину и спросил:

— Да кто это сказал? Откуда вы это взяли, товарищи колхозники?

— Да вон Полюха мимо лесосеки проехала, говорит, участки половинят.

— Пелагея Конопатова, объясните, откуда у вас такие сведения? Объясните, на каком основании вы это распространили?

— А чего мне не объяснить? И объясню. Мне Ксенофонтовна сказала. А мне-то что? Я за что купила, за то и продала.

— Ксенофонтовна всю деревню обежала с этим разговором,— сказала Любава.

— Гражданка Татьяна Ксенофонтовна Блинова, я, как председатель собрания, прошу вас встать и отвечать на задаваемые вам вопросы. Откуда вы взяли, что приусадебные участки будут половинить?

Ксенофонтовна заерзала на месте, пухлые щеки ее осели книзу мешочками.

— А чего же мне вставать? Я и сидючи могу!..

— Нет, вы встаньте и отвечайте всенародно за эти зловредно распространяемые вами слухи.

Ксенофонтовна встала. Она и храбрилась и трусила одновременно.

— Ну и что ж? Ну и не правда, что ли? Ты мне и сам сказал, Василий Кузьмич, что споловинишь, твои то были словечки! Вру я, что ли?

— А у кого я собирался споловинить? У тебя?

— Ну, у меня...

— То-то и оно! Как у тебя не «споловинить», когда ты целый гектар отхватила! Товарищи, со всей ответственно-

стью вас заверяю, что при проверке участков излишки оказались только у троих из всего колхоза: у Конопатовых, у Кузьмы Васильевича Бортникова и у Блиновых.

Василий быстрым взглядом посмотрел на отца. Отец и Степанида сидели прямые, твердые, каменные.

— Бортниковы, согласно моей записке, без возражения передали землю в колхозный фонд. Вопрос остается о Конопатовых и о Блиновых, об ихнем гектаре.

— Да где же это у меня гектар!— заволновалась Ксенофонтовна.— Люди добрые! Да это наговорено, и всего-то навсего полгектара!

— Полгектара при доме да полгектара вдоль косогора.

— Да разве там земля? Пеньки да елки, ухабы да ямы!

— Эта земля, почитай, лучшая в колхозе. Во всем колхозе не найти такой земли. Эту землю колхоз отберет.

— Вот еще! Да что же это?— неожиданно вступилась Фроська, давно отчаянно ерзавшая на подоконнике.— Да из этой земли мы с мамашей все пеньки выкорчевали!

— А и всего-то там был один-разъединый пенек!— раздался сзади густой, утонувший в бороде бас Матвеича.

— И ничего не один! Вот еще! Мы своими руками все пеньки повыкорчевывали. Сколько трудов положили, сколько одного поту пролили!

— Кто вас просил проливать? И как вы эту землю заграбастали?

— Им эту землю Валкин, старый наш председатель, отдал за ее, за Фроськины, глазки.

— И не за «глазки» вовсе, а просто так. «Владей, говорит, Фрося, все равно земля зарастает. Расчисти, говорит, и владей на десять лет». Сколько я спину гнула, сколько одного навозу перевозила на этот косогор! А теперь его от меня отбирают. Да где же это справедливость?— разошлась Фроська. Ораторствуя, она не забывала выставлять полусапожки и поглядывать на Андрея.— Где же это справедливость, товарищ секретарь райкома?— обратилась она прямо к Андрею, сделав обиженное лицо.— Где же это видано?

— А мы поступим по справедливости,— улыбнулся Андрей.— Чтобы ваши труды не пропали даром, я предлагаю передать эту землю вашей бригаде. И труды ваши останутся с вами.

— Да что ж это?.. Да как это бригаде? Да это мне ни к чему!— растерялась Фроська.

— Переходи к главному,— шепнул Андрей Василию.

Одновременно откуда-то сзади прогудел бас Матвеича:

— Хватит по пустякам разговаривать. Тут разговор должен быть не о косогоре, а о больших делах.

— Правильно!— поддержали колхозники.

— Товарищи! — сказал Василий. — Я думаю, вам теперь всем ясен вопрос с участками. Никто их половинить не собирается, а что касаемо Блиновых и Конопатовых, то у них отбираем излишки согласно положению, и этот вопрос обсуждать нé к чему. Перейдем, товарищи, к существу дела. Кто желает высказаться по существу?

— Дайте мне слово! — сказал Матвеич.

Все сразу притихли. Матвеича уважали и любили. Он встал, огладил свою пышную, парадную бороду, степенный, сознающий, что его слова имеют в колхозе особый вес и значение. Он редко выступал на собраниях, но то, что секретарь райкома в своем докладе с похвалой и благодарностью назвал его имя, и взволновало Матвеича, и как бы возложило на него особую ответственность за будущее колхоза.

Пока говорила Любава и шли дебаты с Фроськой, Матвеич обдумывал свою речь.

— Товарищи колхозники! — начал он торжественно. — Как выступал перед нами уважаемый товарищ первый секретарь райкома Андрей Петрович, то я хочу выступить по поводу этого выступления со своим выступлением! — Сказав эту великолепную, с трудом и любовью приготовленную фразу, Матвеич застопорил и умолк. Помолчав с полминуты, он убедился в невозможности продолжать речь в том же высоком стиле. Покончил с этим стилем единым взмахом руки и заговорил взволнованно и негромко: — Когда захирел наш колхоз, уходило колхозное добро, как сквозь решето, думалось мне, товарищи: продам я свою Белянку, не пожалею ведерницу, куплю я билет на семьдесят пятый поезд и доеду я до Москвы, до самого ЦК. Не поехал я в Москву, а прислали мне письмо. Вот оно, это письмо! — Матвеич вынул из-за пазухи газету. — Вся дорога здесь размечена, каждый малый разъездик поименован, паровозы с вагонами у нас имеются — садись и поезжай! Вот слушал я доклад, смотрел на вас, товарищи, и думал: верно сказал Андрей Петрович, года не минует, как мы сами себя не узнаем. Председатель теперь у нас хороший. Денег подзаработали, ссуду на корма от государства получили, семена обменяли на добротные, нынче мы так весну встретим, как давно не встречали. И чтобы добиться того подъема, о котором говорил Андрей Петрович, одно нам надобно: надо, чтоб у каждого из нас сердце пуще, чем раньше, горело об своем колхозе! И еще скажу я: землю и инвентарь надо обязательно закрепить за бригадами, не то у нас что же получается? Приткнута у меня на конном сеялка, а чья она, чьей бригады — неведомо. Хорошо, я над ней надглядаю, а то вовсе пришла бы в негодность, и тоже насчет

земли, чтобы знали бригады свою землю, как мать свое дитя знает.

Когда Матвеич кончил, ему усердно хлопали. Долго и бурно обсуждался состав бригад.

— Разрешите мне слово,— сказал Алексей.

Он сбросил полушубок и стоял в своем новом синем костюме такой яркоглазый, кудрявый, что все невольно залюбовались им. Фроська на миг забыла о своем решении покорить Андрея и нацелила носки полусапожек на Алексея.

— Алешенька-то какой хороший нынче! Аж сердце не терпит! — шепнула она Татьяне. Она никак не думала, что он будет говорить о ней.

— Со всеми предложениями, которые здесь высказывались, мы, молодежная бригада, согласны,— сказал Алексей.— Просим мы, молодежная бригада, у всего собрания закрепить за нами семенной участок. Обязуемся перед всем собранием семена для этого участка своими руками отобрать по зернышку, согласно абсолютному весу. Обязуемся мы исследовать нашу почву и удобрять ее согласно рецептуре, составленной на основании анализа. Обязуемся еще лучше организовать агроучебу и выполнять все указания науки, но есть у нас одно возражение правлению относительно нового состава бригад.— Тут Алеша устремил на Фроську беспощадные глаза и поразил ее в самое сердце.— С тем составом бригад, который предлагает правление, я согласен, но правление предлагает, чтобы звеньевой у меня была, как и в прошлом году, Евфросинья Блинова. Я возражаю против этого предложения. Я со своей бригадой и один справлюсь. Такие звеньевые, как Евфросинья, мне не помощь, а помеха.

— А чем я тебе не угодила работать?! — вскипела удивленная Фроська.— Как мы на севе работали, ты сам нас нахваливал!

— Сев ты работала, а на уборке по базарам гоняла.

— Базары тут безо всякой относительности!

— Ты один день горы двигаешь, а два дня тебя самое надо двигать. Это, товарищи, не работа, и я, как бригадир, говорю: мне такие звеньевые ни к чему.

— Вот еще! С какой это стати меня снимать со звеньевых безо всякого предупреждения! — гневалась Фроська.

Ей не везло в этот вечер, неприятности сыпались на ее голову, но она не унывала и не сдавалась.

— Ты мне замечания давал? Не давал! Ты мне выговор записывал? Не записывал! Если ты бригадир, ты мне дай

замечание, потом выговор, а уж если не подействует — тогда твое полное право меня менять.

— Товарищи, я как бригадир комсомольско-молодежной бригады...— начал Алексей, но Фроська не дала ему договорить.

— Если ты комсомольский секретарь, то ты должен иметь ко мне индивидуальный подход. Ты должен меня не пихать туда-сюда, а воспитывать! Воспитывай меня! Вота! — потребовала она, заложив ногу на ногу, и окинула всех присутствующих победным взглядом.

Все засмеялись. Один Алексей сохранил непоколебимую серьезность.

— И воспитал бы я тебя, если бы ты меня слушалась! — серьезно и с полным убеждением сказал он.

— Ладно уж, буду тебя слушаться! — снисходительно согласилась Фроська.

— Не надо мне твоего «ладно уж». Ты делом обещайся и при всем собрании.

— Вот еще, нашелся какой придирщик! Сказала: даю слово,— а раз уж я сказала, то не отступлюсь.

— Хоть Алеша и говорит, что один с бригадой справится,— сказал Василий,— однако я думаю, что отменять привычный порядок нам не время. Дадим Евфросинье год срока, посмотрим, что получится.

Обсудили состав бригад, закрепили за бригадами участки и вынесли подробное решение. У всех было чувство праздничного подъема, и не хотелось нарушать это чувство. Уже смеркалось, Алеша зажег электричество. На гидростанции ставили второй генератор, перестройка была в самом разгаре, и напряжение все время менялось. Электрический свет то меркна мгновение, погружая всех в красноватый полусвет, то разгорался до белого праздничного сияния, и тогда все лица делались так же светлы и праздничны.

Следующим на повестке дня стоял вопрос о Конопатовых.

— Перенести этот разговор на другое собрание,— сказала Татьяна.— Нынче у всех думка о будущем нашем, а не о Конопатовых! Неохота о них говорить — настроение портить.

— Правильно! — раздалось несколько голосов.

— Нынче об Конопатовых говорить — все равно что в праздник грязное белье стирать! — поддержала Татьяну Любава.

— Без стирки нам нынче не обойтись! — возразил Буянов.— Дай мне слово, Василий Кузьмич! Я вам со всей категоричностью возражаю, товарищи,— этому вопросу сейчас самое время. Что за праздник в доме, если по

углам мусор не убран? И еще скажу: кто собирается в большую дорогу, всякое лишнее старье скидывает с плеч. Нам сейчас самая пора разобраться, убрать этот мусор начисто.

— Семья Конопатовых всем нам известная,— начал свое выступление Василий.— Еще до войны мучились мы с этой семейкой. Разберем всю эту семейку по очереди. Куда мы только не ставили старика Конопатова! И в пастухах он у нас ходил, и сторожем был, и на складе работал. И везде ему «несподручно». На пасеку поставили — чего бы легче? И там не схотел работать. Сынок его — всем нам известный Павка Конопатов — пошел по отцу. Куда мы его ни ставили, везде получается одна канитель. А последние три месяца, с тех пор как он определился в кротоловы, он и вовсе отказывается работать, на вызовы не приходит и на собрание нынче тоже не пошел, отговаривается болезнью. Теперь посмотрим на жену его Полюху. За прошлый год она заработала шестьдесят трудодней, а в этом году и того нет. Правление колхоза вызывало Конопатовых, но они на правление не явились, а посыльному дали ответ, что, мол, мы в колхозе не нуждаемся. Правление колхоза постановило их из колхоза исключить.

— Не имеете вы законного права исключать, если у Павки выработан минимум трудодней! А на правление он не являлся по причине грыжи.

— Ваше слово впереди, гражданка Конопатова. Это свое решение правление выносит на ваше обсуждение, товарищи. А что касается прав, то имеем мы права на исключение лодырей и злостных дезорганизаторов колхоза.

— А и куда же мы денемся, по-вашему?!

— Куда хотите,— жестко ответил Василий.— Кто желает высказаться, товарищи?

Колхозники молчали. Конопатовых не любили, но все же они были «свояки», люди, с которыми прожили бок о бок всю жизнь.

— Это как же так?— заговорила Полюха, ободренная общим молчанием.— Всю жизнь здесь жили, сколько лет в колхозе состояли, а теперь ступай, значит, куда глаза глядят? Тебя вон нонче по весне не было в колхозе, а кто близ Козьей поляны сеял? Наш старик сеял! Старик немощный, полное его право не работать, а он добровольно выходил сеять, от своей сознательности.

— Правильно! Это было!

— Сеял старик!

— То-то вот! Сеял! Этаки-то порядки заводит наш новый председатель,— перешла Полюха от обороны к

наступлению.— Да я при Андрее Петровиче скажу: этак весь колхоз разогнать можно.— Полюха сделала сладкое лицо, словно хотела сказать Андрею: «Мы с вами двое тут образованные и понимающие друг друга люди».

Слово взял Матвеич.

— Я так полагаю, товарищи колхозники, что исключать покамест не следует, а дадим мы Конопатовым последнее предупреждение. Как-никак люди здесь родились, здесь весь век прожили. Жалко людей, конечно. Тем более, это верно, несмотря на свою немощь, выходил старик Конопатов по весне сеять. Проявил полную сознательность.

— А я вот скажу, какую он проявил сознательность!— с неожиданной горячностью и непривычным гневом вступилась обыкновенно молчавшая на собраниях Василиса.— В ноги себе заставил поклониться, бессовестный старик! Весной видим мы с Танюшкой, что земля пересыхает. Срок уходит, солнце горячит, а у нас в бригаде полполя не сеяно. Сердце обрывается глядеть! И сеять некому! Павка со своей грыжей в Угрень уехал. Он все эдак угадывает. Как сев либо уборка, так он в Угрень грыжу везет. Пошла Танюшка к старику Конопатову: иди, мол, сеять. Нейдет! «Не могу, говорит. Больной, говорит, ноги не ступают!» Раз она к нему сходила, два сходила — не поддается! А сам целые дни за лыком ходит. Это он может! На это у него болезни нету! В третий раз сходила к нему Танюшка — опять нейдет. Тогда я скрепила сердце и пошла ему, аспиду безжалостному, в ноги кланяться. Положила я ему земной поклон. Поклонилась я ему чин по чину до самого полу да и говорю: «Сделай милость, поди сеять! Беда пришла! Земля, родима матушка, не сеяна пропадает! Колхоза тебе не жалко, так хоть землю пожалей!» Ну, тут, правда, он осовестился, пошел, сеял до вечера. Так разве это сознательность, чтобы людей заставлять в ноги кланяться?

Взволнованная и сердитая, Василиса села на место.

— Так, значит, вы поддерживаете предложение об исключении Конопатовых из колхоза?— спросил ее Василий.

— Этого я не определяю,— сразу смякла Василиса.— Я только к тому говорю, что сознательности в них нет ни на ломану полушку. А так-то, конечно, жалко людей. Пускай их живут,— закончила она вполне миролюбиво.

Опасности в Конопатовых она не видела. Сравнивая свою прежнюю жизнь с теперешней, она хорошо сознавала, что она, одинокая старуха, менее беспомощна и одинока, чем в молодости. Внуки ее были учителями, агрономами. Было у нее что подать на стол, что надеть на

себя, а главное — сама она была нужным и важным в колхозе человеком. Она считала свое счастье незыблемым, и никакие Павки Конопатовы не страшили ее. От этого бесстрашия, уверенности в своем завтрашнем дне и природной незлобивости шло ее миролюбие и добродушное отношение к Конопатовым.

— Жалко! Детные ведь! — вздохнула она напоследок.

— Жалко! Детные! — с сердцем сказала Любава.— И как у тебя язык поворачивается, Василиса? Через таких, как они, колхоз рушится. Тебе их жалко, а меня ихние насмешки насквозь прожгли.

В последнем письме муж писал Любаве: «Иду я в бой за Родину и за наш любимый Первомайский колхоз». Любава никогда не забывала этих слов, и сердце ее закипало при каждой обиде, нанесенной колхозу. Она никому не говорила об этом, но именно поэтому столько гнева и жара было в ее словах.

— Мне ихние насмешки слушать — ровно крутым кипятком плеснуть на сердце! Осенью мы жнем, а Полюха в новых туфлях мимо гуляет да насмешки строит. Мы ее спрашиваем: «Почему ты не работаешь?» А она в ответ: «Вас, дур, и без меня хватит!» Доколе она будет насмехаться над нами? — Любава встала во весь рост, на желтоватых ее щеках играл недобрый, быстрый румянец.— Доколе ей плевать на колхоз, на судьбу нашу, на долю нашу? Доколе ей чернить то, за что мужья и сыны наши сложили головы? Доколе ей бередить мое сердце? Тебе Конопатовых жалко, Василиса, а для моих пятерых сирот у тебя жалости нет? Гнать этих Конопатовых! Чтобы духу ихнего здесь не было! Довольно им издеваться над нами! Вот и весь мой сказ.

После слов Любавы сразу поколебалось настроение всего собрания.

— Да ведь мы плохо работали, когда весь колхоз плохо работал,— сказала Полюха уже без прежней самоуверенности,— колхоз поднимется — и мы работать станем.

— Вот оно что! — взорвался Василий, забыв о своих председательских функциях.— Чужими руками хотите жар загребать? Мы будем дом строить, а вы туда жить приедете на готовенькое? Не выйдет так, Полюха Конопатова!

Андрей внимательно вглядывался в лица людей. Круглое лицо Алеши стало жестче, взрослее.

О чем-то взволнованно шептались, очевидно спорили, девушки на второй скамье.

Вздыхала и качала головой Василиса. Полюха утратила заносчивость, но все еще храбрилась, рассчитывая на доброту и жалостливость односельчан.

«Изменится она или нет после этого собрания? — думал Андрей.— Мало я ее знаю, но ясно одно: оставить ее можно только в том случае, если с ее прежним отношением к колхозу будет покончено».

Он встал:

— Пелагея Конопатова, вы и ваш муж работали в колхозе мало-помалу, когда колхоз был богатым, но как только наступили трудные дни, вы плюнули на колхоз. А нужны ли вы сами колхозу? Что сделали вы здесь за многие годы? Вы не только отстранились от работы: вы позволяете себе насмехаться над лучшими колхозниками. Вы, Василиса Михайловна, и вы, Петр Матвеевич, «жалеете» Конопатовых? Вот я и хочу поговорить с вами о жалости... Что такое жалость? И не права ли была Любава, когда говорила, что, жалея Конопатовых, вы тем самым проявляете безжалостность и беспощадность к ней самой и к ее детям, потому что такие, как Конопатовы, тащат колхоз вниз и мешают жить таким, как Любава, и вам самим. И когда вам жалко кого-нибудь, то я советую вам вспомнить, что, жалея лентяя, бьешь трудолюбивого, жалея труса, бьешь отважного, жалея вора, бьешь честного.

Не жалеть надо, а подумать, смогут ли Конопатовы работой загладить свою вину перед колхозом,— закончил Андрей.

Тогда поднялась Полюха. Она поняла, что дело ее плохо. Она еще не совсем ясно представляла себе, как это случается, когда люди выбрасывают из своего круга существо вредное и опасное, но предчувствовала, что катастрофа грозит немалая. Страх перед надвигающейся бедой овладел Полюхой, и она заплакала.

— Что же вы, товарищи колхозники... Как же так? В трудные годы вместе, а теперь, когда пошел колхоз на подъем,— нас выгонять?! Да где же в Советской стране есть такие законы? Ни тебе предупреждения, ни выговора, ни тебе серьезного разговора... Я на этой улице родилась, я на этой улице жизнь прожила... Как же это?.. Я, конечно, виновата... По несознательности все это... Прошу я вас слезно, дайте вы нам выговор, дайте предупреждение, а мы себя оправдаем. Кланяюсь я всему собранию и даю слово за себя и за своего мужа — работать вперед по всей своей колхозной сознательности.

— Дать им строгий выговор и последнее предупреждение,— сказал Матвеич.— А там, если слова своего не сдержат, пусть на себя пеняют.

С его предложением согласились все.

Пришло время перейти к последнему, самому тяжелому для Василия вопросу.

Он, словно забывшись, в непонятном для окружающих оцепенении, сидел на своем председательском месте. Над низко склоненным лбом смоляной гривой нависла тяжелая прядь волос. Мрачноватое лицо скрывалось за ней, и тем сильней бросались в глаза его руки. Темные, тяжелые, как жернова, с широкими, сплющенными большими пальцами, с твердыми, светлыми, светлее рук, ногтями, они искали на столе, за что бы им ухватиться, не нашли ничего подходящего и стали мять белый листок, на котором была написана повестка дня.

Странно было видеть, как неуклюже и старательно эти огромные ладони мнут маленький дрожащий листок, как он не поддается им и, помятый с краю, остается гладким посредине.

Колхозники смотрели на председателя, ожидая, а он не замечал десятков устремленных на него взглядов, погруженный в задумчивость. Андрея удивил этот непонятный «уход в себя» на глазах у всего собрания.

— Что же ты медлишь?—тихо спросил он.

Почти одновременно раздался удивленный возглас Василисы:

— Василь Кузьмич, иль тебя в сон сморило?

Василий встрепенулся. Сизо-черная прядь взлетела надо лбом. Руки сжались так, что еще сильнее посветлели ногти.

— Товарищи, последним вопросом на повестке дня стоит освобождение Кузьмы Васильевича Бортникова от работы на мельнице. Вопрос выплыл срочно, потому что Кузьма Васильевич подал заявление и просит срочно разрешить вопрос на собрании.

— Вот те и раз!

— Это по какой же причине?

— Это почему же?

— Согласно поданного им заявления...—глухо сказал Василий.

— А по какой же причине подано заявление?

— Чего это ты надумал, Кузьма Васильевич?

— Что прописано в заявлении? Почему отказывается?

— Согласно плохого состояния здоровья...—еще глуше прозвучали слова Василия.

— Да что с ним попритчилось?

— Какая хвороба напала?

— Так что годы его и здоровье вообще...—Василий мучительно мял в руках бумажку.

— Пускай сам расскажет!

Все учуяли неладное и смотрели то на отца, то на сына. Старик сидел сгорбившись, весь темный, с ярким сиянием седины над смуглым лицом. Глубокие морщины

пересекали его словно выжженное и обуглившееся лицо. Колхозники привыкли видеть Кузьму Бортникова статным, величественным, с особым выражением важной благожелательности в черных глазах, и теперь всех поразило его внезапное одряхление. Дряхлость ощущалась не в согнутой спине и не в глубоких морщинах, а в беспомощном, страдальческом, неспокойном выражении лица. Такое выражение бывает у больных, когда и боль, и страдание, и брезгливость к самому себе, и беспомощность смешиваются в одно непереносимое, угнетающее чувство.

Это беспомощное лицо старика особенно бросалось в глаза рядом с гневным, горящим лицом Степаниды, не спускавшей с Василия пронзительных и ненавидящих глаз. Василий не смотрел ни на кого.

«Что-то есть между ними»,— невольно подумали многие. Стало тихо.

Одна Фроська ничего не почувствовала, подпрыгнула на подоконнике и голосом, неприятно звонким в тишине, крикнула:

— Кузьма Васильевич, иль тебе на мельнице блины с пирогами надоели? Ты меня позови, я до них охотница!

— Кши ты, сорока на заборе!—одернул ее Матвеич.

— Тут дело серьезное. Кузьма Васильевич, просим рассказать, какая такая причина твоего ухода.

— В заявлении все указано...

— Ты что же, вовсе переходишь на больничное положение?

— Вовсе отказываешься работать?

— Нет.

— Так как же так? Какую же тебе работу легче мельниковой?

— Сиди себе да слушай, как вода шумит,— вступилась Василиса,— мешки ворочать — у тебя помощник есть. Ты колхозу как специалист надобен.

— Таких мельников, как Кузьма Васильевич, по всему району поискать!— елейно пропела Ксенофонтовна.— Василий Кузьмич, что ж ты не уговоришь отца порадеть для колхоза?

Отец и сын не смотрели друг на друга. Что-то неуловимое, трагичное было в их лицах, одинаково смуглых, с одинаковыми черными надломленными бровями. В комнате стало очень тихо.

— Прошу меня освободить...— глухо повторил старик.

Его горький вид встревожил колхозников:

— Да что же это такое?

— Уж не обиделся ли ты ненароком?

— Не сказал ли тебе кто пустого слова?

— Уж не по оговору ли решил уйти?

Старик поднял глаза.

— Батюшка, Кузьма Васильевич,— взволнованно и жалостливо заговорила Василиса,— что ж всякого пустого слова слушаешь? Да кто тебе причинил этакую обиду?

Старик молчал, и колхозники поняли, что нащупали истинную причину его отказа.

Сразу зашумели, заговорили:

— Собака лает — ветер носит!

— Мы тебя не первый год знаем!

Старик встал. Взгляд его был мучительно тосклив, беспокоен. Руки старчески дрожали, вздрагивали ресницы, подергивались губы, щеки. Все лицо его как-то дряхло, старчески трепетало. Он ловил губами воздух.

— Прошу меня освободить... Так что я...— Он сглотнул, хотел что-то сказать, но Степанида дернула его за рукав и почти силой усадила на место.

Василий теперь поднял глаза и, не отрываясь, смотрел на отца, забыв о себе, о колхозниках, о том, что он должен вести собрание.

— Что ж ты не руководишь собранием?— тихо сказал ему Андрей.— У тебя все самотеком идет.

Андрей чувствовал какую-то тайную подоплеку происходящего, но не мог уловить, в чем дело.

Василий взял себя в руки:

— К порядку, товарищи! Кто хочет высказаться?

— Прошу слова!— встал Пимен Яснев.

Невысокий, очень стройный, он был по-молодому легок, сдержан в каждом движении. У него было тонкое, строгое лицо с постоянным выражением напряженной внутренней жизни. Во время войны он прославился тем, что отдал в фонд обороны все свои сбережения — тридцать тысяч.

Его, одного из лучших работников и одного из самых надежных людей колхоза, слушали с особым вниманием.

— Товарищи,— начал он по обыкновению очень тихо.— Кузьма Васильевич своими руками отремонтировал всю мельницу. С тех пор как он стал мельником, мельница наша начала работать без поломок и с доходом. Это все нам известно. Второго такого специалиста нет в колхозе. А что касаемо оговоров, то на чужой роток не накинешь платок. Мы с Кузьмой Васильевичем на одной улице прожили с пеленок до седых волос. Мы его знаем. Нет у нас в колхозе такого человека, чтоб не увидел от него добра и помощи. Опять же на мельнице надо не только специалиста, но и твердого человека, чтоб не соблазниться на легкую наживу. Всем колхозом просим мы тебя, Кузьма Васильевич, не бросай работу.

Слово взял Тоша Бузыкин. Он сдвинул фетровую шляпу на затылок, засунул руки в карманы.

— Товарищи!—говорил он.—Колхоз наш идет на подъем, и каждый человек должен быть на своем месте. Еще нам, как и всему государству, предстоят трудности, и послабления делать нечего! Товарищи, я полагаю, как идет наше внутреннее и международное положение (при этих словах Тоша покосился на Андрея: и мы, мол, не лыком шиты), как идет наше международное положение, то хорошими мельниками кидаться нельзя! Предлагаю заявление Бортникова оставить без последствий!

Ему захлопали.

— Вопрос ясен!

— Голосуй, председатель!

— Чего там! Не принимать отказа!

— Голосуй, Василь Кузьмич, да кончай собрание. Который час сидим! Пора домой.

И снова встал старик Бортников и снова повторил:

— Прошу меня освободить...

— Да почему?

— Из-за чего, чудак человек?

— Назови свою причину.

— Так что... мне не доверяют. Прошу освободить...

— Доверяем мы тебе.

— Голосуй, председатель! Чего говорить!

— Доверяет тебе колхоз.

— Кто тебе не доверяет?

— Я не доверяю...—Смятая бумажка вмиг потонула в кулаке Василия и тут же выпала, и обессиленные ладони неуклюже упали на дощатый стол.

Снова стало тихо.

Фроська как раскрыла рот для очередного выкрика, так и позабыла закрыть.

«Так вот оно что!—думал Андрей.—Вот почему он мучился».

Василий и жалел отца, и понимал, что поступить иначе не может и не смеет. Он не рад был жизни в эту минуту. Правая рука его ухватилась за ручку, переломила ее и сжала так, что перо впилось в испачканную чернилами заскорузлую ладонь.

Андрей взял обломок из его рук.

— Почему не доверяешь отцу? Говори, что знаешь!—потребовала Любава.

— Бей уж, коли замахнулся!—истерически выкрикнула Степанида.

Она высоко вскинула голову, щеки ее рдели, взгляд бил в лицо Василию ненавистью, на побледневшем лбу

выступили четкие дуги бровей. Встретившись с опасностью, она, как всегда, пошла на нее грудью.

И еще заметнее на глазах у всех одряхлел и ослаб старик. Не было в нем ни гнева, ни ненависти, ни страха. Беспомощными и слезящимися глазами ребенка он смотрел на сына, словно, наперекор событиям, только в нем искал спасения. Стыд мучил его. Люди все вместе шли вперед. Как же случилось, что именно он, всеми уважаемый Кузьма Бортников, превратился в камень на их дороге?

Андрей тихо сказал Василию:

— Расскажи собранию, в чем дело, Василий Кузьмич.

Василий встал.

— Я скажу...— передохнул он.— Я сейчас скажу... На той неделе привозили молоть гречку для детского дома... А через несколько дней у бати угощали меня гречишниками... А гречки у него до этого не было... и купить ее тоже негде.

Василий стоял на виду у всех, искал еще слов, но не находил и не догадывался сесть. Не было в комнате ни одного лица спокойного или равнодушного. Даже лицо Ксенофонтовны утратило свое обычное мелочное и хитрое выражение. Сползли, как маска, подозрительный прищур, елейная улыбка. Обнажилось лицо человеческое, горько взволнованное.

В нерушимой тишине поднялся с места Кузьма Бортников. Среди всех присутствующих возвышались теперь отец и сын. Стояли они на глазах у всех, лицом к лицу, друг против друга: один — на председательском месте, другой — у задней скамейки.

— Виноват я перед вами... Была эта гречка в моем доме... Судите... К чему присудите, то и приму...

Тогда, отодвигая старика плечом, поднялась во весь рост Степанида.

— «Была в моем доме эта гречка»! — гневно повторила она слова старика.— Да что ты, Кузьма Васильевич, говоришь? Что ты сам себя оговариваешь, неразумная твоя голова! Не слушайте вы его, товарищи колхозники! Он сам себя оговаривает, как дите малое, по своей по неразумной совестливости. Тот грех на себя принимает, в котором неповинен. Я в том повинна, но и я за собой большого греха не знаю, и как было, обо всем расскажу вам, и свидетели каждое слово мое подтвердят.— Она перевела дух и продолжала уверенно и твердо: — А и дело-то было такое, что выеденного яйца не стоит. Как выносили эту гречку с мельницы, то развязался мешок и просыпалось малость на землю. А там и сор и гусиный помет, сами знаете, к мельнице со всего села гуси ходят.

Хотела я эту гречку просыпанную подобрать, да возчик детдомовский говорит: «Что ты, матушка, разве будем мы детишкам скармливать такую гречку — с сором да с пометом? Это, говорит, для них вредно». Сказал так да и уехал. А что это так было — тому свидетели возчик детдомовский да Пимен Иванович Яснев. При нем было дело!

— Верно, было, подтверждаю! — радостно сказал Яснев.

Он тут же припомнил случай с просыпанной гречкой. Правда, просыпалось очень мало, просыпанного не могло хватить и на десять гречишников, но Ясневу так тяжело было смотреть на позор старика Бортникова и так хотелось верить в чистоту и незапятнанность человека, с давних пор уважаемого и близкого, что горстка просыпанной гречки в его памяти сама по себе разрасталась.

«Может, ее и больше было,— думал он.— Я ж ведь не мерил! А что просыпали — это верно, это я видел». И он еще раз во всеуслышание с радостью подтвердил:

— Это верно! Это я хоть под присягой скажу. Все верно говорит Степанида Ильинична!

— Ну вот,— продолжала Степанида.— А когда возчик уехал, я эту гречку подмела, да просеяла, да кипятком обварила, да вместе с ржаной мукой замесила на гречишники. Вот и весь мой грех. Судите, коли есть за что судить!

— Господи! — раздался звенящий и жалостливый голос Василисы.— Да что ж тебя судить за пару гречишников? Да что мы, не люди! Сусеки обмести, из мешков пыль вытряхнуть — вот тебе и гречишники!

Опять раздались голоса:

— Бог с тобой, Кузьма Васильевич!

— Чего уж там!

Крепко было уважение людей к Кузьме Бортникову.

Слово взял Матвеич. Он был взволнован, как и все присутствующие. Он и жалел Василия и Кузьму, и одновременно осуждал их обоих — Василия за беспощадность к отцу, а Кузьму за то, что верх над ним брала Степанида. В нем, как и во всех других, сцена, прошедшая перед его глазами, разбудила свои мысли, еще не ясные, но волнующие, и тяжелые, и радостные одновременно.

— Товарищи, мы все знаем Кузьму Васильевича как человека справедливого и хозяйственного. Кто нам пустил в ход мельницу? Он. Кто допрежь этого безотказно шел на любую работу? Опять же он. Если они смели́ полкило просыпанной гречки, так у другого мельника не то что полкило — десять кило по одному полу рассорится. На хорошую дорогу выходит наш колхоз. Как же нам без старика Васильича? В трудные дни он работал с нами рук

не покладая. Предлагаю Васильича в мельниках оставить и доверия нашего с него не снимать.

Один за другим выступали колхозники в защиту Бортникова. Сидя на задней скамье, не скрывая слез, выступивших на глазах, старик слушал говоривших о нем так, словно дело шло о его жизни и смерти. Он и сам хорошенько не знал, правду или неправду сказала Степанида.

Степанида часто приходила на мельницу — «убраться».

Она мыла полы, перетряхивала мешки, наводила идеальный порядок, а потом в доме нежданно появлялись ячменники и гречишники.

— Откуда? — спрашивал Кузьма.

Она сурово поджимала губы, смотрела ему прямо в глаза и отвечала:

— На базаре купила.

Где-то в глубине души он подозревал неладное, но старался не задумываться над этим — так хорошо, так тихо, уютно и спокойно жилось ему около Степаниды.

Она и в молодости им верховодила, а в старости он совсем впал в зависимость от нее. Душой он одряхлел раньше, чем телом. Он еще легко ходил и стройно держался, но уже была в нем старческая тяга к теплу, покою, старческая робость перед женой и подчинение ей, которое они оба хорошо маскировали внешним проявлением его власти в семье. Вся жизнь его прошла гладко и однообразно. Он работал, слушался Степаниду, был счастлив в семье достатком, общим уважением и не задумывался о том, откуда и как пришло ему это счастье.

В этот вечер он испытал первое потрясение, первый жгучий позор, понял, что не дороги ему ни шифоньеры, ни диваны. Оттолкнулся от жены и всем своим сердцем, дряхлым и детским, потянулся к сыну. У него не было досады на сына. Он уважал его сильнее, чем прежде, и по-отцовски горько тосковал о его сыновней близости.

С каждым новым выступлением колхозников Василию становилось все тяжелее. Несмотря на слова Яснева, он не поверил Степаниде. Он чувствовал, что рассказ ее — ловкая увертка, но доказать ничего не мог.

«Запутала отца, хитрая баба! — думал он. — Запутала, а сама выскользнула, ужом вывернулась из рук. Знаю я это, а доказать мне нечем. Высказать все свои сомнения перед собранием? Да ведь что скажешь? Нельзя человека вором обозвать без доказательств, без фактов. И батю жалко. Ох, как жалко батю!»

Он крошил на столе все, что попадалось ему под руку. Он ухитрился отломить дужку у своего любимого колокольчика и превратил в щепы все ручки и карандаши.

Он не слушал того, что говорили колхозники. Он видел, как согнулся отец, и не мог оторвать взгляда от его подергивающихся губ, от сухих добрых рук, которые так часто и так нежно опускались на мальчишескую голову Василия, а теперь беспомощно висели.

«Пускай будет как будет!.. После этого собрания Степанида соринки не вынесет с мельницы. Она теперь поутихнет».

Андрей осторожно, как у лунатика, взял из его рук чернильницу и поставил на противоположный конец стола.

Василий, беспомощный и ослабевший, спросил у него:

— Что ты скажешь? Что совесть твоя посоветует нам, Петрович?

Трудно было Андрею разобраться во всем происшедшем. И он не до конца поверил Степаниде, но видел, с какой любовью и уважением относятся к старику Бортникову односельчане, видел, как потрясен и как тяжко переживает свой позор старик.

«Если бы воровство было доказано, тогда бы другое дело,— думал он.— Но сейчас ни один суд не осудит: доказательств нет. И нельзя назвать человека вором на основании одних подозрений. Да и не вор он, этот старик, по всему видно, что не вор! Если и виновен в чем-нибудь, так в слабости, в слепоте... Он так потрясен, что до смерти не забудет сегодняшнего собрания. Правильно идет собрание, правильно люди решают вопрос!»

Так думал Андрей и поэтому молчал во время обсуждения и поэтому на прямой вопрос Василия ответил:

— Я Кузьму Васильевича знаю меньше, чем колхозники, и советчиком в этом деле быть не возьмусь. Решайте, как найдете нужным, товарищи, вам виднее! Если же вас интересует моя мысль по этому поводу, то я могу высказать. Думаю я, что Кузьма Васильевич прожил на глазах у всех долгую, трудовую, достойную уважения жизнь, и не будет он на старости лет позорить эту жизнь! Думаю я, товарищи, что честь Кузьме Васильевичу дороже пары гречишников. Думаю, что надо оставить Бортникова на мельнице, а во избежание толков и недоразумений всем посторонним, а в том числе и жене его, вход на мельницу строго-настрого воспретить.

— Да я и к порогу близко не подойду!— вскинула голову Степанида.

— Голосуй же, Василий Кузьмич!

Единогласно постановили оставить Бортникова на мельнице.

После собрания Василий и Андрей вышли вместе. Когда они уже подошли к дому, Василий остановился.

— Погоди всходить, Петрович... Я тебе что должен сказать...

Звездная ночь была тиха и безлюдна. Где-то проскрипели шаги, стукнула калитка. И снова все стихло. Молчал и Василий.

— Слушаю тебя, Василий Кузьмич.

Андрей всматривался в его лицо, полускрытое темнотой, перерезанное черной широкой полосой бровей.

— Вот я относительно чего... Не поверил я мачехе... Чистотка она, брезгуля, не станет она стряпать из гречихи, смешанной с гусиным пометом. Да и не в том дело... Нету у меня доверия к ним... Не к отцу — отец в стороне... К ней... Недаром она частила на мельницу то убраться, то мешки зашить.

— Факты у тебя есть?

— Если бы были, разве бы я так разговаривал?.. Фактов нет, а вот сосет меня что-то и не отпускает...

— Старик-то честный, говоришь?

— Не корыстный старик. Труженик старик, скорее себе руки обрубит, чем чужое возьмет. Сам так жил и нас тому учил.

— Работник ценный для колхоза?

— Как бы все такие-то были! Сам слышал, как о нем колхозники говорили!

— Значит, вся вина его в слабости, в близорукости... А как ты думаешь, дальше он лучше или хуже будет работать?

— Горы ворочать будет... Я его знаю!

— А как с мачехой?

— И близко к мельнице не подойдет. Он ее не подпустит. Он мягок, пока до крайности не дойдет. А как дойдет — железо! Не будет больше этого в ихнем доме.

Скрипнула дверь, и Авдотья в накинутом на плечи полушубке показалась на крыльце.

— Что же вы стоите? Слышу, будто говорят... Думаю, что нейдут?..

Обида звучала в ее голосе. К ней успела забежать Танюшка и рассказала о собрании. То, что Василий ни словом не обмолвился при ней о деле, тяжелом для него и касавшемся их семьи, оскорбило Авдотью. То, что муж и секретарь райкома стояли у крыльца, словно боясь войти, боясь, что она услышит какие-то их важные для нее и для колхоза разговоры, оскорбило ее еще больше. Она пропустила их в дом, а сама прошла посмотреть, хорошо ли заперты свиньи в свинарнике. Скрипела под ногами узкая тропка, пересекавшая двор. Авдотья шла медленно.

«Таят от меня свои разговоры. Мешаю я им. До чего домолчались мы с Васей — хуже чужих стали. «Стали»...

А раньше разве лучше было? Еще когда женихались, песни он мои слушал, кисеты мои дареные носил, на колени мне голову клал, нагулявшись, а до меня до самой ему и дела не было. Как я живу, что у меня на душе, что на сердце,— это ему без интереса».

Она проверила запор, медленно поднялась по обледенелым ступенькам крыльца и задержалась у двери. Ей трудно было войти в дом.

11

«НЕУТОПНАЯ ВОЛНА»

На ферме еще горел свет, но было уже по-ночному тихо и пусто.

Веселые, блестящие дойницы, которые весь день наполняли ферму звоном, чирканьем молока о жесть, угомонились и сохли на теплой печурке, пустые и беззвучные, поставленные аккуратной горкой одна на другую кверху доньями.

Сторож Мефодьич устраивался на лежанке возле печи, а его помощница, большая кудлатая собака, дремала на пороге, закрыв глаза, но выставив торчком одно косматое ухо.

Авдотья, как всегда, оставалась дольше всех и на прощание обходила ферму. Она любила эти ночные обхóды.

Словно освобождаясь от дневной суеты и сутолоки, яснее выступало все сделанное за последнее время, как яснее выступают контуры нового дома, когда снимают строительные леса. Провели электричество, и ряды лампочек тянулись через всю ферму. Отремонтировали крышу и стены — и нет ни сквозняков, ни капелей, мучивших животных. Прорыли сточные канавы, и соломенная подстилка теперь не втаптывается в грязь, а лежит, сухая, пышная, золотистая.

Все это мелочи на взгляд постороннего, но для того, кто сам приложил к ним руки, каждая из них — радость.

Авдотье свойственны были органическая потребность в радости и умение задерживаться мыслями на хорошем, поэтому и шла она по ферме, улыбаясь самой себе и тому, что ее окружало. Постороннему показалось бы странным это зрелище: идет по ферме немолодая, усталая женщина в поношенном ватнике, идет одна-одинешенька, и непонятная улыбка лежит на ее сухих, обветренных губах. Авдотья шла и гасила за собой свет. Ее радовало легкое щелканье выключателей, радовало то, что по ее команде на ферме наступала ночь.

Она повернула последний выключатель. Сразу выступили синие окна, и отчетливее слышно стало дыхание и жвачка животных.

Все дела были уже переделаны, а она еще стояла в темноте у выхода, словно искала, что бы еще сделать и чему бы еще улыбнуться. Пора домой...

При мысли о доме она сразу сникла, постояла еще и, вместо того чтобы уйти, вошла в ближнее стойло, опустилась на скамеечку и прислонилась плечом и щекой к теплому коровьему боку.

За окном плыла большая луна. Сугробы волнами подкатывались к ферме. Авдотья смотрела на луну, на сугробы, а в уме билась все та же неотступная мысль: «Как мне поступить? Что же мне делать?»

Эта мысль целый день ютилась где-то в глубине мозга, но стоило погасить свет и остаться одной, как она овладевала умом и вытесняла остальные мысли.

«Бывают же такие бабы, что смеючись сходятся и расходятся с одним, с другим, с третьим. А я как припаялась к человеку, так только с мясом можно оторвать. Мне бы жить с одним до кончины, а как раз на меня угодила такая судьба. К Степе уйти? Так ведь и Вася родной мне. Как ни повернись — все с одним жить, другого в памяти держать. Бывают такие, которые играючи так умеют, а я-то разве сумею? Я вся тут, где ступила. На каком берегу моя правая нога, на том и левая. Что же мне делать? Одной бы мне жить!..»

Медленно катилась луна, один за другим гасли огни в окнах, а Авдотья все не находила в себе силы пойти домой...

Из Угреня прислали Авдотье именной вызов на двухнедельные курсы животноводов.

Василий был очень недоволен этим. Он беспокоился за детей, а главное — он слышал, что в городе будет съезд отличников лесозаготовок трех областей и что Степан будет на этом съезде.

Вдобавок ко всему, Прасковья никак не могла поправиться,— больше месяца она с распухшими ревматическими суставами лежала в постели.

— Ну куда Авдотье ехать? — сердито говорил Василий Валентине.— Дети малые, мать болеет, я тоже не деревянный. Тоже есть-пить хочу. Корове нашей время телиться, а она ехать затеяла!

— Прасковью Петровну и девочек мы с бабушкой Василисой возьмем к себе на попечение, у нас половина дома пустует. Корову и кур мы тоже заберем. К тебе приедет твоя бабка Агафья, она будет готовить.

Авдотья в спор не вступала, а молча сидела на кровати.

— Ну, шут с вами, пускай едет!

Вечером, когда Авдотья собиралась в дорогу, он взглянул на ее оживленное лицо, и раздражение снова охватило его: «Радуется, едет хвостом трепать!»

Если бы она сумела рассказать о пережитом ею, если бы он сумел понять и свои ошибки, и все то, что связало Авдотью и Степана, он все увидел бы в ином свете, но он не мог ни узнать, ни понять этого.

Радостное настроение жены перед отъездом было ему противно, потому что он объяснял это тайным желанием встретиться в городе со Степаном.

Гневно глядя на нее, он сказал:

— Чего новую кофту забираешь? Думаешь, как вырядишься, так и кинутся к тебе? Не видали там этаких...

Кофта выпала из ее рук.

— При детях! — только и смогла она произнести.

Девочки смотрели испуганно.

Хлопнув дверью, Василий ушел из дому.

«Пришла пора сказать,— думала Авдотья.— Надо кончать».

Решение созрело давно. Еще с того дня, когда Василий ушел на собрание, ни слова не сказав ей об истории с гречишниками, она поняла, как далеко зашло их взаимное отчуждение. Она не находила в себе сил бороться с этим отчуждением.

Когда он вернулся, Авдотья подошла и села рядом.

— К чему эта жизнь, Вася? — тихо сказала она.— Не только мы с тобой извелись, а и дети-то на себя не похожи стали.

— А кто виноват?

— Пусть я виновата, Вася... Не хотела я худого, хотела жить с тобой по-хорошему. Но вот вышло так... помню я об Степане. Ты винишь меня за это. Ты в тот день тушу баранью велел порубить пополам. Ты и любовь хотел так же, как баранью тушу... пополам... топором... Нельзя этого, Вася! Люди же ведь мы... Волка с волчихой разлучи — и то затоскуют. Я бы это в себе переборола, если б ты понял все, если бы ты помог мне добрым сердцем, ласковым словом. Я бы все смогла в себе пересилить! А так, Вася... Глядишь ты на меня, как на последнюю, виновную перед тобою. А чем я виновата? Не хотела я об нем думать, да сам ты меня навел на эти мысли. Так и вышло. Помню я о Степе. Не жена я тебе...

«Вот оно... Конец...» — подумал Василий. У него сразу пересохло во рту и в горле. С трудом ворочая языком, он спросил:

— К нему уйдешь?

— Нет. Не могу я к нему уйти... Ведь и ты мне не

чужой. С ним буду жить — за тебя сердце изболится. В одиночку нам надо пожить, Вася. Одуматься, оглядеться. Что дальше будет — не определяю. Может, еще и придут такие дни, что найдем друг для друга не такие слова... Может быть... по-новому... Этого я не знаю. Я только одно знаю: так, как мы живем, я дольше жить не могу. Одна я буду жить, Вася. Та болячка скорей заживет, которую ничто не бередит.

У Василия была одна особенность. Обычно горячий и невыдержанный, в тяжкие и решительные минуты он вдруг обретал железное спокойствие и полную ясность мысли. Так случилось и сейчас.

«Не жена... Любит она его... Любит... Нужна ли мне баба, которая по другому томится? Нет, нет! Нужна ли такая жена, которой нету веры? Нет! Дети? Что же, для детей немного радости в таких родителях, которые путным словом не обмолвятся. И ничего от них не скроешь — учуют».

Каким ясным и правильным казалось решение, принятое в трудный день возвращения... Все не так просто...

— Вася,— продолжала Авдотья,— сегодня я перевожу маму и детей к Вале. Оно и к разу. Там я и останусь.

Он сжал кулаки, нагнул голову. Полуприкрытые тяжелыми веками, блеснули болью глаза:

— Ну что ж...

...Рано утром, еще потемну, Авдотья выехала на Угрень. Розвальни скользили по укатанной дороге. Матвеич сонно покрикивал на лошадку. Мелькали черные перелески, темные островерхие елочки. Бежали в сторону телеграфные столбы. Авдотья лежала в розвальнях, в соломе, укрывшись тулупом. Ей было неприятно и тоскливо на этой занесенной снегом темной дороге.

Все ее мысли еще были прикованы к дому, и семейная неурядица камнем лежала на плечах.

«Катюшка с Дуняшкой веселились, переезжая к Василисе. Все им в новинку, все игра, не чуют беды. Вася один с Агафьей в пустой хате. Как он там? Ох, и что понаделалось с нашей жизнью! Невозможно мне было иначе. Как жить с мужем, если к нему закаменело сердце? А тяжесть-то, какая тяжесть... Каменная гора на сердце...»

К Угреню подъехали, когда рассвело. Авдотья простилась с Матвеичем и побежала в райисполком, где должна была получить командировочное удостоверение. В райисполкоме еще никого, кроме уборщицы, не было. Поезд уходил через полчаса.

Авдотья растерялась. Ехать без командировочного удостоверения нельзя, а дожидаться работников райиспол-

кома — значит не попасть на поезд и опоздать к открытию курсов.

Она то бродила по пустым коридорам исполкома, то выбегала на улицу. Она готова была заплакать от досады на себя: «Экая я нескладная. Послали меня, как хорошую, на курсы, а я по своей оплошности опаздываю...»

Придерживая рукой полушалок и беспокойно оглядываясь, она стояла у ворот райисполкома, когда из-за угла вышел Андрей. Авдотья хотела окликнуть секретаря, но оробела: «Что я сунусь к нему со своей оплохой? Ему, наверно, не до меня».

Андрей сам увидел ее и подошел к ней.

— Авдотья Тихоновна! Разве вы еще не уехали? Вы не опоздаете к началу занятий?

— Андрей Петрович,— сказала она жалобно,— поезд скоро отходит, а у меня командировочного нет, и в райисполкоме никого нету. Не придумаю, как и быть.

— Пойдемте со мной в райком. Я напишу командировку.

В райкоме Авдотья была впервые. Она осторожно села на стул у дверей приемной и молча сидела, пока Андрей и молоденькая черноглазая дежурная, которую Андрей звал Аней, оформляли для нее удостоверение.

Чистые, просторные и светлые комнаты, где не было ничего лишнего, подействовали на нее успокоительно. Радовали глаза расписанные веселым золотом угловые столики и деревянные бокальчики для карандашей.

Под покровительством Андрея и Ани она обрела уверенность и спокойно, терпеливо ждала, целиком вверившись им и положившись на них.

«Хороший он человек,— думала она об Андрее.— Открытым сердцем живет. Около него всякая ноша легче. Хорошо с ним. И Анечка хорошая, видно, девушка».

Андрей подал ей командировку.

— Ну, теперь бегите что есть духу. Аня проводит вас и поможет с билетом.

Когда Авдотья и Аня подбежали к вокзалу, поезд подходил к станции.

Аня пошла к дежурному по станции и через минуту вернулась, сунула Авдотье билет, помогла ей встать на высокую приступку уже двинувшегося вагона и приказала мужчине, стоявшему в тамбуре:

— Возьмите же у нее сумку! Что же вы стоите? Помогите же ей!

Поезд медленно двигался, а Аня шла рядом, держалась за поручни и говорила:

— Счастливо, желаю успехов! Учитесь отлично!

— Симпатичная какая барышня! Татарочка, что ли?—

сказал мужчина, который по Аниному приказанию принял и держал Авдотьину сумку.

Вокзал быстрее и быстрее уплывал назад, а Аня все еще бежала рядом, смеялась и махала пестрой, расшитой рукавичкой.

В последний раз мелькнуло и скрылось розовое лицо.

«Ну, в добрый час!» — сама себе сказала Авдотья.

Убегали назад издавна знакомые угренские домики, кланяясь снежными шапками. Навстречу мчался белый и голубой простор, и, как дыхание его, врывался в тамбур свежий и плотный воздух. Он выбивал из-под платка пряди волос, хлестал по ногам полами пальто, холодил и жег щеки.

Мимо мелькали леса и перелески; одни, мелькнув, исчезали, другие появлялись на их месте, чтобы так же мгновенно исчезнуть.

Перелески отходили все дальше, поля подступали к самому полотну, разрастались, становились все ровнее, поезд несся все быстрее, и мир, мчавшийся навстречу, с каждым мигом казался все шире и стремительнее. Авдотья стояла в тамбуре, забывшись, охваченная летящим со всех сторон простором.

— Гражданочка, поскольку вас сдали на мое попечение, пойдемте в мое купе! — Мужчина с Авдотьиной сумкой в руках двинулся в вагон. Авдотья пошла за ним.

В вагоне было тесно и жарко. Разноголосый, негромкий и ровный говор доверху наполнял его. В мерном рокоте слышались отдельные фразы и возгласы, и Авдотье казалось, что мчится не вагон, не поезд, не люди, а нераздельный поток несется вперед и шумит ровным, полным сдержанной силы шумом.

— Прошу потесниться! — сказал мужчина.— Еще пассажирочку привел.

— Милости просим! — Маленькая румяная старушка со слезящимися голубыми глазами подвинулась и дала Авдотье место.

Авдотья села.

— Эй, двери! Кто там раскрыл двери? — раскатистым басом крикнул Авдотьин спутник, легко перекрывая вагонную разноголосицу.

Он стоял прямо перед ней и откровенно рассматривал ее. Его широкая фигура в черном кожаном пальто заполняла узкий проход, руки были засунуты в карманы. Поза отличалась свободной уверенностью, а большое лицо сорокалетнего, очень здорового человека выражало добродушное и чуть насмешливое внимание. По всему видно было, что в вагоне он чувствует себя как дома, что поездки для него — дело привычное и любимое.

— Никак отдышаться не можете? В город едете?

— В город...

Она действительно все еще не могла отдышаться от бега по угренским улицам и опомниться от пережитых волнений.

— Добре, добре...

Свободно, словно шагая по ровному месту, он прошел по заставленному мешками и бидонами проходу и сел у окна.

За окном, вровень с поездом, летело утреннее красное солнце. Когда поезд шел луговинами, оно замедляло ход и плыло вслед за ним неторопливо и ровно; когда поезд входил в перелески, оно неслось, как птица, рябя и мелькая за вершинами.

Авдотье в течение многих лет не приходилось ездить по железной дороге, и теперь все было ей внове: и говор множества людей, и подрагивание вагона, и стремительное солнце за окном.

Сперва она не различала лиц и разговоров — все сливалось для нее в одно движущееся целое, и только постепенно стали различимы отдельные фразы и возгласы. Из общего гула вырвался откуда-то из-за перегородки дребезжащий голос:

— И как пошла она подыматься, как пошла! Колосья в ладонь! Тогда приходит к Олюшке этот агроном, который перечил, с повинной головой и говорит...

Голос потонул в шуме, а вместо него вынырнули и высоко всплеснулись очень звонкие и отчетливые слова:

— У меня заготовка не кончена, а район говорит: давайте трелёвку!

Молодой коренастый человек, сидевший напротив Авдотьи, с увлечением говорил и размахивал руками. Он был под хмельком. На нем топорщился новенький полушубок и, как каменные, стояли еще не обмявшиеся беленькие валенки. Щеки его горели чистым девичьим румянцем, и казалось, что лицо у него такое же новенькое, крепкое, необношенное, как полушубок и валенки.

— Мне надо, худо-бедно, восемь бригад,— продолжал он,— а у меня работают четыре с половиной.

— Комплектуйся...— не отрывая глаз от окна, гулким басом пророкотал человек в кожанке.

— А я не комплектуюсь?! — взвился тот же звонкий и отчетливый голос.— Я, Аверьян Макарович, пять домов-коттеджей отстроил для кадрового состава да общежитие коридорной системы. Я, Аверьян Макарович, клуб водружаю, какого во всем районе не увидите!

Рядом слышался настойчивый, смеющийся и недоумевающий голос:

— Нет, ты, друг Ваня, мне вот что скажи! Ну, вывезу я семьдесят тысяч кубометров! Ну, а что дальше? Больше семидесяти река ж не поднимет! У меня одной мачтовки, одного корабельного до ста тысяч, не считая крепежу! Ну, куда я буду возить?—Кудрявый, тоже слегка хмельной человек с веселым недоумением развел руками.

«Лесозаготовители едут,—поняла Авдотья.—Хорошие какие ребята! Выпивши едут, а ни озорства от них, ни пустого слова. От вина только сильнее разгорелись на работу».

В вагоне потянуло холодом. Где-то заливчато заплакал ребенок.

— Двери!—властно громыхнул Аверьян Макарович.— Кто там холодит вагон? В вагоне дети едут!

И, как круги от камня, брошенного в воду, разошлись по всему вагону оклики:

— Двери! Закройте двери! Кто не соображает?

Дуть перестало. Аверьян Макарович успокоился и стал смотреть в окно.

— Леса-а...—протянул он через минуту густым, мечтательным басом.—Хороши леса! В Хакасской автономной области такие же вот. Богатейший край! Там одного угля на четыре столетия.

— Вот где крепежу-то надо!—восторженно отозвался румяный.

— Я им и давал крепеж. По два состава в сутки гнал, и все не хватало. Аж смех, бывало, возьмет...—гудел Аверьян Макарович.—Один состав гоню—мало, два гоню—опять мало. Раззадорились мы с моими атаманами. Три состава отгрузили—опять бьют телеграмму: давай четвертый!

— Не знал я, что в Хакасской области уголь,— удивился кудрявый.—Я думал, там скотоводство развито!

— И скотоводство там тоже богатое. Осенью глянешь в окно—горы как ковром закинуты: это через горы гурты переваливают. День, глядишь, идут, два, глядишь, идут, три, глядишь, идут! Кра-асиво глядеть!—от удовольствия Аверьян Макарович прищурился и потряс головой.

Авдотья с интересом слушала рассказ о неизвестной ей Хакасской автономной области, который вливался в близкие и знакомые разговоры о поле, о лесе, как вливается в спокойную степную реку ручей с далеких гор.

Авдотья жадно ловила обрывки фраз—говор многоликой, кипящей вокруг нее жизни.

Авдотьина соседка развязала узелок и стала угощать всех семечками. Авдотья взяла горсть семечек, вынула из сумки лепешки и угостила соседей лепешками. Лесозаготовители взяли по лепешке, съели и похвалили.

На одном из полустанков в вагон с шумом и смехом ворвалась гурьба молодежи. В центре гурьбы была маленькая беленькая женщина с решительным выражением светло-серых глаз и властными интонациями низкого и звучного голоса. Женщина вела под руку странного человека в шинели. Глаза этого человека были скрыты темными очками, левую щеку рассекал глубокий шрам, голова его непрерывно дергалась и губы кривились. Казалось, он гримасничал от бесплодных усилий сдержать эту дергающуюся голову. Через плечо у него висела гармонь. Он не произнес ни слова, но все видевшие его умолкли. Вместе с этим человеком, с его шинелью и дергающейся головой в кипение вагонной веселой и неугасающей жизни вошла живая память о войне, недавней, но уже казавшейся бесконечно далекой, оставившей неизгладимый след на каждом и все-таки уже утратившей реальность.

Он был посланцем этой войны. Вместе с ним вошло что-то важное и тревожное, о чем нельзя было забыть.

Он уловил внезапную тишину, и робкая, не то печальная, не то просящая улыбка — улыбка слепого — тронула его губы.

— Сюда, ребята! Сюда, Миша! Здесь места всем хватит,— весело сказала беленькая, бережно усадила его и строго посмотрела на присутствующих, как бы предупреждая лишние слова и вопросы.

Вошедшие шумно рассаживались.

— Это кем же вы будете? — полюбопытствовала старушка.

— Мы самодеятельный коллектив,— с достоинством ответила беленькая.— Едем недалеко, до следующей станции, выступать на вечере по приглашению колхозников.

— А вы, случайно, не Алексеевым ли будете? — с живым интересом повернулся к гармонисту Аверьян Макарович.

— Алексеев и есть! — улыбнулся человек в шинели прежней мягкой и неуверенной улыбкой.

— Рад с вами познакомиться! Аверьян Аверьянов — начальник лесоучастка. Много о вас слышал.

И сразу несколько голосов подхватили:

— И мы слышали!

— Про вас слышали, а вас послушать не привелось.

Через минуту все уже знали, что Михаил Алексеев — известный всему району гармонист и певец, что он сам сочиняет песни и сам подбирает к ним музыку, что он был ранен под Берлином, что беленькая женщина — его жена и что у них есть двухлетний сынишка, которого они, уезжая, оставляют у бабушки. С особой симпатией

смотрели теперь на гармониста, с особой теплотой и уважением говорили с его женой,—она как будто мгновенно выросла на глазах у пассажиров и сразу сделалась значительнее и интереснее.

Все стали просить гармониста спеть. Он, видно, рад был этим просьбам, оживился, порозовел и повернулся к жене:

— Что бы мне спеть, Лидуша?

— Спойте что потрогательнее,—попросила старушка,—такое, чтобы взяло за сердце.

— Спой, Мишенька, твою новую...—сказала жена.

Резкий, протяжный и призывный звук гармони покатился по вагону. Сразу наступила тишина. Люди из соседних купе подошли ближе и столпились возле гармониста. Он быстро перебирал лады и с силой сжал мехи.

Гармонь коротко дрогнула скорбью и сразу ухнула с переливом; раздольем и удалью повеяло от этого перелива. Какое-то короткое мгновение два чувства—скорбь и удаль—боролись друг с другом, потом словно уравновесились, и ровная, мерная мелодия, полная зрелого мужества, залила вагон.

В этом коротком аккорде была рассказана вся война, и первая жестокая скорбь, и тот широкий, прокатившийся по всей стране отклик, когда толпы людей шли в военкоматы, и мерная, неудержимая поступь наступления. Все было обобщено и рассказано, но еще не было в этом общем рассказе живой плоти, живой человеческой судьбы. И люди насторожились, ожидая...

Гармонист дернул головой, поднял лицо и запел немного хриплым, но сильным и хватающим за душу голосом:

Не плачь обо мне, дорогая,
Я воин и ранен в бою,
Тебя от врага защищая,
Страну защищая мою.

Сквозь поток радостного сегодняшнего в песне все сильнее звучало грозное вчерашнее. Оно было неотделимо, оно мчалось в переполненном вагоне, воплотившись в этого человека с его песней.

Он спел куплет, умолк, а гармонь, почти выговаривая слова, с силой повторила мелодию.

Звуки неслись вместе с вагоном и людьми, сидевшими в нем, и поток их был так же разноголос и стремителен, как поток вагонной жизни, охвативший Авдотью.

Все сидели не шевелясь. Все молчали, охваченные общими думами, ставшие близкими, как становятся близкими люди одной судьбы, люди, с трудом и честью

одолевшие общую беду. Мысли были едины и понятны друг другу. И мысли эти крепче железа сковали и спаяли людей.

Умолкла гармонь, а кругом все еще было полно песней. Новый смысл получило окружающее. Все ощущали, что едут в этом вагоне не просто полеводы, животноводы, лесовики, а люди особого склада, люди, которые победили и победят в любой схватке с любым врагом.

Беззвучно плакала старушка, не вытирала влажных глаз Авдотья. Даже молодежь, которая не впервые слышала эту песню, затихла. Поезд замедлил ход.

— Ну вот и приехали...— сказала беленькая, нарушая очарование.— Пойдем к выходу, Миша!

Со всех сторон к гармонисту тянулись руки и сыпались приглашения в гости.

Когда он ушел, Аверьян Макарович поднял опущенную голову и задумчиво произнес:

— Дорогой человек!.. Самое хорошее, что в людях есть, вызнает и выпоет.

— Не спохватился я пригласить его к себе на лесоучасток,— отозвался румяный.— Однако я ему письмо напишу. Прикомандирую я его к нашему клубу, положу шестьсот рублей жалованья. Пусть самодеятельность организует да лесорубам песни поет...

— Что такое шестьсот рублей?!— спрыгнула с третьей полки молодая, кровь с молоком, деваха.— Мы с подружкой на обточке по две тысячи догоняем. Один раз две с половиной выработали. Маруся, а Марусь, в декабре, что ли, нам по две с половиной пришлось?

— В январе,— донеслось сверху.

— Скажите на милость, в нашем купе «тысячные» девчата едут, а мы и не знаем!— сказал кудрявый человек радостно-удивленным голосом.

Девушка оправила дорогую пуховую шаль, разминаясь, притопнула ногами в новеньких ботиках, задорно глянула на лесозаготовителей и пропела:

Все высокие сосенки,
Ровненьки мачтовочки.
Все мы тысячны девчонки—
Лесозаготовщицы.

«Сразу видно лесозаготовительных девчат,— думала Авдотья,— одеты богато, боевые, самостоятельные. Живут в лесу, далеко от отца с матерью, компания у них большая, работа мужская, деньги получают несчитанные, чего им не задориться?»

— План-то как вы выполняете, «тысячные»?— строго и неодобрительно спросил Аверьян Макарович.

— Даром денег не получаем. Чай, не какие-нибудь! — обиделась девушка. — По четвертому году пятилетки живем! На стахановский слет имеем именной вызов.

— Это добре! Об этом есть интерес послушать! А то «тысячи, тысячи»! Нашли чем хвастаться!

— Обещаются в Москву послать. Слышали про Лушу Соболеву? Ее в ЦК комсомола вызвали. Из соседнего села девчонка.

— Это которая Соболева? Которая триста процентов к плану?

— Она и есть. А что ей не давать триста? У нее электропилы новой конструкции и полная механизация. Мы бы на ее месте, может, не триста, а все пятьсот дали. Маруся, дай-ка леденчиков. Угощайтесь! Кисленькие!

— А моя сношка нынче награду получила за лен-долгунец. Ездила я к ней как бы в гости, как бы и от колхоза в командировку, за опытом, значит.

— Сколько взяли долгунца? — поинтересовался румяный.

Авдотья захотела сказать спутникам, что она тоже едет не как-нибудь, а по государственному делу. Она никогда не ездила в командировку и гордилась своим командировочным. Она вынула удостоверение, расправила его, улучила момент и сказала:

— Я тоже по командировке еду. От райкома у меня командировка.

Аверьян Макарович взял удостоверение, внимательно прочитал его и одобрил:

— На курсы, значит? Хорошее дело. Вы что же, на ферме работаете?

— Я заведующей работаю.

Ее подробно расспросили о ферме, о состоянии скота. Она отвечала волнуясь, как будто отчитывалась перед людьми, которые вправе потребовать от нее отчета.

— Подучитесь! — заключил разговор Аверьян Макарович. — У вас на руках не две-три коровы, а сотни голов. Вам без подготовки нельзя. Ну, да на курсах вас выучат.

«Самостоятельный какой и разумный! По всему видно, партийный человек», — думала Авдотья об Аверьяне Макаровиче.

Несмотря на то что поезд был пригородным и люди ехали вместе всего несколько часов, они уже чувствовали себя не «каждый сам по себе», пассажирами, а единым коллективом, который организовался на короткое время, но уже выдвинул своего вожака, Аверьяна Макаровича, уже завел свои порядки, обычаи и правила. В этом коллективе приятно было и угощать друг друга, и рассказывать о себе, и интересоваться другими, и заботиться о

том, чтобы не открывали дверь. Авдотья с живым интересом воспринимала все, что делалось и говорилось в этом новом для нее обществе. Мачтовый лес, хакасский уголь, песня о раненом, Луша Соболева, вызванная в ЦК комсомола,— все это были как бы волны большой жизни, которая плескалась вокруг нее и со всех сторон заливала узкую коробку вагона.

«Просторно живут люди...— думала она.— Хорошо живут... А я что же? Что же я никак не устроюсь со своей жизнью?»

Она видела в своих спутниках не отдельных симпатичных или несимпатичных ей людей, но одно неразделимое и огромное целое — народ, который вчера, сплотившись и дыша одним дыханием, победил в тяжкой войне, который сегодня тоже дружно, один к одному, радуясь и увлекаясь, работал и поднимал хозяйство страны.

Авдотья не могла бы сказать всего этого словами, но она чувствовала именно так, и поэтому пришла ей в голову мысль:

«Взять бы да рассказать этим людям всю свою беду от чистого сердца. Вот, мол, какое мое положение, добрые люди, и ума я не приложу, как мне поступить! Как, мол, вы мне посоветуете, так тому и положу быть».

Но она ничего не сказала, а только все внимательнее слушала не умолкавшие вокруг нее разговоры.

Поезд, набирая скорость, мчался все быстрее и быстрее, разговоры становились все оживленнее и горячее. И снова Авдотье казалось, что это не поезд, а стремительное течение жизни подхватило ее и мчит за собой.

«Когда это так было?— смутно припоминала она сходное ощущение.— Было когда-то давно похожее, а что — никак не припомню. Или во сне такое виделось? Вспомнила! Это же у тети Груши на соленом озере!»

Семилетней девочкой она ездила в гости к дальним родичам, и тетка водила ее купаться на соленое озеро. Авдотья до этого плавала мало,— через родное село протекала только узенькая, маленькая речонка. Глубокое озеро испугало девчонку, и она, оробев, стояла на подмостках.

Тетка Груня, большая, с крупным добрым лицом, сидела на камне, подбирала под косынку седые волосы и говорила:

— Чего боишься, Дуняшка? Прыгай да плыви! Не бойся, в нашем озере и захочешь — так не потонешь!

Дуня прыгнула, попыталась плыть и вдруг с удивлением почувствовала, как теплая густая вода сама обступила ее и будто на ладонях подняла на поверхность. Тело стало легким, руки и ноги задвигались, словно сами собой.

Озеро качало ее, она смеялась от удовольствия и удивления и сквозь смех слышала, как тетка Груня добрым, размеренным голосом говорила:

— Густо-солоно, тепло озеро, неутопна волна, хоть гиря к ногам привязана — не даст потонуть, наверх вынесет.

Воспоминание всплыло так неожиданно ярко, так отчетливо в каждой своей детали, что Авдотья на миг зажмурилась.

Время шло незаметно, и когда подъехали к городу, Авдотья удивилась:

— Уже!

Прощаясь, она пригласила всю вагонную компанию:

— Будете в нашем районе — заезжайте в гостички!

— А вы подождите с нами прощаться,— отозвался Аверьян Макарович,— мы вас до самого Дома колхозника довезем.

В Доме колхозника быстрый, по-городскому одетый человек посмотрел на ее удостоверение и сказал миловидной девушке:

— Надя, проводите командировочную.

Дуню привели в уютную комнату с двумя никелированными кроватями, с большим зеркалом на стене. За столом сидела пожилая, похожая на Любаву женщина — такая же статная, с таким же строгим лицом. Она улыбнулась Авдотье:

— Ну, вот и хорошо, что приехали, мне веселее будет! А одной-то в комнате с непривычки скучно. До завтра нам делать нечего, а утром пойдем на занятия.

Надя поправила подушки на кровати.

— Это ваша коечка, и тумбочка тоже ваша. Располагайтесь тут. Если вам помыться требуется или чаю попить, то это можно.

Авдотья посмотрела на красивую кровать с двумя подушками и с белоснежным бельем и на всякий случай спросила:

— Это сколько же в сутки будет стоить?

— Нисколько не будет,— улыбнулась. Надя.

— Командированные курсанты обеспечиваются общежитием,— сказала Авдотьина соседка.— Пойдемте, я вас в умывальню сведу...

Умывшись и переодевшись, Авдотья вместе со своей соседкой напилась чаю и наслаждалась уютом и чистотой этой чужой комнаты, которая вдруг стала ее собственной.

После чая она по совету соседки отправилась на курсы, чтобы стать на учет и получить талоны на питание.

Курсы помещались в сельскохозяйственном институте. Она полюбовалась огромным зданием с колоннами, поднялась по широким ступеням и вошла.

В гулких коридорах было много юношей и девушек. Они чувствовали себя здесь как дома, громко разговаривали, смеялись и все куда-то спешили.

В путанице длинных коридоров Авдотья с трудом отыскала помещение курсов, но дверь была заперта, и какая-то женщина объяснила ей, что секретарь курсов придет через полчаса.

Авдотья из любопытства продолжала свое странствие по коридорам. Она шла медленно, заглядывая в открытые двери. За дверями мелькали то странно изогнутые стеклянные сосуды, наполненные яркими жидкостями, то ощеренные скелеты животных на подставках, то огромные непонятные таблицы.

Ей было обидно, что она здесь чужая, и казалось — непонятные таблицы и сосуды с жидкостями одновременно и манят, и дразнят ее, и не даются ей.

«Со всем же с этим можно совладать! — хмурясь, думала она.— Эти девушки и ребята, наверное, такие же колхозники».

Ей хотелось чувствовать себя здесь свободно и по-хозяйски, как они.

На одной из дверей она увидела надпись «Буфет» и из любопытства вошла.

— Что вам, гражданочка? — приветливо спросила продавщица.

Авдотья постеснялась сказать, что ей ничего не надо, взяла стакан чаю и села.

В буфете было почти пусто, только за ближним столиком сидели трое мужчин. Один был худой, высокий, голова его с орлиным носом и очень выпуклыми темными глазами, прикрытыми тонкими веками, напоминала голову большой дремлющей птицы; второй был маленький, розовый, подвижной, а третий — полный, с удивленно и весело поднятыми бровями.

Авдотья вслушалась в их разговор. Они говорили о семенниках клевера. Тема эта волновала Авдотью: с семенниками в колхозе не ладилось.

— Нет, Евгений Евгеньевич,— говорил маленький,— хоть вы и лучший в Союзе специалист по клеверам, но в данном случае я позволю себе возразить вам.

Человек с птичьим лицом чуть шевельнул темными веками и неохотно, словно ему было трудно говорить, вымолвил:

— Возражение умозрительное, не проверенное практикой,— не возражение.

Они продолжали говорить, а Авдотья слушала их и думала:

«Лучший в Союзе специалист по клеверам! Ах ты, господи, какой выдался случай! Неудобно с ним заговорить, да нельзя же и упустить такой случай! Спрошу! Спрошу! Если хорошие люди, то не осудят, а если плохие, что мне до их осуждений? Спрошу!»

Она вытерла платочком губы, приготовилась, улучила момент, подняла огромные блестящие глаза и смело вступила в разговор:

— Вы меня извините, что перебиваю вас, а только у нас в колхозе как раз этак же! На одном клеверном поле семенники — хоть пригоршни подставляй, а на другом поле вовсе клевер не семенится, одно сено растет! Беда!

Собеседники умолкли и взглянули на Авдотью. Они увидели овальное бледное, с едва проступившим от волнения румянцем, лицо с большими синими глазами. Лицо было немолодое, но черты его все еще сохранили детскую мягкость и расплывчатость; оно, казалось, выступало из утреннего тумана, смягчавшего его линии, придававшего лицу что-то по-утреннему чистое.

В первую минуту собеседников удивило неожиданное вмешательство в разговор незнакомой колхозницы, но тут же они увидели в ней искреннее увлечение делом, свойственное им самим, и поняли ее.

А Авдотья доверчиво смотрела на них и уверенно продолжала:

— И с чего бы это, мы ума не приложим. Районных агрономов вызывали — ничего не могли объяснить. В науке, говорят, не выяснена причина.

— А вы откуда? — спросил высокий, оживляясь.

— Я из Угренского района. Из колхоза «Первое мая».

— А пасеки вы на клевер вывозили? — вступил в разговор толстяк.

— Вывозили. Но скажу я по правде: не много от пчел пользы. Сколько я за ними наблюдала, не глубоко они берут. Бывало, как пчелка сядет на цветок, так я-то голову пригну и погляжу на нее сподниза.— Авдотья приподняла над скатертью ладонь, склонила голову и сбоку взглянула на ладонь, показывая, как она смотрит на пчелу «сподниза».

В этом мгновенном жесте было столько природной, неосознанной грации и так доверчивы и серьезны были синие глаза женщины, что все невольно улыбнулись ей.

— Ну и что же? — торопил толстяк.

— А не берет она с глубины-то! — повествовала Дуня.— Шмель — тот другое дело! Тот весь цветок разворошит.

— Садитесь за наш столик! — предложил высокий.

Он повеселел, веки его приподнялись, и голова уже ничем не напоминала голову сонной птицы, — наоборот, что-то неукротимое появилось в резких чертах, в глазах, пронзительных и выпуклых.

— Давайте же познакомимся. Академик Петров, а это мои друзья: профессор Толстов, — видите, у него комплекция прямо по фамилии, — и профессор Лукин.

— Очень приятно, — сказала Дуня. — А я с Первомайского колхоза. Заведующая МТФ. Бортникова моя фамилия.

Радуясь, что ее новые знакомые, как она и ожидала, оказались хорошими и знающими людьми и могут многое посоветовать, Авдотья пересела к ним за столик.

— А на каких землях у вас клевера? — спросил Петров.

— На суглинках. У нас кругом суглинок. Одно-то клеверное поле на взгорочке, другое — на низинке, близ болотинки.

— А не наблюдали вы за клубеньками? Не наблюдали, какие у клевера корни на низинке и какие на взгорке?

— Почему не наблюдали? Наблюдали! Вырвем с корнем да и смотрим, где какие. Большую оказывают разницу.

— Ну, а в чем же разница?

Разговор становился все оживленнее.

— Вот, Александр Данилович, — сказал Петров Лукину, — я же вам говорил: единственный верный путь нашей науки — это широчайшая связь с колхозниками. Вы в колхоз не идете, так вот он, колхоз, сам к вам пришел. И как пришел! Вы посмотрите, ведь она, — он положил на Дунину руку большую ладонь, — ведь она все заметила: и как шмель, и как пчела садится на клевер, и какие клубеньки на низинке, и какие на взгорке. Вот я с ней и десяти минут не говорю, а ведь я бы ей любой опыт доверил и не ошибся бы. Вы меня извините, что я вас в глаза расхваливаю, — обратился он к Дуне, сильнее сжимая ее руку, — но ведь я правду говорю!

Вдалеке прозвенел звонок.

— Мне пора на лекцию! — сказал Петров. — Но мы еще встретимся с вами. Вы зайдите ко мне, я вам дам кое-что почитать. — Он встал, чтобы уходить, но, прощаясь, задержался. — Может быть, вы хотите присутствовать на моей лекции? Это внеплановая, внеучебная лекция. Вам будет трудновато, но я постараюсь говорить так, чтобы вам было понятно.

Вместе с академиком Петровым Авдотья вошла в аудиторию.

«Заговоренный нынче день у меня,— думала она.— Что пожелаю, то и сбудется!»

Всего полчаса назад она завидовала тем, кто свободно заходит в аудиторию института, а сейчас сама спокойно вошла сюда рядом с академиком Петровым.

Академика студенты встретили аплодисментами. Он поднял руку, чтобы успокоить аудиторию, и, когда все стихли, сказал:

— У нас сегодня колхозная гостья. Прошу быть гостеприимными и устроить ее поудобнее!

Дуне дали место в первом ряду.

Пока ассистенты по указанию Петрова развертывали и развешивали на стенах таблицы, она огляделась.

Со всех сторон смотрели на нее дружеские и любопытные глаза.

«Косички белые, уложены как у моей Катюши, и лицо сходное...— подумала она про одну из девушек.— Глаза-то какие чистые, все равно как у нашего Алеши...» — подумала про другую. Почти в каждом лице виделась ей какая-то знакомая черта, и, может быть, поэтому она сразу почувствовала себя среди своих и радостно улыбалась в ответ на чужие улыбки.

— У вас карандаша и бумаги нет? — обратилась к ней девушка с Катюшиными косичками.— Девочки, у кого есть свободный карандаш?

Сразу несколько рук протянули Авдотье карандаш, бумагу, перочинный нож.

Молоденькие соседки хлопотливо устраивали ее поудобнее, когда академик подошел к пюпитру.

— Устроились? — спросил он Авдотью.

Она смущенно и торопливо закивала в ответ.

Академик поднял голову и снова стал похож на большую птицу, но не на сонную, а стремительную и приготовившуюся к взлету.

Все затихли.

Авдотья с любопытством и недоумением смотрела на его лицо. Такое выражение было на лице у мужа Любавы, когда он выступал с речью от имени добровольцев в 1941 году, в день отправки на фронт. Такое выражение было на лице Степана в День Победы, когда он говорил на колхозном собрании. Тогда такое выражение лица было уместно и понятно, но сейчас, когда речь шла о клеверах, о простой, обыкновенной траве, оно показалось Авдотье странным и неуместным.

— По всем фронтам ведет наступление советская наука...— начал академик.— Советские пилоты и физики наступают на стратосферу, советские океанографы изучают морские глубины, советские ученые проникают в

атомное ядро, советские мичуринцы управляют протоплазмой живых клеток. И мы, советские хлеборобы, тоже ведем непрекращающееся наступление на наши поля, воюем за тонны хлеба, намеченные пятилетним планом.

Авдотье понравились слова академика: «Мы, советские хлеборобы». Эти слова объединяют и его и студентов-колхозников. «Мы, советские хлеборобы»,— мысленно повторила она.

Академик рассказывал о черноземных и нечерноземных почвах.

— Вот! Смотрите!— длинной указкой он очертил на карте, висевшей на стене, большие куски, закрашенные бурым цветом.— Это все нечерноземные земли. Это земли, где средний урожай раньше не превышал пяти-шести центнеров с гектара. Здесь супески и дерново-подзолистые суглинки.— Академик посмотрел на Авдотью и коротко пояснил:— Так называются почвы, бедные солями и веществами, необходимыми для зерновых.

Авдотья поспешно закивала, давая знать, что поняла, и он продолжал:

— Веками лежали эти земли бесплодные и почти неизменные. Ведя наступление на них, мы наступаем не только на сотни тысяч гектаров земли, но на самое время, на многовековое прошлое во имя будущего. И в этом наступлении нам помогают не пушки, не танки, не самолеты... Вот наша артиллерия!— Академик показал на таблицу: там пышно цвели хорошо знакомые Авдотье травы.— Вот распространенный в наших местах,— продолжал Петров,— раннеспелый клевер, отличающийся он позднеспелого тем, что прилистники у него короче и шире, а число междоузлий равно пяти — семи...

И снова он, взглянул на Авдотью, коротко пояснил, что такое прилистники и междоузлия.

В течение всей полуторачасовой лекции он ни разу не забыл коротко и незаметно для других пояснить Авдотье каждое незнакомое слово.

Она шла на лекцию, боясь, что ничего не поймет, но с радостью и с удивлением убеждалась, что понимает все. Она поняла не только содержание лекции, но и значение травосеяния в народном хозяйстве и то, почему, когда академик говорил о клеверах, лицо его становилось необыкновенным.

Переполненная впечатлениями, она вернулась к себе. Соседка ее лежала в постели. На тумбочке возле кровати Авдотья увидела стопочку тетрадей и грудку карандашей.

— Это чьи же?— спросила она.

— Это ваши. От курсов приходил человек знакомиться, принес тетради и расписание занятий.

Авдотья улыбнулась и взяла тетради. Они были тоненькие, синие, а одна тетрадь была в черном клеенчатом переплете. Она листала и думала:

«Эта тетрадь наособицу... Которое самое важное, то сюда записывать... Или лучше Катюшке свезти? У нее еще не бывало этаких. Нет... Буду записывать сюда то, что самое важное для нашего колхоза».

Она села к столу и аккуратно крупными буквами написала на тетради заголовок: «Важное для нашего колхоза».

Потом подумала, припоминая лекцию академика, и стала писать дальше:

1. «Известковать почву под клевера. 2. Дрессировать на клевер пчел».

Она снова подумала, перечитала то, что успела записать на лекции, и стала дальше записывать в новую нарядную тетрадку то, что казалось ей особенно важным.

Кончив, она погасила огонь, легла и с удовольствием вытянулась на свежих простынях...

За окном виднелась улица с гирляндой фонарей и текучими огнями трамваев и автомашин. От автомобильных фар на стенах вспыхивали и быстро плыли квадратные отсветы окон, на углах комнаты они растягивались, растекались, потом мгновенно сжимались и, скользнув по стене, исчезали. Уже милый ее сердцу, большой, кипучий город неутомимо бодрствовал за окном.

От усталости, волнения и непривычных поездок Авдотью качало, и ей казалось, что это город укачивал ее, баюкая. С той минуты, когда она встретила Андрея, она все время словно ощущала чьи-то руки, которые передавали ее из одних в другие.

Сперва это были руки самого Андрея, потом Ани, потом ее принял под свое покровительство Аверьян Макарович и подхватила стремительная вагонная жизнь. Потом ее взяли на свое попечение Надя и соседка по комнате, и, наконец, Петров повел ее за собой, и чьи-то невидимые руки заботливо приготовили для нее уютную комнату и белую постель, кто-то неведомый положил на тумбочку ее постели стопку тетрадей.

Все было радостно и загадочно, и все сливалось у нее в одно слово — «город».

«Как все ладится! Как все хорошо! — думала она.— Что же у меня дома-то как неладно?.. Уладится! Мне бы только в работе выбиться на простор, а остальное приложится!..»

Сон овладевал ею, она закрыла глаза, и сразу из темноты выплыло доброе лицо тети Груни, и послышался ее мягкий и певучий голос:

«Густо-солоно, тепло озеро, неутопна волна, хоть гиря к ногам привязана — не даст потонуть...»

12

ЗА ЛЮБАВУ БОЛЬШАКОВУ

В полдень в райком позвонил Василий.

— Это ты, Петрович? Любава Большакова подала заявление. Хочет уходить из колхоза. Завтра к вечеру у нас собрание. Может, приедешь?

Андрей ответил не сразу. Если бы Андрей не знал Любавы, он не понял бы ни тревоги, звучавшей в отрывистых словах Василия, ни необходимости этого срочного телефонного звонка. Но он знал Любаву.

Последовала минута короткого молчания. Они стояли молча у концов телефонного провода, разделенные расстоянием в 25 километров, и самые мысли их, скользнув от аппарата к аппарату, мгновенно передались друг другу.

— Я приеду завтра утром,— сказал Андрей.— Где Валентина?

— Звонила тебе с утра, не могла дозвониться. Уехала в сельсовет. Велела передать, что вечером приедет к тебе.

Больше не было сказано ни слова.

Весь день мысль о Любаве Большаковой не покидала Андрея. Он нетерпеливо ждал Валентину; в трудных случаях жизни у него всегда возникала острая потребность видеть ее и говорить с ней.

Валентина приехала поздно вечером. Розовая от мороза, закутанная в бахромчатую от инея шаль, она, не раздеваясь, уткнулась ему в шею холодным и влажным от снега лицом.

Он поцеловал заиндевелые брови, снял с нее шаль, шубку и только тогда увидел темные тени под глазами и обострившийся подбородок.

— Устала?

Она не любила, когда он «жалел» ее.

— Совсем не устала.

Она прошла в комнату, улыбнулась накрытому столу, затопленной печке,— всему тому уюту, который он всегда старался создать к ее приезду, села на стул и сразу заговорила о том, из-за чего приехала в этот вечер.

— Конопатовы подали заявление об уходе из колхоза,

и это не страшно — нестоящие люди... Но Любава, Любава... Гордость наша!

— Ты говорила с ней?

— Молчит. Вчера весь вечер провела у нее — стоит на одном: поеду к брату в город... Брат ее устраивает в заводскую столовую уборщицей, а Ксюшу официанткой... И как мы с Василием ее «просмотрели»? Всякие Павки, да Тоши, да Маланьи стояли перед глазами. С ними возились. А на нее, на Любаву, надеялись как на себя. О ней не думали.

Они замолчали. Они оба знали, что большой разговор впереди.

— Поешь! — сказал Андрей.

После ужина Андрей увидел, как припухшие веки Валентины тяжелеют и закрываются.

— Устала? — снова спросил он.

— Просто намерзлась в дороге и меня разморило от горячего.

Он уложил ее в постель, скинул гимнастерку, погасил свет, сел рядом с женой на кровать и взял ее за холодные и гибкие руки.

— Расскажи мне о Любаве, Валя.

— Что?

— Все, что ты о ней знаешь. Как жила до войны, кто ее родители, какой у нее был муж, как живет сейчас.

Валентина видела бледное от лунного света лицо мужа. Большой лоб был гладким и выпуклым, как речной камень. Сорочка расстегнулась, и виднелась шея, сильная и широкая, как у борца.

Не отвечая на его вопросы, Валентина сказала:

— Какое все-таки странное чувство — любовь. К нему не привыкаешь... Тысячу раз я видела тебя, и каждый раз как будто впервые... нисколько не притупляется... Интересно, так у всех или только у нас с тобой?

— У всех, кто любит. Согрелась?

— Да. Так слушай о Любаве.

Он внимательно выслушал ее рассказ, встал, закурил и начал ходить. Невысокая и крепкая фигура его бесшумно двигалась по комнате. То разгорался, то гас огонек папиросы.

— О чем ты думаешь, Андрейка?

Она любила редкие, но дорогие им обоим часы задушевных ночных разговоров, когда оба они говорили, не подбирая слов и выражений, говорили, как будто думали вслух, уверенные во взаимном понимании.

Он отвечал, не переставая ходить по комнате.

— Иногда надо вот так вернуться мыслями на де-

сять — двадцать лет назад... и шаг за шагом проследить все от тех дней...— Он внезапно умолк.

— О каких днях ты говоришь?

— О тех днях, когда решили объединиться люди, еще не вполне уверенные в силе этого единства... Когда решили объединиться люди, таившие где-то на дне души сомнение и, может быть, прадедовскую тягу к своему собственному, пусть убогому, нищенскому, но собственному клочку земли... А теперь... Даже в этом слабейшем колхозе слабого района такие люди, как Василий, Алеша, Авдотья... Любава... Какой путь пройден!..

Он бесшумно ходил по ковровой дорожке, и тень его, такая же бесшумная, пересекала светлые квадраты окон, лежащие на полу.

— «Социалистическая экономика формирует социалистическое сознание»,— вполголоса продолжал он.— «Источник формирования духовной жизни общества в условиях материальной жизни общества». Но есть вторая сторона этой взаимной зависимости материальной и духовной жизни общества. Помнишь слова Маркса: «Теория становится материальной силой, как только она овладевает массами»? Не в этом ли превращении «теории в материальную силу» главная и интереснейшая задача секретаря райкома?..

Валентина села на кровати. Видно было, как дрогнули и сошлись ее длинные «летящие» брови.

— Любава и ее дети всю зиму сидели на картошке... А ты рассуждаешь о материальной и духовной жизни общества... Я тебя не узнаю... Ты думаешь по поводу Любавы и забываешь о самой Любаве...

Он остановился так внезапно, что его длинная тень качнулась.

Он привык к тому, что она все понимает в нем, и непонимание резнуло его. Она ждала резких слов, но он сказал спокойно:

— Я не забыл Любаву. Я подумал не только о ней, но и о других, ты же понимаешь, что последствия такой войны не ликвидируешь в один-два года. Сегодня на бюро мы обсуждали вопрос о том, как организовать детское питание в трех слабеньких колхозах. Учли все наши возможности и приняли решение. Но нельзя свести вопрос о Любаве к нескольким центнерам зерна. Это путь наименьшего сопротивления.

— Почему?.. Почему?..

Она не понимала его, обычно она почти интуитивно угадывала весь ход его мыслей, но иногда повороты этих мыслей были неожиданны и непонятны ей.

— Почему? — повторила она настойчиво.

— Потому что, когда людям трудно, надо не только помогать им, но и воспитывать у них уменье бороться с трудностями. Лишь такое двухстороннее решение вопроса будет правильным. Мы с тобой не только просмотрели Любаву, мы не дорастили ее... И это главное... Я знаю ее по личным встречам и по рассказам. Разве в ней не было возможности для того, чтобы из рядовой добросовестной работницы подняться до колхозного вожака? Мы не разбудили и не вырастили этих возможностей. Случай с Любавой надо повернуть так, чтобы он воспитывал и растил и саму Любаву и других... Дело идет не о двух центнерах зерна, а о двух линиях жизни... Все вместе или каждый за себя? Вот в чем суть. Надо, чтобы это поняли и Любава и все остальные. Мне вспомнилась одна история последних месяцев войны, слушай...

Он присел у окна на ручку кресла. В свете уличного фонаря на морозных узорах стекол вспыхивали и дрожали голубоватые искры. Твердый профиль его, словно вставленный в оправу окна, выделялся четко и резко.

— Это было на юге... В сорок пятом году, в деревне, только что освобожденной от немцев. Представь себе... Дорога меж землянками и черными опечьями... По дороге идет худая женщина... На руках у нее ребенок. Девочка... Руки висят как плети... Женщина идет, не глядя по сторонам, стиснув зубы... А по обе стороны дороги стоят ее односельчане и молча смотрят ей вслед. Это в разгар посевной уходит из колхоза единственная трактористка... Единственный человек, который мог работать на собранном из разного лома тракторе... Она уходит из колхоза, спасая от беды своего ребенка... И односельчане смотрят ей вслед непрощающими глазами... Бойцы всего моего отряда вспахали поле этому колхозу. А через год, когда собрали обильный урожай и выстроили целую улицу новых домов, эта женщина снова пришла в колхоз... И односельчане не захотели принять ее... Правы ли они?.. Как по-твоему?

Валентина молчала. Андрей также молчал и не двигался, ожидая ее ответа. Машина брызнула фарами в окне и промчалась по улице.

— Я бы не ушла...— тихо сказала Валентина.

— Даже ради ребенка?

— Да...

— У нас не было детей... Тебе трудно судить...

Но она видела, что он говорит это не от недоверия к ней, а от свойственной ему большой требовательности и придирчивости к себе и к ней, которую он считал частью себя. В действительности он верил в то, что она не ушла бы. Он подошел к ней, маленькой, жесткой ладонью

провел по ее волосам и на мгновенье прижал ее голову к своей груди...

— У тебя хватило бы силы и уменья для того, чтобы остаться впереди других и возглавить борьбу за подъем колхоза. Не у всех есть это уменье. Вот почему мы не дорастили Любаву. Надо растить людей.

— Тебе будет трудно говорить с ней завтра на собрании? — спросила она.

— Да... Трудно.

— Она останется в колхозе?

— Да... Останется...

Спокойная уверенность звучала в его голосе. И несмотря на то, что она вчера целый вечер безрезультатно говорила с Любавой, Валентина ни на минуту не усомнилась в его словах.

Она не знала, как он добьется того, чего не сумела добиться она, но знала — он сделает то, что сказал.

«Эмка» мчалась, подскакивая на изъезженной и замерзшей дороге.

Каленое зимнее утро стояло над землей... По пути Андрей и Валентина заехали в два сильных колхоза. Они совещались с председателем и членами правления, но по хозяйству не ходили, и это удивило шофера — он знал привычку Андрея, приехав в колхоз, обойти все хозяйство.

К вечеру они были у Василия. Андрея резнуло запустение в когда-то уютной и домовитой избе. Вещи были сдвинуты с места и приткнуты как попало. Горшок с кашей стоял на этажерке, на окне лежала стопка белья. Казалось, что это не дом, не квартира, а номер в гостинице, куда заехали ненадолго, где живут наспех, откуда уезжают, не сожалея.

Похудевший и казавшийся от этого еще выше, Василий встретил его на пороге.

— Я знал, что ты приедешь, Петрович...

В лице его не было прежней горячей смуглоты, редко вспыхивала озорная и бедовая усмешка, и прежняя атаманская повадка не сквозила в его движениях.

«А ведь он вырос, — подумал Андрей. — Еще два месяца назад он не придал бы такого значения уходу Любавы Большаковой. Пошумел бы, покипятился, покричал, но не догадался бы ни созвать по этому поводу собрания, ни позвонить мне».

Андрей разделся, сел за стол рядом с Василием, подробно расспросил о колхозных делах, о настроении колхозников.

— Не доглядели,— говорил Василий о Любаве.— Понадеялись на нее. Думали — опора наша. Думали — крепкая, ничто ее не покачнет. И забыли о ней. Упустили из виду.

Около часа тянулась беседа председателя с секретарем райкома.

Возле правления на скамейке сидели Матвеич и Василиса. Андрей подсел к ним.

— Уходит Любава-то, старики! — сказал он.— Можно ли это допустить?

Собрание началось вечером. За домом разгулялся ветер, влажный и плотный, он метался меж мартовскими осклизлыми сугробами, со свистом врывался в печную трубу, стучал в черные окна,— грозился ли возвратом последней зимней лютости или просился из ночного одиночества в жилье, в тепло?

Василий ввернул яркую лампочку.

— Что это ты иллюминацию устроил? — спросила Фроська, которой до всего было дело.

— А пускай все осветит — и снутри и снаружи.

Лампочка светила неровно. В этом изменчивом свете сидели настороженные и неразговорчивые люди.

Любава вошла обычной неторопливой походкой, чинно поклонилась всем и, не поднимая ни на кого глаз, уселась на свое любимое место у дверей. Черный платок, повязанный по старинке низко и ровно у самых бровей, оттенял ее строгую и горькую красоту. Зеленоватый взгляд замер под ресницами, все лицо застыло в какой-то тайной решимости и печали. Сидела она очень прямо и неподвижно.

Лена, сидя на корточках, подкидывала дрова в печь и снизу вверх смотрела на Любаву.

«...Вдовья красота... Очень любила и потеряла любимого... Страшная судьба!»

Порывами ветра в комнату выдувало из печи искры и клубы дыма.

Когда все собрались, Василий, которого неизменно выбирали председателем, сказал:

— Товарищи! На повестке один вопрос, но вопрос этот первостепенной важности. Любава Большакова подала заявление об уходе из колхоза. Попросим Любаву рассказать собранию, какие есть у нее причины для такого заявления.

Пока Василий говорил, Любава не шелохнулась, даже ресницы ее не дрогнули, как будто дело шло не о ней. Когда Василий умолк, все головы повернулись к ней. Она

легким и быстрым движением поднялась со скамейки. Она смотрела прямо перед собой, и ее зеленоватый текучий взгляд скользил поверх присутствующих, ни на ком не останавливаясь, никого не замечая.

— А решила я уйти из колхоза и уехать в город к брату потому, что на трудодни выдали по триста грамм, а у меня пятеро детей: их кормить, поить, одевать надо. Дети мои ползимы прозимовали на картошке, дальше я этого не допущу. Брат нашел и для меня, и для Ксюшки хорошую работу в городе в заводской столовой. К брату мы и поедем. Вот и весь мой сказ!

Она села, по-прежнему не глядя ни на кого.

— Кто желает высказаться?

Все молчали.

— Что мы ответим Любаве на ее заявление?

Все то же ненарушимое молчание было ответом.

Наконец кто-то сказал:

— Что ж... одна... с детьми...

Несколько голосов поддержали:

— Кто удержит?..

— Кто осудит?..

— Пятеро ведь...

— Ой, нет, и не пятеро! Я и не «дите» вовсе!— врезался в тишину тонкий взволнованный голос Ксюши.

— Ну, и с четверыми тоже не сахар...

— Не у одной Любавы четверо!

— Что же, значит, и другим разбегаться? Не бежать надо, а колхоз поднимать!

— Что вы переговариваетесь, товарищи, как неорганизованные? Встаньте и выскажите свое мнение, как полагается на колхозном собрании.

Опять наступила тишина.

Молча сидел Андрей за столом президиума, опустив глаза и ничем не проявляя своего волнения.

Алексей, не отрываясь, смотрел на секретаря. «Как он повернет вопрос? Отпустить Любаву нельзя... И не отпустить нельзя... О чем он думает? Зачем сидит у нас на собрании? Молчит... Как он решит? Как правильно решить?»

Когда Василий в четвертый раз призвал высказаться, встал Матвеич. Седая борода его была парадно расчесана, две серебряные лопаты лежали на груди. Былая величественная осанка вернулась к старику.

— По этому вопросу надо или вовсе молчать, или уже завести большой разговор. Дозвольте вы мне, товарищи, все высказать, что накопилось за многолетнюю мою жизнь.

— Говори!.. Слушаем!..

Под множеством взглядов, устремленных на него, Матвеич выпрямился, приосанился, обеими руками огладил лопатины бороды и продолжил:

— Помнишь ли ты, Любава, тысяча девятьсот двенадцатый год, как уходил в город твой отец Василий Большаков? Запамятовала ты, наверное, а я помню. И я тебе про тот год расскажу. Тоже ударила в том году засуха, не такая злая, как в нынешний год, но хлеба были не в пример хуже. Агротехники никакой мы тогда не знали, жили на божью волю. Старики помнят, не дадут обмолвиться,— урожая восемь центнеров собирали тогда по хорошему году, а по плохому — два-три. А в тот год, о котором речь идет, и того не было. Помню я и тебя в том году, Любава. Ты тогда была маленькая, глазастая, за материну юбку схоронишься, бывало, да и стрижешь глазищами. Братишка у тебя был постарше, а от слабости на ногах не стоял, а старшая твоя сестренка помирала от неопределенной болезни. Не скучно вам, товарищи, про давние годы?

— Говори... послушаем... Только непонятно, на что наводишь.

— Поймете... не поспешайте... Так вот, у Василия, у отца твоего, дело худо и у меня не лучше. Куда податься? Откуда подмоги ждать? У соседей не лучше нашего. Ни один чужую беду не принимает — у всех и своей довольно. Порешили мы с Василием идти в город. Помню, идем, в кармане ни полушки, в мешке ни кусочка. Над нами небо, под нами земля. Идем меж людей, а кругом пустыня. Откуда ждать помочи? На что надеяться? Пришли мы в город в грузчики наниматься. Пятерых надо, а стоит сотня, и лежит перед нарядчиком камень,— кто тот камень поднимет, того он берет, кто нет — того в сторону. Я-то могучий был, а Василий послабже меня. Тужится он, ноги дрожат, лицо вспухло, а камень ни с места. Однако еще понатужился, приподнял чуток да так и упал на землю. А его задние отшвыривают,— не мешайся, мол, время не переводи. Они его отталкивают, а он лежит и на них щерится. Тогда такая жизнь была, Любава,— каждый за себя, противу всех. Затылком друг к другу жили люди. А и тогда, в ту злую пору, были мы с отцом твоим неразлучны и в беде и в доле. Нынче другим законом живут люди. Живут лицом друг к другу. Что ж ты затылком оборачиваешься к народу? Не по чести поступаешь, Любава, не по отцовской памяти.

Матвеич сел. Любава не пошевелилась. Выслушав Матвеича речь, бровью не повела.

Могло показаться, что она даже не слышала слов, обращенных к ней, но она слышала, и каждое слово

падало каплей на камень, падало и стекало, не оставляя видимого следа.

«Все ты сказал, что я и сама знаю, а о главном, о детях, умолчал,— думала она.— Видно, о них тебе и сказать нечего!»

Тихо было в комнате, так тихо, словно не сидели, не дышали в ней десятки людей. Ветер угомонился, притих за домом, и стало явственно слышно, как тоненько потрескивают дрова в печке. Красноватые отблески пламени скользили по лицу Лены, сидевшей на полене подле печки и не спускавшей глаз с Любавы.

— Кто еще хочет высказаться?— спросил Василий.

Колхозники молчали. Сложив руки на коленях, неподвижно сидел Пимен Яснев. У него было четверо детей, и мысль об уходе из колхоза давно таилась где-то в глубине мозговых извилин. Он не давал ей воли, работал старательно и упорно, жил верой в будущее колхоза, но в трудные дни мысль эта выползала из глубины на поверхность и тревожила его. Яснев молчал на собрании, потому что решал не только Любавину, но и свою судьбу. Час этот был переломным,— мысль, притаившаяся в глубине, должна была или окончательно исчезнуть, или сделаться отчетливее и настойчивее, чем когда-либо.

Многие колхозники думали в этот час не только о Любаве, но и о себе. Поэтому такая необычная тишина стояла в комнате.

— Что ж вы молчите, товарищи? У кого какие соображения?

С места поднялась Василиса.

— Дай, я одно словечко скажу. Одно, а может, два— сколь набежит... Матвеич тебе на память привел, как ты махонькой, двухлеточкой была, Любава. А я тебе припомню, как ты со мною да с матерью твоей у того же Миколы цельную осень работала на свекольном да картофельном поле. Помнишь, Любава, было тебе годков от силы восемь, а ты с нами на пару круглый день под ветрищем да дождем ковырялась на поле. И вспомни-ка ты, Любава, как вместо платы дал нам богатей деревенский Микола корзинку гнилой свеклы и как мы втроем над этой свеклой лили слезы. И еще вспомни, как ты замуж выходила за своего Павла Алексеевича. Краше тебя не было девки во всем районе, а под венец шла ты в чужих обносках, и чтоб вам, молодым, не было сраму, мы с Прасковьей тебе по всей деревне постель собирали— подушки да простыни. Не впервой ли в жизни спала ты в ту ночь на пуховых подушках да на белых простынях?

Румянец ударил в лицо Любаве.

«Зачем она мне мои обноски припомнила?— думала

Любава.— Мало ли у меня новых бед, чтобы старые припоминать?»

— А еще напомню я тебе, как жили вы с Павлом перед войною,— продолжала Василиса.— Помнишь, Любава, как выходила ты в октябрьское застолье к колхозному столу в шелках и в монистах, как сидел подле тебя Павел в коричневой тройке, и люди не знали, которым из вас любоваться!

Любава приоткрыла и снова стиснула сухие губы. Брови ее дрогнули и приподнялись над неподвижными веками. Василиса лучше, чем Матвеич, нашла путь к ее женскому сердцу, вернее коснулась самого заветного и больнее ранила ее.

— Больше я ни о чем не буду тебе напоминать, Любава. Одно скажу тебе — кем это все тебе было дадено? Так или не так, а скажу я, что думаю — может, это нами тебе дадено, а может, и мною. Мало ли и моих трудов пошло на общую долю? Вместе с нами ты была в хорошие дни, а в плохие решила врозь.

Любава повернулась к Василисе, хотела что-то сказать, но не сказала, а с места уже поднималась трактористка Настасья Огородникова.

Лицо ее, чуть рябоватое, смугло-румяное, было суровым. Ни обычного задорного прищура, ни обычной насмешливой и добродушной полуулыбки не было на этом лице. Сильный голос, легко долетавший с одного края поля до другого, сейчас звучал приглушенно.

— Ты помнишь, Любава, как в один день и в один час подавали мы с тобой заявление в колхоз? Не твоею ли рукою было написано: «Обещаюсь не отступиться от колхозной жизни»?

Настасья умолкла, но не села, а продолжала стоять у всех на виду в общем молчании.

Ветер ли стучал в окна, или вся прожитая жизнь стучала в сердце Любавы?

Сотни прожитых дней вставали в ее памяти, хорошо звучали вокруг нее голоса прошлого, и каждый новый запев начинался торжественно и строго: «Ты помнишь, Любава...»

То мерк, то разгорался огонь электрической лампочки, то отдаленней и туманней, то ближе и яснее виделись лица людей; то приглушенней и тревожней, то настойчивее и повелительнее звучали голоса прошлого: «Ты помнишь, Любава?..»

Любава боролась с этими голосами. Каменная в своем упорстве, раз обдумав и решив что-либо, она уже не допускала ни сомнений, ни колебаний,— таково было свойство ее натуры, и тем, кто хотел, чтобы она изменила

решение, приходилось идти против самой основы ее характера.

— Слушай меня, Любава!—сурово продолжала Настасья.—Придешь в свою избу, постой, не садись! Постой, погляди вокруг, подумай! Сиротой растет твоя Ксюшка, а кто посмеет ее обидеть так, как тебя, беззащитную, обижали сыновья богача Миколы? Весь колхоз на защиту встанет! Сиротами растут твои меньшие, а кто посмеет попрекнуть их сиротством и бедностью, как нас с тобой попрекали в детстве? В школе им первое слово и от учительницы, и от своих же ребят. В город ли на экскурсию, в санаторий ли по районной путевке—все твои малыши первыми! Ты к этому давно привыкла, не замечаешь. Все мы к этому так привыкли, что уж и замечать и ценить перестали. А как подумаешь да поглядишь—откуда это все? От совместных наших трудов. Так люди наши выращены, так наставлены, что в беде ли, в счастье ли—все вместе. Права бабушка Василиса! Есть у всех у нас кровная обида на тебя. В добрые дни была ты с нами, и мы тебя почитали лучшим человеком! А как трудное время...

— Пятеро ж у меня!—в первый раз подняла голову Любава.—Пятеро...

— Ой нет, маманя, и не пятеро!—птицей взлетело взволнованное восклицание Ксюши.

Чистый, звонкий, еще детский голос сразу оборвал все речи. Казалось, в торжественный и приглушенный говор прошлого ворвалось стремительное будущее.

— Ой нет, маманя, и не пятеро!—повторила Ксюша,—и не о пятерых вам думать, а о троих. Я сама об себе думаю, и у меня не меньше вашего трудодней. И Любашку я возьму на свою заботу, мне комсомольская организация поможет. И я как член комсомола говорю, что от своих не отобьюсь и из своей животноводческой бригады никуда не уйду.

Ксюша не могла уйти из колхоза. Как она могла уйти, когда она была правой рукой Авдотьи, а Авдотья доверила ей всю ферму и даже ключи от кладовой? Как она могла уйти из колхоза, когда была она премьерша колхозного драмкружка, на выездных спектаклях пожинала шумные лавры и была выделена для поездки в город на смотр колхозной самодеятельности? Как могла она уехать, когда учетчик МТФ Сережа-сержант каждый вечер дожидался ее на ферме и провожал ее домой, держал за руки и говорил, что ни в Чехословакии, ни в Польше, ни в Болгарии не встречал он таких девушек, как она? Как могла она уехать из колхоза, когда несколько часов назад сам секретарь райкома говорил с ней и

обещал на следующий год отправить ее вместе с Сережей-сержантом в город в двухгодичную школу колхозных кадров, где у нее будут и лучшие в области учителя, и хорошее общежитие, и стипендия?

— Никуда я не поеду, маманя. Я вам дома говорила и теперь повторяю при всем собрании.

Она была взволнована и даже немного испугана собственной смелостью.

Алексей гордился перед колхозниками и Андреем своей комсомолкой и, оглядываясь вокруг, словно хотел сказать: «Смотрите! Вы думаете, мы еще зелены, а мы вон какие!»

Ксюшу привыкли считать девочкой, и то, что эта девочка, тихоня и скромница, смело выступила на собрании и при всех пошла против матери, удивило колхозников.

— Гляди-ка ты! Ксюшка-то!—шепнула Прасковья Василисе.—Все была девчонка-несмышленка, не чаяли, как выросла!

— Самостоятельная девка получилась!—ответила Василиса.

По всей комнате как ветер пролетел—пошли шепотки, шорох, отдельные возгласы.

— Тише, товарищи! Кто еще хочет высказаться? Желающих нет? Тогда я возьму слово...—Василий встал и молча сдвинул брови, словно всматриваясь во что-то впереди себя. Желваки вздулись на смуглых и бледных щеках, смоляным блеском отсвечивали густые сросшиеся брови.

Андрей боялся за него, боялся, что он наговорит лишнего и ненужного, делал ему знаки, но Василий не видел их. Мысли овладели им, он шел по их следу со свойственным ему самозабвением и не замечал ничего вокруг. Он заговорил глухо и негромко:

— У элеваторов Сталинграда, когда несколько бойцов нашего взвода дрогнули и побежали, встал муж твой, Любава, встал Павел Афанасьевич во весь рост, поднялся на разбитую свою пушку и громыхнул так, что слышно стало на все поле,—все вы помните его голос. Помните, как Павел, бывало, весь хор покроет голосищем?.. Так вот и громыхнул: «Проклятие воину, бегущему с поля боя». Не подумай плохо, Любава, я тебя не равняю по тем беглецам и зла на тебя в уме не держу. Я к одному веду речь. Был бы жив Павел Афанасьевич—не ушел бы он из колхоза в тяжкий год. Не по таким законам жил человек.—Василий тряхнул головой, развеял воспоминания, овладевшие им, лицо его утратило окаменелость, стало обычным, и уже другим, будничным голосом он сказал, садясь:

— Вот и все, что я хотел сообщить. Кто еще будет высказываться, товарищи?

Теперь Любава уже не опускала головы и не прикрывала глаз веками. Слово за словом пробивали тот каменный панцирь, который служил ей защитой. Воспоминания о всей прожитой жизни, поднятые речами Матвеича, Василисы, Настасьи, овладели ею и растревожили ее, а звонкий возглас дочери и слова Василия окончательно лишили ее спасительной окаменелости. Она и оскорбилась, и ожесточилась, и поколебалась. Она и понимала, что слова ее умершего мужа, так явственно прозвучавшие в этой комнате, имели какое-то отдаленное и косвенное отношение к ней, и оскорблена была тем, что Василий вздумал упрекнуть ее этими словами.

«Как он осмелился слова обернуть на меня?! — думала она.— С маху он рубит, не по разуму, не по совести. Пашу припомнил... Его словами меня корит! Знает, в какое место больней ударить. И Паша... Если б он был здесь... Если бы он...»

В смятенье она сделала попытку встать, но не встала. Быстрым движением крупной руки сдвинула на затылок черный платок, провела тыльной стороной ладони по лбу, по волосам. Трудно было сознаться себе самой, что если бы муж был жив, то прежде всех пошел бы против ее решения. Трудно ей было сознаться в этом, но она не умела обманывать себя. «Не ушел бы он... И меня бы не допустил до этого... И не дал бы он упасть колхозу... И с меня бы, и с других бы спросил,— куда смотрели, почему уронили колхоз... И со всеми с нами он бы еще строже говорил, чем Василий...»

Электрический свет, внезапно разгоревшись до белого накала, осветил лица людей празднично и беспощадно. Ярче вспыхнули глаза, зарозовели щеки, но отчетливее выступила каждая морщинка на залитых им лицах. Любава не отвернула лица, не прищурила век — она словно не видела этого бьющего в самые глаза белого света.

«Не ушел бы он из колхоза, добился бы своего, поднял бы колхоз»,— продолжала она мысленно и обращалась к мужу: «Ох, Павлушка! Ведь пятеро ж их у меня, пятеро твоих детей, и одна же я с ними! Не осуди ты меня! Ты ту беду мою знаешь, какую другие не знают, от тебя то не спрятала, что я от других прячу, ты те мои слезы видишь, каких никто не видит. Не осудил бы ты меня, притянул бы меня к своей груди, выплакала бы я на твоем плече все свои слезы до последней слезинки, сердце мое, Павлушка!»

Так на глазах у всего собрания неслышно для других звала своего умершего мужа, и плакала, и говорила с ним

Любава, раненная словами Василия. Так плакалась она мужу, а лицо ее, высоко поднятое, оставалось каменным, жестким, неподвижным.

Один был на всем свете человек, перед которым она не стыдилась ни слез, ни бабьей слабости, от которого ждала жалости, и прощенья, и пониманья. Человек лежал мертвый, лежал в далекой немецкой земле, а перед другими она не хотела открывать себя, и чем горше были невыплаканные, кипевшие в ней слезы, тем суровей и жестче становилось ее лицо. Слова Василия вызвали волнение у всех собравшихся.

Пимен Яснев нашел их слишком резкими и несправедливыми, и все же они упали как гири на чашу весов.

Таня-барыня смотрела на Василия с опаской: «Затеешь уходить из колхоза, а он и не отпустит и грянет тебе «анафему» при всем народе!»

Общее волнение сказывалось в неясном шорохе, стоявшем в комнате.

— Кто еще выскажется, товарищи? — повторил Василий.— Может, ты выступишь, Валентина Алексеевна?

Валентина отказалась — она знала, что Андрей скажет то же, что она, но лучше, чем она.

Слово взял Андрей.

Как только он встал, Лена повернулась, чтобы смотреть не на Любаву, с которой она до этой минуты не сводила глаз и которую остро жалела, а на Андрея. «Как он решит судьбу этой женщины? Вдова...— Слово это было для Лены полно особого горького значения.— Жалко ее! Почему мне так страшно за нее и так жалко ее, будто она родная мне?»

Алексей переменил позу: высвободил занемевшую от напряжения ногу и устроился поудобнее — приготовился слушать Андрея, не проронив ни слова. «Вот оно как повернулось, Любавино заявление! — думал он.— Но на одних этих разговорах далеко не уедешь. Надо эти разговоры превратить в дело. Если другие ходят вокруг сердцевины, он должен ударить в самую сердцевину. Как он сумеет? Что скажет!»

Все ждали от секретаря райкома такого решения, которое было единственно верным, ждали такого слова, которое поднялось бы над всеми другими словами.

Андрей знал, что от него ждут такого слова. Он встал и сжал руками спинку стула. Надо было не только изменить решение Любавы и направить ее судьбу, надо было помочь каждому колхознику до конца продумать свою судьбу и судьбу колхоза, надо было сразу переломить то состояние усталости и апатии, которое в последнее время снова появилось в колхозе. Надо было сделать

так, чтобы из этого трудного периода колхозники вышли не разобщенными, не ослабленными, но еще более сплоченными и окрепшими в своей решимости и единстве.

Он стоял, готовясь говорить, прикрыв веками большие глаза, сосредоточенный и взволнованный. Та женщина с девочкой, та трактористка из далекого южного колхоза, о которой он говорил вчера Валентине, шла перед ним, шла сквозь перекрестный огонь взглядов, шла сквозь строй.

Нельзя забывать о том далеком случае, поставившем с предельной остротой большой принципиальный вопрос. Но нельзя и во имя большого принципа просмотреть конкретную человеческую судьбу, потому что внимание к человеку — это тоже принцип... И нельзя допустить этой примиренности с плохим и равнодушия к коллективу, которое проникает в умы некоторых колхозников. Надо бороться с этим и линию огня перенести в глубь человеческих сердец.

Он поднял глаза.

— Товарищи... Хорошо говорили те, кто говорил до меня, потому что они говорили о самом главном — о силе нашей правды и нашего единства... «Аграрной и немощной» назвал нашу страну товарищ Сталин около двадцати лет назад. Вспомним царскую Россию этого столетья. Били ее японцы в тысяча девятьсот четвертом году, били немцы в тысяча девятьсот четырнадцатом. В семнадцатом году, в год военной катастрофы и разрухи, народ, руководимый большевиками, взял власть в свои руки. На молодую Страну Советов ополчились империалисты всех мастей, и все они были разгромлены. С двадцать первого года наступила пора мирного строительства. С двадцать первого по сорок второй — всего двадцать лет.

Он сделал паузу и обвел глазами присутствующих. Взгляды, устремленные на него, были внимательны. Почерпнув в этом внимании уверенность, он заговорил громче и горячее.

— В сорок первом году на нас вероломно напала Германия, страна, имевшая сильнейшую в мире армию и легко покорившая половину Европы. И вот наша Советская Родина, которая всего два десятилетия назад была нищенской и отсталой, разгромила фашистскую Германию и вошла в Бранденбургские ворота. Что за чудо произошло в нашей стране за двадцать лет? Что дало ей непобедимую и несокрушимую силу? Наша правда и наше единство! — Как бы подчеркивая эти слова, он поднял руку, сжал ее в кулак и опустил на стол.— Общая борьба за общее счастье! Вот закон нашего нового мира! Об этом хорошо говорили все выступавшие до меня. Легко ли нам строить новый мир по новым законам? Нет. Трудно,

потому что вся жизнь наша идет под угрозой волчьей своры. Но что же следует из этого? При первой трудности отказаться от общей борьбы за общее счастье и каждому воевать отдельно, за самого себя?

— Нет!—вырвалось у Алеши. Все взглянули на него, и он покраснел.

— Нет!..—повторил за ним Андрей.—И в этом большая правда всех тех, кто говорил до меня. Но, товарищи, у русской пословицы «один за всех» есть вторая половина—«все за одного»! Не забыли ли мы с вами об этой второй половине? Василиса Михайловна рассказала нам о тех давних днях, когда Любава шла под венец, но почему не рассказала она нам о том, как живет Любава сейчас? Петр Матвеевич рассказал о том, как надорвался Любавин отец, поднимая камень, но подумал ли он о том, не надорвется ли сама Любава в трудные военные годы в плохом колхозе, «поднимая» пятерых своих детей? Василий Кузьмич, ты вспомнил о том, как муж Любавы под Сталинградом остановил дрогнувших и побежавших бойцов и повел за собой, и почему забыл ты о тех годах, когда здесь, на наших колхозных полях, Любава шла впереди других и вела за собой многих? Что же, товарищи, мы совсем сбросили с Любавиного счета эти годы?

Андрей вышел из-за стола и остановился прямо против Любавы. Всегда холодноватые и веселые глаза его светились тепло и ярко.

— Нет, Любовь Васильевна, мы этих лет не сбросили с вашего счета!.. Укорять вас вашим уходом из колхоза мы не будем. Решили вы уйти из колхоза, думаете, что легче вам будет в городе,—что ж, идите... Жаль нам вас терять, но никто вас не осудит. Больше того. Когда поднимется Первомайский колхоз...—Андрей поднял сжатую в кулак руку, сдвинул брови и твердо перебил самого себя.—А он скоро, совсем скоро поднимется! Любовь Васильевна, так вот, когда поднимут его люди уже без вас, без вашей помощи, люди напишут вам: «Приезжайте обратно!..» И вы приедете обратно... Вы не сможете не приехать, потому что здесь прошла вся ваша жизнь, потому что все здесь—от стен этой комнаты до полей, которые лежат за деревней, все вам здесь кровно родное. Вы вернетесь, Любовь Васильевна, в родной ваш колхоз, вернетесь через год, через два, когда люди без вас поднимут его, и все будут рады вам, и никто не встретит вас словом укора, никто не осудит. Мы понимаем, что вам было тяжелей, чем другим, мы знаем, что надо было раньше прийти вам на помощь, и мы не сбросим с вашего счета всей вашей честной и самоотверженной работы!

Любава сама не понимала, что с ней. Слезы катились по ее каменным щекам. Те слова, о которых тосковало ее сердце, которые ждала она услышать только от умершего мужа, которые снились ей, которые только что звучали в ее воображении, сказал этот маленький, светловолосый, почти незнакомый ей человек. Заглянул ли он в самое ее сердце, услышал ли самые ее мысли? Он непонятным образом обошел каменные стены, которыми она себя окружила, и встал рядом с ней и взял ее за руку. Она ощущала тепло его маленьких сильных рук, от этого тепла таял лед и слезы, одна другой тяжелее, крупнее, жгучее, катились неудержимо по холодному лицу, на котором не дрогнул ни один мускул. Лицом, мыслями, голосом она владела вполне и только со слезами ничего не могла сделать.

Она и была изумлена тем, что этот молодой, похожий на светловолосого мальчика секретарь райкома нашел те слова, против которых она была бессильна, и вся неукротимая гордость ее поднималась при мысли о том, что колхоз поднимется без нее, и какая-то еще неясная, новая возможность брезжила перед ней.

— Ни за уход ваш из колхоза, ни за возвращение ваше не упрекнет вас ни один человек,— продолжал Андрей.— Но есть у меня другой, и единственный, упрек к вам: зачем вы молчали? Ну, люди недоглядели за вашей бедой, я не увидел всей тяжести, которую вы несете, так ведь и у людей и у меня не одна же вы! Почему не могли прийти, сказать: «Трудно мне, помогите!» Гордость у вас неправильная, вредная вам и обидная для людей.

— Да ведь она уж больно характерна,— перебила Андрея Василиса.— Придешь к ней, спросишь: «Как ты, Любава? Не помочь ли чем?», у нее один ответ: «Как все, так и я. Ничего мне не надо!»

— Вот!— продолжал Андрей.— А ведь вы жили не как все, а хуже, труднее, чем все! Ну, мы все за этим недосмотрели — это наша вина, а ваше молчанье и ваша гордость — это ваша вина! На той неделе видел я вас около райкома. Почему не зашли ко мне?

— До меня ли тебе и что за польза затруднять-то тебя, Андрей Петрович!— отозвалась Любава.

— Что? Ты думаешь, мне легче провожать тебя из колхоза, чем вместе с тобой обсудить положение? Или уж я и не человек, по-твоему?— с искренней обидой сказал Андрей.

— Да ведь одна ли я у тебя? Одной ли мне трудно?

— А если не одной тебе, так почему ж ты об одной себе думаешь, а об других не побеспокоилась? Почему не пришла ко мне, не сказала: «Вот, мол, в такой-то и в

такой-то семье особые трудности. Помоги найти выход».

— А что ж тут найдешь? До нового урожая, как ни прикидывай, ничего не придумаешь!

— А может быть, и придумаем, если не молчать и не искать каждому по отдельности своей судьбы, а всем вместе подумать? Это главное — подумать всем вместе! Много сделать до новины мы не сумеем, а облегчить положение удастся, если взяться всем сообща. Может быть, об этом, а не о твоем уходе будем мы говорить на сегодняшнем собрании? Может быть, изменишь ты свое заявление и напишешь в нем не об уходе из колхоза, а о тех больших трудностях, которые стоят перед тобой и перед другими многодетными колхозниками? Может быть, так повернешь ты вопрос, Любава?

Тыльной стороной ладони Любава вытерла влажные щеки. То, что представлялось ей безвыходным, когда она думала в одиночку бессонными длинными ночами, стало проще и светлее оттого, что думали об этом многие. Она убрала с висков рассыпавшиеся пряди волос и сказала Андрею:

— Ну что ж, Андрей Петрович... Я на это согласна...

Андрей отошел к столу, взял со стола заявление Любавы.

— Значит, товарищи, будем считать заявление Любавы о выходе из колхоза аннулированным. В связи с этим изменяется и повестка дня. На повестке дня у нас теперь один вопрос — как помочь тем, кому приходится особенно трудно, и, в частности, как помочь многодетным колхозникам. Мы на бюро райкома решали этот вопрос. С помощью государства и с помощью сильных колхозов нашего района сумели мы получить фонды для слабейших колхозов. Уже сейчас договорился я с колхозами «Заря» и «Путь коммунизма» о том, что они дают вам зерно и еще кое-какие продукты, частью взаимообразно, частью в виде помощи, специально детское питание. Мы через районные организации поможем вам маслом и сахаром. Картошки у вас в колхозе и своей достаточно.

— А как будем распределять? — спросил Яснев.

— На этот счет такое предложение,— сказал Василий,— организовать при колхозе детскую столовую.

— А Любава пускай той столовой заведует! — крикнула Фроська.

— И правда! Пусть Любава заведует!

— На эту можно положиться!

— Эта скорее свое раздаст, чем чужое возьмет.

Заговорили все сразу. Несколько человек встали с места и окружили Андрея.

Расталкивая людей и не замечая этого, не поправляя сбившегося на затылок платка, Любава шла к Андрею.

Василий попробовал водворить порядок, но засмеялся, махнул рукой, и колхозники кольцом обступили стол. Никому не хотелось уходить. Говорили обо всем — о столовой, о вывозке удобрений, о будущем урожае.

Василий еще раз попытался придать официальный характер разговорам.

— Товарищи, давайте поаккуратнее! Сядем на скамейки, товарищи!

Но Андрею была дорога задушевность и непосредственность беседы, и он сказал Василию:

— Оставь! Пусть будет так. Ведь не протоколы для нас с тобой важны... Все обсудим, а потом запишешь.

Когда люди вышли из правления, они долго еще не могли разойтись и толпились на перекрестках и у калиток.

На другой день в полдник, после перерыва, Любава пришла на конный. Обычно после перерыва люди собирались медленно, а на этот раз пришли раньше времени.

— Ну, бабоньки, работать так работать! — сказала Любава, туже затянула неизменный черный платок и вышла.

Мартовский день с первой легкой ростепелью поднимался над селом. Заслюденевшие, чуть подтаявшие сугробы сияли на солнце. Над голым и потемневшим от влаги осинником стояло невысокое, но яркое солнце. Телята, выпущенные на прогулку, толпились в загоне и протягивали людям розовоносые морды. Ксюша в белом халате, с блестящей дойницей в руках, бежала из фермы в сепараторную. Бригадир МТС Сережа-сержант верхом на золотисто-гнедом игривом жеребчике проскакал мимо нее и что-то сказал ей, перегнувшись с седла. По лицу Сережи было видно, что солнечный день и быстрая езда доставляют ему наслаждение. Приехала на полуторатонке лесозаготовительная бригада. Отточенные топоры и пилы зеркально блестели под лучами солнца. Любава видела все окружающее особенно отчетливо, словно она только что очнулась от долгой болезни.

«И как бы я от всего этого оторвалась? — думала она, — это же все мое кровное, как бы я жила без этого? Какая ж беда пронеслась мимо меня! Какое же горе меня миновало!»

— Петрович едет! — сказала Прасковья.

Машина, подскакивая, неслась по дороге.

Мелькнуло осунувшееся, усталое лицо Андрея. Поднялась маленькая, одетая в черную кожаную перчатку рука.

— Счастливо, товарищи! Удачной работы!

— Спасибо, Андрей Петрович! До свиданья... Приезжайте почаще!..

Машина скрылась, а люди все смотрели ей вслед, и у всех было такое чувство, что уезжает очень свой и очень нужный и близкий человек.

Потянулись дни упорного и нелегкого труда.

Однажды Василий поехал на лесоучасток проверить работу лесозаготовительной бригады. Он слез с попутной машины и пошел знакомой тропой. Близился вечер. Пышные, нетронутые сугробы лежали между соснами. Они были оживлены чуть розоватым отблеском заката, пламеневшего меж ветвями.

Вдалеке на лесоучастке звенели пилы. Казалось, звенит весь бор. Звук шел поверху, а вспугнутая тишина ложилась в сугробы.

Зимние сосны отличались от летних. Они звонче были под топором и молчаливей под ветром. Вдоль ветвей нарастали снежные гребешки, а на концах ветвей лежали пышные белые шапки.

С дрогнувшей ветки упал продолговатый снежный слепок, не рассыпался на лету, легко опустился на заслюденевшую поверхность сугроба и лег крохотным голубоватым валиком.

Василий поднял голову.

Свесив с ветки мордочку с бусинками глаз, на него в упор смотрела белка. Распустив хвост, она мягко перелетела на другую сосну и исчезла в деревьях.

Василию вспомнилась Авдотья.

Его тоска по ней не проходила со временем, а, наоборот, становилась глубже. То, что она не ушла к Степану, а решила жить одна, всю себя отдавая работе, изменило его отношение к ней. Ревность не отравляла его больше. В нем росли уважение и интерес к этой женщине, которую он все еще считал своей женой, но до сих пор не мог понять до конца. Не раз думал пойти к ней и покончить с нелепым и тяжелым одиночеством, но с этой новой Авдотьей нельзя было поступать неосторожно и властно. По своему характеру он не умел ни уговаривать, ни просить. Все, что он мог сделать, это прийти к ней и коротко заявить:

— А ну, Дуняшка, хватит дурака валять. Собирай барахло, поедем домой!..

Но он понимал, что Дуняшка уже не та, что раньше, и такой разговор с ней невозможен. Надо было заново ее завоевать, но он не знал, как это сделать, и был так занят колхозными делами, что не находил ни времени, ни душевных сил для того, чтобы вплотную подумать о самом себе и заново строить свою семью. Мысли об

Авдотье постоянно вытеснялись какими-то неотложными и важными делами.

Так случилось и сейчас. Неожиданно смолк звон пил, и Василий забеспокоился: «Что рано зашабашили? Еще не вышло время кончать».

Он прибавил шагу и через минуту вышел на лесосеку. На вырубке золотились свежие срезы пней, красноватые, словно отлитые из меди стволы мачтовых сосен лежали на утоптанном снегу.

Петр в расстегнутом полушубке стоял на пеньке, размахивая газетой и кричал:

— Сюда, ребята, ко мне!

— Ты что, шалаберник, людей от работы отрываешь?—сердито сказал Василий.

Петр словно не слышал сердитых слов Василия.

— Ты сегодняшнюю газету не читал, Василий Кузьмич?

— Не читал. А что?

— Не цапай газету, здесь моя бригада—я хозяин! Садись, буду читать газету вслух.

Подбежала Фроська с топором в руках. Пока другие собирались, она притопывала и пела:

Мы в лесу дрова рубили,
Рукавицы позабыли,
Топор и рукавицы,
Рукавицы и топор!

Подошла рассерженная Татьяна:

— Чего от дела отрываешь? Скоро стемнеет. Не успеем сосну свалить.

Подошла всегда строгая и деловитая Любава.

— Что случилось, Петро?

— Садитесь. Сейчас прочту одно сообщение.

Все уселись на пеньки, на обрубленные гибкие ветви. Красноватые лучи солнца скользнули по разгоряченным лицам. Позы людей были спокойны и свободны—на заснеженных ветках, на неровных пнях они сидели так, как сидят у себя дома, на стульях и креслах.

— Слушайте!—сказал Петро.—Читаю! Указ правительства «О мерах помощи колхозам».

Василий нетерпеливо потянулся к газете, но Петр отстранил его:

— Я сам прочту.

— Недоимку не сняли ли с колхоза,—насторожилась Любава.

— Не только недоимку сняли, а помогают зерном, машинами и скотом. Я сейчас из конторы—там народищу собралось. В третий раз перечитывают. Слушайте...

Василий слушал, закрыв глаза. Он слушал так, как слушают собственные мысли, которые кто-то другой понял и высказал с неожиданной полнотой. Постановление поразило его сочетанием размаха с конкретностью...

Он мечтал об отсрочке задолженности, о помощи семенами, а в постановлении пункт за пунктом раскрывалась помощь неожиданной щедрости. Казалось, кто-то подслушал мысли Василия, даже самые мимолетные, и все их воплотил в дело. Все было предусмотрено и продумано: и полное снятие задолженности, и помощь сортовыми семенами, и пополнение ферм племенным скотом, и доставка запасных частей к машинам, и пополнение МТС тракторами.

Он радовался и гордился перед колхозниками этим постановлением, как будто он сам составил его.

«Как-то они его примут?—думал он.—Удивительно покажется».

Но колхозники приняли постановление с такой же гордостью, как он сам. Оказалось, что не только он, но и они по каким-то причинам чувствовали себя авторами и инициаторами этого постановления.

— Ну вот,—сказала Любава, с достоинством оглядев присутствующих,—я же говорила. Пока была война, были надобности побольше наших, а как вышли из войны, оправились с хозяйством, так при первой возможности и подсобили пострадавшим колхозам! Так я и говорила!

Часть вторая

I
«ВАЖНОЕ ДЛЯ НАШЕГО КОЛХОЗА»

Вечером Авдотья въезжала в родное село. Мартовские морозы сковали подтаявшую за день дорогу. Грузовик буксовал на льду у крутого подъема, недалеко от избы, где столько лет прожила Авдотья. Она не могла оторвать взгляда от голубых резных наличников, от высокого крыльца, которое она так любила по утрам отскабливать добела.

«Может, Вася дома, может, смотрит из окна... Соскочить, подбежать, позвать: «Вася!»

Машина наконец взяла подъем, и Авдотья пересилила себя, оторвала взгляд, отвернулась. Грузовик остановился против Василисы. Кто бы мог подумать, что так трудно будет пройти эти несколько шагов от машины до ступенек по обледенелой тропке, подняться на чужое крыльцо, взяться за чужую, непривычную, маленькую ручку двери?

«Толкнуть дверь и войти... И незачем оглядываться! Что же я стою? Что ж я думаю?»

Все было твердо решено до отъезда, но только теперь пришел срок бесповоротно осуществить принятое решение.

Она постояла на крыльце, передохнула, глотнула морозный воздух и открыла дверь.

— Ну, вот и я, бабушка Василиса!..

Василиса сделала все для того, чтобы она сразу почувствовала себя дома. Половина большой, добротной избы была отдана Авдотье. Катюшкин «пионерский уголок» с рисунками и расписанием занятий на стене, Дуняшкин «игральный столик», взбитые парадные подушки на Авдотьиной кровати, расшитые занавески на полках большой кухни — все казалось обжитым, домовитым, устоявшимся.

«Обжились, устроились,— думала Авдотья, обнимая детей,— но как же там, у Васи? Зачем занавески-то с петухами сняли у него? Пусто, должно быть, там...»

Ей хотелось плакать

В день ее приезда Валентина задержалась в колхозе и, как всегда в таких случаях, ночевала у бабушки Василисы.

Она понимала состояние Авдотьи и старалась быть особенно оживленной и разговорчивой.

— Дуняшка, милая, сколько книг привезла! Целая библиотека! И тетради! Конспекты!.. Какой же ты молодец! Ну, теперь пойдут дела на наших фермах,— весело говорила она.— А мы тебя ждали, пирогов напекли. Бабушка, Лена, девочки! Все за стол!.. Показывай же, что привезла, рассказывай, что видела...

Когда розданы были подарки и улеглась суматоха встречи, Валентина спросила:

— Какие у тебя планы? С чего думаешь начать?

Авдотья огляделась еще раз. Старинные часы с боем, массивный книжный шкаф в углу, бахромчатый абажур на лампе — все было непривычным, чужим и чуждым. Раньше она не замечала этих давно знакомых вещей, а теперь каждая из них ранила. Не смотреть! Не думать! Несколько мгновений просидела, наклонив голову, опустив глаза, потом поднялась, принесла тоненькую тетрадку в черном клеенчатом переплете.

— Вот оно, Валенька, начало моей жизни.

— «Важное для нашего колхоза»,— прочла Валентина старательно и крупно выведенный заголовок. Ниже, другими чернилами, очень мелко, так, как пишут только для себя, было написано:

«Видеть наши возможности, верить в наши возможности, умело использовать эти неограниченные возможности!»

Авдотья вспыхнула так, словно прочли слова сокровенные и касающиеся лично ее.

— Академика Петрова слова... с его книжки переписаны.

Валентина посмотрела, не понимая: «Почему покраснела? Почему так старательно переписала эту фразу? Что свое, большое она в эту фразу вложила?»

Осунувшееся лицо Авдотьи, несмотря на тонкую прорезь морщинок, казалось юным. Впечатление юности шло от доверчивого, задумчивого и нежного выражения синих глаз. Линия маленького рта была твердой, небольшие обветренные руки уверенно листали страницы тетради с записями, четкими и лаконичными, как параграфы закона.

«Ой, не знаю, не знаю еще я этой женщины!» — весело и удивленно подумала Валентина. Казалось, заглянув в ручей, она вдруг увидела в нем нежданную и волнующую глубину.

— Вот спланировала я «зеленый конвейер»,— оправившись от смущения, продолжала Авдотья.— У тебя здесь есть планы севооборотов?

Большие листы едва уместились на столе. В комнате было тихо. Девочки играли в спальне новыми игрушками. Прасковья и Василиса наперегонки вязали. За перегородкой Лена шуршала ученическими тетрадями: проверяла письменные работы.

В тишине слышались отрывистые фразы Авдотьи и Валентины:

— «Залужить минимум тридцать гектаров поймы».

— «На пятое поле посеять вико-овсяную смесь...»

Вдруг Прасковья всхлипнула, выронила вязание и быстро ушла за перегородку.

Разговор оборвался.

— Дуняшка... может, еще передумаешь?— спросила Василиса.

Авдотья не подняла глаз от плана. Синие, зеленые, коричневые прямоугольники быстро-быстро бежали перед глазами.

— Не могу... да и о чем говорить? Решено.

— Я бы тоже не смогла,— тихо отозвалась Валентина.— Ведь он не сват, не брат, не сосед, ведь он муж... Как же с мужем без согласия, без дружбы?

Авдотья разгладила ладонями покоробившийся на сгибах план, подняла наполненные слезами глаза и спокойно сказала:

— Так вот, Валенька, я и говорю: относительно поймы я в районе уже согласовала — в план-то МТС они включат. Это первый большой вопрос! А второй большой вопрос — об электрификации кормовой кухни. Корнерезку да кормомойку можно через ременную передачу соединить со жмыходробилкой, а для этого и нужен-то один электромотор мощностью в несколько киловатт!

Василиса опустила вязание и засмотрелась на Авдотью.

Всю жизнь прожила Василиса с пьяницей-мужем, и никогда не приходило ей на ум уйти от него. Она не понимала Авдотью и осуждала ее за уход от Василия: «Такое ли я терпела от своего?» — но по доброте своей молчала и не высказывала осуждения. И только сейчас, слушая, как распоряжается Авдотья десятками гектаров колхозной земли, как свободно она рассуждает об электромоторах и непонятных Василисе киловаттах, Василиса вдруг не умом, а сердцем поняла, что не может и не должна Авдотья терпеть то, что терпела сама Василиса.

«Да будь я на ее месте, разве бы я терпела? Нет, Лука Миронович, нет, батюшка!— мысленно обратилась она к нелюбимому мужу, умершему тридцать лет назад.— Ты

бы надо мной нынче не похозяйничал! Я бы этак же вот повернулась, да и нет меня! А что ж мне терпеть. У меня и ферма на руках, и от людей уважение, я и при своем деле, и при своем хозяйстве. Ты или живи со мной, как положено жить, по-доброму, по-семейному, или шасть из моего дому!»

Василиса уже одобрительно смотрела на Авдотью и так развоевалась в мыслях, словно Лука Миронович и впрямь мог подняться из могилы и вся Василисина жизнь могла начаться заново и повернуться по-новому.

Знакомые животноводческие постройки, изгороди и тропинки казались Авдотье обновленными. Она так долго и тщательно обдумывала все подробности будущей фермы, так живо и реально представляла ее, что уже не могла отделить настоящее от будущего и видела все сразу: и то, что есть, и то, что будет. Кудрявые заросли клевера подбегали к самой дороге, вдалеке, у поймы, зеленели луга, разделенные на аккуратные загоны, электромоторы шумели в кормовой кухне, новый телятник стоял на взгорке — все это было так несомненно и близко, что казалось уже существующим. Она несла в себе свои планы, как большую силу и большую радость. Странно было, что другие не видят того, что так ясно видит она, и порой отвечают на ее рассказы недоумевающе-терпеливыми взглядами.

Минутами ей казалось, что она от чистого сердца протягивает людям хлеб, свежий, теплый, душистый, а люди недоверчиво смотрят на ее душевный дар и на ее радость.

Однажды под вечер, засидевшись на ферме, она разговорилась с животноводами о будущих стадах и фермах. Увлекшись, она не сразу заметила, как, позевывая, поглядывает на ходики Ксенофонтовна, как переглядывается с кем-то через окно Дуся-телятница, как равнодушно смотрит куда-то в пространство Матвеич.

— Интересно было послушать...— видимо, желая одобрить ее, сказала Василиса.— Только не для нашего все это колхоза, как я полагаю...

— Да я же про вас, про нас говорила!— сказала Авдотья.— Как же вы не видите?..— Голос оборвался, ее охватила досада на людей, не хотевших понять ее, и на самое себя, не сумевшую убедить их.

Живо вспомнился ей разговор с секретарем райкома перед февральским собранием. Обидой дрогнул тогда его голос. Как она понимала теперь эту обиду! Как хотелось ей, чтобы сейчас он был рядом!

— «По золоту мы ходим... как слепые...» — невольно повторила она его слова.— Вот будто и не убедила я вас в том, что через год, через два мы сами себя не узнаем. Будто вы и не поверили в мои слова. Но я вам докажу. На примерах день за днем буду вам доказывать. Вот нынче же выберу одну из коров и покажу, что из нее можно сделать при научном подходе.

После неудачного разговора она прошла на ферму. Рыжие и черно-белые, давно и во всех подробностях знакомые коровы стояли в привычных стойлах.

Авдотья осматривала их так, словно видела впервые. Нет, это были не просто коровы. Каждая из них — секретный ларец, в котором спрятаны ценности. Как найти ключ к ним и которую из них выбрать для примера, для доказательства? Может быть, Звездочку? Нет, тяжела, массивна, большеголова, хороша, но, по всему видно, неподатлива, не скора на раздой. Буренку? Старовата. Может быть, Думку? Авдотья разглядывала Думку:

«Не велика, но крепкая. Морда маленькая, сухая, а крестец могучий, и задние ноги поставлены широко. А шерсть-то, шерсть! Гладкая, блестящая, как приклеенная лежит на коже!» Авдотья вспомнила, что и в прежние годы Думка иногда удивляла хотя и кратковременным, но быстрым повышением удойности.

Теперь предстояло подобрать подходящую доярку. Авдотья вспомнила, как слушала ее Ксюша Большакова. Едва ли не она одна поняла все то, что волновало Авдотью. Ксюша, словно угадав ее мысли, появилась на пороге вместе с Дуняшкой и Катюшкой.

— Маманя, маманя, мы тебя ищем!

Девочки подбежали к ней, она, не глядя, обняла их, притянула к себе и сказала Ксюше:

— Думку я отобрала для показа. Удой у нее средний, да уж очень хороша по экстерьеру!— Она с удовольствием выговаривала это новое слово, еще не утратившее для нее своей свежести.— Поручу я это тебе, Ксюша. Дело это не только тебя касается, это для всех должно быть доказательством. Понимаешь, Ксюша? Молоденькая ты, моложе всех на ферме. А я тебя выбрала. Полагаюсь на тебя.

Ксюша смотрела так, словно ее посылали в увлекательную и опасную разведку.

— Я все в точности сделаю, что ты мне скажешь, тетя Дуня!

Дойку Ксюша проводила по новому способу — кулаком. Полученную колхозом кормовую ссуду Авдотья использовала расчетливо. Особое внимание обратила она на рацион лучших животных. После разговора с Ксюшей

она составила рацион для Думки по всем правилам науки. Четыре раза в день она выводила Думку на прогулку. Ксюша возилась с коровой целый день.

К вечеру, когда подвели итоги, оказалось, что Думка сбавила удой на триста граммов.

— Так и должно быть!—успокаивала Валентина Авдотью и Ксюшу.— Корова еще не привыкла к новому режиму. Ксюша еще не научилась доить кулаком. Не расстраивайтесь! Завтра уже все будет лучше!

На следующий день Думка сбавила еще сто граммов.

Ксюша пришла к Авдотье, ни слова не говоря села на лавку у печки и заплакала. Авдотья и Валентина кинулись к ней:

— Ксюша! Да что ты? Что?

Она вытирала слезы бахромчатым концом черного полушалка и смотрела на Авдотью с горькой обидой:

— Ребята засмеяли... «Кладоискательница», говорят. «Клад, говорят, откопала из навозного золота!»

— Кто это говорит?

— Да Петро...

— Нашла чьи слова слушать!—с сердцем сказала Авдотья.— Надо было мне такое дело взрослому человеку доверить, а я на несмышленку положилась!

Ксюша сразу перестала плакать.

— Тетя Дуня, да ведь мне обидно! Я при Петре не плакала, я отбивалась, а сюда пришла—не стерпела!

— Какой у тебя комсомол слезливый!—упрекнула Валентина Алешу.— Плохо, плохо воспитываешь своих комсомолок!

— Ну вот, и мне из-за тебя попало!—улыбнулся Алексей.— Не ждал я от тебя! Ну да ладно! Садись пока к столу! Высушишь свое болото, тогда будет серьезный разговор!

Удой понизился не только у Думки, но и у других коров. Событие это взволновало весь колхоз. Валентина, Алеша, Лена, Василиса, Любава, Татьяна и Авдотьин заместитель Сережа Сергеев, прозванный, в отличие от других колхозных Сереж, «Сережей-сержантом», допоздна сидели за столом в кухне у Василисы и все пытались успокоить Авдотью и Ксюшу. Сережа незаметно для других держал Ксюшу за руку и шепотом обещал ей приструнить Петра. Ксюша сидела, оцепенев сразу и от горя и от блаженства.

— У нас тут целый штаб образовался сам собой!— шутила Валентина.

Утром в правлении Авдотья встретилась с Василием. Она встречалась с ним часто, всегда при людях, и говорили они всегда отрывисто и коротко и только необходимое.

— Что у тебя на ферме? Почему удой падает?— сумрачно спросил он.

— Не научились еще доярки доить по новому способу, да коровы не привыкли к новым порядкам,— волнуясь, ответила она.

Василий помолчал и посмотрел на нее исподлобья недоверчивым, коротким взглядом.

«Как же хорошо, что я в эти дни не возле него, а возле Вали да Алеши!» — невольно подумала она.

За день Думка сбавила еще двести граммов. С утра следующего дня Авдотья уехала по делам в Угрень, а через несколько дней, когда она вернулась, Ксюша увидела ее и побежала рядом с машиной. Ветер заносил концы полушалка на раскрасневшееся лицо девушки.

— Полтора! Полтора! — кричала она, пытаясь высвободить лицо.

— Что полтора? Еще полтора сбавила? — со страхом спросила Авдотья, готовая ко всяким бедам. Она свесилась с борта машины, словно собиралась выпрыгнуть на ходу и бежать на ферму.

Ксюша наконец освободилась от полушалка, сбившегося вокруг головы, и Авдотья увидела сияющее счастливое лицо.

— Прибавила! Полтора!

За несколько следующих дней Думка прибавила еще пол-литра и продолжала прибавлять. Она медленно, но несомненно выходила в рекордистки.

История с Думкой произвела впечатление не только на первомайцев, но и на животноводов из соседних колхозов. На ферму зачастили гости: всем хотелось узнать «Ксюшин секрет». Первомайцы впервые за последние годы почувствовали, что им есть чем погордиться.

Настроение на ферме изменилось, но самые удивительные перемены произошли в самой Ксюше. В Ксюшиной судьбе история с Думкой сыграла решающую роль.

Воспитанная строгой и требовательной матерью, Ксюша издавна пользовалась в колхозе репутацией тихони и скромницы. Этой репутации способствовали и ее молчаливость, и ее тоненькое смугло-бледное личико, и всегда опущенные ресницы, и сдержанные, робкие манеры. Она всегда держалась поближе к своей подружке Татьяне. Колхозники привыкли видеть их вместе. Рослая, круглолицая, задорная Татьяна обычно шла впереди широкими мальчишескими шагами, а чуть сзади нее семенила остролицая, тоненькая Ксюша.

— И что ты все за Танюшку хоронишься? — приставал к ней Петр, и Ксюша молчала, не зная, что ответить.

На ферме, возле Авдотьи, она постепенно осмелела, а

история с Думкой как бы завершила перелом, происходивший в ней. Она бойко рассказывала и соседним колхозникам, и гостям из района о своей работе с Думкой, о «кормовых единицах», о «перевариваемом белке», о «поддерживающем» и «продуктивном» корме. Она научилась выступать на собраниях и писать обличительные заметки в стенгазету.

Авдотью вскоре после ее приезда повысили в должности, поручили ей все колхозное животноводство. Она предложила на свое место на молочную ферму поставить Ксюшу.

— Девчонка! Тихоня! Смиренница! Материна дочка!— возражали колхозники.

— Мне с ней работать, а я лучше ее на ферме никого не знаю,— отстаивала Авдотья свою выдвиженку.— И не одна же она будет — всё около меня!

Так Ксюша стала заведовать молочной фермой. Свои новые обязанности она выполняла с азартом и настойчивостью. Корма выдавала только с веса, строго следила за рационами и распорядком дня, сепараторную и приемочную комнаты украсила занавесками и салфетками из накрахмаленной марли. Она ходила теперь в белоснежном халате и в такой же белоснежной косынке, повязанной тюрбаном. На поясе у нее всегда висела связка разнообразных ключей — от сепараторной и от молочной кладовой, от кормовой, от стола с документами и от множества других сундучков и ящиков, назначение которых знала она одна. Ключи мелодично звенели, халат распространял сияние, темные глаза блестели из-под косынки, и все это, наряду с Ксюшиной молодостью и деловитостью, производило неотразимое впечатление и на первомайцев, и на всех приезжих.

— С Думки все пошло!— говорил сторож Мефодий.— Скажи пожалуйста, какой талант в Ксюшке открылся к этой самой Думке!

Перемены в Ксюше и ее судьбе, происшедшие с разительной быстротой в течение двух-трех недель, взбудоражили всю первомайскую молодежь; особенно взволновали они Татьяну, которая привыкла считать себя сильнее и деловитее подруги.

Татьяна тоже безошибочно чувствовала в себе «талант», только талант этот еще «не открылся», и Татьяна никак не могла определить, в чем он заключается.

«У Ксюшки открылся талант к Думке,— размышляла она,— а у меня к чему откроется? У меня он тоже должен открыться, без этого я не проживу! Скорей бы уж он открывался! А то ходишь как бесталанная: люди-то ведь не видят, что у тебя внутри притаилось!»

История с Думкой еще больше укрепила уверенность Авдотьи и в себе, и в реальности своих широких замыслов. Какой ничтожной и неумелой казалась ей теперь прежняя работа на ферме, когда все сводилось к тому, чтобы вовремя покормить и подоить коров! Теперь на фермах строго рассчитывали рационы, выявляли возможности животных, выделяли племенные и раздойные группы, проводили бонитировку стада, занимались подбором производителей, переоборудовали и электрифицировали кормовую кухню. Кроме этой сложной повседневной работы, шла кропотливая подготовка к весне — к освоению лугопастбищного и прифермского севооборотов, к залужению поймы, к строительному сезону.

Хозяйство сделалось сразу таким многосторонним и сложным, что уже невозможно стало за всем «доглядеть» самой и недостаточной оказалась сила личного примера. Те методы, которыми Авдотья руководила прежде, стали явно непригодны.

Теперь необходимо было и учить людей, и растить из них организаторов, и увлекать их своими планами, и превращать их в своих помощников. Авдотье помогали ее неизменная настойчивость и способность отдавать всю себя тому делу, которое она делала. Она ничего не умела делать наполовину,— это было основной чертой ее характера. Веселилась ли она девочкой Ва́щуркой на лесной поляне, верховодила ли звеном на картофельном поле, бежала ли вечером навстречу любимому, училась ли на курсах — все она делала в полную меру душевных сил, щедро и беззаветно, забывая о себе самой, о своих удобствах и неудобствах, выгодах и невыгодах. С тем же свойственным ей самозабвением работала она на ферме, и окружающие не могли не видеть этого.

Авдотья никогда не задумывалась над тем, как «создать» себе авторитет и каким тоном отдавать приказание. Она помнила и знала одно: все задуманное необходимо сделать как можно лучше и как можно скорее.

— Это надо сделать! — говорила она, и в коротких, спокойных словах ее звучала такая заражающая убежденность, что все понимали: действительно, надо сделать.

И делали... Не всегда быстро, не всегда хорошо, но все же делали. Правда, в первое время всякое, даже мелкое, нововведение требовало больших усилий.

Даже такое простое нововведение, как обычай подвязывать коровам хвосты во время дойки, укоренилось не сразу и потребовало упорства и изобретательности. Но радостно было то, что Авдотья уже видела около себя помощников и единомышленников.

Однажды во время дойки она остановилась около

Тани-барыни и Ксюши, не замеченная ими. Ей хотелось посмотреть, как управляется молоденькая Ксюша с упрямой старухой, которую недавно, к Авдотьиному неудовольствию, перевели в доярки.

— Вчера вы, Татьяна Ксенофонтовна, опять не кулаком доили, а пальцами,— укоризненно говорила Ксюша.

— Кто это тебе сказал такую ересь?

— Коровы ваши мне сказали! Почему удойность снизилась? У всех повышается, а у вас идет книзу! Уж я знаю! Как начнут то по одному, то по другому способу выдаивать, так минимум пол-литра с коровы недосчитаешь.

— Кулаком дою... не видишь, что ли?— мрачно отозвалась Ксенофонтовна.

— Прихватывать надо глубже! И массаж вы лениво делаете. Ведь говоришь вам, говоришь о пользе массажа, даже досада возьмет. На золоте стоим — нагнуться ленимся!— сердито заключила Ксюша, явно подражая Авдотьиным интонациям.

Авдотья тихо засмеялась и спряталась за стенку стойла. Слова Ксюши не только обрадовали, но и взволновали ее.

«Вот как оно расходится!— думала она.— От Петровича эти слова ко мне перешли, от меня — к нашей Ксюше, а от нее, глядишь, еще к кому-нибудь! Ах ты, Ксюша, сама-то ты наше золото!» — с нежностью думала она о девушке.

А Ксюша между тем не отступала от Тани-барыни.

— И опять у вас корова хвостом трясет над подойником,— обнаружила она новый непорядок.— Почему не подвязали ей хвост?

— А чего его подвязывать? Чай, хвост — не девичья коса! Всю жизнь так доим, а худа не видели!

— У себя дома хоть помелом трясите над подойником, а на ферме надо соблюдать санитарные правила. Молоко должно быть чистым.

— Будто уж оно и грязное!

— Грязное. Ведь проводила тетя Дуня беседу, показывала на картинках, какие бывают микробы, возбудители болезней! На коровьем хвосте таких микробов тысячи, а она у вас хвостом размахивает над самым подойником.

— Ладно уж... В другой раз подвяжу!— нехотя сказала Ксенофонтовна.

Авдотья решила прийти Ксюше на помощь. Она вышла из своей засады.

— Поди сюда, Ксюшенька!

Ксюша подбежала к ней.

— И что мне с ней, тетя Дуня? Не стоять же над ней целые сутки! И прислали ж к нам на ферму такое лихо!

— Погоди, девонька! Мы ее доконаем!

Когда все четыре доярки принесли молоко учетчику, Авдотья сделала четыре ватных фильтра и стала фильтровать по отдельности все четыре порции.

— Что ты задумала, Авдотья Тихоновна?— забеспокоились доярки.

— А я, девушки, грязь ловлю. Узнаю, которая из вас всех больше грязи напустила в молоко.

Все фильтры, кроме того, через который фильтровали молоко, надоенное Ксенофонтовной, оказались чистыми.

Ксюша, по указанию Авдотьи, прибила их к доске показателей, устроенной около фермы, и над ними старательно написала мелом:

«Товарищи колхозники! Смотрите, как работают наши доярки! Самая неаккуратная доярка—Татьяна Ксенофонтовна Блинова. Глядите, сколько грязи она напустила в молоко!»

Впечатление оказалось сильнее, чем ожидала Авдотья.

Большая входная комната фермы была сборным пунктом, куда собирались бригады с утра и после перерыва, перед тем как выезжать в поле. Сюда же приходили колхозники за молоком. Здесь всегда было много народу. Люди толпились у доски показателей, рассматривая Авдотьины «экспонаты», смеялись над Ксенофонтовной. Ксенофонтовна молча сидела в углу, дожидаясь, пока учетчица вызовет ее для сдачи молока.

Когда она вышла из угла, то оказалось, что глаза у нее мокрые.

— Спасибочки вам, Авдотья Тихоновна!—сказала она с горьким упреком.— Еще ты вот этакая была, когда я тебя люлюкала. Мать-то твоя, бывало, уйдет на работу, а тебя мне подкинет. А в двадцать пятом году я тебе свистульку резиновую с ярмарки привозила да двух раскрашенных петушков! По старинным обычаям, за добро добром платят, а у вас, у нынешних, видно, другой порядок. И на том спасибо, что определили меня в грязнухи! Низкий поклон вам за это!

Она поклонилась в пояс и вышла. Авдотья растерялась, ей стало жаль Таню-барыню, а доярки смеялись:

— Видно, крепко ты ее пробрала, если она тебе припомнила резиновую свистульку с двадцать пятого года.

Авдотья смеялась вместе с ними, а про себя думала: «Велико ли дело—коровьи хвосты, а сколько с ними хлопот! Целую витрину из-за них пришлось организовать... Иначе не убедишь народ».

Успешная работа на ферме радовала Авдотью и помогала ей переносить тягостный семейный разлад.

Растревожила и надолго вывела ее из равновесия одна

случайная встреча. Авдотья ехала в Угрень с попутным грузовиком. У соседнего селения, в котором жила мать Степана, грузовик остановился, и к нему подбежали три женщины. В одной из них Авдотья узнала свою бывшую свекровь Анну и поспешно укрылась за мешками, избегая встречи. Анна никогда не любила Авдотью и не могла простить ей того, что она, немолодая и детная, «опутала» Степана, который был моложе ее, мог жениться на молоденькой и иметь своих детей.

Старуха помогла усесться в грузовик двум своим спутницам — пожилой женщине и совсем молоденькой веснушчатой миловидной девушке.

— Ой, банки не подавились бы! — весело говорила молоденькая.— Мама, дайте я эту банку в руках повезу. Брусничное варенье, Степана Никитича любимое!

— Носки-то шерстяные я не поспела связать! Шерсти положила три клубка — пусть отдаст связать! — наказывала старуха.

— Не сомневайтесь, Анна Николаевна, мы с Олюшкой сами свяжем! Не сомневайтесь! — говорила пожилая.

— Да скажите ему, чтобы он шарфом повязывался! У него грудь слабая!

— Мы за ним наблюдаем! — веселым, певучим голосом сказала молоденькая.

Когда женщины уже уселись, Анна вдруг, словно ее толкнули в спину, потянулась к молоденькой, порывисто обняла ее и поцеловала. Глаза ее повлажнели, взгляд был нежен и значителен. И так же порывисто ответила на ее ласку девушка. Она сразу вспыхнула и взглянула на свою мать глазами испуганными и счастливыми.

Авдотья оцепенела. Что это было? Молчаливое благословение? Безмолвный сговор о том, о чем еще рано говорить словами?

Машина тронулась. Женщины оказались на редкость приветливы, словоохотливы и быстро завоевали расположение всех попутчиков.

— Поставили его к нам на квартиру, я сперва-то противилась, к начальнику лесоучастка с жалобой ходила! — весело рассказывала пожилая.— А он такой оказался человек, такой человек, ну, лучше родного сына. Нынче в гостях были, старшая дочь у меня здесь в Карповке выдана, так решили попутно к его матери заехать, посылку забрать да и просто познакомиться. Уж очень редкостный человек жилец-то наш.

— Дом ему обещают выстроить на лесоучастке...— тихо сказала девушка, глядя прямо перед собой.

С болью и горестным любопытством смотрела Авдотья на юное, почти детское личико.

В этой смеси страха и радости, в этом робком и жадном предчувствии счастья Авдотья угадывала самое себя; свою первую, едва проснувшуюся, еще самой себе непонятную любовь.

Авдотьина первая радость была слишком быстро надломлена, и только большая сила любви и юности помогла ей оправиться и снова пойти навстречу счастью по первому зову Василия.

Степан — не Василий. Степан побережет девичье сердце, не оттолкнет рук, тянущихся к нему навстречу.

Авдотья снова и снова вглядывалась в лицо девушки.

Если б выбирала невесту для сына, для брата, для лучшего друга, то выбрала бы как раз такую: веселую, нежную, любящую, открытую.

В Угрене Авдотья слезла с грузовика и остановилась, оглядываясь, где бы найти такой закуток, чтоб хоть ненадолго укрыться ото всех, побыть одной, выплакать те слезы, что подступили к глазам. Такого закутка не было. Она пошла в райисполком и задержалась у большого зеркала. Стареющая женщина с тонкой прорезью морщин у глаз смотрела на нее печально и кротко.

Через несколько дней она получила письмо от Степана:

«Дуня, голубушка, только что узнал, что ты ушла от Василия. Приехать сейчас не могу, на работе не отпускают: сейчас самая горячка — кончаем сезон. Прошу тебя, напиши срочно, как и что. Может, сама сюда приедешь или мне приезжать? Не знаю, что писать дальше, в ожидании твоего письма

любящий тебя *Степан*».

Дуня всю ночь не спала, обдумывая ответ, а утром написала:

«Степушка, уехала я от Васи временно, по недоразумению между нами. Навовсе мне с ним порвать нельзя — детей от отца не оторвешь. Прошу я тебя, родимый мой, живи, обо мне не думай, не пропускай своего счастья. Вася — отец моих детей, и мне от этого не уйти, а недоразумение, что у нас вышло, должно пройти».

Авдотья писала о «недоразумении», которое «должно пройти», для того, чтобы не томить Степана напрасными надеждами и тревогами. В действительности она все меньше верила в возможность нового сближения с Василием и все дальше отходила от него.

Однажды вечером они с Василием встретились лицом к

лицу. Василий шел от Буянова. В гостях он крепко выпил.

Увидев Авдотью, он схватил ее за руки:

— Дуня, что ж мы наделали друг с другом? Дуня!

Она испугалась и рванулась от него. С трудом приобретенное спокойствие сразу исчезло от одной этой фразы, она не спала всю ночь в тревоге и ожидании.

Если бы он повторил эти слова еще раз, если бы сказал их трезвым, она не устояла бы, она вернулась бы к нему. Она вернулась бы без света и радости в сердце, без уверенности в счастье, но с желанием во всем идти навстречу мужу и все создать заново.

Но тогда он не повторил этих слов. А потом, встречаясь с ней в правлении или на ферме, он держался еще суровее и говорил еще резче, чем прежде. Была ли случайной, забылась ли та пьяная фраза, сказанная на дороге, или он понял испуг Авдотьи и ее молчаливое бегство как бесповоротный отказ вернуться к нему? Авдотья не знала этого, но она была рада, что он не повторял своих слов, что ей не приходилось заново все передумывать, заново ломать себя и бередить незажившие раны. Только какие-то новые, большие и хорошие поступки и чувства могли помочь им забыть старое и начать все с начала. Пока этого большого не было, Авдотья не могла заставить себя подойти к Василию и пугалась одной мысли о возвращении к нему.

Сперва она боялась, что детям будет плохо без отца, в чужом доме, но вскоре убедилась в обратном.

В многолюдном и веселом доме Василисы девочки чувствовали себя гораздо лучше, чем в мрачном отцовском доме. Василиса рассказывала им сказки, Алеша мастерил им игрушки и катал на санках, Валентина играла с ними в жмурки, в «кошки-мышки», Лена снабжала их книжками.

К удивлению Авдотьи, девочки, несмотря на тоску по отцу, стали спокойнее, ровнее, в разговоре у них появились новые темы и новые слова. Особенно восприимчива была Дуняшка, которая постоянно смешила все разросшееся семейство Василисы. Когда Валентина привезла ей из Угреня резинового петуха, Дуняшка склонила голову набок, осмотрела петуха со всех сторон и Авдотьиным голосом снисходительно изрекла:

— Ничего по экстерьеру.

У нее появились собственные политические убеждения и планы.

— Черчилль — очень плохой! — заявила она во всеуслышание за ужином. — Когда я вырасту, я его повыгоняю.

— Куда ж ты его повыгоняешь? — поинтересовалась Валентина.

Дуняшка не замедлила с ответом:

— В пустыню Сахару!

— А что он там будет делать?

Дуняшка и тут не растерялась, судьба Черчилля предопределена ею заранее:

— Он там ветряки будет строить, чтоб воду из моря гнать нам на ферму.

— Всех смешала в одну кучу! — смеялась Валентина.— Черчилль — это главным образом от Алеши, пустыня Сахара — от Лены, а ветряки и вода для фермы — это наши с Дуней болячки!

Вскоре после приезда из города Авдотья по поручению Валентины делала доклад для молодежи о том, что она услышала на курсах. Она с помощью Лены и Алеши подготовила таблицы и рисунки и настояла на том, чтобы молодежь собралась в школе.

— Мне надо, чтобы и доска была, и столики, где записывать, и чернильницы на столах.

Прасковья вышла послушать и волновалась за нее. Катюша и Дуняшка сидели на задней парте вместе с Прасковьей и с гордостью поглядывали на окружающих. Каждому входившему Дуняшка сообщала:

— А наша мама сегодня будет учительницей!

Когда все уселись, Авдотья вышла к доске. Она была принаряжена в новую сатиновую горошком кофточку. От волнения щеки ее разгорелись. Похудевшая, розовая, большеглазая, она казалась очень молодой.

«Как-то Дуня справится? — думала Валентина.— Работница она золотая, но молчунья. Ну да как-нибудь! Что она не сумеет рассказать, то я добавлю».

Авдотья несколько раз сделала такое движение губами, словно хотела и не могла начать говорить. И когда слушатели уже начали волноваться за нее, вдруг заговорила спокойно и ровно:

— Картофель и хлеб, кони и коровы — все, чем мы живы, от чего идет питание и жизнь человека,— все это создано человеческим трудом и руками. Как посмотришь на руки,— она протянула ладони,— маленькие! Что они могут? А как подумаешь, да послушаешь ученых людей, да поглядишь вокруг, так диву даешься: чего только ими не поделано! Каким же путем получаются коровы-ведерницы из маломолочных животных и картофельные клубни на полкилограмма весом из маленького картофеля? Создаются они одним путем, а в пути этом две тропы — отбор и воспитание...

«Душенька, Дуняшенька! — нежно думала Валентина.— Несколько фраз сказала — и самое важное сумела передать».

А Дуня продолжала:

— Путем воспитания можно воздействовать на свойства любого растения. За примером нам недалеко ходить. Вспомните, как в нашем соседнем колхозе «Заря» добились раннего созревания капусты. Они растили ее в торфяных горшочках. Нынче в июне еще ни у кого во всем районе не было капусты, а они возами возили. Капуста тогда еще в диковину была, ее с руками рвали, большие деньги платили...

Авдотья говорила целый час, и доклад ее слушали с неослабевающим вниманием. Все были довольны, и только на Татьяну — бригадира огородной бригады — доклад произвел впечатление совершенно неожиданное. Она мрачнела с каждым Авдотьиным словом, смотрела на докладчицу с явным гневом, а минутами оборачивалась к Валентине и сверкала сердитыми и укоризненными глазами. Едва Авдотья кончила доклад, Татьяна встала и сказала срывающимся голосом:

— А теперь, поскольку доклад окончен, я прошу освободить меня от бригадирства. Как хотите, а бригадиром я не буду!..

Она села, наклонила голову и так натянула платок, что спрятала лицо.

Такого вывода из всего сказанного никто не ожидал. Все опешили.

— Вот тебе и раз!

— Да ты что, Танюша, белены объелась?

— Вот это высказалась деваха! Что с ней сделалось?

Авдотья подошла к Татьяне:

— Танюша, да ты что?

Татьяна еще ниже склонила голову и молчала.

— Танюша, а Танюша? Да чего ты? Не пойму...

Авдотья тронула девушку за плечо. Татьяна оттолкнула ее и подняла голову. Круглые щеки были залиты румянцем и мокры от слез. Синие большие глаза сверкнули гневом и обидой. Татьяна поняла, что ее сокровенный «талант», которого она так нетерпеливо ожидала, мог открыться как раз в ранней капусте. Она живо воображала, как в трудные дни перед новым урожаем в опустевшую колхозную кассу текут тысячи, добытые ее, Татьяниными руками. О торфяных горшочках она читала, но не представляла себе всей их силы и теперь сердилась и на себя, и на Авдотью, и на Валентину.

— Спасибо тебе, Дуняшка, спасибо! И вам тоже спасибо, Валентина Алексеевна. Выбрали меня бригадиром, а я-то, дурочка, положилась, доверилась: чего, мол, не знаю, тому научат, помогут не опозориться, научат не хуже людей быть! А вы... Не могла ты мне, тетя Дуня,

описать, что, мол, так и так, Танюшка, готовь торфяные горшочки, высевай раннюю рассаду? Про Думку свою небось писала на ферму? И расчет рационов, и всякие советы чуть не каждый день отписывала, а об огородной бригаде у тебя печали нет! А на вас, Валентина Алексеевна, я и глядеть не хочу. И не подходите вы ко мне! Говорите, в «Заре» на ранней капусте колхоз тысячи заработал. А мы не могли? Мы чем хуже? Да скажи мне это две недели назад, все бы я приготовила. А теперь что же? Рассаду уже высеваем. Тысячи в руках были — из рук вышли. Спасибочки вам обеим!

Татьяна села и, не скрываясь, заплакала. Плакала она сердито и красиво, закусив крупные губы, нахмурив темные брови.

Авдотья и Валентина почувствовали себя виноватыми и растерялись. Валентина была по горло занята зерновым хозяйством,— и по должности и по специальности она была полеводом,— но это не оправдывало ее, и она не могла простить себе того, что упустила из виду огородную бригаду.

— Танюшка, виновата я, закружилась с зерновым хозяйством, огород выпустила из виду,— каялась она Татьяне.— Вот тебе моя повинная голова.

— А что я с твоей головой буду делать? Капусту из нее не вырастишь!— сердито всхлипывала Таня.

— Танюша, еще не все пропало: ты рассаду высевай в парники, а пикировать будем в торфяные горшочки.

— А где они, торфяные горшочки?

— Наделаем.

— Когда? Дуняша вон говорит, в «Заре» их зимой делали...

— А мы в неделю сделаем! Одни мы с Авдотьей, чтобы ты на нас не сердилась, сделаем тебе пятьсот горшочков. Да не плачь ты, ради бога!.. Все равно на дворе мороз, зима, на твое счастье, затянулась, успеем мы с твоей капустой.

Но Татьяна, видя, что ее слезы производят впечатление, пустилась плакать еще сильнее.

— Алеша, давай сейчас же откроем комсомольское собрание,— предложила Валентина.— Комсомольцы все здесь. Остальных тоже пригласим присутствовать. Решим этот вопрос.

Алеша открыл собрание.

— Предлагаем каждому комсомольцу и каждому сознательному колхознику сделать в ближайшие два-три дня не меньше чем по триста навозно-торфяных горшочков,— сказала Валентина.— Торф Василий Кузьмич завтра же привезет, навоз и минеральные удобрения у нас есть,

ночки две-три посидим и сделаем. Приспособления для поделки Алеша смастерит.

Предложение Валентины долго и активно обсуждали все, кроме Татьяны.

Татьяна участвовала в обсуждении оригинальным способом: она молчала, когда высказывались «за», и начинала громко всхлипывать, когда высказывались «против».

И только когда предложение Валентины было принято, она успокоилась и сказала:

— А как с парниками? Если в горшочках растить, то и парники надо увеличивать. Парники у нас есть добавочные, да стекла к ним нет.

Снова начались жаркие дебаты.

— Петруня, выйдем на минутку, важное дело есть,— мигнула Фроська Петру под шумок.

Они вышли.

Ксенофонтовна спокойно сидела за самоваром и не чуяла нависшей над ней беды. Настроение у нее было превосходное. Утром они с Фроськой ездили на базар продавать творог, сметану, соленые грибы, и Фроська радовала Ксенофонтовну своими талантами. Она с азартом торговалась из-за каждого гривенника. Она отпускала и вновь зазывала покупателей, строила глазки покупателям мужского пола и, не жалея голоса, нахваливала свой товар так, что слышно было за километр. Она разыгрывала целые спектакли, в которых обида на скупость покупателя чередовалась с высокомерием, а высокомерие сменялось неожиданной уступчивостью, тут же сменявшейся полной непреклонностью. Ксенофонтовна считала себя опытной продавщицей, но и она отошла на задний план и только молча любовалась дочерью. Прихлебывая чай с блюдечка, она вспомнила Фроськины таланты и думала: «Золотая девка! На пятьдесят рублей больше наторговала, чем рассчитывала,— все через нее. Добытчица!»

В этот момент в комнату ворвалась Фроська, молча проследовала в чулан, где хранились главные сокровища Ксенофонтовны, стала вытаскивать оттуда одно за другим большие, нерезаные стекла и передавать их Петру.

В прошлом году, когда Фроська много выручила за картофель, она решила вставить себе в окна новые рамы из цельных, не резанных оконными переплетами стекол. Такие окна были в большой моде в пригородном колхозе, куда высватали Фроськину приятельницу. Характер у Фроськи был решительный, и, размечтавшись о нарядных окнах цельного зеркального стекла, она тут же купила у стекольщика стекло по дорогой цене — ни много ни мало на тысячу рублей.

Когда Ксенофонтовна узнала об этом, она сперва заплакала, но вскоре успокоилась. Стекла были живым капиталом,— за ними надо было ехать в город,— и Ксенофонтовна оказалась вне конкуренции: она запрашивала за кусок стекла сколько хотела.

Узнав, что Фроська уносит этот живой капитал, Ксенофонтовна поперхнулась чаем и спросила:

— Куда?

— Колхозу.

— За сколько продала?

— Оставьте меня, маманя, с вашими пережитками!— гордо сказала Фроська.— Пошли, Петро!

Фроська исчезла так же мгновенно, как появилась. Ксенофонтовна неподвижно сидела, сраженная этим молниеносным появлением. Она никак не могла постигнуть свою дочь, разноглазую Фроську, которую она породила, но которая оказалась совсем иной, непонятной породы.

— Господи!— шептала она.— И что это за девка?! Из-за гривенника торгуется на базаре, как окаянная, а тысячи бросает не сморгнувши.

Когда Фроська и Петр появились на собрании, неся впереди себя большие, в человеческий рост, стекла, все ахнули.

— Прошу комсомольское собрание принять от меня подарок,— с шиком сказала Фроська.

— Фросюшка!— Татьяна кинулась целовать Фроську, и та милостиво подставила круглую щеку.

Валентина сделала все возможное, чтобы загладить свою вину. На другой же день она сама договорилась в соседнем колхозе, у которого были торфяные болота, и сама вместе с возчиками и комсомольцами поехала за торфом. Она провела беседу со школьниками. На следующий вечер в пустой избе, где когда-то обрабатывали лен, негде было упасть яблоку: пришли и комсомольцы, и школьники с Леной во главе, и Валентина, и Прасковья с Василисой. На досках, уложенных в несколько этажей, сохли сотни новеньких торфо-навозных горшочков.

Татьяна мудрила над своей капустой. Она засыпала горшки золой, чтобы на рассаде не появилась кила, она не расставалась с термометром, который, к удивлению колхозников, тыкала в разные места: то в парниковую землю, то в расщелины парниковых стенок, то внутри парников, то снаружи.

Когда проглянули росточки, она стала приоткрывать парниковые рамы.

— Танюша, ты чересчур увлекаешься. Переморозишь рассаду!— предупреждала Валентина.

— Сами же вы с Дуней говорите: отбирать и воспитывать. У меня посеяно густо, с запасом: которые стебельки от холода зачахнут, те я выполю, а на их место другие высею, а которые устоят, те уж будут отборные, морозоустойчивые, крепкие!

Она тряслась над своей рассадой, как клуша над цыплятами: то закрывала, то открывала рамы, то вырывала слабые растения, то подсевала новые семена, то подкармливала, то поливала.

У нее была какая-то своя система, непонятная непосвященным. В одном месте у нее росла рассада, подкормленная калием, в другом — неподкормленная, в первом парнике были самые морозоустойчивые растения — она дольше других держала их открытыми; другой был самым теплым — она открывала его реже, чем другие.

Она знала на память чуть не каждый стебель и даже давала им имена. Один стебелек она назвала «пионерчик», потому что он первым проклюнулся и первым выпустил листок.

В течение нескольких недель Татьяна не могла ни о чем, кроме капусты, разговаривать. Она донимала Василия бесконечными требованиями: то ей нужны были маты, то срочно понадобились калийные удобрения, то ей не нравился участок, отведенный под капусту, и она со слезами требовала другой — на солнечном косогоре.

— Повадили тебя плакать,— полушутя, полусерьезно говорил Василий,— торфяные горшочки выплакала, стекло для парников выплакала. Повадили девку!

Татьяна смотрела на него искоса влажными от слез, смеющимися глазами: она и в самом деле не была слезливой и рассчитывала на слезы как на «способ воздействия», который уже выручал ее в тяжелых случаях.

А рассада росла на славу. Небольшие, кудрявенькие, коренастые растения радовали огородников.

Однажды выпал поздний весенний снег, и вскоре к Василию явился рассерженный Матвеич:

— Погубила ведь рассаду-то непутевая девка! Целую раму выморозила, не иначе. А какая была рассада! Любоваться можно!

— Почему ты думаешь, что погубила?

— Иду мимо парников, смотрю: рама открыта, а на рассаде снег! Я Татьяну крикнул, а она мне в лицо градусник тычет и слушать ничего не желает.

Василий вызвал Татьяну.

— Ты чего это мудришь с рассадой? Почему не

уберегла ее от снега? Для того я тебе торф возил, для того парники ремонтировал, чтобы рассаду губила?!

— Она у меня воспитанная по часам да и по градусам,— бойко ответила Татьяна.

— Гляди ты, довоспитываешь!

— Я знаю, чего делаю! Нынче было минус два градуса, это для нее безопасно.

На людях она храбрилась, но дома, когда она осталась одна, ей вдруг стало страшно.

Алексей уже собирался спать, когда кто-то стукнул в окно. Он вышел на крыльцо и в лунном свете увидел жалобное большеглазое лицо Татьяны.

— Алешенька, пойдем со мной до парников.

— Что у тебя случилось? Чего в полночь на парники бегать?

— Да боюсь я, Алеша... не поморозить бы рассаду...

— Всю рассаду боишься поморозить?— встревожился Алексей.

— Да нет, Алешенька, первую раму. Да мне эту раму жальче всего. Эта рама у меня опытная, самая морозоустойчивая. Сходим, Алешенька, поглядим. Если что случилось, я одна и до дому не дойду. Как лягу на первую раму, так и помру!

Алексей взял фонарь, и они отправились в путь. Идти было трудно. Грязь, раскисшая утром, ночью оледенела, и дорога была неровная, кочковатая. Сильный, повесеннему влажный ветер бил в лицо и раскачивал фонарь в руках у Алеши. Шли они молча и торопливо.

Над парниками плыла плотная темнота. Свет фонаря отражался от стекол и почти не освещал того, что было за ними.

На минуту вырвался из темноты один крепенький стебелек в углу парника.

— «Пионерчик»...— шепнула Татьяна.

— Что пионерчик?— не понял Алексей.

— Первенький росточек я так прозвала. Стоит! Глядика, Алеша: ведь не полег! Ведь стоит!

— Может, он еще не враз поляжет?

— Давай, Лешенька, укроем парники сверху матами.

— То ты их морозишь, то матами укрываешь. Ну тебя! Пойдем домой, утро вечера мудренее!

Но Татьянино беспокойство искало выхода. В темноте она нашла маты и укрыла раму. Ночью она спала плохо, а утром побежала на парники. Подойдя, она зажмурилась: боялась взглянуть и увидеть беду. Потом сосчитала в уме: «Раз, два, три!»— и открыла глаза.

Растения были такие же крепенькие, как раньше, и только несколько стебельков одрябли, полегли на землю.

Она сидела на краю парника и вглядывалась в каждый листок, успокоившаяся, притихшая от радости.

Полеводы ехали мимо и заглянули к огородникам.

— Ну, как у тебя? — властно спросила Фроська. После того, как она подарила огородной бригаде стекло, она считала себя главной владелицей парников.

— Хорошо,— тихо сказала Татьяна.

— Ты гляди, не поморозь мне рассаду-то! — распорядилась Фроська.— Матвеич и тот беспокоится.

А Матвеич и Алеша были уже рядом.

— Стоят? — удивился Матвеич.

— Стоят.

— Дивное дело! Не померзли!

— Воспитанные! — Таня прижалась щекой к стеклу.— Стоят, милушки мои, стоят, умники мои, стоят, дорогушечки...

— Целуйся с ними! — усмехнулся Петр.— Лучше бы меня поцеловала! Пошли, ребята!

Не успели уйти полеводы, как возле парников показалась Авдотья.

— Ну как, Танюшка? Не померзли?

— Живехоньки!

Весеннее солнце отражалось в парниковых стеклах. Щурясь и нагибаясь, Авдотья старалась заглянуть в глубь парников.

— Солнце бьет в глаза, не видать...— говорила она и вдруг, увидев, радостно ахнула: — Ровненькие, да веселенькие, да большие какие!

Тугие зеленые растеньица тянулись к солнцу, топорщили маленькие листья, и такая сила жизни чувствовалась в их упругости, что Авдотья долго не могла отвести глаз. Налюбовавшись вдоволь, она ушла с парников, занялась своими многочисленными и хлопотливыми делами, но в течение всего дня нет-нет да вставала перед глазами влажная земля с остатками ноздреватого снега, солнце, дробящееся в парниковых стеклах, и сочная зелень тугих маленьких листочков.

«К чему это я ныне все вспоминаю их? Все стоят передо мною! — думала Авдотья.— Ни мороз их не взял, ни наше запоздание им не повредило. Пробились из земли, растут, и ничто их не удержит, словно какой-то знак хороший подают. Для кого тот знак? Для нашего колхоза? А может, для меня самой?.. Ох, нет! Ни к чему мне о самой себе думать!»

Она решительно отвела мысли о себе, загнала их в глубину, заперла семью печатями.

«К нашей колхозной удаче этот знак! К доброму году!»

2

ТЕМП

Собрание, на котором обсуждалось заявление Любавы Большаковой, как бы завершило перелом, начатый в феврале. Люди заново осознали силу своего единства, вера в которое поколебалась за годы упадка колхоза. Отошла на задний план ненавистная Василию «веревочка», зато на льнопункте постоянно толпился народ. Название льнопункта сохранилось по старой памяти: лен давно переработали и сдали, и теперь льнопункт превратился в место всяческих сверхурочных работ. Здесь хранились решета и грохоты, и сюда по вечерам приходили комсомольцы, чтобы отобрать лучшие семена для семенного участка, здесь Алеша проводил агроучебу, здесь доярки шили халаты, полотенца, марлевые занавески для молочной фермы, здесь старики ремонтировали сбрую.

У Василия было такое ощущение, как будто долго и с трудом раскачивали тяжелый и скрипучий воз, который все не двигался и вдруг, сдвинувшись, пошел с неожиданной скоростью.

Всего удивительнее была эта почти неправдоподобная быстрота подъема. Василий понимал, что это закономерно, что все вокруг помогают подъему, что сила и опыт колхоза не создаются заново, а как бы пробуждаются от сна, и все же сам он не мог не удивляться чуду преображения.

Еще совсем недавно на семенном складе лежало мелкое и сорное зерно, на ферме тоскливо мычали отощавшие от бескормицы коровы, в амбарах валялся сваленный в кучу неисправный инвентарь, на работу люди собирались лениво и поздно. Теперь все изменилось. Семенное зерно, которое получили в обмен на свое, было чистым и крупным, коровы оправились на сене, частью купленном, частью полученном в виде помощи от государства; в амбаре хранился перечиненный инвентарь, люди выходили на работу минута в минуту.

Еще неисчислимы были те трудности, которые испытывал колхоз, но уже много появилось и того, чего не было никогда, что превосходило даже самые лучшие дни. Никогда прежде колхоз не имел ни электромоторов, ни дождевальных установок, ни такого запаса минеральных удобрений...

Новая весна шла как весна машин и высокой агротехники.

Василий с попутной полуторатонкой собирался ехать в Угрень на лекцию о международном положении, которую

должен был читать для партактива обкомовский лектор. Он неторопливо шел к складам, где грузовик стоял на заправке.

Начался апрель, весна сливалась с затянувшейся зимой,—день был по-зимнему многоснежным, по-весеннему влажным и теплым. Липкие и тяжелые хлопья лениво падали с облачного неба. Поравнявшись с инвентарным складом, Василий замедлил шаг и стал нащупывать в кармане ключи. Он нашел ключи, стряхнул с ресниц и бровей снег, прищурившись, взглянул вперед, туда, где темнела полуторатонка, окруженная суетливыми фигурками людей, и решительно шагнул к складу.

Здесь хранились добытые в кредит с помощью райкома новенькие, с иголочки, механизмы: триер, лобогрейка, два электромотора и электрическая дождевальная установка. Василий привез их на прошлой неделе и с тех пор непрерывно ощущал их присутствие, как ощущают присутствие любимого человека. Часто между делами, без всякой необходимости, он открывал склад (ключи от него он не доверял никому) и расхаживал возле машин, в одиночестве наслаждаясь своими сокровищами. И на этот раз он не удержался, отомкнул огромный замок и вошел. Поток неяркого света, хлынувшего в дверь, выхватил из полумрака таинственно блестящий металл механизмов. Они стояли неподвижные, тяжеловатые, сонные и все же готовые к жизни и действию. Даже в их неподвижности чувствовалась дремлющая стремительная сила, которая притягивала Василия.

Он полюбил машины с тех давних дней, когда впервые увидел трактор. С годами эта любовь превратилась в насущную потребность, и земля, оторванная от машин, казалась ему такой же пустынной и заброшенной, как жилье без человека. Он смотрел на механизмы и представлял себе тот долгожданный час, когда электромоторы будут установлены, когда триеры и молотилки заработают на электроэнергии. Мечта о новом токе, об электромолотьбе с каждым днем становилась реальнее. Когда-то единственной реальностью были те шероховатые бревна на лесосеке, которые Василий темным зимним утром рассматривал при свете фонаря. Теперь эти бревна, уже ошкуренные и гладкие, штабелем лежали у холма, а здесь, на складе, стояли электромоторы. Василий еще ни разу не услышал их гула, их живого биения, но он уже мог потрогать их гладкую холодную поверхность и рассмотреть во всех деталях. Он накрыл их чистыми мешками, чтобы не пылились.

Он вышел со склада, и лицо у него было удовлетворенное, таинственное и довольное и очень напоминало лицо

маленькой Дуняшки, когда она, зажав в кулаке конфету и склонив голову набок, лукаво и таинственно сообщала:

— А у меня что-то есть...

Василий подошел к полуторатонке одновременно с Валентиной и директором МТС, грузным и усатым, как морж, Прохарченко.

МТС три месяца назад перевели в другое место, и Прохарченко забирал из складов остатки инвентаря и оборудования.

— Погружайся! Поехали! — сказал Прохарченко.— В кабину, Валюшка?

— Нет, дядечка, в кузов! Не люблю в коробке ездить.

— Ну, тогда я сам сяду в кабину.

Прохарченко подхватил ее и одним взмахом поднял в грузовик. Он приходился Валентине дальней родней и обращался с нею так же, как двадцать лет назад.

Василий уселся рядом с незнакомой женщиной, и тяжело груженная машина, мягко покачиваясь, развернулась и покатилась по широкой пересекавшей поле дороге.

Василий молчал. Зрелище новых спрятанных в амбаре машин и гладкая и спорая работа последних дней привели его в умиротворенное и блаженное состояние. Кое-как примостившись в кузове, он то дремал, то думал с тем простодушным самодовольством, которым часто грешил:

«Создать в колхозе такой перелом — шуточное ли дело? И полгода не прошло, как я принял колхоз, а сколько дел понаделано за это время! Куда ни взгляни, во всем подъем и достижения! К севу подготовились честь по чести. Семена очищены и отсортированы, инвентарь отремонтирован, навоз вывезен, минеральные удобрения подготовлены, второй генератор на станции поставлен, машины приобретены — вот что значит умело взяться! Не всякий этак сумеет. Тот председатель, что выводит колхоз из отстающих,— сила! Это — лицо в районе! Недаром Петрович так интересуется колхозом».

Он уже забыл о том, что достать в кредит машины и генератор помог ему секретарь райкома, что хорошие семена дали ему в обмен на некондиционные в Заготзерне. Во всем он видел результат только собственных стараний и гордился собой.

Этой гордости немало способствовала и статья в районной газете. Статья рассказывала о переменах в Первомайском колхозе, о его быстром подъеме и о его хорошей подготовке к севу. Василий представлял себе, как он входит в райком, как радостно поднимается ему навстречу Петрович, как уважительно встречают его другие райкомовцы, и поглядывал на Валентину: ему

хотелось похвастаться вслух, но Валентина дремала, свернувшись клубком возле старого токарного станка.

«Умостилась! Чисто кошка!» — подумал он о ней.

У нее была удивительная способность мгновенно и уютно «умащиваться» на любых, даже самых неудобных местах и так же мгновенно переходить от уюта и сонливости к стремительности и напору.

— Уснула, что ли? — тихо спросил он.

Валентина не ответила, но она не спала.

Так медлителен был волглый, облачный день, так дремотно и лениво покоились пустынные белые поля на пологих увалах, так осторожно ложились влажные хлопья на похолодевшие щеки, что Валентине не хотелось ни говорить, ни шевелиться.

Незнакомая женщина в сером платке из кроличьего пуха тихонько запела:

Звон бубенчиков трепетный может
Разогнать набежавшую тень,
Мою душу опять растревожит
И прогонит недолгую лень...

Она перевирала и слова и мотив, но Валентине казалось, что так даже лучше, что песня с таким зыбким, задумчивым и неверным мотивом больше подходит к сумеречному дню, к застывшей зяби полей.

Кисейная снежная пелена висела перед глазами, мягко укачивала машина, баюкала песня.

Внезапно тишину разрезал шипящий и пронзительный звук, к нему присоединились металлический звон и людские голоса. Грузовик остановился. Валентина села. Прямо перед ней в строгом порядке стояли прямоугольники новых зданий. Слепящий, порывистый огонь сварки бил в глаза, и снежная пелена таяла в снопах голубого света. Длинный навес тянулся вдоль низкой изгороди, и машины, выстроенные, как на параде, стояли под ним. Приземистые тракторы готовы были двинуться прямиком в снежную зыбь; культиваторы с выгнутыми крутыми и ребристыми боками казались застывшими на бегу, и прерванное движение ощущалось в каждой их линии; маленькие «северные» комбайны окружали огромный новенький, блестящий самоходный.

— Ой! — сказала Валентина.

Она впервые видела новую МТС, и сгусток нацеленного металла, освещенный огнем сварки, так неожиданно предстал перед ней в сонной снежной тишине, что она растерялась.

Прохарченко подошел к борту грузовика и протянул Валентине руки:

— Давай сниму. Надо было тебе в кабинке ехать! Отлежала бока-то? Намяла бока-то, говорю?

— Ой, дядечка, я хочу работать в МТС! — не отвечая на вопрос, еще сонным, по-детски упрямым, жалобным голосом сказала Валентина, но тут же она стряхнула остатки сонливости, без помощи Прохарченко легко выпрыгнула из машины и побежала в МТС.

Пока грузовик разгружали и заправляли горючим, Валентина осматривала станцию. Она видела большие, хорошо оборудованные мастерские, в которых устанавливали новые станки, диспетчерскую, специальные площадки для обкатки и проверки агрегатов, нефтебазу с цистернами, установленными на каменных фундаментах; и предчувствие новых, еще незнакомых ей масштабов работы взволновало ее. Собственная деятельность в колхозе вдруг представилась ей мелкой, кустарной, она затосковала. Какое-то внезапное беспокойство, какое-то чувство, похожее и на восхищение и на зависть, гнало ее из мастерских в нефтебазу, из нее — к складам, из складов — опять в мастерские. Ей хотелось владеть всем этим богатством; ей обидно было, что она просмотрела, пропустила мимо рук эту силу. Когда Валентина приехала в Первомайский колхоз, МТС еще помещалась там. Несколько старых построек и старых машин ютилось за оврагом, на краю деревни, и Валентина не проявила к ним особого интереса. МТС как МТС: придет время пахать и сеять — дадут трактор, придет время убирать — дадут на несколько дней комбайн, — все обыкновенно и просто, и чем тут особенно интересоваться?

Здесь все приобрело иной размах и новый смысл.

— Что ты мотаешься по двору? — окликнул ее Прохарченко. — Сядь! Вот погрузимся и поедем!

Он сидел на скамейке возле конторы и смотрел, как грузят в кузов бидоны для масла. Валентина села рядом с ним.

— Поживей, ребята! — сказал он.

Звенели бидоны, шипела автосварка, быстро и пронзительно стучали станки.

— Где ремонтная карта второго ХТЗ?! — кричал кто-то невидимый из мастерских. — Куда дели ремонтную карту?

— Ванюшка, давай становись на расточку подшипников! — раздался звонкий, ломающийся голос подростка.

Валентина тихо сидела рядом с Прохарченко, вслушивалась в обрывки фраз, в стук и дребезжание металла, и беспокойство ее не проходило.

Звон бубенчиков трепетный может
Разогнать набежавшую тень,
Мою душу опять растревожит...—

незаметно для самой себя запела она песенку незнакомой спутницы.

Она заметила, что поет, и рассердилась на себя:

— Нашла что петь! Привязалась ко мне эта песня... и что в ней? Только, знаете, дядя-дядечка, вся я сейчас какая-то растревоженная...

Прохарченко шевельнул усами.

— Это почему же?

— Дядя, вы представляете себе поле, что за лесом? Там, на равнине, посевы трех колхозов. Слить их вместе, поставить трактор — и прямиком! Нет, вы представляете себе? Какие дела тут можно сделать!

Она умолкла, снова запела: «Звон бубенчиков...» — и снова оборвала себя.

— Дядечка, если в коммунистическом обществе у людей и будут неприятности, то знаете, какие?

— Какие? — Прохарченко с любопытством наблюдал за своей племянницей. Разобраться в ней ему мешало слишком живое и привычное представление о босоногой девчонке Вальке-гусятнице.

— А вот такие, как у меня... Делаешь, делаешь и все думаешь: хорошо, правильно, — а жизнь тебя обгонит, и ты вдруг увидишь: не то делала, не так делала, можно сделать больше, можно лучше! Дядечка, вы сами подумайте: ну что такое участковый агроном сельхозотдела? Отжившая категория! Агроном МТС, у которого машины в руках, у которого в распоряжении целая армия трактористов, — это да! Это сила... Дядечка, так мне обидно вдруг почувствовать себя этой самой отжившей категорией!

Прохарченко рассмеялся.

— Поживи еще маленько, «отжившая категория», может, еще пригодишься! Уж очень ты быстра на все! А вообще говоря, ты верно сказала. Главная сила сейчас — это агроном МТС. Об этом и в решении пленума записано. Теперь надо ждать, пока Министерство сельского хозяйства повернется с одного бока на другой.

Они с удовольствием поругали министерство. Потом Прохарченко пообещал Валентине:

— Как только прибавят нам штатных единиц, тебя возьму первую.

Василий, так же как Валентина, обошел МТС. Он увидел много нового, но все же здесь была та знакомая и любимая обстановка, с которой Василий свыкся с юности и о которой подсознательно тосковал до сих пор.

Он любил и металлический гул ремонтных мастерских, и особую — точную и размашистую — повадку трактористов, и мощные машины, стоявшие под навесами.

Ему сродни казались тракторы, созданные для неутомимого и упорного движения, для того, чтобы поднимать и переворачивать земляные пласты. Он узнавал в них свою тяжеловесную прямолинейность, ощущал их как прямое продолжение самого себя и не мыслил жизни без них, но особое восхищение вызвали в нем самоходные комбайны, впервые в этом году появившиеся на МТС. Он ни разу не работал на таком комбайне и завидовал своей давнишней товарке Настасье Огородниковой. Василий увидел ее у комбайна и подошел к ней.

— Хороша машина!

Занятая делом, она даже не повернула головы и не ему, а самой себе сказала с досадой:

— Ременная передача... черти б ее взяли! Думаю цепями заменить... Ремни плохие, подведут в первой же борозде!

Василий с любопытством оглядывал незнакомую машину. К любопытству присоединялось чувство, похожее на уважение, вызванное этим сложным и незнакомым механизмом.

«Поотвык я от МТС!..—думал Василий.—Стою, гляжу, как мальчишка, а с какой стороны за этот самоход взяться, не знаю. А Настюшка будто век на нем ездила, орудует, как бабка Агафья с самоваром».

Он видел в Настасье ту же жадность к машинам, которая была свойственна ему, и с удовольствием следил за ее по-мужски сильными и ловкими руками. Ее густые русые брови были сдвинуты, на высокий лоб с редкими рябинками выбилась прядь прямых темных волос. Лицо было сердитое и недовольное. В нем не было и тени того уважительного любопытства, с которым смотрел на комбайн Василий. Она относилась к машине по-хозяйски властно и критически:

— Как будто и хороша машина, но приглядишься к ней—там недоделка, там недогляд.

— Первая серия идет. На заводе их только осваивают,—вступился Василий за машину.

— А мое которое дело, что первая! Когда я весной еду по первому кругу, мне на это скидок не делают. Пашу как полагается!.. Экие ремни поставили! Гляди-ка ты! Приходится заменять!

Василий знал страсть Настасьи обязательно что-нибудь переделывать по-своему, менять и совершенствовать. Это относилось не только к машинам. Где бы Настасья ни работала, она всюду наводила свои порядки. Ее побаивались и слушались и в МТС, и в районе, и в области.

— Поехала бы я на этот завод, поговорила бы как

полагается с ихними инженерами, не слыхали они там нашего комбайнерского разговора,— сердито заключила она, выпрямилась, вытерла покрасневшие от холода запачканные руки, убрала со лба прядь волос и, прищурившись, оглядела комбайн. Не то насмешливая, не то одобрительная улыбка чуть тронула ее крупные губы.— Все-таки, конечно, хорош...— не могла не признать она.

— И комбайн хорош, и комбайнерша хороша!— отозвался Василий, любуясь ею.

Много лет знал Василий Настасью, и с каждым годом она нравилась ему все больше. «Вот баба мне под пару!— тоскливо думал он.— С Настюшкой мы бы как раз ужились». А она, словно угадав его мысли, посмотрела на него строго и укоризненно, но тут же забыла о нем, легко поднялась по железной лесенке, остановилась на последней ступеньке и со своей обычной, чуть заметной, не то насмешливой, не то одобрительной, улыбкой пожаловалась Василию:

— Не знаю, как и дождусь, пока я на самоходе поеду. К трактору будто и не тянет.

— Я гожусь для трактора, а ты — для комбайна,— шутя и любуясь ею, ответил Василий.

— Это почему?

Он не мог объяснить почему, но ему казалось, что ее место не за рулем приземистого трактора, а на высоком мостике комбайна.

— Э-гей! Василь Кузьмич!— окликнул его Прохарченко, и Василий заторопился к грузовику.

Вместе с Валентиной и Василием на лекцию в Угрень ехало несколько человек из МТС. Рядом с Василием сидел старший механик МТС Семенов, худой черноволосый человек в черном пальто с каракулевым воротником и в каракулевой папахе. На шее у механика как-то особенно замысловато был повязан клетчатый зеленый шарф, его бахромчатый конец выбился из-под воротника и развевался по ветру.

Василий неодобрительно поглядывал и на этот слишком цветастый шарф, и на самого механика, которого давно знал и недолюбливал за самоуверенность и зазнайство.

— Я в этом году организую бригадно-узловой метод работы,— говорил механик Валентине.— Запасные узлы и детали будут храниться у меня на складе. Андрей Петрович с представителями из области был у меня в мастерских на прошлой неделе. «Вы, говорит, делаете чудеса, Иван Петрович! Ваши мастерские, говорит, должны быть лучшими в области!»

Несмотря на то что Семенов говорил чистую правду и действительно был хорошим механиком, все в нем раздражало Василия: и слишком частое упоминание о самом себе, и манера поднимать брови и щурить глаза во время разговора, и зеленый шарф.

«Экий ты «яколо»! — думал Василий. — «У меня», «я», «мои мастерские», будто, кроме тебя, в МТС и людей нет».

Он не вмешивался в разговор, отворачивался и молчал.

В Угрене Валентина слезла около своего дома, а остальные проехали прямо в райком.

На крыльце райкома уже толпились люди. Людно было и в большой светлой прихожей, и в коридоре.

Со всех сторон к Василию тянулись руки.

— Первомайскому привет!

— Василию Кузьмичу почтение!

— Здорово живешь, бывший отстающий!

Он отвечал на шутки и рукопожатия и размашистыми шагами шел по коридору в большой зал заседаний. Здесь тоже было людно и шумно. На виду у всех, недалеко от маленькой трибуны, стояли три человека — председатели трех сильнейших и соревнующихся друг с другом колхозов района. Все они были совершенно разные. Круглый, добродушно-лукавый Логов, председатель не очень крупного, но крепкого колхоза, весело щурил карие глаза и смотрел на двух своих собеседников так, словно хотел сказать: «Хоть вы и больше меня, а мы еще потягаемся! Мы хоть и маленькие, да удаленькие!»

Знаменитый на всю область Угаров, в течение двадцати лет бывший бессменным председателем большого и богатого колхоза «Заря коммунизма», держался с суровым достоинством. Рослый, с резким орлиным профилем и пышной бородой, он смотрел поверх всех безразличным и холодным взглядом и только на своего соседа Малышко посматривал внимательно и осторожно.

Угаров ездил в собственной голубой «Победе», разводил в колхозе черно-серебристых лисиц, раз в два-три месяца откупал в городе половину театра и вывозил колхозников в театр в специальном вагоне.

Авторитет его в районе был необычаен. Весной, когда подходила посевная пора и в колхозы летели приказы с одним словом «сеять!», колхозники в ответ на эти приказы и распоряжения агрономов спрашивали:

— А как Угаров?

Когда Угаров начинал сев, по всему району разносилось известие: «Угаров сеет!» — и только тогда развертывалась полным ходом посевная. Дело дошло до того, что

Угаров, по настоянию райкома, сам выступил на районном совещании с речью, в которой просил не ждать его.

— Вы, товарищи, на меня не глядите и меня не дожидайтесь,— степенно сказал он.— Наши земли за лесами, на северных склонах, к нам посевная приходит на день-два позднее, чем к вам. А кроме того, у нас все так подготовлено, что мы наши поля засеваем в пять дней, вам за нами пока не угнаться.

Угаров был самой крупной фигурой в районе, покуда не появился в Угрене гвардии капитан Малышко. Малышко встал во главе большого, сильного Молотовского колхоза, и молотовцы в два года догнали колхоз «Заря».

Худой, смуглый, узколицый Малышко ходил, подавшись всем корпусом вперед, и отличался необыкновенной природной молчаливостью. Узкие губы его всегда были плотно стиснуты, и казалось, чтобы раскрыть их, ему надо сделать над собой усилие. С колхозниками он разговаривал преимущественно бровями, глазами и руками, колхозники очень скоро переняли и усвоили его способ общения. Веселый, любивший поговорить Логов горько жаловался на него:

— Приехали мы к ним насчет соревнования, а у них будто глухонемой колхоз! Собрание провели в сорок пять минут! Мне отпустили на выступление четверть часа, так Малышко и минуты не прибавил. Знай звонит себе в звонок да бровями водит: кончай, мол!

Угаров и Малышко соревновались и зорко следили друг за другом. Стоило Малышко закупить гранулированные удобрения, как Угаров на другой же день посылал за такими же. Стоило Угарову построить у себя крахмальный завод для переработки картофеля, как Малышко строил еще лучший завод. На всех собраниях они всегда сидели рядом и привлекали общее внимание.

Увидев их, Василий подошел поближе, чтобы прислушаться к их разговорам. Они не заметили его, и только Логов поздоровался с ним — улыбкой и кивком головы.

— Скучно мне было, Малышко, когда тебя в районе не было...— говорил Угаров, чуть усмехаясь, но не изменяя обычного, немного надменного выражения лица.

Малышко поднял широкие светлые брови и молча бросил на Угарова косой и быстрый взгляд, яснее всяких слов говоривший: «Зазнаешься... Смотри, как бы тебя те не обогнали, с которыми ты скучаешь...»

Угаров тотчас понял значение этого взгляда и ответил на него: «Кому, кроме тебя, меня обогнать?»

Очень светлыми и спокойными глазами он обвел присутствующих, заметил Василия, посмотрел на него, чуть прищуриваясь, словно присматриваясь и прикидывая в

уме, что из Василия может получиться. Очевидно, выводы, которые он сделал, были в пользу Василия, потому что Угаров улыбнулся и протянул белую костистую руку.

— Как дела, Василий Кузьмич? Слышал я, что налаживаешь колхоз?

Василий даже покраснел от удовольствия. Угаров был большим мастером своего дела — колхозного руководства; как всякий большой мастер, он не терпел плохой работы и пренебрежительно относился к плохим руководителям.

— Мало-помалу...— ответил Василий, но Угаров уже снова повернулся к Малышко:

— Так, говоришь, завод расширяешь? Патоку собираешься делать?

Малышко кивнул головой.

«Вот люди! — с завистью думал Василий.— Заводы строят, урожай собирают по двадцать пять центнеров, в специальных вагонах в театр ездят...»

Собственные достижения уже не казались ему такими значительными, как час назад.

В зал вошли Стрельцов, Лукьянов и незнакомый городской человек, по-видимому лектор.

Андрей много внимания уделял отстающему Первомайскому колхозу, и у Василия невольно создалось впечатление, что первомайцы — чуть ли не главная забота секретаря райкома.

Подъезжая к райкому, Василий думал, что Стрельцов обрадуется, подзовет, станет подробно расспрашивать, но Андрей прошел мимо, не заметив его.

Василий слышал, как незнакомый человек, улыбаясь и показывая глазами на Угарова, Малышко и Логова, сказал Стрельцову:

— Орлы!.. Хороший народ...

— Народ на «уровне»...— тоже улыбаясь, ответил Андрей.

— На уровне чего? — не понял приезжий.

— На уровне тысяча девятьсот сорок седьмого! Второго года послевоенной пятилетки! — с шутливой торжественностью сказал секретарь.

«А я на уровне?» — тревожно подумал Василий. Ему захотелось, чтобы в райкоме и о нем говорили так же, как об Угарове и Малышко: «Орлы...», «Народ на уровне...».

Люди окружили Андрея. К нему подошли и Угаров с молчаливым Малышко. Андрей разговаривал сразу с несколькими; как всегда, веселый, оживленный, он чередовал шутки со строгостью и одобрительные восклицания с азартными нападками.

Слушая его, Василий со всей очевидностью убеждался, что Первомайский колхоз отнюдь не является един-

ственным объектом особого и исключительного внимания секретаря райкома. Первомайский был одним из многих. Десятки других колхозов находились в поле зрения Андрея; он придавал им не меньшее значение, относился к ним с таким же вниманием, интересовался ими так же горячо и знал их дела так же детально, как дела первомайцев. Василий понял это и удивился Андрею.

«Ну и мужик!—думал он.—На все пятьдесят колхозов его хватает!»

Он прислушивался к разговору. Речь шла о подготовке к севу.

— Нет, Петрович, что ты там ни говори, а факт остается фактом: по заготовке удобрений район вышел на второе место в области!—с увлечением говорил Волгин.— Второе место по области! Для такого района, как наш, это же явное достижение!

Андрей быстро повернулся к Волгину.

— А ты проанализировал, почему это получилось?— широким жестом маленькой энергичной руки он указал на Угарова, Малышко и Логова.—Они же весь район вывозят! «Тягачи» наши! Возьми хотя бы торф. У десяти лучших колхозов торфа вывезено на поля больше, чем у всех остальных вместе! Это разве достижение района? Хватит за «тягачами» прятаться! Вот ты, к примеру, Афанасий Лукич!—обратился Андрей к одному из председателей.—Сколько вывез торфа? Двадцать возов? А может, и того нет? А ты, Илья Трофимович? Только начал вывозку?—Взгляд его упал на Василия, и Андрей обратился к нему:—А у тебя как с вывозкой торфа, Василий Кузьмич? Привет тебе! Раскачался наконец? Еще и не начинал возить? Почему?

— Да ведь тягло и люди заняты...—смущенно заговорил Василий.

— А если я завтра приеду к тебе в колхоз и найду людей? Что ты мне будешь говорить? Ты электромоторы получил, сколько рук они освободили?

Василий молчал.

— Ты моторы где используешь? На сортировке? Или на ферме? А?

— Да ведь я...—вымолвил Василий и умолк на последнем слове.

— Что?.. Где, говорю, моторы используешь? Или они у тебя все еще в амбаре стоят?

По выражению лица Василия Андрей понял, что догадка правильна, и, закинув голову, расхохотался.

— Вот полюбуйтесь на этого хозяина! Торопил, торопил с моторами, а теперь они у него в амбаре хранятся! Ты что их, для украшения склада взял?

— Да ведь всего на той неделе и получил...

Андрей перестал смеяться и указал на Малышко, к которому относился с особой нежностью:

— А вот у него они и часа без дела не стояли. Прямо с грузовика на завод, и через час уже работали на полную мощность. Это, я понимаю, темп. А у тебя что за порядок?—весело и строго продолжал Андрей, обращаясь к Василию.—Моторы у тебя есть, а не работают; болота у тебя под боком, а на полях торфа нет! Тебя вот в газете расхвалили, а ты такие промашки даешь!

Андрей заметил, как вытянулось от обиды и разочарования лицо Василия, и снова расхохотался с таким добродушием, что на него невозможно было обидеться.

Чтобы ободрить растерявшегося Василия, Андрей сказал:

— Хвалить тебя, может быть, и рановато, но есть за что. Газета не зря о тебе рассказала, но боюсь я, как бы ты не успокоился на этом. Самоуспокоения, как такового, еще нет, да и не от чего ему быть, но тенденция к нему есть. Этакая махонькая, чуть намеченная тенденция! Но ведь ее тогда и пресекать нужно, когда она маленькая. Не выращивать же ее! Сам подумай. Раздобыл ты моторы, поставил в склад, и успокоился, и ходишь, любуешься на них.

Василий снова вспыхнул, вспомнив, как ходил любоваться сокровищами инвентарного склада. «Как в воду глядит»,—сердито подумал он о секретаре, а тот продолжал все с той же веселой улыбкой, которая смягчала резкость его прямых слов:

— Вывез ты на поле навоз и доволен. А у самого торфяные болота под боком. Вот я и боюсь, как бы ты слишком спокойным не стал. Взял хороший темп, не теряй этого темпа!

Несмотря на дружеский тон Андрея, Василий обиделся.

«Ты хоть костьми ляг для пользы дела, а тебя все будут ругать!»—думал он.

Он хотел объяснить, почему до сих пор не работают моторы и почему не вывозится на поля торф, но Андрей уже отвернулся от него, забыл о нем и позвал старшего механика МТС.

— Как дела с ремонтом, товарищ Семенов? Новые мастерские подключили к сети?

Василий уже привык к душевному и теплому отношению Петровича, и теперь невнимательность секретаря и разочаровала и оскорбила его. Он отошел и уселся в углу. Исподлобья он мрачно наблюдал за Андреем и окружавшими его людьми. Особенно обидным казалось ему

веселое оживление секретаря, уже забывшего и о той обиде, которую он нанес Василию, и о самом Василии.

«И слушать меня не стал! — думал он об Андрее.— Осмеять человека, конечно, легко! А послушал бы ты меня, я б тебе рассказал, что у меня Буянов вторую неделю мается лихорадкой! А кто, кроме Буянова, понимает в электроприводе? Послушал бы ты меня, я б тебе рассказал, чего мне стоило при моем тягле весь навоз вывезти! До торфа ли было! Ты в это не вникаешь! Ты свое гнешь: делай — и точка. Тебе, конечно, легко: сказал, и все! А посидел бы ты на моем месте!»

— А ты как думал? — донесся до него голос Андрея.— Райком помог встать на ноги, а дальше самим надо шагать! Сами стали большими! Сами работайте с людьми! Сами разбирайтесь в таких вопросах, как расстановка сил! Не надо из райкома и райисполкома делать нянек!

«Кому это он?» — заинтересовался Василий и, нагнув голову, разглядел красное, смущенное и обиженное лицо механика Семенова.

«Так ему и надо! — с удовольствием подумал Василий о зазнавшемся механике.— Не то ходит по селу так, будто у всего района одна забота — Семенов с его ремонтными мастерскими! Механик он, что и говорить, понимающий, да уж больно кичлив. Так его, Петрович, так! Поддай ему пару!»

Он злорадствовал, и, только когда мрачный Семенов подошел и, от расстройства не заметив Василия, молча уселся в углу рядом с ним, Василий вдруг уловил сходство между состоянием механика и своим собственным, сразу отодвинулся от соседа и сердито посмотрел на него.

Однако обида на Андрея не проходила. Василий не приравнивал себя к Семенову и считал, что секретарь мог бы внимательнее и дружественнее отнестись к председателю, поднимающему отстающий колхоз.

«Коротка твоя дружба, Петрович! — мысленно укорял Андрея Василий.— Пока ты у нас в колхозе, ты душа-человек, а здесь наш колхоз для тебя — дело десятое».

Обида постепенно начала смягчаться только во время лекции. Лектор рассказывал о том, как за рубежом поднимают голову силы реакции и как пока осторожно, исподволь, «соблюдая маскировку», но день ото дня настойчивее и откровеннее ведут свою грязную политику поджигатели новой войны.

Вся лекция словно подтверждала слова Андрея: нельзя терять темпа!

— Залог мира во всем мире — в нашей с вами силе,

товарищи, в той силе, которую мы своими руками создаем и растим на наших полях и заводах! — закончил лектор.

Когда Василий вместе с другими выходил из зала, он все видел в ином свете, чем три часа назад. И хорошая подготовка к севу, и новый генератор на электростанции, и другие колхозные достижения, которыми он гордился, уже не казались ему столь существенными, а все недоделки и непорядки в работе стали видны особенно отчетливо.

Он уже понимал и оправдывал Андрея, так резко и прямо указывавшего ему на его промахи. В коридоре Василия нагнал Угаров.

— У тебя, я слышал, мельницу к гидростанции задумали пристроить?

— Да, электрик Буянов с мельником, с батей моим, маракуют. Задумали турбинный вал удлинить, вывести за стену и приспособить к нему мельничный постав.

— Интересно задумано, — одобрительно сказал Угаров. — Я своих людей пришлю к тебе для подробного разговора.

Он попрощался с Василием за руку. Василий смотрел, как он усаживается в свою лакированную «Победу», и думал: «Да, у этого нет самоуспокоенности! Краем уха услышал про новое, интересное дело и уже тянет к себе!»

После многолюдных комнат райкома Василию особенно пустынным показался собственный дом. Его домовница, бабка Агафья, спала, прикорнув на сундуке. На лежанке дремал большой дымчато-серый кот. Было тепло, чисто, тихо, но тишина эта угнетала Василия. Он прошелся по горнице. Бесцельно постоял у стола, у комода. С маленькой пожелтевшей фотографии смотрела худенькая девочка с тонкой шеей, улыбающимся ртом, Дуняшка прежних дней — Ва́щурка... Над комодом висело квадратное зеркало. Василий взглянул в него и увидел большого чернобрового здоровяка; щеки еще горели от мороза, лицо казалось совсем молодым, красивым.

С внезапной острой грустью и с невеселой насмешкой над собой он подумал:

«Вот и молодой, и здоровый, и с лица неплохой, и колхоз поднимаю, и Угаров за руку здоровается, а жена ушла... Ушла жена...»

Одиночество и бездействие стали невмоготу ему. Он оделся и пошел в радиоузел.

Радиоузел Буянов организовал в одной из комнат гидростанции. Он поставил там собственный, им самим усовершенствованный репродуктор, развесил на стенах портреты, водрузил у окна отремонтированный диван, разложил на столе газеты и журналы. Он провел радио

также во многие дома за счет самих колхозников, так как у колхоза еще не было средств на полную радиофикацию.

Свой радиоузел Буянов шутливо и важно именовал «радиорубкой». Здесь у Буянова собиралось по вечерам «избранное общество»: он пускал к себе только людей степенных, надежных и пристрастных к технике. Кузьма Бортников относился к гидростанции и к самому Буянову с особым почтением, охотно помогал в разных поделках по гидростанции и поэтому был желанным гостем. В последние дни у Буянова и у старого Бортникова возник новый план, увлекший их обоих: они задумали удлинить и вывести за стену турбинный вал, поставить на него мельничный постав и устроить за стеной новую мельницу. Это задуманное ими соединение мельницы и гидростанции еще больше сдружило их, к досаде и огорчению Степаниды, которая все чаще оставалась одна и все явственнее чувствовала, как отдаляется от нее старик.

Сюда, в «радиорубку», и отправился Василий. Осклизлый и липкий снег оседал под ногами. Ночь была влажная, черная, весенняя; в воздухе стояли невнятные запахи — не то отсыревшего дерева, не то земли. Почему-то приходило на память половодье, и шум воды, и скрип льдин, набегавших друг на друга. Темный прямоугольник инвентарного склада стоял близ дороги, но, проходя мимо, Василий не ощутил того умиротворения и довольства, которое еще недавно ощущал, думая о машинах.

«Стоят... Долго ль им стоять? Долго ль проболеет Буянов? А если начать установку, не дожидаясь его?.. Скорей бы утро!»

Он сам не мог понять, что тревожит его. То ли какая-то неуловимая песня, задумчивая и удалая, звенела в памяти и тревожила, то ли весенние запахи не давали покоя? Но это было совсем новое беспокойство, совсем не похожее на то, что нередко гнало его из одинокой избы.

Он вышел на высокое крыльцо гидростанции и раскрыл дверь. В лицо пахнуло теплом и светом. Михаил Буянов с обметанными губами и перевязанным горлом и старик Бортников неумело вычерчивали какие-то схемы на большом листке бумаги. Приглушенный бас плыл навстречу.

«Широка страна моиа роднаиа...» — по радио русскую песню пел кто-то нерусский.

В открытую дверь виднелся распределительный щиток из серого мрамора. Поблескивали металлические части рубильников. Василию сразу стало спокойней, словно он попал как раз туда, куда надо.

Он поздоровался, сел за стол и сказал:

— Планы ваши, конечно,— доброе дело, однако и о

моторах нельзя забывать. Есть у нас такая тенденция: поставить в амбар и успокоиться. Меня Петрович в краску вогнал. У Малышко они и часа не простояли — с ходу в дело. Это, я понимаю, темп!

Он взял газету и продолжал:

— Пока сидишь здесь, кажется, что мы за несколько месяцев кучу дел своротили, а как послушаешь людей, поглядишь вокруг да подумаешь вот об этом,— он указал на газеты, разложенные на столе,— так ясно станет: мало и плохо мы еще сделали! Вот, глядите, о чем тут пишут.— Он стал читать заголовки последнего номера «Правды», коротко комментируя их: — «Прения в сенате США о «помощи» Греции и Турции». Это, значит, о чем речь? О том, чтоб под видом помощи выйти к Дарданеллам. «Операция греческих войск против греческих партизан». «В штабе войск около пятидесяти английских наблюдателей... села горят, женщины и дети умирают от голода...» Видали, что делается? Дальше посмотрим. Статья «Почему до сих пор не ликвидированы германские монополии?». Ясное дело почему: «Свояк свояка видит издалека». Американские реакционеры германский капитал к себе приспосабливают! «Процесс по делу организации тайных складов оружия в Финляндии...»

— А ты главное, главное просмотрел,— перебил его Буянов.— Вот! — и взял у него газеты.— «Московская сессия министров иностранных дел», «Не выполняются потсдамские и ялтинские решения...».

Старик молчал. В последнее время он стал жадно интересоваться политикой, но при сыне говорил мало, словно после февральского собрания начал стесняться его. Не с прежней благожелательной самоуверенностью, а с какой-то скрытой ученической робостью приглядывался он к сыну, и Василию трогательно и больно было видеть это необычное выражение в глазах старика. Но сегодня он не заметил его, захваченный собственными мыслями.

— Да-а...— протянул он в ответ на слова Буянова.— Вот они, дела-то. Ведь это все в одном номере газеты. Понюхай ее — она порохом пахнет! Нам ли это забывать? Мы ли войны не знаем? Нам успокаиваться нельзя и темпа терять нельзя. Поругал меня нынче Петрович, я сперва обиделся на него, а как послушал лектора, пораскинул умом и понял: ни к чему мне обижаться! Лектор такие слова сказал: «Мы, говорит, своими руками создаем гарантию мира во всем мире». Я бы эти слова написал на каждом доме... своими руками...

Он посмотрел на свои лежащие на газете большие темные, со светлыми ногтями руки, так, словно видел их впервые.

...Однажды Валентина зашла к Авдотье и сказала:

— Сегодня вечером будет открытое партийное собрание. Вопрос очень важный: «О темпах и перспективах развития нашего колхоза». Тебе надо прийти, Дуня! Хорошенько продумай перспективы животноводства, рассчитай возможность кормовой базы и приходи.

Авдотья пообещала прийти, но потом передумала. Она не раз встречалась с Василием в правлении и на ферме, но встреча с ним на глазах у целого собрания пугала ее.

«Ни встать, ни сесть не дадут — просверлят глазами. Рано или поздно этого не миновать, но лучше выждать время, пока люди попривыкнут. Что важное будет, то мне Валя расскажет. А насчет животноводства и кормовой базы я все продумаю, рассчитаю и сообщу правлению и Вале».

Она вооружилась счетами и таблицами и уселась за Алешин стол подсчитывать кормовые ресурсы колхоза. Давно уже тревожил ее вопрос о том, что поголовье по плану будет расти быстрее, чем кормовая база.

Она считала весь день.

— Дуня, да сядь ты пообедать! — звала Прасковья.

— Погодите, мама, не сбивайте меня! — Уставившись в одну точку, Авдотья шептала: — А если увеличить еще в два раза посев клеверов и корнеплодов, то кормовых единиц прибавится примерно...

К вечеру взрослые разошлись из дому, девочек Прасковья увела в спальню. Сухое щелканье костяшек отчетливо раздавалось в тишине. Аккуратные столбцы цифр нисколько не успокоили Авдотью.

«Как же это? Как ни верти, как ни прикидывай согласно плану, а кормовая база отстает от поголовья. В пятидесятом году с помощью зеленого конвейера еще сведем концы с концами, а дальше увеличивать поголовье нельзя: не хватит кормов. Как же быть в пятьдесят первом году? Значит, ошибку дали мы в нашем колхозном плане! Как же это? С Валей поговорить? Она на собрании. Дожидаться ее?»

Она отодвинула счеты и листы с цифрами, попробовала заняться шитьем, но нитки путались, а игла то и дело выскальзывала из рук. Она решительно отложила рукоделье.

«Что ж я тут сижу? Там партийное собрание идет, план нашего колхоза обсуждают, и невдомек людям, что ошибку дали. А я со своими подсчетами тут сижу в одиночку. Пойду туда! Сама не сумею выступить, так хоть Вале все объясню в перерыв!»

Она быстро дошла до правления, поднялась на крыльцо и остановилась, услышав из-за двери голос Василия.

«Никак, начали уже? Вася выступает! Хотела я незаметно войти, а тут, на свою беду, окажусь у всех на глазах. Ох, нехорошо! Или подождать перерыва, не входить? Догадаться бы мне хоть новый полушалок надеть. Уж не повернуть ли домой? А как с планом? Что я, глупая какая! Ну, разошлись и разошлись мы с Васей! Кому об этом забота?»

Но забота об этом была всем. Все головы, как по команде, повернулись сперва к Авдотье, потом к Василию, потом опять к Авдотье.

Василий сбился, умолк и крякнул с досады. «Хоть бы уж незаметно вошла! — подумал он.— Встала, как на выставке!»

Авдотья укрылась за широкой спиной Матвеича. Василий овладел собой и продолжал речь. Он говорил о колхозной пятилетке, о севооборотах, об использовании электроэнергии, о подготовке к посевной и к строительному сезону, но то главное, что тревожило и волновало его со времени последней поездки в Угрень, не укладывалось в слова.

Недоволен он был и своим докладом, и прениями, деловыми, но слишком спокойными.

— Больно уж гладко все...— шепнул он Валентине.

— Не привыкли еще люди к открытым партийным собраниям...— попыталась утешить его Валентина, но и она была недовольна собранием.

В Ясневе, в Любаве, в Авдотье, в Алеше — во всех тех, кого она настойчиво приглашала сегодня на собрание, видела Валентина будущих коммунистов, и это вызывало в ней особое чувство ответственности за них. Она ревниво следила за их словами и поступками и болезненно переживала неудачи и промахи.

«Почему так вяло выступают? — думала она.— Почему молчат Любава и Яснев? Неинтересно им? Почему Дуня опоздала? Я на нее надеялась, как ни на кого! Не ладится наше собрание, не такое оно, как надо!»

Тут же она старалась мысленно ободрить себя:

«Не все сразу! Несколько месяцев назад на первом партийном собрании нас было только трое в этой комнате, и все было так неясно, и мы еще не знали, на кого нам опереться и с чего начать! Теперь все иначе. Вон сколько народу вокруг нас! Настя просит слова. Может быть, она расшевелит людей?»

— Прикрепили нашу бригаду к вашему колхозу на полную обработку,— сказала Настя.— Наш урожай — ваш урожай! Мы это понимаем. Тракторы и прицепной инвентарь у нас в полной готовности; мы, трактористы, не подкачаем. А вот вы что ж на печи лежите?

— Как это на печи? — возмутился Буянов.— Если уж мы к севу не готовы, то кто же готов?

— Это разве готовность? Пятое поле все хворостом завалено, на старом клеверище ельник пророс. Что ж, мне пахать по елкам да по хворосту? И сколько времени я добиваюсь: закрепите вы за бригадой постоянного прицепщика! В прошлом году измаялись: что ни гон, что ни день, то новый прицепщик! Плуги, сеялки, культиваторы — они почета требуют, а он человек временный, он прицепного инвентаря не понимает! У меня в руках не щей горшок, у меня в руках агрегат. Я сейчас с вами подобру разговариваю, а как пущу трактор в борозду, так вы от меня не ждите добрых слов! В борозде я лютая, как волк! Мне чтоб было обеспечено все, что требуется,— и конец разговору!

— Лютость твоя нам известна! — повеселев от ее нападок, сказал Буянов.— А люди говорят, ваши трактористы в прошлом году на озимых балалаек понаставляли.

— Только у Козьей поляны и были балалайки. А из-за чего? Из-за ребятишек! Загонки я спланировала, вешки поставила, а ребятишки их повыдергали. Сменщик у меня молодой был, не сумел загонки распределить, вот и получились клинья — балалайки эти самые!

— Нас объективные причины не интересуют! — веско сказал Буянов.— Нас качество интересует!

После Настина выступления прения оживились.

«Обо всем говорят, а о том, что у нас в планировании ошибка, никто не обмолвится,— думала Авдотья.— Да и кто скажет? Я сама-то это увидела тогда, когда все в подробностях продумала и просчитала по таблицам. Встать, сказать? Опять все на нас с Васей глядеть будут! Ну и пускай их глядят! Об этом ли сейчас думать! Только уж молчать — так молчать, а говорить — так говорить. Не об одной ферме, а все, что передумано, высказать на партийном собрании».

Когда она попросила слова, Василий подосадовал на нее: «И без того люди глаза на нас проглядели, а тут еще она с выступлением! Что ей за нужда?»

Авдотья начала говорить спокойно, со своей обычной мягкой задумчивостью, так, будто разговаривала сама с собой:

— Мышонку, пока он в норе сидит, тоже кажется, что больно велик, а как выйдет да поглядит кругом, так и увидит, что махонький! — Несмотря на то что она говорила очень тихо и речь ее не походила на те речи, которые обычно произносят на собраниях, все слушали очень внимательно.— Вот так и я. Пока сидела на ферме, то казалось мне: вся моя работа идет как следует быть, а как

съездила на курсы, послушала да посмотрела на настоящую работу, так и вижу: мало еще сделано.

Василия удивило и тронуло начало ее речи.

«Прямо с того и начала, о чем я думал и о чем сказать не сумел. Мои мысли выговаривает!..»

А она, вынув из кармана блокнот, рассказывала о своих расчетах.

— За пятилетку намечен рост нашего поголовья. Потребность в кормах возрастет в три с половиной раза. Это мы спланировали. А корма мы плохо предусмотрели, в кормовом плане дали ошибку. Как ни прикидывай с зеленым клевером да с посевом трав и корнеплодов, все одно в пятидесятом году еще кое-как обойдемся, а о пятьдесят первом мы и не подумали, а там уж увеличивать поголовье нельзя будет: не хватит корма.

— К тому времени обдумаем, что делать!—подал голос Сережа-сержант.

— Об этом сейчас надо думать! Долго ль до пятьдесят первого?—возразила Авдотья.—Этого вопроса в один год не решишь. На собрании нынче вопрос о перспективах колхоза, я о перспективах и говорю. Надо нам или болото сушить, луга увеличивать, или другой искать выход. И обязательно надо создать специальную кормовую бригаду, чтоб имела свой план об этом и свою заботу.

— Авдотья Тихоновна подняла важный вопрос,— поддержала ее Валентина.—У нас в колхозе и сейчас есть «ножницы» между поголовьем и кормовой базой, и ножницы эти с каждым годом будут увеличиваться, если не принять решительных мер. Расширить надо нам план лугомелиоративных работ на пятилетку. И необходимо создать кормодобывающую бригаду.

— Взять хотя бы шохрину за вторым увалом,—сказал Пимен,—сколько земли пропадает! Ни лесу, ни травы, один кочкарь! Запланировать надо залужение шохрины.

— Холм на Горелом урочище—вот где место для скота,—перебил его Алеша.—И луга такие, что лучше не надо, и река рядом. Земли там госфондовские, нельзя ли их заарендовать?

— Место хорошее, да ведь далеко! Не гонять же скот за двадцать километров!—возразила Любава.

Но Авдотья даже порозовела от волнения.

— Ой, Алешенька, да ведь как бы хорошо! Мы бы туда фермы вывозили на все лето! Перешли бы на лагерный режим! Вот бы и выход из положения, лучше не придумаешь! Вася,—она даже не заметила, что назвала его Васей, а не Василием Кузьмичом,—нельзя ли нам добиться этого урочища? Если луга увеличить да урочища

добиться, то мы такое заведем на фермах, что нам и не снилось!

Она уже не прятала глаз и смотрела прямо в зрачки Василию. На минуту она забыла о том, что он ее бывший муж, и видела в нем только человека, который мог найти выход из трудного положения.

— Это надо обмозговать...— ответил Василий.

Мысль об аренде Горелого урочища пришлась ему по душе.

— А ты те луга сама видела?— спросил он Авдотью.

— Ой, видела я, видела! В прошлом году ездили мы туда за малиной, так я еще на те покосы завидовала! Как бы нам их добиться?

— Нам райком поможет, нам обком поможет,— сказал Буянов.— Напишем от партийной организации письмо, в крайности двинем вопрос через газету.

— Где это урочище? Да где ж это урочище? Поглядеть бы его!— беспокоилась Ксюша.

Выступление Авдотьи расшевелило других, и уже поднимался с места Пимен Яснев:

— Поскольку мы на пять лет вперед загадываем, то как об наших глинах не поговорить? У нас за поймой глины, каких нет по всему району! Почему нам кирпичный завод не наладить или бы горшечное производство,— доход был бы колхозу немалый, и работа не так тяжела.

В двенадцатом часу ночи, закрывая собрание, Валентина сказала:

— Нам с Василием Кузьмичом и Михаилом Осиповичем казалось, что мы все предусмотрели и все спланировали, а вы, товарищи, много нового подсказали нам. Планы наши обогатились, но и работа потребуется от нас немалая для выполнения этих планов!

— К чему у людей душа лежит, к тому и руки приложатся,— ответила Любава.

3

ВЕСНОЙ

Несмотря на то что в колхозе и с хлебом, и с кормами, и с тяглом было гораздо труднее, чем в довоенные дни, никогда еще к севу не готовились так тщательно, продуманно, как в этом году.

Одним из главных организаторов такой подготовки была Валентина. Она давно оставила в Угрене свою беличью шубку и ходила по-фронтовому: в коротком, перетянутом в талии полушубке, в суконных штанах,— так удобнее было и лазить по сугробным полям, и ездить

верхом. Ее ловкая небольшая фигурка, стремительная повадка, длинные, «летящие» брови и переливчатый, то резковатый, то грудной и мягкий, голос давно уже стали привычными и необходимыми во всех пяти колхозах сельсовета. С улыбкой вспоминала она то время, когда сугробные поля казались ей необъятными, загадочными, тот зимний день, когда она сидела на склоне холма, смотрела на одинокую хворостинку, торчавшую из сугроба, слушала заунывные звуки Славкиной жалейки и чувствовала себя такой же беспомощной и затерянной в сугробах, как эта хворостинка, такой же слабой и жалостной, как звуки жалейки.

Поля перестали быть «страницами непрочитанной книги», на смену былому ощущению загадочности и непостижимости этих бескрайних белых просторов пришло точное знание каждого поля, на смену беспомощности пришло чувство власти над ними.

Теперь она знала, что кислотность почвы повышается по направлению к Змеиному болоту, что лучшие земли идут по косогору. Проходя полем за холмом, она почти «видела», как под толстым слоем снега спят слабые, низкорослые озими, посеянные на неудобренной земле по черному пару, и одновременно она видела те удобрения, которые уже заготовлены в бригаде для ранней подкормки этой озими.

Проходя по косогору, который подготовлялся для Алешина семенного участка, она уже представляла себе и все составные части почвы этого косогора, и те тонны известкового туфа и навоза, которые уже были завезены сюда, и те минеральные удобрения, которые ждали своего часа в бригадном складе.

Каждый клочок земли разговаривал с ней, и она понимала, о чем он ее просит и на что жалуется.

По всем колхозам она раздала вычерченную ею почвенную карту, на которую нанесла и данные анализа почвы, и рецептуру удобрений. Карту сперва встретили с недоверием, но потом привыкли к ней и полюбили ее. Бригадиры перечерчивали с нее участки своих бригад, и в колхозе возникло непонятное посторонним, но радовавшее Валентину выражение: «Карту мы выполняем».

Кроме этой карты, висели во всех пяти колхозах планы севооборотов и точные, как военные приказы, графики работ.

Эту любовь к точным графикам и планам привез с Кубани Андрей и заразил ею Валентину.

Выполнение графиков давалось с трудом, но Валентину это не пугало: она уже привыкла к тому, что каждое нововведение дается с трудом. Даже в таком простом

деле, как сбор и хранение золы, она долго не могла добиться точности и систематичности, которые требовались. Она писала приказы и инструкции, говорила о сборе золы на собраниях, сама ходила по домам, но ничто не помогало. Отчаявшись, она решила провести специальное занятие о золе на агрокружках.

«Зола» — так коротко озаглавила она тему очередной беседы. Она подробно рассказала о составе золы и сопоставила его с составом почвы колхозных полей; рассказала о том, как повышается урожайность при удобрении почвы золой, и даже продемонстрировала это на специально подобранных по весу колосьях, картофелинах и морковинах.

— Вот средняя по весу морковь, которая получается на наших землях неудобренных, а вот такая морковь получается на той же земле, если ее удобрить золой.

И хотя морковины были специально подобраны ею заранее, небольшой обман этот помог ей сделать лекцию убедительнее. Она добилась того, что колхозники стали смотреть на привычную золу как на нечто невиданное и ценное. Тогда сбор организовался как бы сам собою, и забота о золе упала с ее плеч.

Несмотря на трудности и отдельные неудачи, все двигалось вперед, замыслы постепенно осуществлялись, и у Валентины, так же как у Василия, порой бывало то ощущение, которое оставляет вдруг сдвинувшийся тяжелый воз. Казалось, воз долго раскачивался и вдруг после одного, последнего, толчка начинал быстро и ходко идти «самокатом», вместо старой инерции покоя с каждым часом набирая новую инерцию — инерцию движения.

За несколько месяцев изменилось отношение людей к Валентине.

Раньше, когда она приезжала в какой-нибудь из своих колхозов, ей долго приходилось разыскивать председателя и бригадиров, и они являлись на ее зов неохотно, словно делая снисхождение. Теперь стоило Валентине показаться в колхозе, как к ней уже шли со всех сторон, окликали ее, тянули к себе, и она неминуемо оказывалась в гурьбе людей, ждавших ее совета, ее указания, ее решения.

Она была напориста, стремительна и остра на язык. Раньше, когда она пробирала кого-нибудь, колхозники слушали ее хлесткие речи сумрачно и пренебрежительно, теперь же эти речи воспринимались с видимым удовольствием; даже те, кого она пробирала, не раз говорили о ней так, словно хвастались ею:

— Наша Валентина Алексеевна спуску не даст! У этой на месте не засидишься!

Ощущение своей необходимости сотням людей и ощу-

щение своей власти над тысячами гектаров земли давали Валентине особую, ни с чем не сравнимую радость, а то, что эту радость понимал и разделял Андрей, превращало ее в настоящее, большое счастье.

Дела часто задерживали ее в колхозах, она по нескольку дней не бывала дома и скучала по Андрею так, словно они не виделись год.

Жизнь обоих была богата событиями и делами, и каждый раз они встречались как будто после долгой разлуки, крепко соскучившись друг о друге и торопясь рассказать друг другу многое.

Подъезжая к дому, Андрей еще издали смотрел, светится ли окно в столовой. Если оно светилось, Андрей подходил к нему и в щель меж занавесками смотрел на уютную комнату, на Валентину, отдыхавшую после работы, свернувшись клубочком на диване. Насладившись зрелищем своего счастья, он осторожно стучал в стекло. Он видел, как лицо Валентины освещалось радостью и как она бежала сперва к окну — посмотреть на его чуть обозначавшееся в темноте лицо, а потом в прихожую открывать дверь. Она не позволяла домработнице открывать мужу, всегда делала это сама. Он любил, войдя с морозной улицы, обнять ее теплые плечи, прижаться лицом к ее горячим щекам.

Если Валентина не ночевала дома, Андрей нервничал, не ужинал без жены, звонил в Первомайский колхоз и на другой день встречал ее и радостью, и полушутливыми упреками:

— Вчера иду, и вдруг темно в окне — такая досада! Просто хоть домой не ходи! Почему не приехала? Разве можно работать до полуночи! У тебя же муж есть!

— Ты у меня потенциальный деспот! — смеялась Валентина. — Я ведь тебя не упрекаю, когда ты задерживаешься в районе!

— Я!! Я совсем другое дело! — убежденно возражал Андрей.

— Чем же ты «совсем другое дело»? Мотивировку?! Ну?! Нет мотивировки! Значит, ты ворчун, и у тебя пережитки капитализма в сознании!

— Ты мой главный пережиток! — говорил Андрей, обнимая ее. — Вот хочу засадить тебя в свой карман! Хочу, и баста! Что со мной будешь делать за такое желание?

— Попрошу обсудить твои пережитки на бюро райкома!

Она усаживалась на диван, поджав под себя ноги, Андрей садился рядом.

— Устала?

— А как ты думаешь? Десять тысяч гектаров! О каждой полянке подумать надо! Интересно! Мне только

одного жаль: почему я не в МТС работаю. Если бы не десять, если бы пятьдесят тысяч гектаров земли, да хорошие машины в МТС, да опытные трактористы,— ой, Андрейка, что бы у нас тут было!

— Подожди. Будет. Скоро закончим оборудование новой МТС, завезем еще тридцать тракторов и пять комбайнов. Ах, Валентинка, вот когда начнутся в районе настоящие дела!

Новая МТС была его страстью, и Валентина понимала и разделяла ее.

Они жили одной жизнью, и единство их становилось все крепче.

— Сколько лет мы вместе, но ничто не потускнело, не погасло,— говорила Валентина.

Она уезжала рано, и что бы она ни делала, весь день не покидало ее ощущение счастья и близости Андрея.

Наступили трудные и решающие дни апреля. Готовясь к посевной, Валентина целую неделю не была дома. Наконец подошел день сева.

Еще не проснувшись, Валентина услышала мерный шум: дождь барабанил по крыше и не переставал ни на минуту. Неспокойно шумел лес.

«Что же это! Нынче собирались начать сев, а с утра дождь!» — подумала она и только тогда с трудом открыла глаза.

Дождевые капли косо стекали по стеклу. За окном сутулились потемневшие от сырости дома да все морщинилась и рябила большая лужа в густой грязи.

Валентина опустила с постели гудевшие ноги и с трудом встала.

— Алеша!.. Бабушка!..

Никто не откликнулся. Все уже ушли. Ее не разбудили, потому что вчера она приехала из соседнего колхоза поздно ночью. У нее болела поясница: целый день не слезала с коня.

Она несколько раз согнула и разогнула ноги, разминая мышцы. Надела брюки, с трудом натянула скорежившиеся сапоги и вдруг с удивлением почувствовала, что может двигаться, и даже сравнительно легко.

На столе лежала записка от Алексея:

«Валя, боюсь переяровизировать семена. Срок пришел, а сеять нельзя. Зайди в зернохранилище».

Мимо дома бежал Валентинин «стремянный», соседний мальчуган.

Валентина крикнула ему в форточку:

— Алексашка! Живей коня!

Она надела летний шлем, плотно закрывавший голову, и черное кожаное пальто.

Алексашка подъехал на старой гнедой кобыле. В упряжку она не годилась, а под седлом еще шла. Пузатая, тощая, это все-таки была «верховая лошадь», и, утешенная сознанием этого, Валентина лихо вскочила в седло. Дождь хлестал по лицу. С кожанки вода текла потоками. Под копытами чавкала грязь.

Валентине предстояло объехать три колхоза, проверить готовность к севу. Она начала с полей своего колхоза. Комсомольско-молодежная бригада работала на «семенном и опытно-показательном участке». Здесь было поле семенной ржи «вятки» и небольшой участок Алешиной сверхранней озимки.

Ранняя и дождливая осень была постоянным бедствием для угренских колхозов. Августовские и сентябрьские дожди затрудняли и затягивали уборочную, вызывали потери урожая. Выведение новых сортов озимой ржи сверхраннего созревания было насущным вопросом для всего района. Два года назад Алексей прочел в газете, что областная селекционная станция работает над выведением таких сортов ржи, написал на станцию письмо и получил оттуда небольшое количество семян сверхранней озимой. Он посеял семена, собрал хороший урожай и в прошлом году засеял своими семенами целый клин. Судьба Алешиной сверхранней озимки особенно интересовала Валентину, и ради нее Валентина решила заехать на поле комсомольской бригады.

Сквозь сетку мелкого, похожего на туман дождя еще издали видно было, как мерно и быстро сгибаются и разгибаются фигуры людей. Чем ближе подъезжала к ним Валентина, тем яснее делались стремительность и упорство их движений. Она подъехала вплотную и остановилась, удивленная неожиданной красотой открывшейся перед ней картины.

Перед нею лежал косогор, изрезанный канавами. С верхней части косогора вода уже стекла, и обнажилась черная мокрая земля с бледной прозеленью озимых. В нижней части косогора, там, где канавы упирались в небольшой гребень, отделявший косогор от оврага, вода разлилась, прибывала по каналам, двигалась и пенилась. Там крутились возле камней и кочек маленькие круговороты, разливались маленькие озера, а от них растекались во все стороны все новые и новые ручьи, словно ощупывая и выбирая дорогу. Над полем висело низкое серое небо, и от земли до неба стояла туманная мгла, словно посеребренная мельчайшей дождевой пылью. Все это было красиво и само по себе, но главную красоту и стройность всей картине придавали фигуры людей. Юноши и девушки, склонившиеся над лопатами, казалось, не просто

копали землю, а шли сквозь нее, сквозь серую мглу, сквозь самое небо: так стремительны, ритмичны и упорны были их движения.

Лица их разгорелись от работы. Влажные и розовые, они светились в серебристо-сером тумане; блестели глаза, улыбки вспыхивали нежданно и ярко. Оттого ли, что розовое красиво выделялось на сером, оттого ли, что влажная пелена придавала блеск глазам и лицам, оттого ли, что их красило увлечение работой, но все они казались похорошевшими.

С трудом вытягивая сапоги из липкой грязи, к Валентине подошел Алексей. Он так вымок, что дождь не производил на него никакого впечатления.

— Ты бы хоть застегнулся!— сказала Валентина.

— Мокрее мокрого все одно не будешь!— Голубоватые белки его глаз были особенно яркими; лицо у него было румяное, мокрое и озабоченное.— Смотри, Валя!— Он присел, согнал ладонями воду с кусочка земли и показал Валентине озимые, они были вялые и странно-тусклого цвета.— Вымокают!.. Ведь это моя сверхранняя...

Он смотрел на нее снизу вверх, тревожно и вопросительно, и она чувствовала, что обязана чем-то успокоить его. Ей хотелось по-сестрински откровенно сказать ему: «Сама я беспокоюсь, Алеша!»

Но она была агрономом и руководителем. Она сказала:

— Ну что ж! Выроете канаву, отведете воду — сразу будет лучше. Подкормить надо будет! Готовь навозную жижу.

С ног до головы одетая в черный мокрый хром, она важно восседала на своей кобыле, имела вид авторитетный и официальный, и Алексей вздохнул с облегчением:

— А как же быть с семенами, Валя?

— Заеду взглянуть в хранилище.— Она сама еще не знала, как поступить, но виду не показывала.

Алексей встал, прищурился, улыбнулся и показал рукой на овраг:

— Сейчас спустим туда всю воду. Ты подожди, посмотри, красиво будет.

В паре с Фроськой он стал прорывать узкий гребень, отделивший канаву от оврага. Гребень был твердый, переплетенный корнями кустарника, росшего на краю оврага, и его приходилось не копать, а почти рубить.

Фроська работала, закусив губу, не разгибая спины, не поднимая глаз. Быстрыми, точными движениями она с размаху вонзала лопату в гребень, рывком оттягивала ее на себя и, подняв ком земли, отбрасывала его в сторону.

Алексей размашисто и сильно врубался в гребень тяжелой лопатой.

Канава почти уже пересекала гребень и упиралась в овраг. Фроська выпрямилась, увидела Валентину (до этого она ничего не замечала), поздоровалась с ней кивком головы и крикнула:

— Девушки! Идите глядеть! Воду спускаем!

Все, кроме Алексея, остановились. С другого склона косогора пришли комсомольцы второго звена.

— Пустите! Пустите! Моя лопата последняя!

Фроська бесцеремонно оттолкнула Алексея, встала на камень, всей тяжестью тела надавила на лопату и отвалила большой глинистый, слежавшийся ком земли.

Поток стремительно ринулся в овраг.

Вода сразу же размыла и отвалила второй большой ком и уже широким водопадом хлынула на дно оврага, на глазах обнажая кочки, прогалины, черное месиво земли с бледными ростками озимых, и вслед за веселыми потоками воды, будто подхваченные ими, с косогора по оврагу, смеясь и крича, побежали комсомольцы.

Все смеялись, шумели. Валентинина гнедая кобылка, почуя волнение хозяйки, начала перебирать ногами, а Фроська стояла среди мутных потоков и кричала: «И-их ты!» — и ухитрялась отплясывать на мокром и круглом камне. Неправдоподобные глаза ее — один желтый, другой голубой — горели, как у кошки. А сверху все чаще и чаще сыпались дождевые капли, которых никто не замечал.

Неохотно уезжала Валентина из комсомольской бригады.

«Остаться с ними!» — думалось ей, но надо было проверить, как идет отвод воды с полей у других бригад, в других колхозах.

...Снова цоканье копыт, качающаяся голова кобылы, комья летящей из-под копыт грязи...

На дороге ей встретился Матвеич.

— Дождь...— сказал он.

— Дождь...— откликнулась она.

Через полчаса, когда Валентина подъезжала к полям соседнего колхоза, ей встретился незнакомый колхозник. Еще издали она увидела, что он улыбается ей, машет рукой, кричит что-то, чего она не могла разобрать, так как ветром относило голос.

«Странный какой! Чего он хочет?» — подумала она.

Когда она приблизилась к нему, то поняла, что он показывает на что-то позади ее и кричит:

— Небо!.. Небо!..

Она оглянулась и ахнула: на западе, на краю горизонта, виднелась яркая и чистая полоска голубого неба.

Ветер быстро гнал тучи, полоска разрасталась на глазах, а Валентина и незнакомый колхозник стояли рядом посередине топкого поля, смотрели на эту полоску, улыбались друг другу, как близкие друзья, не замечая, как струятся по их лицам дождевые потоки.

Вскоре выглянуло по-летнему жаркое солнце. Остатки разорванных туч быстро шли по синеве; видно было, как неслись по полям их тени.

Ветер был плотен и скор. От солнца и ветра земля сохла на глазах. Повеселела даже Валентинина кобыла и попыталась на радостях изобразить галоп.

Как только Валентина увидела председателя соседнего колхоза, она, даже не поздоровавшись, издали крикнула ему:

— К вечеру пахать выборочно! К вечеру пахать по косогорам!

И слова ее, как призыв по цепи, побежали по бригадам:

— К вечеру пахать по косогорам!..

К вечеру Настя Огородникова вместе с прицепщиком Витей Ясневым выехала в поле. Вслед за Настиным трактором вышли в поле все те первомайцы, которые не были в этот час заняты работой.

В дороге к провожатым примкнула Лена со школьниками. Школьники шли строем и несли алые ленты и букетики алой герани. Настя, усмехнувшись, приняла их подарок и воткнула букетик герани в петлю ватника.

Целая процессия с цветами и лентами шла по улице вслед за громыхающим агрегатом, и те немногие, кто почему-то сидел дома, выглядывали в окна, говорили друг другу:

— Настюша поехала...— и выбегали на улицу.

Влажная земля дымилась под солнцем, бархатно чернели набухшие ветви деревьев. Запахи земли и отсыревших ветвей были остры и волнующи. Лена подняла голову и запела:

По дорожке по ровной, по тракту ли
Нам с тобой далеко по пути.

Песню подхватили нестройно, но весело:

Прокати нас, Настюша, на тракторе,
До околицы нас прокати.

Когда поднялись на косогор, Настасья посмотрела вперед, туда, где заранее намечена была линия первого гона, не отрывая глаз, улыбаясь жадной и счастливой улыбкой, спросила у Василия:

— Начали, что ли, Кузьмич?

Василий и Матвеич взяли в руки щепотки влажной и рыхлой земли, размяли ее, зачем-то поднесли к лицу.

— Хороша?—спросила Настасья.

— Начали!..—ответил Матвеич и снял шапку.

— Тише, ребята, тише!.. Сейчас первая борозда!— закричала Лена.

Все было ново для нее, все казалось поэтичным и необычайным. Ребята, которым передалось ее настроение, замерли.

Агрегат, урча, начал поворачивать с дороги. Плыло смуглое лицо Настасьи, ее белые зубы, алый цветок.

— Счастливо, Настюша,—махнул ей Василий.

— Ни пуха ни пера!

— В добрый час!

На нее смотрели с особой лаской: в ее руки поступали колхозная земля, колхозный урожай, колхозное счастье, и колхозники знали, что Настя не подведет.

Все знали, что с этого часа многие дни Настя будет жить, почти не слезая с трактора, что она будет есть и пить за рулем, что в глухие ночные часы, когда погаснет последний огонек в деревне, на полях, затерянных меж лесами, упорно и неутомимо будет идти могучая машина, заливая белым светом фар черную землю, и за рулем этой машины, лицом к лицу с землей и ночью, будет сидеть смуглая рослая женщина, неутомимая и упорная, как железо, как сама машина.

— Счастливо, Настюша!

— В добрый час!

Звенели детские голоса, а агрегат уже свернул с дороги и шел полем, и черная полоса вспаханной земли текла следом за ним, как течет взвихренный волной след за кормой корабля.

Люди смотрели вслед агрегату, а он шел и шел вперед, земля ждала его, а небо отступало перед ним.

4

НА ФРОСИНОМ КОСОГОРЕ

Небывалая засуха разразилась в Угренском районе. Ни одной дождевой капли не упало на землю с того самого дня, когда Настя Огородникова впервые выехала в поле. Стоял такой тяжкий зной, какого не помнили самые древние старики. Горячие ветры носились над землей.

Просыпаясь по утрам, люди бросали первый взгляд на небо и наперечет считали редкие облака.

Первое время после посевной еще жили надеждой на то, что запасы весенней влаги помогут нивам перенести засуху, на то, что разразится наконец дождь и поправит беду и даст собрать тот небывалый урожай, о котором мечтали.

— Вот как дождь ударит, так сразу поднимется все, сразу как на ладонь лягут наши труды! — говорили колхозники.

Но с каждым днем гасли надежды, и люди уже не мечтали, а боязливо рассчитывали:

— Если бы сейчас грянуть дождю, поправились бы наши зерновые!

Но все молчаливее, скучнее и равнодушнее работали на полях, и все чаще слышались слова:

— Все равно погорит...

Яровая пшеница погибла, но ее сеяли мало, озими же держались: сказались и раннее боронование, и весенняя подкормка. Хуже было с картофелем и корнеплодами. Глядя на низкорослые картофельные кусты, первомайцы думали: «Раньше картошка выручала в трудные дни. На что теперь надеяться?»

Валентина ходила почерневшая, исхудалая и на все лады повторяла два слова: «Поливать, рыхлить!»

Она проводила беседы с колхозниками, старательно объясняла им:

— Рыхление — это сухая поливка. В неразрыхленной земле вода по тоненьким, не видимым простым глазом капиллярам поднимается из глубины на поверхность. Высыхает глубокий слой почвы. Надо разрушать капилляры — рыхлить землю.

Но колхозники шли на рыхление неохотно.

Василий приказывал, убеждал, распекал, но все это помогало плохо. Валентина наседала на него:

— Опять вчера мало сделали! Почему не идут на рыхление?

— Не верят...— отвечал ей Василий и тут же думал: «А я верю?»

Внешне он ничем не проявлял недоверия к ее словам и честно выполнял указания... «Но что это еще за капилляры? И спасут ли рыхление и подкормка от небывалой засухи?»

Все рассуждения о капиллярах, о почвенной влаге, о том, что рыхление — вторая поливка, казались ему сомнительными. Не то чтобы он считал их выдумкой, но думал, что все это годится для других мест и не имеет никакого отношения к Угренскому району, Первомайскому колхозу и непосредственно к нему, Василию Бортникову.

В характере у него было недоверие ко всему, что он не мог пощупать своими руками.

Когда он был подростком, на сельскохозяйственной выставке ему показали домик, сделанный из соли. Он не поверил в эту соль, пока не лизнул. Руководитель выругал его: «Что останется от домика, если примутся лизать все посетители?»

Василий терпеливо перенес выговор. Он был доволен. Теперь он мог с полной достоверностью рассказать в селе о домике, сделанном из самой настоящей соли: ведь он лизнул ее своим собственным языком! При таком характере ему было трудно поверить в необходимость той работы, результаты которой он еще не увидел своими глазами.

Он сам не слишком верил в пользу рыхления, а в людей должен был вселить уверенность. Это тяготило его. Когда Василию приходилось убеждать усталых людей идти на работу, в необходимости которой он сам сомневался, у него каменел язык и сердце тяжелело от жалости. Та самая жалость, за которую он когда-то с такой досадой называл Валентину «жалейкой» и с таким гневом ополчился на бабушку Василису, теперь все глубже проникала в него самого, и он чувствовал ее ослабляющее действие.

Все чаще он уступал там, где надо было настаивать, мирился с тем, что следовало пресекать.

Женщины то и дело нарушали производственный график и уходили на базар с овощами и ягодами; он знал, что надо поставить вопрос о них на правлении, но он видел, как тяжело им живется, жалел их и все оттягивал серьезный разговор, все ограничивался мимоходом сказанными словами. А график нарушался чаще и чаще, дисциплина падала со дня на день. Он видел, что необходимо создать перелом, и не мог этого сделать, потому что перелом надо было создавать прежде всего в самом себе.

Ночами, один в своем опустелом и молчаливом доме, он ходил по комнате, курил, пил холодный квас и думал.

Что же такое жалость? И как должна проявляться эта жалость и любовь к людям? Есть два пути. Можно оставить людей в покое, пусть себе поливают свои участки да ходят в лес за лыком и ягодой. А можно переломить самого себя, заставить себя верить в то, что утверждают ученые, заставить колхозников поверить в это, и убеждать их, и стоять у них над душой, и слушать, как они ругают тебя, и самому горько выругать их под горячую руку, и все-таки настоять на своем. Он знал, что верен второй путь.

В жаркий полдень он шел по дороге, мягкой от пухлого слоя пыли. Пыль была так суха, что, поднявшись, не опускалась, а стояла тусклым облаком над дорогой в гарном воздухе. Видно было, как кругами расходился зной от беспощадного белого солнца, как мелко дрожал и зыбился весь воздух, словно отягощенный тяжкими потоками зноя, как плыло и качалось знойное марево. Весь мир подернулся лоснящейся белесой пеленой и казался блестким и мертвенным, как в белой вспышке магния.

По обе стороны дороги стояла яровая пшеница. Странно сухими и ломкими были стебли, и остро торчали кверху плоские колосья. По обочине дороги вился вьюн. Зелень его пожухла, блеклые венчики запылились и пахли пылью, сладостью, увяданием. В неподвижных и отяжелевших от пыли кустах у оврага какая-то пичуга тонко и тоскливо просила: «Пи-ить! Пи-ить!»

Пот струился за пазуху Василию. Он шире откинул ворот рубахи, открыл грудь, но легче не стало.

«Будь она проклята, эта жара! Как сеяли, как старались весной, сколько надежды всадили в эту землю! Неужели все зря?»

Он сошел с дороги и, осторожно раздвигая суховатые стебли, пошел на середину поля. Стебли, тронутые его рукой, не сгибались, не склоняли колосьев, а, прямые и жесткие, торчками отходили в стороны с сухим и цепким шорохом.

«Это поле пропало! — подумал Василий.— Хорошо, что с рожью лучше. Как-то выходим картошку — второе богатство наше?»

Большой массив земли, занятый картофелем, начинался за пшеничным полем. Ближе к дороге земля была разрыхлена, но чем дальше он отходил, тем хуже было рыхление. На середине поля и ближе к лесу тянулись полосы склеившейся нерыхленной земли, твердой и звонкой, как глиняный горшок.

— Так-таки и не довели до конца! Вот люди! Что ты будешь делать с ними? Фроськино звено! Эх, шалопутная девка! Как же она еще позавчера говорила, что кончила рыхлить?»

За перелогом начиналось картофельное поле второго звена молодежной бригады. Звеньевой здесь была дочь Яснева Вера. Молоденькая и неопытная, она не умела так верховодить звеном, как это делала Фрося, но зато ни в чем не перечила бригадиру, не самовольничала и шагу не ступала без Алешина слова. Получалось так, что Алеша только для порядка прибегал к Вериному посредничеству, а в действительности сам руководил звеном, и работа от этого только выигрывала.

С особым интересом Василий подходил к полю второго звена.

Рыхление и весенняя подкормка проводились здесь образцово. Несколько недель назад еще не было заметно видимых результатов, картофель ничем особым не отличался, и Василий думал: «Рыхли не рыхли, корми не корми, в такую страшную сушь ничем не поможешь!» — но с каждым днем разница между участками второго и первого звеньев становилась заметнее.

Около недели Василий не заглядывал за перелог и теперь, подойдя, остановился, удивленный. За эти дни после второго рыхления и подкормки разница стала особенно заметной. Сильные и высокие кусты, казалось, не пострадали от солнца. Даже цвет у них был не блеклый, а сочный, темно-зеленый.

«Вот оно! Сказались наши старания! Что в книге написано, что Валентина говорила, то и есть!»

Его разобрало зло на самого себя за те послабления, которые он делал колхозникам, жалея их и не веря в возможность одолеть засуху. «На один час ослабеешь — ста пудов недосчитаешься,— с досадой думал он.— Разве не мог я по всему колхозу добиться такой же обработки? Всех пошлю поглядеть на это поле, а с Евфросиньей будет у меня особый разговор».

Он снова вышел на дорогу. Она вилась в белесом мареве зноя среди невысоких и тощих хлебов. Поле было пустынно, и только вьюн бежал да бежал по обочинам дороги, никнул и вянул на бегу, стлался в пыль, купал в ней свои жухлые листья и линялые, слабые, дряблые венчики.

У самой деревни чернело пустое поле, один вид которого принес Василию облегчение. Это было Татьянино капустное поле, с которого недавно сняли капусту. Посадка в горшочках, рыхление, поливка и подкормка помогли Татьяне собрать невиданно ранний и богатый урожай. Несколько дней назад она королевой уселась на машину, груженную первой капустой, и сама повезла ее на базар. Ранняя капуста показалась в Угрене таким дивом, что около машины столпились люди. Капусту покупали как диковину. Заказы на нее поступали из больниц, санаториев, пионерских лагерей. В кассу потекли деньги. Каждый раз, проходя мимо капустного поля, Василий говорил спутникам:

— Вот что можно сделать с обыкновенной капустой, если приложить к ней руки! В прежние годы на капусте выручали немного, а нынче Татьяна вырастила тысячи!

И сейчас, проходя по пустынному капустному полю, Василий повеселел.

За тусклой пеленой возникали серые дома деревни.

В правлении было пусто, и тяжелые мухи жужжали в окнах. Василий послал сторожиху за Фросей, которая жила рядом, и распахнул окно.

Он услышал однотонный, как жужжание мух, голос Ксенофонтовны. Примостившись в тени палисада, она рассказывала ребятишкам сказки. Тягучий старческий голос дребезжал уныло и безнадежно, странно соответствуя однообразному строю домов, длинной ленте пыльной и пустынной дороги, колыхающемуся над селом мареву:

— И погорят на земле все зеленя, и спросит Змей Горыныч Змеевых последышей: «Чиста ли мать — сыра земля?» И ответят ему Змеевы последыши: «Чиста, как девица честна». И вдругорядь заполыхает огонь, и вдругорядь спросит Змей Горыныч: «Чиста ли мать — сыра земля?» И ответят ему Змеевы последыши: «Чиста, как вдовица честна». И все погорит о ту пору... И треснет земля, как глиняный горшок.

Досада взяла Василия:

«Опять повела агитацию, чертова балаболка!»

Он высунулся в окно:

— Ты чего ребят стращаешь?

— Уж и сказку рассказать нельзя!

— Бывают сказки как сказки, а бывают сказки что воронье карканье. Замолчь!

Разноглазая, цветастая Фроська появилась на пороге. Кофта на ней была зеленая, бусы алые, юбка синяя. Казалось, что Фроськиным глазам так и полагается быть разными: одному желтым, другому голубым — под стать всем ее повадкам и характеру.

— Евфросинья, почему у тебя косогор нерыхленный?

— А чего его рыхлить?

— Валентина подробно всем объяснила. Или не слыхала? Рыхление — это сухая поливка. Так агротехника учит.

— Вот еще! — Фроська проговорила эти слова высокомерно и так быстро, что получилось одно слово: «Вотщё!»

— И зачем ты нас с Алешей обманула? Сказала: все разрыхлили, а косогор посредине нерыхленный, только по краю для видимости подрыхлили.

— Мы низины подрыхлили, а косогор рыхлить — решетом воду носить. Все одно погорит...

— Нет, не все одно. Если соблюдать агротехнику, то и засуха не страшна. Собирай девчат и отправляйся на косогор!

— Вотщё!

— Ты мне не вотщёкай, Евфросинья! Ты не на гулянке и не с ухажерами разговариваешь! Собирай, говорю, девчат и ступай рыхлить косогор.

— Да чего его рыхлить? Поможет ему рыхление, как мертвому припарки. Мы ведь все понимаем! Вам с Валентиной выставиться надо перед районом. В сводках написать вам охота, что, мол, все выполнили, как требуется. Вы пишите что хотите, а нас не троньте. Нечего вам попусту людей мучить! В соседнем сельсовете не рыхлят, одни мы маемся, тебе да Валентине в угоду.

— От неумная девка! А ты смотрела на поле второго звена? Сравнила с теми полями, где вовсе не рыхлят?

— Ну и глядела. Ну и сравнивала.

— Где же лучше?

— Все одно.

— Нет, не все одно. Сходи погляди на Верино картофельное поле, что за перелогом.

— Ну, может, где рыхлят, там чуток получше, так из-за этого все лето спину гнуть? Не пойдем мы. Да и девчонок никого нету, все по ягоды ушли.

— Кто отпустил?

— Я отпустила.

— Придется тебя снимать со звеньевых.

— Вотщё!

Ему захотелось крепко выругать ее, но он помнил слова Петровича, который говорил, что главный недостаток Василия — администрирование, неуменье убедить, усовестить человека.

Памятуя эти слова, Василий вздохнул, крякнул и попытался усовестить Фроську:

— Упреждал Алексей на собрании насчет тебя. Не послушали! Тебе поверили, как путевой девке. На твое слово положились.

— А что я, с весны не работала? Кто больше всех навозу навозил? Мое звено! Кто вперед всех подкормку провел? Мое звено! Я работала, пока толк был. А теперь чего работать? Вона! — Она ненавидящим взглядом показала на солнце.— Вона, как оно лупит!

После долгих убеждений и разговоров Фроська все же дала слово с утра повести звено на косогор и собиралась уходить, когда в комнату вошел Алеша, сорвал с головы фуражку, с силой бросил ее на лавку, со злостью кивнул на Фроську и сказал:

— Ты ответь мне, Василий Кузьмич: для чего она мне нужна?!

— А чего она опять?

— Рыхление нынче она сорвала. Завтра мне надо всю бригаду поставить на подкормку и поливку семенного участка и сверхраннего клина, так она мне вон что пишет...

Василий взял у Алеши записку и прочел вслух:

— «Сами свой семенной поливайте. Мы на вас не работники и не дурочки, чтобы на чужих участках гнуть спину».

Фроська тряхнула кудряшками:

— С чего это мы будем ихнюю рожь подкармливать да поливать? Вотщё! Они нашу не поливают!

— У них семенной участок: от этой ржи весь будущий год зависит! — сказал Василий.

— Ихний участок, пускай они и поливают!

— Что ж они, десять человек, будут день и ночь работать на поле, а десять других тем временем будут по ягоды ходить? Семенной участок всему колхозу нужен!

— Хитро,— сказала Фроська.— Это что ж будет за соцсоревнование? Они нас нашими руками хотят бить? Мы и ихнюю и свою работу переделаем, а на красной доске им первый почет! Дополнительная оплата за высокий урожай им пойдет! Хитро! Хитро, да меня не перехитришь! Не на такую напали!

— Слыхал? — сказал Алеша Василию и сел рядом с ним.— Вот и поговори с ней!

— Я уж говорил... Знаю, каково с ней разговаривать...

Они сидели на лавке и смотрели на Евфросинью, которая стояла перед ними, прислонившись плечом к стенке, и всем своим видом говорила: «Ну и глядите! Не больно испугалась!»

— Ну к чему мне эти звенья? Вера Яснева — та хоть не мешает, а от Евфросиньи одна морока! — сказал Алеша.— Пока мало-помалу работают на своих участках, до той поры все ладно. Как дойдет до большого дела, как понадобится сразу большая сила, так без лишнего разговора не обойтись! Где бригадир слабый, там в звеньевых, может, еще и есть толк, а я и один справлюсь!

— А для чего тогда кричать «соревнование» да «соревнование» между звеньями?..— сердито заговорила Фроська.— Для чего тогда кричать?! Всей бригадой — так всей бригадой, а по отдельности звеньями — так звеньями! Ну, ты сам посуди, какой интерес нам на ихнем участке спину гнуть, когда мы с ними соревнуемся и они нас забивают? Мы на ихнем семенном участке будем работать, а дополнительную оплату за хороший урожай их звено будет получать! Ты меня ругаешь, а я справедливо говорю. Нету моим девчонкам интереса на чужом участке работать.

— Всему колхозу есть интерес в семенном участке!

— Тогда не для чего делить участки по звеньям. Никуда мы не пойдем. Прикрепили нам участки, на них и будем работать.

— Приклеились они к своим закутам, и сшевельнуть нельзя!—сказал Алеша.—Ни к чему мне это, Василь Кузьмич! Мне тогда интерес работать, когда земли много, людей много, распоряжаться свободно, а это что за работа? Руки у меня связаны!

— Тогда не для чего и по звеньям раскреплять! Навыдумывают не знай чего, а потом у них Фроська виновата! Потом валят все на мою беззащитную голову.

— Да уж «беззащитная» твоя голова!

— Да как не беззащитная, когда на нее чужие недодумки валятся?! Не поведу я своих девчонок чужие участки поливать! И все тут! Открепляйте обратно все участки, будет общее бригадное поле—тогда пойду. Вот и весь разговор.

Фроська хлопнула дверью и ушла.

— Чертова девка...—сказал Василий.

— Это, конечно, так,—сказал Алеша.—Только, думается мне, не в одной Евфросинье тут дело. Ты сам посуди, дядя Вася: где машина идет, там сразу надо много людей, где агротехнические важные мероприятия, опять надо сразу много людей. А мы людей разбили на малые кучки, да еще участки за ними позакрепили и оплату определили сдельно по этим участкам. Как это согласовать? И как быть с оплатой?

Алеша настойчиво требовал ответа.

— Это обдумать надо...

Ночью Василию приснилось, что вьюн оплетает его плечи, ползет на щеку, щекочет ухо.

— Проснись, Вася! Проснись!—длинные жесткие косы тетки Агафьи щекотали его щеку.—Проснись, милок! Погляди в окно.

Был тот призрачный час, когда трудно понять, то ли лунный свет так ярок, то ли уже брезжит утро. В зените крупные, но уже бледные звезды шевелили лучами, а край неба был срезан большой лохматой тенью. Вдали коротко громыхнул гром.

«Туча!»—понял Василий и быстро вскочил с постели.

Одевшись, он вышел на улицу и увидел необычайное зрелище. Колхозники не спали. Улица была полна людей. Освещенные призрачным светом, человеческие фигуры бесшумно передвигались, словно плавали в зеленоватом воздухе. Все лица были повернуты в одну сторону—смотрели туда, откуда шла туча. И поднятые к небу лица, и вздрагивающие ветви тополей дышали ожиданием.

Тишина была певучей и сторожкой, люди избегали громко говорить, словно боялись спугнуть подходившую тучу. В сдержанном волнении приглушенных голосов, в плавности бесшумных движений, в напряженности и сход-

стве этих поднятых к небу, обращенных к востоку лиц было что-то не то праздничное, не то торжественное. Выйдя из власти сна, люди уже попали во власть этой тихой и плавной ночи, во власть этого взволнованного ночного ожидания. Изредка скрипели калитки, стучали створки окон.

— Нету ли каравая?—спрашивал чей-то голос, похожий на голос Ксенофонтовны.—Каравай нужен круглый, цельный, непочатый!

Молодой и незнакомый женский голос говорил тихо, страстно, жалобно и торопливо:

— Неужто она к починковским уйдет? Это же несправедливости! Разве они так, как мы, работали, разве так пахали, так сеяли?

Метеором на тихую улицу ворвалась Фроська.

— Пособите!—со слезами в голосе говорила она.—У нас земля нерыхленная! С нашего косогора вода, как со стекла, сбежит! Пособите! Мы вам после всем звеном отработаем!

Василий встал на крыльце правления и поднял руку. Взволнованное ожидание людей надо было превратить в энергичное действие.

— Товарищи!—звучно сказал он.—Все на поля! Бригадиры! Рыхлить там, где недорыхлено! Всех свободных людей на Фроськин косогор! Мы не потеряем ни одной капли! Ни одна капля не должна пропасть даром!

Ему не пришлось повторять. Люди с сапками бежали на поля. Мимо пробежали Алеша, Лена и Валентина. На миг мелькнуло милое лицо Авдотьи. Аршинными шагами прошел высокий, как каланча, Матвеич. Калитки хлопали одна за другой. Никому не хотелось оставаться дома.

Последней бежала огородная бригада во главе с Татьяной. Девушки задержались потому, что бегали на огород за мотыгами.

— Скорей, девчата! Не отставать же нам!—торопила Татьяна.

Неожиданно она натолкнулась на нелепую фигуру Ксенофонтовны, одиноко сидевшей над караваем посредине опустевшей улицы. Девушки остановились от неожиданности.

— Батюшки! Ты что тут делаешь? Сидит посреди дороги! Не заболела ли, часом?—испугалась Татьяна.

«Тучу приманиваю»,—хотела сказать Ксенофонтовна, но язык ее не послушался. Девушки догадались сами.

— Девчата, да она на каравай тучу манит!—раздался чей-то звонкий голос, и смех прыснул на всю улицу.

— Каравай нам и в поле пригодится. Проголодаемся!

Татьяна подняла каравай и побежала с ним дальше, бросив на ходу:

— Каравай я тебе отдам! Считай за мной!

Туча уже занимала треть неба.

«Только бы не прошла мимо!» — думал Василий.

Василий стоял в одном ряду с Валентиной. Она прибежала раньше, обогнала его и смеялась, оглядываясь.

«Пришли почти все,— думала она.— Как мы все срослись, сроднились за это время! И Лена здесь, и Кузьма Бортников тоже, и Прасковья. Фроська идет впереди всех, за ней Авдотья. Какие они обе ловкие, сноровистые! Дуня обернулась, смеется надо мной! Ну погоди же!»

Валентина взялась за сапку. Сухая, закаменевшая земля сопротивлялась, не пускала в себя железо, но когда оно все же пробивало кору, земля крошилась и разваливалась на куски.

Дождь начался, когда рассвело.

Ветер, пробуя силу, волной пробежал по ниве, пригнул одинокую березу у оврага и вдруг взметнул столбы пыли, расстелил до земли хлеба и трепетной дугой выгнул березу. Упали первые крупные и тяжелые капли, глубоко пробивая пухлый слой пыли, разбрызгиваясь на лицах.

Капли падали все чаще и чаще, пошли мелкой, трясучей дробью; потом разом хлынул ливень, проливной и неукротимый.

Взрыхленная земля набухла и почернела. Ливень шумел по косогору, а люди не уходили с поля. Промокшие и счастливые, они делали все возможное, чтобы задержать воду.

Когда дождь стал тише, молния полоснула небо, и гром раскатом ушел за перелог.

— В овраг! — приказал Василий.

Он боялся, как бы молния на открытом косогоре не поразила людей. Молния снова сверкнула над головами,— на миг все побелело, ослепительный зигзаг располосовал небо.

В овраге все сбились в кучу под кустами. Одна Фроська торчала на краю оврага.

— Глядите-ка! Ну, теперь на моем косогоре картофельные ватрушки вырастут!

— Теперь пойдет! — подтвердил Алеша.— Мы поддержали поля в трудное время: весной богато подкармливали, потом поливали, рыхлили. А теперь дождь! Яровая пшеница окончательно не выправится, а по озимым и по картофелю можно ждать урожая.

Все заговорили сразу:

— Как знали!.. Только кончили картошку рыхлить...

— Уж так ко времени закончили рыхление! Уж так ко

времени! Василий Кузьмич, недаром ты нас выпроваживал!

Василий встретился глазами с Авдотьей. Она смотрела на него смущенно, радостно и благодарно.

Он удивился этому выражению, но вскоре прочел в глазах и улыбках других колхозников ту же радостную благодарность. Что-то новое, теплое и уважительное, появилось в их отношении к нему.

Тогда он понял, что сегодня, может быть впервые, люди от глубины души и в полную меру признали его своим вожаком и словно благодарили за железную настойчивость, за твердую веру в успех общего дела. Казалось, они благодарили за то, что он оправдал их доверие и, выбранный ими, пошел впереди их, не уступил им в минуты их слабости, оказался с ними и сумел одолеть их косность ради их же блага. Это было его победой, одержанной и вместе с ними, и над ними.

Здесь, на Фросином косогоре, он отпраздновал еще одну победу — победу над самим собой.

«Сколько раз руки у меня опускались! — подумал он.— Сколько раз казалось, что все пропало и незачем драться, все равно не видать в этом году урожая!»

Татьяна разломала каравай, оделила им всех.

— Ешьте! Проголодались!

— Василию Кузьмичу сахарную горбушечку! — ластилась к Василию Фроська.— Характерный и разумный у нас председатель, кому хочешь скажу! Как такому председателю не уважить?

Все проголодались. Хлеб казался необыкновенно вкусным, и через минуту от каравая Ксенофонтовны не осталось и крошек. Дождь кончился, туча отошла, сверкнуло солнце, заголубело умытое небо. На каждой травинке в дождевых каплях сверкали, горели и лучились десятки маленьких солнц. Колхозники шли домой.

На половине неба толпились небольшие и легкие тучи.

— Теперь будет дождить! — сказал Матвеич и обернулся к Василию.— Спасибо тебе, Василий Кузьмич, за то, что гонял нас с подкормкой да с рыхлением. Если будем нынче с урожаем, то благодаря тебе, это надо прямо сказать.

— Правильно. А с урожаем будем, теперь пойдет наливаться! Дождик пошел в самый раз, и еще дожди будут! Глядите-ка на небо.

— Теперь в три дня наверстает.

— Теперь все!..

— Нет, не все,— уверенно сказал Василий,— земля заново склекнется, и снова надо будет рыхлить.

Фроська подняла потемневшую от дождя голову, вскинула брови и сказала авторитетно и нравоучительно:

— Ясное дело! Рыхление — все одно что сухая полива! Чай, из агротехники нам давно известно!

5

ЛИНИЯ

Много лет назад Степаниде привезли из Ветлуги сибирского котенка — ласкового и сонливого мурлыку-лежебоку.

Однажды ребята шутки ради взяли его с собой в лес. Когда котенка вынули из корзинки и поставили на лесную тропу, он взъерошил шерсть и остолбенел на мгновение.

Бесконечное мелькание дрожащих травинок, скольжение переменчивых солнечных пятен, снование мурашей, шорох жуков, перекличка птиц, мощь жизни, кипевшей вокруг, ударила ему в голову и опьянила его.

Он сделал несколько осторожных шагов, потом присел, вздрагивая всем телом и чуть подергивая кончиком хвоста. Его обычно сонная и ласковая мордочка сразу сделалась хищной.

Он выгнул горбом спину, выгнул хвост, несколько раз прыгнул боком, так, как он никогда не прыгал. Странными боковыми прыжками пошел по тропинке и вдруг ринулся в самую гущу зелени.

Какие инстинкты, веками спавшие в его крови, пробудились в нем? Какая неодолимая сила превратила этого лежебоку в животное дикое, смелое, неукротимое?

Глядя на одичавшего котенка, Степанида сказала:

— Ни дать ни взять наш Петрунька.

Петр с детства любил лес. Мальчишкой он мог целыми сутками бродить по лесным тропинкам. Возвращался он странно притихшим и с диковатыми, расширенными глазами. Когда его спрашивали, что он делал в лесу целый день, он отвечал: «Ходил...» — и не мог прибавить ни слова. Он не знал таких слов, которые могли бы выразить все, что он увидел и пережил. Когда Петр вырос, он стал охотником, но в охоте ценил не добычу, а ту легкость и то бездумье, которые овладевали им в лесу.

Едва вступив в зеленую глубь, он забывал обо всем на свете и весь превращался в слух и зрение. От всех трудностей, печалей он уходил в лес.

Петр зарядил ружье пулей.

— На кого идешь?— спросила Степанида.

— Что попадет...— ответил он.

Собаки он не взял: не ради охоты он шел, ему нужно было одуматься и успокоиться после вчерашнего происшествия.

Весь последний месяц Петр много пил.

— По какому это поводу ты разгулялся?— спросил его как-то Алексей.

— Скучно стало. Ты меня не веселишь, так я сам себя надумал веселить!— отшутился Петр.

После памятного ночного дождя жизнь в колхозе опять начала входить в нормальную колею. Снова в красном уголке и в садике около правления стало людно и весело. Петра опять потянуло туда на спевки, на репетиции драмкружка, на волейбольную площадку, но он уже привык пить, и ему трудно было бросить сразу.

— Худо ты стал жить, Петр,— строго говорила Татьяна Грибова.

— А по мне, хорошо! Как хочу, так и живу. Вот погуляю, похожу «не по твоей холстинке, а по моей хотинке», а к старости и тебя послушаюсь.

— Доведут тебя твои хотинки.

Алексей по-прежнему старался втянуть Петра в клубную работу и увлечь его делами молодежной бригады, но Петр только отшучивался.

Вчера вечером Фроська уманила его, хмельного, к себе на огород, будто бы вставить стекла в предбаннике. В предбаннике было жарко и пахло вениками,— недавно топили баню.

— Ишь, и волосы у меня еще не просохли. Гляди, какие мокрые да скользкие, ровно шелк!— льнула Фроська к Петру.

— Смотри, Фроська, доиграешься ты!— честно предупредил он.

— Я не пужливая!— Она сощурила пестрые глаза и засмеялась.— Мне не боязно!

Через полчаса он сидел на скамье и говорил:

— Кто же тебя знал, что ты еще девка! Что ж ты наманиваешь? Да если б я знал, разве бы я тебя тронул? Ведь поглядеть на тебя— тебе море по колено!

Фроська была ошеломлена. Она сидела рядом с Петром, уронив руки, смотрела прямо перед собой широко раскрытыми, испуганными глазами. Светлые волосы падали на побледневшее лицо, и она не убирала их. Она была тиха, и небывалое у нее робкое и грустное выражение делало ее женственнее и красивее, чем обычно.

Петру стало жаль Фросю. Он неумело положил ладонь на ее голову и вздохнул:

— Бойка ты больно... Вот и добойчилась... Бедища мне теперь с тобой...

Она поняла его слова по-своему и резко поднялась с места.

— Я тебя не виню и не ставлю тебя ответчиком... в невесты тебе не набиваюсь... Не бойся...

Две крупные слезы выкатились из глаз, но она гордо вздернула голову и направилась к двери.

— Фрося... Фросюшка... Да ведь я не к тому... Так все разом... Давай вместе рассудим, как поступить...

Они сели на скамью. Петр обнял Фросю, и она, ткнувшись ему в плечо, всхлипнула.

Давно отгорела заря, спустились сумерки, а они все еще сидели в предбаннике, безмолвные и испуганные.

Происшествие это взбаламутило всю жизнь Петра. Он, как и Василий, любил чувствовать себя честным и правым перед людьми. Ему хотелось успокоиться и одуматься, а лучшим лекарством от любых недугов был лес.

Заросшая невысокой травой, зеленая, как ковер, дорога вилась по еловой рамени. Петр чувствовал, как мягка трава под ногами. Каждый шаг, каждый поворот головы открывал что-нибудь неожиданное.

Вот у берега старая ель, вся мшистая и седая от покрывавших ее лишайников, низко опустила темные, обвисшие ветви над мочажиной; бахрома ветвей коснулась черной заводи и, как в зеркале, отразилась в ней.

Мелькнули и тотчас притаились за листом две перезрелые исчерна-красные ягоды земляники. Лесной шиповник горячими угольями раскинул оранжевые плоды на темной зелени.

Медведем вздыбились вывороченные корни поваленного грозой дерева. На корнях налипли лепешки земли, и на них качаются травинки и мерцает, таинственно выгнув розовые крапчатые лепестки, лесная саранка. На тонком, невидимом стебле клонится и качается лесной колокольчик, легкий, как дыхание, тающий и лиловый, как лиловатый лесной сумрак.

Петр свернул с дороги на тропу.

Еловая рамень становилась все мшистее, темнее, таинственнее. Вот узкая черная река с топкими берегами, заваленными трухлявым буреломом,— не подойти, не пробраться. Поверху ходит ветер, а здесь ни один лист не шелохнется, и все замерло, точно заговоренное.

Рыжая, летняя белка на ветвях старой, высохшей ели аккуратно развесила для сушки грибы — беличьи запасы.

— Ишь сорганизовала хозяйство!— усмехнулся Петр.

Тропа пошла на увал. Стало суше. Мягко пружинила под ногами хвойная подстилка. В движущихся солнечных

пятнах лакированный брусничник блестел и отсвечивал тысячами маленьких бликов.

Тропа поднялась в гору, и тут, на горе,—только взглянешь и закроешь глаза,—так головокружительно высоки тонкие, чистые, прямые сосны. Ни одной ветки внизу, и только там, высоко, в голубизне на желтовато-розовых, освещенных солнцем стволах качаются зеленые шапки.

Бор-беломошник, корабельные сосны, мачтовый лес... Стоит ли он, плывет ли в этой бездонной синей высоте, мерно и волнисто покачиваясь, словно в предчувствии своей судьбы?

Снова спускается тропа вниз и меняется характер леса. Потеряв счет времени, шел Петр, отрешившись от всего, что было за пределами чащи.

Младший в семье, красивый, способный, любимец и баловень Степаниды, он с детства не привык ограничивать себя. Всякое самоограничение, всякий контроль над ним, необходимость самоконтроля были ему в тягость. Обдумывание будущего и загадывание вперед казалось ему излишним и утомляло его. Он был еще очень молод, и в его непокорстве многое шло от неперебродившего мальчишеского задора. Он и пить начал именно потому, что этого нельзя было делать, ему нравилось буянить именно потому, что это приводило в ужас мать, и отца, и знакомых девчат.

Последнее время в нем все упорнее становилось неясное недовольство собой, которое поддерживалось словами Алексея, укорами Татьяны, строгими и недружелюбными взглядами Валентины.

Здесь, в лесу, это недовольство собой исчезало, все казалось простым и легким и пришло насмешливо-пренебрежительное отношение к тем, кто осуждал его.

«Живут!—думал он.—Тоже жизнь! «Так должно быть, а так не должно!», «Это можно, а этого нельзя!». Все у них рассчитано на сто лет вперед, и самих себя они ведут, как паровоз по рельсам! Тоже люди! Что они могут понимать?! Вот она, жизнь!—Он жадно вдыхал раздражающие запахи леса.—Что захотел, то взял! Что есть вокруг, то мое! Что вздумалось, то и сделал! И разве кому-нибудь от этого худо?»

Так шел он лесами и луговинами, с обострившимся слухом и зрением, далекий от будничной жизни, погруженный в лесное мерцание, шумы и шорохи. Неведомо сколько бродил он, отдыхая от необходимости управлять собой и контролировать себя, наслаждаясь безотчетностью и безмыслием. Мозг едва успевал отмечать и запечатлевать все виденное. Мысли были коротки, про-

зрачны, текучи. Они скользили по поверхности, как лесной ручей, легко и мгновенно отражая окружающее.

«Дятел стучит. Должно быть, на той развалистой сосне. Встать на это трухлявое дерево? Провалюсь? Нет, не провалился. Малина уже созрела. Какая сладкая! Этой тропой можно выйти на «лосевый двор». Хоть бы раз увидеть лося! Не везет. С тех пор как законом запретили бить, их много развелось. Следы попадаются то здесь, то там. А лося нет. Люди видят, а мне не доводилось. Кто это мелькнул возле пня? Горностай? Не успел разглядеть. Для ласки мал, да и цвет не тот. Ветер-то, оказывается, силен. Давно ли он поднялся? В чаще было незаметно».

Здесь, в редине, поросшей подлеском, ветер разгулялся, как охмелевший.

Скрипели и потрескивали стволы. Со стуком падали на землю шишки.

Петр вышел на поляну. Лес обступил поляну зеленым валом: его пенистая, бушующая листва, казалось, хотела перевалиться через край, захлестнуть и поляну и дорогу.

Туча надвинулась на самые стволы. Лес гудел неровно, тревожно, угрожающе. Чем дальше шел Петр, тем сильнее нарастал ветер, и когда Петр пришел на шохрину, то уже настоящий ураган вылетел ему навстречу.

За шохриной шла гать, вся насквозь прохваченная рвущимся о темные стволы ветром, а дальше начинались перекрытые молодой порослью вырубки. Волнами кипел молодой березняк, костром на ветру бились гроздья рябины, дрожала и шумела широкими листьями ольха.

Ветер кружился вихрями, выкручивая деревья и кустарники. За вырубками начиналось пересохшее болото, все поросшее серыми, седыми мхами, заваленное трухлявым валежником и полусгнившим буреломом с рогатыми корнями. Под серыми лохматыми тучами болото было тоже серым, лохматым, беспокойным. Петр вышел на болото и остановился как вкопанный.

В нескольких шагах от него стоял лось.

Серый, седой, как мох, он был огромен и необычайно силен на вид.

Это ощущение необычайной величины и силы пришло к Петру, прежде чем он понял, что перед ним лось, прежде чем успел его рассмотреть.

Тело лося было массивнее, шире, округлее, чем у лошади, а ноги были очень высоки и стройны. Широкая, мощная грудь переходила в могучую шею. Небольшая голова, отягощенная плоскими, ветвистыми и лопатообразными рогами, была вскинута.

Лось стоял не двигаясь, только чуть поводил головой, но вся поза его выражала смятение и тревогу.

Он был стар, и он был один. Много дней он бродил в поисках и по-прежнему оставался одиноким. Ночью он набрел на лошадей. Лошади мирно паслись на поляне. Они были похожи на него, и запах их был приятен ему. Они не испугались, приняли его к себе. Всю ночь он оставался возле них, и ему было лучше рядом с ними. А с утра пришли люди, и лошади с непонятной и чуждой ему покорностью остались с людьми, а он ушел и снова стал одиноким.

А к вечеру поднялся ураган, и это было единственным, чего он боялся.

Зрение открывает лосю только ближний кусочек леса, а слух и обоняние рассказывают о том, что делается на километры в окружности.

Человек ли пройдет вдалеке, невидимый за деревьями, лиса ли пробежит в траве по шохрине, лось точно узнает об этом по тонкому запаху жилья или меха, по шуму шагов и по шороху легких лап.

Обоняние и слух хранят лося от бесчисленных опасностей, таящихся в лесу. Вот почему лось становится беспомощен, почти заболевает во время бури.

Знакомые звуки и запахи делаются непривычно сильными, летучими и изменчивыми. Они хлещут по нервам и ранят органы, слишком чуткие и восприимчивые. Они налетают то с одной, то с другой стороны, и нет способа разобраться в них, и нет возможности определить, откуда они пришли и куда уходят.

Стоит он, потерявший ориентировку, растерянный и беспомощный, в бушующем, ставшем неузнаваемым и враждебным мире.

Лось, которого увидел Петр, стоял, вытянувшись, поводя поднятой головой и шевеля ноздрями.

Внезапно ветер изменил направление и хлестнул в ноздри резким, небывало близким запахом человека. Петр увидел, как дрогнуло тело зверя. Мгновенно лось закинул голову так высоко, что лопасти рогов легли на его широкую спину, оттолкнулся, как на крыльях взлетел над валежником и пошел необыкновенно широкими и легкими прыжками, не проваливаясь в трухлявой древесине, не увязая в болоте. Крылатая легкость великана была неправдоподобна.

Он уходил... И не помня себя, не успев подумать, Петр выстрелил... Передние ноги лося подкосились, он упал на колени, попытался подняться, но не поднялся, а повалился на бок и забился, распластав рога по болотному кочкарю.

Петр подбежал к нему. Петр знал, что подстреленный лось смертельно опасен, что ударом копыта он валит с ног медведя, но Петр не думал об этом.

Его жгла непереносимая жалость. Он не хотел убивать животное.

В тот момент, когда лось легкими прыжками уходил с болота, Петру хотелось одного — удержать лося, удержать во что бы то ни стало и вдоволь насмотреться на его красоту.

Если бы он мог тайком приходить на это болото, если бы лось, как к другу, выходил к нему из чащи и доверчиво брал хлеб из его рук, это было бы для Петра пределом счастья и желаний.

Он хотел дружить с лосем, беречь и охранять его — и вместо этого убил. Если сейчас кто-нибудь увидит его рядом с убитым животным, то его посадят в тюрьму.

Но не о тюрьме думал Петр в эту минуту. Его жгла жалость к прекрасному, могучему и благородному животному.

Жил в лесу красавец и великан, который мог убить копытом медведя и который ни разу не сделал никому зла, ни разу не употребил во зло свою великолепную силу. Кроткое и благородное животное брало добрыми серыми губами молодые побеги ольхи и березняка и радовалось солнцу и небу, облакам, проходящим над лесом. Его убили бессмысленно и бесцельно.

Петр оглядел все его огромное, поверженное на землю тело — тонкие высокие ноги, могучую грудь, сухие, шершавые рога.

Он никогда и никому не сможет рассказать о том, что увидел и убил лося. Если рассказать, что убил, то его арестуют. А рассказать только о том, что увидел — рассказать полправды,— Петр не мог. Ему тяжело было думать, что звери растерзают прекрасное тело. Он забросал его ветвями, мхом, валежником и пошел домой.

Он шел подавленный и несчастный.

«Что это за жизнь? — думал он.— И как это получается? Идешь как будто по ровной тропе, а она тебя раз — в ухабы! Почему хочешь одного, а делаешь другое? Как это научиться жить, чтобы самого себя не совеститься и от самого себя не прятать глаза? Ведь вот живет так Алешка. Живет — как стрела летит: не отклонится, не зацепится, знай звенит на лету да бьет по цели».

Ему вспомнился недавний разговор с Алешей.

— Хороший ты парень, Петро,— сказал Алексей,— только никак своей линии не определишь и не выведешь.

— Какая еще там «линия»? Думать еще обо всяких линиях! Я просто так хочу жить.

— Просто так не живут... Все равно в каждой жизни получается своя линия...

— Ну и пускай ее сама получается, мне не жалко!

Чего же мне над ней трудиться — определять да выводить, когда она все одно получится?

— Если ее самому не определить и не вести, то она пойдет кривулять и получится не такая, как тебе самому надо. Если ты ее не будешь выводить, она сама тебя выведет, куда тебе не нужно.

— Я счастливый! Меня моя выведет, куда надо!

— Ты уверен, что выведет?

— Выведет!

«Вот и вывела! — невесело усмехнулся Петр, вспоминая разговор. — И верно, что сама по себе получается в моей жизни линия, какая мне не нужна! И за что ни возьмись — все так... Колхоз ли наш взять: потерял Валкин колхозную линию, и пошел в колхозе разброд. И мне пора, пока не совсем опоздал... И как это получилось у меня — сам не пойму. Будто бы все ладилось, все хорошо было — и вдруг... С Фросюшкой набедовал. В браконьеры угодил. До суда, до тюрьмы недалеко... Вот тебе и линия! Кто же знал, что она меня до этого доведет?..»

Два часа шел он домой далекой лесной дорогой, и все два часа настойчивые и непривычные мысли кипели в уме.

Не заходя домой, он пошел к Алексею и стукнул в окошко:

— Алеша, ты говорил, новые грабли надо поделать для комсомольской бригады...

Алексей был удивлен его молчаливостью и тем яростным старанием, с которым непоседливый Петр дотемна возился с граблями.

6

СВЕРХРАННЯЯ

Когда это началось, Лена не знала. То ей казалось, что это пришло давно, еще в тот час, когда она впервые, склонившись над книгами, смотрела на опущенные ресницы сидевшего против нее Алеши и слушала его старательный шепот: «Синус альфа плюс косинус бета», — то она думала, что ничего не было до последних дней, до того вечера, когда она с Алешей и Славкой засиделась в школе. Но и в этот вечер тоже ничего особенного не было.

Она перебирала в памяти минуту за минутой и не могла вспомнить ни одного особенного слова, ни одного необычного жеста.

Это был обыкновенный вечер, ничем не отличающийся от сотен других вечеров. В конце дня Катюшка затащила в школу Василия.

— Пришел поглядеть, что у вас тут за «строительство»,—сказал он Лене.—Девчонки мои уши мне прожужжали.

Лена показала Василию макет Первомайского колхоза, который сделали школьники из глины, стекла и цветной бумаги.

Прелесть макета заключалась в том, что он каждый день менялся. Когда в колхозе приступили к строительству тока, склада и сторожки, на макете также поставили первые стойки и уложили первые венцы. Столько же бревен, сколько лежало у настоящего тока, лежало у макетного, и каждый день «строители» укладывали ровно столько венцов на макете, сколько прибавлялось у настоящего склада.

Однажды Лена, вернувшись с прогулки, застала около макета группу малышей во главе с Дуняшкой. Руки и платья у них были измазаны клейстером. Они старательно обклеивали ток и бревна серебряной бумагой, которую Лена привезла из города для елочных украшений.

— Почему у вас ток серебряный?—спросила Лена.

— Потому что он красивый...

Лена улыбнулась и не стала спорить. С тех пор все то новое, что строилось в колхозе, тотчас появлялось на макете в сверкающем серебряном оформлении.

Для большей красоты решено было изобразить зиму—макет выложили ватой и посыпали блестками. Алексей вставил в дома маленькие елочные лампочки и подвел к макету провода. Вечерами, когда темнело, в комнате тушили огонь и освещался макет. Игрушка стала пользоваться успехом не только у детей, но и у взрослых. Ребятишки соседних колхозов приходили полюбоваться на нее.

Дочери давно звали Василия посмотреть на «строительство», но он все не находил времени и только в этот вечер уступил настояниям Катюшки и заглянул мимоходом в школу.

— Елена Степановна, включите папане свет!—требовала Катюшка.

Макет осветили. Вспыхнули цветные огоньки, и игрушка предстала в такой фантастической прелести, что Василий невольно залюбовался. Но не красота ее покорила Василия. Его взял за сердце маленький ток, который любовно мастерили ребячьи руки из серебряных бревен, венец за венцом, повторяя осуществление мечты самого Василия. Он считал затеи школьников пустыми забавами,

а здесь чьи-то сердца бились в унисон с его сердцем, здесь радовались его радостями, печалились его печалями.

Серебряный ток растрогал Василия. Впервые он внимательно посмотрел на учительницу.

Высокая девушка с узкими плечами стояла перед ним, слегка закинув голову. На белой и нежной шее виднелись голубые жилки. Волосы были светлы и воздушны, как облако. Из облачного окружения смотрело широкое лицо с выпуклым лбом и тонким коротковатым носом, линия которого без изгиба переходила в линию лба.

Светлые ресницы были так густы и длинны, что отягощали веки, полуопущенные над большими светлыми глазами.

«Зеркалом души» — принято называть глаза, но у стоящей перед Василием девушки роль зеркала выполнял одновременно с глазами и рот. Длинные, красиво изогнутые губы были необычайно выразительны,— то внимание, то радость, то недоумение отпечатывались в их изгибе, а в углах все время таилась улыбка, как птица, готовая вспорхнуть каждую минуту. Все лицо выражало внимание, доверие и готовность. Оно как бы говорило: «Что ты хочешь от меня? Я с радостью сделаю все, что ты захочешь, потому что ты можешь захотеть только хорошее».

«И как это я не замечал ее раньше? — думал Василий.— Ведь, пожалуй, у нас в деревне и не бывало еще такой учительницы. Прежняя учительница как отзанимается с ребятами — так домой. А эта с утра до ночи в школе. Сад высадила вокруг школы, школьный зверинец организовала с разными ужами-ежами. Это тоже на пользу! Пусть лучше ребята с ужами-ежами возятся, чем на улице хулиганить! И что бы в колхозе ни затевалось, эта со своими ребятами всегда тут. Как из-под земли вырастают!»

Вспоминая все колхозные дела и события, он ясно видел это не замечаемое им прежде девичье юное лицо с тем же выражением внимания и готовности к чему-то хорошему.

Раза два она приходила к нему, просила сделать забор вокруг школы. Он сказал, что сейчас это невозможно, и она ушла. Прежняя учительница в подобных случаях кричала на председателя, жаловалась в район и добивалась своего. «Экая мямля...» — подумал он тогда пренебрежительно о Лене.

Теперь он вдруг понял, что она ушла не потому, что была мямлей, а потому, что по молодости лет и врожденной доверчивости просто поверила в то, что забор сделать невозможно, раз Василий это утверждает, и что, когда будет возможно, он забор сделает. Поверила и ушла.

А ему просто не хотелось возиться с разной мелочью. «Проживут и без забора»,— решил он.

Теперь ему стало стыдно.

Он смущенно отвернулся от Лены и стал рассматривать макет. Резной забор шел вокруг школы. Алый флаг вился над воротами.

— Что ж вы меня опередили?— сказал Василий.— Этак не годится! Враз — так враз. Ну ладно. На той неделе пришлю к вам людей делать забор!

Он ушел, молчаливый и смущенный, а позднее, когда Лена собралась уходить, в школу пришел Алексей.

— Елена Степановна, что вы сделали с дядей Васей? Забор вокруг школы хочет делать. «Ворота, говорит, надо резные и на воротах флаг!» Наличники на школьных окнах велел покрасить. С весны мы, комсомольцы, просили купить инвентарь для спортплощадки — все отнекивался, а сегодня сам предложил: «Делайте, говорит, спортплощадку там, где на макете стадион. И скамейки, говорит, делайте кругом, как на макете». И все про вас повторяет: «Хорошая девушка... Передай, говорит, ей: если что надо, пусть идет без стеснения прямо ко мне». Чем вы его доняли?

— Током,— улыбнулась Лена.— Ему понравилось, как мы на макете ток строим.

Оба они уселись на скамейку против макета.

Белый лунный свет лился в окно, серебром и цветными светлячками искрился макет.

Сперва Лена и Алексей негромко переговаривались о чем придется, потом замолчали, и Лена поймала такой упорный, нежный взгляд Алеши, что ей стало неловко.

— Что?— спросила она.

Алексей молчал. Искоса Лена видела Алешино ухо и русые завитки. Она заметила, что ухо краснеет.

«Почему он молчит? Почему он молчит?» Она чувствовала, что тоже начинает краснеть.

— Славка сегодня вылепил из глины замечательного лося...— быстро заговорила она. Не только щеки, но и шея у нее горела.— Я хочу послать этого лося на выставку детского творчества.

Она пыталась спрятаться за словами, но это плохо удавалось. Беседа не ладилась. Лена встала и пошла домой, а Алексей отправился в правление.

«Что же это?— думала Лена.— Что со мною?»

Весь вечер она не могла ничем заняться. Она пыталась то шить, то читать, и все валилось у нее из рук. Она не пошла ужинать, потому что ей стало тревожно и трудно рядом с Алешей.

«Когда это пришло?— думала она.— Очень давно.

Или только сегодня? Но, может быть, ничего нет, может быть, он и не думает обо мне? И, может быть, я придумала, что он необыкновенный?»

Лена знала свою способность «придумывать» людей и считать их порой лучше, чем они были в действительности. «Нет, он в самом деле такой, как мне кажется. Весь колхоз, все, кто знает его, считают его очень хорошим, необыкновенным».

Ленина способность выдумывать и украшать людей уравновешивалась острой наблюдательностью, твердостью нрава и природной насмешливостью. Если и приводилось ей ошибаться в людях, то ненадолго, а разочаровывалась она безболезненно и сама смеялась над своими ошибками. Она не испытывала досады на людей, в которых обманулась, она просто сразу теряла к ним интерес, отстраняла и забывала их, как сразу теряют интерес к только что прочитанной и не очень хорошей книге. Но в Алеше она не заблуждалась, знала его давно и все же с каждым днем открывала в нем новые привлекательные черты, и с каждым днем становилось яснее, что рядом с ней живет человек талантливый и благородный.

Она и сама не заметила, как все в ее жизни стало связано с Алешей и освещено им. Когда он уезжал на несколько дней в райком, все вокруг меркло, она отсчитывала дни и нетерпеливо смотрела на дорогу.

Кого бы из своих друзей и знакомых она ни сравнивала с ним, все казались ей хуже его. Она ни на минуту не забывала о нем, ложилась и вставала с его именем, но до этого вечера не отдавала себе отчета в охватившем ее чувстве.

Она тревожно спала ночью. «Может быть, ничего нет. Может быть, он и не замечает меня. Что же мне тогда делать?—думала она.—Дождаться утра! Как только посмотрю на него, так все пойму».

Утром он рано ушел в поле, и она не видела его. Днем она смотрела на окружающее глазами слепой и нетерпеливо ждала. Он не приходил, и день тянулся бесконечно долго. К вечеру она, измучившись, прилегла на кровать и забылась на полчаса. Проснувшись, она услышала, как Василиса говорила за стеной:

— И что это ты в «кобеднишнюю» рубашку вырядился? Истреплешь в будни шелковую справу!

Лена села на кровати. «Сейчас выйду, посмотрю—и все решится». Ей было страшно. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы встать. Она открыла дверь, вышла из комнаты и увидела Алешу. Он сидел за столом и ел картошку. Кудри его были тщательно приглажены, и одет он был в голубую рубашку из шелкового трикотажа.

Увидев Лену, он покраснел так густо и быстро, как умел краснеть только он.

Лена сразу поняла, что и его гладко причесанные волосы, и «кобеднишняя» рубашка, и весь празднично-просветленный вид — все это ради нее.

Такая радость и такое волнение овладели ею, что она, не смея поднять глаза, быстро вышла во двор и, сразу ослабев, опустилась на крыльцо. Одуванчики цвели в зеленой траве, куры хлопотали у кормушки, но Лена не видела окружающего ее. Как утренний свет наполняет комнату, когда открывают ставни, так наполнило Лену одно чувство, одна мысль: «Алеша любит меня...»

Косили дальние заливные луга. Зной перемежался короткими дождями. Травы просыхали после дождей быстро, сено не портилось, а становилось еще пушистее и духовитее. Ночевали здесь же, на лугах, под открытым небом, или в шалашах, или в заброшенном прибрежном домике. По вечерам, несмотря на усталость, пели песни и жгли костры. Настроение у всех было бодрое, хлеба наливались хорошо, картофель оправился, травы на лесных полянах и на лугах поднялись на редкость.

«С самого сорок первого не видели в наших краях таких дней»,— думал Алексей.

Он ходил похудевший от работы и счастья. Лена иногда приезжала на луга с попутной подводой; он учил ее косить, и ему трогательно было видеть косу в ее неумелых, тонких, ни под каким солнцем не загоравших руках.

Только одно событие омрачило безмятежные и солнечные дни: в субботний день ягодницы на шохрине обнаружили застреленного лося. Рядом с лосем валялся обрывок газеты. Газета была позавчерашняя, на полях сохранилась почтовая пометка: «Первомайскому». Эта улика доказывала, что браконьером был кто-то из первомайцев. Непонятно почему, стрелок не прикоснулся к своей добыче, не воспользовался ни шкурой, ни рогами, ни сладким лосевым мясом.

Событие в колхозе переживали тяжело, потому что те, кого можно было подозревать,— отец и сын Конопатовы и пьянчужка Тоша — доказали свою непричастность к преступлению.

В дни сплоченности и дружбы, когда к первомайцам по крупинкам возвращалась добрая слава, история с лосем была особенно неприятна.

— Только начали выбиваться — и на тебе! — говорил Василий.— Опять пошли трепать наше имя где ни попало. Из-за одного паскудыша всему колхозу страдать! Дознаться бы, кто, уж я бы его выучил!

— Вот именно — кто? — откликнулась Валентина.—

Это самое главное — кто? Кто-то среди нас врет нам всем... Виновник этой беды сидит рядом с нами, ест из одного котла. Тут чуть не каждого начинаешь подозревать, тут к каждому нехорошо приглядываешься — вот что всего мучительнее.

Они сидели в тени большого куста во время обеденного перерыва. Около Валентины, закинув руки за голову, лежал Алеша. Похудевшее и загорелое лицо его с жарким румянцем на щеках утратило ребяческую округлость, стало мужественнее, но глаза сохранили прежнее светлое и улыбчивое выражение. Тени листьев дрожали на его лице, на сильных руках.

— А этот все улыбается! — сердито сказала ему Валентина.— Ничто тебя не пронимает! Прямо зло берет! Почему ты улыбаешься? Ну, чему тут улыбаться, скажи на милость!

— И скажу! — сиплым голосом ответил Алеша и улыбнулся.— Ты сама подумай, прикинь, как жили год назад. Липы в лесу тишком рубили, веревочку вили, глядели, как председатель наш водку хлещет, и все это шло словно мимо людей. А нынче лося кто-то подстрелил в лесу, и весь колхоз горюет. Вот я и улыбаюсь!

— Это верно,— согласилась Валентина.— И сами не заметили, насколько выросли.

— Так как же решим с нашей сверхранней? — спросил Алеша, возвращаясь к прерванному разговору.— Пора уже убирать! Сверхранняя вызрела, остальную еще долго ждать. Я думаю послать туда несколько человек послезавтра.

— Я и сам так решил,— сказал Василий.— Кого будешь посылать?

— Я думаю своих девчат послать.

— Ну вот, уж и девчат! — подала голос Степанида, лежавшая невдалеке.— Мы, старые бабы, будем здесь на дальнем участке маяться, спать на соломе, а молоденькие девчонки пойдут работать под самую деревню.

— Я свою корову шестой день в глаза не видывала! — подала голос Полюха.

— У тебя корова, а у меня дети покинуты без присмотра! — выросла откуда-то из травы Маланья Бузыкина.

— Да у них тут, однако, целый старушечий взвод! — попробовал отшутиться Василий.

— А что? А и взвод! — вызывающе сказала Степанида.— Мы, старых костей своих не жалея, целую неделю здесь работаем. Дайте передых, хоть две ночки переночевать дома.

— Девчонки прибегали, говорили, что у моего меньшого нога нарывает.

— Ладно, запели...— сурово сказал Василий.— Еще три дня поработаем здесь, а там все отсюда уйдем. Об чем разговор!..

— За три-то дня у парнишки нога и вовсе разболится. Обезножет мой малый — ты ему свою ногу приставишь?

— Так уже сразу и обезножел!.. За детским садом фельдшер приглядывает.

— Фельдшер по прививкам ездит, у фельдшера не один наш детский сад.

— А может быть, и вправду перебросить их на тот участок? — с сомнением сказала Валентина.— Там им поближе к дому. Жнеи они хорошие. Как ты смотришь, Алеша?

— А сумеют они убрать без потерь?

— Впервой нам, что ли?

— Зернышка не оставим!

— Ладно уж, дядя Вася...— сказал он сипло.— Есть резон послать их. На сенокосе от них не много проку, а там справятся, тем более что идут по своему желанию. Пускай они убирают. А проверять я буду. С подводами или с попутной машиной подъеду. А то и так доберусь.

— Ну, будь по-твоему,— неохотно согласился Василий.— Послезавтра поедете на рожь.

— Что это у тебя с голосом, Алеша! — спросила Валентина.

— Говорить больно, в горле завелось что-то... На той неделе ночью вышел поглядеть на свою сверхраннюю, к утру вернуться хотел. Ночь дождливая была, простыл.

Боль в горле мучила Алешу уже несколько дней. Сперва он не обращал на нее внимания, думал, что она пройдет со дня на день, но она не проходила, а усиливалась. Еще сильнее, чем эта боль, беспокоило Алешу незнакомое ему прежде ощущение тяжести. Стоило ему прилечь, как все тело словно прилипало к земле, и для того, чтобы оторвать от нее руку, ногу, голову, надо было затратить усилие. Незнакомый с болезнями, он первое время приписывал эту тяжесть своей неизвестно откуда взявшейся лени и стыдился ее.

«Этак распустить себя — и вовсе сляжешь,— думал он.— Подтянуться надо, размяться...»

Он «подтягивался» и «разминался», и тяжесть действительно исчезала, и весь день он работал наравне с другими. Но день за днем ему становилось хуже и тяжелее. Теперь он уже понимал, что болен, но мысли не допускал о том, чтобы уйти с покоса.

«У каждого найдется болезнь! У одного горло, у другого зуб, у третьего палец, у четвертого еще что-нибудь...»

Когда Василий и Валентина уехали с покоса, после перерыва Алексей снова стал в ряд. Коса была так тяжела, что он несколько раз с удивлением оглядел ее: не обменена ли случайно, не налипла ли на нее глина? Ему казалось, что косит он энергично и быстрее, чем всегда, но он не только не шел впереди других, а все отставал.

— Алеша, да ты, однако, больной!—окликнула его Фроська.— Вокруг глаз чернота, а щеки горят.

— И верно, Лешенька!—поддержала Любава.— Видно, заболел. Ехал бы домой к фельдшеру.

— Пройдет...— ответил Алексей.

Ночью он проснулся и не сразу понял, где он. Рядом низко висели звезды, лучи мигали и тонкими ледяными иголками кололи тело. Он пошевелился. Иголки быстро побежали по спине. Он приподнял голову — звезды ушли вверх. Он увидел залитый лунным светом луг, свежее сено под собой, узнал Яснева и Петра, спавших рядом. Он снова опустил голову. Звезды снова спустились к нему, и тонкие иглы лучей побежали по телу.

Днем Матвеич отвез его в деревню.

В доме было пусто: Лена уехала в город, Валентина — в поле, Василиса со своими овцами ушла на выпасы.

Алеша вошел в Ленину комнату. Узкая кровать у стены, столик с аккуратными стопками книг, кисейная занавеска на окне — все умиляло его.

Он посидел в Лениной комнате, потом побрел в медпункт. Оказалось, что фельдшер закончил утренний прием и уехал в соседние колхозы делать прививки. Алеша зашел к Бортниковым узнать у Степаниды, как идет уборка сверхранней ржи, но Степанида с поля еще не приходила.

«Торопятся, видно, убрать до ночи. А я на них не полагался...» — с раскаянием подумал он и пошел домой.

Матвеич пришел к нему через несколько часов. Алеша сидел на кровати, опираясь о ее спинку обеими руками, и тяжело дышал.

— Был у фельдшера, Леша?

— Уехал фельдшер на прививки.

— Поехали в больницу! Как бы худо не было...

— Баб дождусь... с нашего сверхраннего клина...

— Они, видно, допоздна решили убирать. Туча наползает из-за леса. Они теперь не уйдут с поля до последней возможности, нечего их ждать. Поедем, Алеша, как бы самим под дождь не угодить.

— Если так, поедем ржаным полем... Погляжу.

— Что, крюк не велик...

Они выехали. По небу быстро плыли облака, чуть розовые от заката. На западе из-за леса выглядывал край

тучи, темный и косматый, как медвежья голова. Туча висела над лесом почти неподвижно, но присутствие ее чувствовалось в усилившемся ветре, в быстром похолодании.

— Поспеют ли бабы с рожью?—сиплым шепотом сказал Алеша...—Сверхранняя... От соседей приезжали просить на семена...

— Поспеют... Много ли там и дела!

Матвеич настегивал лошадь. Дорога завернула за кусты, и клин вызревшей, назначенной к уборке ржи открылся взгляду. Рожь была скошена, связана в снопы, но на части поля не убрана. Ветер шевелил желтые стебли. Все поле было пустынно, ни одной человеческой фигуры не было видно.

— Что ж это!—сказал Алеша и приподнялся на телеге.—Где же бабы?

— Тут где-нибудь, должно... в кустах... Передыхают, видно.

Матвеич изо всей мочи гаркнул:

— Эй, бабы! Где вы тут? Стеша, Маленькая! Эй! Стеша-а!

— А-а-а...—откликнулось эхо, и снова все стихло.

Ни в кустах, ни на поле никого не было.

— Куда же они девались?—жалобно вытягивая похудевшую шею и оглядываясь, говорил Алеша.

— Куда, куда,—рассердился Матвеич.—Завтра базарный день. По ягоды их черт унес.

Матвеич не ошибся. Часа два назад на поле пришла Анфиса, жена Финогена. Ни она, ни муж ее не были колхозниками, и она целыми днями «ягодничала».

Она едва тащила на коромысле две корзины черной смородины.

— За Козьей поляной в смородиннике ягоды видимо-невидимо, ручьем в корзины течет,—сказала она Степаниде.—Нигде еще не вызрела, а там чернехонька! С ночным поездом на базар поеду. На базаре ее еще мало, можно хорошие деньги взять.

У Полюхи засосало внутри: набрать стаканов пятьдесят за несколько часов—сколько выручишь! Откладывать нельзя... Завтра ребятишки проведают про смородинник и оберут дочиста. Да и смородина от базара к базару начинает дешеветь.

Все эти соображения молниеносно мелькнули в уме Полюхи. Но уйти с поля одной было невозможно.

— Бабоньки,—сказала она,—добежим на часок до смородинника, а в ночь отправим ягоды на базар с Фисой. Девчонок Бузыкиных дадим торговать Фисе на подмогу. А рожь завтра с утра уберем. Я вас засветло побужу. Кому

от этого худо? Никто и не узнает. За одну ночь с рожью ничего не станется...

Несмотря на то что женщины сами просили послать их на уборку сверхранней ржи, они не забыли о том, что это участок «чужого» звена. Никто не увидел беды в том, чтобы отложить уборку до утра, никто не возразил Полюхе.

Так опустело ржаное поле.

Матвеич еще несколько раз гаркнул, со зла выругался и погнал коня дальше. Алеша тронул его за плечо:

— Петр Матвеич... Рожь ведь не простая — опытно-показательная... Каждый килограмм важен... На ток... под навес свезти надо...

Матвеич оглянулся на Алешу. У него и у самого болело сердце за рожь, брошенную в поле.

— Может, вернемся в деревню, баб скричим?

— А кто сейчас в деревне? Кто на покосе, кто со скотом на выпасах. Пустота. Пока проездим да прособираем народ, дождь грянет.

— А ты сдюжишь ли, Алеша?

— А что мне? Я ведь не весь больной. У меня только горло.

Матвеич сам был здоровым человеком и все болезни лечил тремя способами — баней, водкой и работой.

— Ладно, — согласился он, — за час управимся...

Они принялись возить снопы на ток.

Старик Мефодий, живший в сторожке рядом с током, помогал им, и все же они не управились за час. Алеша оказался плохим помощником. Он задыхался и кашлял, чернея от боли. Последние возы возили уже под начавшимся дождем. Матвеич гнал Алешу в сторожку, но Алеша не слушался — надо было торопиться. Дождь освежил его разгоряченную голову, увлажнил пересохшие губы и приносил видимость облегчения. Только когда хлынул настоящий ливень, Матвеич заставил Алешу остаться под навесом и последний воз привез без него.

Алеше трудно было дышать, он не пошел в сторожку, а уселся под навесом, привалившись к вороху сыроватой ржи. Как только прошло напряжение работы, он сразу ослабел, и ему до слез стало обидно за свою сверхраннюю. Столько вложили в нее трудов и надежд, так радовались ее красоте, а теперь она лежала под навесом, сваленная как придется, влажная. На какой-то отрезок времени его охваченному жаром сознанию представилось, что не взрослый Алексей, а маленький Алешка сидит на огороде, задыхается и плачет от горькой обиды.

— Ну вот и все! — услышал он у самого уха голос Матвеича и пришел в себя.

Щеки его были влажны. Он смутился.

«Что это я? Вроде бабы! Хорошо, что темно, не видят. Скорей бы в больницу! Была бы тут Лена, мне бы лучше было».

Алешу переодели в сухую одежду Мефодия, укрыли брезентом и мешками, и Матвеич повез его дальше.

...Лена вернулась из города вечером. Она отвозила домой братишку, гостившего у нее, и собиралась вторую половину каникул провести дома, но заскучала об Алеше, о ребятах, о колхозе.

Она открыла калитку и вошла в просторный, заросший травою двор. И этот большой двор с травой и одуванчиками, и добела выскобленное, высокое крыльцо, и бревенчатая изба с резьбой по карнизу, с окнами, отражавшими алый свет заката,— все было родным, привычным, своим.

«Здесь я больше у себя дома, чем в маминой квартире в городе,— думала она, легко поднимаясь на крыльцо.— Это, наверное, из-за Алеши, и из-за Вали, и из-за Василисы, и из-за моих ребятишек. И как люди могут жить без этой травы и одуванчиков, без этих маков в огороде и без этого чудесного лесного воздуха?»

Она взяла ключ в условленном месте и вошла в дом.

Ей сразу бросился в глаза непривычный беспорядок. Недопитая кринка с молоком стояла на столе, и в молоке плавали мухи. Два грязных стакана стояли рядом. На стуле валялось серенькое платье Валентины. Тревога пришла на смену радости. Что-то случилось недоброе. Но что могло случиться? Она побежала к соседям. Прасковья рассказала ей, что Алеша несколько дней назад захворал горлом, что его увезли в больницу, что лежит он в пятой палате и что Василиса с Валентиной с утра уехали к нему и вот-вот должны вернуться.

Лена побежала в правление, чтобы позвонить в больницу, но телефон не работал.

Она вернулась домой и стала ждать Василису и Валентину.

Шел час за часом, никто не приезжал. Ночью мимо деревни часто проходила машина с пассажирами ночного поезда, и Лена думала, что женщины приедут с этой машиной. Она сидела у открытого окна и ждала. Безлюдная дорога таяла в темноте.

Наконец вдали показались огни машины. Лена выбежала за ворота. Белые снопы света промчались мимо.

Никто не приехал. Лена одна стояла у крыльца на темной улице.

«Василиса и Валентина остались там. Хотели вернуться, но остались. Остались, несмотря на то, что работа в разгаре и каждый час дорог».

Приближение беды становилось все ощутимее. Где-то хрипло залаяла на машину собака и умолкла. Далеко, у подножия холма, в последний раз мелькнули огни фар.

«Я должна быть там! Пойду прямо на квартиру к заведующему больницей. Позвоню домой. Вызову из города лучших профессоров. Сделаю то, что не сделают ни Валя, ни Василиса, никто, кроме меня. Скорее!»

Она быстро вернулась в комнату, накинула на плечи большую серую шаль Василисы, погасила огонь, вновь вышла и заперла дверь на замок. Все ее движения стали точны и уверенны. Она чувствовала такой прилив энергии, такой подъем душевных и физических сил, словно сразу превратилась из мечтательной, юной девушки в опытную и уверенную в себе женщину.

«Сейчас пойду на конный, возьму подводу. Через два часа буду у Алеши».

Ночь уже клонилась к утру. Предутренний ветер шевелил темные ветви деревьев. Веяло сыростью и прохладой.

На конном было пусто. Большой замок висел на дверях. Все кони паслись на лугах, в десяти километрах от села.

«Идти к Василию Кузьмичу? Но что он может сделать, если нет коней? Незачем терять время на хождение, разговоры. Пойду пешком!»

Белая и гладкая в лунном свете дорога терялась в кустах.

Лена плотнее закуталась в шаль и решительно пошла по этой дороге.

Знакомые колхозные поля и кустарники встречали ее, как свою, тихим шелестом трав и листьев.

Белые полосы тумана тянулись над полями. Они загибались с конца, как полозья саней, пересекали дорогу. Лена входила в них, и на ее обнаженные ноги сырость ложилась холодной, липкой паутиной.

«Я приду на рассвете. Если ему плохо, я сразу пойду к заведующему больницей. Но, может быть, ему хорошо? Он откроет глаза и увидит меня. Я буду сидеть около него в белом халате. Как он обрадуется и удивится! Я расскажу ему, как шла к нему пешком ночью. Он скажет: «Глупая! Зачем?» Но ему будет хорошо, нам будет очень хорошо».

Знакомые поля Первомайского колхоза давно кончились. Лена иногда с трудом узнавала измененные ночной темнотой перелески и поляны. С каждой минутой густел туман, он уже не тянулся полосами, а лежал сплошной белесой пеленой. Похожее на него легкое облако с опаловыми краями быстро плыло под луной.

«Кто из нас двигается скорее: я или оно?—думала

Лена.— Мне надо спешить. Не надо обманывать себя — Алеше плохо. Если его так быстро увезли в больницу, если бабушка и Валя поехали и остались у него, значит, ему очень плохо».

Она почти бежала. Дорога шла лесом. Лес был черен и глубок, но темнота его казалась тысячеглазой. Кто-то подстерегал за каждой веткой, за каждым листом. Обычно боязливая и робкая, Лена теперь не чувствовала страха.

«Скорее! Скорее! Только бы не случилось ничего плохого!»

Туман выползал из леса, и она бежала по колено в тумане, не видя дороги и только смутно угадывая ее направление.

«Я скоро приду... Я очень скоро...»

Дорога нырнула вниз и пошла через болото. Теперь туман поднимался до самых плеч. Темные вершины кустов выплывали из него, как на плотах. Земля была невидима, и только небо, чистое, звездное и холодное, висело над этим туманом.

Лена не понимала, где она идет, дорога ли была под ногами, или ступала она прямо по низким тучам. Только клубящийся туман внизу, да холодное небо над головой, да всепоглощающее желание — скорее, скорее!

Холм начинался за болотом. Задыхаясь, Лена бегом взбежала на него. Она так спешила, словно там, за холмом, все должно было открыться ей. Поднимаясь на холм, девушка вырывалась из клубящегося тумана. Она уже не плыла в нем, закрытая им, она уже видела дорогу под ногами.

«Скорее, скорее, скорее! Сейчас я поднимусь, сейчас останется только половина пути, и дорога пойдет под уклон, и мне легче будет идти».

Задыхаясь, хватая воздух ртом, она взбежала на вершину холма и остановилась под деревом. Высокая, чистая равнина открылась ей. Тумана на равнине не было. Не шевелился ни один лист, ни одна травинка. Большая белая луна плыла низко над кустами. Листья на дереве, под которым остановилась Лена, отсвечивали жестью. Вся равнина, лежавшая перед Леной, отсвечивала тем же мертвенным, жестяным светом. Страшная глубина опрокинутого, наполненного звездами неба изливала то же холодное жестяное сиянье.

— Нет...— сказала Лена.

Она держалась за шероховатый белесый ствол, потому что ей трудно было стоять.

Она подошла к больничному двору, когда уже взошло солнце. Вековые прекрасные деревья больничного двора

были влажны от росы, ветер шевелил ветви, и солнечные блики играли на влажных листьях.

Две няни в белых халатах шли впереди Лены.

— Такой-то молоденький да такой хороший...— сказала одна из них.

— Говорят, деньком бы раньше...— отозвалась другая.

«Нет! — холодея от ужаса, подумала Лена.— Слишком неправдоподобно, чтобы первые же встречные на больничном дворе говорили о нем. Мало ли в больнице других больных! Почему Алеша?.. Нет!»

Она знала расположение палат, потому что не раз навещала своих заболевших ребятишек.

Она рванула дверь, вошла в больницу и прошла коридором к пятой палате. Никто не увидел ее и не остановил. В пятой палате стояли три пустые, тщательно заправленные кровати.

«Он не в этой палате»,— подумала Лена, и вдруг взгляд ее упал на прикроватный столик. Красный Алешин блокнот, в который он заносил рецептуру удобрений и в котором был записан городской адрес Лены, лежал на столике.

Лена смотрела на него, не двигаясь. Алешин блокнот на столике у пустой кровати... Комната уплывала. Вещи делались маленькими. Только этот блокнот в красном переплете лежал и лежал, никуда не исчезая.

— Он уже там... Пойдемте, я отведу вас...— раздался за ее спиной голос знакомой сестры.

Лена пошла за ней. Сестра вытирала глаза концом отутюженной косынки.

— Мало ли я видела смертей... но эта смерть... Этот мальчик... Гнойник прорвался внутрь, и гной из горла попал в средостение. Если бы на час раньше...

Лена шла за сестрой.

Утро было сияющим. Деревья мирно перебирали ветвями, и невозможно было поверить в то, что это действительно случилось, что он уже умер и никогда не увидит этих деревьев.

Они вошли в мертвецкую.

В полутемной прихожей стояли какие-то ведра. Василиса сидела на лавке и молча шевелила перед собой сухими коричневыми пальцами.

Сестра толкнула дверь.

Прежде всего Лена увидела большие солнечные окна и за ними — синеву, и птиц, и кипенье листвы. Потом она увидела Валентину и Андрея. Они стояли спиной к ней и не оглянулись, не услышали ее прихода. Наконец, сделав еще шаг в глубину комнаты, она увидела его.

Он лежал на столе, прикрытый простыней. Одна рука его была закрыта, а другая свободным, пластичным движением была откинута в сторону. Казалось, он лежал отдыхая. Солнечные блики и тени от листвы, играя, скользили по этой смуглой и сильной руке.

Лицо его было повернуто к окну. Волнистые, живые волосы чуть шевелились под ветром. Шея и та часть щеки, которая была видна Лене, распухли, и только бровь не изменилась — чистая и легкая, она удивленно лежала на гладком лбу.

Качнулись стены, падали, шумя ветвями, большие деревья, падало небо вместе с черными птицами, парящими в вышине. Андрей услышал непонятный шорох, оглянулся и увидел на полу, у самых ног, бескровное девичье лицо с остановившимися синими глазами.

7

УРОЖАЙ

Началась страда.

Наливные нивы не шевелились в августовском безветрии. От вида чистых и сильных хлебов веяло таким покоем и безмятежностью, что уже странно было вспоминать о том времени, когда, как в лихорадке, бросало из весенних заморозков и дождей прямо в обжигающую сушь лета.

Урожай был выше среднего, и его уже можно было увидеть, потрогать, попробовать налив зерна на зуб.

Хорошо было по утрам идти на работу меж высокими стенами влажного, отяжелевшего от росы хлеба. Хорошо было возвращаться в сумерки, когда туманы стлались под самые колосья.

Работа в колхозе спорилась, все удавалось и ладилось, и только страшная своею нелепостью гибель Алеши жила в памяти первомайцев.

Умри он год назад, смерть его воспринялась бы колхозниками как горестное, но не влияющее на их жизнь и судьбу событие; теперь же весь коллектив чувствовал ответственность за безвременную гибель бригадира, и почти каждый задумался о своем месте в колхозе, о своей работе.

— Высота требует осторожности...— однажды сказал Валентине Андрей.— Чем выше в горы поднимается человек, тем осторожнее должен он быть в каждом шаге. Чем лучше, самоотверженнее, благороднее становятся люди, тем бережнее надо быть с ними. Там, где вырастают такие, как Алеша, должны существовать новые отноше-

ния между коллективом и отдельным человеком. Алеша умел думать обо всем колхозе, но не умел заботиться о себе. Значит, все должны были думать о нем. Почему просмотрели начало его болезни? Почему не заставили его вовремя уйти с поля, вовремя уехать в больницу? Не хватило внимания, бережности, не умели дорожить тем, что, может быть, было самым дорогим в Первомайском колхозе.

Василий не умел так точно, как Андрей, выражать свои мысли, но думал то же самое.

Никто и ни в чем не обвинял его; но он чувствовал себя виноватым в том, что «недоглядел», не уберег лучшего своего бригадира. Он учился быть вдумчивее и заботливее, внимательнее присматривался к жизни и настроениям колхозников, больше делал для молодежи, щедрее помогал многодетным и старикам.

Словно межа легла между всеми колхозниками и теми, чья халатность стала косвенной причиной Алешиной смерти. Страшно было Степаниде, Полюхе и Маланье, затеявшим злополучный поход за черной смородиной, то гневное осуждение, с которым говорили о них колхозники на собрании, но еще страшнее было то, что Василий, при всеобщем молчаливом одобрении, прогнал их с похорон и запретил им идти за Алешиным гробом.

Особенно глубоко пережил смерть Алеши Петр. Алеша был его совестью, его другом, его советчиком. Уезжая в больницу, Алеша поручил ему временное руководство бригадой.

На другой день после похорон на правлении обсуждали вопрос о новом бригадире.

— Попробуем оставить Петра,— предложил Василий.— Он хорошо верховодит.

— Гулявый парень!..— возразил Яснев.

— Он давно не пьет...

— Вызовем его и спросим,— предложил Василий.— Я Петра знаю. Если неволить, толку с него не будет, а если своей охотой возьмется — не подведет.

Петра вызвали. Он вошел в комнату, в которой вчера еще стоял гроб Алеши. Еще сохранились на красной скатерти следы от ножек гроба, еще висел на стене портрет Алеши в траурной рамке и горько пахли подсыхающей хвоей перевитые черными лентами еловые гирлянды.

— Ну, Петр,— сказал Василий,— мы тебя просить не будем и неволить не станем. Скажи сам: примешь ли на себя Алешину честь и его ношу?

— Приму...— глухо и односложно ответил Петр, обдумавший все заранее.

Став бригадиром, Петр свято соблюдал Алешины порядки,— словно настоящим бригадиром так и остался Алеша, а Петр был только его заместителем. Алешин обычай каждый вечер подводить итоги дня и проверять исправность инвентаря у Петра превратился в своеобразный ритуал.

— Не спешите, ребята. Так рассказывайте, как раньше рассказывали...— строго говорил он и, сам не замечая того, подражал Алеше во всем: умерял силу голоса, сдерживал жесты, старался спокойнее и ровнее держаться с людьми.

Работа в бригаде шла бесперебойно, и даже Яснев, возражавший против кандидатуры Петра, не раз признавался Василию:

— А ведь ты прав был, Василий Кузьмич: Петрунька идет по Алешиной линии!

А Петр переживал особые дни.

Раньше его веселила слава первого озорника и дебошира, а теперь он нашел вкус в том, чтоб казаться выдержаннее и справедливее других. Ему нравилось молча прийти в скандальное Фросино звено, сохранить полную невозмутимость среди девичьих криков и нападок, двумя словами неопровержимо доказать свою правоту и настоять на своем.

Он вдруг открыл интерес в том, чтобы раньше всех вывести в поле свою бригаду и пройти по сонному селу с песнями и весельем, так, чтобы колхозники выглядывали в окна и говорили: «Комсомольская бригада идет». Порой он сам не узнавал себя и удивлялся себе: «С Алешиной ли смерти это пошло? Осень ли нынче такая особая?»

То же ощущение «особой осени» было и у других колхозников. Предчувствием счастливых перемен дышало все.

По вечерам Евфросинья прижималась к Валентине тугим плечом и томно говорила:

— Ой, Валенька, неймется мне...

— Заболела, что ли?

— Какое заболела! На мне все кофты трещат.

— Так что ж тебе неймется?

— Миша Буянов на доске показателей на самолете мой портрет изобразил. Полететь бы мне!

— В этом нет невозможного. Мало ли девушек летает? Только сперва надо доказать на своем деле, на что ты способна.

Вскоре Любава со своим звеном опередила Фросю и вытеснила ее из самолета.

— У них лучшие в бригаде косари!—жаловалась Фрося Валентине.— Комбайн в наш колхоз с той недели

придет, а пока в поле лобогрейки да косари, Любава нас забьет.

— А ты попробуй не руками брать, а головой! — ответила Валентина.

— А как головой?

— Когда агитатор газету читает, ты ворон считаешь. Сколько у тебя девчат за лобогрейками идет? Шесть! А тремя не обойдешься?

— А как?

— Опять как! Говорю я тебе: лучше агитатора слушай, тогда и поймешь! — подзадорила Валентина Фроську. — А вполне возможно высвободить несколько девчат с лобогрейки, бросить их на ручную уборку.

На следующий день агитатор Михаил Буянов прочел полеводам статью о скоростной вязке снопов с разделением труда на три отдельные операции.

Фроська вырвала газету из его рук и сама перечла статью. Разноцветные глаза ее разгорелись.

— Девчонки! — сказала она. — Или выйдем в скоростники, или я не Фроська! Перевясла заготовим загодя. Ты, Липа, будешь первый номер: тебе ровнять валок. Ты, Катя, второй номер: тебе накладывать перевясла. А я пойду третьим, буду вязать. Втроем пойдем вместо шестерых. Будем в скоростники выходить. Не хуже ж мы тех, о каких в газетах пишут!

— Объявляться будешь или сперва без объявления? — спросили девушки.

— Объявлюсь!.. — с легкой жутью ответила Фроська.

— Ой!.. А вдруг не получится?

— А мы вечера два втихую попрактикуемся, а потом сразу объявимся и пойдем греметь! — Без «грому» Фроська не могла. — Петро! Обеспечь нам условия для скоростного! — скомандовала она Петру.

— Чего еще! — отозвался Петр.

Если бы с ним заговорил об этом кто-нибудь другой, он сразу заинтересовался бы. Но Евфросинья сидела у него в печенках.

Если Алешу она еще кое-как слушалась, то Петру перечила на каждом слове.

Фроська не пожелала повторять сказанного, повернулась спиной к нему, буркнула:

— Без тебя обойдусь!

Два вечера девушки готовили перевясла и практиковались потихоньку от всех.

На третий день Фроська во всеуслышание объявила:

— Иду скоростным!..

Буянов сообщил об этом по радио всему колхозу.

Василий и Валентина в полдень пошли в поле, чтобы посмотреть, как идет дело у новоявленных скоростников.

Августовский полдень был тих и ясен. Медленно изгибаясь, проплывали в синеве паутинки. Белые пушистые звездочки, семена неведомых растений то таяли в солнечном свете, то вновь возникали в зеленой тени деревьев. Стрекозы на стеклянных неподвижных крыльях висели в воздухе.

На кустах позднего картофеля кое-где еще виднелись бледно-лиловые маленькие цветы с желтыми тычинками.

— Ты смотри, какой картофель! Вот что значит рыхление и подкормка!—похвастался Василий Валентине, как будто не она в начале лета изо дня в день твердила ему эти два слова.— Вот что значит не струсить перед засухой!

Дорога обогнула перелесок. Сразу открылись взгляду высокие, наливные хлеба. Ровные, колос к колосу, полебяжьи выгибая шеи, клоня тяжелые головы, стояли они по обе стороны дороги.

Василий улыбнулся, разгладил ладонью усы, подбородок. Он не растил бороды, но когда был доволен, то отцовским жестом оглаживал себе подбородок и щеки.

— Нивушка-наливушка!—сказал он, не в силах удержать своей всегда внезапно освещающей все лицо улыбки.

— Алешина нива...—тихо сказала Валентина.

На свежем столбике у дороги была дощечка, на которой Алешиным, до боли знакомым, по-детски округлым почерком было выведено: «Показательный участок комсомольско-молодежной бригады. Просьба тропкой по жнивью не ходить, а обходить балкой».

Ниже другой рукой (Валентина узнала руку Петра) было написано: «Бригада имени своего первого бригадира Алеши Березова. Товарищи, не потеряем ни одного зерна из Алешина урожая!»

У Валентины перехватило горло. Нелепая смерть Алеши все еще не стала для нее свершившимся фактом, с которым нужно примириться. Все еще не притупилось чувство боли, изумления, отрицания. Она вдруг ярко представила его таким, каким видела весной. Она сидела верхом на коне под дождем, а он стоял, подняв к ней лицо; дождевые капли стекали по его влажным розовым щекам, и глаза с яркими голубоватыми белками выражали внимание и упорство.

Она так ясно видела эти глаза и лицо, и столько жизни и молодости было в них, что все остальное подернулось туманом, стало нереальным, неощутимым. Мгновенный ветер пролетел над полем, вся нива ожила, склонилась, зашелестела.

— Словно он голос подает: всего, мол, может добиться человек! — сказал Василий.

Ветер пролетел и утих, и снова полуденная зрелая тишина встала над полем.

Молча шли Василий и Валентина меж двумя стенами высокой ржи.

Вдалеке замелькали косынки.

На Фросином участке кипела работа. Петр, похожий на фотонегатив со своим черным лицом и до белизны выгоревшими бровями и волосами, работал на лобогрейке. Рубашка его была расстегнута, рукава засучены.

Маленькая коренастая лобогрейка грудью шла на высокую стену хлебов, и хлеба покорно отступали перед ней, падали крупными, тяжелыми волнами, ковром стлались под ноги. Сзади шли вязальщицы. Видно было только мелькание смуглых рук в колосьях, да то и дело слышался звонкий голос Фроськи:

— Эй, номер второй! Шевелись живей!

— Да они тут по номерам! — усмехнулся Василий.— Не звено — пулеметный расчет!

Все сильнее темнела лошаденка от пота, все стремительнее наступала лобогрейка на плотный массив хлеба, а Василий и Валентина стояли и не могли налюбоваться слаженной и стремительной работой вязальщиц.

— Э-эй! Петр! Давай хлеб! — покрикивала Фроська.— Пятки вязать тебе, что ли?

Петр оглядывался, усмехáлся, вытирал пот со лба.

— Совсем коня загоняли девки! — весело пожаловался он Василию.— Полполя я им вперед заготовил, а они меня все равно догнали.

— Разговорчики! — прикрикнула Фроська.— Давай, давай, не задерживайся!

Мелкие бисерины пота катились по ее лбу, повисали на бровях, над цветастыми глазами, голубая блузка потемнела и прилипла к спине. Она никого не видела, ничего не слышала, не обратила ни малейшего внимания на Василия и Валентину; она работала с точностью машины и с увлечением артиста, впервые исполняющего любимую роль, с ожесточением бойца, наступающего на неприятеля. Сегодня она впервые доказывала всему колхозу, а может быть, и всему району, что такое она, Евфросинья Блинова, и на что она способна.

Она то покрикивала на Петра: «Давай, давай!» — то, не оборачиваясь, кричала напарницам: «Поспевайте, девчата!»

Глядя на нее, Василий даже крякнул от удовольствия:

— Э-эх!.. Хороша же девка!..

Снопы как из-под земли вырастали за вязальщицами.

Минута шла за минутой, а Василий и Валентина все стояли и глаз не могли отвести от веселой работы скоростниц.

Наконец Петр крикнул:

— Обед!

Обедали тут же, в поле, у полевого котла. Петр возился у лобогрейки, а вязальщицы распрямили занемевшие спины и уселись близ оврага, у кустиков. Василий и Валентина подошли к ним и сели рядом.

— Вот это, девочки, работа!—восхищенно сказала Валентина.—С нынешнего дня можно считать, что начинается у нас настоящее соревнование.

— Да-а!—удовлетворенно протянул Василий.—Вот и скоростники свои в колхозе появились!—И тут же он похвастался самому себе:—В нашем районе еще не было и нет таких скоростных вязальщиц! В газету, что ли, позвонить? Пускай нашу Евфросинью заснимут...

— Пускай их заснимают, коли надо!—снизошла Фроська.

— Ты не очень задавайся!—подзадорил ее Петр.— Все твои достижения—до первого комбайна. Через два дня придет комбайн на поле—что останется от твоих рекордов?

— Комбайновой уборки запланировано шестьдесят процентов. На остальных сорока и мои рекорды весят.

Прямо по стерне торопливо шла Любава. Она услышала о Фроськиных делах и не выдержала—прибежала в перерыв посмотреть, сколько и как сделали.

— Погляди, Любава, да своих позови посмотреть, как здесь нынче работают!—сказала Валентина.

— Не все нам у вас учиться, нынче и вы у нас поучитесь!—засмеялась Фроська.

— Ну что ж! Конечный счет все равно за нами. Цыплят по осени считают!—отшутилась Любава. Однако она была озабочена.

— Садись, нашей похлебки отведай!

— Наша лучше!—засмеялась Любава.

— Наша с дымком да с сухим грибком... У вас в бригаде такой и не видывали!

Любава ушла, а остальные принялись за обед.

По полю бежали девочки, среди них Василий увидел Катюшу.

— Папаня, папаня!—кричала она.—Мы колоски собираем, я больше всех набрала!

Ее маленькие ноги и руки были исколоты и исцарапаны стерней. Мягко блестели синие, глубокие глаза. Она остро напомнила Василию Ва́щурку—ту Авдотью, какою он увидел ее впервые. Девочка рада была отцу, вилась

около него и, не умолкая, говорила. Она набрала веток, листьев, колосьев и уселась возле отца.

— Папаня, поиграй со мной в колосок!

Она зажмурила глаза и тоненьким, Авдотьиным, голосом запела:

Колосок, колосок,
Подай голосок!

Василий взял колосья и потер их друг о друга у самого Катюшина уха. Колосья зашумели с легким, царапающим звоном.

— Рожь! Хлебушко! Хлебушко! — радостно закричала Катюша.— А теперь ты, папаня, призажмурься! — потребовала она.

Василий, улыбающийся и размякший, зажмурил глаза и глухим своим басом послушно прогудел:

Колосок, колосок,
Подай голосок!

У самого его уха залопотали с мягким хлопаньем большие листья.

— Осина,— угадал Василий.

Через несколько дней портрет Фроськи и рассказ о ее работе появились в районной газете. Вечером того же дня к ней пришел Петр.

— Чего пришел? — встретила его Фроська.

Странные отношения установились между ними после памятного вечера в предбаннике. Проснувшись на другое утро, она вспомнила и обо всем происшедшем, и о самом Петре со страхом и отвращением. Петр никогда не нравился ей всерьез, она задорила его из-за озорства, любопытства и свойственной ей отчаянности характера. Мечтала же она о человеке совсем другого склада. Не шалопутный мальчишка жил в ее воображении, а какой-то незнакомый еще человек зрелого мужества и непреклонного характера. У того человека были ястребиные глаза, голос, привыкший командовать множеством людей, и ордена на груди. Такого человека ждала Фроська, и оттого, что этого жданного человека попытался заменить совсем непохожий на него Петр, Фроська возненавидела Петра. Ей до тошноты неприятны были и мальчишеский вид Петра, и его манера залихватски щурить один глаз, и та репутация озорника, которую он имел. Фроська ненавидела его за то, что он воспользовался ее минутной слабостью и осмелился приблизиться к ней, хотя он совсем не такой, как ей надо. Она готова была любыми способами сжить его со света.

Петр не понимал ее состояния.

«Озорна и капризна, чертова девка!» — думал он о ней.

Если бы Фроське не пришлось работать вместе с Петром, она так бы и отшатнулась от него, с отвращением вспоминая о неожиданной вспышке, охватившей обоих. Но они работали вместе и виделись ежедневно. С тех пор как Петра назначили бригадиром, в их отношениях появилась новая черта — они стали товарищами по работе.

Как ни фыркала Фроська, но каждое дело ей приходилось согласовывать не с кем иным, как с Петром, и каждый раз она с удивлением и неудовольствием убеждалась в том, что он не такой уж непутевый парень, совсем неплохой бригадир.

В свою очередь, и у Петра появилось новое отношение к Фроське.

Он увидел в ней не просто озорную и балованную девушку, а свою помощницу, своенравную и капризную, но способную своротить горы.

Во всех трудных случаях он вспоминал о ней: «Тут Фросюшка подможет, выручит со своими девчонками. И никто, как она!»

И как они ни ссорились, но Петр знал, что никто так, как она, не поймет и не поддержит его, а Евфросинья знала, что никто так, как он, не сумеет организовать дело и использовать ее способности.

Чувство соратничества приходило к ним, оно день ото дня крепло наперекор всему.

Фроська по-прежнему цеплялась к Петру, задирала, ругала и поедом ела его по всякому поводу и без повода. Петр по-прежнему грубиянил в ответ, но все это постепенно принимало характер простого озорства и уже не сердило, а забавляло обоих.

«Поругаться с ней можно, да зато соскучиться нельзя...— думал он.— И с какой девкой еще можно так посоветоваться? Найди вторую такую! Одна она. Как раз для меня...»

Другие девушки казались ему скучными, вялыми.

«Как непосоленное тесто...» — думал он о них.

Фроська тоже все больше привыкала к Петру и все внимательнее к нему присматривалась. У Петра оказалось множество ценных качеств и одно явное преимущество перед тем неизвестным, которого она ждала. Петр лучше, чем кто-нибудь, знал ее всю, с ее капризами, с ее своенравием, властностью, с ее «отчаянностью» в отношениях с людьми и в работе. Как-то применится тот, неизвестный и долгожданный, к ее, Фроськиным, выкрутасам и выходкам? На стенку будет лезть от нее, начнет поучать и перевоспитывать? В первом случае они сразу

расскандалятся, а во втором случае Фроська сбежит от него со скуки. А Петр не поучал ее и не лез на стенку. Он или молчал, или добродушно смеялся и озорничал с ней, так же как она с ним. И, по правде говоря, как раз это ей и нравилось в нем больше всего. Она не показывала этого и грубиянила ему больше прежнего, но думала о нем все чаще, и со всеми другими ребятами ей становилось скучно.

Ксенофонтовна не узнавала своей бедовой дочки.

Раньше Фроська гуляла со всеми ребятами, ни к кому не относилась серьезно и заявляла матери:

— Я никем не дорожусь! Мне бы скучно не было, а на остальное наплевать!

Иногда, щуря нахальные пестрые глаза, она бесстыдно говорила:

— Я, маманя, люблю по краешку ходить. И не для чего, а так... Себя проверяю: крепка ль моя голова, не сильно ль кружится?

— Господи! — ужасалась Ксенофонтовна. — Допроверяешься, гляди! Обгоришь!

— Я-то?! Я, маманя, железная! Меня в какую печь ни засунь, я разогреюсь, да не обгорю. Я этаких девок не терплю, которые, как масло, от свечки тают.

Теперь Фроська стала тиха и домоседлива. Ни с кем из ребят не гуляла, а когда изредка наведывался кто-нибудь, Фроська выходила на крылечко, но не жалась к парням, как раньше, а сидела строго и разговаривала без смеха и ужимок.

— О чем это вы рассуждали целый вечер? — спрашивала мать.

— Об жизни... — с неожиданной задумчивостью заявляла Фроська.

Ксенофонтовна не понимала свою разноглазую дочку и даже побаивалась ее. Ксенофонтовну просватали рано и всю жизнь внушали, что она должна быть верной слугой мужу, должна во что бы то ни стало копить деньги. Эти две истины она усвоила очень крепко и пыталась привить их Фроське.

Фроська удивляла мать. Она хороводила около себя парней, дразнила их, но над женихами насмехалась и о замужестве не думала.

Когда Петр впервые за несколько месяцев появился на Фроськином пороге, она по привычке сразу насторожилась.

— Ты чего пришел? — кошкой зашипела она на него.

— Взял да пришел... — беспечно усмехнулся Петр и, не обращая внимания на ее шипение и злые глаза, хозяйской походкой прошел в ее комнату.

От него попахивало вином, и в руках он нес пакеты с пряниками и конфетами. Держался он так, как будто пожаловал в собственный дом, к законной жене.

Фроська посмотрела на пакеты, поняла и фыркнула:

— Вон чего! С газетой поздравлять пришел!..

— Ну и поздравлять! — снова усмехнулся Петр.

— Вот еще! Когда я тебя просила помочь, тогда ты мне помогал? А теперь, когда меня в газетах пропечатали, ты с поздравлениями ходишь?

Петр сделал невинное лицо.

— А когда ж ты просила?

— Когда надумала про скоростное вязание, тогда и просила.

— Да разве ж так просят? Ты нос кверху задрала и мне команду давала: «Ать-два! Чтоб было по-моему!» Когда б ты меня честью просила, разве бы я тебе не помог?

— Вотщё! Стану я тебя просить, стану тебе кланяться! — фыркнула Фроська.— Больно ты мне нужен!.. И без тебя больно хорошо обошлась!

Она походила по комнате, сердито погремела горшками на полке и накинулась на Петра с новой силой:

— Ты чего пришел, говорю?! Мало тебе других девок? Чего ко мне ходишь? Звала я тебя?

— А зачем я к другим пойду? Мне с другими скучно,— добродушно отвечал Петр, развалившись на лавке.— С другими ни пошуметь, ни поругаться, ни поскандалить... Никакого интереса ходить...

— Так ты ко мне ругаться пришел? Водкой опять от тебя несет! Ах, ты, пьянчуга ты этакая! В звене сегодня мешков не хватило, зерно в подолах носили, а ты, бессовестные твои глаза, водку тянешь!

Петр улыбнулся.

— Вот, вот!.. Крой, Фрося! За этим и пришел... Весь день хожу, думаю: чего это мне нынче не хватает? Вспомнил: с Фросюшкой целую неделю не ругался! Дай, думаю, пойду, отведу душу. Давай чести́! За этим и шел.

— Вотщё!.. Нашел веселье — ругаться...— уже тише фыркнула напоследок Фроська, усмехнулась и села на лавку есть пряники.

Она съела два пряника и искоса посмотрела на Петра. Веселое, смелое и добродушное выражение его лица понравилось ей. Она повернулась к нему и спросила:

— Пирогов с грибами хочешь?

Когда Ксенофонтовна пришла домой, она застала картину мирного чаепития.

Однажды, в самый разгар уборки, к вечеру ясного

сентябрьского дня, Василий пришел в правление. Настроение у него было радостно-благодушное: уборка шла хорошо. Уже начали хлебосдачу и отправили первый праздничный обоз, дни установились золотые, настроение у колхозников было превосходное, все ладилось и, как Василий говорил, «катилось самокатом».

Войдя, он, как всегда, первый взгляд бросил на барометр, и сразу его умиротворение и благодушное состояние сменилось тревогой. Барометр показывал бурю.

Маленькая комната с деревянными скамьями, со столом, покрытым кумачовой скатертью, с таблицами, графиками и сводками на бревенчатых стенах мгновенно утратила мирный вид и превратилась в боевой штаб.

Василий неподвижно стоял перед барометром, стянув брови к переносице и прищуря глаза. Он обдумывал положение. Надо было срочно переориентироваться, срочно сломать старый график работ и набросать новый, срочно решить, куда и сколько послать людей. Одно движение стрелки барометра изменило все течение колхозной жизни, но Василий не досадовал на это.

В такие минуты он становился собранным, энергичным, находчивым. Даже лицо его менялось. Обычно оно казалось мрачным из-за выпуклого, нависшего лба и черных, смотревших исподлобья глаз, но в решительные и напряженные минуты это лицо становилось вдруг молодым, веселым, «атаманским», как определял Андрей.

Сразу сообразив и взвесив все, Василий понял, что наибольшая опасность грозит Алешину полю, где колос был самым тяжелым и вызревшим.

Он увидел в окно Любаву и окликнул ее:

— Любава, барометр идет на грозу. Всех людей сейчас же перебросишь на второй участок Алешиной поляны. Там хлеба хороши и вызрели, боюсь, как бы не осыпались от дождя. На поля пойдут все: и полеводы, и животноводы, и малые ребята. В первую очередь покончим с Алешиным полем, потом пойдем на пятую. За ночь и покончим.

Строгое лицо Любавы оживилось. Несмотря на то, что Василий перебрасывал ее звено на помощь сопернице Фроське, она не возражала, а только спросила:

— А как же скирдовать потемну, Василий Кузьмич?

— Фонари есть, зажжем. Ступай, не засиживайся! Через десять минут сам буду в поле.

Любава ушла.

Мимо проходил Сережа-сержант.

— Сережа! — крикнул Василий из окна.

Тот подошел, четко остановился и шутливо отрапортовал:

— Явился по вашему приказанию!

— Вот что, друг: туча подходит, барометр падает, по всему видно, опять ждать дождей. Будь оно неладно, это лето! Днем жать и вязать, ночью возить и скирдовать! Давай всю свою бригаду единым духом!

— Я готов,— сказал Сережа.— Но как Авдотья Тихоновна посмотрит?

В первое мгновение Василий даже не сообразил, о ком идет речь. Потом он понял, что Авдотья Тихоновна — это его собственная Авдотья, и удивился. Такое удивление он испытывал уже не в первый раз, но оно от этого не уменьшалось. Слишком крепко укоренилось в нем прежнее представление об Авдотье.

По словам Сережи, выходило так, что для него Авдотья, которая была всего-навсего бывшей женой Василия и исполняла должность заведующей животноводством колхоза, имела больший вес, чем Василий.

— Я тебе председатель или кто? — грозно нахмурился Василий.

— Да я не против того, Василий Кузьмич, но ведь у Авдотьи Тихоновны свои планы. Наша бригада нынче на силосе и клевере.

Авдотья завела свое прифермское клеверное поле.

— Пошли к черту силос и клевер! — кратко, но вразумительно сказал Василий.

Сережа-сержант улыбнулся, довольный этим энергичным оборотом речи председателя, но упорно стоял на своем:

— Как Авдотья Тихоновна скажет.

— Она далеко, на клеверном поле, я ее дожидаться не стану, а ты понимай мою дисциплину и ступай на Алешино поле. Концы! Не задерживай давай!

Сережа ушел, а Василий все еще чувствовал себя несколько озадаченным. Ему всегда казалось, что Авдотья — часть его самого, нечто вроде его руки или ноги. Он накрепко привык к этому ощущению, и даже теперь, когда она ушла от него, он все еще не мог отрешиться от этого чувства. То, что рука может «испортиться», заболеть и даже совсем исчезнуть, было неприятным, но понятным и допустимым явлением. Но то, что рука, отделившись от тела, может начать какое-то вполне самостоятельное, отдельное существование, было явлением сверхъестественным и необъяснимым.

Необъяснимой была также слепота других: они не понимали, что Авдотья — это просто-напросто собственная, хотя и разведенная, жена Василия, Дуняшка, некий незадавшийся придаток к его организму. К удивлению

Василия, люди не замечали этого несомненного обстоятельства, звали Дуняшку Авдотьей Тихоновной и придавали ей какое-то самостоятельное, отдельное от Василия значение.

И уже совсем диким казалось то, что на ферме ее слушались и уважали чуть ли не больше самого Василия.

С тех пор как Василий разошелся с Авдотьей, он сделал целый ряд удивительных открытий. Он открыл, что Авдотья — золотая работница и держит в своих руках все животноводство колхоза. Он всегда знал, что она хорошо работает, но как-то не замечал этого, а главное — не видел в этом никакой заслуги с ее стороны. Он записывал все ее достижения на свой счет: она была его женой и, следовательно, не имела права работать плохо. Это подразумевалось само собой.

— Я не как другие председатели, у которых бабы отсиживаются за печкой,— хвастался он.— Моя Авдотья на всякую трудную работу первой выходит!

Он считал, что это было не ее, а его заслугой, и объяснял не ее, а своими собственными отличными качествами. Поэтому он никогда не хвалил Авдотью и почти не замечал ее трудов.

Но Авдотья ушла от него, а работать стала не хуже, а лучше. Теперь он уже не мог не видеть этого, не мог приписывать это своим собственным заслугам и был озадачен. К чувству озадаченности начало присоединяться одобрение и даже восхищение.

«И как это она сноровится?— думал он.— Ведь и не крикнет никогда, голоса не повысит, а у нее вся ферма по струнке ходит. Пожалуй, другой такой работницы во всем колхозе не найти».

Минутами он испытывал своеобразное чувство зависти к тому авторитету, который она завоевала в колхозе без шума, без крика, как-то очень тихо и твердо.

Он стал по-новому присматриваться к ней: ему хотелось открыть ее секрет, чтобы самому применить его к делу.

Он все чаще думал о ней, и мысли у него были расплывчатые, тревожные и еще не совсем понятные ему самому.

Разговор с Сережей-сержантом всколыхнул эти мысли, но Василию некогда было размышлять: надо было срочно переорганизовать всю работу, по-новому расставить людей.

Когда он по внутреннему телефону пытался соединиться с током, вошла Авдотья и остановилась около стола. Она подождала, пока он кончит разговор, сложила руки на груди, сказала:

— Это что же, Василь Кузьмич? Хозяйка я у себя на ферме или нет?

— Кто против этого говорит?

— Да ты же и говоришь! Я людей в одно место посылаю, а ты, меня не спросясь,— в другое. Это что же будет за работа?

— А где тебя искать? Мне сказали, что ты на клевере, а мне ждать некогда. Вон, гляди, гроза идет! Нам сейчас каждая минута стоит центнера зерна. Давай снимай своих людей с силоса и с клевера и посылай в поле.

— С силоса я сниму, а с клевера снимать моего согласия нет! — И поза ее, и загорелое лицо с мягкими, по-детски расплывчатыми чертами выражали непоколебимую решительность.

Забыв ответить ей, он посмотрел на нее. Когда раньше ему говорили, что его жена похорошела или подурнела, он удивлялся. Для него она была не красивой, не некрасивой, а его собственной, родной, до каждой морщинки и родинки изученной Дуняшкой.

Сейчас он тоже не понимал, красива она или нет, но ясно видел, что лицо у нее хорошее. Это было совсем не то лицо, испуганное, виноватое, с уклончивым взглядом, которое он привык видеть в последние месяцы совместной жизни и которое не любил.

Сейчас лицо у нее было открытое и спокойное. Но на этом спокойном лице вдруг появилось страдальческое выражение. Казалось, она забыла о ферме и каким-то болезненным взглядом смотрела на грудь Василия.

«Что она там увидела?» Он пощупал ворот и нашел оторванную, болтавшуюся на нитке пуговицу. Несмотря на то, что Авдотья не жалела о разлуке с мужем и считала свое решение уйти от него правильным, его «запущенный» вид каждый раз ранил ее в самое сердце.

Они встретились взглядами, в одно молниеносное мгновение все поняли друг в друге и мысленно рванулись друг к другу. Но это мгновение скользнуло неуловимо.

Василий оторвал и положил пуговицу в карман. Авдотья передохнула по своей привычке, по-детски, чуть оттопырив губы, и пререкания их, приостановленные на секунду, продолжались:

— Снимешь и с силоса и с клевера, если надо! Тут разговаривать нечего! Затянут опять дожди на неделю — хлеб пропадет. Или не понимаешь?..

— Вася...— обмолвилась она и тут же поправилась: — Василий Кузьмич, да ведь клевер-то тоже пропадет! Ведь семенники аж черные стоят! Как ты хочешь, а с клевера я людей не сниму. Клевер-то ведь дороже золота.

— Клевера твои еще не вызрели. Перестоят дождь. Тут хлеб пропадает, а ты...

— Да как это — не вызрели клевера?! Я ж говорю, черные стоят!

Пришла Валентина и сразу приняла сторону Авдотьи.

— Ну вот! — сказала она с жестом безнадежности.— Ну, так я и знала! И везде одно и то же. Говоришь, говоришь, говоришь — никакого толку! Ты постановление Февральского пленума читал?

— Ну, читал!

Он уже сам понял, что дал необдуманное распоряжение, и досадовал на себя за то, что, увлекшись Алешиным участком, не проверил состояние клевера и не обдумал, как правильнее поступить.

Умом он хорошо понимал значение многолетних трав, но не было у него к клеверу той, как он говорил, «приверженности», что была к хлебам.

Рожь была для Василия родной, кровной, он с детства привык к ее шелесту, запаху, привык считать ее кормилицей и основой благополучия. Клевера же были сравнительно новым делом, он много читал об их значении, но еще не увидел этого значения своими глазами и не пощупал своими руками.

«Опять я с этими клеверами оплошал,— думал он,— никак не войдут они мне в нутро. Когда я на них глядел? Несколько дней назад. Тогда они еще не вызрели».

Неприятно было сознаться в своей ошибке, а еще неприятнее то, что верх взяла Авдотья.

«Валентина не упустит случая вцепиться в меня!» — думал он.

Валентина действительно не упустила случая.

— Что в постановлении о клевере сказано? Клевер для всего сельского хозяйства имеет огромное значение, а для наших подзолистых почв — это все, это залог урожая. Для нас рожь — это настоящее, клевер — это будущее.

Она подошла вплотную к Василию, видимо, решив как следует взяться за него, принялась его отчитывать так, как только она умела в злую минуту:

— Клевер стоит в пять раз дороже, чем рожь, но рожь, по-твоему, надо убирать в первую очередь, а о клевере у тебя заботы нет! Рожь — это хлеб, а клевер — это так себе... сорная трава! Так, по-твоему? Вот логика у тебя, Василий Кузьмич! А еще называется хозяин! В колхозе имени Буденного то же самое. Но ведь там хоть председатель беспартийный! А ведь у тебя партийный билет в кармане!

— Опять партийный билет! — вспыхнул Василий.— Взяла ты себе привычку к каждому разговору поминать

партийный билет! Чуть что — партийный билет! Лесозаготовки — партийный билет! Клевера — партийный билет! Хлебосдача — опять партийный билет! Ты эту глупую привычку брось! Ты до моего партийного билета не касайся!

— Интересно, до чего же я тогда должна касаться! — искренне удивилась Валентина.— Если хочешь знать, так до твоего нутра другим путем и не доберешься! До твоего нутра одна дорога — через партийный билет. И я твоего партийного билета касалась и буду касаться! Клевер ли, хлебозаготовки ли, удобрение ли — все равно ты во всяком деле должен действовать как коммунист! Я с тебя агротехнику буду вчетверо спрашивать: как с председателя — один раз, а как с коммуниста — три раза!

Василий уткнулся в ящик стола, посопел там, погромыхал, чертыхаясь, счетами, рулетками, линейками, потом пересилил себя и решительно поднял голову.

— Сколько там у тебя еще не убрано... клеверов-то?..

Авдотья победила его, и ему это было неприятно, но она не кичилась своей победой, а заговорила сразу очень ласково, покорным голосом:

— Да немного уж семенников-то, Васень... Василь Кузьмич. От силы часа на два работы...

В поле вышли все: полеводы, животноводы, огородники и даже Лена со школьниками.

— Мефодьич, тебе всю деревню сторожить! — сказал Василий старику.— Пустое село стоит, лезь на каланчу и гляди в бинокль обоими глазами!

Мефодьич послушно полез на пожарную каланчу и забрал с собою полевой бинокль Тоши Бузыкина. С каланчи видны были пустынное село в стоячем облаке пыли и поля, пестрые от ярких блузок и цветных косынок.

Солнце уже садилось, а прохлады не было. Неподвижный, пахнущий пылью воздух не охладевал, но становился липким и тяжким. Разморившиеся деревья бессильно опускали темные от пыли ветви, и даже осины не перебирали листьями и стояли неестественно тихие, уснувшие.

Откуда-то незаметно появилась и затянула все небо белая пелена, а узкая полоска заката делалась все гуще и багрянее.

Зажглись еще не яркие и красноватые огни токов, машины засветили фары, потому что в лесу уже стемнело. Осинники и березняки затянуло сумерками, и только черные пики елей вонзались в загустевший воздух. На востоке показалась узкая темная полоса: медленно шла туча. Отправив и распределив весь народ по полям и участкам, Василий вернулся в правление.

Он стоял посреди пустой комнаты, расставив ноги,

нагнув голову набок, перечислял в уме все, что им сделано, и в такт перечисления загибал один за другим черные, загорелые пальцы.

— На Алешино поле две лобогрейки... Есть...— Он загнул большой палец.— Туда же посланы огородники и животноводы с Авдотьей для ручной уборки. Порядок.— Он загнул указательный.— На току Матвеич, можно положиться... На скирдовании Яснев. Добре. На подвозку снопов добавлено четыре подводы. Управимся.— Все пять пальцев были загнуты. Он поднял кулак, посмотрел на него и погрозил им далекой туче: — Не перешибешь!

Однако он не был спокоен. Он прошелся по комнате и стал накручивать ручку телефонного аппарата.

— Станция! Станция! А, чтоб тебя! Куда ты провалилась? Барышня! Станция! Алло! МТС! Прошу МТС!

К телефону подошел Прохарченко.

— Товарищ Прохарченко! Это Бортников говорит, из Первомайского. Ты меня хорошо слышишь?.. Алло! На нас туча идет, товарищ Прохарченко. Барометр сел на «бурю». Алло! Товарищ Прохарченко, я весь народ бросил в поле, а тебя прошу — подбавь тяжелую артиллерию!.. Алло! Алло! Не слышно... Да я знаю, что сверх графика и сверх плана... Знаю, что по графику вас через три дня ждать. Да ведь беда может получиться. У нас на Алешином поле такой урожай, какого по всему сельсовету нет. Ты бы поглядел... Да... Да... Стоит один? Для ночной уборки оборудован? Вот и ладно... Неисправен? И починить нельзя? А комбайнеры и трактористы там есть?.. Один?.. Трое суток не спал? Ну и что ж! Четвертые не поспит!.. Гость? Ну так что ж, что гость? Какие сейчас гости!.. Самому поговорить с ним? Давай его сюда! А кто такой?.. Как, говорю, его фамилия? — Голос в телефоне умолк, потом прошамкал что-то непонятное.— Фамилию скажи! Фамилию скажи, говорю! — громыхал Василий.— Степан Мохов... Ага... Да...— замялся он.— А больше там никого нет... Ну, все одно. Давай сюда Мохова...

Он ждал, смотрел в окно на сизую полоску далекой тучи и думал:

«А, черт бы ее взял!.. После посевной дождя ждали — так хоть бы облако, а в самую уборку она тут как тут, нежданно-негаданно. Тут туча, на поле хлеб не убран, а в МТС из всех комбайнеров и трактористов, как назло, один Степан Мохов, и тот в гости приехал. Нашел время по гостям разъезжать! Как с ним говорить? Не пойдет... А как ему не пойти? Объясню ему. Не сможет он не пойти!»

— Слушаю! — раздался в трубке знакомый, тихий, но отчетливый голос Степана.

Василий крякнул, собрался с силами:

— Здравствуй, Степан Никитич...

— Здравствуй, Василий Кузьмич...

Василий опять замялся. Мысли летели молниеносно:

«Как с ним разговаривать? Поклоны бить? Плакаться? Ни к чему! Рассказать, какое дело,— и все...»

— Вот какое дело у меня к тебе, Степан Никитич. Туча на нас идет, барометр стоит на «буре», а уборка в разгаре. Алешино поле наполовину не тронуто. Хлеб только-только вызрел, спешить бы некуда, да боюсь— грянут дожди. Хоть бы Алешино поле убрать. Не выедешь ли ты на подмогу нынче в ночь?

Телефон молчал. Василий ждал, все крепче сжимая трубку. Наконец негромкий голос Степана произнес:

— Комбайн неподалеку от вас стоит, да неисправен... Правда, поломка пустячная. Поеду чинить... Час на починку, час на дорогу, часа через два подъеду.

— Я на тебя в надежде, Степан Никитич. Жду.

Через два часа Василий вышел в поле. На улице было уже совсем темно. Он поднялся на холм и на минуту остановился. Под темным, безлунным, наполовину закрытым тучей небом двигались огни. Ярко светились в поле два тока Первомайского и соседнего колхозов. Выхваченные из мрака фонарями, высились конические купола скирд, светлячками горели фонари, приделанные к лобогрейкам, и маленькие ручные фонарики вязальщиц. Ослепляя фарами, проносились машины.

Поле играло и переливалось огнями, казалось ожившим и праздничным. С востока тянуло ветром. Ветер был порывист, силен, пахнул пылью, и под его напором певуче шелестел близкий лес. Яркие огни комбайна Василий увидел издали и заторопился. Самого комбайна не было видно, только белые снопы света от прожекторов и электрических лампочек медленно плыли, властно раздвигая темноту, обливая мягкой белизной волнующийся разлив хлебов и белую ленту дороги.

«Еще только подъезжает!»—определил Василий.

Внезапно огни остановились. Василий ускорил шаги. Когда он уже подошел к комбайну, откуда-то из-за придорожных кустов вынырнул Степан.

Василий сразу узнал его в темноте, но не по смутным очертаниям покатых плеч и впалых щек, а по взволнованным ударам своего сердца.

— Кто тут?—окликнул Степан.

— Здравствуй, Степан Никитич.

— Здравствуй, Василий Кузьмич.

Они встретились в темноте один на один впервые с тех давних пор и стояли почти вплотную друг к другу. Степан первым нарушил молчание:

— Я за вашими ребятами ходил... Я один, без бригады...

— Наши ребята заменят твоих... Они тут, за холмами...

— Я уже позвал... Слышишь, шумят?.. Идут!

Откуда-то из темноты приближались голоса. Степан поднялся на мостик комбайна и взялся за штурвал. В свете фонаря видно было напряженное и спокойное лицо Степана, его строгие глаза и надбровья.

Василий смотрел на Степана и думал: «Вот и встретились!» С того дня, как Василий остался один, он видел Степана первый раз. В горькие ночи непривычного одиночества, когда, чтобы заглушить тоску, он опрокидывал водку стаканчиками и все же не мог уснуть, его терзала ненависть к Степану.

«Испоганил, дохляк, нашу жизнь. И чем он присушил мою Авдотью? Стукнуть кулаком — и нет его... Тоже мужик... Укараулить где-нибудь в глухом месте и сказать: «Двоим нам не жить на свете!»

Когда хмель проходил, злобные мысли покидали Василия, но все же, думая о возможной встрече со Степаном, Василий готовил для него слова жестокие и оскорбительные.

И вот они встретились один на один в темном поле. Говори что хочешь, никто не услышит. Своди счеты, дай волю обиде, горечи, отомсти за надломленную жизнь — никто не увидит.

— Поспеть бы хоть это поле убрать до дождя,— сказал Степан.

— Поспеем...— В темноте рывком налетел ветер, ударил под козырек фуражки, пошевелив волосы.— Спасибо тебе, что не отказал...

— Не на чем благодарить. Рожь больно хороша.

— Диковинная рожь...

Подошли колхозники, заняли места у комбайна. Комбайн медленно двинулся. Василий пошел рядом. Тьма стала еще плотнее, словно оттесненная в сторону фарами.

— Воды бы запасти,— донесся сквозь шум голос Степана.

— Сейчас пригоню подводу... Горючего хватит?

— Хватит.

— Разгружать бункера будешь на ходу?

— А кони приученные?

— Есть которые не пугливы. Спичек у тебя нет? Не найду прикурить.

Спустившись с мостика и перегнувшись через перила лестницы, Степан протянул Василию спички. На миг глаза взглянули в глаза на расстоянии нескольких сантиметров.

— Так воду я пришлю, Степан Никитич. И коней подберу непугливых. Еще чего тебе надо?

— Больше ничего.

— Ну, добре, Степан Никитич.

— Добре, Василий Кузьмич.

Василию хотелось попрощаться со Степаном за руку, но Степан уже поднялся наверх и обеими ладонями держался за штурвал.

Медленно плыл комбайн, разрезая белыми огнями плотную и ветреную тьму.

Всю ночь шла работа на полях. Туча чуть побрызгала землю и прошла стороной. На небе остались только взлохмаченные и тяжелые облака, но колхозники не прекращали работу.

Василий шел темной дорогой и сам себе хитро улыбался.

За одни сутки так подвинули дело, как за трое. Ту рожь, которая вызрела, убрали, овсы убрали. Теперь, если и подождать малость, так не опасно. Главное — туча помогла: поддала народу активности. У добрых хозяев туча в обмолот — и та на пользу! У него было такое ощущение, как будто он перехитрил само небо.

Он увидел издали ток и прибавил шагу. Ток — это была главная радость и гордость Василия. Василий настолько гордился им, что даже не мог хвастаться и не мог о нем рассказывать, но всех приезжавших в колхоз первым делом вел на ток. О других колхозных достижениях — о росте урожаев, об упитанности скота, о соревновании бригад и о колхозных «скоростниках» — обо всем этом еще можно было спорить, но ток — это было чудо и гордость, бесспорная и неопровержимая. Он вырос среди темноты, весь залитый электрическим светом, поющий голосами многих моторов, неожиданный и праздничный, и снова как бы сказал Василию: «А вот он я!» И Василий не мог не прибавить шагу.

Когда Василий вошел под крышу, его обдало теплом, светом, гулом молотилок, триеров, сортировок и веселым кипением зерна. Сверкал мраморный щиток с рубильниками, скользили ременные передачи, и зерно кипело, вихрилось, текло водопадами и кружилось водоворотами.

Василий с пренебрежением вспомнил молотьбу прошлых лет. Старый ток казался ему смешным, отжившим и мертвым, и даже зерно на том току представлялось ему неживым. Скучно было вспомнить ему, как медленно сыпалось оно, как вяло текло. Зато здесь, на электрифицированном токе, оно оживало, приобретало невиданную стремительность и легкость. Особенно хороша была сложная молотилка, работающая на электроэнергии. Она гро-

хотала мерно, непрерывно и так гулко, что все другие звуки тонули в ее грохоте, как камни, брошенные в воду. Смешно было видеть, как люди беззвучно открывают рты и шевелят смеющимися, словно онемевшими губами.

Буянов с веселым и самодовольным видом, чувствуя себя командиром в этом кипящем мире, прохаживался по главному проходу. Он весь был в пыли и мякине, но рубашка его была выутюжена и галстук повязан, как всегда. «Понимает свое значение человек»,— одобрил его Василий. Они остановились рядом, молчаливые, понимающие друг друга без слов, довольные.

А зерно текло и текло широкими водопадами. В желтом электрическом свете оно казалось розовым, теплым, живым. Освобожденные от цепкой оболочки, зерна, словно радуясь свободе, скользили, переливались, убегали из-под рук, из-под лопат, отгребавших кучи. Василий посмотрел на эти кучи, живые и переливчатые, с наслаждением погрузил по плечо руку в теплое, шелковое зерно. Потом он подошел к жерлу; оттуда рвался ветер и грохот, и колющая шелуха била в лицо, и на губах оставался чуть заметный привкус ржаного хлеба. Люди работали торопливо, жадно и весело. Высоко на молотилке стоял Матвеич. Он принимал снопы и направлял их в огромную пасть трясущейся и ревущей машины. Движения его были точны и ритмичны. Протянув обе руки вправо, он принимал сноп от подавальщика и точным движением перекидывал его влево, в машину. Вправо — влево, вправо — влево двигались его сильные, цепкие, как корни, руки, и крылатые снопы непрерывной вереницей летели снизу вверх, справа налево.

Рядом с Матвеичем стояла Валентина. Большие глаза ее блестели, в волосах запутались колосья. Жадная и радостная полуулыбка не сходила с узких губ. Увидев Василия, она легким, кошачьим прыжком спрыгнула на землю и закричала прямо в лицо ему что-то неразличимое, смешно и старательно открывая маленький рот. Она размахивала руками, трясла головой и сердилась оттого, что не могла перекричать молотилку, и смеялась, а цепкий колос, словно золотая сережка, качался под ее ухом. Василий отвел Валентину к выходу. Здесь можно было разговаривать.

— Двадцать пять центнеров! — кричала Валентина и, помогая себе, растопыривала пять пальцев загорелой и гибкой кисти.— Двадцать пять! Мы обмолотили весь урожай с первого участка Алешина поля. Двадцать пять! Нет, ты только подумай! Значит, можно! Вот они, Алешины зерна,— крупные, бокастые, как горошины! Значит, и дожди и засуха — все преодолимо!..

Колхозники обступили Василия и Валентину. Все кричали, перебивая друг друга, пересыпая зерна в ладонях, пробовали их на зуб.

Тут же стояла Лена, похудевшая, в темном, недевичьем платье, но улыбающаяся. Ей было и хорошо и трудно в этом мире текучего розового зерна, праздничных улыбок и темных рук, где Алешино имя летело в веселом шуме, где об Алешином урожае говорили так естественно, словно он был живехонек и каждую минуту могли блеснуть голубоватые белки его глаз и его улыбка здесь, за снопами и машинами.

Нечто похожее на нежданную и невидимую другим встречу с Алешей чудилось Лене в праздничном шуме, в переливах сыпучего зерна, выращенного его руками.

Ее мягкая улыбка и печальный, неподвижный взгляд всем бросались в глаза, и каждый старался сказать ей что-то ласковое.

— Леночка,— сказала Валентина,— сейчас подводу с зерном отправляем. Подвезти тебя до дому?

— Нет, я еще побуду здесь.

— Мы с ней вместе на молотилку встанем.

Матвеич подхватил Лену и с неожиданной легкостью поставил на молотилку.

Стремительная Фроська вырвалась откуда-то из темноты и, запыхавшись, налетела на Василия:

— Василь Кузьмич! Василь Кузьмич! Кончили вторую половину Алешина поля! Дядя Степа согласен ехать на Верин участок. Или ты еще куда велишь?

— Езжайте к Вере. Сейчас и я там буду.

Она умчалась, как будто растворилась во влажной ночи, а Василий и Буянов все стояли и смотрели, как течет розовое зерно — их награда и заслуга, их минувшее и будущее, их сила и песня,— и не могли насмотреться на него.

Часть третья

1

«СТАРОЕ ПО-НОВОМУ»

Октябрь был переменчив. То солнце пригревало опустевшие поля, то северный ветер гнал быстрые тучи, и отсыревшие палые листья по утрам становились хрупкими от заморозков. И под солнечным небом, и под низкими тучами ровно отдыхала земля. Взметанная Настей Огородниковой зябь была черна и бархатиста, а озими лежали, как выстроченные зеленым шелком, и зелень их была по-весеннему свежа и упруга. В лесах и на луговинах умирали травы. Сперва они разгорались в беззвучном пожаре осени, переливались такими багряно-золотыми соцветиями, какими не случалось цвести им ни разу за всю их недолгую жизнь, потом сохли от солнца, мокли от дождя, темнели от времени и все теснее приникали к земле, стараясь слиться с нею, стать ею и обогатить ее.

В лесу сделалось просторнее, и в ясные дни синева свободнее сквозила в поредевшей листве. Сухие золотые листья с подогнутыми краями, как крохотные лодки, скользили с ветвей, покачивались, неторопливо плавали в воздухе, нехотя касались земли и при малейшем ветре снова поднимались над нею, кружились над лесными дорогами, перелетали на поля. Их сухое шуршание казалось прощальным, но бывало, что лапчатый кленовый лист приляжет на сочную зелень озими и вдруг заиграет таким переливом огненных красок, что не прощанием повеет от него, а неизбывной силой жизни и возрождения.

В первых числах октября повезли колхозники зерно в свои закрома. Колхозники так давно не получали богатых трудодней, что Василий отступил от обычных порядков. Еще до конца хозяйственного года составил предварительный расчет и, расплатившись с государством, сразу приступил к расчету с колхозниками. Неутомимо тянулись тяжко нагруженные подводы от колхозных амбаров к домам. Дымы поднимались в небо, и в каждом доме пахло пирогами, жареным мясом, сотовым медом, полученным с колхозной пасеки. Затевались сговоры и свадьбы. Ксюша

с Сережей ходили всегда вместе, но при людях смущались, не говорили друг с другом, даже не смотрели друг на друга: трудно было освоиться с новым положением «объявленных» жениха и невесты.

Когда вывезли из амбаров все, что, по предварительным подсчетам, полагалось на трудодни, в воскресенье приступили к выдаче дополнительной оплаты лучшим бригадам. Добротные трудодни получали колхозники и в довоенные годы, но дополнительная оплата за перевыполнение плана выдавалась впервые, и Василий решил обставить это торжественно и празднично.

С утра подводы, украшенные рябиновыми гроздьями и осенними листьями, выстроились на хозяйственной площадке между фермами и амбарами. Принаряженные возчики восседали на подводах. Девчата танцевали на утоптанной площадке. Дымили самокрутками старики, замужние женщины чинно сидели на скамьях и грызли семечки. В гости к первомайцам пришли и колхозники из ближних колхозов. Василий был взволнован и даже немного растерян. «Еще хватит впереди дел и трудностей. Еще и хозяйственный год не кончен»,— говорил он себе, и все же в этот час не покидало его такое ощущение, будто шел он к далекой цели и пришел скорее, чем думалось, и на миг растерялся: «Что же дальше?»

В короткой речи он поблагодарил передовых колхозников, потом заиграли баяны и началась погрузка зерна и овощей, начисленных по дополнительной оплате. На пяти возах увозили зерно и овощи Большаковы, дополнительную оплату получили и Любава, и Ксюша, и старший сын Любавы, работавший вместе с матерью. Когда дошла очередь до Сережи-сержанта, Буянов, распоряжавшийся погрузкой, улыбаясь, показал на Ксюшину подводу:

— Вместе, что ли, грузить?

Ксюша покраснела, а девчата захлопали в ладоши:

— Вместе грузите! Чего им теперь делиться!

Их мешки погрузили на одну подводу, оба они уселись на воз, и, уже не смущаясь, Сережа обнял раскрасневшуюся и смеющуюся Ксюшу.

Последними грузились возы бабушки Василисы.

— Ну, Василиса Михайловна, выбирай себе любых ярочек из колхозного стада,— сказал ей Буянов.

Василиса растерялась:

— Да что ж? Мне не все ль одно?

Авдотья пошла выбирать ей ярок, Ксюша и Сережа, соскочив с подводы, побежали помогать. Со смехом и шутками выводили они белых пушистых ярок и всем колхозом решали вопрос о том, достаточно ли хороши они для бабушки Василисы. Каждый старался сказать ей

что-нибудь доброе, а она, притихшая и молчаливая, в своем новом черном полушалке и в новой коричневой юбке неподвижно стояла у подводы, и вдруг слезы потекли по ее щекам.

— Что ты, Василиса Михайловна?—встревожился Василий.—Или не угодили тебе?

Василиса плакала потому, что вспомнила Алешу, но нельзя было сказать об этом, чтобы не опечалить других, и, сердясь на себя за слезы, она ответила Василию:

— По старости я... Развспоминалась... Родиться бы мне на полсотни годов попозже! А теперь что ж!.. Позднее счастье—что поздний дождь, нивы не поправит...

— Плохую ли ты жизнь прожила, Василиса Михайловна? Дай бог каждому такую старость, как у тебя...

Она закивала головой, как бы соглашаясь с Василием и благодаря его за добрые слова, а слезы все катились по ее морщинистым щекам. Она вытирала их концами полушалка и горестно говорила:

— Стара я... стара!

Вдруг взгляд ее упал на ярку, которую Авдотья на веревке вела из фермы. Василиса сразу перестала плакать, и на лице появилось выражение сердитого беспокойства.

— Куда ж ты ее, Дуняшка? Это же Белянка! Куда ты ее? Сама мне говорила, что больно хороша ярка!

— А мы тебе хороших и выбираем!—улыбнулась Авдотья.—Не плохими же тебя отдаривать за твою работу! Беляна, Беляна, ну чего упираешься, неумная ты скотина!

Авдотья от души хотела порадовать бабушку Василису и выбирала для нее лучших животных, но Василиса не только не обрадовалась, но рассердилась и даже разобиделась.

— Белянку я не отдам!—решительно заявила она, как будто ярка предназначалась не для нее, а для кого-то другого.—Белянку я от себя не отпущу! Лучшую ярку у меня уводить? Где ж это виданы такие порядки?

Она почти враждебно посмотрела на Авдотью, посягнувшую на ее богатство, деловито подошла к ней, отобрала веревку и шугнула овцу:

— Киш, киш домой, негодящая скотина!

Перепуганная многолюдным сборищем и общим вниманием, ярка с отчаянным блеяньем затрусила к овчарне, волоча за собой веревку.

— Эку моду взяли—лучших ярок уводить!—бормотала Василиса.—Разве я отдам? Разве я до этого допущу?

Авдотья растерялась:

— Бабушка Василиса, да ведь мы ее не куда-нибудь, мы ее в твой же двор хотим вести.

— Вот он, мой двор!—совсем уже сердито заявила Василиса и показала на ферму.

Общими усилиями неожиданная неприятность была улажена, и Василиса успокоилась.

Обоз двинулся. За ним с песнями пошли девчата, чинно последовали женщины, неторопливо зашагали мужчины.

— Что ж Василиса?—говорил кто-то.—Пятьсот трудодней заработала да поголовье увеличила почти в полтора раза сверх плана. Что заработала, то и получила!

— Да и Любава, и Пимен Иванович по заслугам взяли! Они в поле первые, они с поля последние.

— Комсомольцы—те больше через Алешу поднялись. Но и то сказать—поработали лето: что будни, что праздники, все, как один, на пашне. Бывало, и не прогонишь их с поля!

Никто не позавидовал богатству колхозных передовиков,—наоборот, гордились тоннами зерна и овощей так, как будто сами получили их.

Скрылась последняя подвода с Василисиными ярками, исчез за поворотом пестрый хоровод девчат, ушли пожилые колхозники, и только Мефодьич с такими же стариками, как он сам, поотстав от других, еще семенил по дороге.

Василий один остался на конном. С какой-то особой отчетливостью видел он окружающее. Подсолнуховая лузга у скамеек. Белая пудра муки на вытоптанной земле у амбара. Ветка рябины, повешенная у окна овчарни. Куча оранжевых листьев, привезенных для украшения подвод и брошенных у дверей. Ветер играет ими, они разлетаются и уже далеко над вспаханной зябью несутся оранжево-красными огоньками. Вдалеке на дороге последняя подвода уходящего обоза, как последняя, итоговая черта прошедшего года.

Василий проверил запоры на амбарах, прошелся по опустелому конному.

Сколько дней он ждал этого часа, жил им и стремился к нему, как к далекой цели, и думал: «Только бы не сорваться, только бы дотянуть беремя колхозного хозяйства до нового урожая, а там облегчение и отдых!» И вот страда кончена, осенние полевые работы завершены, хозяйство налажено—беремя дотянуто, но не облегчение почувствовал Василий, а пустоту. Едва сбросив свою ношу, он уже затосковал по ней, уже думал о том, какую бы новую ношу взять на плечи, чтобы не ослабли и не заскучали в бездействии привыкшие к усилию мышцы.

«Год кончился. Год начинается».

Ему вспомнилось начало минувшего года. С первого партийного собрания, с темного зимнего утра, с мучительного ожидания на перекрестке дорог вел он начало прошедшего года. С чего же начинать наступающий? В этот час он явно ощущал короткий промежуток между концом и началом и непривычную легкость, напоминавшую пустоту, и минутную растерянность, и нежданное сожаление о прошедших трудных днях.

На доске объявлений ему бросился в глаза приклеенный и наполовину оборванный, пожелтевший от времени клочок бумаги с собственноручной надписью: «В. Бортников».

Он прочел на обрывке:

«...ковым, Блиновым и Коноплевым возить удобрения с 7 часов утра.

Вопрос о неявке на работу, а также об опоздании будет рассматриваться на правлении».

Василий усмехнулся, вынул перочинный нож и с удовольствием стал соскабливать с доски объявление.

Давно уже он не вывешивал на доске поименного списка с распределением работ и тем более с угрозами поставить вопрос об опаздывающих на правлении. Теперь сами бригадиры занимались распределением людей по участкам, а неявок и опозданий без уважительных причин за последние месяцы совсем не было. Он соскоблил листок, зашел в помещение фермы, отпер и выдвинул ящик стола. В глубине ящика лежали смятые бумажки — наряды на работу, выписки из постановлений правления с выговорами и предупреждениями. Месяцев восемь-девять назад эти выговоры и предупреждения зачитывались здесь во всеуслышание перед выходом бригад на работу.

Он взял бумажки и выбросил за окно. Ветер подхватил их и понес вперемежку с палыми листьями над полями, над сочной зеленью озимых.

В конце октября Василия постигла беда: тяжело заболел отец. Он недомогал давно, но только осенью врач определил рак пищевода. Болезнь развивалась быстро, и старик угасал на глазах.

За два месяца поседели его темные брови и странно побелела смуглая кожа.

— Первым морозом и меня прихватило. Зима ко мне застучалась,— сказал он в первый морозный день.— Какое нынче число, Вася?

— Двадцатое ноября.

— Рано застужило,— сказал старик, и непонятно было, говорит он о зиме или о самом себе.

Он неподвижно полусидел, полулежал на кровати.

Прозрачно-бледный, сухонький, легонький, со своими седыми волосами, он напоминал одуванчик.

«Дунь на него — он и рассыплется!» — с болью думал Василий.

Изменился и характер отца. Старик стал еще мягче, тише, чем раньше, но как-то отошел от Степаниды и с особой силой потянулся к Василию. Он пристрастился к чтению. Лежа на своей высокой кровати, он читал все газеты и книги, которые удавалось достать. С особым интересом и волнением он читал о прославленных колхозниках. Когда он прочел биографию Паши Ангелиной, то долго лежал молча, не хотел говорить ни с женой, ни с Финогеном, и лицо у него было странное — и горькое, и радостное.

Только вечером, с приходом Василия, старик разговорился. Василий вошел к нему красный от ноябрьского мороза, с влажными от растаявшего снега бровями и тревожно-смущенным видом.

В маленькой спальне Василий чувствовал себя особенно неуклюжим и непомерно большим.

Он тщательно расправил гимнастерку и, стараясь как можно осторожнее ступать своими пудовыми сапожищами, подошел к постели. Ему показалось, что отец спит. Глаза были закрыты. Восковое лицо было неподвижно, печально и чем-то неуловимо напоминало лицо больного ребенка.

Василий хотел осторожно выйти, но отец открыл глаза, и радостная, но жалкая своей слабостью улыбка тронула его губы.

Он вынул из-под пестрого, сшитого из треугольных лоскутиков одеяла руку, показал сыну на стул и сказал одним дыханием:

— Сядь!

Василий сел, а старик положил на его большую ладонь свою сухую руку. Рука была горяча и странно невесома. Василий подумал:

«Ровно и не рука, а тепло от печки. Сколько этими руками переделано дела!»

Он сжал отцовские пальцы. Оба молчали. Василий думал, что старик забылся. Он любил дремать, когда Василий был рядом и держал его за руку.

Но старик открыл глаза. На восковом лице его глаза теплились, как свечи.

— Зачем мне это было? — тихо сказал, как будто невзначай обронил слова, старик. — Шкафы да укладки... Разве мне это надо?

— К чему вы это, батя? — не понял Василий.

Старик молчал и все крепче сжимал его руку сухими,

слабыми пальцами. Василий подумал, что он говорит в бреду, но старик не бредил. Он указал глазами на книжку с портретом Паши Ангелиной.

— Вот...— тихо уронил он.— Разве я менее ее работал? И я без работы дохнуть не мог. Не туда все пошло...— Он с неожиданной силой сжал руку Василия и сказал горько, быстро: — Вот они, руки-то... Разве это ими поделано — зеркала, диван да шкафы? Разве это мне надо? Мне бы лавка, да печка, да добрая работа, да почет от людей за нее — вот бы и все. Вот бы и жизнь... Вот бы и смертынька не томила, легко бы пришла... Баб не слушай, Вася, своего сердца слушай.

Он снова умолк. Василий боялся пошевелиться, боялся вспугнуть, сбить мысли старика. Но старик забылся.

Василий вышел на кухню.

— Батя сильно плох, маманя,— сказал он Степаниде.— Я у вас ночую.

Он лег на полу в комнате отца.

Степанида, одетая во все черное, заплаканная и тихая, всю ночь клала поклоны в соседней комнате. Василий не спал. Трепетный свет лампады падал на причудливые листья герани, на костистый, с угловатыми выступами лоб старика, на пестрые треугольники одеяла. Старик лежал не двигаясь и только перед рассветом вдруг спросил:

— Ты тут, Вася?

Василий тотчас вскочил.

— Тут я, батя, тут.

— Степанида — она баба...— тихо говорил старик, словно продолжал на миг прерванную беседу.— Финоген — он в материну породу, ихней крови. Петр — еще несмышленыш. Один ты у меня, Вася... Ты, Вася, правильной жизни человек... Ты живи, сынок, как живешь. Что мной не дожито, ты за меня отживи... Авдотью-то, Дуняшу, возьми к себе. По-божьи надо...

Он снова задохнулся, устал. Василий всматривался в его лицо. Маленькое, восковое, с обострившимися чертами, лицо это уже несло на себе печать мертвенного покоя, и лишь изредка, как рябь по стоячей заводи, пробегала легкая дрожь: то вздрагивали губы, то шевелились бледные ноздри, то морщились брови. Василию был дорог каждый трепетный признак жизни на этом лице. Он знал, что эти чуть заметные движения последние, что пройдет несколько часов — и уже ничто не заставит дрогнуть эти узкие, сухие губы, эти все еще черные ресницы.

Старик двинул подбородком, сильно свел брови, какая-то мысль томила его. Василий нагнулся ниже.

— Не смертынька точит... Вся жизнь к сердцу приступила... По обочине шел я, не по дороге... Вот Паша

Ангелина... Девушка ведь, не мужик... А как жизнь повела!.. Придет ее старость — не будет у нее сердце сверлить, как у меня.

Он умолк и перевел дыхание. Василий долго молча сидел над ним. Старик впадал в забытье. С видимым усилием он еще раз открыл глаза и сказал:

— Ну, я сосну. Ты гляди, сынок, чтоб я нынче не помер... А то не соборовался еще, батюшки-то нету.

До утра просидел Василий над кроватью отца, ловя каждое дыхание, не спуская глаз с лица, в котором еще теплилась отлетающая жизнь.

Утром старик проснулся, глянул в окно. Над морозными узорами окон, над снежной застрехой стояло облако. Маленькое, насквозь розовое, легкое, как комочек света, оно стояло неподвижно в ярко-голубом квадрате окна. Старик посмотрел на него и улыбнулся мягкой и радостной, младенческой улыбкой:

— Облако...

Долго смотрел на него, не отрываясь, все с той же тихой, младенческой улыбкой. Потом справился:

— Батюшка-то не пришел, Стеша?

— В Угрень он поехал. Обещался к утру быть,— ответила Степанида.

— Не опоздал бы...

Старик полежал в забытьи, потом тихо спросил:

— Поверни-ка меня, Вася, на другой бок.

Василий повернул отца, тот погладил его по руке, заглянул в глаза странным трепетно-нежным взглядом и вдруг откинул голову и затих.

— Батя! Батя!

Василий прижал к себе его сухое тело, пытаясь согреть его, перелить в него свою жизнь, свою силу. Старик не дышал. Прижавшись лицом к его лицу, Василий зарыдал.

Василий вышел на улицу. Певучие вопли Степаниды стояли в ушах. Сиреневое утро дымилось. В снежном сиянии лежали поля. Прямо в небо уходили розовые столбы дыма. Вдалеке на чистой синеве шло маленькое равнодушное облачко. Легкое, как комочек холодного света, неизменное и безразличное, продолжало оно все тот же путь, все так же скользило в высоте.

«То самое, на которое он смотрел,— с болью подумал Василий.— Последнее облако батино...»

Мучительно было равнодушие окружающего. Так же шло облако, так же стояли розоватые столбы дымов, так же сияли и искрились снега, а самое бесценное — трепетное человеческое сердце — перестало существовать навсегда. И уже не исправить сделанных ошибок, не

сказать недосказанных слов, не наверстать упущенных часов. Все неповторимо, все ушло навсегда.

«Навсегда...» Впервые Василий ощутил всю страшную и мертвенную силу этого слова. Миллионы лет будет стоять земля, миллиарды людей пройдут по ней, а бати не будет, не повторится он ни в миллионах, ни в миллиардах столетий. И как ни зови, как ни тоскуй о нем, не вызвать его оттуда, куда ушел, ни на единое короткое мгновение.

Он сам не заметил, как дошел до фермы. Не сознавая этого, он искал Авдотью, но, подойдя к фермам, вспомнил, что она в городе, на областном совещании животноводов.

На ферме еще не знали, что у него умер отец, и сразу обступили с множеством вопросов и дел, требующих срочного разрешения.

Василий старался отвечать на вопросы, но с трудом отрывался от своих мыслей. Ни на одну минуту он не мог и не смел забыть о том, что он председатель.

За несколько дней Авдотьина отсутствия он особенно хорошо оценил ее работу. При ней его почти не беспокоили никакими связанными с фермой вопросами, на ферме все было хорошо, ему казалось, что все ладится само по себе и идет своим ходом. Но стоило Авдотье уехать, как его стали одолевать самые различные и неожиданные дела. Животноводство колхоза сразу легло на его плечи, и только тогда понял он, что стоит эта кажущаяся мягкость и плавность хода, только тогда оценил силу Авдотьиных рук...

— Василий Кузьмич, у нового хряка оказался чес,— сказал Сережа-сержант.— Пеструха, да и другие свиньи, тоже позаразились. Что делать? Вымыть табачным настоем или дожидаться Авдотью Тихоновну? Или ждать ветеринара?

— Вызови ветеринара!

— Да он, говорят, в город в командировку уехал!

— Ну, подожди денек, а коли не приедет, сам действуй, не то вся ферма перезаразится. Сделай настой покрепче, обогрей ферму да выкупай всех подряд!— с трудом собирая мысли и отыскивая слова, сказал Василий.

С обычной сладкой улыбкой подошла Ксенофонтовна.

— Василий Кузьмич, дозволь тебя обеспокоить,— елейно пропела она.

— Ну?

— Молочка бы мне выписать, внутренности у меня заболели, неспособная я к другой пище.

— Да у тебя же корова-ведерница!

— И что ты, милой! Какая она ведерница! Хуже козы! Вовсе никудышная коровенка! А нынче и совсем не доит: перед новотелом ходит.

— Нету у меня молока.

— Да как же это нету? Все похваляются на ферме, что удойность выше да выше. Удойность — высоко, а где же молоко? Или молоко у нас в колхозе по сусекам оседает?

— На какие это ты сусеки намеки строишь? Ну! Говори!

Не первый раз он требовал от нее прямого разговора, но она уклонялась, оплетая его сетью темных намеков.

— Да ведь про сусеки-то я так, к слову. Тебе-то ведь лучше видеть. Так как же насчет молочка, Василий Кузьмич?

— Сказано тебе — нету молочка.

— Да куда же оно девается? Молока много, а колхозники его не видят.

— Как это не видят? В поле работали, все лето и масло, и молоко, и сметану выписывали. И сейчас на лесоучасток выписываем.

— Ну и что ж — на лесоучасток? А сколько его на ферме остается!

— А если я его раздам, то как мы будем стадо увеличивать? Телят поить надо? Молоко раздадим, а телятам, что же, с голоду подыхать?

Сладкая елейность улыбки смешалась с откровенной злобностью.

Цепкие глаза Ксенофонтовны вонзились в лицо Василия. Когда она чего-нибудь хотела, то способна была вырвать желаемое из души у кого угодно.

— Это как же понимать, Василь Кузьмич? Ты уж прости меня, бабу глупую, разъясни мое неразумение. Телят, значит, ты жалеешь, а о колхозниках тебе заботы нету? Что ж, я тебе хуже телушки?

— А ты как думала? На птицеферму тебя поставили — ты по тринадцать яиц с курицы собирала в год. На ферму дояркой определили — пришлось тебя снимать. На поле работаешь хуже всех. Не будет тебе молока! Свою корову имеешь — и пользуйся!

— Это что ж, люди добрые?! Ужель мы, колхозники, хуже телят? Да неужели нам и заступы нет?

Визгливый голос ее звонко отозвался в голове.

«Ну ее, дать ей молока, отвязаться от нее!..» — подумал Василий.

Ему хотелось уйти, остаться со своими мыслями об отце, со своим горем.

«Выпишу ей молока, умолкла бы только, не верещала

бы! Но если ей выписать, то как другим не выписать? Тогда всем надо!»

— Да неужто мы беззащитные какие, чтобы равнять нас с бессловесной тварью? — не то причитала, не то ругалась Ксенофонтовна.

— Успокойтесь, мамаша. Найдется для вас защита! — раздался мужской голос, и из полумрака выступила знакомая фигура с кожаными коленками — Травницкий.

Рядом с ним стоял председатель сельсовета Волков. Травницкий не взглянул на Василия, а мерной и величественной поступью прошел к выходу и на ходу бросил Волкову:

— Предлагаю вам, товарищ Волков, привести в порядок этого председателя колхоза. В свою очередь, районное руководство этого безобразного момента так не оставит. Вас, мамаша, я попрошу зайти ко мне в сельсовет для разговора лично со мной.

Василий ничего не ответил Травницкому. Лицо отца, его сухие руки, его последний, трепетный, нежный взгляд стояли в глазах, заслоняя все остальное. Молча стоял Василий, ссутулившийся, понурый и печальный.

Травницкого удивило это молчание: он помнил Бортникова другим. Он бросил на Василия косой, быстрый взгляд и счел его позу и молчаливость за признак бессилия и страха.

— А с вас, Бортников, спросят по партийной линии за недопустимые разговоры с колхозниками. Я лично буду свидетелем. Этому безобразию надо положить конец.

Василий не шелохнулся. Углубленный в свое большое горе, он был недосягаем для мелочных уколов Травницкого.

Через два дня после похорон, вечером, когда старухи, одетые в черное, пели что-то заунывное в Степанидиной комнате, пришел Сережа-сержант:

— Прости, Василий Кузьмич! Не потревожил бы тебя без крайности, да на свиноферме беда. Молоденький хряк подыхает. У Пеструхи выкидыш, и другие свиньи все полегли...

Утром Авдотья приехала в Угрень.

Она задержалась в Угрене: ей надо было зайти по делам в райисполком.

Как всегда по возвращении из города, она чувствовала себя освеженной, бодрой, и десятки новых планов роились у нее в мозгу.

Доверчивая, мягкая, настойчивая и добросовестная,

она обладала даром располагать к себе людей. У нее появились десятки новых друзей и знакомых — и среди животноводов из соседних районов, и среди работников областного отдела сельского хозяйства, и среди научных работников.

Последняя поездка в город дала Авдотье особенно много.

Оживленная и радостная, она шла по темному коридору райисполкома. Ей казалось по-особенному ловко и удобно в маленьких белых валенках, шерстяной платок приятно покалывал разгоревшиеся от мороза щеки. Она шла, улыбаясь и щурясь,— после яркого солнечного света коридор райисполкома казался темным.

Вдруг она остановилась. За приоткрытой дверью явственно прозвучала фамилия: «Бортников». Она прислушалась. Кто-то говорил по телефону:

— Да, да! Падеж свиней на ферме вследствие преступной халатности или злого умысла со стороны председателя Бортникова! Прокурор уже выехал на место для расследования. Подтверждаю! На Бортникова необходимо наложить домашний арест. Да, да! Кроме всего прочего, он в моем личном присутствии оскорблял колхозников.

Авдотья открыла дверь и вошла в комнату. За письменным столом у телефона стоял Травницкий.

— Что случилось у нас в колхозе? — не здороваясь, спросила Авдотья.

— У меня неприемные часы, гражданка.

— Нет, вы вперед скажите: что у нас в колхозе?

— У вас в колхозе падеж свиней и другие безобразные моменты. Выйдите отсюда и закройте за собой дверь, гражданка.

Авдотья постояла у дверей, гневная и беспомощная. Бесполезно было пытаться узнать что-нибудь от этого человека. Она, с силой захлопнув двери, побежала на улицу. С крыльца она увидела колхозную упряжку и Матвеича. Спотыкаясь и увязая в снегу, крича и размахивая руками, она кинулась к нему через пустырь наперехват.

Матвеич заметил ее и остановился. За пять минут разговора все стало ясно Авдотье — и причина гибели свиней, и состояние Василия. Ее поразила смерть старика, которого она любила, и горько стало за мужа. Она представила его тяжелую поступь и тоскливые глаза, почувствовала тяжесть его одиночества...

Не теряя ни минуты, она бегом бросилась в райком партии.

«Андрей Петрович и меня и Васю знает. Он моему слову поверит»,— думала она.

Самый домик райкома, уютный, одноэтажный, с чистотой и тишиной его многочисленных комнат, казался ей добрым и приветливым.

— Андрей Петрович не может вас принять! — сказала ей секретарша.— Через пять минут он должен выехать.

Авдотья подумала одно мгновение, не взглянув на секретаршу, стремительно прошла через приемную и сильным толчком распахнула дверь в кабинет Андрея.

«Только бы не зареветь! Только бы удержаться!» — думала она и, как только увидела ясное и доброе лицо Андрея, тут же залилась слезами.

— Куда же вы, товарищ? Куда вам? — бросилась за ней секретарша.— Я ей говорила, Андрей Петрович, она самовольно вошла!

— Оставь меня, барышня! Тут дело горькое! — решительно отстранила ее Авдотья, успокаиваясь при звуках сердитого голоса.

Андрей уже шел ей навстречу, протягивая обе руки:

— Авдотья Тихоновна, голубушка! Что случилось?

От его ласковых слов она снова заплакала. Он усадил ее в кресло, дал воды, а она все плакала, вытирая рукавичками обильные слезы, и никак не могла справиться с собой.

До этого времени всю тяжесть разлуки и одиночества перенесла без единой слезы, а теперь слезы, скопленные за год, прорвались и хлынули неудержимо.

Она ловила их губами, вытирала белыми рукавичками, шалью, маленькими ладонями, силясь остановить, и не могла.

— Да успокойтесь же! Ну, что случилось такое ужасное?

Она начала бессвязно:

— Батя умер... свекор мой... Василь Кузьмича батюшка! А тут... которые свиньи пропали, мы их купим... Телку свою продадим, а свиней купим, еще лучше, чем были... За что же прокурора? А эта Ксенофонтовна, она же и в самом деле вредная! Она мне корову Белянку, почитай, вовсе испортила. Да ведь как же это? И батя-то, батя!.. Кабы не его смерть, и недогляда на ферме не получилось бы... Ну вызвали бы, разузнали, а то враз прокурора! Не по справедливости это!.. Этого же невозможно допустить!

Андрей пытался уловить ее мысли.

— Ничего не понимаю! Ничего не могу разобрать. О смерти Кузьмы Васильевича я уже знаю, но при чем тут прокурор? Что случилось на ферме, не могу понять. Успокойтесь и говорите все по порядку.

Кое-как она овладела собой и рассказала ему:

— Этот Травницкий — он у Васи ягненка цыгейского требовал, а Вася не дал, вот он и злобится.

Андрей вполне верил Авдотье, знал, что она не может оболгать человека, но она могла ошибиться.

— Ведь этого Травницкого Вася с крыльца выбросил,— продолжала Авдотья,— с крыльца выбросил и шубу его в снег повышвырнул.

— Выбросил с крыльца и шубу в снег вышвырнул?

Такая деталь меняла дело. Человек, ни в чем не виноватый, не пропустил бы безнаказанно такого поступка. Травницкий же говорил о Василии много плохого, а об этом факте не обмолвился ни словом.

— Но что же вы раньше молчали о Травницком?

— Да ведь все не до него! Столько тогда забот было да неполадок!.. Тебя, Андрей Петрович, в ту пору мы еще не близко знали, а когда познакомились, то уже прошло все давно, что старое вспоминать?

— Хорошо. С Травницким мне все ясно. Но как же это со свиньями-то вышло, Авдотья Тихоновна?

— Да видишь ты, Андрей Петрович, девчата думали как лучше. Сделали табачный раствор покрепче да погорячее и положили свиней в корыто. Ну и перекрепчили раствор-то! А у свиней, по физиологии известно, особенность кожи — ихняя кожа, как губка, все в себя впитывает. Ну и отравились свиньи табачным ядом. Да ведь Вася-то тут много ли виноват? Не впервой-то от чесотки лечили, не впервой делали табачный настой! Кто их знал, девушек наших, что они этак все перевернут? А они думали — чем крепче, тем лучше! Да ведь мы не отказываемся возместить убытки! Хрячок один пропал молоденький. Пеструха скинула — все это мы купим: и хрячка и поросяток. Разве мы с Васей отказываемся? Да ведь за что судить, арест накладывать? Да еще и горе-то какое: к разу батя помер, аккурат в тот день. Вася не в себе сказал. Кабы не это горе, может, и недосмотру этого не получилось бы. Да ведь мы возместим, Андрей Петрович! Весь убыток возместим!

— Успокойся, Авдотья Тихоновна. Успокойся и поезжай к себе. Думаю, что ошибку вы исправите, ущерб возместите, а в обиду Василия Кузьмича не дам. Поезжай, успокой мужа. Работайте спокойно! Вы, значит, опять вместе?

— Нет, не вместе...— растерялась Авдотья.

— Не вместе? Так что ж ты о нем плачешь? Что ж ты говоришь: «мы с Васей» да «мы с Васей»?

— Да ведь не чужой, чай...— низко наклонила она голову.

— А если не чужой, так что же вы не вместе? Ведь и

он один, и ты одна. Чего вам не живется? Или человек он плохой?

— Вася-то? Хороший он! Редкостный он человек, Андрей Петрович! Этаких-то и не бывает!

— Что же ты не живешь с ним? Говоришь, хороший. Любишь его, а ведь вижу, что любишь.— Авдотья молчала, Андрей прошелся по комнате. Усмехнулся: — И чего только на свете не бывает! И каких только чудес эти райкомовские стены не видели! Час назад была у меня колхозница. «Заставь, говорит, моего мужа со мной жить. Он, говорит, мерзавец, пьяница и сквалыжник, ушел от меня. Заставь, говорит, его воротиться!» Я ей говорю: «Так зачем он тебе, если он мерзавец, пьяница и сквалыжник?» — «Нет, говорит, вороти! Желаю, говорит, с ним жить, со сквалыжником!» А теперь обратная картина. Говоришь, муж хороший, каких не бывает, а жить с ним не хочешь! Вот и разберись тут с вами! — весело закончил Андрей.

Авдотья чуть улыбнулась сквозь слезы.

Андрей опять стал серьезным.

— Извини меня, Авдотья Тихоновна, за то, что мешаюсь в ваши дела. Это не от праздного любопытства, а от большой моей дружбы к вам обоим. Разошлись вы. Я в этом одного Василия винил, а не тебя. Думал: какой, мол, с нее спрос? Она, мол, так, вроде мышки в уголке, тиха да пуглива. А ты вон какая, чуть двери мне не выломила, когда над мужем беда стряслась. Ты всю ферму к рукам прибрала, в первые ряды по району выходишь. Умная ты женщина и характерная. А раз так, то с тебя не меньше спрос, чем с Василия. Как же ты не сумела с ним ужиться? Если Василий и не прав перед тобой, так что ты сделала, чтобы эту неправоту объяснить? Неужели вы, два умных, хороших, сильных человека, не сумеете договориться между собой? Ведь личное счастье, Авдотья Тихоновна, как и удача в работе, само собой не приходит, его тоже надо суметь создать!

В полдень добралась Авдотья до своего колхоза. Не заходя к себе, она пошла к Василию. Ей хотелось успокоить его, передать дружеские слова Андрея.

Волнуясь, поднялась она на ступени того крыльца, которые столько раз скребла и мыла, на котором знала каждый сучок и выбоину. Взялась за знакомую дверную ручку.

Запустением, одиночеством, нехорошей тишиной повеяло на нее от комнат, когда-то уютных, наполненных детскими голосами. Засохли герани на окнах, и никто не

обрывал сухих листьев. Небрежно накинутое на кровать одеяло не скрывало порванной простыни. Василий сидел у стола над бумагами, склонив черную, смоляную голову. Был он без пояса, в расстегнутой поношенной гимнастерке, похудевший, небритый. Он поднял на нее глаза и смотрел, словно не понимал и не верил, что это она.

Она быстро подошла к нему, обняла и сильно притянула к себе.

— Вася, родимый мой! Похудел-то ты как! И меня-то не было! И не увидела я в последний раз батина дорогого лица! И как это бывает: живем и жизнью не дорожимся — и вдруг нету!

Она гладила его жесткие черные волосы, а он дрогнул, припав лбом к ее плечу. Он прижимался к ней лицом все крепче и крепче, чтобы скрыть спазму, взявшую его за горло.

Бабья любовь часто идет где-то рядом с жалостью. Не случайно так часто Авдотья заменяла одно слово другим и вместо «люблю» говорила «жалею». Ничто не могло с такой силой и полнотой вернуть ее прежнее чувство к Василию, как это беспомощное и горькое движение мужа. Она обняла его, гладила его лицо, волосы, плечи.

— Васенька, сердце мое! Некогда тебе сидеть! Бери коня, поезжай в район. Петрович велел к восьми часам вечера быть у него. Сережу-бригадира прихвати с собой. Я ведь как услышала обо всем, так прямиком к Петровичу. Человек он редкостный и тебя хорошо знает. Да и меня тоже не впервой видит! — с гордостью добавила она.— Знала я, что он поверит моим словам! Все я ему рассказала — и про тебя и про Травницкого. Он говорит: «Я Василия в обиду не дам». Что касаемо хряка, то мы его с тобой купим. Телку продадим, а купим. Ты так и говори, слышишь? Ты перед колхозом должен быть как стеклышко незапятнанное. Если и был твой недогляд, так ты должен его возместить с лихвой. Ты так Петровичу и говори! Слышишь? — приказывала и учила Авдотья Василия.— Собирайся быстрее, родимый!

Она нашла его шапку, обвязала ему шею шарфом и проводила на крыльцо.

— Сама бы я с тобой поехала, да на ферму тороплюсь. Да и надобности во мне нет: и так все рассказала... Поезжай скорее!

Когда на следующее утро Василий вернулся домой, он не узнал избы: все было дочиста выскоблено, вымыто, полки были покрыты белой вырезанной кружевом бумагой, белоснежные накидки покрывали подушки.

— Папаня, а мы к тебе жить приехали! Мы больше не будем уезжать! — объявила Дуняшка.

Катюшка хозяйственно устраивала за печкой свой «пионерский уголок»: развешивала портреты, свои похвальные листы, раскидывала книжки на маленьком столике.

Глаза Прасковьи слезились от радости.

Авдотья улыбнулась Василию.

— Сейчас пироги дойдут. Дочка, дай папане умыться!

Вынув пироги, она не стала накрывать на стол, а села рядом с мужем, обняла его и распорядилась:

— Ну, рассказывай все по порядку. Ты как приехал, так прямо к Петровичу?

— К нему прямиком, а у него перед дверью, гляжу, Травницкий.

— Да ну-у? И что ж?!

— Да ничего. Этак и шмыгнул мимо двери. Тихий, тонкий. Куда и пузо девалось!

— А Петрович как?

— Петрович — хорошо! Эх, Дуняша, вот человек! Поговоришь с ним — как свежим воздухом надышишься.

— Ты ему сказал, что убытки мы возместим?

— Так с первого слова и сказал, как ты наказывала.

Всего девять месяцев прошло со дня их разрыва, но неузнаваемо изменились их отношения за этот короткий срок.

Когда началось их возвращение друг к другу?

С ночи ли на Фросином косогоре? С того ли вечера, когда Авдотья, впервые выступая на партийном собрании, высказала мысли Василия лучше, чем он сам сумел это сделать? С того ли дня, когда они поспорили из-за клевера? Или не было в течение этих девяти месяцев таких решающих часов, а просто вырастало их чувство вместе с тем, как вырастали они сами?

Ночью вскрикнула во сне маленькая Дуняшка. Авдотья хотела пойти к ней, но Василий крепче прижал жену к себе.

— Отпустить боюсь... Вдруг встанешь — и нет тебя.

— Разве я теперь оторвусь от тебя, Вася? Натосковались... Намучились... Мальчика, Вася, хочется мне. Сынка. Кузьмой назвали бы. По батиному имени.

Неумелой, жесткой рукой он убрал с ее лба волосы, гладил ее лоб, висок.

— Дунюшка!.. Ведь вот как случается!.. Живешь с женой почитай что тринадцать лет, а только на четырнадцатом году узнаешь, какая бывает любовь!..

Впервые в жизни он говорил о любви, и слова его падали ей в сердце, как падает дождь на пересохшую, растрескавшуюся от зноя землю.

2

ПЕРЕСАДКА

Мартовским утром между Василием и Авдотьей произошла одна из тех шутливых и веселых ссор, которые случались нередко.

За завтраком Авдотье стало нехорошо, и она прилегла на кровать. Василий сел рядом с ней.

— Ничего, Вася,— говорила Авдотья.— Уже отпустило, прошло со мной,— на ее побледневшее лицо возвращался румянец.

— Это у тебя от меду. Второй раз за тобой замечаю: как поешь меду, так тебя мутит.

— Характерный будет сынок,— улыбнулась Авдотья,— того ему не надо, этого он не принимает... Если сынок родится, Кузьмой назовем, а если дочка? По цветку есть имя — Маргарита, или по ягоде тоже можно назвать — Викторией.

— Клюквой...— глуповато и самодовольно улыбаясь, прогудел Василий; его волновали мысли о ребенке, и он пытался за напускной грубостью спрятать волнение.

— Дурной ты какой! — рассердилась Авдотья.— Он еще махонький, он еще не родился, а ты над ним насмехаешься! Осердилась я на тебя. Уходи отсюдова! — Она повернулась к нему спиной.

— Дуняшка!

— Сказано тебе — осердилась я на тебя!

— И что ты у меня за жена получилась! — вздохнул Василий.— Не знаешь, с какого боку к тебе подступиться!

Авдотья повернула к нему смеющееся, раскрасневшееся лицо.

— А ты походи, походи округ меня! Округ невесты не хаживал, округ жены теперь походи!

В дверь постучали, на пороге показалась небольшая квадратная фигура, и голос Андрея весело произнес:

— Я тут лишний, кажется?

Авдотья торопливо соскочила с постели, а Василий смутился оттого, что Андрей застал его дома, а не в правлении.

— Мы тебе всегда рады, Андрей Петрович! — сказал он и начал оправдываться: — Только что с Дуняшкой домой пришли, только успели позавтракать. У нас уж такой порядок: встанем в пять и уйдем по хозяйству, а в десять у нас перерыв на завтрак. Раздевайся, садись с нами!

Андрей не слушал Василия. С любопытством и удовольствием он оглядывал комнату. Здесь не было того

идеального порядка, который Андрей застал, попав сюда впервые в феврале прошлого года, но стало уютнее, домовитее. Он ничего не сказал Василию и Авдотье, но взглянул на них с такой добродушной, насмешливой и всепонимающей улыбкой, что оба они покраснели.

— Завтракать не буду, а если ты готов, пошли по хозяйству. Я сегодня к вам на весь день, до вечера. На той неделе в райкоме будет слушаться отчет Валентины о вашей партийной организации. Хочу перед этим посмотреть на все и вместе с вами подумать... Не знаешь, где Валентина?

— Уехала в Буденновский. Часа через три должна быть.

— Жаль, что не застал ее. Ну что ж... пошли.

Василий уже привык к дотошности и въедливости Андрея, вникавшего в каждую мелочь колхозной жизни, но впервые видел его таким сосредоточенным. В сером зимнем пальто, делавшем его еще шире и приземистее, Андрей кубарем катался по всему колхозу, и походка его была такой спорой, что длинноногий Василий едва поспевал за ним.

Андрей осмотрел фермы, склады, электростанцию, побывал на лесоучастках — везде был порядок, и Василий ждал похвал и одобрений, а секретарь становился все молчаливее и озабоченнее.

«Что ему опять не так? — уже с легкой досадой на него думал Василий.— Когда худо было в колхозе, ходил со мной по хозяйству веселый, разговорчивый, а нынче ходит — будто меня и нет рядом. Глядит на овраги. Чего он на них уставился? Чего увидел? Рукой повел, словно сказал что-то про себя! Опять покатился! Ух ты, как поддал пару! Не поспеешь за ним! И все молчит. Иной раз и не пойму я его: что за человек?»

Обойдя все хозяйство, Андрей пришел в правление, поздоровался с Валентиной, которая только что вернулась из соседнего колхоза, и попросил у Валентины и Василия на днях намеченный ими производственный план на 1948 год. Он долго сидел над бумагами, не обращая внимания на шум и разговоры в соседней комнате, тер маленькой ладонью выпуклый лоб, записывал что-то в блокнот.

Он отложил план незадолго до начала открытого партийного собрания, когда коммунисты уже начали собираться в правлении.

— Ну, как, на твой взгляд, наш план? — спросил Василий, гордившийся своим произведением, над которым посидел не один день.

— На партийной организации обсуждали?

— Не успели еще,— ответила Валентина.

— Оно и видно.

Он умолк и стал разыскивать у себя в кармане спички и портсигар.

Спички ломались, он долго возился с ними и наконец закурил, по-прежнему не прерывая молчания, не обращая внимания на выжидательные взгляды окружающих.

— Почему «оно и видно»?—нетерпеливо спросила его Валентина.

Он пустил несколько колец дыма и только тогда ответил, обрубив фразу:

— Беспартийный план у вас получился...

— Как это беспартийный?

— А так. Куда ведет? На что ориентирует? Какие ставит узловые вопросы?

Андрей не смотрел ни на жену, ни на Василия. Взгляд его шел как бы сквозь людей, и казалось, он не замечает ни их огорчения, ни их волнения. Жесткие складки удлинили губы. У Василия на миг возникло раздражение. Иногда он чувствовал в Андрее какую-то «таранящую», слишком стремительную и прямолинейную силу. «Что опять надо этому человеку? Люди хорошо поработали, добились успеха, доброго урожая. Грех ли похвалить за это?»

А секретарь, не замечая его недовольства и огорчения, повернулся к нему.

— Ты помнишь, Василий Кузьмич, наш первый разговор? Ты мне тогда сказал: «Если поможешь, то с первого урожая выбьемся из отстающих, со второго—поднимемся до хорошего, с третьего—выйдем в передовые». Мы тебе помогли людьми, машинами, семенами, денежной ссудой. Ты тоже свое слово сдержал—колхоз выбился из отстающих. Сейчас есть все возможности для того, чтобы двигать в хорошие и в передовые.

— Двигать в передовые!—усмехнувшись, повторил Василий.—Это легко сказать. Конечно, мы и сами на это целимся, да ведь не одной тропой идти от плохого до хорошего и дальше, от хорошего до передового! Это ж не железная дорога от Угреня до города, от города до Москвы. Это все равно что с железной дороги разом пересесть на самолет! Пересадка нужна!

— Вот именно,—подтвердил Андрей.—Вот в этом вашем плане я и не вижу твоих пересадочных узловых станций. Ну что это?!—Он небрежно и сердито потряс листами планов.—«Вывезти столько-то тонн удобрений к такому-то сроку». «Прояровизировать столько-то тонн зерна»... Это все хорошо и нужно, но ведь это же все и в прошлом году было.

— В прошлом году ты, Андрей Петрович, хвалил наш

план!—сказал Буянов.—И даже сам его составлял вместе с нами!

— Это, брат, большая разница! В прошлом году у вас были три узловые задачи: организовать крепкие бригады, ввести севооборот, повысить мощность гидростанции. Вы это все сделали. А нынче что же? Повторение старого? Где здесь,—он снова потряс листами планов,—где и в чем здесь основа для дальнейшего роста и гарантия дальнейшего движения? Где «пересадочные станции», если говорить твоими словами, Василий Кузьмич? Где такие узлы, о которых можно сказать: когда мы осуществим это, хозяйство поднимется на новую ступень! В плане нет целеустремленности, нет партийности.

— Это только наметка плана,—с досадой сказала Валентина.—Он еще не обсужден ни на партийном, ни на общем собрании.

— Зачем же давать такие выхолощенные наметки?

Валентина сердилась на мужа. Они не виделись около недели, потому что Андрей всю эту неделю разъезжал по району. Теперь, вместо того чтобы поговорить с ней наедине, он беспощадно ругал ее творение при всех.

«Так недолго и авторитет секретаря партийной организации подорвать,—думала она.—Не мог поговорить со мной об этом дома!..»

Но Андрей не собирался поддерживать ее авторитет таким «семейным» способом и еще решительнее продолжал при общем молчании собравшихся:

— Орех без зерна, мина без взрывателя—вот что такое ваши наметки!

Этот маленький, но обуреваемый большими планами человек принес с собой тревогу в партийную организацию первомайцев. До его приезда все казалось хорошо и спокойно, а теперь возникли недовольство и неудовлетворенность. Он не замечал ни обиды жены, ни сумрачных лиц колхозников. Валентина знала в нем эту способность: наметив впереди цель, идти к ней, не считаясь ни с какими побочными обстоятельствами. Он встал и начал быстро ходить по комнате, маленький, сердитый, похожий на взъерошенного воробья.

«Учить ты можешь. Учить—это всякий сумеет,—с досадой и обидой думал про него Буянов.—А вот так ли ты сам-то работаешь по району?» Он решил задать секретарю ехидный вопрос:

— Вот, Андрей Петрович, ты все твердишь нам: «Узлы, новая ступень, пересадка...» Интересовался бы я знать... Вот у нас был отстающий колхоз, а у тебя отстающий район. Где же у тебя по району эти самые узлы и пересадки, которые ты от нас хочешь? Или, на

твой взгляд, это только для нас обязательно, а для всего района в этом нужды нет?

Андрей остановился, посмотрел на невинное лицо Буянова, понял скрытое ехидство его вопроса и повеселел.

— Нет. Это и для меня обязательно, Михаил Осипович.

— А что же это за узлы и за пересадочные станции районного масштаба в районных планах?

— Есть такой узел. Есть такая станция...

Смешанное выражение мечтательности и твердости появилось на лице секретаря. Он молча подошел к окну. Все притихли, заинтересованные его словами и наступившей за ними паузой.

— Это наша новая МТС,— негромко закончил Андрей.

Слова его разочаровали первомайцев.

«Новая МТС. Что же здесь такого? — подумал Буянов.— Ну, построили эту МТС. Прохарченко строил да строительный отдел райисполкома. Петрович помогал, конечно. Однако не с чего так говорить, словно в районе обнаружили золотой клад».

Андрей уловил общее разочарование, но не смутился им:

— Об этом мы скоро будем разговаривать на партактиве. Скоро всем станет ясно, почему я говорю о новой МТС как о новой ступени в жизни всего района. Сейчас поговорим о вашем колхозе. Прежде всего основное — о росте партийной организации.

— У нас два новых коммуниста: Яснев и Сережа,— сказала Валентина.

— Не много. Но это понятно. В прошлом году выявляли и изучали людей. Теперь наступило время серьезной работы по подготовке в партию ваших передовиков.— В такт своим словам Андрей рассекал воздух ребром маленькой ладони.— Ваши комсомолки — Татьяна Грибова и Ксюша Большакова, ваши бригадиры — Любовь Трофимовна Большакова и Авдотья Тихоновна Бортникова...

Авдотья показалась в дверях как раз в ту минуту, когда Андрей назвал ее имя. Все засмеялись, она смутилась: «Не плохим ли словом меня поминали!»

— Легка на помине, Авдотья Тихоновна! — улыбнулся Андрей.— Что же вы гостьей в двери встали? Хозяйкой входите!

Она поняла, что говорили о ней хорошо, успокоилась, вошла, уселась в уголке, чинно сложила руки на коленях и осмотрела всех ласковым и улыбчивым взглядом. Она не впервые присутствовала на открытом партийном собра-

нии и дорожила той новой, еще непривычной, но уже необходимой связью, которая появилась между ней и лучшими людьми колхоза. Сначала она не полностью осознавала значение этой связи и воспринимала ее не мудрствуя, с обычной своей чистосердечной непосредственностью. Она видела, что люди, которые больше других нравились ей, звали ее в свой круг, и, отзывчивая на все хорошее, с радостью шла на их зов. Постепенно мысль о вступлении в партию становилась все отчетливее. Встречаясь на совещаниях в городе и в Угрене с умными, деловыми и привлекавшими ее женщинами, она обычно думала: «Наверное, партийная женщина»,— и почти никогда не ошибалась. Часто ее самое принимали за коммунистку, и каждый раз ей было неприятно отрицать это, словно она невольно разочаровывала людей.

Когда Валентина впервые заговорила с ней о вступлении в партию, она не удивилась, а задумчиво сказала:

— Я сама об этом думаю... Боюсь только, что политического развития у меня не хватит.

— Готовиться будем, заниматься. Не одна ты: и Любава, и Яснев, и Сережа-сержант, и Татьяна с Ксюшей — все вместе будем заниматься.

— Так вот,— продолжал Андрей, выждав, когда она усядется,— вернемся к разговору о вашем хозяйственном плане сорок восьмого года. В прошлом году главным было создание партийной организации, а затем такие общие для всего колхоза вопросы, как организация крепких бригад, введение севооборота. Сейчас пришло время по-разному подходить к каждой отрасли хозяйства. Для каждой нужно найти свой основной узел. Для зернового хозяйства надо создать центр, вокруг которого и росла бы всякая колхозная агротехника. Вам нужна своя, хорошо оборудованная хата-лаборатория. Для животноводства необходимы строительство новых ферм и налаженное водоснабжение. Правильно предусмотрены в вашем плане также вывоз стад в лагери на Горелое урочище и создание кормовой бригады. Это верно! А что касается овощного хозяйства, то пора переходить к поливным участкам. Нынче шел я мимо оврагов,— в них вода держится до июня, а по дну речонка протекает — рукав от реки Полянки. Есть все возможности для устройства пруда.

Недовольство и обида, с которыми вначале слушали Андрея, сменились интересом к его словам. В комнату вошла гурьба людей, и Андрей весело оборвал самого себя:

— Ого! Да вас тут сила, товарищи! И все старые знакомые!

Он поздоровался со всеми и для каждого нашел шутку или доброе слово:

— Что ж, Ксюша, с осени на курсы?

Ксюша покраснела.

— Не забыли, Андрей Петрович?

— Как мог забыть? Не забыл, не забыл! Секретарю райкома по штату не положено забывать! Осенью поедете на годичные курсы.

Ксюша тревожно оглянулась на Сережу, Андрей поймал этот взгляд и засмеялся:

— И это предусмотрено и согласовано с правлением! Вместе поедете. А вам, Пимен Иванович, надо зайти в райздрав насчет путевки в санаторий. Чтоб к посевной вы были в полной форме!

Василий чувствовал, как исчезает раздражение и маленький секретарь райкома снова покоряет его.

«Иной раз думаешь,— он сквозь людей смотрит, движется, как танк, все готов подмять, лишь бы дойти, а копнись в нем поглубже — он каждого держит в памяти и, доведись беда, каждому поможет, как и мне помогал. А что он насчет плана говорил, то хоть и крепко сказано, но все в дело».

Комната уже была полна людей. Шли оживленные разговоры, слышались смех, шутки.

— Вот откуда пойдет начало новому году,— тихо сказал Валентине Василий.— Прошлому году веду я счет с того первого партийного собрания, когда мы втроем собрались. Еще ты меня ругала за то, что я разучился улыбаться...

Она поняла его настроение и ответила тоже тихо:

— А ты меня обозвал «жалейкой»... Давно-то как это было!

— Подросли! — улыбнулся Василий, погладил несуществующие завитки на щеках и подбородке и пробасил на всю комнату:— Что ж, товарищи, на́чинаем собрание.

После партийного собрания и отчета Валентины на бюро райкома четко определились новые задачи первомайцев. Замедлившееся было течение колхозной жизни вновь приобрело быстроту и бурность.

— Строительство задумано у нас большое. Кто строить будет? — сказал Буянов Василию на другой день после собрания.

— А ты и будешь, Михаил Осипович,— твердо ответил Василий.

Буянов подскочил на стуле.

— Да ты в своем разуме, Василий Кузьмич?

— В своем, Михаил Осипович,— с непреклонным спо-

койствием ответил Василий.— Нанять со стороны инженера мы не можем, да и не к чему. Справимся своими силами — с помощью района. Ты человек энергичный, способный, технически грамотный, вот и возглавишь строительство.

— Да ты это серьезно или насмех?

— Я это серьезно. С электростанцией у тебя все налажено. Мы тебя на полгода освободим от всякой другой работы. Мы тебя командируем в кировский колхоз «Красный Октябрь», у них там большущее строительство — и все своими силами. Поучишься. Мы попросим прикрепить к тебе районного инженера в качестве шефа. Литература тебе нужна? Обеспечим. Чертежные инструменты нужны? Купим. Калька нужна? Достанем. Чертежный стол нужен? Сделаем!

— Что, я тебе ко всякой дыре затычка? Не буду я тебе строителем! — кипятился Буянов.

— Будешь,— с непоколебимым спокойствием закончил разговор Василий.

Через несколько недель в колхозе появился свой собственный «строительный отдел». В особой комнате за чертежным столом воссел Михаил Буянов, окруженный рулонами ватмана и чертежами ферм, водонапорных башен, сельских клубов, больниц и яслей.

Он усиленно нажимал на Василия, требуя строительных материалов, рабочих, тягла.

Каждое свое требование он начинал с обиженного и укоризненного вопроса:

— Ты меня начальником строительного отдела сажал? Сажал! Что же, я зря буду сидеть? Когда мне будет кирпич и листовое железо? Торопись поворачиваться, Василий Кузьмич! Строительный сезон приближается!

И Василий торопился поворачиваться. Немало хлопот доставило ему Горелое урочище. Василию удалось наконец заключить договор, по которому облюбованные земли отводились колхозу во временное пользование на десять лет, а колхоз обязывался провести мелиоративные работы и осушить близлежащие болота. В память того, что первую мысль о Горелом урочище подал Алеша, урочище звали в колхозе Алешиным холмом. В плане, который землеустроители приложили к договору, холм у реки так и обозначили: «Алешин холм». С легкой руки первомайцев и землеустроителей это название стало узаконенным. На Горелом урочище тоже надо было ввести севооборот и наладить строительство. Туда была направлена специальная бригада, а по воскресеньям на Алешин холм ездили всем колхозом вместе со школьниками, стариками и старухами — на воскресник. Работали охотно и весело.

Полновесный трудодень и дополнительная оплата за перевыполнение планов изменили отношение к работе даже таких всем известных лодырей, как Полюха, Маланья, Ксенофонтовна.

Нередко в правление заходили старики и старухи, уже много лет не работавшие в колхозе, и просили Василия: «Дай подработать». И дела хватало всем.

По вечерам в красном уголке и в правлении было тесно: различные кружки — самодеятельные, агрономические, политические — не могли разместиться и спорили из-за помещения.

Даже Лена, которая после Алешиной смерти замкнулась в себе, снова оказалась втянутой в общий круговорот. Валентине долго не удавалось вывести Лену из ее замкнутости и оцепенения.

— Не тревожь меня,— отвечала Лена на все попытки Валентины.— Мне с моими ребятишками хорошо, а с комсомольцами, с молодежью мне трудно.

— Ты слишком ушла в себя. Нельзя так. Ну, если тебе трудно с молодежью, приходи к нам, к взрослым. Вот мы, коммунисты, и те, кто готовится в партию, собираемся, читаем Ленина, Маркса. Мы все увлеклись этим. Пришла бы ты хоть раз! Я уверена, что и тебя захватило бы!

— Не тревожь меня, Валя...

Тогда Валентина поговорила с Любавой:

— Приди к ней, Люба. Ты все это знаешь. Ты найдешь слова для нее. И тебя она будет слушать.

— Я и сама давно думаю к ней пойти.

Вечером Лена одна в опустевшей избе Василисы разбирала старые бумаги. Ей попались Алешины тетради. Она сидела на полу возле этажерки, и слезы капали на аккуратные Алешины буквы. Ей снова вспомнился ее первый вечер в этом доме, и стол, за которым она сидела против Алеши, и его длинные ресницы, и его старательный шепот: «Синус альфа плюс косинус бета...» Кто бы сказал тогда, что все получится так! Немногим больше года прошло с тех пор, а за этот короткий срок и любовь, и счастье, и смерть...

Не стучась в дверь, вошла Любава. Лена не встала и не вытерла слез. Перед Любавой она не скрывала горя. Любава молча села на стул рядом с Леной, провела жесткой ладонью по ее волосам.

— Горе наше — в счастье нашем...

— Как? — не поняла Лена.

— Кто большого счастья не знал, тот и маленьким обойдется, а кто большое узнал, да потерял, тому тяжко. Тебе плохо, Ленушка, а ведь мне еще лише было.

— Почему?

— По всему. Ты молоденькая, красивенькая, образованная, тебе вон и книжки то откроют, что от меня утаят. У тебя вся жизнь впереди. К тебе счастье еще раз постучится.

— Не надо мне. Я не хочу никакого другого счастья...

— А ты перед ним двери загодя не запирай. Не греши перед жизнью, придет оно к тебе. Ведь я и старше тебя была, и детная, и необразованная, и не такая красивенькая, а и ко мне оно два раза постучало.

— Расскажи!—не попросила, а потребовала Лена.

Она требовала по праву их общего горя, по праву одной судьбы. Она смотрела на смягчившееся, задумчивое и помолодевшее лицо Любавы с удивлением. Никто в колхозе не слышал о втором счастье Любавы, все знали ее как горькую и безутешную вдову. «Скрытная она какая!»—подумала Лена и снова потребовала:

— Расскажи!

— Ну что ж, расскажу. Никому ни словом об этом не обмолвилась, а тебе расскажу.—Сухие руки Любавы перебирали бахрому полушалка, остановившиеся, потемневшие глаза, казалось, зажили отдельной, никому не видимой жизнью.—Тяжко мне было, как овдовела я. Ты легонькая, беленькая, как облачко, а я, когда овдовела, могучая была. Бывало, выйдем с бабами на реку купаться, все надо мной охают, и все передо мной как больные, все жидкие да хлипкие. Я, бывало, стою, как из большого дерева вырубленная, и каждая жилка у меня прямо из земли растет, и каждая жилка счастья просит. Счастья обыкновенного, бабьего, чтоб ребенок у груди, чтоб мужицкая добрая рука на плече. Первое-то время горе меня подкосило, а через год после Пашиной смерти стала я метаться. Мужики округ меня роились, даром что детная. Трое женихов появилось враз, и стала я прикидывать, которого выбрать. Стала я прикидывать и вижу: того, что было, не будет. И похожего ничего не будет. И все одно мне: тот ли, другой ли, третий ли. А раз так, то не все ль одно: один ли, два ли, три ли... Я на грех глаза закрывать не умею. Есть такие, что безгрешными себя почитают оттого, что грешат по малости да с оглядкой. А ведь я все делаю со всего плеча. В работе ли я себя не жалею, мужа ли я любила—до кровинки бы всю свою кровь за него отдала. И по худой тропке пойду—тоже малыми шажками не сумею шагать. Поняла я это. Дала своим женихам отказ. Успокаиваться было начала, а тут, на беду ли, на счастье ли, и встретился мне он.—Лена видела, как мелко задрожали пальцы Любавы, но голос и лицо оставались спокойными.—Был на свете один-

разъединый человек, которого могла я вровень с Пашей полюбить, и задалось же мне с ним встретиться! И кто бы, ты думала? Его же, Паши, родной брат. Я тогда к свекрови в Угрень приехала, и он только что вернулся с Алтая в родные места. Раньше-то я не знала его. Вхожу я в избу и вижу — за столом Паша. Слова сказать не смогла, прислонилась к печке и гляжу на него. А он на меня. Так и полюбили друг друга. Не то что с первой встречи или с первого слова, а с одного-разъединого взгляда. Узнала я все о нем. Жена ему попалась недотепа, ни к чему не способная: ни к работе, ни к дому. Уж на что квашню замесить — и то не может. Он с работы, с МТС прибежит — сам ей хлебы печет. Дети у нее ходят драные, неухоженные. Из-за них он и с Алтая приехал поближе к родне да к своей матери, чтобы доглядеть за детьми помогли. Все соседи его жалеют и все в один голос меня уговаривают: «Свою судьбу найдешь, человека осчастливишь и детей в люди выведешь». Он мне говорит: «Жене мы помогать будем, а об детях она не пожалеет. Ей с ними одни заботы да хлопоты». И дала я ему свое согласие. Только прежде чем окончательно порешить, надумала я съездить поглядеть на ту женщину, чье счастье я перебиваю... Не ездить бы мне!.. Не видеть бы ее!.. Да не смогла я так. Всему люблю я в самые глаза поглядеть. Ничего я ему не сказала, а сама собралась да и поехала в соседнее село, где они дом купили. Вхожу в избу. В избе такая грязь, что у меня в свинарнике чище. В углу детишки играют, за столом сидит баба и сырой моченый горох ест. Вынимает щепотью из плошки и ест. Не сказала я ей, кто я и зачем. Только сказала, что, мол, родственница по мужу. Поговорила я с нею и вижу — не худая и не злая она баба, а немощная. И телом и умом немощная. Она и мужа любит, и за детей у нее сердце болит: как заговорит об них, так в слезы. «Нету, говорит, мне радости в жизни. Не любит он меня, а мне — все в одном в нем. Если б, говорит, видела от него ласку, горы бы стала ворочать. А сейчас, говорит, чую, все одно не житье». Как уж это у них началось, не знаю. Она ли себя опустила и через это он ее разлюбил, он ли ее разлюбил, а с этого у нее ноги подкосились,— в таких случаях и не разберешь, где конец, где начало. Только пошло у них все худым колесом. И вижу я: не плохая она баба, а горькая. И мать своим детям. Любят ее девчонки. А детей с отцом-матерью разлучить — хуже этого нет греха.

Любава замолчала.

— Ну и что ж? — Лена тронула ее сухую руку.

— Ну, побелила я им хату, белье простирала, девчонкам платьишки пошила, Мите (его Митей звали) всю

одежду перечинила и поговорила с ней, слово с нее взяла жить как полагается — и уехала... Не видать бы мне ее... Не ездить бы...

— А он как же, Люба?

— Я его и не видела. Свекрови письмо написала, чтоб непременно к ним жить переехала, внучат спасла. А с ним побоялась встретиться... Думаю, как возьмет он меня за руки, как прикоснется ко мне — так и все... Это ведь когда не любишь — легко: нынче взял, завтра бросил... А когда любишь? Он вскорости сам ко мне приехал. Но я к тому-то времени сама себя одолела... Переломила себя... Только с той поры вся высохла. Вот,— она подняла худую, темную руку и посмотрела на нее, как на чужую,— желтущая стала. А раньше я белая была... А так-то я теперь спокойная. Видишь, как оно, Ленушка. Приходит — уходит, а жизнь идет, и сколько уж мне горя выпало, а я и расставаться с ней не хочу. Что же ты от нее замыкаешься? — Любава улыбнулась мягкой и спокойной улыбкой.— Я тебя вдвое постарее, а вот в партию собираюсь вступить, агрономические книжки читаю, учусь...

Внутренняя сила этой немолодой темнолицей женщины поразила Лену. Все смогла она: и пережить смерть любимого, и перенести горькое вдовство с пятью ребятами на руках, и вновь полюбить со всей полнотою любви, и отказаться от этой любви, и, несмотря ни на что, сохранить спокойствие, ясность, интерес к жизни. И хватило у нее силы и доброты прийти утешать Лену, улыбаться ей, гладить ее по голове своими худыми, горячими, как жар, руками.

Жизнь открылась Лениным глазам в такой захватывающей глубине, что она ни о чем больше не расспрашивала Любаву, ни о чем не рассказывала ей и только просила ее:

— Подожди еще!.. Не уходи!..

— Что ты все в черном да в черном, вроде старушки! — сказала ей Любава.— Беленькую кофточку надень, что раньше носила.

Собираясь на политзанятия, Лена впервые надела ту шелковую блузочку, которая нравилась Алеше. Она смотрела на себя в зеркало. Тоненькая, похожая на девочку, в нарядной белой блузке, она была такой, какой он знал и любил ее: она была «Алешиной Леной». И внезапно она отчетливо представила себя такой, какой она будет через много, много лет: богатой опытом, все понимающей, зрелой и сильной, как Любава. Сколько еще предстоит узнать, пережить! Но как бы она ни изменилась, всегда будет жить в ней вот эта худенькая «Алешина Лена» и на всю жизнь останется с ней Алеша, как драгоценная и неотъемлемая часть ее судьбы.

Лена вместе с Любавой пошла на политзанятия, которые проводила Валентина с коммунистами и с теми, кто готовился ко вступлению в партию. Лена ожидала застать здесь обычную, несколько официальную читку книг и газет, но с первой же минуты ей бросилась в глаза и удивила атмосфера задушевности и какой-то трудно определимой слаженности. Видно было, что люди собираются не в первый раз, что между ними установился крепкий и не совсем понятный новичку контакт, создалась немногословная, но дорогая им близость.

Лене все обрадовались, и больше всех Валентина. Валентина заметила Ленину нарядную блузку, ее еще неуверенную мгновенную, но лишенную горечи улыбку, обменялась с Любавой понимающими взглядами и подумала: «Оживает понемногу».

— Садись, Леночка. Наконец и ты с нами. Устраивайся так, чтоб тебе было удобно. Мы сегодня начинаем изучение «Коммунистического манифеста».

Лену не особенно заинтересовала тема занятия. Она проходила «Манифест Коммунистической партии» раньше и до сих пор сохранила о нем несколько школьное, полудетское представление.

Валентина сказала вступительное слово и подала Авдотье книгу:

— Твоя очередь читать, Дуня!

«Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма»,— прочла Авдотья и, удивленная красотой и силой этих слов, остановилась, помолчала и перечитала их еще раз.

И Лене показалось, что фраза эта только что родилась. Давно известные ей слова обновлялись, будто вымытые в напряженном, несколько суровом внимании Любавы, в сосредоточенности Пимена Ивановича, в той радости открытия и узнавания, которой светились глаза Авдотьи. Она понимала теперь, почему так спешила сюда Любава, почему и Яснев, и Авдотья, и Буянов, и Василий, и комсомольцы так ждали этого часа.

Глубокая потребность в духовной жизни, свойственная советским людям, влекла людей на эти занятия. Та высокая духовная жизнь, которой жили лучшие умы человечества, минуя преграды пространства и времени, широким потоком вливалась в маленькую комнату, и часы занятий становились часами большой чистоты и задушевности.

— «Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака»,— читала Авдотья, и Лена, с волнением слушавшая ее, думала: «Почему эти слова, написанные столетие назад, находят такой живой отклик в сердцах Авдотьи и Любавы, Ксюши и Татьяны? Не стихи,

не песня, не сказка... Простые, твердые слова о простых и трудных вещах. Почему звучат они и как песня, и как железный закон?..»

Когда кончили читать первый абзац, Валентина спросила:

— Скажите, товарищи: о чем вы думали и какой документ из тех, что мы недавно изучали, вы вспомнили, когда Дуня читала о «священной травле этого призрака»?

— О декларации совещания представителей компартий, что было в сентябре месяце,— быстро ответил ей Яснев.— В «Манифесте» говорится о том, что реакционные силы старой Европы объединились для травли призрака, а в декларации написано о походе против СССР и стран демократии, об угрозах войны со стороны империалистов.

Обычно сдержанный и неторопливый в словах, Яснев на этот раз говорил оживленно, с видимым увлечением, точно обычные колхозные дела и беседы считал не стоившими треволнений и наконец дождался настоящего разговора, в котором мог проявить себя и блеснуть скрытыми талантами и возможностями.

Лене вспомнился его постоянный собеседник — старик Бортников, и она подумала: «Вот кто был бы доволен этим вечером! Любил старик поговорить на политические темы». Об Алеше она не забывала ни на минуту, но думать о том, что и он мог бы быть здесь, было слишком больно.

С этого вечера она стала постоянной посетительницей политических занятий.

Неожиданно в кружке оказался еще один слушатель.

Однажды Петр рисовал в красном уголке заголовок для стенной газеты.

— Я вам не помешаю? — спросил он Валентину.

— Сиди.

Он уселся в сторонке и продолжал работу, думая о своем. Потом его внимание привлекли слова, сказанные Авдотьей:

— «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей, а приобрести он может весь мир».

Фраза эта показалась такой неожиданной в устах Авдотьи, так не вязалась с этой давно знакомой женщиной, вечно погруженной в заботы о своих коровах и свиньях, и была так красива, что Петр отложил карандаш и посмотрел на Авдотью. Взволнованное и торжественное выражение ее лица удивило его.

«Да Авдотья ли это? — невольно подумал Петр.— Словно в кино...»

Он стал внимательно слушать. От того что он слушал

ее рассказ не в обязательном порядке, а как бы «контрабандой», рассказ этот приобретал особую прелесть в глазах Петра. Он нередко и раньше посещал лекции, доклады и политзанятия, но все это было не то. Для озорной и беспокойной натуры Петра один тот факт, что, придя на занятие, обязательно надо было «высидеть» два часа, имел немалое значение. Всякий элемент обязательности расхолаживал его.

С этих занятий, на которые он попал как случайный и посторонний человек, он мог незаметно уйти в любую минуту — и именно поэтому он остался сидеть до конца.

Когда все закончилось, он шел домой и на ходу думал даже с некоторой обидой: «Так вот они что делают каждую неделю и никому ничего не говорят. В молчок». Ему даже стало досадно, что такое интересное и увлекательное дело сделали достоянием всего нескольких колхозников.

На следующей неделе в день занятий он постарался снова найти для себя работу в красном уголке и скоро взял это в обычай.

Валентина видела и учитывала своего вольнослушателя, но когда она пыталась вовлечь его в активную беседу, он хмурился и принимал равнодушный вид. Она решила предоставить его самому себе и только однажды с упреком сказала Василию:

— Сам ты коммунист, а братишка у тебя — даже не комсомолец. Как же это?

Василий поговорил с Петром. При разговоре Петр так сумрачно и непонятно молчал, что Василий с досады махнул рукой:

— И что ты за человек, не пойму я тебя!

А у Петра были свои причины для молчания. Он давно уже твердо знал, что дорога его пойдет через комсомол, но вступить в комсомол он мог только с чистой совестью. А совесть у него была нечиста.

Стоило ему только представить тот час, когда его будут принимать в комсомол, как он вспоминал лося:

«Они же будут меня принимать как хорошего, а я буду в ту минуту стоять и думать о лосе, и врать буду, и глаза прятать буду! Нет, ну его к богу, уж лучше так, без комсомола! Какой я ни на есть, такой и есть!»

Все давно забыли о странной лесной находке, и только Петр, по-прежнему мучительно вспоминая ночами о своем выстреле, переворачивался в постели и стискивал зубы. «Рассказать бы уж все, расплатиться за все и жить дальше как человеку!» — иногда думал он.

Будь жив Алеша, Петр все открыл бы ему, но Алеши не было, и вместо него в комсомоле верховодила Татьяна.

Рассказать о лосе девушке, по мнению Петра, было невозможно: девушка не смогла бы понять этого почти невольного выстрела.

Однажды вечером он сидел у Фроськи. Топилась печь. Фроська пряла, сидя на лавке. Ксенофонтовна, по обыкновению, ушла в гости. Был один из тех мирных вечеров, которые все чаще выдавались у Петра и Евфросиньи.

— Задумала я в комбайнерши идти,— говорила Фроська.— В звене ты мне не даешь развернуться, все встреваешь на дороге. И что это за работа — полоть да подкармливать! Какой интерес? Отсталость! То ли дело МТС! А на той неделе на собрании принимать меня будут в комсомол. Уж я такая: шалберничать — так шалберничать, а жить — так жить! Годы у меня уж такие, что надо и об жизни думать. Танюшка с Ксюшей уже в партию нацелились, а на много ли старше меня? А вот тебя я не пойму, Петро! Пить ты бросил, работаешь — любо-дорого, почему ты в комсомол не вступаешь? Или против что имеешь? Или мать не велит?

— Против я ничего не имею, а матери и спрашиваться не стал бы.

— Так что же ты? — С обычным для нее пониманием Петра она почувствовала, что у него неладно на душе, опустила веретено на колени и заглянула ему в лицо: — Так чего же, Петруня? А?

Когда она хотела, то умела быть такой ласковой и задушевной, что Петр обмякал и таял.

— Вот что, Фрося,— начал он,— скажу я тебе про одно дело. Лося-то... знаешь, что на болотине нашли... ведь его я убил.

— Батюшки! — охнула Фроська.— Петрунька! Да как же это ты?! — От жалости к нему и любопытства она выронила веретено и не нагнулась, чтобы поднять его.

— Да и сам не знаю как... И не думал я его убивать... А как он стал уходить, ну, не могу отпустить — и все! Удержать мне его хотелось... Уж так мне жалко его было, так жалко!

— Жалко? — Фроська морщила лоб от усилия понять состояние Петра и представить, как все случилось.

— У-ух!.. Чуть не взревел! Красивый, понимаешь, был! Ноги — как струночка, сам могучий, голову кверху держал, а рога по спине, по спине расстилаются. Ух!..— Оттого, что Петр вспомнил всю невозможную красоту зверя, нелепость случайного выстрела стала еще острее и мучительнее.— Ну, как с таким делом пойдешь в комсомол? — заключил он.— Я уж думал рассказать. Ну, судить будут, ну оштрафуют, хоть мучиться перестану... Ты что скажешь?

Она, не отрываясь, смотрела на него и быстро прикидывала в уме, что будет лучше для него и что было бы лучше для нее самой на его месте. Прикинув, она заговорила со свойственной ей решимостью:

— А ясно — рассказать! Присудить тебя не присудят, тем более что ты сам повинишься и все объяснишь, как было дело. А штраф на тебя наложат! Ну и что же? Выплатим! Ведь это же себе дороже — ходить да думать! Этакую тягу в себе носить! Шут с ним, со штрафом! Зато сразу гора с плеч! Авторитет свой ты не уронишь, поскольку сам повинишься. Напротив того, еще больше к тебе веры будет. Относительно штрафа — ну, в крайности шифоньер мой продадим, машинку тоже можно продать. Уж выручу я тебя, чтоб об этом тебе не думать!

Ей было от души жалко Петра. Как она привязалась к нему, она и сама не заметила. Она скучала, когда долго не видела его, делилась с ним всеми своими мыслями, но только сейчас, узнав, что над ним нависла беда, она сразу поняла, как он близок ей. Он уже был «свой», и, раз увидев это, она не закрывала на это глаза.

Она придвинулась к нему.

— Обойдется, Петруня! Все скажи, легче будет.

Петр повеселел оттого, что Фроська так хорошо поняла его и так верно посоветовала ему то, что он сам хотел, да не решался сделать. В одиночку он никак не мог набраться духу, а рядом с Фроськой все показалось ему гораздо проще. У Ефросиньи было удивительное качество: для нее все беды и неприятности были трын-трава и стекали с нее, как с гуся вода. Она умела смеяться при любых обстоятельствах, а рядом с ней и другим неприятности и тяготы казались легче.

Оттого, что она приняла его беду как свою и сразу, как о чем-то само собой разумеющемся, заговорила о продаже своих вещей для уплаты штрафа, он почувствовал благодарность к ней, и надежда взволновала его: «Любит — не любит? Пойдет за меня — не пойдет? Нет, не любит! Озорует — и все! И что это за девка, было б ей неладно! Ведь в ней и не разберешься никак!»

Долго они сидели рядом, обсуждая все подробности его признания.

А перед тем как идти домой, Петр набрался духу и выговорил те слова, которые он тоже давно мысленно повторял:

— Когда же мы с тобой поженимся-то, Фросюшка? Все одно ведь к этому придем, так чего тянуть?

Она посмотрела на него спокойным, суровым взглядом зрелой женщины:

— Ну, что ж... Хоть к Новому году и поженимся.

И впервые после давнего вечера в предбаннике Петр обнял ее тугие плечи.

3

«К ПОЛЕТУ ПРИГОТОВЬСЯ!»

Узнав, что на МТС организуется луговое отделение, Авдотья с облегчением сказала:

— Вот когда вздохнем!

Она чувствовала себя как человек, одетый в платье, из которого он давно вырос. Запланированный размах работ требовал большого количества рабочих рук, людей не хватало, и даже терпеливая Авдотья иной раз говорила:

— Как подумаешь о весне — хоть плакать впору! Кормовой севооборот введи, пастбище улучшай, пойму залуживай, зеленый конвейер организуй, лагерное содержание скота обеспечивай, а людей — раз два и обчелся.

Она собралась в МТС посмотреть новые машины и поговорить о работе.

— Не бережешься ты, мотаешься туда-сюда,— сумрачно говорил Василий.— Гляди, повредишь маленькому.

Мрачным его делала не столько тревога за маленького, сколько беспокойная мысль о возможной встрече Авдотьи со Степаном, который снова работал в МТС.

Авдотья безошибочно поняла его невысказанные опасения, посмотрела на него ласковым и твердым взглядом и ответила:

— Рано ли, поздно ли, придется съездить. Может, вместе поедем?

— Езжай уж одна, коли наладилась.

Она говорила с Василием спокойно, но в действительности сама боялась возможной встречи.

«Как встретимся, как разминемся? Какой он стал, Степа? Да нет, не встретимся, необязательно же нам встретиться! Я же в мастерские не пойду. Я же прямо в контору — и обратно. Не ехать нельзя. Столько дел обговорить надо!»

Она повязалась большим платком так, чтобы скрыть изменившуюся фигуру, и с попутной полуторатонкой отправилась на МТС.

По приезде быстро договорилась обо всем необходимом с Прохарченко и старшим агрономом Высоцким.

Степана нигде не было видно, никто о нем не вспоминал. Она осмелела и, выйдя во двор, спросила:

— Которые же тут луговые машины?

Замполит Рубанов, худощавый человек с кожаным протезом вместо руки, сам показал ей болотные плуги, канавокопательные машины, кусторезы, травосеялки. Она поглаживала и похлопывала их твердые бока так, как привыкла похлопывать коров и овец, и, улыбаясь, спрашивала:

— Кого же нам за все это целовать-обнимать?

— С пятилетним планом придется тебе целоваться!— улыбнулся Рубанов.

Все дела были уже сделаны. Пришло время ехать домой.

«Ну вот, все и обошлось. И не встретила я Степу»,— подумала Авдотья, и вдруг все словно опустело.

Примолкшая, разочарованная, шла она к выходу, когда впереди показалась узкоплечая, сухая фигура. Она узнала и эту фигуру, и твердый, ровный шаг, и узкое лицо и так побледнела, что Рубанов, как и все в районе, знавший историю Авдотьи и Степана, мгновенно исчез. Куда он исчез, она даже не заметила.

Она смотрела на приближавшегося Степана. Бежать ли укрыться между машинами, идти ли ему навстречу, стоять ли на месте? Она прислонилась к железному боку комбайна. Мартовская капель звенела вокруг нее. С крыши и карнизов свисало ледяное кружево, и то там, то здесь, сверкнув на солнце, пролетали быстрые капли; каждая из них в отдельности была мгновенна и незаметна, но все вместе они наполняли большой двор МТС серебром и звоном. Над головой Авдотьи с крыши свисала большая остроконечная сосулька, и капли, срываясь с нее, мерно падали вниз, туда, где то вырастали из снега и наледи, то вновь разрушались крохотные башни, стены и переходы.

Степан приближался, и она видела, как приминается подтаявший весенний снег под его ногами, как один за другим отпечатываются темные следы на утоптанной снеговой дорожке.

...Много лет пройдет с этого дня, но и через много лет первая мартовская капель, по непонятным законам памяти, будет вызывать в воображении Авдотьи узкоплечую фигуру Степана, словно врезанную в весеннее сияние, и будет Авдотья останавливаться на полуслове и забывать о тех, кто рядом, рванувшись душой к далекому.

Степан был близорук и узнал ее, только подойдя ближе. Она увидела, как дрогнуло и сразу окаменело его лицо. Он смотрел ей в зрачки, не моргая, не сводя с нее взгляда, и молча, как загипнотизированный, шел к ней.

Она испугалась, что он кинется к ней, что произойдет тяжелое, ненужное им обоим, прислонилась спиной к

комбайну и со страхом и нежностью смотрела на Степана.

Но он уже взял себя в руки и, подойдя, спокойно сказал своим глуховатым, тихим голосом:

— Здравствуй, Дуня.

— Здравствуй, Степа.

Он протянул ей руку. Крохотная льдинка, отколовшаяся от сосульки, упала на его ладонь. Авдотья подала ему руку и почувствовала тепло его кожи и холодок от капли весенней влаги.

— Луговые машины пришла посмотреть?

— Да, Степа.

— Добрые машины...

— Большой от них ожидаем помощи...

Они помолчали, потом он еще глуше спросил:

— Ну, как живешь, Дуня?

— Грешно мне жаловаться, Степа... А ты?

— Тоже ничего живу...

Они смотрели друг на друга не отрываясь. Они боялись моргнуть, чтобы не утратить ни одной секунды этой короткой встречи.

«Такой же! Все такой же!» — думала Авдотья.

«Похудела. Постарела. А все-таки та же!» — думал Степан.

— Где ты, Авдотья Тихоновна? Тебя дожидаемся! — крикнули ей попутчики с подводы.

По-прежнему не отрывая от Степана взгляда, она протянула ему руку:

— Ну, до свиданья, Степа... Зовут меня. Всего тебе наилучшего, Степа...

Он задержал ее ладонь.

«Не забыла? Не забудешь?» — спросил его взгляд.

«Не забыла. Не забуду. Такого не забывают», — твердо и честно ответили ее глаза.

Он понял ее, сильнее сжал ее пальцы, улыбнулся.

Степан не надеялся ни на что и не ждал ничего.

Когда он был ребенком, его родители то сходились, то вновь расходились, и он полностью испил горькую чашу изуродованного детства. Он жил то с отцом, то с матерью, тосковал то об одном, то о другом, нигде не чувствовал себя по-настоящему дома, был свидетелем и участником ссор и столкновений и всегда ощущал свою семью как некую стыдную болезнь, которую необходимо скрывать от посторонних. На впечатлительную его натуру бессемейное детство наложило неизгладимый отпечаток, и еще с той поры стали ему ненавистны те, кто ломает семью, не считаясь с детьми. Он принадлежал к тем цельным и требовательным натурам, которые не прощают себе ни малейшего отступления от своих убеждений. Вот почему,

когда вернулся Василий, отец Авдотьиных детей, Степан не пытался удержать Авдотью. Не от слабости и не от недостатка любви шло это, а от ясного понимания, что дорога к счастью с Авдотьей для него закрыта. И сейчас при встрече с Авдотьей он не допускал мысли о новом сближении, но ему нужно и важно было видеть, помнит ли она его. Несмотря на то что Авдотья была теперь женой другого, она все-таки оставалась «своей» для него. Он хотел увидеть и увидел, прочел в ее лице, в ее глазах, что не сможет она вырубить кусок жизни, прожитый с ним. Да и не захочет вырубить.

Они простились, и он долго смотрел ей вслед.

Задумчивая и молчаливая ехала Авдотья домой. Лошаденка с трудом волочила розвальни по оттаявшей дороге, и в такт неторопливому движению в памяти Авдотьи день за днем развертывалось прожитое.

Несмотря на то что Степан был одинок и выглядел болезненным, а Василий находился в расцвете сил и благополучия, в этот час Авдотья жалела Василия и с благодарностью думала о Степане. Она была благодарна ему за все пережитое вместе, за сдержанность только что минувшей встречи, за долгий прощальный взгляд. Всегда и во всем он поступал как надо, всегда училась она у него благородству, обдуманности и зрелости каждого поступка. Он казался ей взрослее, сильнее других.

Девочкой пришла она к Василию, но не он, а Степан разбудил в ней и разделил с ней подлинную юность, со всей полнотой любви и радости. «Это прошло, но оно было! Было!» — думала она и была счастлива этим сознанием.

В памяти ее вставало все пережитое со Степаном: длинные зимние вечера, вспугнутая куропатка близ реки, легкая звезда, упавшая с неба, счастье долгих спокойных дней.

«Оно было! Не судьба жить вместе, случается так, но не печалиться нам со Степаном надо о том, что оно прошло, а радоваться тому, что оно было! Может, от тех дней набрала я силу на всю жизнь. И Степа, как и я, найдет еще свою судьбу, найдет другое счастье, а меня не забудет».

Поляны сменялись поселками, одни мысли сменялись другими. Рослый темноголовый Василий вставал перед нею, и она подумала с внезапной жалостью к нему:

«Большой, сердитый на вид, а копни поглубже — сколько в нем еще от малого дитяти! Может, тем и дорог он мне, что в нем для меня — и суровый мужик, и малый

ребенок! И никого в жизни у него нет и не было, кроме меня! Степа сильнее. Степа без меня легче обойдется, чем Вася. Тревожится, верно, без меня дома, верно, покоя не знал, пока я ездила. Глупый! Куда я теперь от него? То все было, когда было; прошло, когда прошло. В памяти сберегу, из души не выброшу, а в жизни возврата нет!»

Василий встретил ее встревоженный. Он старался по лицу отгадать, видела ли она Степана, какие мысли разбудила в ней встреча, не угрожает ли снова опасность семейному благополучию. Авдотья показалась ему мягче, светлее, ласковее, чем обычно. Он был ее мужем, отцом ее детей, бесконечно родным и дорогим ей человеком, и ей хотелось успокоить его и как-то разделить с ним то богатство, ту душевную полноту, которую она носила в себе.

Ободренный ее ласковостью, Василий не удержался:

— Не видела там... Степана-то?

— Видела,— спокойно сказала она.— Луговые машины он мне показывал, Вася! Да что это ты тревожный какой? — Она погладила его по голове.— Не из-за чего ведь, Вася.— И, видя, что тревога его не проходит, она безошибочно нашла те слова, которые лучше других могли его успокоить: — Еду я в машине, а маленький как начнет толкаться! Видно, не по вкусу пришлась ему дорога. Не иначе, мальчик родится, Вася. Уж очень он нравный! По всем приметам выходит, что мальчик.

Василий слушал ее добрые слова, смотрел в ясные, правдивые глаза и постепенно успокаивался.

В этот день Валентина раньше обычного приехала домой. Давно перекипел суп и пересохли котлеты, а Андрея все еще не было. В ожидании мужа она прилегла на диван с книгой.

Он пришел поздно, сияющий, веселый, оживленный.

— Валька, дорогая,— заговорил он еще с порога,— какая удача! К нам приехали три новых агронома, и один из них местный житель, из вашего сельсовета. Молодой, энергичный парень — прекрасная замена для тебя! И какое счастливое совпадение: месяца через два уезжает Павличенко, агроном сельхозотдела. Освобождается место агронома в Угрене. Наконец-то мы будем вместе!

Она обрадовалась и растерялась.

— Это — счастье! Но... как же партийная организация, и работа с Алешиной сверхранней, и политзанятия?

— Партийной организацией сможет руководить Буянов, на политзанятия будешь ездить, а сверхранней займется новый агроном. Ты как будто не рада?

— Я страшно рада, но... как-то сразу!

— Валька, сейчас же нет необходимости оставаться тебе в Первомайском. Колхоз встал на ноги, партийная организация выросла, приехал молодой агроном. Чего же еще ждать? Будешь работать здесь, в Угрене. Меньше будешь уставать от разъездов. Мы сможем больше бывать вместе. Разве ты не рада?

— Конечно, рада. Но... Может быть, после посевной?.. Мне хочется...

Он заметил ее растерянность, засмеялся и сказал с шутливой жалобой:

— Валька, ведь я уже старый! Вот, посмотри!—Он нагнул голову и показал ей прядь волос с несколькими ниточками седины.—Видала? Я уже старик. Мне уже хочется, чтоб жена сидела рядом со мной и штопала мне носки, и скоро это будет. Скоро мы с тобой заживем как вполне нормальные домовитые старички! Будем сидеть дома, раскладывать пасьянс зимой и поливать георгины летом.

Он шутил и смеялся, но Валентина чувствовала внутреннюю тревогу и усталость, скрытую от взгляда постороннего наблюдателя. Лицо Андрея осунулось за последние месяцы, смех звучал напряженнее, чем обычно. От переутомления у него появились пульсирующие боли в затылке, и он то и дело тер затылок ладонью.

— Опять болит?—спросила Валентина.

— Опять взялся, чертов черепок!—выругался он.—А хворать, Валенька, сейчас мне нельзя! И отдыхать нельзя. Вот кончится посевная и уборочная—тогда хоть в десять санаториев сразу!

Он умолк, не захотел обедать и принялся ходить по комнате из угла в угол. Валентина не мешала мужу думать—она знала, что в такие минуты не надо тревожить его расспросами.

Андрею предстоял самый трудный год в его жизни. Памятен ему был прошлогодний разговор с секретарем обкома.

Андрей пошел к секретарю обкома после того, как в областном управлении решительно отказали в средствах на строительство показательной МТС. Секретарь вызвал начальника областного управления сельского хозяйства. Взъерошенный и обозленный Андрей, решивший хоть из-под земли достать деньги на показательную МТС, и уравновешенный, уверенный в себе начальник областного управления Алексеев сидели друг против друга.

— Ваши доводы?—Спокойный и внимательный взгляд секретаря устремился на Андрея.

— Мои доводы?

Андрей понимал, что от убедительности его доводов во многом зависит решение вопроса, и ответил с твердостью и спокойствием, противоречившими его красному лицу и сердито блестевшим глазам:

— Я считаю, что именно у нас в Угрене есть и необходимость и возможность создания и использования показательной МТС. Угренский район в течение десятков лет числится самым слабым в области. Самые слабые звенья требуют самого сильного укрепления. Этим я обосновываю необходимость в дополнительном и преимущественном субсидировании строительства, в организации показательной МТС именно у нас. Угренский район, несмотря на свое многолетнее отставание, в последние месяцы очень быстро идет вперед и по многим показателям обгоняет более сильные районы. Этим я обосновываю нашу возможность и способность создать такую МТС, нашу способность правильно ее использовать и на базе механизации поднять экономику района.

— Ваши доводы?—так же спокойно и серьезно обратился секретарь обкома к Алексееву.

— Средства на строительство распределены планово и равномерно по всем районам,—сказал Алексеев.— Неотложные нужды и специфические особенности есть у каждого из районов. Товарищ Стрельцов не умеет подходить к фактам с государственной точки зрения. Он не видит всей области в целом. Он заботится только о своем Угренском районе.

— Партия приказала мне заботиться об Угренском районе, и я выполняю ее приказание!—горячо перебил Андрей.—И нет ничего антигосударственного в том, чтобы самую большую помощь оказать самому слабому звену.

После получасового разговора секретарь обкома сказал:

— Подумаем. Посоветуемся. Завтра дадим ответ.

На следующий день Андрей уже один стоял в кабинете секретаря и слушал его негромкие слова:

— Будете строить показательную МТС. Мы верим в ваши возможности сделать ее действительно показательной. Но вам понятна та ответственность, которая ложится на вас? У вас будет лучшая, крупнейшая МТС в области; нам важно, чтобы за несколько лет, к тому времени, когда в других районах будут выстроены такие же МТС, в области уже был поучительный опыт работы, опыт умелого, правильного использования крупного узла меха-

низации сельского хозяйства. Значение той задачи, которую мы ставим перед вами, выходит за пределы района. Сумеете справиться с ней — беритесь, не находите в районе возможности для ее разрешения — говорите прямо.

— Сумеем,— подумав, ответил Андрей.

Вспоминая этот разговор, Андрей все ускорял шаги, пока сам не заметил этого: «Что же теперь бегать из угла в угол? Трудно? Да. Выполнимо? Да. Так надо же думать об этом, думать ясно, точно, конкретно. Надо сорганизовать мысли».

Трудности и мелочные неполадки были так многочисленны, что порой казалось — он завязнет в них, как увязают в болоте. Ему хотелось яснее представить себе будущее, но сотни нерешенных вопросов осаждали мозг, мысли шли вразброд.

«Половина тракторного парка требует полного обновления. Высоцкий подсчитал среднегодовое количество поломок и простоев за три года. Цифра невероятная! Вопрос с кадрами... Трактористами МТС укомплектована на семьдесят процентов, и те в большинстве молодые, неопытные. А МТС должна стать образцовой: у нее должно быть наименьшее по области количество простоев и поломок, наибольшая механизация полевых работ, наибольшая экономия горючего... Опять я бегаю по комнате. Распустил нервы. Что же кружиться по комнате? Хорошо, что Валентинка дома».

Он сел рядом с женой на диван.

— Заработался я, Валентинка! Надо нервы отрегулировать. Знаешь что? Возьмем лыжи и махнем на часок за Угрень!

И Валентина, ничем не выдав своего утомления, весело начала одеваться.

Через две недели Валентина сдала дела новому агроному и распрощалась с первомайцами. Ради знаменательного дня Андрей выслал за ней свою машину и сам обещал прийти домой к обеду.

Тяжело было расставаться с любимой работой, с людьми, с которыми она сроднилась, но радовало то, что новая работа давала возможность больше бывать дома и уделять больше внимания Андрею.

«Два месяца я буду сидеть дома, готовить ему обед, думать только о нем, заботиться только о нем и, главное, видеть его рядом днем и ночью!»

— В Угрене, значит, будете работать? Оно и лучше,— весело сказал шофер.— Работает человек, как машина, а

домой придет—жены дома нет! Жалко человека! Я шофер, я не секретарь, а я не согласился бы на такую жизнь. Я домой приеду—у меня в доме порядок, ко мне жена с подходом: «Ванечка, Ванечка!»

— Конечно, так лучше,—согласилась Валентина.— Заедем на минуточку в МТС, меня зачем-то вызывал Прохарченко.

МТС, как всегда, встала среди полей, неожиданная в их безмолвии, многолюдная, разноголосая.

Прохарченко встретил Валентину во дворе.

— Пойдем, пойдем, племянница,—таинственно сказал он Валентине.—Есть на что посмотреть! Пойдем, пойдем. пойдем...

— Да что такое, дядя? Куда вы меня ведете?

Прохарченко, не отвечая, шагал по двору. Он завел ее за мастерские, и там, под новым навесом, Валентина увидела пятнадцать новеньких, «с иголочки», тракторов. Они стояли как на параде, на равных интервалах друг от друга, и по одному этому видно было, как любовно их выстроили здесь. Все они были повернуты в сторону полей и, казалось, ждали только сигнала, чтобы двинуться.

— Сильно?—спросил Прохарченко.

— Красиво!—ответила Валентина.—Красиво же, дядечка!

— Пойдем!

— Я еще не нагляделась!

— Пойдем, пойдем, пойдем!

Он привел ее в слесарный цех.

Три новых сверлильных станка и новый гидропресс стояли по обеим сторонам широкого пролета.

— Не цех—картина!—сказал Прохарченко.—Нет, ты спроси меня: кто такой Прохарченко, директор МТС или директор завода? И я тебе честно скажу: «Я не знаю, кто я».—Широким жестом он указал на станки:— Металлургия!

Они прошли дальше—в механический цех. Группа людей, не то трактористов, не то рабочих, собралась у одного из станков.

— Здорово, металлурги!—сказал Прохарченко.—Об чем разговор?

— Со шкивками вентилятора не сориентируемся,— сказал механик.

У Валентины даже защекотало где-то в ладонях. Она не была специалистом в технике и поэтому особенно гордилась своими небогатыми техническими познаниями. Еще в студенческие годы на практике она присматривалась к тому, как реставрировали шкивки, и теперь ей было

лестно блеснуть своими познаниями и почувствовать себя нужным человеком в среде «металлургов».

— Я видела, как на Люблинской МТС реставрировали шкивки,— заявила она уверенно и стала рассказывать.

— Как, как?—обернулся к Валентине механик.

Она объяснила еще раз.

— Это мысль...—сказал один из рабочих.— Попробуем?

Валентине хотелось остаться и посмотреть, как будут осуществлять ее идею, но Прохарченко все тащил ее куда-то.

— Пойдем, пойдем. Хороши?—словно мимоходом, указал он на тракторы.

— Птицы!—сказала Валентина.— Говорят, что они неуклюжие, а на мой взгляд: только дай им знак— полетят!

Прохарченко весело подмигнул ей:

— Вот я и подаю команду: «К полету приготовиться!»

Валентина не поняла намека, таившегося в его словах.

Он привел ее в кабинет старшего агронома, усадил в кресло и сказал так, словно преподносил ей подарок:

— Ну вот, Валюшка, и сидеть тебе здесь!

— Как так?—не поняла Валентина.

— Утвердили нам должность агронома-семеновода. Подумали тут, пособразжали: лучше тебя кандидатуры нет. Хоть ты и молода, хоть ты мне и племянница, а прямо скажу: березовская косточка! Мы на тебя полагаемся, и молодость твоя нам не помеха! Мы к тебе за этот год присмотрелись и поручимся за тебя.

Валентина засмеялась нервным, испуганным смехом.

— Что вы, дядя? Так сразу...

Он не дал ей договорить:

— Ты видела, какая сила? Народ наш ты знаешь! Будем с тобой, племянница, выходить в передовые МТС. Не меньше двадцати центнеров урожая по МТС—вот цель!

Валентине хотелось прервать его: «Не надо, дядя, не сбивайте меня, не тревожьте. У меня все уже решено, обдумано»,— но Прохарченко не давал ей вымолвить ни слова. Он считал, что оказал ей честь и осчастливил ее приглашением работать в МТС, и никаких сомнений на этот счет у него не возникало. Он смотрел на нее глазами благодетеля и ожидал восторгов и благодарности. Валентина была в смятении. Взять в свои руки всю эту силу—десятки тракторов, сотни людей, тысячи гектаров земли! Работать с Прохарченко, а кто такой Прохарченко, она знала и была уверена в том, что рано или поздно, но его МТС будет образцовой. Все это было таким неожи-

данным, большим, что голова у нее кружилась и ей хотелось одновременно и хвататься за эту работу, и бежать от нее.

— Дядя...— кое-как выдавила она из себя.— Я хотела работать в Угрене...

— А что ты там будешь делать?

Она растерялась.

«В самом деле? Что я там буду делать? Здесь сотни тракторов и комбайнов. Какая сила! Что же я растерялась? Что же мне сказать? Как ответить?»

— Что ты там будешь делать?— настойчиво повторил Прохарченко.

— Я в сельхозотделе...— неопределенно сказала она.

— В сельхозотделе! Да ты погляди, какая у нас сила! Ты только погляди!

И снова она смотрела в окно, и от машин рябило у нее в глазах.

«Уходить скорее надо!— в отчаянии думала она.— Пропадаю. Ведь я же соглашусь! Ведь я же, дурочка, как пить дать, соглашусь, если просижу здесь еще пятнадцать минут! А как же Андрейка? Так все было хорошо и спокойно, решено и обдумано! Так все было чудесно. И зачем только я сюда заехала? Бежать надо скорее, пока я еще не согласилась!»

Она хотела встать, но в комнате появился старший механик:

— Валентина Алексеевна, похоже, что получается со шкивком. Погодите, не уходите. Я хочу вам показать.

Она разговорилась с механиком, за это время Прохарченко куда-то исчез, а в комнату вошли несколько трактористов, Высоцкий и знакомый Валентине председатель одного из ближних колхозов.

— На каком это основании Белавину работать на новом, а мне на старом?— говорил агроному невысокий худенький тракторист.— Мы с ним в одно время одинаковые получили ХТЗ, он свой до утиля довел, а я свой уберег, так его на новый пересаживают, а мне на старом работать! Чем он передо мной взял, криком взял?

— А ты думаешь— все тебе да тебе!— возразил хорошо известный Валентине тракторист Белавин.— Думаешь, в газете про тебя написали, так теперь на тебя богу молиться? Зазнаешься! Не одному тебе новые тракторы!

— Это Белавину-то новый трактор?— вскипела Валентина. Ее раздражение на сложность и неопределенность своего положения и на самое себя искало выхода. Она вплотную подошла к Белавину.— Это ему-то новый трактор? У него подшипники на каждом гоне плавятся. Да что там подшипники! Ему горючее и смазочное лень профиль-

тровать. А видали, что у него творится под отстойниками? — обратилась Валентина к агроному.— Не видели? А я видела! У него горючее лужами стекает под отстойники, а ему и повернуться лень! Я ему летом в борозде говорю: «Горючее же подтекает». А он мне отвечает: «Без тебя знаю». Он всему сельсовету известен как последний халтурщик. Как же бракоделу новый трактор доверить?

— Ну, ну, потише! — угрожающе сказал Валентине Белавин.

Но Валентина уже сорвалась и не могла остановиться. Волосы выбились ей на глаза, и она не догадывалась спрятать их под шапочку, а только трясла головой и продолжала говорить:

— Людей, которые так, как Белавин, обращаются с машинами, судить надо, а не новые тракторы им доверять!

— Вот, вот,— одобрил Валентину председатель колхоза,— а МТС за нашим колхозом этого Белавина закрепила. Я прошу: «Дайте нам Огородникову или Киселева».— «Они, говорят, к вам нейдут». Как это нейдут? А где в МТС дисциплина?

— Ну и вы тоже хороши! — накинулась Валентина на председателя.— Правильно делают трактористы, что к вам не идут. Летом случайно попала я к вам в колхоз. Вхожу в избу, смотрю — из-под стола ноги торчат. «Чьи это ноги?» — спрашиваю. «А это, говорят, трактористовы ноги. Это, говорят, тракторист из ночной смены под столом отдыхает». Это называется «отдыхает»! Поставили вы трактористов на постой в избе, где повернуться негде, ни постелью не обеспечили, ни питанием. Я к вам пошла, а вы пьяный лежите с ногами на кровати. Помните вы этот факт или забыли? Хотела я вас за ноги да под стол, а тракториста на ваше место, да руки у меня не дошли!

— Воюешь, Валентина Алексеевна? — услышала Валентина веселый голос Прохарченко.— Всем достается? Пойдем поглядеть, как шкивок реставрируют по твоему рецепту.

«Что я раскричалась? Баба бабой! — спохватилась Валентина.— Какое мне, в конце концов, до всего этого дело? И разве с крика начинают работу на новом месте?.. А разве я собираюсь начинать? Я же совсем не собираюсь! Что же мне делать? Ничего не понимаю».

Но ей не дали размышлять.

— Рад вас видеть, Валентина Алексеевна,— говорил старший агроном.— Садитесь же, что вы стоите!

Она села на стул против агронома и сразу почувствовала себя ученицей. Она была еще школьницей, когда агроном Вениамин Иванович Высоцкий уже пользовался в районе широкой и доброй славой. В Угрене стоял его дом,

окруженный удивительным садом, в котором росли невиданные в Угрене сливы, и многоцветные георгины, и странные, маленькие, желтые, похожие на виноград помидоры. Валентина вместе с другими угренскими ребятами иногда забиралась на забор, чтобы полюбоваться невиданными сокровищами, и случалось, что агроном вел ребятишек к себе, угощал сливами и помидорами. Тогда он был такой же корректный, неизменно спокойный, с ласковыми усталыми глазами и с седыми висками. В детстве он казался Валентине мудрецом и волшебником, и след от детского благоговения перед ним все еще сохранился в ее душе.

«Все такой же,— думала она.— Лет двадцать прошло с той поры, а он почти не изменился: и те же седины, и тот же бобрик на голове, и даже галстук такой же — синий в полоску. Могла ли я думать, когда лазила к нему на забор, что мне придется работать с ним? Ох! Но я же не буду, не буду здесь работать!»

— Вы помните, как я к вам на забор лазила и как вы меня кормили сливами? — сказала она.

— Помню, помню. Верткая такая была, с исцарапанными ногами.

— Я вашей жены боялась: она мне ноги мазала йодом, мне щипало. А вас я любила.

— Приятно слышать! — сказал Высоцкий.— Видите, с каких хороших слов мы начинаем работать вместе!

Валентина чувствовала, что какая-то неодолимая сила затягивает ее, и пыталась сопротивляться.

— Я никак не смогу работать в МТС...— начала она, но ее перебил председатель колхоза:

— Так как же с культивацией и боронованием, Вениамин Иванович?

— Давайте, Валентина Алексеевна, посмотрим наши планы вместе. В связи с прибытием новых тракторов мы пересматриваем планы.

Он уловил ее протестующий жест, но настойчиво продолжал:

— Нет, нет, безотносительно к тому, где вы будете работать. Просто посоветуемся, как два агронома.

Он ознакомил Валентину с планами:

— В южной, безлесной, части нашего района земля созревает раньше, в северной, лесистой,— позже. Учитывая это, я разработал своего рода тактику переброски больших тракторных соединений, если так можно выразиться.— Легкая улыбка придала шутливый оттенок его словам.— В первые весенние дни основная масса тракторов работает в самой южной части района, потом происходит последовательное перемещение к северу. Эта разрабо-

танная мною узловая система создаст большие удобства и для агрономического надзора, и для ремонтно-технической помощи. Вот примерный маршрут перемещения основной нашей силы.

Он протянул Валентине лист ватмана с четко выведенной линией маршрута. Он, видимо, гордился им, а Валентина представила себе движение десятков тракторов с юга района на север и поняла его гордость.

— Это и в самом деле красиво, Вениамин Иванович!

Ему, видимо, было приятно то, что она поняла его, он улыбнулся, и на его впалых щеках образовались две крупные складки.

Покончив с планами, он сказал:

— Сейчас я вам покажу интереснейший материал.— С торопливостью, не похожей на его обычную сдержанность, он полез в стол и извлек оттуда две синие, аккуратно завязанные папки.— Это анализ работы нашей МТС за последние три года. Не преувеличивая, скажу, что такого анализа вы не найдете ни на какой другой МТС!

Шелестели листы глянцевитой бумаги, плыли перед глазами столбы цифр, и Валентина поражалась тщательности кропотливого анализа, его логичности и последовательности.

— Цифры простоев и анализ этих цифр,— говорил Высоцкий.— Простои по вине МТС и по вине колхозов. Анализ качества различных марок тракторов на основании простоев. Простои из-за поломок материальной группы и расплавки подшипников.

Высоцкий увлекся, улыбался, хмурился, шевелил бровями так, что начинал двигаться седой ежик волос на голове. Валентина с детства помнила его привычку: увлекшись, хмуриться и усиленно шевелить бровями,— и сейчас эта привычка почему-то казалась ей необыкновенно привлекательной. Нравилась ей также и его улыбка— широкая и неумелая улыбка редко улыбающегося человека. Видно было, что листы эти — его любимое детище и он рад случаю поговорить о нем.

— Видите, Валентина Алексеевна, на основании одних этих цифр можно сделать весьма убедительные, математически обоснованные выводы о качестве различных тракторов, о слабых и уязвимых узлах каждой марки, а также и преимуществах того или иного метода организации ремонтных работ.

— Интересно, основная масса простоев идет за счет определенной группы трактористов или у всех простои примерно одинаковые?

— Для этого не требуется математических выкла-

док,— улыбнулся Высоцкий.— Мы же все знаем, что у нас есть плохие и есть хорошие трактористы.

Валентина долго и с увлечением разбиралась в материалах Высоцкого, потом механик повел ее смотреть на реставрацию новых шкивков, потом она говорила с трактористами, и все уже обращались с ней как со своим человеком.

Уехала она с МТС только тогда, когда шофер умоляющим тоном сказал ей:

— Валентина Алексеевна, ведь мне к трем заказано дома быть, исполкому нужна машина, а теперь пятый час!

— Значит, через два дня оформляешься?—сказал ей Прохарченко так, как будто дело было решено.

— Без меня меня женили. Что ж я теперь Андрейке скажу?—жалобно ответила Валентина, однако глаза ее, не отрываясь, смотрели на строгие ряды тракторов, выстроившихся под навесом.

Машина тронулась.

— Скоро пять часов!—упрекнул ее шофер.— Ругать же меня будет Андрей Петрович! Он вас к обеду ждал.

«Что скажет Андрейка?—горестно думала Валентина.— И зачем я заехала на эту МТС! Интересный анализ сделал Вениамин Иванович. Надо подумать над ним... Как у них получится второй шкивок? С первым у них не ладилось!.. А какое мне дело до всего этого?»

Андрей встретил ее дома.

— Ну вот, Валька, теперь ты два месяца будешь сидеть дома и нянчить твоего заброшенного мужа.

Она не знала, с чего начать разговор.

«Как его огорчить? Есть не могу. Кусок нейдет в горло. Начну просто разговаривать о МТС».

— Ты знаешь, Андрейчик,— сказала она преувеличенно легкомысленным тоном,— я задержалась в МТС. Какая это силища! И как там интересно! Правда, интересно?

— Еще бы!—от души согласился Андрей.

— Вот... я и говорю... Ты знаешь... агроном, оторванный от МТС,— это уже не то... это уже что-то такое... устарелое... отживающая категория...

— Это ты хватила через край!

— Я думаю, Прохарченко через год-два выведет свою МТС в передовые.

— Кто же в этом сомневается! Прохарченко через год-два станет героем!

— Станет, если у него будут дельные помощники.

— Штаты им утвердили. Подберет себе помощников.

— Андрейчик, вот и я решила стать одним из этих помощников.

— Ты?!

— Да. Ты только не огорчайся!..

Он положил ложку и сразу сделался серьезен.

— Валя, но ведь это значит опять с утра до позднего вечера...

Они забыли о еде. Валентина подошла к Андрею, обняла его за плечи, присела на ручку его кресла. Он не ответил на ее ласку, отстранился, и впервые в жизни она увидела его раздраженным.

— Ты знаешь, Валя, я не мещанин и не обыватель. Когда это было необходимо, я целиком согласился с твоим решением работать в колхозе. Но сейчас? Кому это необходимо сейчас? МТС? Мы найдем для МТС хороших агрономов! Сейчас нам есть из кого выбрать. Для чего же сейчас это нужно?

— Это нужно для меня.

— Для тебя?

— Да.

— Зачем?

— Затем, что это как раз та работа, которая мне по душе. Около ста машин! Крупнейшая МТС в области. Такой директор, как Прохарченко. Такой старший агроном, как Высоцкий. Они же мне, молодому агроному, честь оказывают, приглашая меня. А какие там мастерские! Какие станки!

— Ты думаешь о станках... Но ты совсем не хочешь думать о муже! Валя, ведь я человек...

— Конечно...

Он освободился из ее рук, пошел в другой конец комнаты и стал тщательно застегивать пуговицы на пиджаке. По этому жесту она поняла, что он взволнован. Когда он волновался, то молчал, застегивал пуговицы и начинал медленно, тщательно причесываться.

«Сейчас вытащит гребенку из пиджака»,— с жалостью и любовной насмешкой подумала она. Он действительно вынул маленькую зеленую расческу и принялся старательно расчесывать кудри.

— Валя,— сказал он, кончив причесываться,— мне иногда кажется, что ты не любишь меня. Нет, не любишь,— это, конечно, глупости, но мало любишь. Я понимаю твое стремление работать на самом ответственном участке и сделать как можно больше... Но... надо же подумать и обо мне! Мне не хватает твоей заботы! Есть все возможности устроиться так, чтобы ты работала рядом с домом, и вовремя приходила домой, и больше бывала дома! У меня такая потребность в тебе, в твоем внимании, в твоем постоянном присутствии. Как ты хочешь, а у меня такое впечатление, что ты сейчас эгоистична и не думаешь обо мне. Да. Ты эгоистична. Да. Мне предстоит

трудный и решающий год. Может быть, самый трудный и решающий в моей жизни. В этом году я или должен вывести район в число хороших, или... или я не сдержу слово коммуниста. Имею я право хотя бы в это особо трудное для меня время иметь жену рядом с собой?

— Андрейка, ты говоришь как настоящий обыватель!

— Ну, вот,— сказал он обиженно.— Договорились! Спасибо! Заработал!

Она увидела, как дрогнули его щеки, брови и напряжение почувствовалось где-то у висков, в углах бровей, глаз. Он прошел в кабинет. Через минуту Валентина вошла к нему. Он стоял спиной к ней у стола и рылся в бумагах. Вся его фигура и даже хохолок на макушке имели обиженное выражение. Она посмотрела на него с нежным превосходством женщины.

«Какие они все-таки дети, даже самые умные из них!..»

Она снова обняла его за плечи.

— Дорогой мой, ведь это же совсем близко. Я буду все вечера проводить дома.

— Годовой опыт показал нам, как ты все вечера проводила дома!

— Годовой опыт показал нам, как мы были счастливы.

Слова тронули его, но он не ответил на ее ласку.

— Андрейчик, там же будет такой размах и масштаб работы, какой мне еще не снился. Мне же интересно!

— Тебя интересует все, кроме дома, кроме мужа!

Он упрямился, и Валентина тоже начала сердиться.

— Я вижу, тебе опять хочется засадить меня в свой карман.

— А я и не скрываю — хочется! — сердито сказал Андрей.

— Просто не верится, что это говорит секретарь райкома!

— А что, по-твоему, секретарь райкома не человек?!

Он не смотрел на нее и шевелил плечами, словно пытаясь сбросить ее руку.

— А что, по-твоему, я не человек?! — возмутилась Валентина.— Может быть, мне тоже совсем не нравится то, что у меня муж — секретарь райкома! Может быть, я тоже хочу, чтобы ты тихо-спокойно работал где-нибудь до половины пятого и весь вечер сидел рядом со мной на диване! Я же не называю тебя эгоистом за то, что ты этого не делаешь!

Андрей решительно отвел Валентинины руки и прошел в спальню. Валентина, сидя на ручке кресла, смотрела ему вслед. Он выглядел утомленным и шел несвойственной ему, усталой, шаркающей походкой. Она впервые в жизни

увидела и в этой походке, и во всей его фигуре сходство со своим свекром и впервые подумала, что молодость — не такое неотъемлемое качество Андрея, как ей казалось, и что придет такое время, когда ее муж перестанет удивлять окружающих своим мальчишеским видом. Ей стало жаль его, и она прошла за ним в спальню. Он лежал на диване, полузакрыв глаза. Его обида на нее не проходила. Из-под опущенных век он смотрел на Валентину.

«Ходит. Подошла к этажерке, собирается читать. И не думает о том, что сделала мне больно. Думает о своей работе, о МТС, но не обо мне. У нее своя жизнь...»

Валентина никогда не была поглощена целиком семьей, у нее всегда был свой самостоятельный мир. Андрей знал это, и постоянное соседство этого кипучего и веселого мира Валентины обычно казалось ему освежающим, но сегодня оно огорчило его.

«Бывают женщины, способные до конца раствориться в близком человеке, слиться с ним. Валька все-таки живет «сама по себе». Но что же мне делать, если я люблю ее? Люблю, быть может, именно за это. И ничего, брат, с этим не поделаешь. Люблю. А помощи больше не попрошу. Хватит одного такого разговора, как сегодня, хватит», — упрямо повторял он про себя, лежа на диване.

«Опять затылок разболелся. Попросить Валю разыскать в шкафу пирамидон? Я сам скорее найду, и не к чему демонстрировать ей свои болезни. Еще подумает, что хочу ее разжалобить».

Он встал, принял пирамидон и бодро сказал Валентине:

— Валентинка, отправляйся в кабинет со своими книгами, я хочу на часок уснуть.

4

«МЕТАЛЛИСТЫ»

Валентина прихворнула и около недели провела дома. Андрей почти все время был в разъездах, они виделись мало, при встречах сохраняли обычный дружеский и веселый тон, но утратилась общность мыслей и чувств, превращавшая их в одно целое. «Как будто все хорошо: и шутим, и смеемся, и любим друг друга по-прежнему, — а чего-то не стало», — думала Валентина.

Однажды она проснулась среди ночи. Постель Андрея была пуста. В кухне горел свет, и оттуда доносились непонятные звуки. Валентина впопыхах не нашла халата, накинула на плечи простыню и босиком побежала в кухню. Андрей в ночной рубашке, в брюках-галифе и в калошах на босу ногу сердито накачивал старый примус.

— Что с тобой, Андрейка? Ты захворал? Ты болен?

Он продолжал возиться с примусом и не взглянул на нее.

— Не спится. Буду работать. Хочу чаю, а плитка испортилась.

Валентина растерянно смотрела на мужа, переступая озябшими ногами по холодному полу.

На его сильной шее явственно выступали тяжи мышц, и между ними лежали синие тени. Лицо, обычно веселое и розовое, теперь было хмурым и приняло свинцовый оттенок. Скулы обострились.

— Почему ты не разбудил меня?—Голос у нее был тонкий и жалостный.—Дай я приготовлю тебе чай! Я же это сделаю лучше, чем ты! Дай я помогу тебе!

— Иди спи!

Он упорно не смотрел на нее. Ей стало обидно и тревожно.

— Почему ты не хочешь, чтобы я тебе помогла?

— Валька, знаешь, я просил тебя по-настоящему помочь мне. Ты не захотела... А чай я и сам вскипячу...

Он еще яростнее принялся накачивать примус. От резкого движения качнулся чайник, вода пролилась на горелку, огонь погас, смрадный столб поднялся в воздух. Потом стала разбрызгиваться тонкая керосиновая струя. Андрей молча и сосредоточенно чиркал ломавшимися спичками.

«Хоть бы выругался!—подумал Валентина.—Что же это? Мы всерьез поссорились?—Она села на табуретку и поджала озябшие ноги.—У него, оказывается, все-таки скверный характер. Разобиделся. И не смотрит на меня... А шея у него стала худенькая и походка какая-то шаркающая. Только завитки на шее Андрейкины. Что же это? Но я не хочу, ни за что не хочу с ним ссориться!»

— Ну ее к черту, эту работу в МТС!—сказала она решительно.—Ты стал такой худенький, синенький, вихрастенький... Андрейка, я возьму себе какую-нибудь маленькую работу в Угрене и буду ухаживать за тобой!

Он взглянул на нее искоса, увидел ее неподдельное огорчение, сразу повеселел, уселся с ней рядом и взял ее за руку.

— Валька, только этот год, один этот! Ты помнишь, вскоре после того как я принял район, я сказал в обкоме: «Помогите создать образцовую МТС—и я подниму район!» Мне помогли. МТС создана! Теперь нужно превратить ее в рычаг, который поднимет всю экономику района. Сумеем ли мы это сделать? Как этого добиться? Трудностей куча! Ведь я спать разучился: лягу, а в мозгу эта мысль бьется и бьется!

Он говорил горячо и торопливо. Казалось, слова давно накопились в нем и искали выхода. Валентина смотрела на его похудевшее лицо, на босые ноги в калошах, слушала его и старалась вникнуть не только в слова, но в то, что стояло за ними.

— Было тридцать машин — к весне станет больше ста! Это же — количество, которое должно перейти в новое качество! Мы должны овладеть этим качеством. Ты знаешь, ни на фронте, ни в партизанском отряде, мне кажется, еще не было так трудно. Кадров не хватает, большинство машин до невозможности изношенные. Район всегда, в течение десятилетия, был самым слабым в области. Как сделать его передовым?

Ночью в холодной кухне, полураздетые, они разговаривали до тех пор, пока не закоченели и пока их не осенила счастливая идея продолжить разговор в спальне.

Выговорившись, Андрей успокоился и уснул. Впервые за эту неделю он спал, уткнувшись лицом в плечо жены. Валентина не засыпала, встревоженная его горячими словами и небывалой у него нервозностью.

Она боялась пошевелиться, чтобы не нарушить его сна. Ей хотелось просить у него прощения.

На следующий день она с особым рвением помогала домашней работнице стряпать обед. Она готовила любимые блюда Андрея и старательно припоминала рецепт чудодейственной гурьевской каши, которую в госпитале давали самым слабым больным. «Мед, молоко, манная крупа, сок алоэ и еще что-такое... диетическое... да, яйца! Значит, сюда войдут витамины и глюкоза...— соображала она.— Надо раздобыть для него в больнице хорошие порошки от головной боли. Только бы Андрейка не слег и не расхворался в самое горячее время! Какой он был ночью... Худой, бледный. Я еще не видела его таким».

После тревожной ночи воображение ее так разыгралось, что, когда Андрей появился на пороге, она удивилась: он отнюдь не походил на человека, который вот-вот расхворается и сляжет. Розовощекий, веселый, энергичный, он быстро вошел в комнату, с полным недоумением посмотрел на гурьевскую кашу, неосторожным движением смахнул со стола порошки от головной боли и, не поднимая их, принялся рассказывать:

— Слышала бы ты, Валька, какая сейчас у меня была баталия! Высоцкий принес пространную докладную: утверждает, что план работы МТС, составленный Прохарченко и Рубановым, завышен и нереален. Прохарченко стоит на своем. Спорили у меня в кабинете до хрипоты!

— Почему же ты такой веселый, будто рад этому?

— Рад? Нет. Это не то слово. Но ты знаешь... Как это

тебе объяснить?.. Точно где-то у меня у самого была какая-то неуверенность, была до той минуты, пока я не наткнулся на сопротивление. Ты понимаешь, когда Высоцкий начал высказывать один довод за другим, у меня все сразу прояснилось, сразу определился план действий... Нет, он помог, помог мне, сам того не желая. Чем помог — не могу определить, не понимаю, но помог.

Валентина поняла Андрея лучше его самого. У него была натура борца, и, едва натолкнувшись на активное сопротивление, он забыл усталость, забыл болезнь, забыл тревогу — снова был здоров, бодр, счастлив, уверен в себе. Он с увлечением рассказывал о споре Высоцкого и Прохарченко, а Валентина, покоренная его мгновенным преображением, с трудом сдерживала желание встать из-за стола, обнять его, говорить ему о чувствах, которые он будил в ней и о которых сам нимало не помышлял в эту минуту.

— Не размахивай так вилкой, Андрейка, ты забрызгаешь скатерть,— приглушенным от сдержанной ласки голосом сказала она,— и объясни мне: что же ты теперь думаешь делать?

Он прищурился. Знакомое Валентине веселое и жесткое выражение появилось на его лице.

— Будем обсуждать на партактиве. Дам ему выступить перед широкой аудиторией.

— Но зачем же? — забеспокоилась она.— Он авторитетный человек и прекрасный оратор. Объясни: зачем предоставлять ему трибуну для пропаганды ошибочного взгляда? Это же неразумно, это просто нелепо!

— Ого! — сказал Андрей. Он поднял брови и сбоку с веселой насмешкой посмотрел на жену.

— Что «ого»? Объясни мне, для чего тебе понадобилось его выступление? Почему ты не хочешь объяснить?

Решительным жестом он притянул ее к себе и засмеялся ей в самое лицо:

— А зачем я тебе буду объяснять? Ты же у меня умница, ты же все раньше меня понимаешь.

Как Валентина ни настаивала, она не смогла добиться от него ни одного серьезного слова. Он подзадоривал ее, дразнил и отшучивался. Он снова ходил своей спорой, пружинистой походкой, смеялся, был в том бодром и деятельном состоянии, которое она особенно любила в нем.

Собрание партактива состоялось через два дня. Андрей решил созвать его не в райкоме, а в МТС.

Валентина пришла за несколько часов до собрания: ей хотелось посидеть над планами, поговорить с людьми. Ей

было трудно встретиться с Высоцким. Ее многолетнее привычное уважение к нему давно стало дорогим и необходимым. Теперь Высоцкий шел против Андрея, Прохарченко, замполита. Валентина была уверена, что эти люди не могут ошибиться. Но и Высоцкому она тоже верила. Она ожидала тягостной встречи с ним, но все обошлось без малейшей неловкости. Он, видимо, обрадовался ей, провел в свой маленький кабинет, усадил в кожаное кресло и отрывисто заговорил:

— Хорошо, что вы пришли до собрания. Я хочу, чтобы вы ознакомились подробнее с моими материалами. Я очень уважаю и люблю Андрея Петровича, но он слишком азартен. Он привык к работе в других условиях. Он не знает наших мест! Угрень — не Кубань! Леса — не степи!

Худощавое лицо Высоцкого было таким темным, словно загар навсегда въелся в его кожу. Суровые, косматые, не то седеющие, не то выгоревшие брови, казалось, нужны были специально для того, чтобы как-то уравновесить слишком добрый и мечтательный взгляд. Лет двадцать назад Высоцкий преподавал естественные науки в школе, в которой училась Валентина. С тех пор она помнила его привычку сердито сводить брови над смеющимися глазами, когда он считал нужным приструнить ребят. Валентина любила своего старого учителя, но она любила и Андрея и Прохарченко.

— Кубанский степной чернозем — и угренские лесные оподзоленные суглинки! — видимо страдая, морщась, как от боли, говорил Высоцкий. — Кубанское длинное, теплое лето — и наше северное ненастье! Разве можно механически перенести кубанские методы работы к нам в Угрень? Я знаю каждую кочку на наших болотах, я помню каждую грозу, разразившуюся над Угренем за последние тридцать лет! Я вижу, что мы идем к ошибке! Ошибка наша может тяжело сказаться на хозяйстве всего района, на благосостоянии тысяч людей... Если б не это, разве стал бы я так спорить, ссориться, писать докладные и лезть на рожон? Вот вам мои материалы. Я ухожу, а вы оставайтесь здесь. Читайте. Вы агроном и местный человек, это поможет вам разобраться.

Валентина погрузилась в чтение. Перед ней была целая книга — обширный и кропотливый труд, отражавший работу МТС за три года. С удивительной тщательностью выводились графики помесячного выполнения планов, расходов горючего. Подсчитаны были и часы простоев, часы, затраченные на ремонт тех или иных узлов. Зафиксированы были все особенности метеорологических условий за три года. Так тщательно и любовно, не жалея

труда и времени, все подсчитать и все взвесить мог только человек, по-настоящему заинтересованный в своем деле.

Обстоятельность работы невольно вызывала уважение. Валентина бережно держала в руках глянцевитые листы бумаги с аккуратными столбиками цифр. Около двух часов просидела она в одиночестве в маленьком кабинете агронома. Чем ближе к концу подходила рукопись, тем тягостнее становилась тревога Валентины.

Таблицы, графики и цифры со всей беспощадностью обнажали неприглядную картину. Изношенные машины, явно недостаточное количество трактористов, холодные и дождливые весны, ранние и дождливые осени, требовавшие максимального сжатия сроков полевых работ,— все было запечатлено и сконцентрировано в глянцевитых листах.

Трудности, которые в процессе работы могли показаться случайными, теперь, после тщательной систематизации, выглядели закономерными и угрожающими.

«На это нельзя закрывать глаза. От этого нельзя отмахиваться,— думала Валентина и заново перечитывала уже прочтенные листы.— Как же Андрей? Он не вчитался? Не вдумался?»

Она чувствовала, что цифры загипнотизировали ее, встала, отошла от стола и уселась на подоконник.

«Это все серьезнее, чем мне самой казалось».

Из окна Валентина видела большой двор МТС, машины, стоящие под навесом, веселую суету людей. Зрелище понемногу отвлекло и рассеяло ее. Настя Огородникова деловитой походкой прошла в мастерские.

«Но ведь она есть, Настя Огородникова! — подумала Валентина.— Почему же она никак не отражена в его цифрах? Есть целые бригады, перевыполнявшие нормы, есть новенькие комбайны и тракторы, которые все прошлое лето работали без аварий. Они есть в МТС, почему же их нет в его анализе? Почему там все спрятано за средними цифрами? Если их спрятать, если о них забыть, то действительно все может показаться мрачным. А если о них помнить, если всякую мысль и всякое стремление вести от них?..»

Что-то ограниченное и немощное вдруг представилось ей в столбцах цифр, так любовно и терпеливо выписанных в глянцевитых страницах, так аккуратно подшитых и уложенных в красивую папку. В них крылась ошибка, неясная на первый взгляд, но обесценивающая большой и кропотливый труд. Со смутным сожалением подумала она и о самом Высоцком.

Для собрания освободили и подготовили большой, вмещавший до пятидесяти машин демонтажно-монтажный цех.

Еще не затоптанный торцовый пол, свежевыбеленные стены, новые, только что выстроганные стеллажи и верстаки вдоль стен — все было «с иголочки», все блестело в дымчатых солнечных потоках, лившихся из больших окон. Слова и шаги раздавались гулко, как в горах, лесной запах свежей древесины смешивался с запахом металла, на золотистой поверхности стеллажей детали машин мерцали сталью и никелем.

Середину цеха занимали скамьи, а по бокам почетной охраной стояло несколько тракторов. Около маленькой самодельной трибуны возвышался комбайн, выкрашенный в кирпично-красный цвет. Созданная для движения под открытым небом машина казалась особенно тяжелой и массивной под крышей цеха, по соседству со скамьями и столами.

— Хоромы! — сказал Угаров, осмотрев цех.— Это что же? — И он кивнул на комбайн.— Тоже вроде в президиум выбран?

— Наш главный докладчик! — улыбнулся замполит Рубанов.

Жилистый, со смуглым и подвижным лицом южанина, он, казалось, появлялся в нескольких местах сразу.

Донбасский сталевар, он после ранения приехал отдохнуть к родным в Угренский район, скоро соскучился отдыхать и, по его выражению, «пристрастился» к МТС. Назначение его замполитом пришло как-то само собой. С его легкой руки и распространилось в районе шутливое прозвище эмтээсовцев — «металлисты».

— Ну как, Костя? — коротко спросил его Андрей, желая узнать, какое впечатление производит на колхозников новая МТС.

Рубанов безошибочно понял смысл вопроса:

— Интересуются...

Цехи, тракторы, комбайны, станки, нефтебаза с серебристо-серыми цистернами — все интересовало приезжих.

Волновали и необычайность обстановки, и острота вопроса, который предстояло решить на собрании. Все знали о разногласиях между Высоцким и Прохарченко, у каждого из них были свои сторонники, всюду разгорались споры, образовывались человеческие круговороты.

Центром одного из таких круговоротов был Василий.

Его рослая фигура и звучный голос сразу привлекали внимание. Известная всему району история быстрого подъема Первомайского колхоза вызывала интерес и уважение к председателю этого колхоза, и люди тянулись

к Василию. Он знал о своем новом значении в районе и говорил осторожно, но в то же время уверенно:

— Прохарченко хочет все старые бригады переломать, перемешать старых трактористов с новыми. Это может и на пользу пойти, но может и на вред. Я на себя прикидываю. Я в свое время восемь лет проработал в одной бригаде. Если бы нас задумали разделить, мы бы до министра дошли. Сейчас в МТС есть хоть шесть сильных бригад, а переломать их — может и того не стать. В этом деле осторожность нужна. Старое поломать нетрудно, кутерьму развести недолго. А что из этого выйдет?

Недалеко от Василия остановился Степан с несколькими трактористами. Он стал еще худощавее и бледнее, чем раньше. Сознание собственного счастья, благополучия будило у Василия сожаление к побежденному сопернику и желание быть великодушным.

— Как твое мнение будет, Степан Никитич? — С дружеским превосходством спросил он.— Я говорю: было шесть сильных бригад, а поломать их — и того не будет.

Степан ответил негромко и как бы нехотя:

— Что шесть бригад? Всю старую работу поломать надо...

— Белавина с Огородниковой ничто не сравняет,— продолжал неторопливо размышлять вслух Василий.— Я сам был трактористом, я-то понимаю, что́ это значит — сто двадцать процентов к плану! Мне не каждый месяц это удавалось, а я в передовых ходил. Наобещаться да не выполнить — значит колхозы подвести. Знаем мы, как получается, когда один на другого кивает! Люди на МТС понадеются, не примут своих мер.

Степан молчал и смотрел на Василия каким-то боковым, затаенным взглядом. Он с необыкновенной отчетливостью улавливал каждую интонацию и каждый жест Василия. Ему и тяжело было видеть любое, хотя бы чисто внешнее, превосходство Василия над собой, и, кажется, еще тяжелее было бы убедиться в том, что у Авдотьи недостойный ее муж.

В рослом самоуверенном здоровяке Василии Степан видел счастливца, удачника, который даже не знает цены своему счастью. Степан весь внутренне сжимался, слушая его зычный, веселый голос. «Он стоит здесь, а Авдотья ждет его и встретит его на пороге вечером, и...» Он резко повернулся и пошел в противоположный конец цеха.

Василий заметил и болезненную судорогу, на миг исказившую лицо Степана, и его внезапный, похожий на бегство уход, но не стал думать об этом, ни на миг не отвлекся от занимавшей его темы.

— Бывали и у меня стычки с Вениамином Ивановичем,— продолжал он,— в нашей злой работе чего не бывает? Однако прямо говорю: уважаю человека за то, что не любит пустого звона.

Василий всегда уважал Высоцкого за положительность и осторожность, а теперь уважал еще больше за то, как настойчиво и прямо агроном отстаивал свою точку зрения, наперекор всему районному руководству.

Мысли Василия разделяли многие. Споры разгорались в каждом углу, и все с интересом ждали той схватки, которая должна была разразиться на собрании.

В цех вошел Высоцкий. Он шел широкими, твердыми и тяжеловатыми шагами человека, привыкшего к длинным и утомительным переходам. Он сразу стал центром общего дружеского внимания и, отвечая на приветствия, думал: «Если я сам не сумею убедить и доказать, люди мне помогут!»

Валентина хотела подойти к нему, по душам поговорить перед собранием, но его окружили люди, и она осталась сидеть в стороне. Сквозь общий шум до нее долетал веселый голос мужа.

Андрей, как всегда в трудные моменты, был в деятельном и счастливом состоянии. Он разговаривал, шутил, смеялся и внимательно вслушивался в звучащие вокруг него разговоры, присматривался к настроению людей, и все это не мешало ему думать, а, наоборот, придавало мыслям стремительность и четкость.

«Высоцкий взволнован и непоколебим. Он окружен людьми. Он не одинок в своем заблуждении. Что ж, будь иначе, собрание не имело бы смысла. Там, где есть ломка, там всегда будет и сопротивление. Это же диалектика!»

Он видел рослую фигуру Василия, слышал его слова и с особым вниманием следил за ним. Он не успел поговорить с Василием до собрания, но знал и его недоверчивость ко всему непроверенному, неиспытанному, знал и его способность, раз перешагнув через эту недоверчивость, взяться за новое дело со свойственным ему размахом и темпераментом.

«Если дойдет до него, если поймет, если загорится — первой опорой станет во всех наших новшествах».

В толпе людей Андрей различал лица райкомовцев, видел желтоватую смуглоту и горячий взгляд Лукьянова, добрый близорукий прищур Волгина. Волгин, как всегда, понял его лучше других, уловил спрятанное от всех и даже от самого себя беспокойство, пробрался к нему и сказал вполголоса:

— Все ладно получится, Петрович. Ребята с народом хорошо поработали. Ты не беспокойся.

— А я беспокоюсь? — беспечно засмеялся Андрей, но про себя подумал с признательностью и уважением: «Вот старая партийная косточка! В нутро смотрит».

Наконец собрались все. Цех был переполнен. Люди сидели на скамьях, на верстаках, на приступках и сиденьях машин.

Работники МТС уселись скопом и сразу бросались в глаза. Многие из них только закончили смену и были одеты в одинаковые спецовки. Держались эмтээсовцы по-хозяйски: позы их были свободнее, шутки громче, смех дружнее, чем у других.

Рубанов открыл собрание и дал вступительное слово Андрею.

— Товарищи! — начал Андрей.— В разных местах приходилось нам с вами собираться: и в райкоме, и в правлении, и в полевых станах, и на фермах,— но впервые в истории района хлеборобы и землепашцы собрались разговаривать об урожае не в райкоме, и не в правлении, и не на полевом стане, а в цехе, в большом, хорошо оборудованном демонтажно-монтажном цехе, не уступающем заводскому. Не случайно именно здесь проводим мы это собрание. Пусть каждый своими глазами увидит, своими руками пощупает ту силу, которая нами создана. Пусть этот день станет залогом нерушимой и требовательной дружбы между людьми колхозов и людьми МТС, станет поворотным днем в жизни нашего района.

Андрей остановился, охватил взглядом собравшихся. Большой, просторный цех лежал перед ним. Он видел крепкие фигуры, по-домашнему примостившиеся на скамьях и машинах, синие спецовки, твердые, мужественные лица, темные руки.

— «Металлисты»,— продолжал он,— так в шутку называют работников МТС в районе. Но, даже данное в шутку, это прозвище обязывает. По часам и минутам ведется плавка стали в мартенах. По минутам и секундам отсчитывается ход конвейера на больших заводах. МТС — это завод среди полей, и нам предстоит не просто наладить эксплуатацию многочисленных машин, а добиться нового стиля во всей организации сельскохозяйственных работ. О плане перестройки МТС доложит Прохарченко. Есть второй вариант плана, составленный Высоцким. Вениамин Иванович выступит в прениях и расскажет нам о своих установках. Послушайте и то и другое. Надо все обдумать, не торопясь, и решить, не колеблясь.

Слова Андрея подготовили аудиторию. Все многолюдное сборище замерло в ожидании. Прохарченко прошел к трибуне. Щелкающий звук его шагов по торцовому полу отпечатался в тишине.

Мастер задушевного разговора с небольшой группой людей, войдя на трибуну, он утрачивал присущий ему добродушный юмор, свежесть и непосредственность слов и начинал говорить казенными и скупыми фразами. Андрей знал эту его особенность, но все же не ожидал такого вялого и сухого выступления.

«Горячей же! Ты же все гробишь! План продумал прекрасно, у меня в кабинете говорил как Цицерон, а тут... Да, это было ошибкой — выпустить Прохарченко первым и основным оратором»,— мысленно досадовал на него и на себя Андрей. Но, несмотря на монотонность речи, Прохарченко слушали внимательно: то, что он говорил, было продуманным и важным, а самого его люди хорошо знали. За два года работы в качестве директора он сумел выстроить и оборудовать новую МТС, и многочисленные большие дела его вставали за сухими словами, придавая им вес и силу.

Пункт за пунктом развертывался перед собравшимися план новой организации работ. Прикрепление тракторных бригад к полеводческим бригадам на все виды работ — от пахоты до уборки. Оплата труда в зависимости от урожаев. Почасовой график. Соревнование и контакт между полеводами и трактористами. Перестройка всех тракторных бригад и объединение молодых трактористов с опытными.

Особенное волнение вызвали у коммунистов цифры годового производственного плана, изложенные Прохарченко в одной сухой и короткой фразе:

— По плану, спущенному нам из области, намечена механизация семидесяти процентов всех полевых работ, но мы даем встречный план и намечаем механизировать в этом году девяносто процентов работ. Осуществить это мы сможем только в том случае, если каждый тракторист выполнит норму на сто двадцать процентов.

Ветер прошел по рядам, люди зашевелились, заговорили:

— В прошлом году тракторы, случалось, сутками простаивали, а нынче враз сто двадцать процентов!

— Такой МТС у нас в прошлом году не было.

— Половина ж тракторов старые, не машины, а утильсырье!

— Зато половина — прямиком с завода!

— Спланировать легко!..

На передней скамейке сидел Высоцкий. Умные серые глаза его смотрели твердо. Кто-то с соседней скамейки тянулся к нему и шептал на ухо, окружающие прислушивались к этому шепоту, одни — с видимым удовольствием, другие — с сомнением.

Высоцкий покачал головой, двинул плечом, как бы желая сказать: «Что же я могу поделать? Я говорил». Среди общего волнения Андрей один оставался спокоен.

Казалось, он не испытывал ни волнения, ни тревоги, ни раздражения против Высоцкого. Прямота и стойкость агронома в защите своих позиций невольно располагали Андрея. На миг он пристально и с любопытством взглянул на старшего агронома. Этот мягкий взгляд секретаря встревожил Высоцкого: «Начинает понимать мою правоту? Или?.. Уж не жалеет ли он меня?»

Валентина видела волнение собравшихся и сама волновалась. «Надо увлечь людей, а Прохарченко решительно никого не увлек, наоборот, он расхолодил, вызвал недоверие».

Прохарченко кончил и, огорченный неудачей выступления, сел на свое место за столом президиума.

— На похоронах тебе выступать...— с досадой шепнул Андрей, перегибаясь к нему.

Прохарченко вытер лысину и сделал такое движение, словно говорил: «Сам не рад! Сам не знаю, как это у меня получилось». Волгин, сидевший с ними рядом, тоже шепотом вмешался в разговор:

— Не в речах соль. План хорош, и народ подготовлен. Ты бы слышал, как он с народом нынче в перерыве в цехах разговаривал...

В прениях первым выступил Высоцкий.

Как только Высоцкий поднялся на трибуну, в цехе воцарилась глубокая тишина. Четкий рисунок скул старшего агронома был еще резче, чем обычно, складки темной кожи явственнее обозначились на впалых щеках, светлые, не то выгоревшие, не то поседевшие брови ниже нависали над глазами. Голос его звучал глухо:

— Я работаю в районе тридцать лет и второй год работаю в МТС. Я мерил глубину первой борозды за первым угренским трактором. Я проверял заделку семян за первой в районе тракторной сеялкой. Не для хвастовства я вспоминаю об этом. Я только хочу сказать, что никогда я не был противником механизации, никогда не стоял в стороне от передовых методов. Что же нынче заставило меня выступить против красивого плана, разработанного Прохарченко и одобренного партийным руководством?

Он остановился, словно, дойдя до самого главного, от волнения утратил дар речи. Оттого, что Высоцкий умолк, в цехе стало тише. Он справился с волнением и продолжал:

— И опять не для хвастовства скажу: мало кто знает район и МТС, как знаю я. Я знаю землю, климат, машины, историю района и историю МТС, знаю каждого председателя колхоза и каждого тракториста, работавших в нашем районе. Нельзя равнять угренские подзолы с кубанским черноземом, нельзя механически переносить кубанские методы работы к нам в Угрень. Поднять силами МТС девяносто процентов всех полевых работ на сегодняшний день с нашим тракторным парком и с нашими кадрами невозможно. Пообещать это и не выполнить — значит подвести колхозы и поставить под угрозу сев. Колхозы будут строить свои производственные планы с учетом планов МТС, и если МТС не выполнит договора, колхозам придется на ходу перестраиваться,— а это означает затяжку сева, это означает потерю сотен центнеров урожая. Пусть каждый из вас вспомнит, что получается, когда машины не приходят в срок. Ожидание, нервозность, неразбериха. Это ведет не только к потере зерна, но дезорганизации колхозной работы. Каждый, кто практически ясно представляет себе, к чему приводит ошибка в плане МТС, поймет, что я прав.

Он говорил так убедительно, что Валентина думала: «Он подчиняет даже меня, и невозможно не слушать! И зачем Андрей затеял все это собрание, зачем дал Высоцкому широкую возможность защищать и пропагандировать вредные взгляды? Достаточно было обсудить на бюро райкома».

Она сердито смотрела на мужа и мысленно ругала его: «Ведь говорила я тебе, предупреждала — и слушать не стал. Почуял драку — и обрадовался случаю! Только бы тебе подраться! Как мальчишка, честное слово!» Она досадовала на него, а он сидел в президиуме, опустив глаза, не двигаясь.

Последовательно и неуклонно Высоцкий опровергал все положения Прохарченко, и чем дальше слушала его Валентина, тем сильнее овладевали ею беспокойство и раздражение.

— У нас есть шесть хороших тракторных бригад,— говорил Высоцкий.— Это наша опора. Ее создавали в течение полутора лет. Расформировать, разрушить эти бригады, распределить сильных трактористов по молодым, слабым бригадам — значит самим уничтожить свою основную силу. Я не могу этого допустить. Для меня это — то же самое, что срубить деревья, посаженные своими руками.

«Что он говорит? — думала Валентина.— Неужели он не понимает, как неверно и вредно то, что он говорит?!»

Бесследно исчезла та жалость к нему, которую она

испытывала перед собранием, на смену ей пришло раздражение: «Почему Андрей так спокоен? Наделал дел, а теперь и бровью не поведет».

— В нашем лесном и холмистом районе,— все тверже и увереннее продолжал Высоцкий,— созревание и земли и культур происходит очень неравномерно. Поздние и холодные весны и ранние и дождливые осени заставляют максимально сжимать сроки сева и уборки. Здесь не Кубань, где можно убрать завтра то, что не успели убрать сегодня. Если мы не уберем сегодня, то завтра, как правило, задождит, и мы недосчитаемся многих центнеров урожая. Вот почему у нас может оказаться пагубным то закрепление тракторных бригад за земельными участками, которое практикуется на Кубани. Мы должны сохранить способность свободно маневрировать, перебрасывать наши основные силы туда, где в данный момент наступило созревание. Нам это необходимо, об этом говорит мой многолетний опыт.

— Не надо доводить принцип прикрепления до абсурда!— крикнула Валентина с места.— Никто не запретит переброску тракторов с несозревшего участка на созревший.

— В теории это так, а на практике руководству МТС будет очень трудно организовать переброску тракторов со «своего» участка на «чужой».

— Разве вы боитесь затруднить себя?— снова перебила его Валентина.

Андрей на миг поднял глаза и пристально посмотрел на нее, словно представил себе ее выступление на собрании и мысленно оценил его.

Высоцкий сдвинул косматые брови и тихо сказал:

— Я никогда не боялся затруднить себя. В этом нельзя меня упрекнуть.

— Это так!— пролетел по цеху чей-то возглас.

— Половина наших машин изношена,— упорно продолжал Высоцкий,— половина трактористов только что со школьной скамьи, но и таких у нас недостаточно. В прошлом году простои из-за неполадок в технической части составили двадцать восемь процентов к рабочему времени. Неполадки в одной только моторной группе дали нам около трех тысяч часов простоя за сезон. Я не могу закрывать на это глаза! Вот почему я считаю, что планы по МТС завышены и что составлять с колхозами договора на основании таких планов — значит допустить ошибку, за которую может дорого поплатиться весь район.

Доводы его с первого взгляда казались неопровержимыми, и именно эта внешняя неопровержимость больше всего бесила Валентину.

«Что он говорит! Что он говорит! — с тоской и гневом думала она.— Ведь умный же, хороший же человек! Ни одного слова о лучших людях, о новых машинах, об успехах в работе! Ни одного взгляда вперед! У него глаза на затылке, он видит только прошлое! Нет, прав, прав был Андрей, заставив его выступить на широком собрании! Не драка ради драки происходит здесь! Здесь вскрываются взгляды, такие вредные и заразные, что их нельзя оставить притаившимися. Их надо извлечь на белый свет и уничтожить! Если уцелеет хоть один кирпич от этого здания, воздвигнутого Высоцким с таким умением и любовью, то люди будут спотыкаться об этот кирпич».

Она видела, как, слушая агронома, одобрительно кивает головой Василий, как сочувственно смотрят многие.

«Я уже не знаю сейчас, хороший он или плохой. Я знаю одно: сейчас он вредный. Я не хочу сейчас о нем думать хорошо, я хочу сейчас разозлиться на него изо всех сил, разозлиться как на врага, чтобы начисто обезвредить то, что он говорит!»

Едва Высоцкий кончил, Валентина вышла на трибуну. Невысокая, в сбившейся набок серой каракулевой шапочке, с розовыми пятнами на щеках, с приподнятой и вздрагивающей верхней губой, она возникла на трибуне неожиданно.

Андрей не узнавал жену: ему случалось видеть ее рассерженной, но никогда он не видел ее обозленной.

В первую минуту все слилось для Валентины в туманное пятно, и только темное лицо Высоцкого отчетливо выступало из этого пятна. Не обращая внимания ни на кого, Валентина с трибуны заговорила с Высоцким. Это была беседа с глазу на глаз и один на один в присутствии сотен людей.

— Я у вас училась. Вы первый зародили во мне желание стать сельским агрономом. Сколько раз в институте я повторяла себе: «Стать таким агрономом, как Вениамин Иванович!» Вот почему сегодня я не могу говорить спокойно. Все, что вы говорили здесь, было правильно по форме и ложно по существу. Это была очень вредная ложь, потому что она подавалась под видом борьбы за правду, потому что отсталые взгляды защищались с помощью передовых слов.

Лицо Высоцкого качнулось, словно по нему ударили. Шум мгновенно пробежал по цеху.

«Что я делаю? — подумала Валентина.— Он же старенький! И это же он, Вениамин Иванович! Зачем я с ним так? Но я не могу иначе!»

— Вениамин Иванович,— сказала она жалобно и гнев-

но.— Я вас очень люблю. Всю мою жизнь я вас очень люблю, но я не могу сегодня говорить иначе. Вы возражаете против переорганизации бригад. Вы дорожите несколькими старыми сильными бригадами. Но считаете ли вы нормальным то, что у вас, например, Настя Огородникова до сих пор работает простой трактористкой? Разве она не может сама возглавить бригаду и передать свой опыт молодым? По форме ваше желание сохранить сильные бригады разумно, а по существу оно ограничивает возможности роста и людей, и всей МТС. По существу оно вредно. Почему вы этого не понимаете?

Она посмотрела в глубину цеха. Теперь она видела уже не туманное пятно, а отдельные фигуры, лица, глаза. Взгляд ее упал на Василия. Он выглядел сосредоточенным.

— Разве не правильно я говорю, товарищи?— обратилась Валентина к собравшимся.

— Правильно!— ответило несколько голосов.

Василий промолчал и не шевельнулся.

— Дальше. Вениамин Иванович возражает против закрепления тракторных бригад за полеводческими, так как это мешает «маневренности». Слов нет, красиво, когда большие группы машин передвигаются из южных, степных колхозов района в северные, лесные. Но такое передвижение вполне возможно организовать и не отменяя прикрепления. Вполне возможно, что на помощь одной южной бригаде, земли которой уже созрели для сева, временно придет другая, северная бригада, на землях которой еще нельзя работать. Все это можно организовать, если не пожалеть силы, если хорошенько подумать над этим и если поверить в сознательность людей, в их способность помогать друг другу! Надо только правильно сочетать принцип ответственности за свой участок с принципом взаимопомощи. И, конечно, надо закреплять тракторные бригады за большими участками земли, чтобы было где развернуться.

Валентина остановилась передохнуть. Первый жар, первый гнев, перекипевшие через край, выплеснулись. Она уже видела, что многие смотрят на нее с явным одобрением.

Она глотнула воды из стакана и увидела Андрея. Он не спускал с нее обрадованного взгляда, словно гордился ею и хотел сказать: «Давай, Валя! Нажми! Я же всегда знал, что ты не подкачаешь в трудный час!»

— Вы рассказали нам о систематически не выполнявших норму бригадах Белавина, Лапина, Громова. Ориентируясь на их работу, вы настаивали на невозможности перевыполнить план. Но я не понимаю, как можно было

сбросить со счета таких, как Огородникова, Синцов, Яблонев, и других наших тысячников, тех, кто за сезон поднимали больше тысячи гектаров и перевыполнили нормы в два, три, в четыре раза? Я просто не понимаю, я не могу постигнуть такого способа мышления, при котором исходной точкой берется Белавин, а Огородникова почитается за ничто! Сегодня я просмотрела вашу докладную и ваш анализ работы МТС за три года. В нем почти не показан опыт лучших бригад и ни слова, буквально ни слова не сказано о том, как организована передача этого опыта. Почему вы упустили это? Как могло произойти такое упущение?

Высоцкий поднял голову. Его бывшая ученица превратила его в школьника, экзаменовала его придирчиво и настойчиво в присутствии множества людей. И, волнуясь, как ученик, он с места ответил ей:

— Я не сбрасывал со счета Огородникову и не ориентировался на Белавина. Я брал средние цифры за несколько лет.

Валентина с лету поймала его слова и мгновенно отразила удар:

— Но ведь ориентироваться на средние цифры — значит заранее сказать, что достижения лучших будут обесценены и сведены на нет работой худших!

— Долго ль нам своими спинами прикрывать лодырей? — прокатилось по всему цеху звучное контральто Огородниковой.

— Иногда случается так, что старая форма становится помехой для растущего нового содержания. Иногда случается так, что старый опыт мешает принять новое. С вами, Вениамин Иванович, случилось именно так. Я вполне понимаю, как трудно вам сломать те бригады, которые вы с любовью выращивали, сломать те методы, которые вы с любовью внедряли. Вам особенно трудно это, потому что вы все делали с любовью. И вот сейчас вам приходится перешагнуть через самого себя. Но это придется сделать! Сейчас здесь выступят наши старые, лучшие трактористы и сами скажут, захотят ли они взять на себя руководство молодыми бригадами. Сейчас здесь выступят наши молодые трактористы и скажут, захотят ли они стать передовыми. Сейчас каждый решит для себя, хочет ли он идти вперед и поднимать и нашу МТС, и весь район.

Валентина прошла на свое место под шум и аплодисменты, а к трибуне уже шла Настя Огородникова. Крупная, смуглолицая, словно отлитая из одного куска, она не поднялась на трибуну, а остановилась у первой скамьи, рядом с комбайном.

— Не люблю я бригадирить... Сама, своими руками

люблю держаться за штурвал. Милее этой работы для меня нет и быть не может. Но когда встает вопрос обо всем нашем районе, я на свои «люблю», «не люблю» глядеть не стану. Добровольно беру на себя руководство молодой бригадой и обязуюсь каждого выучить так, как меня выучили, и дать на всю бригаду выработку не меньше полутораста процентов.

Андрей зааплодировал, и весь цех откликнулся аплодисментами.

Когда они утихли, Настя положила большую руку на гладкую поверхность комбайна и сказала, как присягнула:

— Слово мое верное! Слово к слову, как железо к железу, нерушимо и верно: добьюсь я по своей молодежной бригаде полтораста процентов при отличном и хорошем качестве. Только прошу прикрепить мою бригаду к землям Первомайского колхоза, где я давно работаю. И предупреждаю Василия Кузьмича Бортникова: сами будем работать как часы, но и колхозу не дадим спуску. При всем партактиве загодя предупреждаю: держись, Василь Кузьмич! Сама приеду к тебе проверять и семена, и тягло, и удобрения!

— А я и сам на твоих тракторах проверю каждую гайку,— весело отозвался Василий.

Выступления Валентины и Насти разожгли его. Он не умел и не мог идти позади других. Всю свою жизнь он был передовиком, и ощущение «первой шеренги» было необходимо ему. Уже не казалась недопустимой перестройка бригад и невозможным перевыполнение норм по всей МТС. Он видел все трудности предстоящего, но не сомнения терзали его, а нетерпеливое желание пойти навстречу этим трудностям, во что бы то ни стало одолеть их и еще раз доказать и себе и другим, на что способен Василий Бортников. Сердце старого тракториста заговорило в нем, и он не мог не откликнуться на призыв Насти.

— Сами в трактористах ходили,— весело басил он,— от нас ничто не укроется. Все проверим.

«Ага!—усмехнувшись, подумал Андрей.— Заговорило ретивое у нашего атамана».

— А и милости просим,— отозвалась Настя.— Мы этого не побоимся! Еще и спасибо скажем за проверку.

— Добрый разговор!—раздался тихий, но отчетливый возглас Степана.

Андрей уловил этот возглас и тотчас откликнулся на него:

— Попросим на трибуну нашего нового механика, нашего бывшего замечательного тракториста Степана Никитича! И, кстати, скажем ему, как мы рады снова видеть его у себя в районе.

Он начал аплодировать, аплодисменты разлились по цеху, и под шум их порозовевший Степан прошел к трибуне. Несколько недель назад он вернулся в родные места после годичной отлучки, и ему приятно было видеть, как радостно встретили его в районе. Одиночество и непроходящая горечь от разлуки с Авдотьей сделали его особенно чувствительным к дружеской приязни и к человеческому теплу.

Его взволновали и слова секретаря райкома, и шумное приветствие партактива.

— Что ж, товарищи,— начал он своим глуховатым негромким голосом,— я на тракторе выполнял по две нормы, а я себя выше других не ставлю. Думаю: то, что я могу, то и всякий сможет. Поучить людей, конечно, надо. И перестроить бригады, конечно, надо. Об этом Настя хорошо сказала. А я хочу Вениамину Ивановичу рассказать пример насчет маневренности.

Высоцкий сильнее ссутулился, сжал в кулаки ладони, лежавшие на коленях.

Выступление Валентины не удивило его, он предвидел, что она станет возражать ему, и только нежданная резкость ее слов больно хлестнула.

Он огорчился словами Настасьи, лучшей трактористки МТС. Но когда заговорил Степан, связанный с агрономом давней дружбой и близкий ему по натуре, почва заколебалась под ногами Высоцкого.

— Возьму я для примера колхоз «Светлый путь»,— говорил Степан.— У них в том году пахала одна бригада, культивировала вторая, сеяла третья, а взглянуть на их поле — один сорняк! Сорняк злой, его без машины, без правильной обработки земли не выведешь. А с кого из трактористов спросить? Развели питомник сорняков для всего района, от него всем колхозам поступает «централизованное» снабжение сорняками, а спрашивать за это безобразие не с кого. Вот она, маневренность! Приводит она к безответственности, к тому, что не получается настоящей спайки и правильных отношений между колхозниками и трактористами. В этом же колхозе пахота с весны была — и такая, что вчуже глядеть совестно. Встречаюсь я с председателем. «Как, говорю, у вас тракторист работает?» — «Не жалуемся»,— отвечает. «С чего это, думаю, он такой добрый?» На другой день увидел я с ребятами, выяснил причину председательской доброты. Председатель семена подвез некондиционные и с запозданием, воду задержал на два часа, прицепщика вовремя не выделил. Как ему теперь жаловаться на плохую пахоту? А трактористы об нем молчат. Им что? Они нынче здесь, завтра там. Молчат. Наладили они этак

жить по принципу умолчания и взаимного отпущения грехов. А от этого принципа — приволье сорнякам. А вот от такого разговора, какой мы сейчас слышали между Бортниковым и Огородниковой, не сорняки, а хлеб вырастет.

То, что Степан отбросил все личное и не побоялся заговорить о Василии в присутствии многих людей, знавших всю их историю, удивило Василия.

Андрей заметил сдвинутые брови Бортникова, лицо, ставшее серьезным и раздумчивым, и сказал себе: «То, что Валя с Настей расшевелили и подняли, то Мохов закрепит. О чем он говорит? О профилактике? Это важно, и он по-новому ставит вопрос. А ну, послушаем повнимательнее! У Мохова всегда есть чему поучиться». Андрей откинулся на спинку стула и с удовольствием слушал негромкую размеренную речь Степана.

— Доктора говорят, что легче предупреждать болезни, чем лечить. То же самое можно сказать и о тракторном парке. У нас тоже есть своя профилактика болезней — часы технического ухода. И до сих пор не поняли мы всего значения этого дела. Нынче я заведую полевым ремонтом. В моем распоряжении и ремонтная летучка, и бригадные полевые мастерские. И ставлю я перед собой такую главную задачу — научить людей правильной профилактике, предупреждению аварий, а главное — добьюсь такого порядка, чтобы час технического ухода был законом. У нас глаза в одну сторону смотрят — за аварию на поле с трактористов взыскивают строго, а на нарушение правил технического ухода смотрят спустя рукава. Я хочу за нарушение этих правил взыскивать, как за самый злой и вредный для МТС поступок, и прошу руководство дать мне на этот счет широкие полномочия, а трактористов прошу на меня не обижаться за строгость.

После Степана выступило еще несколько коммунистов, и настроение собравшихся уже ясно определилось.

Буянов шепнул Василию:

— Кто из нас выступит от Первомайского колхоза?

— Мы друг другу не помеха,— так же шепотом ответил Василий.

— Если из одного колхоза по двое будут выступать, то собрание не кончится и к утру...

— Если уж одному выступать, то мне. Я ж тут вначале недодумал. Надо теперь самому и в открытую покритиковать свою позицию, иначе нехорошо будет.

— Ну что ж...

Буянов был разочарован. Ему хотелось выступить самому. Он был теперь секретарем партийной организа-

ции, пока еще немногочисленной, но сильной своей спайкой с колхозными передовиками и своим авторитетом.

Он видел, что из месяца в месяц расширялся круг жизни, и ему хотелось рассказать партактиву о том, как он, «принц запечный», превратился в секретаря партийной организации, о том, как захудалый и никому не известный Первомайский колхоз своим быстрым подъемом сперва завоевал общее уважение в своем районе, а теперь уже вызвал интерес и в области.

«Эх, не сумеет он об этом выступить! — подумал Буянов о Василии.— Тут разговор политический, и требуются слова партийного руководства».

И Буянов тоже решил выступить.

Очередь в прениях дошла до Василия.

— Должен я сказать прямо: не сразу вник в сущность вопроса,— начал он.— Спервоначала показался мне план товарища Прохарченко завышенным. А отчего так вышло? Пока я смотрел на планы МТС со стороны, все мне казалось невыполнимым. А когда заглянул снутри, то неловко мне стало, что прибеднялся. Срам нам будет, если при этакой МТС да при добавке новых машин мы не сумеем свой план осуществить. Это я как бывший тракторист говорю. А что я смогу как председатель? Многое я смогу!

«Вот оно! — думал Андрей.— Вот оно то, чего ради собрали мы это собрание! Если каждый ясно увидит трудности и скажет: «Что я смогу? Смогу я многое»,— то цель достигнута».

Один за другим выступали колхозники и эмтээсовцы.

Тот страстный и прямой тон, который задала собранию Валентина, сохранился до самого конца. Андрей поддерживал его то насмешливыми и резкими репликами, то возгласами одобрения.

— Товарищ Рубанов, пригласи же выступить нашего лучшего бригадира тракторной бригады Ивана Ивановича Синцова! — говорил он, первый начинал аплодировать, и весь цех встречал оратора аплодисментами.

После многочисленных выступлений Андрей перегнулся через стол и с веселым ожесточением сказал:

— Мы слушали лучших. Почему молчат те, кто не выполнял норм? Как они думают жить и работать дальше?

— Бригадир моторной бригады товарищ Любомудров! — подхватил Рубанов.— По группе моторов шла основная масса простоев прошлого года. Просим выйти и рассказать, как жили и как будете жить!

— А ну, послушаем нашего главного б-р-ракодела! — возгласил Андрей, и гремучее «р» раскатилось по всему цеху.

Побелевший от стыда и досады Любомудров шел вперед.

— Мы главные бракоделы?! А кто разобрался в причинах плохого ремонта моторов? Как помог нам старший механик Семенов? Где наши лучшие мастера? Семенов отнял их у нас и дал нам неопытных новичков!

— Мы все были неопытными новичками!—отозвался с места Семенов.—Новичков надо учить!

— Прошу не перебивать! Старший механик Семенов обезлюдил моторную бригаду!

— Нечего валить на механиков!—крикнул кто-то из рабочих.—По всем бригадам одно положение: МТС растет, опытные мастера сами становятся руководителями участков. А как моторники работают с новичками, об этом Женюрка расскажет. Он сейчас в соседнем цехе работает. Его можно позвать.

Из соседнего цеха позвали Женюрку, белокурого невысокого подростка.

— А ну, Евгений Петрович Митрофанов, прошу на трибуну,—сказал Рубанов.—Расскажи, как тебя Любомудров обучает.

Женюрка встал рядом с Любомудровым, круглая кепочка его с пуговкой на макушке едва торчала из-за трибуны, но держался парнишка с достоинством и уверенностью.

— Я в моторной бригаде работать не стану. Тося Веселова из медницкого цеха хвастает: «Заливку подшипников баббитом с присадкой никеля показывают». И все ей бригадир объясняет. А я от товарища Любомудрова слышу одно: подай да принеси. А когда он выпивши, то еще слова употребляет.

Любомудров смутился, но вызывающе сказал:

— И употребляю слова!

По цеху пронеслись смех и возгласы:

— Правильно, Женюрка!

— Выводи на прямоту!

— Этим словам, конечно, можно от него обучиться, а другой науки от него нету! Меня мать не для того в МТС посылала. Мне мать говорила: «Мастером будешь». А меня мастерству не обучают.

— И употребляю слова!—повторил Любомудров.—А как их не употреблять, когда в тракторах не моторы, а утиль, а с тебя требуют ремонта! И еще планы собираются увеличивать, нормы перевыполнять! Ерунда это. Правильно товарищ Высоцкий говорит.

Высоцкий мучительно покраснел. Из всех присутствующих только Любомудров, пьяница и бузотер, поддержал агронома. И это было самым тяжелым для Высоцкого.

— Спасибо, Женюрка, за рассказ,— сказал Рубанов.

Женюрка чинно отправился к себе в цех.

— Если посмотреть в корень,— продолжал Любомудров,— если дать полный процентный анализ работы нашей моторной бригады, то...

— Нет, вы нам не процентный анализ давайте!..— врезался в сдержанный гул цеха и сразу приглушил все звуки жесткий голос Андрея.— Вы нам скажите: почему сегодня у «ХТЗ номер семнадцать» только что выпущенный вами из ремонта мотор встал на первом перегоне?

— Если дать вообще полный анализ...— попытался продолжать на свой лад Любомудров, и снова еще резче и грознее перебил его голос Андрея.

— Партактив с вас не «вообще анализ» спрашивает, а ждет ответа: почему встал «ХТЗ номер семнадцать»?

«Я прошу не перебивать»,— хотел обидчиво возразить Любомудров, но увидел выражение лица Андрея и осекся. В глазах секретаря была отчужденность, взгляд его стал ощутимым и острым, как прикосновение железа на морозе.

Механик сбился и забормотал:

— Так что обнаружились неисправности...

— А почему они обнаружились? Почему, мы спрашиваем?

Окончательно сбившись и оробев, Любомудров молча переминался на трибуне.

— Молчите?— Андрей поднялся с места и оперся кулаками о край стола.— Молчите? Ну так я сам отвечу, почему они обнаружились. Потому, что вы воспользовались болезнью старшего механика и неопытностью приемщика, молодого тракториста, и подсунули ему трактор без проверки и без обкатки. Решили, что и такой сойдет. Вместо того чтобы проверить, за пол-литром бегали? Так или не так?..

Большое лицо Любомудрова побледнело. Андрей видел эту разлившуюся по всему лицу бледность, но она не смутила его.

— На что надеетесь?— в упор спрашивал он.— На что ведете расчет? Молчите?

Весь сжавшись, сидел Высоцкий. Ему казалось, что какими-то отраженными ударами, рикошетом, хлещущие слова секретаря попадали и в него: не случайно именно Любомудров взял его под свою защиту.

— В самое горячее время из пивных не вылезаете?! С партийным билетом в кармане бракодельством занимаетесь?!

Узкие губы секретаря плотно сжимались после каждой фразы, и мгновенное молчание, отделявшее одну фразу от другой, было страшней слов.

— Судить будем бракоделов! Жалости пусть не ждут. Интересы народа для нас выше жалости!

Андрей кончил, а Прохарченко, которому горячность Андрея вернула дар речи и свойственную ему задушевную убедительность слов, подхватил:

— За вчерашний случай жестоко осудим. И ты нашу жестокость, Любомудров, примешь и даже обидеться на нее не сможешь. Потому что ты знать будешь нашу правоту.

— А почему Любомудрову до сих пор спускали?— раздался голос с места.

Прохарченко поднял голову. Круглое усатое лицо его было сурово. Казалось, он хочет оборвать спросившего, но он сказал:

— Моя вина. Занялся строительством и оборудованием. За организацией ремонта — проглядел. Надо сказать и то, что такого бракодельства, как сегодня, не бывало раньше в МТС.

— Много сделал Прохарченко за два года,— продолжал тот же голос с места,— мы его уважаем, но есть и у него, и у всего руководства МТС ошибки. Почему руководство не критикуют?

— Вот ты и покритикуй, не бойся! — пригласил Рубанов.

— А я и не боюсь,— на ходу говорил токарь Лобов.— Прежде чем вводить почасовой график и новую организацию труда, нашему руководству вокруг себя надо поглядеть! Со старых специалистов плохо спрашиваем, молодых выдвигать боимся!

Бушевали страсти в демонтажно-монтажном цехе, и, ошеломленные их потоком, стыли у стен огромные неподвижные машины.

Валентина не замечала своей съехавшей набок шапочки, рассыпавшихся волос, расстегнувшегося ворота блузки. МТС, которая недавно впервые возникла перед ней сквозь снежную пелену, теперь приобрела такую живую плоть и стала такой близкой, что Валентина понимала: это ощущение не пройдет. Придется или не придется ей работать в МТС, все равно все происходящее здесь будет волновать, как волнует судьба родного села, родного дома, родной семьи.

Высоцкий не смотрел ни на кого, и люди избегали встречаться с ним взглядами, словно им неловко было за агронома.

Он зажал худые руки между коленями, опустил осунувшееся и постаревшее за этот вечер лицо.

Изредка он поднимал блестевшие нездоровым блеском глаза, и хотя по возрасту многие из собравшихся были

гораздо старше его, и другим, и ему самому в этот час казалось, что он самый старый, самый немощный, самый страдающий из всего многолюдного сборища.

Всегда он гордился своей моложавостью, еще несколько часов назад, входя в цех, он, уверенный в правоте и значимости своих слов и дел, чувствовал себя совсем бодрым и молодым. И вдруг ему показалось, что подступила старость. «Вошел молодым, выйду стариком»,— думал он о себе, еще не понимая того, что отстал он от жизни совсем не потому, что состарился, а, наоборот, потому и показался стариком себе и другим, что отстал от жизни, и это явно обнаружилось на собрании. Та ограниченность и нерешительность, которую он пытался объяснить старостью, обнаружилась внезапно в его делах: в кропотливом и все же беспомощном анализе, в тех мероприятиях, которые вчера еще он считал значительными и проводил так старательно и которые сегодня оказались ничтожными. Шесть хороших тракторных бригад. Движение тракторов с севера на юг. Он бился над этим два года и считал, что делает важное дело. Но какая немощность была во всем этом!.. И вот пришла, розовая, в каракулевой кубанке, его бывшая ученица, девочка с исцарапанными ногами, и разом раскидала, расшвыряла все, что он так любовно и кропотливо делал,— и оказалась права и легко открыла новые пути, несоизмеримые с теми, которые открывал он, и повела за собой других, и уже забыла о нем...

Не только она, но и остальные уже забыли о нем и потеряли к нему интерес, как во время горячих спортивных состязаний теряют интерес к борцу, слишком явно и скоро обнаружившему свою неспособность к победе.

Никто не вспоминал о его выступлении. Горячие споры шли теперь не о том, выполним или не выполним план, а лишь о том, как добиться его скорейшего выполнения.

Раздавались речи и реплики, шутки чередовались с гневными возгласами, убежденность перемежалась с тревогой, и среди общего оживления один Высоцкий становился все неподвижнее.

Темнело. От сумерек цех казался глубже, больше, лица сливались, и только глаза да металлические части машин блестели в полумраке.

В конце собрания выступил Андрей. Он бросал слова в глубину цеха, цех отвечал ему дружным гулом.

— Товарищ Высоцкий утверждает, что план, предложенный Прохарченко, годен для Кубани, а не для Угреня и что я защищаю этот план по незнанию местных условий. Да, я еще недостаточно изучил район и его

условия и возможности, но не у вас я буду спрашивать об этих возможностях, товарищ Высоцкий! Я спрошу о них у многотысячного коллектива колхозников, агрономов, трактористов, комбайнеров, рабочих нашего района. Я спрошу у них!

— Правильно!—прокатилось по рядам.

— Вы говорили сегодня о невыполнимости наших планов, а трактористы, комбайнеры и рабочие, выступавшие здесь, обязались перевыполнить эти планы. Я поверю им, а не вам!

И снова, как колоколом, загудел цех:

— Правильно!

— Мы введем почасовой график работ, мы завершим радиофикацию и диспетчеризацию МТС, мы организуем соревнование между полеводами и трактористами, и мы выполним и перевыполним все намеченное нами. Здесь не Кубань, здесь Угрень, но не пройдет и двух-трех лет, как мы вызовем на соревнование один из лучших кубанских районов. Правильно я говорю, товарищи?

И в третий раз еще веселее и грознее откликнулся демонтажно-монтажный цех голосами колхозников и эмтээсовцев:

— Правильно!

После собрания расходились медленно и неохотно.

В толпе Валентина увидела Высоцкого. Он шел к выходу один. Он сильно сутулился, в мышцах шеи и плеч чувствовалось напряжение. Люди избегали встречаться с ним взглядами, словно им было и жалко его, и стыдно за него. Ей стало жаль его. Теперь, когда прошел полемический азарт, когда победа была безоговорочной и полной, Валентине захотелось подойти к нему, найти для него хорошие, дружеские слова, ободрить его, помочь ему разобраться в своей ошибке.

Может быть, он даже нужен был сегодня вместе с цифрами его докладной, как нужен бывает камень для того, чтобы поток, забурлив и закипев вокруг него, обнаружил свою скрытую и незаметную при обычном течении силу.

Может быть, искусство Андрея как руководителя проявилось и в том, чтобы дать Высоцкому сыграть эту роль—роль маленького камня в большом потоке—и тем самым нагляднее выявить потенциальную силу движения.

Только теперь Валентина полностью понимала замысел Андрея. Люди ушли с собрания не теми, что пришли на него. Особенно ясно последовательный переход от недоверия к уверенности, к активному стремлению включиться в работу МТС выявился во всем поведении Василия.

«Дядя Вася не всегда сразу ухватит нужное,—думала

Валентина.— Ну, зато уж если возьмется, то считай дело сделанным. Теперь они в паре с Настей Огородниковой такие развернут дела, что жарко станет!»

Василий и Буянов проходили мимо, и она услышала, как они перебросились несколькими фразами.

— Умеет Петрович зажечь народ! — сказал Буянов.

— Э-е, Петрович! — значительно и любовно протянул Василий.— Не человек — дрожжи. В какую квашню ни сунь, всякое тесто забродит и пойдет вверх подыматься!

Валентина на полчаса задержалась в цехе, разговаривая то с одним, то с другим из друзей и знакомых, а потом обнаружила исчезновение Андрея и отправилась на розыски.

В кабинете Высоцкого она застала Прохарченко и Рубанова. Оба были взволнованы.

Только что вышел отсюда Вениамин Иванович. Наотрез отказался от работы.

— Отказался?! А вы что же? Вы что же ему сказали? — испугавшись за агронома, спросила Валентина.

— Что ж! — ответил Прохарченко...— Предложили остаться, а уговаривать не стали. Не может возглавлять большое дело человек, который в него не верит. Он, конечно, одумается со временем, да ведь нам ждать-то некогда: март на исходе, посевная на носу. Да и болен он: грудная жаба у него разыгралась.

— Неужели отпустите его из МТС?

— Думаем временно отпустить. Вроде в длительный отпуск по болезни. Подлечится, поразмыслит, а там видно будет. Мы ему, конечно, всегда рады. А пока, племянница, видно, придется тебе браться за дело.

— Мне? Нельзя же так, сразу, решать!

— Мы об этом давно подумывали. Эта заваруха с планами у нас не первый день.

— Андрей знает об отказе Высоцкого?

— Знает. При Петровиче разговор был. Он только-только вышел отсюда искать тебя.

В свете фар мелькали протянутые лапы елей. Валентина сидела в машине рядом с мужем. Она не переставала думать о Высоцком.

— Жалко старика! Ведь для него это настоящее горе.

— Где тут горе? — нахмурившись, сказал Андрей.— Вызовем его в райком, поговорим и отправим месяца на два в командировку в передовые МТС. Поездит, подумает — и снова за дело! Где же тут горе? Тяжело, конечно, сознаться в ошибке, а до горя еще далеко! Да и не старик он вовсе. Поездит, посмотрит, подумает и совсем помолодеет.

— Это, кажется, одна из твоих специальностей — омолаживать. Скажи, ты был уверен, что на собрании он останется в одиночестве?

— Конечно. Мы же обсуждали на бюро райкома, говорили с людьми, знакомили их с материалами, советовались. Что ж ты думаешь, такое собрание созывают с бухты-барахты?

— Выходит, ты просто использовал его так, как тебе было нужно?! Это жестоко по отношению к нему!

— Это нужнее ему, чем кому-либо другому. Без этого он не сумел бы понять свои ошибки. Он и сейчас еще не все понял, но поймет. А использовать мы, конечно, использовали и его материалы, и его выступление... Так обрисовать все трудности, как он, не сумеет никто, а люди должны знать, что берутся за трудное дело...

Они умолкли. Андрей погладил руку жены. Она отлично понимала все, что он думал и чувствовал. Несколько раз при выходе из МТС она ловила на себе его взгляд, признательный и доверчивый. Она хотела слов, но он молчал: у него не было склонности к покаянным речам. Он считал, что можно прекрасно обойтись без объяснений и покаяний.

— Ты знаешь, Валентинка, может быть, тебе придется занять место Высоцкого,— сказал он как ни в чем не бывало.— Прохарченко сказал тебе об этом?

Андрей говорил таким тоном, как будто он никогда не находил эгоистичным ее желание работать в МТС, как будто никогда не существовало ни ссоры, ни тревожной ночи, проведенной в холодной кухне.

«Ну, погоди ж ты!» — подумала Валентина.

Она притворно вздохнула:

— А я-то думала, что буду сидеть дома, стряпать обед и вообще помогать моему бедному, заброшенному мужу...

Он сильнее сжал ее пальцы и попробовал пошутить:

— Ты мой лучший друг и помощник, моя правая рука. Нет, и это не точно сказано. Если говорить языком твоего приятеля Матвеича, то ты не пристяжная, ты коренник. И мы с тобой пара... Как ты сразу повернула собрание! Молодец!

Но Валентине и этого было мало. Она желала полностью вкусить плоды победы, и не в ее характере было упускать возможности.

— Люблю я, между прочим, самокритику,— сказала она мечтательно,— особенно со стороны секретарей райкомов! Представь себе человека, который всю жизнь внедряет самокритику в широкие народные массы. И вдруг этот человек раз в жизни сам себя покритикует! До чего приятно услышать!

— Валентинка!.. Ладно. Я вел себя с тобой как дурень, если уж тебе необходимо это услышать. Такая самокритика тебя устраивает?

— Так уж и быть... А у тебя оказался очень противный характер. Разобиделся на жену и отправился ночью в калошах на кухню разжигать примус. «Смотрите все, какой я беспризорный, заброшенный муж!»

— Валька!.. Я тебе выдал самокритику полной мерой! Я же не поскупился! Чего тебе еще? У тебя тоже характерец! Кстати, ты не помнишь, кто утверждал, что обсуждать докладную Высоцкого на партактиве нелепо и неразумно?

Валентина засмеялась, положила голову на плечо мужа и поспешила переменить тему:

— Ты знаешь, я часто видела это во сне. Вот так.

— Что?

— Ветер и ворс твоего пальто у моей щеки. И мне было хорошо...

— Во сне лучше, чем в жизни?

— Нет. Сейчас лучше, чем во сне. Странное все-таки чувство — любовь. Оно не притупляется. Сколько лет мы живем вместе, а все как будто впервые. Интересно, у всех так или только у нас?

— А кто их знает, как у других. Мне как секретарю райкома никто об этом не докладывает!

Андрей плохо переносил чрезмерные дозы чистой лирики, и часто в тех случаях, когда на Валентину находил лирический стих, он охлаждал ее добродушными насмешками. Обычно Валентина легко приноравливалась к этой его особенности, но сегодня она огорчилась. Она собралась было обидеться, но он прижался щекой к ее лбу и сказал с той скупой нежностью, цену которой Валентина хорошо знала:

— Я ж никому не докладываю о том, как нам с тобой хорошо, Валентинка...

Машина выехала из леса, и россыпь огней открылась впереди. Приближался Угрень.

«Молчит,— думала Валентина о муже.— Что у него в мыслях? Сейчас, когда нам так хорошо, он не может не думать о Высоцком».

— Он хороший,— сказала она.— Почему с ним случилось так?

— Засиделся...— ответил Андрей, сразу поняв, о ком идет речь.— Засиделся на месте и уперся лбом в свой Угрень.

— А ты не считаешь, что есть и твоя вина в том, что он засиделся?

— Секретарь райкома всегда и во всех районных

неполадках виноват! Такая должность! — ответил он таким тоном, что непонятно было, признавал ли он ошибку, уклонялся ли от ответа, пытался ли, по своему обычаю, прятать за шуткой как раз то, что волновало.

Белый свет из окон райкома ударил в лицо, и Андрей сказал:

— Заглянем на минутку!

— Не можешь ты спокойно проехать мимо райкома! Ведь ночь на дворе! Люди спать ложатся! — для порядка поворчала Валентина, но покорно вылезла из «эмки» и вслед за мужем вошла в райком.

5

ЗЕРНО И ЖЕЛЕЗО

Валентина стояла в зернохранилище Первомайского колхоза. Она заглянула сюда на минутку, проездом в МТС, чтобы еще раз проверить, как идет яровизация, воздушно-тепловой обогрев семян, как заготавливают и применяют гранулированные удобрения. Множество дел ждало ее, но, вместо того чтобы заняться ими, она стояла неподвижно и безмолвно, захваченная дремотной, глубинной тишиной хранилища. Такая тишина бывает на дне озер, куда внешняя жизнь доходит обеззвученной и смягченной. Полоса утреннего света, падавшая из приоткрытых дверей, разрезала голубоватый и льдистый полумрак. Вокруг была почти аптечная чистота. Чуть мерцали выскобленные добела полы и тесовые переборки. Апробационные снопы, укутанные в белоснежную бумагу и похожие на большие бутыли, висели под крышей. Пахло хлебом и свежевыстроганной древесиной. В закромах спало зерно. Валентина погрузила в него руку. Ей нравилось ощущать, как оно скользит и пересыпается. Чуть розовые, восковидные, шелковистые зерна, как живые, текли между пальцами, а Валентина молча смотрела на них. Ей всегда казался таинственным этот мерный сон зерна в закромах, эта дремлющая, но не умирающая сила. Неиссякаемая способность к возрождению. Плод трудов ее и ее осуществленное желание. Пока пальцы перебирали зерна, память перебирала дни — дождливые и солнечные, тревожные и радостные дни прошлого года. Весенние заморозки и летняя сушь, рытье канав под проливным дождем, ночь на Фросином косогоре, улыбки и слезы — все легло сюда, в эти закрома. Что вырастет из этих семян? Хорошо ли пройдет посевная? Какое удастся лето?

Минута шла за минутой, а она все перебирала зерно, все стояла в хранилище, сосредоточенная и задумчивая.

— Эй, кто тут есть? Двери настежь!

Нарушив оцепенение Валентины, Петр толчком ноги распахнул дверь. Шумная гурьба девушек ворвалась в хранилище. Щедро потекло в распахнутые двери раннее весеннее утро, с паром над влажной зябью, с угольно-черными грачами в бороздах, с тающим небом, чуть тронутым на востоке сиреневым светом зари.

Девушки засыпали зерно в мешки.

— Уж я тебя разбужу-разворошу!—приговаривала Вера.

— Это на обогрев, на брезенты, а это на веялку,— распоряжался Петр.

Загорелый, светловолосый и чернобровый, он не столько лицом, сколько голосом и повадкой стал походить на отца. Он стал сдержаннее в жестах, и отцовское спокойное благожелательство все чаще звучало в его голосе. Одни приписывали перемену, происшедшую в нем, женитьбе, другие объясняли ее теми волнениями, которые пришлось пережить Петру во время суда.

На суде Петр держался с такой выдержкой и достоинством, что расположил к себе всех, и судья, учитывая его раскаяние и добровольное признание, вынес сравнительно мягкий приговор—заставил уплатить штраф.

Со времени суда прошло уже много недель, а Петра никто ни разу не видел пьяным. Даже на своей свадьбе он, вопреки обычаям, выпил не много.

— Отцова кровь в Петруньке заговорила!—с гордостью объясняла происшедшую в нем перемену Степанида.

И Валентина невольно вспомнила эти слова, наблюдая за тем, как хозяйственно, неторопливо и обдуманно командует Петр своей бригадой.

Валентина вышла из хранилища. Возле стен девушки расстилали брезенты. Загудел электромотор, застрекотали две веялки, и зерно полетело, завихрилось, закружилось, разбуженное их шумом и движением.

В солнечных лучах зерна казались прозрачнее и легче.

Валентина знала, что в каждом зерне, там, где темнела чуть заметная вдавлинка зародыша, от света и воздуха пробуждалась жизнь. И ветер моторов, и солнечное сияние превращались в энергию прорастания.

Испуганные стрекотом веялок, грачи стаей поднялись с поля, и ближние деревья вмиг ожили, наполнились мельканием крыльев, хлопотливой птичьей суетней, черным весенним кипением.

— Подняли базар!—сказала о них Валентина.—Как с яровизацией, Петруня?

— В самый раз сеять!

— А что у вас вчера вышло из-за семян с Евфросиньей?

Вера подняла сердитое лицо и ответила вместо Петра:

— И не из-за семян вовсе! Семена в порядке, да с гранулированными удобрениями не перемешаны. Евфросинья и не дала засыпать в сеялку. Вцепилась в мешки — и делу конец. Характер показывает. Как стала трактористкой, так к ней и на козле не подъедешь.

Петр щурился на солнце, усмехался, и непонятно было, одобряет или осуждает он свою «молодуху».

В десять минут сделав намеченное и убедившись в том, что с семенами все в порядке, Валентина уселась в машину и поехала дальше.

Она ехала новой дорогой, пересекавшей лесной массив и в три раза сократившей расстояние между Угренем и МТС.

Глядя на клейкие листочки, проклюнувшиеся на черных ветках, она думала:

«Нам бы теперь только маленького, и не одного, а двух-трех. И чтобы все были похожи на Андрейку. Чтобы рядом со мной был Андрейка взрослый, еще Андрейка совсем крохотный, еще Андрейка побольше и еще Андрейка совсем большой, совсем похожий на настоящего».

Она тихо засмеялась, и шофер, обернувшись к ней, спросил:

— Что это вы, Валентина Алексеевна?

— Так просто. Хорошо, Ваня! Какая весна!

Еще малолюдны были поля, но гудение тракторов, отчетливое в утренней тишине, доносилось отовсюду. Неторопливые агрегаты возникали то с одной, то с другой стороны дороги. На пятом поле Валентина увидела остановившийся агрегат, около которого возились Настасья, Евфросинья и еще кто-то. Валентина выскочила из машины и побежала к ним.

— Что у вас? Поломка? Простой?

Настасья спокойно ответила ей:

— Зачем поломка? Час технического ухода.

Евфросинья сидела на корточках и смотрела на Настасью с искренним и доверчивым выражением. Как правило, она не признавала ничьих авторитетов и на всех поглядывала свысока, но если уж человеку удавалось завоевать ее признание, то она являла чудеса послушания, кротости и преданности.

Настя была в числе немногих признанных и не могла нахвалиться дисциплиной, толковостью и даже золотым нравом новой трактористки.

— К перетяжке подшипников тракторист так должен готовиться, как хирург к наиважнейшей операции,—

повествовала Настасья. Видно было, что обучает она охотно и с удовольствием, что приятно ей видеть и разгоревшееся от внимания лицо Евфросиньи, и немигающие глаза прицепщика Ленечки.

— Ты того не упускай из виду,— продолжала она,— что от подшипников зависит работа коленчатого вала, а он для трактора — почитай что сердце для человека. Ты загодя заготовь брезент, встряхни его чистенько, растяни его ровненько, на него детали будешь выкладывать. Трактор обмой, чтобы горел, как солнце, чтобы малая пылинка его не касалась; руки промой с мылом, керосин для обмывки деталей приготовь отфильтрованный, ясный, как ключевая вода. Ты трактору не скупись на уважение, он тебе за все заплатит! Ленечка, неси воду трактор мыть!

Валентина заслушалась, ее захватил этот своеобразный урок в борозде на утренней заре.

Она проверяла заделку семян, глубину пахоты, когда показались Василий и председатель соседнего маленького колхоза «Всходы» Ефимкин. Поля этого колхоза клином врезались в поля первомайцев. Настя оторвалась от трактора и недовольно посмотрела на Ефимкина.

— Идет. Морока одна с ними... Подсунула ж ты их, Валя, в мою бригаду!.. И всего-то сто пятьдесят гектаров земли, да разбиты на семь полей севооборота. Загонки такие, что хоть на одном колесе вертись.

Валентина и сама знала эту беду. До того как она стала работать в МТС, она не задумывалась над целесообразностью существования маленьких колхозов. Теперь же она воспринимала их существование как бедствие. Она видела, как теряются время и горючее на переезды с одного крохотного поля на другое, на кружение по коротким «загонкам», на всяческие организационные дела и разговоры со многими хозяевами колхозов-карликов. Она вполне понимала и разделяла раздражение Настасьи, и обе женщины с невольной неприязнью смотрели на Ефимкина.

Ефимкин, уже привыкший к тому, что его недолюбливают на МТС, подошел к ним с таким видом, словно и в самом деле был в чем-то виновен, и заговорил искательно:

— Настасья Филипповна...

— Ладно, ладно...— сурово оборвала его Настасья.— Нынче вспашем. Под одно будем пахать — одни загонки спланирую от вас к первомайцам, а там разберитесь, как знаете. Еще путаться мне тут с вами,— и другим тоном обратилась к Василию: — Принимаешь сев, Василий Кузьмич?

Василий проверил глубину пахоты, заделку семян. Присев и нагнув голову, пригляделся к рядкам — они шли ровные, как струны.

— Ну?! — требовательно сказала Настасья.

Он посмотрел на нее снизу. Широкие русые брови ее были светлее загорелого лица. Привыкшие к солнцу глаза не щурились от весенних лучей, и этот открытый свету взгляд придавал всему лицу выражение спокойной смелости.

Василий снова взглянул на поле.

Как нарядный убор порой кажется неотделимым от девичьей красоты и трудно бывает определить, где начинается красота убора и кончается красота девушки, так и ровная, словно расчесанная гребнем, земля с ее прямыми, как туго натянутые струны, бороздами казалась Василию неотделимой от Насти, и трудно было ему самому определить, к земле или к Насте отнес свое мысленное восклицание: «Эх, хороша!..»

В последнее время давняя дружба Василия и Насти стала еще глубже. Вдвоем они несли ответственность за будущее колхоза, и каждый из них был рад тому, что у него именно такой, а не иной напарник.

«Кто, кроме моей Дуняшки, для меня самый дорогой человек в колхозе? Ясно, Настюшка!» — думал он.

— Ну, так как же? — нетерпеливо повторила она.

Ему нравилось, что эта сильная, спокойная женщина так нетерпеливо ждет его оценки, и он медлил с ответом: «Пошутковать, что ли, над ней? Сказать, что не все ладно?» Но так хорош был сев, что язык у него не повернулся.

Он встал, вытер платком руки, запачканные землей, и, улыбаясь, ответил:

— Так держать!

— Ничего землица, — сказал Ефимкин. — Прирезали бы нам половину поля, чтобы на нас трактористы не обижались!

— Маленькое облако к большому пристает, а не наоборот. Пристраивайтесь к нам, мы не возражаем.

— Как это «пристраивайтесь»?

— А так! Пашни к пашням, луга к лугам! Говорят, большому кораблю — большое плаванье, а я скажу: большому хозяйству шире дорога.

Казалось, он пошутил, сказал первое, что пришло в голову, но Настя заметила боковой, скользящий, как будто едва коснувшийся Ефимкина, в действительности же цепкий и зоркий взгляд.

— Ох, и жаден ты, погляжу я на тебя! — сказал она, по-своему объяснив этот взгляд.

Он шевельнул темными бровями, прищурил густые ресницы, посмотрел куда-то вдаль за перелесок и ответил небрежно:

— Чего там жаден? От ихнего хозяйства какая прибыль? Какая в них корысть?

Потом перевел на нее уже смеющиеся глаза и добавил:

— Людей жалко! Его да вот тебя, Настюшка, жалею. Вижу, замучились вы с малыми загонками!

Он уже откровенно смеялся ей в лицо, как бы говоря: «Хотела поймать, да и не поймала!»

— Не примечала я в тебе такой жалостливости!— сурово отозвалась она.

— Стало быть, не приметлива! А я — беда какой жалостливый! Я всех жалею, а уж тебя, Настюшка, и подавно,— продолжал смеяться Василий.

Знавшая его лучше других, Настя была близка к истине — не о ней и не об Ефимкине думал Василий в эту минуту: красноватые глины, те самые глины, залежи которых узким углом выходили к первомайцам, а глубоким массивом уходили на земли колхоза «Всходы», стояли перед глазами Василия.

Глины те были удивительны, кирпичи, поделанные из них, еще до обжига держались и звенели как обожженные, специалисты из области брали из них пробы и даже посылали в Москву.

Новая идея увлекала Василия — представлялось ему новое доходное предприятие — механизированный, работающий на электроэнергии и снабжающий кирпичом весь район кирпичный завод. Мысль эта пришла ему в голову совсем недавно, из осторожности он еще ни с кем не поделился ею, но уже побывал у оврага, где помещались желанные богатства, прикинул в уме, где ставить завод и как вести электросеть. Он еще не знал, на каких началах получит соседские глины, но, шутя с Ефимкиным, прежде всего представил себе овражек с топкими склонами и с большой рыже-красной ямой, из которой колхозники брали глину для своих надобностей.

Валентина также заметила особый оттенок его как бы мимоходом сказанных шутливых слов и, не поняв их подоплеки, думала о них, продолжая путь и покачиваясь на пружинном сиденье: «Пашни к пашням, луга к лугам!» — как будто мельком сказано, а ведь нет в этом ничего невозможного! Трудно, конечно. Перепланировать севообороты, перестраивать фермы... Трудно. Но когда-нибудь это, наверное, будет и необходимо и возможно».

Навстречу попалась тракторная бригада, переезжавшая из одного колхоза в другой.

Три трактора шли гуськом, волоча за собой прицепные орудия. На первом из тракторов горел красный металлический вымпел — знак первенства,— а на последнем, рядом с трактористом, на сиденье, лежал серый ящичек рации.

Бригада везла в колхоз не только машины, но и этот вымпел, и это радио, и боевые листки МТС, и почасовой график,—она везла с собой новизну. И перекинувшись мимолетным приветствием с трактористами, Валентина подумала:

«Может быть, необходимость и возможность придут скорее, чем мы думаем... Наша жизнь обгоняет нас, и сами мы обгоняем свои стремления... Не так ли получилось с Первомайским колхозом? Он обогнал все наши планы и чаяния. А сколько новых людей поднялось и в колхозе и в МТС!»

Любомудрова исключили из партии и сняли с работы. Моторную бригаду возглавил молодой токарь Лобов. Через месяц ожидали возвращения Высоцкого из командировки, и Валентина с волнением думала о встрече со своим учителем.

Как всегда, утренний путь от дома до МТС был для Валентины путем наблюдений и размышлений, и когда она вошла в ворота, она была полна нетерпеливыми мыслями и желаниями, и тот аккумулятор нервной энергии, который она носила в себе, был на полном заряде.

Прежде всего она прошла в диспетчерскую, чтобы посмотреть сводку по работе МТС за минувшие сутки, которую к шести утра составлял диспетчер.

Беленые стены большой и светлой, как фонарь, комнаты были увешаны таблицами. Два телефонных аппарата и микрофон возвышались на письменном столе. Возле них сидел диспетчер, занятый разговором по радио.

Посередине комнаты стоял большой стол, на котором пестрой скатертью расстилалась карта района. Валентина знала каждую стежку в своем районе. В Первомайском она росла, в Угрене окончила десятилетку, в Молотовском гостила у подруги, в «Заре» жил ее дядя, вдоль реки она часто ходила в пионерские походы, по холмам бегала на лыжах, тренируясь перед комсомольским кроссом. Теперь и детство и юность приходили ей на помощь: оживляли пестрые квадраты на столе, воскрешали множество дорогих подробностей. Многочисленные разъезды по району, которые Валентина делала за последний месяц, завершили впечатления прошлых лет рассказами о сегодняшнем и завтрашнем днях района. Растительность, рельеф местности, особенности почвы и ее обработка, люди, населявшие район,—все стояло перед глазами, когда она смотрела на многоцветную карту. Зеленый, голубой, желтый разлив, казалось, колыхался в глазах Валентины. Нежно зеленели озими, дышали под солнцем пары, сосны тянулись к небу, и лесные реки подкатывали темные волны к топким берегам.

Крохотные металлические пирамидки с флажками, воткнутыми в их деревянные сердцевины, возвышались на карте. Они обозначали тракторы, и по цвету флажка сразу можно было определить, работают они, стоят на техническом уходе или терпят аварию.

Беспокойные глаза Валентины прежде всего поискали белый флажок — знак аварии и простоя.

«Нету белых!» — Она готова была улыбнуться — и вдруг заметила белый флажок у самого края карты. Она взяла вахтенный журнал и прочла еще не просохшую запись:

«6 ч. 40 минут. В бригаде № 4 расплавились шатунные подшипники».

«6 ч. 55 минут. Выехала ремонтная летучка».

Ремонтную летучку на МТС в шутку называли «скорой помощью», а к старшему разъездному мастеру, с легкой руки Валентины, привилось прозвище «профессор Склифосовский». Прозвище это вошло в жизнь МТС, и случалось, что трактористы по радио не шутя требовали «Склифосовского», считая эту фамилию подлинной фамилией мастера.

Ознакомившись с записями вахтенного журнала, Валентина подошла к большим листкам, развешанным по стенам. Здесь диспетчер с любовью и старанием ежедневно выводил кривые выработки, выполнения почасового графика, экономии горючего. По этим кривым еще издали можно было увидеть, лихорадит МТС или работает нормально, и Валентина говорила шутя:

— Это вроде температурных кривых, что ведут врачи, но шиворот-навыворот. У нас чем здоровее МТС, тем выше поднимаются кривые.

Все было здесь наглядно и очевидно, и, едва ступив через порог диспетчерской, Валентина сразу же определяла, как прошел день в МТС. Именно здесь, где сходились все нити, где, словно в зеркале, отражалось движение каждого агрегата, все приобрело волнующую цельность, и Валентина ощущала МТС как подлинный завод среди полей. Десятки машин шли в эту минуту по точно заданным маршрутам на тысячах гектаров земли, они останавливались для технического ухода и заправки в точно назначенные часы, они засыпали в землю точно отмеренные центнеры семян, и каждое движение их было продумано, размечено и предусмотрено. Диспетчерская была любимым местом Валентины, ее гордостью и отрадой, и никто так полно не разделял ее чувств, как старший диспетчер Виктор Ребров.

До войны он учился в военно-морском училище. Тяжелое ранение навсегда положило конец его мечтам о

море, но здесь, в диспетчерской, моряк снова нашел себя. Он так поставил дело, что из простого диспетчера — регистратора событий — превратился в глаза и уши МТС, в своеобразного заместителя директора. Куда бы ни уезжали Прохарченко, Рубанов, Валентина, они всегда оставляли Виктору свои координаты. Какая бы справка ни понадобилась — о расходе горючего, о выполнении норм, об исправности трактора,— все можно было получить у Виктора. Что бы ни случилось на МТС, Виктор первый узнавал о случившемся и нередко сам отдавал первое, экстренное распоряжение. Указания его всегда были так продуманы и деловиты, что все чаще Прохарченко, и Рубанов, и Валентина говорили: «Витя сделает», «Витя организует».

Для бригад, работающих на далеких участках, голос Виктора звучал как голос руководства МТС. Самое имя «Витя» в районе приобрело какое-то символическое значение. Те колхозники, которые ни разу в жизни не видели Виктора и даже не знали его фамилии, в трудных случаях вспоминали о нем и говорили: «Надо позвонить Вите». Витя связывался с нужными людьми, с их помощью разрешал сложные вопросы и тут же сообщал об этом колхозникам. Его оперативность, находчивость и внимательность производили такое впечатление, что нередко колхозники являлись на МТС и спрашивали:

— Какой такой у вас есть Витя? По всему району слава идет: «Витя, Витя из МТС». Самих нас выручал из беды, а какой он есть, и в глаза не видели!

Валентина близко знала Витю с детства, дружила с ним и ценила своего старшего диспетчера на вес золота.

— Алло, шестая!.. Алло, шестая!..— говорил Витя.

В репродукторе что-то потрескивало, словно где-то в воздухе происходили электрические разряды.

— Алло, шестая!

— Слушаю, диспетчер.

— Ремонтная летучка выехала, будет у вас через двадцать минут. Запасные узлы высланы. Наверстайте упущенное время в течение смены. Вечером радируйте выполнение графика.

— Ты здесь, Валентина Алексеевна? — Злой и смеющийся Рубанов вошел в комнату.— Ты подумай, что творят, сукины дети! Пришли наконец посевные планы из области. Если разбить по сельсоветам, то по Чернухинскому сельсовету придется вспахать восемь тысяч шестьсот гектаров черного пара, а его и всего-то по сельсовету семь тысяч гектаров. Думаю я: откуда они еще тысячу шестьсот прихватили? Оказывается, они многолетние травы в пар зачислили! — Рубанов рассмеялся, но цыганские

глаза его оставались злыми.— И весь их план не согласуется с планом севооборотов. Но они этим не обеспокоились! Они нашли выход! Они народ дошлый! Они к плану приложили выписку из приказа, где настрого запрещают нарушать севообороты. И волки сыты, и овцы целы! Ловкачи!

— Это же не первый раз!— Валентина сердито двинула счетами, толкнула графин — качнулась вода, и зыбкие веселые зайчики от нее пробежали по стене.— В областном управлении вину перекладывают на министерство. Ты знаешь, Рубанов, мне уже надоело терпеть это!— Она говорила так, словно от нее зависело немедленное прекращение всех неполадок и безобразий, творящихся на свете. Рубанов и Витя с любопытством посмотрели на нее.— Я напишу письмо в «Правду». Это будет большое письмо агронома МТС о своем министерстве и о планировании.

Вошла секретарша, принесла черновик боевого листка, который два раза в неделю рассылался по бригадам. Валентина просмотрела его.

— Ну как?— спросил Рубанов.

— «Шапка» удачная: «У полеводов и трактористов один урожай, одна дума, одна судьба». Хорошая статья, а заголовок не годится: «Взаимопомощь тракторной и полеводческой бригад в ремонте колхозного инвентаря». Ужасно!

— Не годится!— согласился Рубанов.— А если просто: «Как трактористы отремонтировали бороны и конную сеялку для колхоза»?

— Так лучше!

— Скоро ли вы уйдете отсюда?— недружелюбно сказал Витя-диспетчер.— Нету у вас своих комнат?!

Витя страдал от чрезмерной любви эмтээсовцев к своей диспетчерской.

Всех привлекала эта просторная комната, в которой особенно явственно чувствовался новый темп и новый размах жизни МТС. Сюда заглядывали при каждом удобном и неудобном случае, и Вите приходилось обороняться от любвеобильных посетителей, мешавших ему работать.

Рубанов и секретарша послушно ушли, а Валентина уселась за стол и взялась за суточную сводку. Ей не сразу удалось сосредоточиться на материалах сводки: обступили дела и мысли сегодняшнего дня.

Размах работы и ее напряженный, неуловимый, ломающийся, но все же существующий ритм требовали и от Валентины ясного представления о самых отдаленных участках работы. Уже недостаточно было ездить по полям, наблюдать за подготовкой проведения сева, состав-

лять планы и подписывать договоры с колхозами. Надо было организовать людей, надо было заметить каждое ценное новшество, возникшее где-то в далеком, затерянном в лесном массиве поле, надо было растить это новшество, делать его достоянием всей МТС. Письмо в «Правду» и статья в боевом листке становились такой же неотъемлемой частью ее работы, как наблюдение над глубиной пахоты и заделкой семян.

Склонившись над сводкой, она вспоминала Настю и утренний урок в борозде. Далеко не все старые трактористы обучали молодежь так внимательно и любовно. Как сделать, чтобы опыт Настасьи стал достоянием всех? Это необходимо, от этого зависит очень многое, но собрать трактористов со всего района сейчас, во время посевной, невозможно! Значит, опять браться за боевые листки, инструктировать агитаторов, связаться с районной газетой... А сегодняшняя статья в боевом листке...

Трактористы починили конную сеялку полеводческой бригады. Маленький факт, а он говорит о глубоком, важном процессе — о растущем сближении между колхозами и МТС. Ее дело — направлять этот процесс и повседневно, умело, конкретно руководить им. А вот вопрос совсем другого плана — оборудование вагончиков для трактористов. Тут надо нажимать на Прохарченко. Она поймала себя на том, что мысли ее разбросаны, и рассердилась. «Хочу добиться ритма и организованности от МТС, а сама даже мыслей своих не могу организовать. Всему свое время... С шести часов до половины седьмого мне надлежит заниматься суточной сводкой».

Она углубилась в цифры.

В диспетчерской царила тишина, и Валентина ощущала ее успокаивающее влияние, как ощущают теплую воду. Тишина и спокойствие в диспетчерской говорили о том, что жизнь на полях района течет гладко и мерно, что машины идут без поломок и простоев, что графики не нарушаются, что контакт между полеводами и трактористами не прерывается.

Не успела Валентина вдосталь мысленно насладиться заманчивой картиной вполне ритмичной и налаженной работы на полях района, как гневный женский голос с разлету ворвался в комнату.

— Диспетчер, диспетчер, диспетчер! — отчаянно забилось в репродукторе. — Где тебя носит нелегкая, Витя-диспетчер? — Так нетерпеливо могла говорить только Евфросинья.

— Диспетчер слушает. Кто говорит?

— Говорит девятая. Витя-диспетчер, простаиваю восьмую минуту. Колхоз не подвозит семена. Витя-диспетчер,

свяжись с правлением по телефону, скажи — трактор встал в борозде, скажи им всем своими словами, что если они через пять минут не подвезут семена, то я их гусеницами передавлю, честное слово! Витя-диспетчер...

— Кончай тарахтеть... Жди у микрофона. Сделаю.

Витя взял телефонную трубку.

— Первомайский.— Его соединили сразу; по распоряжению Андрея диспетчерская включалась в телефонную связь вне всякой очередности.— Товарища Бортникова! Товарищ Бортников, трактор встал в борозде из-за неподвозки семян. Немедленно высылайте семена. В десять минут, под вашу личную ответственность! В десять минут не успеете? В двадцать? Хорошо. Засекаю время. Проверю. Не забывайте, трактор простаивает!

Он окончил разговор с Бортниковым и снова вызвал Евфросинью:

— Девятая, девятая!

— Девятая слушает,— ответил сердитый и плачущий голос.

— Говорил с Бортниковым. Семена будут через двадцать минут.

— Витя, Витя, ты их проверь, ты на них не полагайся! Витя, Витя, Витя-диспетчер, ты скажи: «Трактор встал в борозде».

— Не тарахти, знаю. Сделаю.

«Трактор встал в борозде»,— тревожный звук этих слов доставлял Валентине наслаждение. Давно ли тракторам случалось простаивать часами, и трактористы грели бока, валяясь на солнцепеке в ожидании ремонтной летучки, а теперь простой в несколько минут — и трактористки уже плачут в репродуктор, и слова «трактор встал в борозде» звучат как «SOS» — сигнал бедствия.

Улыбка сама собой растеклась по лицу, и Валентина, обняв широкие Витины плечи, погладила его кудрявую шевелюру и сказала:

— Витенька, а ведь у нас и в самом деле почти завод.

Но Вите импонировало другое сравнение.

— Военно-морской стиль, Валя,— усмехнулся он.

Пока Валентина сидела в диспетчерской и любовалась Витиной работой, Евфросинья ходила вокруг трактора и призывала на голову своего мужа, бригадира полеводческой бригады Петра Бортникова, все существующие и не существующие в природе беды:

— Чтоб ему в печенки встрелило, чтоб ему болячки повысыпали! Чихнуть себе не позволяешь, держишь почасовой график, а они не почешутся семена подвезти. Я ему

покажу, я не посмотрю, что он на мне женился, я ему объясню, кто я такая! Ленечка, давай мне бумагу!

Прицепщик дал ей лист бумаги, и, примостившись у баранки, она вывела:

«Акт. Составлен настоящий акт на простой трактора по вине халатного бригадира полеводческой бригады Петра Бортникова. Прошу правление колхоза наложить взыскание, чтоб другим было неповадно.

К акту подписалась трактористка

Евфросинья Бортникова».

Мимо поля ехала машина, и Евфросинья, обуреваемая нетерпением, попросила знакомого шофера подвезти ее до Первомайского.

«Если по дороге встречу воз с семенами, поверну обратно, а если не встречу, то пускай они в правлении держатся за стенки!»

Семена грузили на подводу, когда на семенной склад ворвалась разъяренная Евфросинья:

— Который тут у вас бригадир Петро Бортников?! А где он у вас тут есть? А давайте мне его перед мое лицо!

— Ну, ну, ну...— заговорил ошеломленный ее криком Петр.

— Ты мне не «нукай»! Ты чего моей бригаде вредительство устраиваешь? Трактористы из машины не вылезают, еды и сна лишаются, твою землю обрабатывают, а ты семена не почешешься доставить!

Петр побледнел и сжал зубы.

«Только бы смолчать! Если заговорю, то либо выругаюсь так, что небо загорится, либо... либо вдарю чертову бабу...»

Его бледность и молчание отрезвили Евфросинью.

— Ночами не спим...— заговорила она спокойнее.— Валентина, знаешь, как спрашивает с нас за почасовой график? А что мне терпеть? Почему я должна через вас переживать?

Петр молча вынул часы и показал их жене:

— Без четверти семь.

— Ну что ж?

— Ты говорила, что по часовому графику второе поле начнешь сеять в семь. К семи как раз я обеспечу семена.

— А если трактористы еще ночью график перевыполнили?

— А мне откудова знать?

— Должен знать! Настя тебе говорила, чтоб семена были с запасом! Настя тебе ставила условие, чтобы семена завозили загодя!

— Мы все время загодя завозили. Вчера у нас сеялка поломалась, с ней провозились.

— Которое мое дело до вашей сеялки? Мне чтоб были семена — и весь разговор! Еще мне об ваших сеялках не было печали!

«Разведусь,— думал Петр.— Как пить дать — разведусь». Но он только тешил себя этими мыслями. Он смотрел на румяное, круглое лицо жены, на ее золотистые, тонкие, как у ребенка, брови, на ее неправдоподобные глаза и чувствовал, что даже в эту злую минуту его тянет к ней. «В старину бы просто сказали — ведьмачка! К знахарю бы свели. А теперь что мне делать?»

Он не мог себе представить жизни с другой женщиной. Несмотря на ее невозможный характер, в Евфросинье были неиссякаемые запасы веселья, энергии и находчивости; она никогда не унывала, не выносила бездействия, сама не знала скуки и другим не давала скучать. Вокруг нее все шло колесом и все бурлило, для всех она находила занятие и всех вовлекала в свою кипучую деятельность.

— Смотри, Петро, если ты мне изменишь, худо тебе будет,— как-то шутя пригрозила она ему.

— Мне с одной с тобой столько мороки, что едва душа в теле! Какие уж там другие! — отшутился Петр, но он не шутя знал, что никто не заменит ему Евфросинью.

Иногда, поссорившись с ней, он пытался представить на ее месте Татьяну или Веру и тут же отвергал это представление:

«Либо запью, либо с бабами закручу, либо сбегу со скуки. Никто, кроме Евфросиньи, меня не удержит, и ни с кем мне не жить!»

Особенно плохо ему приходилось с тех пор, как Евфросинья стала трактористкой.

Еще до отъезда на курсы она уже смотрела на всех свысока и пренебрежительно говорила:

— Полеводы! Это разве специальность! Одна отсталость!

Вернувшись же с курсов, где она овладела двумя специальностями — тракториста и комбайнера, она возомнила о себе так много, что домашняя жизнь Петра превратилась в пытку. Он вполне понимал всю серьезность своего положения. Развестись с женой он не мог, но и жить с ней становилось невозможно. Хуже всего было то, что он знал ее и другой — кроткой, преданной, веселой. Такой она бывала с ним в редкие хорошие минуты, такой она бывала всегда с теми, кто пользовался у нее непререкаемым авторитетом: с Настасьей, с Авдотьей, с Валентиной. У Петра был только один выход из положения: надо было завоевать у нее такой же авторитет

и во что бы то ни стало доказать свое превосходство над ней в зрелости суждений, в уме, в опыте.

Петр понимал это, и в противовес отчаянному характеру жены в нем вырабатывались вдумчивость и спокойствие, и подчас, стискивая зубы, он противопоставлял ее скандальному натиску свою нерушимую выдержку.

Евфросинья торжествующе ткнула в лицо мужу акт:

— Вота!

Он не спеша прочитал акт. С подчеркнутым спокойствием коротко сказал:

— Не признаю.

— Как это ты не признаешь?! — На пороге появился Василий, и Евфросинья атаковала его: — Василь Кузьмич, что это твой бригадир самовольничает?

«Василий ее приструнит! — подумал Петр.— Она его побаивается — обжигалась на нем».

Пока Василий читал акт, поставив одну ногу на весы и хмуря брови, Евфросинья и Петр стояли друг против друга, прислонившись к высоким переборкам закромов, а девушки из молодежной бригады смотрели на них во все глаза. Они жалели своего бригадира, негодовали на Евфросинью и наслаждались неожиданным зрелищем.

— Что же это, Петро?! Акт! — укоризненно сказал Василий.

Петр и бровью не двинул:

— Не признаю.

— Почему не признаешь?

— Имею ихний часовой график. По графику, они должны сеять второе поле в семь часов. К семи я бы семена обеспечил.

— А если мы график перевыполняем? Что же теперь, трактористам нельзя график перевыполнять?

— А откудова мне известно, что они график перевыполняют?

— Должно быть известно,— сказал Василий.

Петр был уверен в том, что Василий встанет на его сторону. Кому же и защищать своих колхозников, как не председателю? Трактористы — вообще такой народ, что им палец в рот не клади, а в данном случае собственная правота казалась Петру несомненной.

Позиция Василия и удивила и возмутила его.

— Да ты что, брательник? — сорвался он.— Ты телевизора мне еще не покупал, чтобы я мог глядеть вперед за четыре километра!

— А почему с утра не побывал на поле? Почему я и другие бригадиры на заре поспеваем обойти поля? Поспел

бы с утра в поле, все бы тебе было ясно. Насчет семян и насчет графика договорился бы.

— И я всегда поспеваю с утра, а нынче у меня сеялка сломалась. С ней возился...

— Это, друг, не причина. Акт придется подписать.

Василий хорошо помнил разговор о взаимной требовательности, который вел он с Настасьей в демонтажно-монтажном цехе в присутствии партактива. Слова у него не расходились с делом.

Он подписал акт и вручил его торжествующей Евфросинье. Петр со зла так двинул мешки, что зерно струей потекло на пол. Василию стало жалко брата.

— Ничего не поделаешь, Петрунька, простой по нашей вине — это факт. Кто назад тянет, тот всегда не прав.

Тем временем Евфросинья, воодушевленная успехом, присела у весов и с вдохновенным лицом что-то царапала на листке бумажки. Исписанную четвертушку она протянула Василию. Он нахмурился.

— Это еще что?

— Еще акт!

Евфросинья, как видно, вошла во вкус. Добившись одной удачи, она тотчас захотела другой.

Василий взял у нее бумагу.

«Составлен настоящий акт в том, что вчера, в четыре часа дня, в комсомольской бригаде Первомайского колхоза в течение получаса простояла конная сеялка».

Василий прочитал и молча уставился на Евфросинью. На лбу у него появилось красное пятно.

— Так то же не МТС, не трактор, то наша колхозная бригадная сеялка! Какое она имеет касательство до МТС и до тебя?

Тут не выдержала даже тихая Вера Яснева:

— Да что ж это такое, в самом деле? Или Фроська — всему колхозу начальник?! Ты своим трактором командуй! Ты над нашими сеялками не распоряжайся, не воображай из себя! Нечего свой нос совать, куда тебя не просят!

— А вы с нами договор заключили? — Евфросинья так затрясла головой, что от ее пестрой косынки, пестрых, цветастых зрачков и мелких кудряшек у Василия зарябило в глазах.— А вы в договоре подписывали: засеять шестое поле на конной сеялке в сжатые сроки? Я по вашему колхозу добиваюсь урожая в двадцать пять центнеров, а вы мне будете простаивать и центнеры гробить? Я вам не дамся меня губить! Не на такую напали!

Василий сел на весы и еще раз перечитал Евфросиньины каракули. Ему хотелось взять крикливую бабу за шиворот и выбросить со склада.

«Дай ей волю — она будет в каждую щель лезть и на каждую мелочь царапать акты. Мало ли что бывает в хозяйстве! Не только бригадира, а и председателя подомнет. Шугнуть отсюда чертову бабу, чтоб знала место!»

Он злился на Евфросинью, но в то же время сознавал какую-то ее правоту. «Если не думать об Евфросинье с ее криком и нахальством, если думать о существе дела, то, может, это даже хорошо, что трактористы вникают во все хозяйство. Если поглядеть с партийной точки зрения, то, может, и не худая бумажонка в моих руках».

С минуту Василий молча сидел на весах. Его раздирали противоречивые чувства — раздражение против Евфросиньи и желание посмотреть на происшествие с партийной точки зрения. Последнее победило. Он еще раз вспомнил собрание в демонтажном цехе, пересилил себя и подписался под актом с таким злым нажимом, что сломал карандаш.

— Ладно. И этот акт принимаю. Гляди, бригадир, сколько непорядков: трактор стоит, сеялка вчера стояла.

Петр молчал, а девушки хором вступились за него:

— Что вы нашего бригадира ругаете?

— Конь на четырех ногах — и то спотыкается!

— Мы Петро не дадим в обиду. Для нас бригадир хороший, зачем все его ругаете, дядя Вася?

— А зачем мне дожидаться, пока он плохим станет? — отшутился Василий. — Хороший бригадир, а допустил беспорядок! С хорошего спросу еще больше, чем с плохого.

Торжествующая Евфросинья победительницей уселась на воз с семенами.

До полудня все шло хорошо. В специальной рамке, прицепленной к трактору, под стеклом на белом листке были вычерчены маршрут и график работ. Все было указано и предусмотрено: где и на какой скорости вести трактор, где заправляться, где забирать семена.

Мешки с семенами стояли на точно обозначенных местах в концах загонов. Две бочки, наполненные водой, возвышались с обеих сторон поля. Загонки были спланированы так удачно, что повороты получались пологими, почти незаметными. Обе сеялки работали бесперебойно, и половина поля уже лежала засеянная, вся исчерченная такими ровными и точными рядками, словно землю любовно причесали густым гребнем. Евфросинья то и дело поглядывала на часы, чтобы проверить выполнение часового графика, — график был нерушим. Новенькие часы лучились на солнце, и настроение у нее было превосходное.

«Опять выйду с суточным перевыполнением графика,— думала она.— Прохарченко сказал: «Поработаешь на «старике» с перевыполнением — через неделю пересажу на новый трактор». Воображение рисовало ей те похвалы и восторги, что выпадут в скором времени на ее долю. «И что же это, скажут, за девка? Самый молодой тракторист на всей МТС, а от тысячников не отстает. Ни простоев у нее, ни поломок, и что на пахоте, что на севе, что песню спеть, что в кругу заплясать — во всем эта девка впереди всех! Дать ей самый наилучший трактор за ее заслуги!» Она то запевала обрывки каких-то отчаянно веселых песен, пугая ими грачей, то начинала высчитывать, сколько сэкономила времени на пологих поворотах.

«На поворотах малого радиуса можно сэкономить до двадцати секунд, а за смену я сделаю не менее пятидесяти поворотов, итого получается до трех тысяч секунд. Значит, около часа экономии на одних поворотах. На цельный час обгоню свой график».

Слаженность и четкость работы увлекли не только ее, но и Ленечку, и Веру, стоявших у сеялок. Вера склонна была простить Евфросинье даже акты и скандал на семенном складе: «Евфросинья не только на язык, но и на работу злая. Оглянуться не успели, как полполя засеяли».

Вдруг мерный рокот стал перебиваться. Казалось, машина захлебывается. Агрегат пошел медленнее.

— Не тянет. Мощность упала,— сказала Евфросинья и успокоила помощников: — Сейчас я его двину! Он у меня долго не простоит.

Трактор действительно снова пошел нормально, но через четверть часа совсем застопорил.

Евфросинья лихо соскочила на землю.

— Сейчас дойму старика, сейчас будет порядок!

Она возилась у машины,— лазила и под нее и на нее,— трактор не двигался.

— Вызови ремонтную летучку! — посоветовала Вера.

— Вот еще! — сказала Евфросинья.— Сама слажу.

Вызвать ремонтную летучку она не могла. Не дальше как вчера вечером в МТС она во всеуслышание похвалилась перед трактористами и ремонтниками:

— У какого тракториста голова на плечах, тому летучка не нужна, тот сам машину понимает. Я без летучки обходилась и впредь обойдусь.

— Ой, не зарекайся, не обойдешься,— сказал ей Витя-диспетчер.

— Обойдусь!

— Хвастаешь! Не обойдешься! — подзадорили трактористы.

— Обойдусь!

— Поживем — увидим!

— Вот и увидите!

— Видали одну такую!

— Таких, как я, еще не видывали!

Разговор произошел не раньше не позже, а, как назло, вчера вечером. Трактористы были зубастые ребята и не упустили бы случая посмеяться над хвастливой и злой на язык Евфросиньей. Она знала это и согласилась бы скорее живой лечь под трактор, чем вызвать летучку.

«Настю бы мне!..— думала она.— Один выход — Настю!» Но Настя ночью подменяла заболевшего тракториста и с утра, обеспечив бригаду всем необходимым, ушла спать. До села было три километра.

— Вера, Ленечка! Бегите бегом за Настей.

Петр в полдень ехал в поле с конной сеялкой, проездом завернул посмотреть, как идет тракторный сев, и не узнал жены. С ног до головы выпачканная землей, керосином, автолом, жалкая и растрепанная, она в полном одиночестве сидела на земле возле неподвижного трактора. Пестрая косынка, обычно кокетливо повязанная, теперь плачевно болталась где-то между затылком и плечами. Тугие кудряшки растрепались, торчали штопорами на макушке — Евфросиньины волосы обладали редкой способностью стоять вертикально. Поле было пустынно, и только унылая фигура Евфросиньи да молчаливый трактор возвышались на ровной поверхности.

Увидев Петра, Евфросинья отвернулась. Утром она составила на него акт за десятиминутный простой, а теперь она простаивала уже полчаса. Она представила себя на месте Петра и услышала все те злорадные и язвительные слова, которые она наговорила бы ему в отместку за акт, сжалась и втянула голову в плечи. Но Петр не язвил и не злорадствовал:

— Ты чего? Чего у тебя?

От его участливого тона ей стало совсем плохо.

Она убрала с глаз кудряшки, причем на лбу осталась длинная грязная полоса, кивком головы указала на трактор:

— Пойдет-пойдет да встанет... Пойдет-пойдет да встанет...— В голосе у нее послышались слезы.

— Летучку вызывала?

— Уехала в другую бригаду,— соврала Евфросинья.— Веру, Ленечку послала за Настей. Да ведь пока дойдут туда да обратно...

Она всхлипнула.

— Эй! — крикнул Петр.— Алексаша, выпрягай коня из сеялки — и в момент на деревню за Настей! Скажи, что

трактор стоит, а летучки нет. Пускай в этот же момент верхом на поле!

Евфросинья подняла заплаканные глаза:

— Петруня, а как же сеялка?

— Пусть лучше конная сеялка простоит полчаса, чем трактор простоит час. А ты тем временем утрись, подбери слюни и попробуй, не торопясь, сама разобраться по порядку. Деталь за деталью.

Он расстелил брезент, и тихая, как травинка, Евфросинья по его команде покорно и беспрекословно стала разбираться в деталях. Петр с любопытством смотрел на разверзшееся нутро машины. На лоне двигателя переливались и блестели детали из меди и латуни. Трубки из цветного металла были начищены, и щегольские кольцевые полосы были наведены на них,— этому щегольству Евфросинью научил Витя-диспетчер. Он сказал ей, что так делается на деталях судовых машин.

— Красиво!—сказал Петр.

Вид этой бесполезной красоты, которой Евфросинья гордилась и хвасталась еще сегодня утром, окончательно вывел ее из равновесия. Сколько было стараний, надежд и радостей—и все зря! Слезы часто закапали на латунь и медь.

— Это ты что ж, вместо автола?—пошутил Петр.— Ну чего ревешь? Бывает и у опытных трактористов. Случается...

Вскоре приехала Настя.

— Поршневые кольца сработались, и свечи забрасываются маслом при снижении оборотов. Этому делу можно помочь.

К довершению всех Евфросиньиных напастей в обед, когда все полеводы собрались на поле, появилась Лена, работавшая агитатором, и принесла боевой листок. Евфросинья смотрела на боевой листок, не чуя в нем лиха: работала она хорошо, а слухи о ее сегодняшних злоключениях еще не успели дойти до МТС, но когда Лена стала вслух читать статью «О том, как трактористы отремонтировали сеялку и бороны для полеводов», Евфросинья окончательно приуныла. Она боялась, что и Вера, и Петр, и другие полеводы после чтения будут ругать ее за то, что она только задирала их да составляла акты, когда портилась конная сеялка. Но заговорили не полеводы, а Настасья:

— Тут мы промахнулись. Акты составляем, а помощи в ремонте не оказываем. Тут нужен двусторонний подход. Если уж мы считаем себя за передовых, то надо и по сознательности тоже быть передовыми.

Вторая половина дня прошла без происшествий.

Вечером, после смены, Евфросинья напекла мужу ватрушек и старательно угощала его:

— Ешь, Петруня, а то ты тощать начал! Ведь экая у тебя работа злая, хуже трактористовой.

Она была необыкновенно тиха и услужлива.

Петр поел и улегся спать, а она ходила по комнате, все заглядывала в его сонное лицо.

Он украдкой наблюдал за ней из-под прикрытых век. В последнее время чаще всего он слышал от нее четыре слова: «Вот еще!» и «Чего еще!»

— К другим мужьям жены ластятся,— говорил он ей,— а ты у меня одно — шипишь как змея.

Но за сегодняшний вечер она ни разу не сказала ему: «Вот еще!»

«Я тебя доконаю,— и с ожесточением, и с насмешкой, и с любовью думал он.— Я из тебя сделаю человека».

— Фросюшка,— произнес он притворно сонным голосом,— забыл тебе сказать: в Угрень в магазин велосипеды привезли. Покупай, уж если тебе больно хочется.

Каждое слово в этой как будто бы ленивой фразе было обдумано и рассчитано.

Спор из-за велосипеда шел между ними вторую неделю. Петр хотел подкопить еще денег на мотоцикл, а Евфросинье не терпелось кататься на велосипеде. Теперь Петр убедился, что правильный подход к жене найден, и решил продолжать в том же духе и рано или поздно доконать Евфросинью своим благородством.

— Катайся, я не возражаю,— продолжал он.— Съезди в воскресенье в Угрень и выбери, который тебе по вкусу.

Она легла рядом с ним, прильнула к нему и заговорила в самое ухо:

— А ну его, велосипед! Зачем он мне, если он тебе не по нраву! Купим к осени мотоцикл. И отрез, что привезли из города, тоже мне ни к чему. У меня хватит нарядов, давай тебе пошьем тройку! Брюки широкие, плечи накладные, как нынче шьют по моде. И эти... часы-то, что я купила, возьми тоже себе. У тебя в бригаде тоже почасовой график, тебе тоже надо. Тем более ты все-таки бригадир. Возьми, будто от меня в подарок.

Она была не корыстна, обладала широкой натурой и, раз уж начав дарить, дарила от чистого сердца.

«Ведь может же быть с ней так, что лучше и придумать нельзя,—думал Петр.— Если б уж она плохая была! Она у меня, может, всех лучше, только озорная! Одолею я ее озорство или нет? Одолею. Только самому надо рассудительностью запастись на двоих. Повзрослеет, дети пойдут — и вовсе будет ладная баба!»

Они долго не спали в этот вечер, а когда часы пробили двенадцать, Евфросинья подняла голову и сказала:

— Гляди, гляди, Петруня, в окно! Наших видать!

Петр увидел за окном в ночной темноте медленное движение далекого огонька.

— Пашут! — сказала Евфросинья и босиком подбежала к окну.— Петруня, а Петруня, а нынче дядя Вася с Валей и с Ефимкиным были на поле. Настя стала Ефимкина ругать за то, что загонки маленькие, а он и говорит: «Чем, говорит, ругать, принимайте нас к себе». А дядя Вася говорит: «Что ж, мы примем. Пашни, говорит, к пашням, луга к лугам». Петрунь, а Петрунь, а что бы всему сельсовету объединиться в один колхоз? Могучий колхоз получился бы. Тогда бы и каменный клуб построили с танцевальным залом и радиолой, как в городе, на курсах. А уж загонки бы тогда были — езжай не хочу! Трактористам раздолье!

Евфросинья мечтала, а маленький трудолюбивый огонек упорно плыл вперед, пересекая темный квадрат окна.

6

НА ТРЕТЬЕЙ СКОРОСТИ

С весны Авдотья вместе со всеми животноводами переселилась на Алешин холм. Там все уже было организовано. Люди и стада жили привычной, устоявшейся лагерной жизнью, но работы у Авдотьи не уменьшилось: много сил и времени уходило на создание кормовой базы. Целые дни Авдотья вместе с кормодобывающей бригадой проводила на полях кормового севооборота, на выпасах, болотах и поймах.

Василий сам с особым вниманием относился к работе кормовой бригады и шутливо говорил:

— Хлебом мы людей накормили до отвала, теперь вопрос идет о молоке и масле, о курах и индейках.

Индеек Авдотья привезла на развод из города, и весь колхоз дивился огромным, голенастым, крикливым птицам.

Ксенофонтовна пыталась объяснить особое внимание Василия к животноводству по-своему:

— Жене потакает. Что она заикнется, то ему закон. Захотелось птичьи дома на колесах, кур в поле возить — пожалте птичьи дома! Захотела деревянные кроватки для телят — пожалте вам телячьи кроватки! Что она заблажит, то он и делает. Хуже молодого пристрастился к своей Дуняшке!

Наговоры Ксенофонтовны ни у кого не имели успеха, и даже ее наперсница Степанида цыкнула:

— Перестань язык чесать! К делу он пристрастился, а не к Авдотье!

Со времени отъезда Авдотьи на Алешин холм особенно заскучала Степанида. После смерти Кузьмы Бортникова вся жизнь ее покосилась. Еще зимой Финоген стал начальником участка, получил там квартиру и уехал вместе с женой. Фроська не пожелала идти под начало к властной свекрови, и Петр переехал к ней. Степанида осталась совсем одна в своем большом, обжитом и богатом доме. Сыновья и невестки относились к ней хорошо, но у них была своя, независимая от нее жизнь. Иначе представляла Степанида себе свою старость. Думала она, что и дети и внуки осядут возле богатства, накопленного ею, будут блюсти и умножать это богатство, будут почитать и слушаться ее самое как его источник, как оплот их жизненного благополучия.

И представляла она себя главой большого, многолюдного дома, сильной своим богатством и опытом, самой почитаемой среди всех, властительницей судеб своих детей и внуков.

Все получилось иначе.

Со смертью старика дети все дальше отходили от нее. С удивлением замечала Степанида, что не только невестки ее, но и сыновья охотнее бывают в простенькой избе Василисы, чем в ее собственном богатом доме.

Чтобы привлечь их к себе и увеличить свой вес и цену, она все чаще стала поговаривать о наследстве. Она зазывала к себе невесток Авдотью и Евфросинью и открывала перед ними свои укладки.

— Это полотно льняное, чистое, тонкой выработки откажу я тебе, Дуняшка, а шуба со скунсовым мехом как раз под рост Евфросинье.

Обе невестки смотрели на нее равнодушными глазами и старались прекратить эти ненужные разговоры о наследстве.

Увидев, как мало цены придают ее дети тому, ради чего она прожила всю жизнь, Степанида попыталась отвести душу с внучками. Она говорила своей любимице Дуняшке:

— Вот вырастешь, станешь невестой, я тебе этот шифоньер откажу. И сукно это тебе откажу — пошьешь ты себе, Дуняшка, суконную шубку. А когда я помру, все твое будет!

На Дуняшку не производили впечатления ни шифоньер, ни сукно. Она скучала со Степанидой и все рвалась на овчарню к Василисе.

Однажды в доме у Василия сидели за ужином и хозяева, и обычные у них гости, среди которых были

Степанида и Валентина. Разговор шел о колхозных делах. Вдруг маленькая Дуняшка, вне всякой связи с предыдущим разговором, через стол во всеуслышание спросила у Лены:

— Тетя Лена, а когда ты помрешь, то откажешь мне свою зубную щетку?

Голубая пластмассовая щетка Лены была предметом Дуняшкиных вожделений.

На мгновение воцарилась тишина — таким неожиданным и нелепым показался Дуняшкин вопрос. Потом все расхохотались, а Лена сказала:

— Не дожидайся, пожалуйста, моей смерти, Дуняша! Зубную щетку я тебе и живая подарю!

Авдотья шлепнула Дуняшку, чтобы не желала смерти добрым людям, а Василий сердито нахмурил брови и обернулся к Степаниде:

— Это вы, маманя, забили ей голову.

Когда Степанида убедилась, что все накопленное в течение ее жизни не имеет цены в глазах окружающих и что даже маленькая Дуняшка предпочитает всему ее великолепию пластмассовую зубную щетку, она затосковала. Жизнь утратила для нее смысл и значение. Она потеряла интерес к своему опустевшему дому, к саду, к огороду. В доме Василия, где она коротала вечера, и в доме Петра, куда она часто заглядывала, все разговоры вертелись вокруг колхоза. Мрачно слушала она эти разговоры, потому что чувствовала себя чужой в колхозе.

Запомнился ей и растревожил ее и еще один неприметный на первый взгляд случай.

Необходимо было продать на базаре часть колхозных овощей. Василий решил, что никто не справится с этой задачей лучше, чем Степанида, и заявил ей:

— Придется вам, маманя, поторговать в Угрене на базаре колхозными овощами.

В первый же день к ней пришли несколько колхозников с просьбой прихватить на базар их продукты.

Евфросинья принесла целое ведро сметаны.

— Мать у меня заболела, а сметана портится! Не самой же мне по базарам бегать!

С тех пор как она стала трактористкой, она считала зазорным для себя стоять у базарной стойки.

Степанида сперва взялась за дело охотно. «Колхозное продам, заодно и свою коммерцию не забуду... Одно к одному...»

Ранним утром, когда она уже сидела на машине, груженной продуктами, Василий подал ей сверток:

— Тут, мама, для вас санитарное обмундирование.

Степанида скептически посмотрела на белый фартук,

нарукавники и марлевые салфетки, подумала, представила себя на базаре в белом облаченье, сунула сверток в корзину и неопределенно буркнула:

— Ну-к что ж...

Все это казалось ей излишним и похожим на маскарад, но терпимым.

Вслед за свертком Василий подал ей выкрашенную масляной краской дощечку, наверху которой было написано: «Ларек колхоза имени Первого мая», ниже красовалась надпись «Прейскурант» и шло наименование продуктов с указанием цен. У Степаниды сразу остекленели глаза.

— Это чего?

— А это, маманя, мы на правлении определили цены, чтобы без запроса и по справедливости. Мы не спекулянты, у нас колхозная торговля.

Торговля без запроса! Предприятие моментально утратило всякий интерес для Степаниды. Торговать без уловок, без хитрости, без лихорадочных подсчетов, на сколько выручка больше или меньше ожидаемой! Что же тогда делать человеку на базаре?! Степанида попыталась не заметить дощечки и, словно впопыхах, поспешно задвинула ее за мешки.

Но Василий великолепно понимал весь ход ее мыслей, он извлек дощечку из-под мешков и настойчиво сунул ее прямо в руки Степаниде:

— Не затеряйте, маманя! Тут все цены обозначены. Чтоб все шло в точности, без запроса, по постановлению правления.

— Уж и гривны нельзя запросить?! — с досадой спросила Степанида.

— И полушки нельзя. Сказано: без запроса!

— А как с единоличным товаром?

— Хотят по общеколхозным ценам продавать — пускай продают, а не хотят — пускай сами торгуют.

Степанида горько пожалела о том, что ввязалась в это никчемное дело, но отказываться было поздно: грузовик уже двинулся. Мрачная сидела она среди мешков с овощами. Великолепная морковь «шантене» и лук «цитауский» лежали за ее спиной. Час назад она уже рассчитала все: сколько можно выручить на их великолепной желто-розовой окраске и чего стоят сами названия — лук «цитауский» и морковь «шантене».

Теперь Степанида относилась и к названиям и к товару с полнейшим безразличием: «цитауский» — не «цитауский», «шантене» — не «шантене»,— какая разница, если цена все равно определена заранее и написана на дощечке и ни полушки лишней на этой «шантене» не заработаешь!

Предстоял очень скучный и даже не совсем понятный Степаниде день. «Торговля не торговля, базар не базар! И чего ради я еду?»

Однако все оказалось иначе, чем она думала.

И вывеска с названием колхоза, и белые нарукавники, и марлевые салфетки сразу поставили ее в новое, никогда прежде не испытанное положение.

— Зачем у кого попало покупать, когда здесь колхозная торговля!—говорили покупатели и шли к Степаниде.

Никто не тыкал в сметану пальцем и не кричал:

— Намешала простокваши с мукой, да еще просишь втридорога, бесстыжие твои глаза!

И никому она презрительно не бросала в ответ:

— От бесстыжей слышу!

На базаре стояли обычная сутолока и гомон:

— Смородина, смородина—угренский виноград! Кому угренского винограда?

— Грузди соленые, в пироги годятся, к водочке в самый раз!

— Творогу, творожку! Творогу, творожку!

Но Степанида уже с пренебрежением поглядывала на своих крикливых товарок: она была выше всего этого. Разговор вокруг нее шел культурный и уважительный. Покупатели забирали покупки, говорили: «Спасибо!»—и, уходя, прощались, как со знакомой. Через несколько базарных дней у Степаниды образовалась своя клиентура.

Особое впечатление произвела на Степаниду одна встреча.

Однажды голубая «Победа» остановилась у площади, и сам Угаров, председатель известного всей области колхоза, вошел в базарные ворота. Высокий, на голову выше всех окружающих, он шел неторопливо, спокойно, не теряясь в базарной сутолоке.

Внимательные глаза его медленно переходили с одного предмета на другой, все видели, все замечали и, казалось, вбирали в себя окружающее. Он направился к ларьку своего колхоза, но умело разложенные товары Степаниды привлекли его внимание. Он подошел ближе к ней.

Ни одного человека во всем районе не уважала Степанида так, как уважала Угарова. В течение многих лет с любопытством и невольной завистью она следила за его судьбой. Она любила своего мужа, почитала его лучшим мужиком во всем районе и, только вспоминая Угарова, вынуждена была признать, что существует человек, рядом с которым меркнет даже ее уважаемый всеми Кузьма Васильевич. Авторитет Угарова, его известность, его влияние, его хозяйственные таланты, его вельможная осанка, его не громкий, но властный говор, его голубая

«Победа» — все было живым воплощением Степанидиных идеалов. Еще в расцвете лет, встречаясь с Угаровым в Угренском клубе, на собраниях, на гулянках и на базаре, Степанида начинала оживленнее, чем обычно, говорить и громче смеяться — хотела, чтобы он ее заметил. Угаров же не замечал ее, не знал о ее существовании и не подозревал, что есть в Угренском районе неглупая и властная баба, которая единственно перед ним, Угаровым, согласилась бы склониться.

В базарный день впервые в жизни Угаров подошел к Степаниде и заговорил с ней:

— Первомайского колхоза торговля? Чем богаты?

Полувековой базарный опыт помог Степаниде мгновенно сориентироваться. Она откинула плечи, чуть улыбнулась и ответила со степенным достоинством:

— Вы бы лучше спросили, чем мы не богаты. Вот лук «цитауский» раннеспелый... Сорт завозной, из дальних мест, в наших краях редкостный. Вы, видно, и не слыхивали о таком? Содержит витамины в большом количестве. Потребляется для вкуса, а также для лечения малокровных болезней... Вот морковь «шантене», сорт среднеспелый, сладкий, сахарный. Могу вам рекомендовать! Тем особо хорошо, что до весны пролежит, не испортится.

Минуту назад Степанида и сама не подозревала о наличии у себя в памяти таких слов и сведений.

Угаров слушал, и светлые глаза его веселели.

— Вот это торговля!

Своим обычным, оценивающим взглядом он осмотрел всю ее — от немолодого, но все еще цветущего лица до широких плеч,— и она поняла, что пришлась ему по нраву.

— Морковь «шантене» подходящая. Надо будет позаимствовать у вашего колхоза на развод. Найдутся семена?

— Я скажу в правлении,— сказала Степанида таким тоном, словно все правление плясало под ее дудку.

Угаров попрощался с ней, а через несколько минут подвел продавца из своего ларька, и Степанида услышала слова:

— Первомайцы капусту в день продадут, а у тебя третий базар не продано. Учись!.. Красиво торгует хозяйка!

Он сел в свою «Победу» и уехал.

Не радость, а внезапное раздражение, горечь и досаду принесла Степаниде эта слишком поздняя встреча. Разве не могла она, как равная с равным, стоять с ним рядом, еще много лет назад, как своя со своим, перекинуться молодой шуткой и сесть, так же как он, в голубую «Победу»? Она не подумала обо всем этом ясно и отчетли-

во, она только представила свой богатый, пустой и никчемный дом, только внезапно захотела начисто снести, разгромить ту базарную стойку, у которой простояла полжизни, захотела кликушей упасть на землю и забиться на ней не то от злости, не то от горечи.

Короткая встреча с Угаровым, так же как смешные слова Дуняшки о пластмассовой зубной щетке, ранила Степаниду. Она приехала мрачная и осунувшаяся, не пошла домой, а прилегла на сундуке в комнате Василия и весь вечер молча смотрела с сундука не то злыми, не то воспаленными от слез глазами.

«Стареет, видно, мама-то,— подумал Василий.— Съездила на базар,— и как не своя. Сила-то уже не та...»

А ей невмоготу было смотреть на чужое счастье и благополучие, на Авдотью и Василия, жизнь которых шла независимо от нее, по другим, не хоженным ею путям, и к ночи она встала, молча оделась и только с порога бросила Василию:

— Присмотрел бы ты мне квартиранта в дом... кого из приезжих...

— Останьтесь у нас, маманя! — сказала Авдотья.— Чего вам в пустом доме ночевать?

Но Степанида потащилась к себе.

Наступили дни, когда все удавалось и ладилось, лучшие чаяния Василия осуществлялись скорее, чем было задумано, а он ходил сумрачный, и временами верхняя губа его с черной щетиной усов подергивалась, словно бы хотел сказать что-то сердито, но вовремя удерживался.

— Черноты в тебе прибавилось....— говорила Настя.— С чего бы это? В колхозе порядок, в семье все людям на зависть... В позапрошлом году, когда под тобой земля качалась, ты веселей ходил.

Авдотья молча присматривалась к мужу. Ей думалось, она знает его вдоль и поперек, а в этой напряженной сумрачности его было что-то неожиданное и непонятное ей. Она не пытала мужа расспросами, только старалась быть еще ровнее, веселее и ласковее, чем обычно.

Степанида объясняла его состояние по-своему:

— Заскучал. Это и с покойным Васильевичем моим бывало смолоду. Сила в нем перекипала, выходила накипью. Все будто ладно, а с ним вдруг спритчится — заскучает, затомится, лишится покоя. И как захлестнет его, так лучшее ему снадобье — ходить на кулачные бои. Наши ребята раньше с заречными ходили стенка на стенку, ну и взрослые мужики за ребятами, бывало, раззадорятся. Иной раз и старики выпивши выйдут

испытывать силу. Это в наших местах исконный обычай.

Василий действительно «заскучал». За последние два года создалась у него привычка к быстрым и разительным переменам, к борьбе острой и требующей напряжения всех его сил и способностей. Когда все в колхозе наладилось и пошло гладко, Василий стал беспокойней, чем прежде.

Не раз о нем, как о председателе быстро поднявшегося колхоза, писали в газетах. Статьи эти, когда-то доставлявшие ему самолюбивое удовольствие, он теперь читал сердито, с некоторым пренебрежением поглядывал на корреспондентов, расточавших ему похвалы, и, проводив их, вечерами, укладываясь спать, сердито бурчал:

— Ездют... Хвалят, как покойника... Об чем пишут?.. Об том, что два года назад сделано. Мы еще не на кладбище... Мы еще, дай бог каждому, живые люди... Ты лучше меня выругай, да за нынешнее, чем нахваливать за то, что быльем поросло... С живым человеком должно как с живым обращаться!

Он чувствовал в себе силу бóльшую, чем когда-либо, а планы, роившиеся в уме, еще были не ясны ему и все наталкивались на какие-то не зависящие от его воли препятствия.

Давняя мечта о большом кирпичном заводе оставалась нереализованной, потому что соседи не хотели отдавать свои глины и сами собирались строить завод. Мечта о таких же больших и богатых стадах, как у Угарова, также не могла осуществиться, так как кормовая база была, очевидно, недостаточна для таких стад. Обидней же всего было то, что и глины, и луга с великолепными травостоями были рядом, у соседей.

Не раз подходил Василий к границам своего колхоза и думал с досадой: «Поле как поле, и не видать никаких этих границ, а каждый раз, как задумаешь что новое, так и стукнешься об них, как лбом о каменную стенку. Малышко да Угарову хорошо — у них раздолье на две тысячи гектаров. Есть где развернуться!»

Однажды, когда Василий собирался еще раз поехать в колхоз «Всходы» и попытаться договориться насчет глин, соседи сами пожаловали в правление.

Ефимкин, худой, с быстро мигающими светлыми глазами, шел впереди. На лице его застыло обычное извиняющееся выражение. За ним следовала совсем молоденькая девушка с любопытными глазами и с таким вздернутым носом, что он потянул за собой даже верхнюю губу, а за девушкой старуха, похожая сразу и на Степаниду, и на Ксенофонтовну, и на бабушку Василису.

Степаниду она напоминала важностью, Ксенофонтовну — лукавством спрятанных в пухлых щеках глаз, а Василису — располагающей, старчески-доброй улыбкой.

Василий сразу насторожился: «Зачем пожаловали?»

— Рады гостям,— сказал он сдержанно,— милости просим садиться. Чем можем служить?

Гости чинно уселись, и старуха, видимо считавшаяся ведущим лицом в разговоре, как горохом посыпала словами.

— Пришли мы к тебе, Василий Кузьмич, по делу важнейшему, по нашему обоюдному интересу и по нашему взаимному расположению.

Старуха тарахтела витиевато и непонятно. Ефимкин поглядывал на нее с сомнением, а девушка с неудовольствием.

Василий понял, что старуху прихватили с собой как известного в деревне мастера всяких дипломатических переговоров и что сами теперь не рады ее словоохотливости, старуха же, наоборот, обрадовалась случаю показать свое искусство.

— В старой нашей присказке говорится: «У вас купец, у нас товар»,— продолжала она.— Нынче старые присказки поворачиваются по-новому. Не о женихе с невестой пойдет речь. У вас земля, и у нас земля, у вас пашни, мы лугами богаты; у вас река, у нас озеро; вы кирпичный завод строить задумали, а у нас глины.

Ефимкина раздражало это сплетенье необязательных слов, и он сердито сказал:

— Тут дело серьезное, и не для чего его замусоривать пустяками. Я с тобой буду прямиком говорить, Василий Кузьмич. По решению общего собрания, пришли мы к тебе для предварительного разговора. Хотим к вам всем колхозом проситься. Принимайте нас к себе... Вот и весь сказ...

Василий с первых слов старухи понял причину их прихода, обрадовался и встревожился и мгновенно предрешил исход разговора. Чтобы не выдать своего волнения и обдумать ответ, он притворился, будто у него была срочная необходимость позвонить по телефону на ток.

— Как мотор? Установили мотор, говорю?— гудел он в трубку.— Через час чтоб было готово. Сам приду испытывать.— Положив трубку, он неторопливо закурил.

— Какой будет твой ответ, Василий Кузьмич? Станете или нет нас принимать?

— А какой нам интерес вас принимать? У нас хозяйство, у нас порядок в колхозе, а у вас?

— А чем у нас не хозяйство?— снова затарахтела старуха.— Где еще такие луга, как у нас? Травинка к

травинке, что шерстинка к шерстинке, густота, ровнота, пышнота! Несеяные как сеяные растут!

Василий слушал ее краем уха. Мысли проносились в уме быстро и отчетливо.

«Принять их, конечно, примем, однако у них задолженность, и они эту задолженность хотят переложить на наши плечи... Тут надо все обмозговать и обговорить. Народ разбалованный, надо, чтоб сразу уважали наш порядок. Как народ повернуть, как с ихними долгами быть, как севообороты менять, кого бригадиром ставить.

Мысли мчались, и откуда-то издалека доносилась старушечья трескотня:

— Что касаемо глины, так она у нас с секретом — такого богатства во всей области не сыщешь. Ученые люди в Москву на анализ возили, секрет распознавать, да так и не распознали.

Василий чуть покосился на нее блеснувшим зрачком и сразу прикрыл глаза ресницами: «Кому рассказываешь? — со скрытой усмешкой подумал он.— Давно ваши луга да овраги хожены-перехожены. А та цена вашим глинам, какую я знаю, тебе и во сне не снилась».

— Луга у вас не плохи,— сдержанно сказал он,— да пашни не богаты.

— Ой, Василий Кузьмич, в том и обида! — быстро сказала молоденькая.— Что у вас земля, что у нас — одинакова, да ведь к нам трактора ездют в последнюю очередь, а комбайна и вовсе не допросишься. У вас рожь по плечо, у нас по колено — обидно и глядеть!

Старуха метнула на молоденькую грозный взгляд. По ее мнению, не политично было рассказывать о колхозных недостатках.

— А озеро наше самое подходящее для всякой рыбы,— перебила она девушку.— Как агроном приезжает, так каждый раз говорит: «В вашем озере можно тысячи рублей выудить!»

Тонны рыбы и ферма водоплавающей птицы на берегу озера явственно представились Василию. Он сдвинул брови и сказал:

— Не в рыбе, а в людях суть вопроса.

— Наши девчата не хуже ж ваших! — воскликнула молоденькая.— И мы нынче как старались! Хлеб густой, а налива нет.

Звонкий голос ее дрогнул такой горькой и откровенной обидой, что Василий вдруг от души пожалел ее и устыдился. «Я об глинах думаю, а тут люди страдают».

Старуха сердито посмотрела на молодую и поспешила замять невыгодный, по ее мнению, разговор, но Ефимкин оборвал ее:

— Хвалить зря не буду, но и хулить зря ни к чему. Земли не хуже ваших, да развороту меньше. И хозяина настоящего нет. Я человек простреленный по всем направлениям. У меня каждый год из разных мест вынимают осколки. Я неделю работаю, месяц лежу в больнице. При хорошем хозяине все иначе станет.

«Тут не в глинах и не в лугах дело,— думал Василий.— Тут людям худо! Люди никак не наладятся с малым своим хозяйством. А у меня об людях была последняя забота. Или права старуха, что вокруг меня плетенки плетет, как вокруг корыстного хозяина, будто у меня, кроме корысти, и интересу не может быть? Или правы Ефимкин да эта курносенькая, что со мной как с коммунистом напрямик говорят про свою беду и ждут моего прямого слова?»

Он посмотрел на Ефимкина пристыженным взглядом и сказал:

— Моя точка зрения принять вас. На этом я буду стоять. Однако один решать не могу. Обсудим с колхозниками.

Когда гости ушли, Василий долго стоял у окна. Дорога зигзагами вилась вокруг перелесков, воробьи качались на проводах.

«Дорогу надо прямую как стрела. Перелески долой! — думал он.— Провода перекинуть к кирпичному заводу прямиком через лес. Фермы объединим и перенесем во «Всходы», поближе к выпасам. На клеверища вынесем пасеки».

Все шевелилось, все двигалось перед ним — отступали перелески, выпрямлялись дороги, поднимались здания, и чем ощутимее становилось это движение, тем спокойнее делался он сам.

Перед тем как обсуждать вопрос на собрании, он решил посоветоваться с секретарем райкома. Он приехал в райком вечером и, увлеченный своими мыслями, не постучавшись, толкнул дверь в кабинет первого секретаря.

Стрельцов был один. Он поднял голову, увидел массивную фигуру Василия и вдруг отчетливо припомнил его первое посещение — вот так же, без стука, без предупреждения, вырос тогда на пороге этот темноголовый, широкоплечий человек, с горячими, утонувшими в чащобе ресниц глазами.

Секретарь улыбнулся и поднялся навстречу.

— Что у тебя опять стряслось, Василий Кузьмич? Какая опять докука?

На зеленом сукне стола поблескивала островерхая крышка чернильницы. На черной лакированной крышке пресс-папье в тонком узоре цвели утренние краски

Хохломы. Веселые и пытливые глаза секретаря улыбались навстречу. Все было знакомо в этом просторном кабинете.

Василий широкими шагами пересек комнату, отодвинул кресло и сел на него так, что ножки скрипнули.

И внезапное, без стука, появление его, и размашистый жест, которым он отодвинул кресло, могли показаться невежливыми, но причиной этого была не самоуверенность, а то, что он был целиком захвачен новыми планами и в увлечении своем не следил за жестами и поступками.

Андрей понял это и с интересом ждал разговора.

— Опять у меня докука!—улыбаясь и блестя глубоко сидящими темными глазами, заговорил Василий.—Ты, Петрович, как всегда, с одного взгляда видишь?

— Что опять у вас?

— А та у нас докука, что тесно нам. Хотим мало-помалу раздвигаться.

Василий рассказывал о своих планах и видел, как меняется лицо секретаря. Оно утрачивало обычное выражение собранности, настороженности. Казалось, что-то сильно обрадовало Стрельцова, обрадовало так, что резкие очертания лица смягчались, глаза теплели.

«Что это он? Отчего так слушает?»—думал Василий.

Когда Василий кончил, секретарь, не ответив ему ни слова, вынул из стола большой сложенный вчетверо план района. Небольшие сильные руки его, с быстрыми коротковатыми пальцами, бережно развернули карту, разгладили примявшиеся листы. Василий следил за этими ловкими руками. Он уже привык к неожиданностям в поступках секретаря и с интересом думал: «Чего он опять затевает?»

— Смотри!—коротко сказал Стрельцов.

На карте вокруг Первомайского колхоза был очерчен большой квадрат.

— Это мы на днях с эмтэосовцами сидели, с Валентинкой и с Прохарченко. Они тут плакались мне на трудность работы с малыми колхозами. Речь шла не только о «Всходах», но и о втором твоем соседе, о «Светлом пути».

Василий насторожился.

— Я думал только о «Всходах»,—сказал он.

— А ты посмотри, как все здесь просится одно к одному. Видишь, вот центр, у вас в Первомайском. Вокруг меж лесами почти по радиусу расположены пахотные земли. Смотри, вот тебе семь больших полей севооборота. Будет где развернуться машинам! Здесь луга, здесь огородные поливные участки, здесь твой кирпичный завод. Вот естественные границы будущего крупного колхоза—река, лесной массив. Ты только взгляни, как все ложится! Все условия для разностороннего многоотрасле-

вого хозяйства. Колхоз, конечно, будет великоват, у нас в районе немного таких, но ведь здесь сама география диктует! Нельзя не использовать таких природных условий, тут все тяготеет одно к одному! Какое хозяйство можно создать! Как люди заживут!

Чем дальше слушал Василий, чем пристальнее вглядывался он в план, лежащий на столе секретаря, тем очевиднее становилось, что все здесь действительно «тяготеет» одно к другому, что само расположение полей, лугов, отгороженных рекой и лесными массивами, как бы говорит: «Здесь должно быть одно хозяйство». Еще не прошло у него чувство опаски и некоторого недоверия к неожиданному предложению, но уже казались ему явно ограниченными собственные замыслы о соединении с колхозом «Всходы», уже всплывало предчувствие такого размаха работы, который не брезжил еще полчаса назад.

Он оторвал взгляд от плана. На зеленом сукне стола мелькнули, словно двинутые куда-то, блестящие островерхие крышки, чернильницы, пресс-папье, стаканчик с карандашами. Он на миг смежил ресницы. Качнувшись, раздвигались стены леса, перемещались поля севооборота, вырастали новые, электрифицированные фермы, и запавшая в память курносенькая девушка из «Всходов» шла полем впереди подруг, и уже не обидой, а неомраченной радостью светилось круглое лицо ее. Василий ощутил веселый холодок внутри и легкое покалывание в ладонях. Он снова поднял глаза. Все вокруг него изменилось. Он привык приходить сюда гостем и учеником, привык с надеждой смотреть на Петровича и ждать ответа, а теперь Петрович стоял перед ним и вопросительно смотрел на него, надеясь и ожидая ответа. И Василий уже знал, что не только согласится, а ухватится за новую идею, будет жить ею, потому что она была как раз то, чего он ждал.

— Все условия для большого хозяйства налицо, Василий Кузьмич,— сказал Стрельцов.— Дело в руководстве... Все дело в руководстве, что ты нам скажешь?

— Не разом...— хрипловатым голосом ответил Василий.

— Конечно, не сразу! Кто ж такие дела делает сразу! Поговорим, разработаем предложение, обсудим на колхозном собрании, посоветуемся с народом. Если народ поддержит, то после уборочной приступим к делу. Ты посмотри, как все складно получается.

Они опять наклонились над планом.

— Молочные фермы надо перенести поближе к выпасам,— говорил Василий, все более увлекаясь, но еще сдерживая увлечение,— а свинофермы сюда, к картофельным полям. Тут, конечно, для животноводства будет простор, можно развернуться.

Андрей смотрел на его сосредоточенное и разгоряченное лицо с тем особым волнением и гордостью, с которым смотрят на любимое и удачное созданье рук своих. И снова вспоминал он, как два года назад ворвался к нему сердитый и еще не знакомый председатель отстающего колхоза, вспоминал двухлетний путь его со многими ошибками, но с такой целеустремленностью, которая заставляла верить в него. Но только теперь, когда Василий встал у грани своих новых, еще не раскрывшихся возможностей, Андрей понял всю меру сил, заложенных в этом рослом смуглом человеке с мрачноватыми горячими глазами, с атаманской повадкой.

«Второй Угаров, второй Малышко растет у нас в районе. Дайте срок, рядом с лучшими встанет и ни перед кем не спасует».

Они говорили долго, а когда Василий выходил из кабинета, он столкнулся в приемной с Угаровым и Малышко. Угаров оживленно говорил, а Малышко слушал, прищурив строгие глаза. Казалось, они были поглощены друг другом. С Василием оба поздоровались мельком. Раньше Василий пристально и с некоторой долей зависти присматривался к ним, при встречах старался подойти ближе, поговорить с ними, послушать их и самолюбиво ловил знаки их интереса и внимания.

Сейчас он прошел мимо, не задержавшись. После принятого решения и после разговора с секретарем райкома у него появилась такая жадность к большому задуманному делу и такая уверенность в правильности и успехе замысла, что ничто иное уже не занимало его.

Он чувствовал себя другим человеком. Еще никто, кроме секретаря, не увидел скрытой в нем и готовой развернуться во весь размах силы, но сам Василий знал, что пройдет еще немного времени, и уже не он к Угарову и Малышко, а они к нему будут присматриваться с внезапным любопытством и пробудившимся интересом, удивленные его размахом, его деловой хваткой.

Он твердо знал, что будет именно так, а не иначе, и твердое знание это жило в нем, заполняло его и поднимало над теми заботами мелкого самолюбия, которые порой занимали его прежде. В ровном шаге его, в спокойно сосредоточенном взгляде было что-то такое, от чего зоркий Угаров невольно оглянулся и посмотрел ему вслед.

Василий приехал домой веселым и молодым, каким Авдотья давно не видела мужа. Еще не раскрывая всего замысла, вполнамека, он отрывисто и коротко рассказал ей о большом и богатом колхозе, который жил в его воображении. Не столько отрывочные слова его, сколько

молодое, вновь кипевшее в нем веселье объяснило Авдотье все, чем он был переполнен.

«Вот он, Вася мой!» — думала она с радостью и волнением, вновь узнавая в нем того Василия, того «тракториста под красным знаменем», которого она полюбила когда-то. «Я же ведь знала, я же ведь чуяла, что он такой! Еще никто и не знает всей его силы, еще, может, только я одна и знаю, какой он есть, какой он будет!»

Ей и радостно и боязно было видеть, как меняется ее муж, радостно потому, что весело было любить его такого, боязно потому, что страшно было отстать от него. И уже не материнская любовь-жалость, а давняя девичья, удивленно-счастливая любовь к мужу, любовь-гордость снова через многие годы возвращалась к Дуне.

Тяжелели колосья на полях. Наступала пора зрелости и плодородия, приближалось то время, когда еще нелегок упорный труд, но уже обильны и сладостны его плоды, приближалось то, что в старину прозвали «страдою», что в наши дни именуют «уборочной кампанией», что первомайцы называли коротким и радостным словом «жатва».

Земля готовилась щедро отдарить людей за любовь и заботу, а люди готовились достойно принять ее дары и награду.

Похудевшая, до черноты загорелая ходила Евфросинья. Наступала новая полоса в ее жизни,— на время жатвы она пересаживалась с трактора на комбайн и становилась из рядовой трактористки начальником комбайнового агрегата.

Начальник комбайнового агрегата! После того как ей впервые присвоили это звание, придя домой, она деловито рассматривала себя в зеркало:

«Кудряшки на лбу не подходят... и розовая кофта с пятью бантиками тоже... Надо под спецовку кофточку с пуговками и на голову платок парусом, чтобы закрывал от пыли и шею и плечи. И красиво, когда комбайнерша стоит на мостике, а платок вьется за спиной... Сережки — бирюзу с изумрудом — можно и оставить: голубой да зеленый цвет как раз хорошо!..»

— Ты что себя изучаешь, будто новую инструкцию? — улыбнулся Петр.

— Да ведь как-никак, Петруня, агрегат в подчинении! Штурвальные, копнители, заправщики, возчики... Надо, чтоб уважали! — Она села за стол, налила себе чаю, но пить не стала, а продолжала говорить: — А главное — агрегат! Настя, знаешь, как говорит? «От людей, говорит, добиться авторитета нелегко, а от машины и тем паче». А

может, мне и самоход доверят. А уж он самый норовистый. На первый взгляд всем взял. Ничего не скажешь: и велик, и высок, и легок в руках, и хорошей маневренности. Сам идет, сам жнет, сам молотит. Городская, самостоятельная машина! Но, с другой стороны, он, как породистый конь, не у всякого ездового едет. У хорошего ездового будет рекорды ставить, а худого раз — и об землю! Без долгого разговору! Капризу в нем много.

— Как раз по тебе, значит. В точности твой характер!

Она заранее начала обкатку комбайна — проверяла крепление и механизмы.

Настя сама занималась с ней. По утрам они вместе выходили на обкатку и на мостике, приноровившись к грохоту и шуму, вели увлекательные беседы.

— В комбайне мелочей нет,— говорила Настя,— в нем каждая гаечка наиважнейшая, а всего-то их около двух тысяч! Одна гайка испортилась — и вот уж всему комбайну угроза, а комбайн полчаса простоит — центнеров зерна можно недосчитаться!

Согласившись стать бригадиром молодежной бригады, Настя и сама не ожидала, что обучение молодежи так увлечет ее. Особенно любила она заниматься с Евфросиньей. Насте нравились рьяность к работе, жадность к знанию, свойственные веселой разноглазой бабенке. Евфросинья души не чаяла в Настасье. Свою мать Ксенофонтовну Евфросинья не ставила ни во что, и, по существу, впервые в жизни она привязалась к женщине, которая была много старше, опытнее, лучше и умнее ее. Евфросиньина откровенная и горячая привязанность будила в Насте материнские чувства.

— Вот у меня какой был случай, Фросюшка,— рассказывала она.— В молодые-то годы убирала я на тракторе пшеницу, семенной участок, а тут обед подоспел. Я говорю: работать, а тракторист — отдыхать. И верно, вторую смену парень с трактора не слезал. «За час, говорит, ничего не сделается, отдохнем часок, а там наверстаем». Ну, заснули мы на часок. Просыпаемся — по спинам град молотит! Все поле как скосило. Колхозники на поле слезами плакали. Сэкономить бы нам часика три, поспеть до града — спасли бы всю пшеницу. Ты этот случай запомни, как я запомнила. Из этого случая ясно видно, какая есть наша работа и чего она требует!

Степан и Настя помогли Евфросинье оборудовать собственную мастерскую.

Евфросинья притащила домой комплект новеньких ключей, набор монтажного инструмента и, по своему обыкновению, начала хвастаться:

— Комбайнер должен быть и слесарем, и токарем, и монтажником, и агрономом. Самая что ни на есть широкая специальность! Выгружать бункера будем на ходу. Выгрузную трубу мы удалим.

— Знаем,— небрежно оборвал ее Петр,— выходное отверстие бункера закрывают заслонкой, а под отверстием трубы делают площадку, где стоит приемщик зерна с мешками.

Евфросинья сразу осеклась:

— А ты откудова знаешь?

— Не велика мудрость! Почитываем...— так же небрежно бросил Петр.

Евфросинья не нашла что ответить, сраженная неожиданной осведомленностью мужа, а он продолжал тем снисходительно-благожелательным тоном, которым часто говорил Кузьма Бортников:

— Если уж комбайнеров считать за широкую специальность, то что и говорить о полеводах! Бригадир полеводческой бригады должен не только трактор да комбайн понимать, а и всякую сельскохозяйственную машину, и агротехнику, и мичуринское учение, и политику. Как ни говори, а наше дело главное. Для нашего дела требуется широкое образование!

В последнее время Петр много и с увлечением читал. Он купил книжный шкаф и гордился своей библиотекой. Неусидчивая Евфросинья прониклась уважением к занятиям мужа, хвалилась его библиотекой всему району и по вечерам то и дело шипела на Ксенофонтовну:

— Тише вы, мама! Не видите, Петрунька читает?!

Петр слышал это шипение и думал: «Налаживается помаленьку... Семья как семья».

Резкая перемена в его характере удивляла всех, и только Василиса говорила:

— Они, Бортниковы-то, все такие. Смолоду озоруют, а женятся — переменятся. Кузьма-то Васильевич тоже до поры до времени был первым озорником по деревне, а женился — как рукой сняло. Бортниковы — порода семейственная.

Наконец настал такой вечер, когда Василий пришел к Евфросинье и сказал:

— Что ж, Евфросинья... Хлеб вызрел... С утра выезжай...

Росным и прохладным утром агрегат выехал в поле. Заранее заготовлены были прокосы, отмечены бугорки и ложбинки. Заранее Настя разметила особыми вешками все поле так, чтобы легче было следить за выполнением

часового графика. На каждой вешке виднелась картонка с надписью, обозначавшей тот час, в который комбайн должен был дойти до этого места.

Евфросинья не раз водила комбайн, но впервые она вела его нивой. То все было игрой, и только сегодня начиналось настоящее дело. Когда невысокие, но наливные хлеба встали перед комбайном, она на мгновение растерялась: вдруг не получится? Вдруг то, что казалось простым, верным и изученным на обкатке, изменит, предаст, подведет здесь, на живом хлебе? Расширенными, испуганными глазами она оглянулась на Настасью, Василия, Петра.

Настя сказала ей:

— Давай, Фросюшка!

Первая волна легла под ножами и потекла к транспортеру.

«Выходит! Батюшки! Получается как у заправдашней!» Она столько раз видела это, думала об этом, и все же это показалось ей чудом. Она спокойно стоит себе, положив руки на рулевое колесо, не делая никаких усилий, а агрегат плывет, и река хлеба течет в него. Первые порции зерна падают в бункер, первые вороха соломы блестят на солнце, и первые борозды земли, подрезанной лущильниками, ложатся за агрегатом.

Все — от рулевого колеса до ножей — стало продолжением ее рук. Агрегат стал частью ее существа, его подрагивающий и мерный шум отзывался в ее мышцах, в ее нервах, в ее крови. Она сорвала с себя платок, замахала им, как флагом, и закричала, пытаясь перекричать шум:

— Пошло-о-о! Настюша, Петрунька, дядя Вася, пошло-о!

С утра, пока хлеб был влажный от росы, она работала на первой скорости, но чем выше поднималось солнце, тем быстрее вела она агрегат.

Через несколько часов Настасья снова пришла посмотреть на ее работу. Половина участка первого звена уже была убрана, а на другой половине еще стоял литой массив хлеба, чуть шевелясь под горячим ветром. Настя поднялась на комбайн.

— Настя, я хочу третью скорость взять, а у меня не получается! — прокричала Евфросинья.

— Не боишься на третью-то?

— Да это ж мое поле! Я ж его пахала! Я тут каждую кочку наизусть знаю. Чего бояться? Да не выходит у меня, уж я пробовала!

— Почему не выходит?

— Да при большой скорости лопасти мотовила перекидывают хлеб через щит. Уж такая мне досада, Настюшка! До того охота на третью!

— А ты замени звездочку мотовила.

— А как же? Как, Настюшка?

— А так. Давай покажу.

Когда устранена была последняя задержка, Евфросинья повела агрегат на третьей скорости. Ветер бил в лицо. Впереди она видела уходящий к горизонту широкий, золотой, выкупанный в синеве разлив хлебов. На полотно хедера непрерывно и тяжелыми волнами текла рожь. Она текла, как текут воды большого озера сквозь узкое отверстие шлюза, и шум от мотора, от бегущих цепей, от шестерен и вентиляторов походил на шум водопада, и, как густая желтая пена, отсвечивая на солнце, вихрились позади вороха соломы.

Евфросинье казалось, что комбайн безостановочно втягивает в себя ниву с ее золотом и синевой, втягивает и цедит ее сквозь стальные пальцы хедера.

Она уже не замечала времени, не видела ничего, не думала ни о чем, кроме этого упорного движения. Какими смехотворными казались ей теперь ее собственные прошлогодние рекорды по скоростной вязке снопов, какими ничтожными считала она и свои прошлогодние успехи по уборке, и свои прошедшие волнения!

«Скоростная вязка! Тоже почитали за скорость, за достижение! Это разве скорость?! Вот нынче действительно скорость — счет идет на километры и центнеры! Гуди, мой самоход, сыпься, зерно!»

Мимо мелькали вешки, она не смотрела на них, не думала о них — знала, что все равно перевыполнит график. Мгновенно мелькнула узкая, в четверть метра, незасеянная полоса.

«Что это? — подумала Евфросинья. — А, да не все ли равно! Вперед и прямо, на третьей скорости, чтобы все текла и текла нива сквозь машину!»

В обеденный перерыв Василия и Петра на дороге перехватили две запыхавшиеся девушки.

— Петруня, Василий Кузьмич! — еще издали закричала Вера Яснева. — Фроська звенья подмяла!

— Как звенья подмяла? — не понял Василий.

— Комбайном. Прямо шпарит и шпарит сквозняком, с ихнего участка на наш! Ни межи, ни вешки ей нипочем! — плакалась Вера.

Все заторопились в поле.

— Все лето работали по звеньям, пололи, удобряли, а

в уборку все звенья покосились. Весь урожай под одно пошел.

«Вот своевольная баба,— думал Василий,— не одна, так другая с ней морока!»

Он торопливо шагал по пыльной дороге, и девушки едва поспевали за ним.

— Ох, и будет сейчас звону!— В предвкушении скандала Вера затрясла головой.— Ведь она на каждое слово десять! У нее на весь сельсовет хватит крику! Она на наши звенья начихала, да нас же еще и обвинит!

Василий и Петр молчали, собираясь с силами. Оба хорошо знали, что такое крупный разговор с Евфросиньей.

Они шли полем навстречу комбайну. Половина массива была уже убрана.

— Гляди-ка ты!— удивился Василий.— Как корова языком слизнула!

Комбайн плыл навстречу. Уже видны были загорелое лицо и нахмуренные брови Евфросиньи. Пестрый платок парусом бился у нее за плечами. Комбайн приближался с мерным и четким перестуком, и, покоряясь ему, падали навзничь хлеба; только неподвижные вороха соломы оставались за ним на опустевшей земле. Так сильно и споро работал агрегат, что все невольно остановились, любуясь.

И Василий, и Петр, и девушки готовились к ссоре с Евфросиньей, но упорное движение машины словно подчинило их себе, раздражение прошло, уступило место почти невольному восхищению. Евфросинья вдруг перестала быть Евфросиньей — озорной и самовольной бабенкой, а превратилась в «начальника комбайнового агрегата», в человека, от уменья и таланта которого зависело многое. А уменье и талант у Евфросиньи были. И когда она подплывала на своем комбайне, все словно забывали о ее вздорных выходках и видели только тот азарт и талант, которые она проявляла в каждом деле, за которые многое прощалось ей и до этого дня.

Не сморгнув глазом, она и при них переехала межу, разделявшую участки двух звеньев, и только тогда Василий шагнул к агрегату. Он поднялся на лесенку комбайна и сказал ей в ухо с неожиданной для самого себя ласковостью:

— Что же ты, Фросюшка, звенья подмяла?

— Дядя Вася,— крикнула в ответ Евфросинья,— этак же, напрямик, в два раза скорее! Эти участки спланировали на полтора суток, а если сквозняком убирать, то я на третьей скорости и к ночи управлюсь! Ты гляди-ка — на небе-то тучи! Дождя бы не было!

— Ты бы хоть согласовала...— упрекнул он ее.

— Дядя Вася, да ведь я ж, ей-богу, нечаянно! Он как двинул, как взялся гудеть, как пошел, я и сама не заметила, что межу перешла. Не веришь? Право слово, не вру!

И Василий поверил ей. Недаром он много лет работал в МТС. Он знал подчиняющую силу машины и, стоя рядом с Евфросиньей, чувствовал, что и у него рука не повернулась бы кружить агрегат по малым загонам, когда есть для него прямой и открытый путь. Сердце тракториста и механизатора заговорило в нем. Машина должна быть использована с максимальным эффектом — он не только знал это умом, он чувствовал потребность в этом, такую же настоятельную, как потребность здорового, сильного и разумного человека в свободном дыхании, в ничем не стесненном движении. Он слез с комбайна и подошел к молодежи. Его сразу затеребили:

— Что? Что? Дядя Вася, что она сказала?

Он не спеша закурил папиросу.

— Сказала, что если будет работать сквозняком, то на третьей скорости к вечеру кончит оба участка. Вон,— он кивнул на небо,— тучи... Надо кончать к ночи.

— А как же звенья?

— Что же звенья? Урожай-то почти одинаков в обоих звеньях. Да и что касается меня, то я полагаю: звенья на поле ни к чему. Так же и бригадиры думают.

— А как же быть?

— А это не мне одному решать. Вынесу вопрос на правление. Обсудим.

По дороге Василий и Петр заглянули на тот участок молодежной бригады, где работали лобогрейка и вязальщицы. К Василию подошла проходившая мимо Любава.

Василий встретил ее шуткой:

— Что же ты, Любава, опять с самолета на автомобиль пересела? Опять вас молодежь обгоняет!

— А вот я про то и хотела поговорить с тобой, Василий Кузьмич! — сердито ответила Любава.— Не по справедливости это, и просим мы Петра с самолета снять!

— Как это не по справедливости? — вступил в разговор Петр.

— А так. За рабочий день мы больше ихнего убрали, а они что ухитрились? Они в обед не присели! Перекусили, что пришлось, и опять за работу!

— Ну и что ж? — сказал Петр.— А кто вам мешает не обедать?

— У нас бабы в годах и детные. Я не могу допустить, чтобы мои колхозницы работали не обедавши.

— Никто вас и не неволит! А если вы такие нежные, то хватит с вас и автомобиля.

— А я перед тобой стою на своем, Василий Кузьмич! — сказала Любава. — Разве это порядок — без обеда работать?

Василий не торопился с ответом.

«Как правильно поступить? — думал он. — С одной стороны, у молодежи настоящий энтузиазм к работе и самоотверженность. Как их не поощрять? Как снять Петра с самолета, когда они сделали больше, чем Любава? Это и комсомольцам кровная обида! А с другой стороны, что же приваживать людей работать без обеда? Этого быть не должно. Тут надо осторожно решить».

— За вчерашний день мы не будем говорить, а на сегодня, и на завтра, и на будущее время я категорически запрещаю работать в обеденный перерыв! — сказал он.

— Кто это нам запретит работать? — заволновались девушки.

— Я запрещу! Чтобы бригады забыли и думать увеличивать рабочий день без разрешения правления! Если обеденный перерыв — значит, обедайте, отдыхайте, беседу послушайте, газету прочитайте, — вот ваше дело.

— А если мы добровольно?

— Да кто это нам запретит работать?

— А если мы по своему желанию?

— Я вам запрещаю! Сейчас как раз обеденный перерыв. Бросайте работать, садитесь обедать, а после отдыхайте. Такая моя команда. Так вот без обеда поработаете неделю, а после что? После для вас открывать в колхозе госпиталь? Марш на перерыв!

Девушки, недовольно ворча, отправились отдыхать, а Василий пошел дальше. Он шел и улыбался. Ему вспомнилось то давнее зимнее утро, когда он с фонарем ходил у развилины дорог от столба к сосне, ожидал запоздавших колхозников и с тоской смотрел на часы.

Вот она вдалеке — та развилина, та двурогая сосна и тот столб, они видны отсюда.

Вдруг ярко, до самых мельчайших подробностей, представился ему и круг, по которому он ходил: столб — хворост — сосна, — и колючий зимний ветер, и, главное, то чувство досады, тревоги, тоски, которое владело им тогда.

Так далеко все это ушло! Вся жизнь шла теперь на другом уровне. Здесь тоже были свои неприятности, трудности и шероховатости, но как они отличались от того, что было тогда!

Тогда его мучило то, что колхозники с опозданием и недружно выходили на работу, что Полюха и Павка издевались над колхозом, что Степанида тащила гречку с мельницы и что «веревочка» и огороды для многих были

дороже колхоза, что не было кормов на ферме и семян в закромах, а теперь его тревожит то, что колхозники работают во время обеденного перерыва и не соглашаются отдыхать и что Евфросинья в азарте работы переехала звеньевую межу.

Он вспомнил лекцию о коммунистическом обществе, которую слышал на днях в райкоме. После лекции много говорили о том, что будут противоречия и трудности и при коммунизме.

«А ведь такое противоречие, как у меня с комсомольцами или как у Петра с Евфросиньей, и при коммунизме возможно! Жаль, я тогда не подумал, а то бы рассказал в прениях,— усмехнулся он. Или взять тот случай с Василисой, когда ей давали лучших ярок с фермы, а она на нас же осердилась, или как Вениамин Иванович с Валей поспорили из-за планов МТС. Вспомнить мне обо всем об этом да выступить на обсуждении после лекции. А мне оно не к разу... Вот она и двурогая сосна... Та самая».

Он поравнялся с ней и прошел под двумя ее шумящими вершинами, прошел тем же самым путем, по которому, как по замкнутому кругу, топтался темным утром около двух лет назад.

«Хворост—столб—сосна! Те же самые! И давно ли было? А как далеко! А Первомайского колхоза и узнать нельзя!»

Ветер переменил направление, и стрекот далекого комбайна пролетел над тихой дорогой, над сосной, над полями и перелесками.

7

НА АЛЕШИНОМ ХОЛМЕ

Авдотья приехала домой из Угреня, где на бюро райкома ее утвердили кандидатом в члены партии.

Василий вышел на крыльцо встретить жену, вглядываясь в неразличимое в сумерках лицо, спрашивал:

— Ну как? Как?

Он не сомневался в том, что бюро райкома утвердит решение партийной организации, но все же целый день волновался за жену: вдруг оробеет, что-нибудь не так скажет?

— Как, Дуняшка? Что же ты молчишь?

В полутемных сенях блеснула ее улыбка, и незнакомый, тихий голос сказал:

— Утвердили, Васенька...

Свободной рукой он тут же, в сенях, обнял ее и притянул к себе. Ему хотелось найти такие слова, каких

он никогда не говорил ей, но он не нашел таких слов и сказал:

— Ну вот, Дуняшка...

Они вошли в комнату, и Василий увидел на лице жены остановившуюся взволнованную улыбку. И глаза у нее тоже были остановившиеся и счастливые, словно она не видела ничего вокруг, а смотрела не то вдаль, не то в глубину самой души. Не изменяя выражения лица, не снимая полушалка, она села к столу и по привычке передохнула, чуть приоткрыв губы. Василий сел рядом с женой.

— Хорошо ли все обошлось-то?

— Ой, хорошо!..— Она снова передохнула.— Вася...

— Ну? Что ж ты замолчала?

— Так много всего, что я и сама не разберусь... Вася, ведь пять человек можно перекинуть с животноводства на строительство...

— Ты к чему это?— удивился Василий. Он не мог понять течения ее мыслей.

— Как стал меня Петрович спрашивать про мою работу, и так мне стало совестно...

— Или он ругал тебя?

— Да нет, больше хвалил. Он мне говорит, Вася,— она впервые оторвалась от чего-то внутри себя и посмотрела в лицо мужу ясными, правдивыми глазами,— он мне говорит: «Скажи мне как коммунистка, Авдотья Тихоновна, все ли возможное ты сделала на своем участке?» И так все враз передо мной встало, что не сделано...

Она снова умолкла. Василий тронул ее за руку:

— Ну, ну, и что ты?

— Ну, я ему и говорю: нет, мол, не все! И все, что упущено, рассказала. Говорю, а у самой в горле пересыхает. Многие свои упущения я и до того знала, уже исправлять их начала, а про некоторые в тот час меня как осенило! «Что ж я, думаю, раньше-то глядела? Ну, думаю, не утвердят»!

— Утвердили ж все-таки!

— Утвердили. Слово с меня взяли все сделать, про что я рассказывала. К осени закончить строительство образцовой фермы. У меня, Вася, коллектив на это дело плохо мобилизованный. Надо, чтобы этим каждая доярка жила. А ведь у нас в колхозе как: выделили строительную бригаду — и ладно! Верно ли это? А еще, Вася, спрашивают меня: «Как вы проводите работу с женщинами?» И опять я, Вася, молчу! Тут меня Валюшка надоумила: «Расскажи, говорит, как ты делала доклад о женском движении». Ну, рассказала я про доклад. Только разве это настоящая работа? У меня вот Пелагея да Маланья ни

в газету, ни в книжку не заглядывают. Тут не один доклад надо, а серьезную повседневную работу. А я же, Вася, над такой работой и не задумывалась! — Авдотья приложила маленькие темные руки к разгоревшимся щекам.

В открытые окна волнами тек свежий вечерний воздух, полный запахов трав и острой речной сырости. На миг Василию показалось, что все это уже было когда-то: и тихая комната, и спящий маленький сын, и звездный вечер за окном, и Авдотья — вот такая, взволнованная, притихшая, с прижатыми к щекам коричневыми ладонями, и такая полнота, и такой свет в душе.

«Когда же было такое или похожее? — думал он.— Или не было этого, а только всю жизнь ждало-дожидалось сердце вот такого дня, вот таких дней?»

Безмолвно он привлек жену к себе, и она положила на его плечо русоволосую голову. Тонкий пробор бежал ручейком меж гладко причесанных волос; шел от них особый запах чего-то нежного, отдающего далеким ранним детством.

— Ну вот, мы и коммунисты оба,— сказал Василий.— Оба...

— Василь Кузьмич, можно ль, батюшка, тебя потревожить? — раздался скрипучий голос, и на пороге встала Ксенофонтовна.

И сразу отступила, не исчезла, но ушла в глубину вся необычайность минуты. Едва войдя на порог, Ксенофонтовна посмотрела на стол, на котором стоял несложный ужин, приготовленный наспех Василием, всплеснула руками и удивленно протянула:

— Батюшка, Василь Кузьмич, да ты, никак, картошку ешь?

— А что же мне ее не есть?

— Да ведь я думала: у тебя, у председателя-то, горшками яйца варятся!

Она была искренне поражена. «Будь я председателем,— думала она,— я бы в сметане купалась, в меду руки мыла! А что же это за люди? Он председатель колхоза, она всем фермам голова, а едят картошку, и горюшка им мало!»

Василий рассмеялся:

— Садись с нами, отведывай!

— Некогда мне, Василь Кузьмич! Фроська наказывала незамедлительно быть обратно! Наказала сказать, что барометр опять скакнул на «дождь».

— Опять на дождь потянуло! Ну что ты будешь делать!

— Василь Кузьмич, и еще дозволь обратиться к тебе с

просьбицей!— Ксенофонтовна сложила на пухлом животе руки.

— Чего тебе надо?

— Сделай милость такую, переведи ты меня от Евфросиньи! Неспособно мне там.

— Это в который же раз тебя переводить? Дояркой ты работала, на птицеферме работала, у Любавы в звене работала — и везде тебе «неспособно»! Сама к дочери на комбайн отгрузчицей напросилась, теперь опять тебя переведи! Ну, куда я тебя приспособлю?

— Куда хочешь, батюшка Василь Кузьмич, хоть к лешему на рога, я согласна, только освободи ты меня от Евфросиньи! Замордовала, окаянная девка! Никакого послабления от нее не вижу! С тех пор как стала комбайнершей, сама как шальная ходит,— приспичило, вишь ты, ей с орденом покрасоваться,— и мне не дает спокою.

— Ладно, подумаю я о тебе, посоветуюсь с правлением. Заходи завтра вечером.

Когда Ксенофонтовна ушла, проснулся маленький Кузьма. Василий не видел его несколько дней. Сын вместе с Авдотьей жил на Горелом урочище, и Василий соскучился о нем. Кузьма пошел в бортниковскую породу. Брови его, тонкие, как пушок, уже сходились на переносье и были угольно-черны.

Кузьма поражал Василия своими талантами. Он на редкость энергично сосал. Впившись в сосок, он деловито чмокал и старательно уминал грудь матери маленькими кулаками.

— Работяга!— радовался, глядя на него, Василий.

— Он еще и гулькать может!— хвасталась Авдотья.— Дуняшка на третьем месяце загулькала, а он уже гулькает! Сыночка, Кузьма, агу, агусеньки! Гляди, Вася, гляди!

Кузьма растянул беззубый рот с розовыми деснами и издал звук, напоминающий бульканье воды в бутылке.

— Командует! Команду подает!— говорил Василий.— Агу, сына, агу, Кузьма Васильевич!

Авдотья уложила ребенка в ящик от комода — его кроватку она увезла с собой на Алешин холм. Василий обиделся за сына:

— Что ты его в комоде расстелила! Чай, он человек, а не ветошка! Пойдем со мной, Кузьма Васильевич!

Он вынул сына и положил его на кровать между собой и Авдотьей.

— По гигиене не полагается, Васенька, чтобы ребенок спал совместно с родителями.

— Да уж ладно, на одну-то ночь!

Ему доставляло наслаждение чувствовать рядом с собой крохотное теплое тельце Кузьмы Васильевича.

— Гляди-ка: и спит и чмокает! Одна у него забота! Понимает свои обязанности. Старательный мужик будет!

Они помолчали.

— Договорилась ты насчет сепаратора?

— Обещаются. Чернавку-то, Вася, мы на тридцать литров раздоили! Ксюша раздоем верховодит. Хорошая девка! Она получше Сережи будет,— у того форса много, укажет верно, а проверки людям не дает. Ксюша лучше будет, как подрастет. Учить ее надо, Вася.

— Что ж! Вот урожай снимем и пошлем ее в город. С Петровичем еще с зимы договорено. Пускай обучается, нам теперь нужны кадры высокой квалификации. Одно слово, крупное хозяйство! Стадо года через два вырастет в пять раз против нынешнего. Ты чуешь, Дуняшка?—Он слегка притянул ее к себе и шутливо допытывался:— Справишься? Осилишь? А не то, гляди, сниму со взысканием!

В голосе его звучали не то озорные, не то удалые нотки, знакомые Авдотье с молодости, всегда любимые ею и до сих пор волновавшие ее.

— Это жену-то снимешь со взысканием?—счастливым голосом спросила она.— Сынок за меня вступится.

— С жены больше спрос! А на сына не надейся! У нас с Кузьмой Васильевичем полная во всем согласованность. Сын-то с мамки еще крепче, чем муж с жены спросит. Как, скажет, ты хозяйствовала в колхозе? Какую мне жизнь готовила?

— Ну что ж, и отвечу! Подниму сынка высоко на самолет—гляди, мол, сыночек, на свое богатство...

— Как раз с самолета глядеть!—шутя согласился Василий и посерьезнее добавил:—Был нынче во «Всходах» и в «Светлом пути». Договорился по пшенице комбайн пускать напрямик. Хороший там народ есть.

Он говорил о новом большом колхозе, а Авдотья ловила слова его и думала: «Вот оно то, чего ждала давно. Ждала с того самого вечера на поляне, когда прозвал меня Вася «Ва́щуркой». Было так, что и надежду потеряла дождаться, а оно пришло. И Вася мой—тот самый, кого угадала и полюбила с первого взгляда. Верной была девичья моя догадка! На четвертом десятке своих лет скажу, что девчонкой в нем не ошиблась».

Луна плыла от окна к окну, тени на полу перемещались, а Василий и Авдотья все не могли заснуть.

— Ну, давай спать, Дуняшка, а то у нас с тобой

столько разговору, что за сто лет не переговоришь! Завтра засветло вставать. Дождя нет, а барометр так и стоит «на дождь», будь он неладен! Спи, любушка!

Авдотья проснулась ночью. К чувству радости, не покидавшему ее и во сне, примешалось что-то неразличимо тревожное.

«И что это?—думала она сквозь сон.—Ох, никак, дождь!» Она сразу открыла глаза. Ровный шум дождя стоял за окном. Небо, недавно ясное и звездное, было темным. Темно было и в комнате. Дождь шумел и шумел, не переставая, ровно, монотонно. Встревоженная им, она уже не могла заснуть и лежала тихо, боясь потревожить мужа.

«Уж как он не ко времени расшумелся!—думала она.—Всегда он, вреднючий, в самую уборку ударит!.. Этак и живешь: всю жизнь глаз с неба не сводишь. То: «Ох, дождь идет!», то: «Ох, дождя нет!» Хорошо, что Вася спит, не слышит. Надо бы повернуться, да жалко будить его. Проснется, услышит дождь, растревожится и не уснет больше. Рука-то как онемела! Высвободить бы ее! Да нет, нельзя. Потревожу его. Потерплю уж».

Рядом, у самого уха, раздался сдержанный вздох Василия. Через минуту раздался еще вздох. Очевидно, он тоже не спал и слушал дождь, но не шевелился, боясь разбудить ее.

— Вася!—осторожно позвала она.

— А?

— Ты чего развздыхался?

— Дождь...

Осторожно, чтобы не помешать ребенку, он поднял руку и обнял плечи Авдотьи. Они лежали, вслушиваясь в шум дождя, думая об одном и том же.

— Сыплет, проклятый! Думал, все беды миновались, а с пшеницей беда! Ошибку я допустил, мне бы надо ту неделю в ночь работать, теперь бы не мучился. Сплю и вижу во сне: сыплется, стучит зерно о землю. Проснулся, а это дождь.

— Я думаю, он ненадолго... В газете писали, что осень ожидается сухая.

Долго лежали они, тихо переговариваясь под шум дождя, по-особому близкие друг другу, счастливые, несмотря на свои тревоги.

Дождь прекратился еще с утра, и над влажной землей стоял вызолоченный сентябрьский день. То там, то здесь в густой зелени леса рдели гроздья рябинника. Они сквозили меж ветвями, манили взгляд, и казалось—весь лес прошит их сквозной рдяной нитью.

К вечеру Василий и Авдотья выехали на Алешин холм.

Благостной осенней тишиной веяло от убранных полей. Синее небо над пустынной стерней казалось особенно большим и высоким.

Вдалеке виднелись неубранные снопы,— они стояли часто, подводы подъезжали за ними,— а на самом далеком поле, возле леса, еще стояла несжатая нива, и плыл по ней огненно-красный комбайн.

У Авдотьи сладко сжалось сердце. Она повернулась к Василию:

— И что это со мной делается по осени, сама не пойму! Весной и летом ничего, кроме фермы, и в ум нейдет, а как начнется жатва, так вынь да положь мне полюшко. Ну, так и тянет, так и тянет на поле!

— Мне и самому завидно глядеть!

— Добрый урожай!— продолжала Авдотья.— Давно такого не видывали. По восемнадцать центнеров на круг возьмем, не меньше.

— Еще мало берем. Это разве урожай?— усмехнулся Василий своей быстрой и озорной усмешкой.

— Гляди-ка ты! Уже восемнадцать центнеров ему мало! Давно ли и восемь за много почитали!

— Какое же это «много»? Люди по тридцать берут, а мы — вполовину меньше!

За последнее время в нем появилась небывалая, веселая жадность.

— Словно зуд какой в мужика вселился!— говорила Прасковья.— Что бы ни делалось в колхозе, все ему мало! Лютует мужик!

По сравнению с той силой, с теми возможностями, которые Василий чувствовал, все сделанное казалось ему недопустимо маленьким, и он жил в непрерывном и нетерпеливом стремлении сделать больше.

Авдотья посмотрела на него и прикоснулась ладонью к его обтянутым смуглой кожей скулам.

— Я думала, мой муж толстеть начнет по урожайному году, а тебя еще сильнее пообтянуло. От лютой жадности это у тебя, право слово!

— Угу,— усмехнулся Василий.— Жадный я! Если в том году не соберем по двадцать пять центнеров — шапку об пол! Снимайте, мол, меня, добрые люди, не мне у вас быть председателем!

— Шапку не шапку,— сказала Авдотья,— а что правда, то правда, Вася! На полдороге стоит наш колхоз. Первую половину пути прошли, за вторую взялись. Пора выходить в передовые!

— Да... Это, Дуняшка, потруднее шагнуть, чем из отстающих в хорошие! А оглянись-ка назад: все-таки немало уже и сделано.

— А как же не сделать? Разве мы одни делали? Куда ни обратишься — всюду подспорье! — Она заулыбалась и заговорила быстрее: — Вася, мне все один случай вспоминается: как ездила я девчонкой на соленое озеро. Плавать-то я не умела, испугалась, а тетка мне говорит: «Да ты не пугайся, ты руками, ногами пошевели, тогда тебе вода не даст потонуть, наверх вынесет. Ты только бревнышком, бревнышком не лежи!» И верно, пошевелилась я маленько — и вдруг вынесло меня озеро на поверхность, и поплыла я, Вася! И так мне удивительно это показалось! И как вздумаю я про наш колхоз, так все в памяти этот случай. А как заведу разговор где-нибудь в слабом колхозе, все мне хочется теткиными словами сказать: «Вы пошевелите малость руками да ногами, а там вас и наверх вынесет! Вы только бревнышками, бревнышками не лежите!»

Они ехали мимо тока, недалеко от картофельного поля... Картофель был посажен новым, гнездовым способом. Василию вспомнилась ночь на Фросином косогоре. «Тяпочками рыхлили... на тяпочку надеялись...— пренебрежительно подумал он.— То ли дело машинное рыхление!» С некоторой снисходительностью подумал он и о постройке тока: «Думал о нем как о взаправдашней стройке! А и всех-то делов — десяток бревен вывезти из леса! Вот с той весны и пойдет у нас настоящее строительство». Трудности прошлого теперь казались ему до смешного легки и преодолимы, как ученику старших классов до смешного легкими кажутся те задачи, над которыми он немало попотел несколько лет назад.

Вокруг шелестели овсы. Дальше прямоугольник льняного поля веселил глаза канареечным желто-зеленым цветом.

Когда поля скрылись с глаз и дорога пошла лесом, Авдотью обступили обычные ее заботы.

— Интересно, окотилась ли Липка? — задумчиво сказала она.— И по скольку ягнят принесла? Она в те годы все двойнями носила.

— Вы с Василисой пообещались дать двойной план, так теперь глядите у меня! Держитесь своего слова!

Подъезжая к холму, Авдотья думала:

«Без меня небось всю ночь прогуляли и спать не ложились гулены-то мои!»

Дорога круто повернула, и Алешин холм встал перед глазами во всей своей красоте.

Узкая лента черной лесной реки огибала его склоны. Тенистый, чуть тронутый осенней ржавчиной лес подступал с трех сторон, а с четвертой льнула ложбина, за которой зеленой волной поднимался второй холм.

На вершине стояли дом животноводов и другие постройки, а площадка холма была разделена загонами.

В три стороны расходились истоптанные скотом дороги. В загоне паслась пузатая Валентинина кобыленка, и Авдотья обрадовалась: значит, Валюшка здесь!

Дуся-телятница первой выбежала ей навстречу.

— Авдотья Тихоновна! Девчата, девчата, Тихоновна приехала!

Девчата выбежали из дома. Посыпались вопросы:

— Приняли тебя?

— Привезла ли новый сепаратор?

— Как хлеб убирают?

— Видели маманю?

— Поздравьте меня, девушки, с большой радостью!— отвечала Авдотья.

Когда иссякли поздравления, она стала отвечать на другие вопросы:

— Сепаратор привезла. В колхозе все хорошо: рожь всю заскирдовали, пшеницу нынче кончат убирать, овсы еще стоят и уж так тяжелы, так хороши, глаз бы не оторвала! Маманю твою видела. Вот тебе посылочка. Наказывала мне, чтоб я тебя по вечерам гулять не отпускала, окромя воскресенья.

Дуняшка и Катюшка, в трусиках, загорелые, поздоровевшие, бросились ей на шею. Маленького Кузьму забрала Ксюша, он улыбался, и к нему уже тянулись со всех сторон. Он был баловнем и любимцем всей бригады.

— А у нас гости — Валентина с Андреем Петровичем! — говорила Ксюша.

Едва Авдотья ступила с подводы на землю, как ее захлестнули дела. Валентину и Андрея она увидела у бычьего загона. Андрей в белой рубашке с засученными рукавами прилаживал перекладину к воротам, а Валентина стояла рядом и говорила:

— Повыше! Еще повыше! Вот так! — Она обернулась и увидела Авдотью.— Дуняша приехала!

Они расцеловались.

— Наконец-то вы к нам, Андрей Петрович!

— Давно собирался побывать на Алешином холме, давно меня Валентина заманивала, да все времени не мог выбрать! Сегодня у нас у обоих выдался свободный вечер, вот и решили отдохнуть!

— А Валюшка тебя сразу за топор поставила?

Авдотье стало неловко оттого, что секретарь райкома ладит перекладину для ворот.

Андрей засмеялся.

— Это ж мне, Авдотья Тихоновна, лучшее удовольствие! Не был бы я секретарем райкома, стал бы плотником.

— Это Сиротинка, что ли, опять перекладину снес?

— Он! — весело ответил Андрей. — Катюша ушла за грибами, он соскучился и принялся крошить все вокруг себя.

Когда солнце наполовину опустилось за почерневшую стену леса, все население Алешина холма вышло на вершину встречать стада.

Эта встреча была накрепко установившейся традицией Алешина холма, и час этот был часом особой красоты. Все созданное и сделанное животноводами проходило перед их глазами, и не было большей радости, как вместе любоваться им. В этот час отлетало все мелкое — неполадки, стычки, трудности — и оставалось главное — общая радость и гордость людей тем, что они сделали, и уважение друг к другу за это сделанное.

С холма поляна, окруженная с трех сторон лесом, а с четвертой — огороженная увалом, казалась зеленой чашей. Меж зубчатыми вершинами зеленых аллей плавился закат. В промытом дождем, прихваченном первыми утренниками воздухе не дрожало ни одной пылинки. Осенняя пышность и яркость зелени всюду удивительно сочетались с весенней чистотой красок, что бывает только на горных склонах в благодатные солнечные годы да в северных местах. От закатного отсвета все приняло теплый, телесный оттенок. Серая, вытоптанная площадка перед холмом, там, где сходились три дороги, была смуглой и ласковой, как человеческая ладонь.

Большой камень на холме затеплился и казался ожившим. Авдотья уселась на этот камень, Василий сел на землю возле нее. Девушки разместились на траве. Волосы у них были перевиты рябиновыми гроздьями, на шеях алели мониста из шиповника, — такова была своя мода Алешина холма.

Валентина сидела рядом с мужем. Она наскучалась о нем, и не стесняясь, жалась к нему плечом, трогала его руки, волосы, брови, а он улыбался и говорил:

— Ах, Валенька, ну какой Крым, какой юг сравняется с угренским сентябрем вот в такой солнечный день! Где еще осенью встретишь такую сочную зелень, такую чистоту красок, такую легкость воздуха?!

— Ведь правда? Правда? — спрашивала Валентина, радуясь тому, что мысли их совпадают, как всегда. —

Кажется, здесь осень шагает прямо по весне. Но вот ты увидишь, какая красота будет, когда пойдут стада. Если у меня что-нибудь не ладится и мне плохо, я специально приезжаю сюда навстречу стадам. Но вот ты сам увидишь.

— Припозднились нынче стада,— беспокойно сказала Авдотья.— Солнце уже за большой сосной, а их все нет.

Она встала на камень, чтобы дальше видеть. Каждый раз, встречая стада, она немного волновалась, как волнуется режиссер перед началом спектакля. Сегодня она волновалась больше обычного, потому что на встречу пришли и Валентина, и Андрей, и Василий. Ей хотелось показать свое хозяйство во всей его красоте и слаженности. Она беспокойно заглядывала вдаль из-под ладони. Снизу хорошо видно было ее смуглую шею и круглый розовый подбородок. Видно было, как он дрогнул в улыбке.

— Идут! Рогач показался!— сказала она.

Из-за соседнего увала вынырнула маленькая горбоносая голова Рогача с огромными штопорообразными рогами. Голова приближалась толчками, словно вырастала из-под земли. Через миг баран выбежал на увал и картинно остановился, озираясь.

Убедившись, что впереди все в порядке, он просигналил стаду, легко перепрыгнул через канаву и трусцой пошел по склону. Через минуту овцы усеяли ложбинку трясущимися белыми хлопьями, наполнили ее суетой и спешкой, нарушили тишину многоголосым блеянием.

— Батюшки, подняли суматоху!— презрительно сказала Дуся.— Чистое светопреставление! До чего бестолковая скотина! То ли дело мои теленочки!

— Нет, и овцы хороши!— отозвалась Авдотья.

И удовлетворенность, и успокоение, и забота, и радость, и ожидание — все было в ее лице, все скользило в чертах, как скользят облака по небу, не нарушая, а подчеркивая его синеву.

— Бабушка Василиса! Глядите-ка! С двойней!

Шествие стада заключала маленькая, сухонькая улыбающаяся Василиса. Она шла так легко, словно ни дорога, ни ноша, которая была у нее на руках, не утомляли. В подоткнутом переднике она несла двух ягнят. Белые мордочки с бессмысленными бусинками глаз неподвижно, как деревянные, торчали в обе стороны. Рядом с ней, нога в ногу, вытягивая длинную шею, толкаясь и мешая, бежала беспокойная овца. Когда Василиса подошла, ее окружили.

— Хорошавочки какие!— говорила Авдотья, поднимая ягнят.

По установленному обычаю, при встрече стада хозяева их рапортовали о прошедшем дне Авдотье и всем встречавшим. Бабушка Василиса тоже остановилась перед Авдотьей и стала рапортовать на свой манер:

— Видишь ты, Дуняшка, с утра мы с Алексашкой заприметили, что Липка-то затуманилась. Ну, я стала придерживать ее около себя. С полдня, гляжу, стала она прикладываться. Пошли мы с ней в кусточки. Народила она мне сперва барашка, а потом и ярочку. Пушистенькие, беленькие чистопородные цигеечки!

— Мои идут!—сказала телятница Дуся, вставая с места.

Наступило ее время солировать в общем хоре. Она поправила платок на голове и вышла на край холма. Статная, красивая, сощурив глаза и откинув голову, стояла она на краю, и ветер словно лепил всю ее рослую, подавшуюся вперед фигуру.

За холмом показались ушастые телячьи морды с блестящими сережками. В левом ухе у каждого телка лучился жестяной номерок.

Дуся тревожно вглядывалась в них: так ли они хороши, как ей представлялось? Резво ли идут? Не слетел ли у кого-нибудь номерок с уха? Оценят ли зрители весь блеск, порядок и великолепие ее питомцев?

Первая телочка, розовоносая крепышка, черная и блестящая, как вакса, взбежала на холм.

— Смотри, смотри, Андрейка, это и есть Дарочка, о которой я тебе говорила!—торопливо объясняла Валентина.—Она дочка Сиротинки и Думки. Она на особом режиме и рационе. С нее и еще нескольких Дуня начинала формирование нового стада. А вот это Узор, сын Урала и внук Сиротинки. Тоже по Дунину замыслу!

Валентина взяла за уши бычка и притянула его к себе. Узор, сын Урала, оскорбился этим и брыкнул ногами. Телята окружили Дусю, жевали ее передник, лизали ладони. Она шла, отмахиваясь от них и гордясь ими.

Вдали послышался переливчатый напев рожка, но коров еще не было видно. Вместо них из-за перелеска выскочил табун жеребят.

— Вот они, красавчики наши!—Сережа-сержант побежал им навстречу.

Авдотья, сидя, оглянулась на Андрея. Ей хотелось, чтобы он похвалил стадо. Он понял ее взгляд и сказал:

— Дунюшка, вы же сокровище! Я всегда это говорил. Василий, ты-то понимаешь, что тебе за жена досталась?

— Не перехвали, зазнается!—усмехнулся Василий.

Он сидел на холме, и темные глаза его с непонятным упорством смотрели куда-то вдаль за лесную кромку. Он и замечал и не замечал то, что делалось вокруг. Зрением, слухом, осязанием он ощущал прелесть окружающего и вместе со всеми радовался ей, но мысли убегали вперед. Он видел с холма далекие просветы полей, сегодня еще принадлежащих «Всходам», вглядывался в очертания будущего крупного колхоза, и все хотелось ему сказать и с веселой досадой на минутную успокоенность друзей, и с гордостью за них и за себя, и с вызовом: «Это еще что! То ли будет, такая ли еще красота впереди».

Андрей, словно угадав его мысль, проговорил:

— А что здесь будет года через два... сами себе станем удивляться! Когда колхозы сольются, появится веское основание просить Алешин холм не во временное, а в вечное пользование. А то что ж получается? Посреди колхоза небольшой участок госфондовской земли!

— Это дело,— отозвался Василий,— об этом уж теперь можно поднимать разговор!

Из-за леса донесся глухой рев.

— Сиротинка идет! — забеспокоилась Авдотья.— Беги скорей, Катюша, не то весь изревется!

Катюша побежала навстречу. Тяжеловесные быки показались из-за поворота. Рожок запел совсем близко.

— Наши, наши! — Ксюша запрыгала на месте, доярки встали.

Первым показался пастух Володя. Как всегда при возвращении, подтянутый и приосанившийся, он легко шагал по дороге впереди стада. Яркая оранжевая майка-безрукавка шла к его загорелому лицу. Неизменная книжка торчала у него за поясом.

Володя знал, что на него смотрят все девушки Алешина холма, и старался держаться молодцевато. Закинув голову, он наигрывал на зеленоватом отшлифованном рожке, подаренном ему стариком Мефодием.

За Володей, впереди всего стада, шествовала величавая Чернявка. За ней неторопливо и плавно выходили из-за поворота другие коровы. Одномастные, черные с белыми мордами, они шли, отяжелевшие от еды и молока, важные, исполненные чувства собственного достоинства. Они призывно, протяжно мычали.

— Здороваются,— объяснила Авдотья.

Ее большеглазое, загорелое лицо с вылинявшими на солнце бровями и чуть заметными морщинками вокруг глаз сияло такой полнотой радости, что казалось, она вся, без остатка, растворилась в окружающем. Пел и переливался Володин рожок, щелкал кнут подпаска, белокурого и голубоглазого мальчугана Славки. Зная, что все взгля-

ды устремлены ему навстречу, Славка красовался, лихо щелкая кнутом и покрикивая:

— Куда ты? Куда? Вот я тебя!

Поравнявшись с Авдотьей, Володя вытянулся и отрапортовал:

— Товарищ начальник! Разрешите доложить, что стадо прибыло в полном порядке. Происшествия не было, кроме того, что известная вам корова Гулена отбилась от стада и нацелилась прямиком в гречиху. Беспорядок был своевременно выявлен и ликвидирован подпаском Вячеславом Орловым. Прошу представить его к награде порцией пирога с груздями. Луг за березняком выпасен, завтра, с вашего разрешения, поведу стадо к Заячьему логу на первый загон.

Авдотья с улыбкой слушала, сидя на камне.

— Володя, как у Думушки вымя?—спросила она.

— Вымя зажило. Пасем ее бережно, по кустарникам и валежникам не пускаем. Да вот и она сама.

Думка шла последней. Огромное вымя мешало ей идти. Она уверенно подошла к Авдотье, протянула морду и коротко промычала, требуя очередного гостинца. Ей дали хлеба с солью. Она съела, подумала и еще раз замычала—просила добавки.

— Нету, Думушка, нету, красавица!—В доказательство Авдотья протянула пустые ладони.

Думка на всякий случай лизнула ладонь, постояла, потом тяжело повернулась и пошла к навесу.

— Отчего так хорошо?—тихо, словно самой себе, говорила Валентина.—Отчего такой мир и такое счастье вокруг? Может быть, оттого, что лес, и небо, и стада? Или оттого, что все здесь создано нами? Нет... Не только оттого... Вот сейчас я представила себе, что все здесь не наше общее, а, например, мое, только мое. И так противно даже на миг допустить это! Сразу разрушится красота. Будет негодование и справедливый гнев одних, страх и жадность других. И не будет вокруг ни счастья, ни мира, ни согласия! И исчезнет все очарование Алешина холма.

— Хорошо, что ты привела меня сюда. Мир и счастливый труд... Кажется, не ушел бы отсюда.

Но Валентина не слушала мужа, захваченная своими мыслями.

Солнце было уже совсем низко. Розовый отсвет сгустился, стал алым. Облака в золоте и багрянце неподвижно лежали вдалеке. Вся поляна вокруг Алешина холма была полна хлопотливым движением.

Жеребята бежали с водопоя. Ягнята толпились у

кормушек. Доярки, позванивая дойницами, усаживались на маленьких скамеечках, и коровы поворачивали к ним добрые, спокойные морды.

Василиса устраивала гнездо для новорожденных, и овца выжидательно и доверчиво смотрела на нее.

Чуть зашевелились кусты. Какая-то пичуга запела протяжную вечернюю песню. Все дышало доверием, красотой, согласием, радостью плодотворного труда.

Авдотья прошла в ложбину, туда, где первые молочные струи разбрызгивались о днище, где Дарочка, созданная по замыслу людей, тянулась розовыми губами к речной синеве, где маленькая Дуняшка, смеясь и перегибаясь с мостков, все силилась поймать ладонями первую легкую звезду, дрожавшую на ряби водопоя.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Необычайный успех романа Г. Николаевой «Жатва» вызвал приток большого количества писем автору как от советских, так и от зарубежных читателей. Писательница физически не успевала ответить на каждое из них. В ее архиве сохранилось несколько писем с ответами на настоятельные вопросы читателей о замысле и прототипах романа, об отношении автора к своим героям. Представляем наиболее полный ответ читателям, опубликованный впервые посмертно в томе 3 предыдущего Собрания сочинений Г. Николаевой (М., «Художественная литература», 1973). Текст хранится в архиве М. В. Сагаловича.

КАК Я РАБОТАЛА НАД РОМАНОМ «ЖАТВА»

Я решила написать о людях колхозной деревни потому, что сама родилась и провела раннее детство в маленькой деревне, расположенной в Сибири, в глухих сибирских лесах. Ранние детские впечатления сделали для меня родной и северную природу, и людей, несколько суровых, иногда резких и грубоватых, зато мужественных, прямых, неподкупных. Мне хотелось написать книгу о таких людях. Одна из самых больших трудностей, стоявших передо мной, заключалась в том, что в детстве, уехав из деревни, я почти не бывала в ней больше и не знала новой колхозной деревни. Поэтому мне пришлось начинать с азов — с изучения основ колхозной жизни. Я начала много и упорно ездить по колхозам различных областей Советского Союза. Меня интересовало все — люди, агротехника, цифры колхозных годовых отчетов. Мои поездки помогли мне сориентироваться в основных процессах, происходящих в колхозной деревне. Я поняла главное — я поняла, что успехи колхозного строительства целиком зависят от организационной и партийной работы. Мне рассказали об этом и живые люди, и наглядные факты, и убедительные цифры. За несколько месяцев своей предварительной работы я перелистала многие сотни годовых отчетов различных колхозов и сделала сводную двухметровую статистическую таблицу, которая точным языком цифр говорила о зависимости роста колхозных доходов от правильной организации труда и от правильной организации партийной работы.

После того как и личные наблюдения, и статистика помогли мне сориентироваться в основных процессах, происходящих в колхозной деревне, я стала искать такие колхозы, на росте которых можно было бы с особенной наглядностью проследить эти процессы. В процессе поисков в 1947 году я попала в колхоз «Трактор» Горьковской

области Уренского района, и сразу поняла, что это как раз то, что мне надо. Колхоз «Трактор» привлекал меня отнюдь не тем, что он был лучшим из всех виденных мною,— нет, это колхоз хороший, но мне случалось видеть много колхозов более сильных, более богатых. Этот колхоз был особо интересен для меня, так как я застала его в процессе быстрого роста. Подъем хозяйства этого колхоза начался еще в трудные военные годы и продолжался в послевоенное время. Толчком и основой для такого быстрого подъема послужил приход нового председателя колхоза, агронома, энергичного волевого человека, и создание в колхозе сильной партийной организации. Впечатления, полученные в этом колхозе, были так многочисленны и свежи, что просились на бумагу. Я написала об этом колхозе очерк, напечатанный в центральном органе печати — в газете «Правда». Одновременно с очерком я написала небольшую экономическую монографию, в которой использовала статистический материал, накопленный мною. Таким образом, мой путь к роману «Жатва» лежал через очерки и статистику. Люди колхоза «Трактор» дали мне много для создания типов моего романа. Очень много дало мне знакомство с председателем колхоза «Трактор» Василием Михайловичем Бушаевым для создания образа моего главного героя Василия Бортникова. Бортников ни в коем случае не является литературным портретом Василия Михайловича Бушаева, но многие черты своего героя — его волю, беззаветность, целеустремленность, хозяйственную хватку, преданность колхозному строительству — я взяла у Бушаева. Некоторые ошибки Бортникова — это ошибки Бушаева, сделанные им в начале своей работы. Бушаев так же, как и мой герой, вначале недооценивал роли коллектива, так же пытался все делать сам и за все отвечать сам. Партия помогла ему выправить эти ошибки. Не только некоторые черты характера, но и некоторые эпизоды, обороты речи, слова взяты мною у Василия Михайловича. Многое для образов детей Бортникова — Дуняшки и Катюшки — взято мною из рассказов Бушаева о своих внучках,— таков эпизод со стеклом, которое Дуняшка выдавливает носом, эпизод о том, как она сама себя поставила в угол. Начало Авдотье Бортниковой положила зоотехник колхоза «Трактор» Ольга Петровна Корчагина. По характеру Ольга Петровна сильно отличается от Авдотьи — в ней больше властности, меньше мягкости. Но безграничное увлечение своим делом, умение войти в каждую деталь его, незаурядные организаторские способности, умение опоэтизировать свой труд — все это я взяла для Авдотьи у Ольги Петровны. Многие эпизоды списаны были мною непосредственно с работы животноводов

колхоза «Трактор». Вся последняя глава, где описывается встреча стад на Алешином холме, является точным описанием встречи стад в колхозе «Трактор». Случай с лучшей яркой, которую не захотела взять себе в качестве премии бабушка Василиса, случай с фильтрами, через которые фильтровали молоко,— все это и многое другое вошло в роман прямо из животноводческой фермы колхоза «Трактор».

Всех интересных, обогативших мой роман людей этого колхоза нельзя описать в небольшой статье, но я не могу не сказать о колхозном агрономе — маленькой, беленькой девушке Вале Гусевой. Дочь колхозника этого же колхоза, она с отличием окончила сельскохозяйственный институт и могла остаться в городе на научной работе. Но Валю больше всего интересовали вопросы колхозного производства, и она решила изучать эти вопросы непосредственно в колхозе. Эта юная белокурая девушка пользовалась не только уважением, но и большой любовью среди колхозников. Маленькая, скромная, никогда не повышавшая голоса, она сумела завоевать такой авторитет, что ее слово было неоспоримым законом даже для самых достопочтенных стариков. Когда я писала об агрономе Валентине Стрельцовой, передо мной всегда стояла складная, небольшая фигурка Вали Гусевой, ее быстрые и бесшумные движения, ее серьезные светлые глаза.

После изучения людей и работы колхоза «Трактор» для меня уже ясна стала канва моего будущего романа, но не хватало еще многих художественных деталей, и я продолжала свои поездки по колхозам.

Редакция газеты «Правда» попросила меня написать очерк о колхозе «Красный Октябрь» Кировского района. Посещение этого колхоза определило судьбу моей работы над романом. Этот колхоз расположен на северных неплодородных землях, далеко от железной дороги, далеко от водных путей. До революции крестьяне здешних мест нищенствовали, так как урожаи были очень низкие. Чтобы не умереть с голоду, они уходили в город на приработки. Так однажды, около 50 лет назад, в зимнюю стужу пошел в город девятилетний мальчик Петя Прозоров. Он шел пешком, по зимней вьюжной дороге 200 верст. Он оставил дома голодную мать и сестренку. В городе ему удалось устроиться в ресторан мальчиком для мытья посуды. Контраст между тем, что он видел дома, и тем, что увидел здесь, потряс мальчика. Дома в длинные северные ночи убогую избу освещали лучиной, по очереди одевали одни на всю семью старые латаные валенки, делили на троих одну корку хлеба. Здесь в залитом огнями ресторанном зале гремела музыка, на руках и

платьях у женщин сверкали бриллианты, дорогие, не доеденные кушанья сваливались в помойную лохань. И тогда в сердце девятилетнего мальчика зародилась наивная мечта о том, чтобы все то невиданное и красивое, что увидел он в городе,— музыку, свет, красивые платья, вкусные кушанья,— перенести туда, в родное село. Мальчик был религиозен и, не зная на кого и на что надеяться, приходя с работы, до утра молился — просил у бога исполнить его желание. Но бог оставался глухим к его мольбам. Мальчик стал юношей, работал на заводе и впервые столкнулся с коммунистами. Он увидел людей, которые хотели сделать то, о чем мечтал он,— хотели уничтожить противоположность между городом и деревней. Он стал коммунистом. С первых лет колхозного строительства он стал председателем колхоза «Красный Октябрь». Им и такими же энтузиастами, как он, сделаны удивительные дела. На нищих северных землях, которые раньше давали 5—6 центнеров с гектара, теперь выращивают урожаи в 25 центнеров с гектара. Там, где раньше освещали дома лучиной, сейчас не только дома, но и улицы освещены электричеством. Колхозники живут в квартирах с электричеством, с радио, с центральным отоплением, с ваннами. У колхоза есть свой большой двухэтажный клуб, свое говорящее кино, свой радиоузел, свой хор, драматический кружок, библиотека, читальня. В красивом местечке — там, где сливаются две речки, в еловом лесу возвышается нарядный двухэтажный домик — это собственный колхозный дом отдыха. Здесь мягкая мебель, ковры и картины. Здесь собственный физиотерапевтический кабинет, где колхозники лечатся кварцем, соллюксом, токами высокой частоты. Здесь вкусно и сытно кормят, причем обязательным блюдом в меню является жареная индейка, так как в колхозе на птицеферме разводят индеек. Каждый колхозник ежегодно и бесплатно проводит несколько недель в своем доме отдыха. Колхозников привозят сюда, по старому русскому обычаю, на тройках с бубенцами, а по окончании срока каждая смена отдыхающих делает традиционные прощальные пельмени. Кроме добрых старых традиций, тут существуют уже новые традиции — такой традицией уже стали вечера громкой читки, когда по вечерам в гостиной собираются колхозницы с шитьем и вязаньем и слушают, как одна из них читает вслух какое-нибудь из последних произведений советской или зарубежной прогрессивной литературы. Такой традицией стали спектакли, которые обязательно ставит каждая смена отдыхающих своими силами.

Много в этом колхозе нового, социалистического,

увлекательного, но самое увлекательное — это его люди. Бессменный председатель этого колхоза Петр Алексеевич Прозоров — подлинный самородок. Не имея никакого образования, самоучкой, стал он знатоком агротехники, сведущим человеком в политике, компетентным ценителем литературы. Сам талантливый и влюбленный в колхозное строительство человек, он умеет выращивать талантливых, влюбленных в дело людей. У него есть особый дар работы с людьми, бесконечное внимание к их нуждам, потребностям и возможностям. Поэтому колхоз «Красный Октябрь» — это подлинный рассадник талантов. Не перечесть всех талантливых людей, которые встретились мне в этом колхозе, но некоторые из них особо запомнились мне. Запомнилась мне Валя Гагаринова — колхозница, окончившая семилетку и успешно исполняющая обязанности колхозного агронома. Эту совсем юную девушку я видела и за микроскопом в колхозной лаборатории, и на колхозных полях, и на занятиях по агроминимуму, которыми она руководит, и на колхозном радиоузле, где она читала лекции. И каждый раз удивляла меня хорошая ориентация Вали в последних достижениях агрономической науки, и талантливость, с которой излагала она колхозникам сложнейшие научные вопросы — в ее изложении все становилось ясным, большой практический опыт подсказывал ей интересные примеры и ценные практические выводы из теоретических положений. Валя ведет большую практическую научную работу — с ней переписываются ученые, у нее есть друзья в Академии наук СССР. Валя Гагаринова наряду с Валей Гусевой стали прообразами моей героини Валентины Стрельцовой.

Не меньшее впечатление произвела на меня бригадир этого колхоза — Екатерина Григорьевна Лалетина. Это немолодая женщина с девической фигурой и с девической легкостью движений. Она Герой Социалистического Труда, одновременно она мать большой семьи. И работа и семья не мешают ей увлекаться колхозной самодеятельностью — она лучшая запевала колхозного хора. Всегда веселая, улыбчивая, приветливая, она в то же время завоевала незыблемый авторитет среди колхозников. Когда я писала Авдотью Бортникову, я видела легкую фигуру Кати Лалетиной, ее ясную улыбку, ее мягкость и силу, женственность и волю. Незабываемой стала для меня встреча с сыном Екатерины Григорьевны — Костей Лалетиным. Когда я осматривала колхозные фермы, мне бросилась в глаза подвесная дорога. Оказалось, что смастерили эту дорогу сами колхозники, и ее главным конструктором был семнадцатилетний сын Кати Лалетиной. Я захотела с ним познакомиться. Ко мне пришел

юноша с умным, интеллигентным лицом, со спокойной, полной достоинства манерой держаться. Техническая одаренность этого мальчика, никогда не выезжавшего из родного колхоза, меня поразила — он выстроил не только подвесную дорогу, он сконструировал особый станок для колхозных мастерских, он спроектировал особого типа двигатель, которым заинтересовались специалисты в Москве. Технические книги и журнал «Техника молодежи» были его неразлучными спутниками. Я долго не могла забыть этого мальчика и некоторые черты его характера придала одному из героев моего романа — Алеше.

Не могу не рассказать еще об одной моей «заочной» встрече с Лалетиным — однажды, года через два после моего приезда в колхоз «Красный Октябрь», я развернула газету «Правда», и с первой страницы ее на меня посмотрело знакомое лицо. Это был он. За эти два года он стал знатным рабочим на одном из ленинградских заводов, и газета рассказывала о его производственных успехах. Еще через несколько дней я прочла в журнале «Огонек» и о нем и о том, как его, знатного ленинградского рабочего, приезжала навестить его мать, знатная колхозница Екатерина Григорьевна Лалетина.

Колхоз «Красный Октябрь» дал мне такое количество впечатлений, что они не поместились в роман, и я до сих пор чувствую себя в долгу перед людьми этого колхоза — я не сумела написать о них так, как они этого заслуживают.

Увлеченная делами моих колхозных друзей, их борьбой, их замыслами, я уселась наконец за письменный стол и в полтора месяца написала первый вариант своего романа. В этом варианте было много больших дефектов, и одним из самых крупных дефектов было то, что я почти не показала роль техники в колхозном производстве и того отпечатка, который накладывает она на характеры людей сегодняшней советской деревни. Пока я писала, я не замечала этого недостатка, но, когда первый вариант был готов, когда я перечитала и передумала его, я поняла, что его надо серьезно дорабатывать, и я снова пустилась в путь.

Теперь в центре моего внимания были МТС. Я объездила многие МТС различных областей Советского Союза. Я знакомилась с трактористами, механиками, инженерами. И, набрав материал, снова села за письменный стол и написала новый вариант романа. Этот вариант уже полнее и отчетливее отражал жизнь колхозов послевоенного периода, но в нем еще было много погрешностей и недоделок.

Мне пришлось ехать по колхозам и МТС третий раз — эта поездка была проверочной. Я проверяла себя — правду ли я написала, так ли бывает в жизни, как написано в моем романе.

Мне хотелось написать образ типичного председателя колхоза; мои поездки привели меня к тому выводу, что типичным является борьба нового и старого не только в колхозном строительстве, но и в сердцах колхозников. Типичным казалось мне то, что глубочайшая преданность колхозному строю часто сочетается с недостаточной культурой ума и характера — с недостаточным знанием агрономической науки, с недостаточным умением организовать и вести сложное крупное хозяйство. Эти основные качества считала я типичными, их и попыталась положить в основу главного героя моего романа — Василия Бортникова.

Внутренняя противоречивость образа и внутренние конфликты вызвали многие нареканья со стороны проповедников теории бесконфликтности, которых было немало в то время в советской литературе. Но еще больше оказалось в литературе таких людей, которые знают жизнь и не боятся показать ее такой, как она есть,— эти люди поддержали меня в трудные минуты. Поддержала меня также уверенность в том, что я пишу правду — все рассказанное в моем романе взято из самой жизни, и мне кажется, что у моего романа сотни авторов — все мои колхозные друзья, от Василия Михайловича Бушаева до юноши Лалетина, дали для моего романа частицы своих душ. Без доброй помощи множества умелых и верных рук я не смогла бы написать ни одной строки моей книги.

1951

КОММЕНТАРИИ

Настоящее Собрание сочинений Г. Николаевой полнее предыдущего (М., Художественная литература, 1972—1973) представляет творчество писательницы.

В комментариях, кроме библиографических сведений, приводятся представляющие интерес данные из истории написания произведений, отзывы критики.

В первый том настоящего Собрания сочинений вошли рассказы 1945—1947 гг., а также роман «Жатва».

РАССКАЗЫ

Гибель командарма.— Впервые: в журн. «Знамя» (1945, № 10) с подзаголовком «СТС № 72» (санитарно-транспортное судно № 72). В последующих изданиях подзаголовок снят.

В произведении отражены сталинградские события осени 1942 г., описанные первоначально в очерке «Врач Бахирева» (Медицинский работник, 1945, 16 авг.).

В 1942 г. Г. Николаева работала на плавучем эвакогоспитале «Композитор Бородин», доставлявшем раненых в Горький со Сталинградского фронта. В 1959 г. появилась заметка, в которой героиня рассказа отождествлялась с его автором (Еретнов Г. Тема — современность.— Огонек, 1959, № 24, с. 25). Возникновению подобной версии способствовало письмо младшего лейтенанта А. И. Сухотина, присланное в 1942 г. в редакцию газеты «Горьковская коммуна», где он благодарит врача Волянскую и медсестру Прыгунову за беспримерное мужество, проявленное ими во время бомбежки судна. В заметке письмо воспроизведено полностью. Описанный А. И. Сухотиным эпизод перекликается с изложенными в рассказе событиями

Г. Николаева решительно отвергла такую легенду: «Спасибо за теплую статью в «Огоньке»,— писала она в редколлегию журнала.— К сожалению, в нее вкралась неточность. Там напи-

сано, что при гибели судна «Композитор Бородин» я была спасена и осталась с ранеными... Я была списана с этого судна за два дня до его гибели. Журналисту всегда кажется заманчивым любой героический поворот, а случай же, о котором пишет лейтенант Сухотин, относится к одной из очередных бомбежек и не заслуживает даже упоминания перед лицом того, что сделали мои товарищи по этому переходу, действительно героические женщины — врачи К. П. Горшкова и Е. В. Рахитова, погибшие через два дня после моей разлуки с ними» (ЦГАЛИ, ф. 2292, оп. 1, ед. хр. 79). Это письмо дает основание полагать, что фамилия Бахиревой, именем которой назван очерк,— вымышленная, образ Екатерины Ивановны — собирательный. Прототипами следует считать врачей К. П. Горшкову и Е. В. Рахитову. Вне сомнения и автобиографичность произведения.

Присланный в 1945 г. в редакцию журнала «Знамя» рассказ произвел большое впечатление. «В нем есть большое человеческое мужество, огонь,— писал сотрудник редакции А. Тарасенков в письме к Г. Николаевой от 1 сентября 1945 г.— В нем есть прекрасный реализм детали, такой традиционный в русской нашей литературе и такой неповторимо обаятельный у Вас. Снова на меня пахнуло войной,— вы ее чувствуете напряженно, ярко...» (ЦГАЛИ, ф. 2292, оп. 1, ед. хр. 151).

Публикация рассказа принесла автору широкую известность. Критикой послевоенных лет он был признан одним из лучших рассказов военного времени (Брайнина Б. Черты характера.— Новый мир, 1946, № 6; Асеев Н. Неповторимые черты.— Литературная газета, 1947, 8 октября; Тарасенков А. О современном рассказе.— В кн.: Тарасенков А. Сила утверждения.— М., 1955, с. 337—339).

Новое осмысление рассказ получил в современной критике: «Галина Николаева, пожалуй, первая показала, как женщина превращалась в солдата, как женская психология ломалась под напором войны, какова цена безжалостных, трагичнейших последствий войны» (Стрельцова Е. Преодоление.— Литературное обозрение, 1985, № 5, с. 62).

Печатается по тексту последнего прижизненного издания: Николаева Г. В человеке не без чуда.— М., Советская Россия, 1963, с. 3—32.

На кухне.— Впервые: посмертно в журн. «Знамя» (1967, № 7). Написан в 1945—1946 гг. Имеет автобиографическую основу: в 1945 г. писательница работала диетврачом в Нальчикском эвакогоспитале.

Сохранилась внутренняя рецензия на этот рассказ, представленный в 1948 г. для публикации в альманахе горьковских писателей: «Это простой эпизод, но живо написан, автор сумел на небольшом пространстве разместить и очень живописно представить своих героев. Они запоминаются, у каждого есть

свой характер, образ действий, внешность, индивидуальность. Дарование автора несомненно».

Печатается по тексту автографа (ЦГАЛИ, ф. 2292, оп. 2, ед. хр. 14).

Любовь.— Впервые: посмертно в сб. «Гибель командарма и другие рассказы» (М., Сов. писатель, 1983). Написан в 1945—1946 гг. В архиве писательницы сохранился неполный вариант рассказа, опубликованный в 1983 г. При подготовке к настоящему изданию полный автограф рассказа был обнаружен в архиве журнала «Знамя», куда Г. Николаева послала его для публикации примерно в 1946 г. Об этом свидетельствует письмо к сотруднику редакции Ц. Дмитриевой: «...послали рассказ в «Октябрь», его приняли (с некоторыми поправками). Изменения я сделала, но рассказ... шлю Вам» (ЦГАЛИ, ф. 618, оп. 13, ед. хр. 101).

Печатается по тексту автографа, хранящегося в архиве журнала «Знамя» (ЦГАЛИ, ф. 618, оп. 13, ед. хр. 595).

Детство Владимира.— Впервые: посмертно в сб. «Гибель командарма и другие рассказы» (М., Сов. писатель, 1983). Написан в 1945—1946 гг. Представляет собой начальные главы романа о Кабарде, над которым Г. Николаева работала в эти годы. Остальные главы уничтожены автором.

Печатается по тексту машинописи с авторской правкой, хранящейся в архиве М. В. Сагаловича.

Альвик.— Впервые: посмертно в журн. «Знамя» (1967, № 7). Первоначальный вариант имел подзаголовок «Ни при чем», впоследствии снятый. Написан в 1946 г. Представляет собой отрывок из задуманной Г. Николаевой повести о своем детстве, оставшейся незавершенной.

Печатается по тексту автографа (ЦГАЛИ, ф. 2292, оп. 2, ед. хр. 14).

Москвичка.— Впервые: посмертно в сб. «Гибель командарма и другие рассказы» (М., Сов. писатель, 1983). Написан в 1947 г Явился результатом впечатлений писательницы от первых поездок по колхозам. Сцена дождя на Фросином косогоре впоследствии войдет в роман «Жатва».

Печатается по тексту автографа (ЦГАЛИ, ф. 2292, необработанный архив).

ЖАТВА. Впервые: в 1950 г. в журн. «Знамя» (1950, № 5—7). Отрывки из него незадолго до этого печатались в трех центральных журналах (Авдотья.— Сов. женщина, 1950, № 1, с. 48—50; Небо.— Крестьянка, 1950, № 3, с. 5—7; Сельские большевики.— Огонек, 1950, № 16, с. 17—19).

Начало работы над произведением связано с журналистской командировкой молодой писательницы в колхозы Горьковской области. Результатом командировки стал очерк «Колхоз «Трактор», после опубликования в журнале «Знамя» перепечатанный газетой «Правда» (1948, 31 марта, с. 2; 1 апреля, с. 3; 2 апреля, с. 3). Материал этого очерка лег в основу работы над романом: «Очень много мне дало знакомство с колхозом «Трактор» Горьковской области Угренского района. Колхоз этот подобно колхозу, описанному в моем романе, одно время пришел в упадок из-за плохого руководства, но с выбором нового председателя Василия Михайловича Бушаева быстро поднялся. И председатель этого колхоза, и заведующая колхозным животноводством О. П. Корчагина, и молодой агроном, уроженка этого же колхоза Валя Гусева очень помогли мне в написании романа. Многие факты, описанные в романе, это факты из их жизни...» — писала Г. Николаева (ЦГАЛИ, ф. 2597, оп. 1, ед. хр. 106).

К работе над романом Г. Николаева отнеслась с чувством большой ответственности. О кропотливом изучении жизни колхозного села рассказывалось впоследствии: «Изучая людей, я одновременно изучала документацию. Я изучила сотни колхозных отчетов, составила десятки большущих статистических таблиц... Мои таблицы казались мне живыми, так как были для меня неразрывны с волнениями и страстями людей, а люди и дела их становились понятнее мне благодаря этим таблицам» (Николаева Г. О специфике художественной литературы.— Вопросы философии, 1953, № 6, с. 98).

Первый вариант романа под названием «В лесу», представленный в редакцию журнала «Знамя» в 1948 г., нес печать яркой индивидуальности автора, но очевидна была и недоработанность произведения. «По существу это только черновик»,— говорилось во внутренней рецензии на роман (ЦГАЛИ, ф. 2547, оп. 1, ед. хр. 67). Однако живая непосредственность в создании образов, эмоциональная сила повествования свидетельствовали о рождении значительного произведения. В рукописи доминировал нравственно-психологический аспект изображения личности, произведение отличалось относительной камерностью, вниманием к деталям личной жизни героев, их душевным коллизиям.

На оценку рукописи оказала значительное влияние господствовавшая тогда теория бесконфликтности. Редакция рекомендовала автору «освободить роман от полемической остроты» (ЦГАЛИ, ф. 2597, оп. 1, ед. хр. 132). Вс. Вишневский считал роман излишне драматизированным (ЦГАЛИ, ф. 1038, оп. 1, ед. хр. 1999). Но при всех возражениях члены редколлегии отметили талант начинающего романиста.

«Ваш роман весь от жизни... с ее тревогами, противоречиями, радостями и болями»,— писал А. Тарасенков (ЦГАЛИ, ф. 2587, оп. 1, ед. хр. 226). Из недостатков он отметил сухость в образе Валентины и ее мужа. Зло и неглубоко, по его мнению,

изображена вся интеллигенция: «Начисто отрицаю всю эту линию романа». По поводу начала романа А. Тарасенков спорит с Вс. Вишневским: «Не надо убирать драму... но надо ее показать тоньше, умней, человечней».

Писательница впоследствии писала о начальном периоде работы: «...в романе рассказывалось у меня о северных районах Горьковской области... Все это тяжелые районы... Много темных сторон увидела. Они в романе и вылезли... Тогда-то и разгорелись споры с редакцией... А вот разговор с редактором «Правды», Петром Николаевичем Поспеловым, меня поддержал... Роман о том, как подымаются слабые колхозы, нужен...» (Воспоминания о Галине Николаевой.— М., 1984, с. 100—101).

Дальнейшая работа над рукописью связана с непрерывными поездками автора по колхозам. В поисках социального стержня романа Г. Николаева знакомится с передовыми колхозами Пермской области. Значительно усиливается тема руководства партии подъемом сельского хозяйства. Во втором варианте, озаглавленном «На крутом перевале», была почти полностью исключена городская линия (образы Дины и ее матери, семья профессора, общество музыкантов и пр.). Были написаны новые главы: «Утро», «Жалейка», «Неутопная волна», «Дороже тысяч».

«Жизнь подсказывает Вам мотив,— рекомендовали писательнице на редакционном обсуждении в 1949 г.,— который следует включить в третью, заключительную часть романа,— слияние колхозов в целях их организационно-хозяйственного укрепления» (ЦГАЛИ, ф. 618, оп. 13, ед. хр. 120).

В третьем варианте романа, представленном в редакцию в 1950 г. под названием «Жатва», заново написана почти вся третья часть. Материал для последней редакции набирался писательницей в колхозах Краснодарского края, в колхозе «Труд» Московской области.

После публикации романа работа над ним продолжалась. Значительные исправления были сделаны для первого книжного издания (М., Советский писатель, 1951). О наиболее важных изменениях в тексте писала Г. Николаева в письме к редактору этого издания: «Смысл... в том, что бытовое неустройство Стрельцовых показывается теперь как кратковременное явление, зависящее от особых трудностей в Первомайском колхозе и в Угренском районе и исчезающее по мере изживания этих трудностей». В других вставках показаны новые качества Василия Бортникова: рассказ о горизонтах, открывающихся при укрупнении колхозов, дал возможность автору шире показать рост своего героя. Прежде казалось, что Бортников достиг своего предела. Теперь он показан как человек, стоящий на пороге своих возможностей. Новые качества Василия логически приводили и к новым отношениям с женой. В первом издании романа Авдотья возвращалась к Василию под влиянием любви, похожей на жалость, и сохраняла этот оттенок чувства до конца

романа. В новом варианте дается другое завершение: иные качества Василия как бы обновляют чувства Авдотьи к мужу и на смену «полуматеринской любви-жалости приходит почти девичья любовь-гордость» (ЦГАЛИ, ф. 2292, оп. 1, ед. хр. 69).

В последней прижизненной публикации (Советский писатель, 1956) еще раз переработана линия Стрельцовых — теперь не Андрей посылает жену-агронома в отсталый колхоз, а Валентина самостоятельно принимает это решение — так же, как и решение работать в МТС.

Посмертно, в издании 1981 г. («Художественная литература») впервые опубликована глава «За Любаву Большакову», не принятая в 1950 г. редакцией журнала «Знамя» из-за ее «чрезмерной остроты». Сама писательница придавала ей очень большое значение.

Публикация романа «Жатва» в 1950 г. вызвала большой общественный резонанс. Все крупнейшие центральные газеты и литературно-художественные журналы откликнулись на новое произведение писательницы (Папава М. Творческая сила народа.— Правда, 1950, 31 авг.; Ермилов В. Новое в жизни и литературе.— Правда, 1950, 4 ноября; Марьямов А. Человек и его судьба.— Лит. газета, 1950, 12 авг.; Тарасенков А. Труд и творчество.— Новый мир, 1950, № 10; Эссен М. О романе «Жатва».— Октябрь, 1950, № 11; Гринберг И. Поэзия советской действительности.— Дружба народов, 1951, № 1 и др.).

Восторженные отзывы критики, поток читательских писем, повсеместные конференции и, наконец, Государственная премия СССР I степени свидетельствуют о большом успехе, выпавшем на долю романа.

В «Жатве» Г. Николаева затронула остросовременный материал: «Хотелось быть там, где жизнь в данное время всего напряженнее и всего горячее...» (Николаева Г. Пути создания образа героя.— Литературная газета, 1954, 25 сентября).

Фактор времени играет решающую роль в оценке произведений Г. Николаевой. В начале 50-х годов «Жатва» была признана выдающимся произведением советской литературы. «Роман прочел залпом, с истинным наслаждением»,— писал автору А. Фадеев (ЦГАЛИ, ф. 2292, оп. 1, ед. хр. 155). «Сила и новизна романа,— отмечалось на страницах «Известий»,— в углубленном раскрытии внутреннего мира людей, в тщательном анализе новых отношений между людьми в новом советском обществе...» (Смирнова В. Дорога к счастью.— Известия, 1950, 25 августа).

В литературной обстановке тех лет роман «Жатва» даже в значительно переработанном виде воспринимался иными критиками как остроконфликтное произведение. «Думается,— писал один из рецензентов,— именно эта боязнь упростить, пригладить изображаемую жизнь и толкнула писательницу к конфликтам уже не только сложным, но и нарочито усложненным» (Калитин Н. Труд, преобразующий жизнь.— Звезда, 1950, № 12).

Были высказаны и серьезные критические замечания, учтенные автором при доработке к последующим изданиям. По мнению большинства критиков, не удался образ Андрея Стрельцова. Искусственна и семейная неустроенность Валентины и Андрея. Г. Николаева сама сознавала схематическую заданность образа секретаря райкома: «Я просто и легко решила, что секретарь райкома должен быть хорошим, энергичным, развитым человеком... Это работа необыкновенной высоты и ответственности. А ведь проводят эту огромную работу по внедрению коммунизма люди еще некоммунистического общества, люди, носящие в себе различные пережитки прошлого. Эти первые носители коммунизма могут быть и честолюбивы, и властолюбивы, ограниченны, и чересчур благодушны... На мой взгляд, в этом противоречии между личными качествами людей и функцией, которую эти люди взяли на себя и которую они хотят свято выполнять, заключается и закономерность и динамика образа партийного руководителя» (Николаева Г. О специфике художественной литературы, с. 101).

Критика отмечала также художественную неоправданность смерти Алеши. «Я даю жизнь в острых столкновениях и ситуациях...— отвечала Г. Николаева,— при таком методе изображения наиболее отчетливо выступает и диалектика процесса развития и роста, отчетливее выявляется соотношение борющихся сил... Косвенными виновниками его гибели являются Полюха и Маланья, носительницы старого... В истории Алеши я пыталась как можно отчетливее и острее поставить тему ответственности коллектива за каждого и каждого за коллектив» (Николаева Г. О герое и коллективе.— Лит. газета, 1952, 24 апреля).

В первой редакции романа смерть Алеши звучала как страстный приговор легкомысленной и избалованной деве из богемной городской среды. Для творчества писательницы чрезвычайно характерен мотив столкновения внешне привлекательного, но внутренне бесплодного блеска с насущным, «черным» трудом, в котором заключена подлинная духовность и нравственная сила. Этот же мотив звучит в рассказе «Москвичка». Современники воспринимали образ Дины как очернение среды городской интеллигенции. Но образ «москвички» Натальи Борисовны доказывает, что писательница разоблачала не городскую интеллигенцию, а определенный тип из этой среды. Гибель Алеши по своему эмоциональному накалу была адекватна авторскому неприятию выведенного образа Дины. В последнем варианте равновесие явно нарушено, Полюха и Маланья несколько безобидны для подобного разрешения конфликта.

В критике после 1953 г. «большая жизненная правда» романа (Панков В. Сила творческого труда.— Молодой большевик, 1951, № 3) интерпретировалась как «лакировка действительности» (Абрамов Ф. Люди колхозной деревни в послевоенной прозе.— Новый мир, 1954, № 4). И все же по сравнению с

большинством других произведений тех лет, и это был вынужден отметить и Ф. Абрамов, «писательница более строго и тщательно отбирает факты и персонажи, причем последние отличаются... большой живостью и реализмом» (Абрамов Ф. Указ. соч., с. 225). В том же году, когда была опубликована статья Ф. Абрамова, в печати появилось сравнительное исследование очерков Г. Николаевой «Колхоз «Трактор» и «Черты будущего» с выросшим на их материале романом (Соловьева И. От очерков к роману.— Уч. зап. Саратовского гос. ун-та, 1954, т. 41). Сопоставительный анализ выявил художественные достоинства романа. И. Соловьева показала, как документальный, фактический материал «обрастает» многозначностью, получает символическое осмысление, приобретает дополнительную идейную нагрузку и поэтическое звучание.

Признавая справедливость упреков таких критиков, как Ф. Абрамов, в умолчании или облегчении автором многих проблем и трудностей подъема колхоза следует учитывать и историческую обстановку в стране после победы в Великой Отечественной войне. Колхозы вступили в первую пятилетку после войны значительно ослабленными, с резко сократившимися трудовыми ресурсами, с подорванной материально-технической базой. Для того чтобы преодолеть эти последствия войны, потребовались гигантские усилия колхозного крестьянства и всего советского народа, напряженная хозяйственно-организаторская деятельность. Большой политический и трудовой подъем, вызванный победой в Великой Отечественной войне, который наблюдала писательница во время своих поездок по колхозам, вселили в нее горячую веру во всесилие человека: «Вся история Советского государства,— отвечала Г. Николаева на письма читателей,— говорит о том, что в нашей стране нет грани между «средним» человеком и героическим. Кем писалась история наших пятилеток? Кем строились огромные заводы на песках, на болотах, в чащобах?..» (Николаева Г. Большой характер или «средний» человек?— Лит. газета, 1955, 18 октября, с. 3).

Показательно возвращение к роману литературоведов 60—80-х годов. «...на фоне других произведений о деревне тех лет («Марья» Г. Медынского, «От всего сердца» Е. Мальцева, «Кавалер Золотой Звезды» С. Бабаевского и др.) первый роман Г. Николаевой «Жатва» отличается большей трезвостью в изображении жизни послевоенной деревни» (Гельфанд Р. Проблема героя в послевоенном творчестве Г. Николаевой.— Уч. зап. Пермского гос. ун-та, 1970, № 241, с. 106).

Такие особенности романа, как мастерство психологического анализа, внимание к душевным переживаниям героев, их личной жизни, отмеченные в свое время литературоведами (Домбровский Р. Мастерство психологического анализа.— Уч. зап. Ульяновского гос. пед. ин-та, 1953, вып. 5, с. 393—424),

несправедливо «потерялись» в контексте литературы последнего двадцатилетия. Отсюда не совсем точная расстановка акцентов в характеристике романа. Даже такой серьезный исследователь творчества Г. Николаевой, как А. Макаров, абсолютизирует социальную заостренность романа, ограничивая авторскую концепцию личности: «...«частная жизнь» героя была и остается лучшей приманкой для читателя... <Г. Николаева> не поскупилась насытить свой роман разнообразными историями семейных и личных отношений» (Макаров А. Сердце, которое не перестало биться.— В кн.: Николаева Г. Собр. соч. М., 1972, т. 1, с. 24). Такой взгляд опровергает сама писательница: «Предметом литературы я считаю душевный мир людей... Образы, лишенные правды внутреннего развития, теряют и индивидуальные черты, и тогда типическое вырождается в схематическое... существо литературы, ее специфика всегда в одном — в глубоком раскрытии душевного мира людей» (Николаева Г. За один год.— Знамя, 1956, № 5, с. 152).

Роман был инсценирован Г. Николаевой в соавторстве с С. А. Радзинским. Пьеса под названием «Василий Бортников (Высокая волна)» обошла многие театры Советского Союза. По роману создан также фильм «Возвращение Василия Бортникова» (режиссер В. Пудовкин).

Роман восемнадцать раз издавался на русском языке, двадцать семь раз — на национальных языках, восемь раз — на иностранных языках (в СССР). Был также переведен за рубежом. Произведение выдержало шесть изданий на венгерском языке, шесть — на чешском, четыре — на немецком, выходило на польском, болгарском и румынском языках.

Роман переведен и издан в США, в Греции и других странах. Во Франции «Жатва» была опубликована в газете «Юманите», а затем дважды вышла отдельным изданием.

В ГДР, Франции, Аргентине и других странах на страницах периодической печати развернулись дискуссии по роману.

Роман печатается по последнему прижизненному изданию (М., Советский писатель, 1956) с включением текста главы «За Любаву Большакову», впервые опубликованной посмертно в издании 1981 г. (М., Художественная литература).

СОДЕРЖАНИЕ

Николаева Г. Е.

Н63 Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 1. Рассказы; Жатва: Роман./Вступ. статья В. Юсовой.— М.: Худож. лит., 1987.—622 с., портр.

В первый том Собрания сочинений Г. Николаевой (1911—1963) вошли рассказы 1945—1947 гг., а также роман «Жатва» (1950), удостоенный Государственной премии СССР за 1951 г.

Н 4702010200-191 / 028(01)-87 подписное

ББК 84Р7

Галина Евгеньевна
Николаева

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том первый

Редактор
Т. Шеханова

Художественный редактор
Т. Самигулин

Технические редакторы
Л. Зайцева,
Г. Такташова

Корректоры
С. Свиридов,
Н. Пехтерева

ИБ № 4725

Сдано в набор 15.07.86. Подписано в печать 18.12.86. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 32,76+вкл.=32,81. Усл. кр.-отт. 32,86. Уч.-изд. л. 37,77+вкл.=37,82. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-2408. Заказ 2804. Цена 2 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28.

